



**Библиотека
Московской
школы
политических
исследований**

Библиотека Московской школы
политических исследований

Редакционный совет:

А. Н. Мурашев
В. А. Найшуль
Е. М. Немировская
Ю. П. Сенокосов
А. Ю. Согомонов
М. Ю. Урнов

Энн Эпplibаум

ГУЛАГ

Паутина
Большого террора

*Московская
Школа
Политических
Исследований*

2006

ББК 63.3(2)614-361
Э 72

Перевод с английского Л. Мотылева

Дизайн серии А. Бондаренко

Книга издана при поддержке Американского и Британского посольств в Москве, а также Комиссии Европейских Сообществ.

The book is published with a support of American and British Embassies in Moscow and European Commission.

*Посвящается тем,
кто поведал о пережитом*

Эпплбаум Э.

Э 72 ГУЛАГ. Паутина Большого террора. (Anne Applebaum. GULAG. A History. — New York, 2003.) — М.: Московская школа политических исследований, 2006. — 608 с., илл.

Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь...

Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то “опознал” меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

**Анна Ахматова.
Реквием. 1935–1940. Вместо предисловия**

ББК 63.3(2)614-361

© Эпплбаум Э., 2003
© Леонид Мотылев, перевод, 2006
© Московская школа
политических исследований, 2006

ISBN 5-93895-085-6

Содержание

<i>От автора</i>	9
<i>Предисловие</i>	12
 <i>Часть первая</i> Возникновение ГУЛАГа. 1917–1939 гг.	
<i>Глава 1.</i> Большевистское начало	39
<i>Глава 2.</i> Первый лагерь ГУЛАГа	52
<i>Глава 3.</i> 1929 г.: "великий перелом"	71
<i>Глава 4.</i> Беломорканал	86
<i>Глава 5.</i> ГУЛАГ расширяется	99
<i>Глава 6.</i> Большой террор и после него.....	114
 <i>Часть вторая</i> Жизнь и труд в лагерях	
<i>Глава 7.</i> Арест	137
<i>Глава 8.</i> Тюрьма	158
<i>Глава 9.</i> Этап, прибытие, сортировка	169
<i>Глава 10.</i> Лагерная жизнь	189
<i>Глава 11.</i> Труд в лагерях	216
<i>Глава 12.</i> Наказания и награды	238
<i>Глава 13.</i> Охранники	250
<i>Глава 14.</i> Заключенные	271
<i>Глава 15.</i> Женщины и дети	294
<i>Глава 16.</i> Умиравшие	317
<i>Глава 17.</i> Стратегии выживания	325
<i>Глава 18.</i> Бунт и побег	366
 <i>Часть третья</i> Подъем и упадок ГУЛАГа. 1940–1986 гг.	
<i>Глава 19.</i> Война	385
<i>Глава 20.</i> "Чужие"	393

Глава 21. Амнистия и после амнистии	415
Глава 22. Зенит лагерно-производственного комплекса	428
Глава 23. Смерть Сталина.....	443
Глава 24. Революция ээков	450
Глава 25. Оттепель и освобождение	470
Глава 26. Эпоха диссидентов	488
Глава 27. 80-е годы: дробятся монументы	511
Эпилог. Память	522
Приложение. Сколько?	535
Примечания	544
Библиография	589

От автора

Никакую книгу нельзя, строго говоря, считать произведением одного лица, но эту книгу поистине невозможно было бы написать без практического, интеллектуального и философского содействия многих людей, одни из которых принадлежат к числу моих ближайших друзей, других я никогда в жизни не видела. Хотя благодарность авторам, которых давно нет на свете, может выглядеть не совсем естественно, я хотела бы подчеркнуть особую роль небольшой, но замечательной группы переживших лагеря людей, чьи мемуары я в ходе работы читала и перечитывала. Многие бывшие заключенные оставили глубокие и яркие воспоминания о пережитом, однако не случайно эта книга изобилует цитатами из Варлама Шаламова, Исаака Фильштинского, Густава Герлинга-Грудзинского, Евгении Гинзбург, Льва Разгона, Януша Бардаха, Ольги Адамовой-Слиозберг, Анатолия Жигулина, Александра Долгана и, конечно, Александра Солженицына. Некоторые из этих людей принадлежат к числу самых знаменитых бывших узников ГУЛАГа. Другие менее известны — но у всех есть одна общая черта. Из сотен мемуаров, которые я прочла, их воспоминания выделяются не только литературным талантом, но и способностью проникать под поверхность повседневного ужаса и выявлять глубокие человеческие истины.

Я также более чем благодарна тем москвичам, что водили меня в архивы, организовывали для меня встречи с бывшими заключенными и одновременно знакомили меня со своими интерпретациями прошлого. Первыми хочу назвать архивиста и историка Александра Кокурина, которому, я надеюсь, когда-нибудь отдадут должное как первопроходцу новой российской исторической науки, а также Галину Виноградову и Аллу Борину, способствовавших осуществлению этого проекта с необычайным рвением. На разных этапах работы большую пользу принесли мне беседы с Анной Гришиной, Борисом Беленкиным, Никитой Петровым, Сусанной Печуро, Александром Гурьяновым, Арсением Рогинским и Натальей Малыхиной из “Московского Мемориала”; с Семеном

Виленским, председателем общества “Возвращение”; а также с Олегом Хлевнюком, Зоей Ерошок, профессором Натальей Лебедевой, Любовью Виноградовой и Станиславом Грегоровичем, в прошлом работавшим в польском посольстве в Москве. Я, кроме того, чрезвычайно благодарна многим людям, позволившим мне взять у них подробные интервью. Их имена перечислены в отдельном списке в “Библиографии”.

Вне Москвы неоценимую помощь оказали мне многие специалисты, с готовностью согласившиеся отложить все дела и уделить немало времени иностранке, которая иногда появлялась без всякого предупреждения и задавала наивные вопросы о том, чему они посвятили годы исследовательского труда. В их числе — Николай Морозов и Михаил Рогачев (Сыктывкар), Евгения Хайдарова и Люба Петрова (Воркута), Ирина Шабулина и Татьяна Фокина (Соловки), Галина Дудина (Архангельск), Василий Макуров, Анатолий Цыганков и Юрий Дмитриев (Петрозаводск), Виктор Шмыров (Пермь), Леонид Трус (Новосибирск), Светлана Доинисина, директор местного исторического музея в Искитиме, Вениамин Иофе и Ирина Резникова (“Мемориал”, Санкт-Петербург). Особую благодарность хочу выразить сотрудникам Архангельской краеведческой библиотеки. Некоторые из них, помогая мне понять историю региона, потратили целый день — просто потому, что сочли это важным.

В Варшаве огромную пользу принесли мне библиотека и архив центра КАРТА, а также разговоры с Анной Дзенкевич и Доротой Пазио. В Вашингтоне в Библиотеке конгресса мне помогли Дэвид Нордлендер и Гарри Лич. Я чрезвычайно благодарна Елене Дэниелсон, Томасу Хенриксону, Лоре Сороке и особенно Роберту Конквесту из Гуверовского института. Итальянский историк Марта Кравери в огромной мере способствовала моему пониманию истории лагерных восстаний. Разговоры с Владимиром Буковским и Александром Яковлевым прояснили мое представление об эпохе после смерти Сталина.

Я в особом долгу перед Фондом Линды и Гарри Брэдли, Фондом Джона М. Олина, Гуверовским институтом, Фондом Мерит и Ганса Раузинг, а также Джоном Бланделлом из Института экономики за финансовую и моральную поддержку.

Я хотела бы, кроме того, поблагодарить друзей и коллег, дававших мне советы в процессе работы над книгой — советы как практического, так и исторического характера. В их числе — Энтони Бивор, Колин Тербон, Стефан и Данута Вайденфельд, Юрий Морюков, Пауль Хофхайнц, Эмити Шлез, Дэвид Нордлендер, Симон Хеффер, Крис Джойс, Алессандро Миссир, Терри Мартин, Александр Грибанов, Петр Пачковский, Орландо Фигес и, наконец, Ра-

дек Сикорский, чей министерский портфель принес очень большую пользу. Особая благодарность — Джорджу Борхардту, Кристине Пуополо, Джерри Хауарду и Стюарту Профиту, просмотревшим книгу на конечной стадии работы.

И напоследок, за дружбу, за мудрые замечания, за гостеприимство и хлебосольство я благодарю Кристиана и Наташу Карил, Эдуарда Лукаса, Юрия Сенокосова и Елену Немировскую, у которых я чудесно провела время в Москве.

Предисловие

*И за одной чертой закона
Уже равняла всех судьба:
Сын кулака иль сын наркома,
Сын командарма иль попа...*

*Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
Стране клейменных сыновей.*

Александр Твардовский.
По праву памяти

Эта книга — история ГУЛАГа, обширной сети лагерей принудительного труда, покрывавшей в свое время Советский Союз во всю его протяженность и ширь, от островов Белого моря до берегов Черного, от Северного полярного круга до равнин Средней Азии, от Мурманска и Воркуты до Казахстана, от центра Москвы до пригородов Ленинграда. ГУЛАГ означает “Главное управление лагерей”, но со временем под этим словом стали понимать не только административный орган, управлявший концлагерями, но и саму советскую систему рабского труда во всех ее формах и разновидностях: “исправительно-трудовые” лагеря, штрафные лагпункты, лагеря для уголовников и политических, женские, детские, пересыльные лагеря и так далее. В еще более широком смысле ГУЛАГ стал означать советскую репрессивную систему в целом — то, что заключенные называли “мясорубкой”: аресты, допросы, перевозку в холодных “стольпинских” или “телячьих” вагонах, подневольный труд, разрушение семей, годы ссылки, раннюю смерть.

У ГУЛАГа была предшественница в царской России — система принудительного труда, действовавшая в Сибири с XVII до начала XX века. Более современную и известную форму ГУЛАГ принял почти сразу же после революции 1917-го, став неотъемлемой частью советской системы. С самого начала революция развязала массовый террор в отношении реальных и мнимых противников, и уже летом 1918 года Ленин потребовал, чтобы “сомнительных” помещали в концентрационные лагеря близ крупных городов. Были арестованы многие дворяне, коммерсанты и другие потенциальные “контрреволюционеры”. В 1921 году в 34 губерниях уже действовало 84 лагеря, главным образом предназначенных для “перевоспитания” этих первых “врагов народа”.

С 1929 года лагеря стали играть новую роль. Сталин решил использовать принудительный труд для ускоренной индустриализа-

ции страны и для разработки полезных ископаемых малообитаемого севера. В том же году контроль над сетью советских исправительных учреждений начал переходить к системе госбезопасности, которая постепенно вывела все лагеря и тюрьмы страны из ведения органов юстиции. Лагеря вступили в период бурного роста, которому способствовали массовые аресты 1937 и 1938 года. К концу 1930-х лагеря уже были в каждом из двенадцати часовых поясов Советского Союза.

Вопреки распространенному заблуждению, ГУЛАГ расширялся и позднее, во время Второй мировой войны и после нее, и достиг высшей точки развития в начале 50-х. К тому времени лагеря стали играть существенную роль в советской экономике. Они производили треть всего золота страны, значительную часть угля и леса и многое, многое другое. За годы существования СССР возникло по меньшей мере 476 различных лагерных комплексов, в них входили тысячи отдельных лагерей, в каждом из которых содержалось от нескольких сот до многих тысяч заключенных¹. Лагерники работали почти в каждой отрасли хозяйства: заготавливали лес, добывали полезные ископаемые, строили, трудились на фабриках и на полях, проектировали самолеты, пушки — и жили по существу в некоей стране внутри страны, почти что в другой цивилизации. ГУЛАГ выработал особые законы и обычаи, особую мораль и даже особый жаргон. Он породил свою литературу, своих злодеев, своих героев и на всех, кто через него прошел, будь то заключенные или охранники, оставил свое клеймо. Спустя годы после освобождения бывшие узники ГУЛАГа нередко узнавали собратьев в случайных прохожих просто “по глазам”.

Такие встречи происходили часто: “оборачиваемость” лагерного контингента была высока. Постоянно кого-то арестовывали и кого-то освобождали. Заключенных выпускали, потому что кончался срок, потому что их брали в Красную Армию, потому что они становились инвалидами или матерями, потому что их переводили в охранники. В результате суммарное количество заключенных в лагерях обычно составляло примерно два миллиона, но полное число советских граждан, прошедших лагерь по политической или уголовной статье, намного выше. С 1929 года, когда ГУЛАГ стремительно пошел в рост, по 1953-й, когда умер Сталин, согласно самым точным оценкам, какие только можно было сделать, через эту грандиозную систему прошло около восемнадцати миллионов человек. Еще примерно шесть миллионов были отправлены в ссылку, депортированы в казахские степи или сибирскую тайгу. Лишенные права покидать свои поселения, эти люди тоже были подневольными работниками, пусть даже они и не жили за колючей проволокой².

Как система массового принудительного труда, включавшая в себя миллионы людей, лагеря исчезли со смертью Сталина. Хотя он всю жизнь считал, что ГУЛАГ имеет решающее значение для экономического роста страны, его политические наследники хорошо понимали, что на самом деле лагеря — это источник отсталости и крайне неэффективный способ хозяйствования. Спустя считанные дни после смерти Сталина его преемники начали демонтировать систему лагерей. Процессу придали ускорение три крупных лагерных восстания и множество более мелких, но тоже опасных инцидентов.

Тем не менее лагеря не исчезли полностью. Они эволюционировали. В 70-е и в начале 80-х некоторые из них были переоборудованы и использовались для содержания под стражей нового поколения демократических активистов, антисоветски настроенных националистов — и, конечно, уголовников. Благодаря советским диссидентам и международному движению защитников гражданских прав сведения о лагерях после Сталина регулярно просачивались на Запад. Постепенно эти лагеря начали играть роль в дипломатии времен холодной войны. Даже в 80-е годы Рональд Рейган и Михаил Горбачев все еще обсуждали лагерную тему. Только в 1987 году Горбачев, который сам был внуком узника ГУЛАГа, приступил к полной ликвидации советских лагерей для политзаключенных.

Но хотя они существовали так же долго, как Советский Союз, и хотя через них прошли многие миллионы людей, подлинная история советских концлагерей была до недавних пор малоизвестна. В некоторых отношениях она малоизвестна и сейчас. Даже приведенные выше сухие факты, хотя большинство нынешних западных исследователей советской истории с ними знакомо, еще не стали частью массового западного сознания. “Человеческое знание, — писал Пьер Ригуло, французский историк коммунистического движения, — накапливается не так, как руками каменщика возводится стена, неуклонно, кирпич за кирпичом. Его развитие, как и его застой или откат, зависит от социальных, культурных и политических условий”³.

Могу утверждать, что донныне социальных, культурных и политических условий для знания о ГУЛАГе не было.

Я впервые почувствовала это несколько лет назад в новой демократической Праге на Карловом мосту — это одна из главных достопримечательностей города. Вдоль моста расположились уличные музыканты и торговцы, на каждом шагу кто-нибудь продавал то самое, что ожидаешь увидеть на лотках в таком живописно-сувенирном месте. Были выставлены картины с видами симпатич-

ных улочек, бижутерия, брелоки для ключей с пражской символикой. Помимо прочего, можно было купить советские военные фуражки, знаки различия, пряжки, а еще значки с Лениным и Брежневым, которые советские школьники в прошлом прикалывали к форме.

Я была поражена. Атрибуты советской власти покупали главным образом американцы и западноевропейцы. Никому из них и в голову не пришло бы носить футболку или фуражку со свастикой. А вот с серпом и молотом — запросто. Мелочь, конечно, но порой в таких мелочах лучше всего проявляются культурные тенденции. Стало яснее ясного: если символ одного массового смертоубийства наполняет нас ужасом, символ другого вызывает у нас смех.

Дефицит отвращения к сталинизму у туристов в Праге отчасти объясняется дефицитом образных представлений о нем в западной массовой культуре. Холодная война породила Джеймса Бонда, триллеры и карикатурных русских из фильмов о Рэмбо, но она не создала ничего столь же масштабного, как “Список Шиндлера” и “Выбор Софи”. Стивен Спилберг (видимо, ведущий режиссер Голливуда, нравится это вам или нет) снял фильмы о японских концлагерях (“Империя солнца”) и о нацистских, но не о сталинских концлагерях. Последние не воспламенили в такой же степени голливудское воображение.

Элитарная культура тоже не проявила к этой теме большого интереса. Репутация немецкого философа Мартина Хайдеггера сильно пострадала от его недолгой поддержки нацизма в то время, когда Гитлер еще не совершил своих главных преступлений. Однако репутации французского философа Жана-Поля Сартра нисколько не повредила его активная поддержка сталинизма в послевоенные годы, когда многочисленные свидетельства о преступлениях Сталина уже были доступны любому желающему. “Мы не состояли в партии, — утверждал он, — и поэтому не считали, что должны писать о советских трудовых лагерях. Если не происходило социологически значимых событий, мы имели право оставаться в стороне от споров по поводу природы системы”⁴. “Как и вам, мне не нравятся эти лагеря, — сказал он Альберу Камю. — Но мне в равной степени не нравится то, как ежедневно играет на этой теме буржуазная печать”⁵.

После краха советской системы в чем-то положение изменилось. Например, английского писателя Мартина Эмиса тема Сталина и сталинизма взволновала настолько, что он посвятил ей целую книгу, вышедшую в 2002 году. Его работа заставила других писателей задаться вопросом: почему эту тему так редко затрагивали левые политики и литераторы?⁶ В чем-то, однако, умонастроения остались прежними. И сейчас американский ученый может выпу-

стить книгу, где утверждается, что чистки 30-х годов были полезны, потому что повысили вертикальную мобильность в советском обществе и тем самым подготовили почву для перестройки⁷. И сейчас английский редактор литературного издания может отвергнуть статью на том основании, что она “слишком антисоветская”⁸. Впрочем, куда более обычная реакция на сталинский террор — скука и безразличие. В одной рецензии на мою книгу о западных республиках бывшего Советского Союза в 90-е годы говорится: “Здесь свирепствовал убийственный голод 30-х годов, когда Сталин уничтожил больше украинцев, чем Гитлер евреев. Но многие ли на Западе об этом помнят? В конце концов, смертоубийство было таким... таким обыденным делом, лишенным всякого видимого драматизма”⁹.

Все это, конечно, частности: торговля сувенирами, репутация философа, наличие или отсутствие голливудских фильмов на данную тему. Но, взятые вместе, они кое о чем говорят. На интеллектуальном уровне американцы и западноевропейцы знают, что произошло в Советском Союзе. Лагерный рассказ Александра Солженицына “Один день Ивана Денисовича” был опубликован на Западе на нескольких языках в 1962–1963 годах и получил широкое признание. Его основанная на устных свидетельствах история лагерей “Архипелаг ГУЛАГ” вышла, опять-таки на нескольких языках, в 1973-м и бурно обсуждалась. Поистине эта книга совершила в некоторых странах своего рода интеллектуальную революцию, особенно во Франции, где многие левые, прочитав ее, перешли на антисоветские позиции. В 80-е годы, в период “гласности”, было сделано немало новых разоблачений о ГУЛАГе, и они тоже стали за границей достоянием широкой общественности.

У многих, однако, преступления Сталина не вызывают такого же физического отвращения, как преступления Гитлера. Кен Ливингстон, бывший депутат британского парламента, а ныне мэр Лондона, однажды попытался объяснить мне разницу. Нацизм, сказал он, был “злом”. А советская система — результат “деформации”. Этот взгляд отражает ощущения большого числа людей, в том числе тех, кого нельзя назвать закоснелыми леваками: Советский Союз просто каким-то образом сбился с пути, он не был фундаментально, изначально порочен в таком же смысле, в каком была порочна гитлеровская Германия.

До недавних пор это массовое безразличие к трагедии европейского коммунизма можно было объяснять стечением обстоятельств. В их числе — фактор времени: с годами коммунистические режимы стали не такими страшными. Никто особенно не боялся ни генерала Ярузельского, ни даже Брежнева, хотя оба наделали немало бед. Другая причина — отсутствие надежной информации, подкреплен-

ной архивными данными. Малое количество исследовательских работ на эту тему в течение долгих лет объясняется скудостью источников. Архивы были закрыты. К местам лагерей никого не пускали. Ни они, ни их жертвы не были сняты на киноплёнку, как немецкие лагеря и их узники в конце Второй мировой войны. Меньше зрительных образов — меньше понимания.

Но идеология тоже мешала нам понять советскую и восточно-европейскую историю¹⁰. В 30-е годы и позднее часть западных левых пыталась объяснить и порой оправдать лагеря и породивший их террор. В 1936-м, когда миллионы советских крестьян уже находились в лагерях или ссылке, британские социалисты Сидней и Беатриса Вебб опубликовали большую книгу о Советском Союзе, где, помимо прочего, рассказывалось, как “забитый русский крестьянин постепенно обретает чувство политической свободы”¹¹. Во время московских показательных процессов, когда Сталин по своему произволу отправил в лагеря тысячи ни в чем не повинных членов партии, драматург Бертольт Брехт сказал философу Сидни Хуку: “Чем меньше они виноваты, тем больше заслуживают смерти”¹².

Но даже и в 80-е годы некоторые исследователи еще рассуждали о преимуществах восточногерманского здравоохранения и о польских мирных инициативах, некоторые левые активисты еще недоумевали, почему поднят такой шум из-за диссидентов, сидящих в восточноевропейских тюрьмах и лагерях. Причина, возможно, в том, что и западные левые, и советские идеологи считали себя последователями Маркса и Энгельса. Лексикон был тоже отчасти общий: народные массы, классовая борьба, пролетариат, эксплуататоры и эксплуатируемые, собственность на средства производства. Последовательно осудить Советский Союз значило до некоторой степени осудить то, что в свое время было дорого многим западным левым.

Не только крайние левые и не только западные коммунисты испытывали искушение оправдывать сталинские преступления в такой мере, в какой никогда не стали бы оправдывать гитлеровские. Коммунистические идеалы — социальная справедливость, равенство — вообще куда более популярны на Западе, чем нацистская проповедь расизма и торжества сильного над слабым. Пусть даже коммунистическая практика очень сильно расходилась с идеологией, интеллектуальным наследникам американской и французской революций гораздо труднее было осудить систему, которая по крайней мере *на словах* походила на их собственную. Может быть, из-за этого люди, которые не сомневались в истинности свидетельств Примо Леви и Эли Визеля о холокосте, зачастую с порога отвергали свидетельства о ГУЛАГе или преуменьша-

ли их значение. Кроме того, со времен коммунистического переворота к услугам всех желающих была официальная информация о советских лагерях; знаменитая советская книга о Беломорканале была даже переведена на английский. Простым неведением не объяснить тот факт, что западные интеллектуалы предпочитали обходить эту тему.

Западные правые, со своей стороны, осуждали советские преступления, но иной раз методы, которые они использовали, только вредили делу. Человеком, причинившим наибольший вред антикоммунизму, несомненно, был американский сенатор Джо Маккарти. Хотя недавно опубликованные документы показывают, что некоторые его обвинения были справедливы, результат начатого им чрезмерно рьяного преследования “коммунистов” в американском обществе от этого не меняется: в конечном итоге его публичные “суды” над лицами, сочувствующими коммунизму, дискредитировали антикоммунизм, придав ему оттенок шовинизма и нетерпимости¹³. Его нападки послужили делу беспристрастного исторического исследования не лучше, чем высказывания его противников.

Впрочем, не все в нашем отношении к советскому прошлому связано с политической идеологией. Многие здесь — побочный продукт наших все менее четких представлений о Второй мировой войне. Мы сейчас твердо убеждены, что Вторая мировая была во всех ее эпизодах справедливой войной, и мало кто подвергает это сомнению. Мы помним день высадки союзников во Франции, помним освобождение нацистских концлагерей, помним детей, восторженно встречающих на улицах американских солдат. Никто не хочет слышать о том, что у победы была и другая, теневая сторона, что Сталин, наш союзник, расширял свои концлагеря в то самое время, когда освобождались концлагеря Гитлера. Признать, что, насильственно возвращая после войны тысячи русских на родину, где их ждала смерть, и обрекая в Ялте миллионы людей на советское владычество, западные союзники стали пособниками преступлений против человечества, значило бы сделать наши представления о той эпохе не такими безоблачными в нравственном смысле. Никто не хочет думать о том, что мы победили одного убийцу миллионов рука об руку с другим. Никто не хочет помнить о том, как отлично поладили с этим убийцей западные политики. “Я очень симпатизирую Сталину, — признался однажды Энтони Иден, британский министр иностранных дел. — Он ни разу не нарушил слова”¹⁴. Сохранилось очень много фотографий Сталина, Рузвельта и Черчилля — все трое рядом, все трое улыбаются.

И наконец, делала свое дело советская пропаганда. Например, старания советских властей бросить тень на сочинения Солжени-

цына, представить его сумасшедшим, антисемитом, пьяницей приносили определенные плоды¹⁵. Советское давление на западных исследователей и журналистов влияло на направленность их работы. В 80-е годы, когда я студенткой изучала в Соединенных Штатах российскую историю, знакомые отговаривали меня продолжать занятия этим предметом в аспирантуре, ссылаясь на специфические трудности: в то время специалисты, отзывавшиеся о Советском Союзе положительно, получали лучший доступ к архивам и официальной информации, им разрешали дольше оставаться в стране. В противном случае тебе грозило выдворение и прочие профессиональные трудности. И, разумеется, никто из посторонних не имел доступа к каким бы то ни было материалам о лагерях при Сталине и после него. Этой темы просто не существовало, и тех, кто совал нос не в свое дело, живо выпроваживали из страны.

В совокупности все эти объяснения были достаточно убедительны — убедительны в отношении недавнего прошлого. Когда я впервые начала серьезно думать на эти темы (шел 1989 год, социалистическая система рушилась), я сама признала их убедительность: казалось естественным, неизбежным, что я так мало знаю о сталинском Советском Союзе, чья тайная история интриговала своей загадочностью. Теперь, спустя десять с лишним лет, мои ощущения стали совсем иными. Вторая мировая война уже стала достоянием предыдущего поколения. Холодная война тоже окончена, и порожденные ею союзы и международные линии раздела навсегда ушли в прошлое. Правые и левые на Западе теперь спорят о другом. Вместе с тем возникновение новых террористических угроз западной цивилизации делает изучение старых коммунистических угроз еще более важным.

Иными словами, “социальные, культурные и политические условия” теперь изменились, как и условия нашего доступа к информации о лагерях. В конце 80-х в Советском Союзе эпохи Горбачева материалы о ГУЛАГе пошли потоком. Рассказы о жизни в советских концлагерях впервые стали печататься в газетах. Журналы с новыми разоблачениями выходили огромными тиражами. Возобновились былые споры о цифрах — сколько погибло, сколько было арестовано. Российские историки и исторические общества, и в первую очередь общество “Мемориал” в Москве, начали публиковать исследовательские монографии, истории отдельных лагерей, жизнеописания узников, оценки числа пострадавших, списки погибших. Их усилия вызвали отклик и получили поддержку: в работу включились историки в бывших советских республиках и в странах распущенного Варшавского договора, а немного позднее — и западные историки.

Вопреки многим трудностям это российское исследование советского прошлого продолжается и сегодня. Да, первое десятилетие XXI века очень сильно отличается от последних десятилетий XX века, и история уже не является в России главным предметом внимания и обсуждения; к тому же она утратила былую сенсационность. Большая часть исторической работы, которую ведут российские и иностранные исследователи, — это кропотливая рутина, просеивание тысяч документов, долгие часы на сквозняках в холодных архивах, дни, потраченные на уточнение фактов и цифр. Но эта работа начинает приносить плоды. Неспешно и терпеливо “Мемориал” не только составил первый справочник названий и местоположения всех известных лагерей, но и выпустил ряд новаторских исторических книг и собрал громадный архив устных и письменных рассказов бывших заключенных. Наряду с другими организациями — Институтом Сахарова и издательством “Возвращение”, “Мемориал” сделал некоторые из этих воспоминаний достойным общественности. Российские академические журналы и издательства отдельных организаций тоже начали печатать монографии, основанные на новых документах, и сборники документов как таковых. Подобная работа ведется и в других странах — в первую очередь Центром КАРТА в Польше, но также и историческими музеями в Литве, Латвии, Эстонии, Румынии, Венгрии и некоторыми американскими и западноевропейскими учеными, решившими посвятить время и силы работе в советских архивах.

Работая над этой книгой, я опиралась на результаты их труда, а также на два других типа источников, с которыми еще десять лет назад нельзя было ознакомиться. Во-первых, это поток новых мемуаров, которые в 80-е годы начали издаваться в России, Америке, Израиле, Восточной Европе и других местах. В этой книге я широко их использовала. В прошлом некоторые исследователи советской истории не слишком склонны были опираться на воспоминания о ГУЛАГе, указывая на то, что советские мемуаристы переиначивали свои воспоминания по политическим причинам, что большая часть мемуаров писалась через много лет после освобождения их авторов, что многие, когда их подводила память, заимствовали сведения друг у друга. Однако, прочитав несколько сотен воспоминаний о лагерях и взяв интервью у двух десятков старых лагерников, я почувствовала, что могу отбраковывать недостоверное, заимствованное и политизированное. Я почувствовала также, что хотя на воспоминания и нельзя вполне положиться в отношении имен, дат и цифр, они тем не менее служат бесценным источником данных другого рода, в особенности сведений о важнейших сторонах лагерной жизни: об отношениях заключенных друг с другом, о вражде между группами, о поведении охраны и администра-

ции, о роли коррупции и даже о любви в лагерях. Я сознательно почти не опиралась на художественную литературу — исключение составляет проза Варлама Шаламова, чьи рассказы о лагерной жизни основаны на подлинных событиях.

Помимо мемуаров, я старалась как можно шире использовать архивы. Что парадоксально, эту категорию источников многие недолюбливают. Читателю этой книги станет ясно: мощь советской пропаганды была такова, что она сплошь и рядом совершенно изменяла восприятие действительности. Поэтому в прошлом историки были правы, не доверяя официально публикуемым советским документам, которые зачастую сознательно предназначались для сокрытия истины. Но у секретных документов, донные хранящихся в архивах, была иная роль. Чтобы управлять лагерями, администрация ГУЛАГа должна была вести определенную документацию. Москве необходимо было знать, что происходит на местах, люди на местах должны были получать директивы из центра, велась статистика. Я не утверждаю, что эти архивы содержат абсолютно достоверные сведения, — у бюрократов были свои резоны исказить даже самые обыденные факты, — но если подходить к архивным документам критически, они порой сообщают нам о лагерях то, чего нельзя найти в мемуарах. Самое главное — они помогают понять, зачем создавались лагеря, чего сталинский режим рассчитывал добиться подобными средствами.

Архивы, надо отметить, оказались гораздо более многообразными, чем можно было предположить, они показывают нам лагерь с многих точек зрения. Например, я получила доступ к архиву администрации ГУЛАГа, где хранятся отчеты органов прокурорского надзора, финансовые документы, донесения от начальников лагерей московскому руководству, сообщения о попытках побега, репертуары лагерных самодеятельных ансамблей. Все это находится в Государственном архиве Российской Федерации в Москве. Я также изучала стенограммы партийных собраний и документы из “особой папки” Сталина. С помощью российских историков я использовала некоторые документы из советских военных архивов и архивов лагерной охраны, где содержатся, например, списки вещей, которые арестованным разрешалось и не разрешалось брать с собой. Помимо московских, я получила доступ и к некоторым местным архивам (в Петрозаводске, Архангельске, Сыктывкаре, Воркуте и на Соловках), содержащим сведения о повседневной жизни в лагерях, а также к хранящимся в Москве архивам Дмитлага, чьи заключенные проложили канал Москва — Волга. Повсюду есть материалы о лагерном быте, бланки заказов, личные дела заключенных. Однажды мне показали объемистую часть архива небольшого лагпункта Кедровый Шор,

входившего в состав заполярного Интлага, и вежливо предложили ее купить.

В совокупности все эти источники позволяют писать о лагерях по-новому. В этой книге мне уже не нужно было сталкивать версию горстки диссидентов с версией советского правительства. Мне не нужно было искать середину между мнением эмигрантов из СССР и официальным мнением властей. Вместо этого для описания событий я могла дать слово многим несхожим между собой людям — охранникам, сотрудникам “органов”, заключенным разных категорий, отбывавшим разные сроки в разное время. Эмоции и политика, которыми долго была проникнута историография советских концлагерей, не играют в этой книге существенной роли. Главное внимание в ней уделено опыту узников.

Эта книга — история советских концлагерей со времени их возникновения в годы большевистской революции, история их превращения в важную часть советской экономики, история частичного демонтажа лагерной системы после смерти Сталина. В этой книге говорится и о наследии ГУЛАГа: несомненно, порядки и обычаи, царившие в советских лагерях для политзаключенных и уголовников в 70-е и 80-е годы, развились непосредственно из порядков и обычаев предшествующей эпохи, и поэтому без последнего периода лагерная история была бы неполной.

В то же время я стремилась дать читателю представление о жизни в ГУЛАГе, и поэтому книга рассказывает о лагерях двумя способами. Первая и третья ее части построены хронологически. Они последовательно описывают эволюцию лагерей и их управления. Вторая часть посвящена лагерной жизни и построена по тематическому принципу. Большинство примеров и цитат в этой части относятся к 40-м годам, когда лагеря достигли высшей степени развития, однако нередко, нарушая хронологию, я обращалась и к временам более поздним и более ранним. Некоторые стороны лагерной жизни менялись с годами, и я сочла нужным объяснить, как это происходило.

Сказав, что в этой книге есть, я хотела бы теперь сказать, чего в ней нет. Это не история СССР, не история чисток, не история репрессий в целом. Это не история правления Сталина и его политбюро. Это не рассказ о его карательных органах, чью сложную административную историю я сознательно постаралась, насколько возможно, упростить. Хотя я использовала многое из того, что написали советские диссиденты, зачастую находясь под огромным давлением и проявляя огромную отвагу, эта книга не содержит полной истории движения за гражданские права в Советском Союзе. Она не отдает в полной мере должное отдельным народам и отдельным категориям заключенных — полякам, прибалтийцам, украинцам, чеченцам, не-

мецким и японским военнопленным, которые пострадали от советского режима как в лагерях, так и вне их. Она не исследует в полном объеме массовые убийства 1937–1938 годов, которые большей частью происходили за пределами лагерей, и не исследует уничтожение тысяч польских офицеров в Катюни и в других местах. Поскольку книга рассчитана на массового читателя и не предполагает глубокого знания им советской истории, все эти события и явления в ней упомянуты. Однако невозможно было бы в рамках этой книги отдать им должное сполна.

Может быть, самое важное — что она почти не затрагивает историю миллионов “спецпереселенцев”, которых зачастую лишали свободы в то же время и по тем же причинам, что и будущих узников ГУЛАГа, но отправляли не в лагеря, а в отдаленные поселки для ссыльных, где многие тысячи из них умерли от голода, холода и непосильной работы. Одних — например, кулаков в 30-е годы — ссылали по политическим причинам. Других — в частности, поляков, прибалтийцев, украинцев, немцев Поволжья, чеченцев в 40-е годы — по причинам национальным. Их судьба в Казахстане, в Средней Азии, в Сибири была очень разной — слишком разной, чтобы можно было рассказать о них в этой книге, посвященной лагерям. Я упоминала об этих людях лишь эпизодически, когда их опыт казался мне особенно близким к опыту заключенных ГУЛАГа или помогающим пролить на него свет. Но хотя их история тесно связана с историей ГУЛАГа, чтобы рассказать ее полностью, понадобилась бы еще одна книга такого же объема. Надеюсь, вскоре кто-нибудь ее напишет.

Хотя здесь идет речь о советских концлагерях, их невозможно рассматривать как изолированное явление. ГУЛАГ рос и развивался в определенное время и в определенном месте, параллельно происходили другие события, и он принадлежит по меньшей мере к трем разным контекстам. Строго говоря, ГУЛАГ, во-первых, принадлежит к истории Советского Союза; во-вторых, к международной и российской истории тюрем и ссылки; в-третьих, к истории особого интеллектуального климата в континентальной Европе в середине XX века, породившего также и нацистские концлагеря в Германии.

Под словами “принадлежит к истории Советского Союза” я имею в виду нечто вполне конкретное: ГУЛАГ не явился в готовом виде из вод морских, в нем отразились нормы существовавшего общества. Если лагеря были мерзкими, а охранники — жестокими, если работали в лагерях из-под палки и кое-как, то причина отчасти в том, что мерзости, жестокости и кое-как выполненной из-под палки работы хватало и в других областях советской действительности. Если существование лагерников было ужасным, невы-

носимым, нечеловеческим, если смертность среди них была огромна — этому тоже трудно удивляться. В определенные годы жизнь в Советском Союзе была в целом ужасной, невыносимой, нечеловеческой, и смертность была высокой не только в лагерях, но и “на воле”.

Разумеется, не случайно первые советские лагеря стали создаваться сразу же после революции с ее кровью, жестокостью и хаосом. Во время революции, террора и гражданской войны многим в России показалось, что безвозвратно рушится сама цивилизация. “Смертные приговоры выносились произвольно, — пишет историк Ричард Пайпс. — Людей расстреливали без всякой причины и столь же беспричинно выпускали”¹⁶. После 1917 года вся общественная система ценностей была поставлена с ног на голову: богатство и профессиональный опыт, накопленные в течение всей жизни, стали источником риска, грабеж был объявлен “национализацией”, убийство стало законным способом осуществления диктатуры пролетариата. В этой атмосфере взятие Лениным под стражу тысяч людей по причине одного лишь былого богатства или дворянского титула не казалось чем-то из ряда вон выходящим.

Точно так же высокая смертность в лагерях в определенные годы в какой-то мере отражала события, происходившие по всей стране. Смертность среди заключенных выросла в начале 30-х, когда во многих регионах Советского Союза царил голод. Она опять выросла во время Второй мировой войны: вторжение Германии стоило Советскому Союзу не только миллионов убитых на полях сражений, оно вызвало эпидемии дизентерии и тифа, а также новый голод как в лагерях, так и вне их. Зимой 1941–1942 годов, когда от голода умерло, возможно, около миллиона жителей блокадного Ленинграда, от нехватки продовольствия погибла и четверть заключенных ГУЛАГа¹⁷. Лидия Гинзбург в “Записках блокадного человека” писала: “Голод перманентен, невыключаем. Он присутствовал неотступно и сказывался всегда (не обязательно желанием есть) мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения”¹⁸. Читатель увидит, что ее слова зловеще перекликаются с воспоминаниями бывших узников.

Ленинградцы, правда, умирали дома, тогда как ГУЛАГ раздирал жизни на части, разрушал семьи, отрывал детей от родителей, принуждал миллионы людей жить в отдаленных диких местах в тысячах километров от родных. Тем не менее страшный опыт заключенных вполне выдерживает сравнение с жуткими воспоминаниями “свободных” советских граждан — таких как Елена Кожина, которая была эвакуирована из Ленинграда в феврале 1942 года. В дороге у нее на глазах умерли от голода брат, сестра и бабушка. Приближа-

лись немцы. Елена и ее мать шли по степи и видели вокруг себя “беспорядочное бегство. <...> Мир разлетался на тысячи кусков. Повсюду дым и ужасающий запах гари. В степи было нечем дышать, нас точно сдавил раскаленный, закопченный кулак”. Хотя Кожина не побывала в лагерях, она пережила ужасный холод, голод и страх, когда ей не было еще и десяти, и воспоминания о них преследовали ее всю жизнь. Ничто, писала она, “не могло заставить меня забыть мертвого Вадика, которого выносили под одеялом, предсмертную агонию Тани и то, как мы с мамой, последние оставшиеся в живых, шли сквозь дым и грохот по пылающей степи”^{19*}.

У заключенных ГУЛАГа и остальных жителей СССР было много общего помимо страданий. Как в лагерях, так и за их пределами можно было увидеть один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Однажды, работая над этой книгой, я описала своему польскому другу лагерную систему *туфты* (создания видимости выполненной работы), о которой пойдет речь ниже. Друг расхохотался: “Ты думаешь, это заключенные изобрели? Весь советский блок занимался туфтой”. В сталинском Советском Союзе разница между жизнью по одну и другую сторону колючей проволоки не была фундаментальной, это был всего лишь вопрос степени. Видимо, поэтому ГУЛАГ нередко описывали как квинтэссенцию советской системы, ее наиболее полное выражение. Даже на лагерном жаргоне внешний мир часто называли не “волей”, а “большой зоной”, более обширной и не такой смертоносной, как “малая зона”, но отнюдь не более человеческой.

Но если ГУЛАГ нельзя полностью отделить от жизни остальной части Советского Союза, точно так же история советских лагерей составляет неотъемлемую часть долгой, интернациональной, кросс-культурной истории тюрем, ссылки, лишения свободы и концентрационных лагерей. Отправка провинившихся и неугодных в отдаленные места, где они смогут “отдать долг обществу”, принести пользу и не будут заражать остальных своими идеями и преступными наклонностями, — практика столь же древняя, как и сама цивилизация. Правители античного Рима и Греции выслали своих “диссидентов” в дальние колонии. Сократ предпочел смерть такому несчастью, как изгнание из Афин. Овидия отправили в захолустный порт на Черном море. Власти георгианской Британии посылали воров и карманников в Австралию. Французские преступники в XIX

* Воспоминания Е. Кожиной опубликованы в переводе на английский. Цитаты даны здесь в обратном переводе. — *Прим. перев.*

веке отбывали срок в Гвиане. Португальцы отправляли свои нежелательные элементы в Мозамбик²⁰.

Впрочем, в 1917 году вождям Советской России не надо было искать прецеденты в других странах. По крайней мере, с XVII века в России действовала своя собственная система ссылки: первое упоминание о ней в российском законодательстве датируется 1649 годом. Ссылку в то время считали новым видом наказания, куда более гуманным, чем смертная казнь, клеймение или нанесение увечий, и к ней присуждали за многие преступления, мелкие и крупные, от пользования нюхательным табаком и гадания до убийства²¹. Ссылку в том или ином виде испытали на себе многие российские мыслители и писатели, в том числе Пушкин, а те, кто не испытал, порой мучительно размышляли о судьбе ссыльных. В 1890 году Антон Чехов, уже известный писатель, удивил всех поездкой на Сахалин, где он посетил и описал места заключения и ссылки. Незадолго до отъезда он в письме озадаченному издателю объяснил причины своего поступка: “Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников <...> но нам до этого дела нет, это неинтересно”²².

Ретроспективный взгляд позволяет увидеть в системе наказания царских времен многое из того, что позднее применялось в советском ГУЛАГе. В частности, как и ГУЛАГ, сибирская ссылка всегда предназначалась не только для преступников. Согласно закону 1736 года, крестьянские общества могли выносить приговоры об удалении из села лиц, “дальнейшее пребывание коих в этой среде угрожает местному благосостоянию и безопасности”. Такого человека лишали имущества, и если он не находил себе пристанища поблизости, его могли выслать в отдаленные края²³. Об этом законе в 1948 году вспомнил Хрущев, предлагая высылать недостаточно трудолюбивых колхозников (соответствующий указ был издан 2 июня 1948 г.)²⁴.

Практика отправки в ссылку тех, кто просто не вписывался в окружение, была в ходу и в XIX веке. В книге “Сибирь и ссылка” Джордж Кеннан, дядя известного американского дипломата, описал систему “ссылки административным порядком”, которую он наблюдал в России в 1891 году: “Человек может быть невиновен в совершении какого-либо преступления... но если, по мнению местных властей, его пребывание в определенном месте “вредно для общественного порядка” или “несовместимо с общественным спокойствием”, он может быть арестован без ордера на арест, помещен в тюрьму на срок от двух недель до двух лет и затем насильно выве-

зен в любое место в пределах империи и определен под надзор полиции на срок от одного года до десяти лет”²⁵.

Административная ссылка без суда и следствия идеально подходила, чтобы наказывать не только заурядных нарушителей порядка, но и политических противников режима. Поначалу многие из них были польскими дворянами, протестовавшими против российского владычества над их родиной. Позднее ссылке подвергались представители религиозных меньшинств и члены революционных групп и тайных обществ, в том числе большевики. Самыми известными сибирскими поселенцами XIX века были именно политические ссыльные — декабристы, которых, правда, сослали не административным порядком, а по приговору суда²⁶. Другим знаменитым политическим заключенным был Федор Достоевский, приговоренный в 1849 году к четырем годам каторги. Возвратившись, он опубликовал “Записки из Мертвого дома” — самое известное описание жизни каторжников в царской России.

Как и ГУЛАГ, дореволюционная система лишения свободы служила не только целям наказания. Правители России старались использовать заключенных и ссыльных (как уголовников, так и политических) для решения экономической проблемы, стоявшей на протяжении столетий: из-за малонаселенности востока и севера страны России трудно было разрабатывать свои природные ресурсы. Поэтому еще в XVIII веке людей начали приговаривать к принудительному труду — каторге (от греч. *kateirgon* — принуждать). Каторга имела в России долгую предысторию. В начале XVIII века Петр Великий использовал крепостных крестьян и взятых под стражу преступников для постройки дорог, крепостей, мануфактур, судов и самой столицы — Санкт-Петербурга. В 1722 году он издал указ об отправке преступников с женами и детьми в Восточную Сибирь на серебряные рудники Даурии²⁷.

В свое время такое использование Петром принудительного труда считалось большим экономическим и политическим достижением. История сотен тысяч крепостных, работавших на стройке Санкт-Петербурга, оказала громадное воздействие на позднейшие поколения. Многие погибли из-за тяжелых условий, но город стал символом прогресса и европеизации. Методы были жестокими — но нация в целом выиграла. Примером Петра, возможно, объясняется столь рьяное использование каторги его последователями на российском престоле. Без сомнения, Сталин тоже был высокого мнения о его подходе к строительству.

Тем не менее в XIX веке каторга оставалась сравнительно редкой формой наказания. В 1906 году срок отбывало всего около 6000 каторжан; в 1916-м, в канун революции, их было только 28 600²⁸. Гораздо большее экономическое значение имела другая категория

приговоренных — поселенцы, отправленные в малонаселенные районы страны, выбранные благодаря своему экономическому потенциалу. Только между 1824 и 1889 годом в Сибирь было сослано около 720 000 человек. Многие поехали с семьями. Именно они, а не каторжники в кандалах, постепенно заселили необъятные, богатые полезными ископаемыми просторы²⁹.

Их приговоры нередко были очень суровыми, и некоторые поселенцы завидовали каторжанам. В отдаленных, почти безлюдных местах с неплодородной землей многие умерли от голода, не протянув долгую зиму, или спились от тоски. Там было очень мало женщин — их доля никогда не превышала 15 процентов. Почти не было книг, никаких развлечений³⁰.

Пересекая Сибирь по пути на Сахалин, Антон Чехов встретил и описал некоторых интеллигентных ссыльных: “Большинство из них бедно, малосильно, дурно образованно и не имеет за собою ничего, кроме почерка, часто никуда не годного. Одни из них начинают с того, что по частям распродают свои сорочки из голландского полотна, простыни, платки, и кончают тем, что через 2–3 года умирают в страшной нищете...”³¹.

Впрочем, не все ссыльные владели тяжкое существование, не все опускались. Сибирь далеко от европейской части России, и тамошние власти порой проявляли большую снисходительность: образованность и хорошее происхождение были в дефиците. Зажиточные ссыльные и бывшие заключенные иной раз создавали большие поместья. У знающих людей возникала медицинская или юридическая практика, некоторые открывали школы³². Княгиня Мария Волконская, жена декабриста Сергея Волконского, пожертвовала деньги на постройку театра и концертного зала в Иркутске; хотя формально она, как и ее муж, была лишена дворянского звания, о приглашении к ней на вечер или званый обед мечтали многие, и эти приглашения обсуждались даже в Москве и Санкт-Петербурге³³.

К началу XX века система стала менее суровой. Волна тюремных реформ, прокатившаяся по Европе в XIX столетии, дошла наконец до России. Режим для осужденных смягчился, охраняли их уже не так жестко³⁴. Поистине для небольшой группы людей, которые впоследствии возглавили российскую революцию, пребывание в Сибири по сравнению с тем, что пришло позже, было если не поездкой на курорт, то все же не слишком тяжелым наказанием. Политические имели больше прав, чем уголовники, и большевикам разрешалось в тюрьме читать книги, пользоваться бумагой и письменными принадлежностями. Серго Орджоникидзе вспоминал, что, сидя в Шлиссельбургской крепости, он прочел Адама Смита, Рикардо, Плеханова, Уильяма Джеймса, Фредерика У. Тейлора, Достоевского, Ибсена и других авторов³⁵. Большеви-

ки в тюрьмах неплохо питались, прилично одевались и даже могли заботиться о прическах. На фотографии Троцкого, сделанной в 1906 году в Петропавловской крепости, на нем очки, костюм, галстук и рубашка с безукоризненно белым воротничком. Местоположение выдает лишь глазок в двери позади него. Другой снимок, сделанный в 1900-м в восточносибирской ссылке, показывает его в меховой шапке и шубе, в окружении других мужчин и женщин, тоже очень добротной одетых и обутых. Полстолетия спустя в ГУЛАГе такой гардероб сочли бы роскошью.

А если жизнь в царской ссылке все же становилась слишком неприятной, всегда был путь к спасению. Сталина арестовывали и ссылали четыре раза, и трижды он бежал: один раз из-под Иркутска и дважды из-под Вологды, из тех мест, которые впоследствии покрывались сетью лагерей³⁶. В результате его презрение к “беззубости” царского режима не знало границ. Его российский биограф Дмитрий Волкогонов сформулировал это так: “Можно было не работать, сколько угодно читать и даже бежать”³⁷.

Так благодаря опыту сибирской ссылки большевики получили образец для подражания и сделали вывод о необходимости чрезвычайно жесткой карательной системы.

Если ГУЛАГ — неотъемлемая часть как советской, так и российской истории, то он неотделим и от истории Европы: в XX веке Советский Союз не был единственной европейской страной, где утвердился тоталитарный строй и возникла система концлагерей. Хотя сравнение советских и нацистских лагерей не является задачей данной книги, полностью обойти эту тему невозможно. Две системы были построены примерно в одно время и на одном континенте. Гитлер знал о советских лагерях, Сталин знал о холокосте. Некоторые люди побывали и в тех, и в других лагерях и описали их. В своей основе сталинская и гитлеровская системы родственны между собой.

Они родственны прежде всего потому, что нацизм и советский коммунизм родились из варварского опыта Первой мировой войны и российской гражданской войны. Индустриальные способы ведения боевых действий, широко использовавшиеся в обоих конфликтах, вызвали в то время сильнейший интеллектуальный и художественный отклик. Хуже замечено — не миллионами жертв, конечно, они-то заметили это хорошо — широкое распространение индустриальных способов лишения людей свободы. С 1914 года обе воевавшие стороны сооружали по всей Европе лагеря для интернированных и военнопленных. В 1918-м на территории России находилось 2,2 миллиона военнопленных. Создание этих и более поздних лагерей стало возможным благодаря новым техно-

логиям массового производства огнестрельного оружия и колючей проволоки. Некоторые из первых советских лагерей были сооружены на месте лагерей для военнопленных Первой мировой войны³⁸.

Советские и нацистские лагеря родственны еще и потому, что и те и другие принадлежат к более обширной истории концлагерей, начавшейся в конце XIX века. Под словом “концлагерь” я имею в виду лагерь, предназначенный для содержания людей не за то, что они сделали, а за то, кем они являются. В отличие от лагерей для уголовных преступников или военнопленных, концлагеря создавались для определенных групп гражданских лиц, не совершавших преступлений, — для “враждебных”, “социально опасных” элементов или для тех, кого из-за национальности или предполагаемой политической ориентации считали опасными для общества или чуждыми ему³⁹.

Если следовать этому определению, то первые концлагеря в современном смысле возникли не в Германии и не в России, а в 1895 году на Кубе, которая была тогда колонией Испании. В том году, пытаясь положить конец череде восстаний на острове, королевская Испания начала проводить в жизнь политику “сосредоточения” (*reconcentración*), целью которой было согнать кубинских крестьян с земли и “сосредоточить” их в лагерях, лишая тем самым повстанцев продовольствия, укрытия и поддержки. К 1900 году от испанского слова уже было образовано английское, которое использовалось для обозначения сходного британского мероприятия во время англо-бурской войны в Южной Африке.

Оттуда идея пошла гулять дальше. Представляется очень вероятным, к примеру, что термин “концлагерь” появился в русском языке как перевод английского *concentration camp* — возможно, благодаря знакомству Троцкого с историей англо-бурской войны⁴⁰. В 1904-м немецкие колонисты в Германской Юго-Западной Африке тоже использовали британский образец — правда, с одним изменением. Они не просто согнали в лагерь африканское племя гереро, но и заставили людей работать для пользы немецкой колонии.

Прослеживается ряд странных и зловещих связей между этими первыми германо-африканскими лагерями принудительного труда и теми, что возникли в нацистской Германии три десятилетия спустя. В частности, именно благодаря этим южноафриканским трудовым поселениям в 1905 году в немецком языке впервые появилось слово *Konzentrationslager*. Первым имперским комиссаром в Германской Юго-Западной Африке был доктор Генрих Геринг — отец Германа Геринга, создавшего первые нацистские лагеря в 1933 году. В этих же африканских лагерях прошли первые немецкие медицинские эксперименты на людях: Теодор Моллисон и Ойген

Фишер, два учителя Йозефа Менгеле, использовали в качестве подопытного материала людей из племени гереро, причем Фишер пытался при этом обосновать свою теорию превосходства белой расы. Он не был одинок в своих убеждениях. В 1912 году в Германии вышла и приобрела немалую популярность книга “Немецкая идея в мире”. В ней говорилось: “Ничто не может убедить разумных людей в том, что сохранение какого-либо из кафрских племен Южной Африки важнее для будущего человечества, чем развитие великих европейских наций и белой расы в целом. <...> Лишь когда туземное население научится делать что-либо полезное для высшей расы, <...> о нем можно будет сказать, что оно имеет моральное право на существование”⁴¹.

Хотя эта концепция редко излагалась с такой ясностью, подобные настроения часто проглядывают за колониальной практикой. Безусловно, некоторые формы колониализма помогли утвердиться мифу о превосходстве белой расы и способствовали легитимизации насилия одной расы в отношении другой. Можно утверждать поэтому, что дурной пример некоторых европейских колонизаторов прокладывал дорогу европейскому тоталитаризму XX века⁴². И не только европейскому: Индонезия — пример постколониального государства, чьи правители сразу отправили своих политических противников в концлагеря точно так же, как раньше поступали колонизаторы.

Российская империя, успешно подавлявшая туземные народы при своем продвижении на восток, не была исключением. В романе Толстого “Анна Каренина” во время одного из званых обедов муж Анны, занимавшийся по долгу службы делами инородцев, рассуждает об их обрусении “вследствие высших принципов”⁴³. Большевики, как и все мало-мальски образованные русские, наверняка знали об угнетенном положении киргизов, бурят, тунгусов, чукчей и других народов в Российской империи. Тот факт, что это их не особенно беспокоило (а ведь они много говорили о судьбе обездоленных) сам по себе показателен.

Впрочем, создателям европейских концлагерей, конечно же, не требовалось исчерпывающего знания истории Южной Африки или Восточной Сибири. Представление о том, что одни категории людей стоят выше других, было достаточно распространено в Европе начала XX века. И это в конечном счете связывает лагеря Советского Союза и нацистской Германии в самом глубоком смысле: оба режима утверждали себя, помимо прочего, за счет того, что устанавливали категории “врагов” или “людей низшего сорта”, которых они преследовали и уничтожали в массовых масштабах.

В нацистской Германии первыми жертвами стали калеки и умственно отсталые. За ними последовали цыгане, гомосексуалисты

и, конечно же, евреи. В Советской России в первую очередь репрессиям подверглись “бывшие люди”, считавшиеся сторонниками свергнутого режима. Позднее возникло расплывчатое понятие “врагов народа”, включавшее в себя не только тех, кого считали политическими противниками режима, но и некоторые этнические группы, казавшиеся руководству (по столь же расплывчатым причинам) угрозой советскому государству или власти Сталина. В разные периоды Сталин санкционировал массовые аресты поляков, прибалтийцев, чеченцев, крымских татар и — накануне своей смерти — евреев⁴⁴.

Хотя эти категории устанавливались не вполне произвольно, они никогда не были абсолютно стабильны. Полстолетия спустя Ханна Арендт писала, что и нацистский, и большевистский режимы создавали себе “объективных оппонентов” или “объективных врагов”, чьи “отличительные черты меняются в зависимости от обстоятельств — так что, когда одна категория ликвидирована, война может быть объявлена другой”. “Задача тоталитарной полиции, — добавила она, — не раскрывать преступления, а быть под рукой, когда правительство решит арестовать определенную категорию населения”⁴⁵. Опять-таки речь идет о репрессиях против граждан не за то, что они сделали, а за то, кем они являются.

В обоих обществах создание концлагерей было завершающей стадией долгого процесса дегуманизации этих “объективных врагов” — процесса, начинавшегося с риторики. Гитлер писал в “Майн кампф”, как он внезапно осознал, что в трудностях Германии виноваты евреи, что с ними связаны все сомнительные, грязные делишки в общественной жизни: “Вскрывая этот нарыв скальпелем, медленно обнаруживаешь, точно личинку в разлагающемся теле, маленького еврейчика, ослепленного внезапным светом...”⁴⁶.

Ленин и Сталин тоже с самого начала винили в многочисленных экономических трудностях страны неких врагов — “вредителей”, “саботажников”, агентов иностранных держав. В конце 30-х годов, когда волна арестов круто пошла вверх, Сталин продвинул свою риторику дальше: начал клеймить “врагов народа” как вредоносных паразитов, как “ядовитые сорняки”. Он называл своих противников “скверной”, от которой партия “очищает себя”. Это было очень похоже на нацистскую пропаганду, ассоциировавшую евреев с образами паразитов, вредоносных насекомых, носителей заразы⁴⁷.

За демонизацией “врага” следовала его правовая изоляция. До того как евреев начали отправлять в лагеря, их лишили статуса граждан Германии. Им запретили поступать на государственную службу, работать юристами, судьями; запретили браки с лицами арийской расы; запретили посещать арийские школы; запретили

вывешивать немецкий флаг; предписали носить желтую звезду Давида. Их стали избивать и унижать на улицах⁴⁸. В сталинском Советском Союзе “врагов народа” до ареста публично унижали на собраниях, увольняли с работы, исключали из партии. С ними разводились жены и мужья, от них отрекались дети.

В лагерях дегуманизация усиливалась и доводилась до крайности, что делало жертвы более покорными и укрепляло веру палачей в законность своих действий. В составившем целую книгу интервью с Францем Штанглем, бывшим начальником концлагеря Трешлинка, журналистка Гита Серени спросила его, почему заключенных перед уничтожением еще и били, унижали, раздевали. Штангль ответил: “Чтобы привести в нужное состояние надзирателей. Чтобы они могли делать свое дело”⁴⁹. В книге “Организованный террор: концентрационный лагерь” немецкий социолог Вольфганг Софски показал, с какой методичностью дегуманизация заключенных внедрялась во все стороны жизни в нацистских лагерях, от одинаковой рваной одежды до невозможности уединиться, тяжелой регламентации и постоянного ожидания смерти.

В советской системе дегуманизация, как мы увидим, тоже начиналась с самого момента ареста: человека лишали собственной одежды и индивидуальности, лишали сообщения с окружающим миром, допрашивали с применением пыток и подвергали фарсу суда (а то и наказывали без суда). Придавая дегуманизации особый советский оттенок, заключенных сознательно как бы исключали из советской жизни: им запрещали обращаться друг к другу “товарищ”, а в 1937 году их лишили права получать звание ударника, как бы хорошо они ни вели себя и как бы производительно ни работали. Многие бывшие заключенные отмечали, что портреты Сталина, висевшие в квартирах и служебных помещениях по всему СССР, крайне редко можно было видеть в лагерях и тюрьмах.

Это, конечно, ни в коей мере не означает, что советские и нацистские лагеря были одинаковы. Читатель, имеющий хотя бы поверхностное представление о холокосте, увидит из этой книги, что жизнь в советской лагерной системе во многих отношениях, как очевидных, так и скрытых, отличалась от жизни в нацистской лагерной системе. Различия касались повседневной жизни и работы, охраны, наказаний, пропаганды. ГУЛАГ существовал дольше и прошел через циклы относительной суровости и мягкости. История нацистских лагерей короче и содержит меньше вариаций: они просто становились все более и более жестокими, пока их не ликвидировали отступающие немцы или не освободили наступающие союзники. Кроме того, советские лагеря были очень разными — от смертельных золотых приисков Колымы до “при-

вилегированных” секретных институтов под Москвой, где арестанты-ученые разрабатывали оружие для Красной Армии. Хотя в нацистской системе тоже были разные типы лагерей, их спектр был гораздо уже.

Однако два различия между системами представляются мне фундаментальными. Во-первых, понятие “врага” в Советском Союзе всегда было гораздо более расплывчатым, чем термин “еврей” в нацистской Германии. При крайне малом количестве исключений никакой еврей в нацистской Германии не мог изменить свой статус, никакой еврей в концлагере не имел оснований надеяться сохранить жизнь, и все евреи постоянно это сознавали. Что же касается советской системы, в ней миллионы заключенных боялись гибели — и миллионы погибли, — но не было ни одной категории узников, для которой гибель была бы абсолютно гарантирована. Порой заключенный мог улучшить свое положение, перейдя на более легкую работу — например, инженера или геолога. В каждом лагере существовала иерархия заключенных, в которой кое-кому удавалось подняться либо за счет других, либо с помощью других. Когда ГУЛАГ оказывался “перегружен” женщинами, детьми и стариками, или же когда фронту нужны были солдаты, проводились массовые амнистии. Иногда улучшение наступало для целых категорий “врагов”. Например, в 1939-м, вскоре после начала Второй мировой войны, Сталин арестовал сотни тысяч поляков, но в 1941-м, когда Польша и СССР стали союзниками, он немедленно выпустил их из ГУЛАГа. Верно и обратное: в Советском Союзе тюремщики иногда переходили в разряд жертв. Охранники ГУЛАГа, работники лагерной администрации и даже крупные чины “органов” могли подвергнуться аресту и оказаться на нарах. Иными словами, не каждый “ядовитый сорняк” оставался “ядовитым” навсегда — и не было такой категории заключенных, которая жила бы в лагере без всякой надежды, в ожидании неминуемой смерти⁵⁰.

Во-вторых, как читателю опять же станет ясно из последующего, — главное назначение ГУЛАГа было экономическим. Это явствует, помимо прочего, из повседневного словоупотребления и публичных заявлений его основателей. Это вовсе не означает, что ГУЛАГ был гуманен. Система обращалась с заключенными как с рабочим скотом или, точнее, как с кусками железной руды. Охрана перемещала их туда-сюда, загружала в вагоны и выгружала, взвешивала, измеряла, кормила, если рассчитывала извлечь из них пользу, морила голодом, если не рассчитывала. Их, пользуясь марксистским языком, эксплуатировали, овеществляли и превращали в товар. Если они не были продуктивны, их жизнь в глазах хозяев ничего не стоила.

Тем не менее их судьба очень сильно отличалась от судьбы евреев и людей других национальностей, которых нацисты посылали не в концентрационный лагерь, а в *Vernichtungslager* — лагерь уничтожения. Таких было четыре: Бельзек, Хелмно, Собибор и Трешлинка. Майданек и Освенцим были одновременно лагерями принудительного труда и лагерями смерти. Попавшие в них заключенные сортировались. Ничтожное меньшинство отправляли на несколько недель на принудительные работы, остальные же шли прямо в газовые камеры. Их убивали и немедленно кремировали.

Насколько я могла установить, этот конкретный вид убийства, практиковавшийся в разгар холокоста, не имел советского эквивалента. В Советском Союзе были свои способы расправляться с сотнями тысяч граждан страны. Обычно людей не везли для этого в концлагерь, а гнали ночью в лес, выстраивали цепью, убивали выстрелами в затылок и закапывали в массовых могилах — способ не менее “индустриальный” и безличный, чем нацистский. Хотя, надо сказать, есть сведения об использовании советскими “органами” для убийства заключенных выхлопных газов. Именно так в ранние годы поступали нацисты⁵¹. Советские заключенные гибли и внутри ГУЛАГа — чаще, однако, не из-за целенаправленной работы администрации, а из-за ее преступного небрежения⁵². В определенных советских лагерях и в определенные периоды тем, кто работал зимой на лесоповале или добывал на Колыме золото, смерть была практически обеспечена. Узников также сажали в штрафные изоляторы, где они гибли от голода и холода, оставляли без медицинской помощи в нетопленых больничных бараках или просто расстреливали “при попытке побега”. Тем не менее советская лагерная система в целом не была сознательно организована как фабрика смерти, даже если она временами ею становилась.

Это тонкие, но значимые различия. Хотя ГУЛАГ и Освенцим, безусловно, принадлежат к одной интеллектуальной и исторической традиции, они четко отличаются не только друг от друга, но и от систем лагерей, созданных другими режимами. Общая идея концентрационного лагеря использовалась во многих культурах и в разных ситуациях, но даже поверхностное изучение кросс-культурной истории лагерей показывает, что конкретные детали — как была организована лагерная жизнь, как лагеря развивались во времени, насколько жестко они были организованы, насколько они были жестоки или либеральны — зависят от страны, культуры и политического режима⁵³. Для здоровья и самой жизни тех, кто оказывался за колючей проволокой, эти детали часто имели решающее значение.

Однако, читая воспоминания людей, переживших советский или нацистский лагерь, обращаешь внимание не столько на различие

между двумя системами, сколько на различия в конкретном опыте жертв. Каждая история имеет свои неповторимые черты, каждый лагерь нес разным людям свои особые ужасы. В Германии можно было умереть от жестокости, в России — от отчаяния. В Освенциме люди задыхались в газовых камерах, на Колыме замерзали в снегу. Можно было погибнуть в немецком лесу и сибирской тундре, в шахте и вагоне. Но в конечном счете история твоей жизни — всегда твоя собственная история.

Часть первая

Возникновение ГУЛАГа.
1917—1939 гг.

Глава 1

Большевистское начало

*Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век.
И с бессмысленной улыбкой
Всять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.*

Осип Манделштам. Век

Одна из целей моих воспоминаний — развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936–1937 гг. Я думаю, что в будущем статистика арестов и расстрелов покажет, что волны арестов, казней, высылки надвинулись уже с начала 1918 года, еще до официального объявления осенью этого года “красного террора”, а затем прибой все время нарастал до самой смерти Сталина...

Дмитрий Лихачев. Воспоминания

В 1917-м по России прокатились две волны революции. Они смели общество, сложившееся в Российской империи, как карточный домик. Началась Гражданская война, но насилие применялось не только на полях сражений. Большевики всеми силами старались подавить любые формы интеллектуальной и политической оппозиции. Они подвергли репрессиям не только деятелей старого режима, но и социалистов: меньшевиков, анархистов, социалистов-революционеров. Относительный мир в новом советском государстве установился только в 1921 году.

В обстановке насилия, произвола и импровизации возникли первые советские лагеря принудительного труда. Как и многие другие большевистские учреждения, они создавались *ad hoc*, в спешке, в горячке чрезвычайных мер Гражданской войны. Это не означает, однако, что их идея никому не приходила в голову раньше. За три недели до Октябрьской революции Ленин уже набрасывал в общих чертах программу “трудовой повинности” для капиталистов и богатей вообще. В январе 1918 года, разозленный антибольшевистским сопротивлением, он пошел еще дальше. Он телеграфировал Антонову-Овсеенко: “Особенно одобряю и приветствую арест миллионеров-саботажников в вагоне I и II класса. Советую отправить их на полгода на принудительные работы в рудники”¹.

Взгляд Ленина на трудовые лагеря как на специфическую форму наказания для враждебного класса буржуазии вполне соответствовал его общим представлениям о преступлении и преступниках. С одной стороны, первый советский лидер испытывал двойственные чувства по поводу заключения в тюрьму и наказания обычных преступников — воров, карманников, убийц, — которых он считал потенциальными союзниками. По его мнению, “коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их”.

С устранением этой главной причины, полагал он, эксцессы неизбежно начнут отмирать. Поэтому для сдерживания преступников не требуется никаких особых наказаний: со временем революция как таковая избавит общество от преступлений. Некоторые формулировки первого большевистского уголовного кодекса должны греть душу самых радикальных и прогрессивных западных сторонников реформ системы наказания².

С другой стороны, Ленин, как и большевистские теоретики права, которые шли по его стопам, считал, что создание советского государства порождает преступника нового типа — “классового врага”, который иногда открыто, а чаще тайно стремится уничтожить завоевания революции. Классового врага труднее выявить, чем обычного правонарушителя, и намного труднее перевоспитать. В отличие от обыкновенного преступника, классовому врагу нельзя доверять, когда он обещает сотрудничать с советской властью, и он заслуживает более сурового наказания, чем простой вор или убийца. Не случайно в большевистском “Декрете о взяточничестве”, изданном в мае 1918-го, говорилось, что если преступление совершено лицом, принадлежащим к имущему классу, которое пользуется взяткой для сохранения или приобретения привилегий, связанных с правом собственности, то оно приговаривается “к наиболее тяжким и неприятным принудительным работам и все его имущество подлежит конфискации”³.

Иными словами, с первых дней нового советского государства людей наказывали не за то, что они сделали, а за то, кем они являются.

К несчастью, никто ясно не объяснил, как именно должен выглядеть “классовый враг”. В результате после большевистского переворота количество всевозможных арестов пошло по нарастающей. После ноября 1917 года революционные трибуналы, состоявшие из наспех подобранных “сторонников” революции, начали вершить суд над взятыми наугад ее “противниками”. Тюремное заключение, принудительные работы и даже смертная казнь — таковы были приговоры, произвольно выносившиеся банкирам, женам торговцев, “спекулянтам”, бывшим надзирателям царских тюрем и вообще всем, кто внушал подозрение⁴.

Понятие о том, кто есть “враг”, менялось от места к месту и порой перекрывалось понятием “военнопленный”. Занимая тот или иной город, возглавляемая Троцким Красная Армия часто брала заложников из числа буржуазии, которых угрожала расстрелять в случае возвращения белых. Заложников можно было использовать в качестве рабочей силы: нередко их заставляли рыть траншеи и строить укрепления⁵. Разграничение между политическими заключенными и обычными преступниками было столь же произвольным. Необразованные члены чрезвычайных комиссий и революционных трибуналов могли, например, решить, что человек, проехавший на трамвае без билета, представляет угрозу обществу, и приговорить его за “политическое преступление”⁶. Часто судьбу человека решали непосредственно те, кто его арестовал. У председателя ВЧК Феликса Дзержинского была черная тетрадка, куда он записывал фамилии и адреса “врагов”, встречавшихся ему в ходе работы⁷.

Эти различия оставались нечеткими до самого распада Советского Союза. Однако наличие двух типов заключенных — “уголовников” и “политических” — оказало большое влияние на советскую пенитенциарную систему. В первое десятилетие советской власти места заключения даже были разделены на две соответствующие категории. Разделение возникло спонтанно и было реакцией на хаос, воцарившийся в существующей тюремной системе. Первое время после революции все арестанты помещались в “обычные” тюрьмы, находившиеся в ведении “традиционных” правоохранительных учреждений — вначале Наркомата юстиции, затем Наркомата внутренних дел. Иными словами, они попадали в тюрьмы, оставшиеся от царской системы, как правило, грязные, угрюмые кирпичные здания, имевшиеся в центральной части каждого крупного города. В 1917–1920 годах там царил полнейший произвол. Толпы брали тюрьмы штурмом, самозванные комиссары увольняли надзирателей, заключенным объявлялись широкие амнистии или они просто разбегались⁸.

В начальный период большевистской власти немногие тюрьмы, которые все еще действовали, были переполнены и не могли должным образом исполнять свои функции. Спустя неделю после революции Ленин лично потребовал “принять экстренные меры для немедленного улучшения продовольствия в петроградских тюрьмах”⁹. Несколько месяцев спустя член московской ЧК посетил Таганскую тюрьму и отметил ужасающий холод, грязь, тиф и голод. Большинство заключенных не могло выходить на принудительные работы за неимением одежды. Одна из газет писала, что в московской Бутырской тюрьме, рассчитанной на 1000 заключенных, содержится 2500. Другая газета жаловалась, что красногвардейцы беспорядочно арестовывают каждый день сотни людей, а потом не знают, что с ними делать¹⁰.

Переполнение мест заключения диктовало “творческие” решения. За неимением лучшего новые власти держали арестантов в подвалах, на чердаках, в опустевших дворцах и старых церквях. Один из уцелевших впоследствии вспоминал, как его посадили в подвал покинутого здания. В одной комнате с ним находилось еще пятьдесят человек. Мебели никакой, еды очень мало; те, кому не приносили передач, попросту голодали¹¹. В декабре 1917-го в ВЧК обсуждалась судьба пятидесяти шести разношерстных заключенных — воров, пьяниц и “политических”, — которых держали в подвале петроградского Смольного института, бывшего в дни революции штаб-квартирой Ленина¹².

Не всем, однако, беспорядок приносил страдания. Роберт Брюс Локкарт, британский дипломат, обвиненный в шпионаже (справедливо, как выяснилось), был в 1918 году арестован и помещен в Кремле. Он проводил там время за раскладыванием пасьянсов и чтением Фукидида и Карлейля. Прежний слуга время от времени приносил ему горячий чай и газеты¹³.

Но даже в сохранившихся “традиционных” тюрьмах режим был произвольным, а надзиратели — неопытными. В Выборге тюремщик заявил одному заключенному, что знает его, так как в прошлом приезжал на дачу к его дяде, служа шофером у директора банка. Поистине мир встал с ног на голову! Шофер охотно помог старому знакомому перебраться в более удобную и сухую камеру и в конце концов выйти на свободу¹⁴. Один белогвардейский полковник писал, что в декабре 1917-го заключенные петроградской тюрьмы приходили и уходили когда им вздумается, а по ночам в камерах спали бездомные. Оглядываясь на ту эпоху, один видный советский деятель вспоминал, что не бежали только те, кому было лень¹⁵.

Неразбериха заставила ВЧК прийти к следующему выводу: нельзя помещать “подлинных” врагов режима в обычные тюрьмы с их хаосом и нерадивыми надзирателями. Эти тюрьмы, возможно, годятся для карманников и малолетних правонарушителей, но для саботажников, дармоедов, спекулянтов, царских офицеров, священников, капиталистов и прочих, кто представлялся большевистскому воображению главной угрозой, нужны были более творческие решения.

Такое было найдено уже 4 июня 1918 года, когда Троцкий приказал усмирить, разоружить и поместить в концлагеря взбунтовавшихся чешских военнопленных. Позже, 26 июня, в меморандуме, адресованном советскому правительству, Троцкий вновь пишет о концентрационных лагерях — тюрьмах под открытым небом, куда он предлагает заключить “паразитические элементы”, буржуазию и бывших офицеров, не желающих вступать в Красную Армию¹⁶.

В августе этот термин использовал и Ленин. В телеграмме в Пензу, где произошло антибольшевистское восстание, он призвал “провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города”¹⁷. Возможности для этого уже были. В течение лета 1918 года после Брестского мирного договора, покончившего с участием России в Первой мировой войне, большевистский режим освободил два миллиона военнопленных. Опустевшие лагеря были немедленно переданы в ведение ВЧК¹⁸.

В то время ВЧК, должно быть, казалась идеальным инструментом для помещения “врагов” в “лагеря особого назначения”. Совершенно новая организация, ВЧК должна была стать “щитом и мечом” коммунистической партии. Она не была подотчетна ни советскому правительству, ни какому-либо из его подразделений. У нее не было традиций соблюдения закона, не было никаких правовых обязательств, не было необходимости согласовывать свои действия с милицией, судебными органами или Наркоматом юстиции. Само ее название указывало на особый статус: Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Она была “чрезвычайной” потому, что существовала вне обычной законности.

Вскоре после создания ВЧК на нее была возложена поистине чрезвычайная задача. 5 сентября 1918 года после покушения на Ленина Дзержинскому поручили проводить в жизнь политику “красного террора”. Поднявшаяся затем волна арестов и убийств отличалась большей организованностью, чем хаотический террор предыдущих месяцев, и была важной составной частью гражданской войны. Террор был направлен против тех, кого подозревали в контрреволюционной деятельности на “внутреннем фронте”. Он был кровавым, безжалостным и жестоким — именно к этому стремились те, кто его развязал. “Красная газета”, орган Красной Армии, писала: “Сотнями будем мы убивать врагов. Пусть будут это тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови. За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови — больше крови, столько, сколько возможно”¹⁹.

“Красный террор” играл решающую роль в борьбе Ленина за власть, а концентрационные лагеря или “лагеря особого назначения” играли решающую роль в “красном терроре”. О них говорилось в приказе ВЧК о “красном терроре”, постановлявшем “арестовать как заложников крупных представителей буржуазии, помещиков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных попов, всех враждебных советской власти офицеров и заключить всю эту публику в концентрационные лагеря”²⁰. Хотя о количестве заключенных надежных данных нет, известно, что к концу 1919 года в России был

двадцать один зарегистрированный лагерь. К концу 1920-го их уже было 107 — в пять раз больше²¹.

Тем не менее на этой стадии назначение лагерей оставалось не вполне ясным. Заключение должны были трудиться — но с какой целью? Труд должен был их перевоспитывать? Или унижать? Или он был средством построения нового советского государства? Различные советские деятели и органы давали различные ответы. В феврале 1919 года, выступая на заседании ВЦИК, Дзержинский говорил о роли лагерей в идейном перевоспитании буржуазии: «...я предлагаю оставить эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения, или же если мы возьмем советские учреждения, то здесь должна будет применена мера такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание и т. д. <...> Таким образом предлагается создать школу труда...»²².

Однако в первом официальном постановлении и инструкции о лагерях принудительных работ, изданных весной 1919-го, акценты были расставлены несколько иначе²³. В этих документах, содержащих на удивление подробные перечни правил и рекомендаций, говорится, что каждый губернский город должен создать лагерь не менее чем на 300 человек. Лагерь может быть расположен «как в черте города, так и в находящихся вблизи него поместьях, монастырях, усадьбах и т. д.». Предписывался восьмичасовой рабочий день; сверхурочные и ночные работы разрешались только «с соблюдением правил Кодекса законов о труде». Продуктовые передачи отдельным заключенным были запрещены, все переданные продукты должны были поступать в общий котел. Свидания с близкими родственниками разрешались, но только по воскресным и праздничным дням. Попытка побега могла быть наказана десятикратным увеличением срока, повторная попытка — расстрелом (чрезвычайно сурово по сравнению с дореволюционными законами о побеге, мягокостью которых большевики пользовались). Что еще важнее, из этих документов вытекало, что труд заключенных служит не целям их перевоспитания, а целям возмещения расходов на содержание лагеря. Заключение, неспособных трудиться, надлежало отправлять в другие места. Лагеря должны окупать себя — такие оптимистические расчеты строили разработчики новой системы²⁴.

Администрацию лагерей идея самокупаемости заинтересовала очень быстро: средства от государства на их содержание поступали нерегулярно. По крайней мере, считало начальство, работа заключенных должна приносить практическую пользу. В сентябре 1919 года в секретном докладе, направленном Дзержинскому, говорилось, что санитарные условия в одном пересыльном лагере ниже

всякой критики и вследствие болезней слишком многие заключенные утрачивают работоспособность. Помимо прочего, автор доклада предлагал отправлять неспособных к труду в другие места, чтобы лагерь действовал более эффективно (впоследствии этот принцип многократно использовало руководство ГУЛАГа). Уже чувствуется, что лагерное начальство озабочено болезнями и голодом в первую очередь из-за того, что больные и голодные заключенные — бесполезные заключенные. Их человеческое достоинство и сама жизнь мало кого интересовали²⁵.

На практике, однако, встречались начальники лагерей, которых не волновало ни перевоспитание заключенных, ни самоокупаемость. Главное для них было — опустить «бывших» на дно, унижить их, дать им почувствовать, какова она, рабочая доля. Когда бело-гвардейцы временно заняли Полтаву, учрежденная ими комиссия представила отчет, где говорилось, что, пока город был в руках большевиков, они принуждали арестантов из числа буржуазии к работе, которая была настоящим издевательством над людьми. Одного арестованного заставили убирать грязь с пола голыми руками. Другому дали вместо тряпки скатерть и велели мыть уборную²⁶.

Впрочем, эти тонкие различия в намерениях, возможно, не имели большого значения для многих тысяч заключенных, для которых сам факт ареста без всякой вины был достаточно унижителен. Возможно, эти различия мало влияли и на условия жизни арестованных, которые везде и всюду были ужасными. Один священник, отправленный в сибирский концлагерь, впоследствии вспоминал суп из рыбьих хвостов, темные бараки и страшный холод зимой²⁷. Александра Изгоева, видного политического деятеля царской эпохи, отправили из Петрограда в северный лагерь. По пути партия заключенных остановилась в Вологде. Хотя им обещали горячую пищу и теплый ночлег, ничего этого они не получили. Их водили по городу в поисках помещения: пересыльный лагерь подготовлен не был, их разместили в бывшей школе, где были только голые стены и скамейки. Те, у кого имелись деньги, в конце концов купили себе еду в городе²⁸.

Однако такому произволу подвергались не только заключенные. В критические моменты гражданской войны экстренные нужды Красной Армии и советского государства оказывались важнее всего остального — перевоспитания, мести, справедливости. В октябре 1918-го командующий Северным фронтом потребовал от петроградских властей 800 рабочих, срочно необходимых для прокладки дорог и рытья траншей. В результате «некоторое число граждан из бывшего коммерческого сословия было вызвано в советское учреждение якобы зарегистрироваться для возможной трудовой повинности когда-то в будущем. Когда они явились, их арестовали и посади-

ли в казармы Семеновского полка ждать отправки на фронт”. Когда выяснилось, что рабочих рук все равно не хватает, местный совет просто приказал оцепить участок Невского проспекта, арестовать всех, у кого нет партийного билета или удостоверения государственного служащего и разместить в близлежащих казармах. Женщин позднее освободили, а мужчин отправили на Северный фронт; “никого из столь странным образом мобилизованных людей не отпустили уладить домашние дела, попрощаться с родными, взять подходящую одежду и обувь”²⁹.

Можно понять изумление арестованных прохожих, однако петроградским рабочим этот эпизод не должен был показаться слишком уж странным. Ведь даже на этой ранней стадии советской истории граница между принудительным и обычным трудом была размыта. Троцкий открыто говорил о превращении всего населения страны в “трудоовую армию” по образцу Красной Армии. Рабочие ряда специальностей обязаны были регистрироваться в государственных учреждениях, которые могли послать их в любую точку страны. Особыми постановлениями определенным категориям рабочих — например, шахтерам — запрещалось переходить на другую работу. Условия жизни у “вольнорабочих” в этот период революционного произвола были ненамного лучше, чем у заключенных. Глядя со стороны, не всегда легко было отличить одних от других³⁰.

Это тоже выглядит предвестием будущего. Большую часть 20-х годов понятия “лагерь”, “тюрьма” и “принудительный труд” были очень нечеткими. Контроль над пенитенциарными учреждениями постоянно переходил из рук в руки. Ответственные за них ведомства без конца переименовывались и реорганизовывались, возглавить систему пытались различные государственные и партийные деятели³¹.

И все же к концу Гражданской войны выработалась определенная схема. В стране возникли две четко разграниченные системы мест лишения свободы, каждая со своими правилами, традициями, идеологией. “Обычной” системой тюрем, где содержались главным образом уголовники, ведал сначала Наркомат юстиции, а позднее Наркомат внутренних дел. Хотя на практике и эта система была подвержена хаосу и неразберихе, в ней заключенных держали в тюрьмах традиционного типа и цели ее руководителей, по крайней мере на бумаге, вполне соответствовали нормам “буржуазных” стран: перевоспитание заключенных посредством исправительного труда и предотвращение дальнейших преступлений³².

В то же время ВЧК, позднее преобразованная в Государственное политическое управление (ГПУ), затем в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) и, наконец, в Комитет государственной безопасности (КГБ), ведала другой системой — системой лагерей «особого назначения». Хотя ВЧК в какой-то мере

использовала ту же риторику “перевоспитания” и “перековки”, эти лагеря не были задуманы как обычные исправительные учреждения. Они лежали вне юрисдикции других советских ведомств и были “невидимы” для общественности. В них были особые правила, более строгий режим, более суровые наказания за побег. Их заключенные не всегда осуждались обычным судом, если их вообще судили. Их создание было экстренной мерой, но с ростом власти ВЧК и расширением понятия “врага” они становились все больше и все мощнее. И когда две системы, обычная и чрезвычайная, в конце концов объединились, это произошло по правилам чрезвычайной. ВЧК поглотила соперницу.

С самого начала “особая” система мест лишения свободы должна была иметь дело с особым составом заключенных — священниками, бывшими царскими служащими, коммерсантами, “спекулянтами”, врагами нового строя. Но одна категория “политических” интересовала власти больше других. В нее входили члены небольшевистских революционных и социалистических партий: анархисты, левые и правые эсеры, меньшевики и все прочие, кто стоял за революцию, но не входил в ленинскую большевистскую партию и не участвовал в октябрьском перевороте 1917 года. Как бывшие союзники в революционной борьбе против царского режима они заслуживали особого отношения. ЦК ВКП(б) обсуждал их судьбу до конца 30-х годов, когда большинство тех, кто еще оставался в живых, были арестованы или расстреляны³³.

Эта категория заключенных особенно занимала Ленина, помимо прочего, потому, что, как все сектантские лидеры, он питал великую ненависть к “отступникам”. В ходе типичной полемики он назвал одного из своих оппонентов-социалистов “сладеньким дурачком”, “слепым щенком”, “сикофантом на службе у буржуазии”, у которого “в каждой фразе бездонная пропасть ренегатства”³⁴. Несомненно, Ленин задолго до революции знал, как он поступит с такими людьми. Один из его соратников-революционеров вспоминал такой разговор: “Я ему и говорю: “Владимир Ильич, да приди вы к власти — вы на следующий день меньшевиков вешать станете!” А он поглядел на меня и говорит: “Первого меньшевика мы повесим после последнего эсера”, — прищурился и засмеялся”³⁵.

Но заключенных из этой особой категории “политических” было куда труднее контролировать. Многие провели годы в царских тюрьмах и умели устраивать голодовки, оказывать моральное давление на надзирателей, налаживать сообщение между камерами и организовывать совместные протесты. Что еще более важно, они умели устанавливать связь с внешним миром и знали, с кем ее устанавливать. У большинства российских небольшевистских социалистических

партий по-прежнему действовали эмигрантские ячейки, главным образом в Берлине или Париже, и их члены могли нанести немалый ущерб международному облику ленинцев. В 1921 году на третьем конгрессе Коминтерна эсеры-эмигранты во всеуслышание прочитали письмо от их заключенных товарищей в России. Письмо произвело на конгрессе сенсацию. В нем заявлялось, что тюремные условия в революционной России хуже, чем в царские времена: заключенные голодают, многих из них на месяцы лишают свиданий, переписки, прогулок³⁶.

Социалисты вступались за права заключенных, как они делали до революции. Сразу же после большевистского переворота несколько известных революционеров, в том числе Вера Фигнер, автор воспоминаний о жизни в царских тюрьмах, и Екатерина Пешкова, жена Максима Горького, возродили Политический Красный Крест — организацию, задачей которой была помощь заключенным и которая до революции действовала подпольно. Пешкова хорошо знала Дзержинского и состояла с ним в регулярной и дружеской переписке. Благодаря ее влиянию и престижу Политический Красный Крест добился права посещать места заключения, встречаться с политическими заключенными, посылать им передачи, ходатайствовать об освобождении больных. Организация сохраняла за собой эти права на протяжении большей части 20-х годов³⁷. Позднее писателю Льву Разгону, арестованному в 1937-м, все это казалось настолько неправдоподобным, что он слушал рассказы о Политическом Красном Кресте своей второй жены, чей отец был одним из политических заключенных-социалистов, “как сказки, как невероятные волшебные сказки”³⁸.

Большевиков очень беспокоила дурная слава, которую распространяли о них западные социалисты и Политический Красный Крест. Многие из них в прошлом не один год жили в эмиграции и были чувствительны к мнению старых заграничных товарищей. Кроме того, многие по-прежнему верили, что революция вот-вот перекинется на западные страны, и не хотели, чтобы шествие мирового коммунизма замедлилось из-за нелестной молвы. В 1922 году отзывы о них западной печати обеспокоили их настолько, что они сделали первую из многих попыток замаскировать коммунистический террор атаками на “капиталистический террор”. С этой целью они создали “альтернативное” общество помощи заключенным — МОПР (Международное общество помощи борцам революции), которое должно было оказывать поддержку “ста тысячам узников капитализма”³⁹.

Хотя берлинский филиал Политического Красного Креста медленно осудил МОПР за попытку отвлечь внимание от положения заключенных и ссыльных в Советской России, многие попа-

лись на эту удочку. В 1924 году общество заявило, что в нем состоит четыре миллиона человек, и даже провело свою первую международную конференцию, собрав представителей из многих стран⁴⁰. Пропаганда оказывала свое действие. Когда французского писателя Ромена Роллана попросили высказаться об опубликованном собрании писем социалистов, содержащихся в советских тюрьмах, он заявил: “Почти то же самое происходит в польских тюрьмах и в тюрьмах Калифорнии, где мучат членов организации “Индустриальные рабочие мира”. То же самое происходит в английских тюрьмах на Андаманских островах”⁴¹.

ВЧК, кроме того, пыталась заглушить протесты, посылая причиняющих беспокойство социалистов подальше от возможных контактов. Некоторых в административном порядке сослали в отдаленные места, как делал в свое время царский режим. Других отправили в дальние лагеря близ Архангельска, один из которых устроили в бывшем монастыре около Холмогор. Тем не менее даже там люди находили способы сообщаться с внешним миром. Небольшая группа “политических”, содержащаяся в маленьком концлагере в Нарыме (Западная Сибирь), ухитрилась переправить письмо в эмигрантскую социалистическую газету. Заключенные жаловались, что наглухо отгорожены от остального мира: письма доходят лишь в том случае, когда в них не говорится ни о чем, кроме здоровья арестантов и их родственников. Восемнадцатилетнюю анархистку Ольгу Романову, сообщали авторы письма, три месяца держали на хлебе и кипятке⁴².

Отдаленность мест лишения свободы не гарантировала покоя тюремщикам. Привыкшие к привилегированному положению, которое у них было в царских тюрьмах, социалисты почти всюду, куда их посылали, требовали газет, книг, прогулок, неограниченного права на переписку и, прежде всего, права выбирать своего представителя в отношениях с властями. Когда не шибко грамотные местные чекисты им отказывали — для них понятия “социалист”, “анархист” мало что значили, — социалисты протестовали, иной раз яростно. Согласно одному документу, группа заключенных Холмогорского лагеря пришла к выводу, что необходимо бороться за самое элементарное, в частности за то, чтобы социалистам и анархистам были предоставлены обычные права политзаключенных. В ходе этой борьбы, писали заключенные, их подвергали всевозможным наказаниям: сажали в одиночные камеры, избивали, морили голодом, бросали на колючую проволоку. По зданию, где они находились, открывали огонь. К концу года у большинства арестованных набралось до тридцати пяти дней голодовки⁴³.

В конце концов этих заключенных перевели из Холмогор в другой монастырь — в Пертоминске. Как говорилось в жалобе, кото-

рую они позднее направили властям, их встретили там “грубыми криками и угрозами”, заперли по шесть человек в крохотные бывшие кельи “со сплошными нарами, избыливающими паразитами”, запретили прогулки, отобрали книги, записки и рукописи⁴⁴. Комендант Пертоминского лагеря Бачулис пытался сломить волю заключенных: их лишали света и удовлетворительного отопления, в подошедшего к окну арестанта могли выстрелить⁴⁵. В ответ заключенные начали новую длительную кампанию голодовок и письменных жалоб. Напоследок они потребовали увезти их из лагеря, где, утверждали они, свирепствовала малярия⁴⁶.

В свою очередь, лагерные начальники жаловались на таких заключенных. Один из них сообщал Дзержинскому, что в его лагере белогвардейцы, считающие себя политзаключенными, чрезвычайно затрудняют работу администрации⁴⁷. Некоторые начальники брали дело в свои руки. В апреле 1921 года группа заключенных в Пертоминске отказалась работать и потребовала увеличения пайка. Разъяренные таким неподчинением, архангельские власти приказали расстрелять 70 заключенных, что и было сделано⁴⁸.

Иной раз, однако, власти выбирали другой путь и спокойствия ради исполняли требования социалистов. Берта Бабина, член партии эсеров, вспоминала свое появление в так называемом социалистическом корпусе Бутырской тюрьмы в Москве как радостную встречу с друзьями, с товарищами “по петербургскому подполью, по студенческим годам, по работе в разных городах во время наших скитаний”. Заключенным в тюрьме было предоставлено полное самоуправление. Они проводили утреннюю гимнастику, организовали оркестр и хор, устроили “клуб” со свежими газетами и журналами (включая издававшийся за границей “Социалистический вестник”), пользовались богатой библиотекой. По традиции, идущей от дореволюционных времен, каждый освобождающийся оставлял в тюрьме книги. Совет старост распределял заключенных по камерам, в одной из них на стене висел ковер, а на полу лежал коврик. Тюремная жизнь показалась Бабиной нереальной: “Ведь не могут же они нас всерьез здесь держать”⁴⁹.

Руководство ВЧК решило вести себя более серьезно. В рапорте Дзержинскому, датированном январем 1921 года, инспектор тюрем сердито докладывал, что в Бутырках мужчины общаются с женщинами, на стенах камер висят анархистские и контрреволюционные лозунги⁵⁰. Дзержинский посоветовал ужесточить режим, но ужесточение вызвало очередные протесты заключенных.

Так или иначе, бутырская идиллия вскоре кончилась. Как сказано в письме, направленном властям группой эсеров, однажды в апреле 1921 года между тремя и четырьмя часами утра в камеры ворвались вооруженные люди. Заключенных избивали, женщин вывола-

кивали из камер за ноги и за волосы. Позднее в документах ВЧК этот “инцидент” трактовался как бунт вышедших из повиновения заключенных, и власти решили больше не собирать в Москве такого количества “политических”⁵¹. В феврале 1922-го “социалистический корпус” Бутырок прекратил существование.

Репрессии не действовали. Уступки не действовали. Даже в своих особых лагерях ВЧК не могла контролировать “особый контингент” заключенных. Несмотря на все усилия, вести о них доходили до внешнего мира. Было ясно: необходимо другое решение как для социалистов, так и для других непокорных арестантов. К весне 1923 года решение было найдено: Соловки.

Глава 2

Первый лагерь ГУЛАГа

*Меж людей тех, как меж нами,
Буржуа есть с бедняками,
Есть монахи и попы,
Проститутки и воры.
Есть князья там и бароны,
Но с них сбиты их короны.*

Из стихотворения
неизвестного заключенного,
написанного на Соловецких
островах. 1926 г.¹

Глядя вниз с колокольни в дальней части старого Соловецкого монастыря, и сегодня можно увидеть строения, составлявшие Соловецкий концентрационный лагерь. Массивная каменная стена Соловецкого кремля окружает центральный комплекс церквей и монастырских зданий XV века, где после создания лагеря располагались его администрация и основная часть заключенных. На западе — пристань, где сейчас стоят лишь несколько рыбацких лодок, а в свое время толпились заключенные, которых в короткую северную навигацию доставляли морем еженедельно, а то и ежедневно. Дальше простирается Белое море. Путь от Кеми — пересыльного лагеря на материке — занимал несколько часов. Морское путешествие от Архангельска длится целую ночь.

На севере можно разглядеть очертания Секирной горы с церковью, в которой был устроен знаменитый соловецкий штрафной изолятор. На востоке — построенная заключенными электростанция, она работает по сей день. За ней — участок земли, где располагалась биостанция. Здесь в начальный период существования лагеря некоторые заключенные экспериментировали, пытаясь определить, какие культуры можно выращивать в здешних условиях.

А дальше — другие острова Соловецкого архипелага: Большая Муксалма, где заключенные разводили черно-бурых лисиц; Анзер, где жили особые категории заключенных — инвалиды, женщины с детьми и бывшие монахи; Заяцкий остров, где находился женский штрафной изолятор². Не случайно Солженицын для описания советской лагерной системы использовал метафору архипелага. Первый советский лагерь, создававшийся всерьез и надолго, Соловецкий лагерь вырос на настоящем архипелаге, забирая себе остров за островом, церковь за церковью, здание за зданием.

Монастырский комплекс и в старину исполнял тюремные функции. С XVI века соловецкие монахи, верные слуги царя, стерегли

здесь “впавших в ересь” священников и опальных дворян³. Теперь же безлюдье, высокие монастырские стены, холодные ветра и чайки, которые в свое время привлекали сюда склонных к уединению монахов, пробудили воображение большевиков. Уже в мае 1920 года газета “Известия Архангельского губернского ревкома и Архгубкома РКП/б” описывала острова как идеальное место для трудового лагеря: “суровая природная обстановка, трудовой режим, борьба с природой будут хорошей школой для всяких порочных элементов”. Первые заключенные начали прибывать летом того же года⁴.

Архипелагом заинтересовалось и более высокое начальство. По-видимому, сам Дзержинский убедил советское правительство постановлением от 13 октября 1923 года передать ОГПУ конфискованные монастырские здания наряду со зданиями монастырей в Пертоминске и Холмогорах. Так возник Соловецкий лагерь особого назначения (сокращенно — СЛОН)⁵.

В фольклоре лагерников Соловки навсегда остались “первым лагерем ГУЛАГа”⁶. Хотя исследователи указывали, что к тому времени уже действовало немало тюрем и лагерей, Соловки несомненно заняли особое место не только в памяти бывших заключенных, но и в памяти сотрудников советских “органов”⁷. Пусть Соловки и не были в 20-е годы единственной тюрьмой страны, это была их тюрьма, тюрьма ОГПУ, где начальство училось извлекать доход из рабского труда. В 1945-м в лекции по истории советских лагерей В. Г. Наседкин, который тогда возглавлял ГУЛАГ, заявил, что в 1920 году Соловки положили лагерной системе начало и что в 1926-м именно там зародилась вся советская система “трудоустройства как метода перевоспитания”⁸.

Заявление на первый взгляд кажется странным: ведь принудительный труд с 1918 года был в Советской России признанным средством наказания. Его можно понять, если проследить за развитием представлений о принудительном труде на самих Соловках. Ибо хотя заключенные там трудились, их труд поначалу не был организован ни в какую “систему”. Нет указаний и на то, что он приносил значимый доход.

Прежде всего, одна из двух главных категорий соловецких заключенных поначалу не трудилась вовсе. Это были примерно 300 “политических” из социалистов, которых начали привозить в июне 1923-го. Переведенные из Пертоминска, а также из Бутырок и других тюрем Москвы и Петрограда, они были сразу же размещены в Савватиевском скиту в нескольких километрах от главного монастырского комплекса. Теперь надзиратели могли быть уверены, что социалисты изолированы от других заключенных и не заразят их склонностью к голодовкам и другим формам протеста.

Первое время социалисты пользовались привилегиями политических заключенных, которых они так долго добивались. У них были

газеты и книги, была свобода перемещения на территории, огороженной колючей проволокой, и их не заставляли работать. Каждая из главных политических группировок — левые и правые эсеры, анархисты, социал-демократы, а позднее и социалисты-сионисты — выбрала старосту и заняла свою часть монастырской гостиницы, которая по мнению Екатерины Олицкой, молодой левой эсерки, арестованной в 1924-м, “ничем не походила на тюрьму”. После месяцев в мрачной камере на Лубянке Олицкая была поражена. Вот как она описывает женскую эсеровскую камеру: “Светлая, чистая, свежепобеленная, с двумя большими, настежь открытыми окнами, выходящими на озеро, камера была полна света и воздуха. Конечно, никаких решеток. Посреди камеры стоял небольшой, покрытый белой скатертью стол. Вдоль стен четыре топчана, аккуратно застеленные постели. У каждой по маленькому столику. На них — книги, тетради, чернильница”.

“Мы хотим жить по-человечески”, — объяснили Олицкой сокамерницы, разливая чай в чашки с блюдцами и ложечками и ставя на стол вазочку с сахарным песком¹⁰. Новоприбывшая вскоре узнала, что хотя соловецкие “политические” болели туберкулезом и другими болезнями и жили впроголодь, они имели возможность самостоятельно организовать свой быт. Выбранные завхозы ведали хранением, приготовлением и раздачей пищи. Благодаря своему особому “политическому” статусу заключенные могли получать продуктовые посылки не только от родственников, но и от Политического Красного Креста. Хотя эта организация начала испытывать трудности (в 1922-м на ее помещение был совершен налет и ее имущество было конфисковано), ее руководителю Екатерине Пешковой, обладавшей большими связями, все еще дозволялось оказывать политзаключенным помощь. В 1923 году она отправила в Савватиевский скит целый вагон продовольствия. В октябре того же года она послала на Север одежду¹¹.

Так до поры до времени решалась проблема “политических”: им давали некоторые поблажки, но их постарались упечь так далеко, как только возможно. Впрочем, это решение устраивало власти недолго: советская система не терпела исключений. В любом случае возникавшие у социалистов иллюзии быстро рассеивались: на Соловках содержалась и другая, куда более многочисленная группа заключенных. “Ступив на соловецкую землю, мы все почувствовали, что у нас начинается новая, странная жизнь, — писал один из “политических”. — Из разговоров с уголовниками мы узнали об ужасающем режиме, который ввело для них начальство...”^{12*}.

* Здесь и ниже цитаты из книги *Letters from Russian Prisons*, вышедшей на английском языке, даются в обратном переводе на русский. — *Прим. перев.*

Куда более деловито и бесцеремонно, и притом очень быстро, власти заполняли главные помещения Соловецкого кремля не столь привилегированными заключенными. От нескольких сотен в 1923-м их число к 1925 году выросло до 6000¹³. Среди них были белогвардейские офицеры и сочувствующие белым, “спекулянты”, дворяне, матросы, участвовавшие в Кронштадтском восстании, и обычные преступники. Этим категориям заключенных вряд ли доставался чай в фарфоровых чашках и сахар в вазочках. Точнее — кому-то доставался, кому-то нет, поскольку главным, что характеризовало жизнь в “общих” камерах СЛОН в те ранние годы, была иррациональность и непредсказуемость с самого момента прибытия. В первый лагерный день, пишет в мемуарах бывший заключенный Борис Ширяев, партию новоприбывших “приветственной речью” встретил первый начальник Соловецкого лагеря Ногтев: “Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах — изумление), а соловецкая! (Эта формула теперь широко растекалась по всем концлагерям). Тот-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас — свой закон”¹⁴.

В последующие дни и недели большая часть заключенных на своей шкуре испытывала эту “власть соловецкую”, которая была смесью преступного пренебрежения и бессистемного насилия. Условия жизни в бывших церквях и монастырских кельях были тяжелыми, и администрация ничего не делала для их улучшения. В первый вечер на Соловках, вспоминал писатель Олег Волков, ему дали место на сплошных нарах, представлявших собой длинные дощатые настилы, на которых люди лежали в ряд*. Едва он лег, на него набросились клопы, которые ползли по стойкам нар “сплошными вереницами, как муравьи”. Он не мог спать и вышел на улицу — но “тут другой враг: тучи комаров. <...> С тоской глядел я на мирно спящих, покрытых клопами людей, завидовал им и... И не мог решиться лечь!”¹⁵.

Тем, кого помещали вне кремля, приходилось не лучше. Формально на Соловецком архипелаге было девять отдельных лагерей, а заключенные делились на роты. Но некоторым приходилось жить прямо в лесу¹⁶. Дмитрий Лихачев, будущий знаменитый филолог, увидев один из этих безымянных лесных лагерей, почувствовал себя привилегированным: “В одном из них я был и заболел от ужаса виденного. Людей пригоняли в лес, заставляли рыть траншею (хорошо, если были лопаты). Две стороны этих траншей были повыше и служили для сна”¹⁷.

На более мелких островах центральная лагерная администрация еще слабее контролировала поведение отдельных охранников и ла-

* Волков пишет о пересыльном пункте в Кеми, который тоже входил в состав Соловецких лагерей. — *Прим. перев.*

герных заправил. Бывший заключенный Киселев описывает в мемуарах лагерную командировку на острове Анзер. Командировка, над которой начальствовал “чекист Ванька Потапов”, состояла из трех бараков и бывшего монастырского здания, где располагалась охрана. Заключенные валили лес. Работали без отдыха до изнеможения и получали очень мало пищи. Отчаявшись, рубили себе руки и ноги. Как утверждает Киселев, Потапов развешал по стенам бараков и показывал посетителям “ожерелья” из отрубленных пальцев и кистей рук; многих он убил своими руками и показывал ямы, где лежало более четырехсот трупов. “Никто из присланных к нему не возвращался”, — пишет о Потапове Киселев¹⁸. Даже если он преувеличивает, чувствуется подлинный ужас, который внушали заключенным дальние лагеря.

По всему архипелагу ужасающие санитарные условия, непосильный труд и плохое питание, разумеется, приводили к болезням, прежде всего тифу. Зимой 1925–1926 года во время памятной эпидемии из 6000 соловецких заключенных умерла примерно четверть. Согласно некоторым оценкам, смертность не снижалась и дальше: за год от недоедания, от эпидемий тифа и других болезней умирало, возможно, от четверти до половины заключенных. В одном документе говорится о 25 552 случаях заболевания тифом за зиму 1929–1930 годов (соловецкие лагеря к тому времени сильно расширились)¹⁹.

Но для некоторых Соловки оборачивались еще более мучительными испытаниями, нежели примитивные бытовые условия и болезни. На островах заключенные чаще становились жертвами садизма и бессмысленных истязаний, чем в последующие периоды существования ГУЛАГа, когда, как пишет Солженицын, “рабочий гон становится продуманной системой”²⁰. Эти зверства описаны во многих воспоминаниях, но самый подробный их перечень содержится в документах комиссии, посланной из Москвы на Соловки в 1930 году для расследования злоупотреблений. Московские следователи с ужасом узнали, что соловецкие надзиратели регулярно оставляли заключенных зимой в одном белье на колокольне церкви. Людям при этом связывали сзади руки и привязывали к ним отогнутые назад до крайнего положения ноги. Так их держали до 48 часов. Заключенных сажали “на жердочки” — это были узкие скамьи, на которых люди должны были сидеть без движения по 18 часов. Если при этом ноги не доставали до пола, то они отекали. Совершенно голых людей гоняли в баню при 20-градусном морозе на расстояние до полукилометра от бараков. Заключенных кормили гнилым мясом, больным не оказывалась медицинская помощь. Людей заставляли выполнять бессмысленные приказы: перекидывать с места на место снег или прыгать в воду с моста по команде надзирателя: “Дельфин!”²¹

Другой пыткой, о которой говорится как в архивных документах, так и в мемуарах, были так называемые “комарики”. Белогвардейский офицер А. Клиnger, осуществивший одну из немногих успешных попыток побега с Соловков, впоследствии написал о том, как обошлись с заключенным, который потребовал выдачи реквизированной чекистом посылки с продуктами. С него сняли всю одежду и голого привязали к столбу. Дело было летом, и на него тучами набросились комары. “Через полчаса все тело несчастного было покрыто волдырями от укусов”, — пишет Клиnger. Когда заключенного снимали со столба, он был “в бессознательном состоянии”²².

Массовые убийства происходили без всякой системы, и многие заключенные жили в постоянном ужасе от возможности погибнуть в любой момент. Лихачев вспоминал, как он сам едва не стал одной из жертв массового расстрела в конце октября 1929 года. В архивных документах говорится, что тогда действительно казнили около 50 человек, обвиненных в подготовке восстания (Лихачев утверждает, что их было 300)²³.

Немногим лучше расстрела была отправка на Секирку (Секирную гору), где в церкви был устроен “штрафной изолятор”. Хотя о том, что там творилось, ходило много рассказов, с Секирки мало кто вернулся, поэтому о тамошних условиях трудно говорить с уверенностью. Один бывший заключенный описывает бригаду штрафников, идущую на работу: “...мимо нас вели истощенных, совершенно звероподобных людей, окруженных многочисленным конвоем. Некоторые были одеты, за неимением платья, в мешки. Сапог я не видел ни на одном”²⁴.

Как гласит соловецкая легенда, длинная деревянная лестница в 365 ступеней, которая ведет вниз с крутой Секирной горы, увенчанной церковью, сыграла свою роль в лагерных убийствах. В какой-то момент начальство запретило охранникам расстреливать заключенных, и тогда пошли “несчастные случаи”: людей стали сбрасывать с горы по ступеням²⁵. Недавно потомки соловецких узников поставили у подножья лестницы, где, согласно рассказам, гибли заключенные, деревянный крест. Сейчас это мирное на вид и довольно красивое место — настолько красивое, что в конце 90-х годов местный исторический музей напечатал новогоднюю открытку с фотографией Секирки, лестницы и креста.

Иррациональность и непредсказуемость соловецкой жизни в начале 20-х оборачивалась для заключенных тысячами смертей, но эта же иррациональность и непредсказуемость помогала лагерникам не просто выживать, но и, буквально, петь и плясать. В 1923 году небольшая группа заключенных начала создавать лагерный театр. Поначалу “актеры”, многие из которых перед репетицией десять часов

работали на лесоповале, не имели текстов, так что им приходилось играть классические пьесы по памяти. Театр получил мощное пополнение в 1924-м, когда появилась целая группа бывших профессиональных актеров (все они были арестованы за “контрреволюционную деятельность”). В том году были поставлены “Дядя Ваня” Чехова и “Дети солнца” Горького²⁶.

Позднее в соловецком театре стали исполнять оперы и оперетты, демонстрировать акробатические номера, показывать фильмы. В программу одного концерта входили музыкальные пьесы для духового оркестра, для симфонического квинтета и для хора, фрагменты из оперы²⁷. Репертуар на март 1924-го включал в себя спектакль по пьесе Леонида Андреева (его сын Даниил, тоже писатель, позднее стал узником ГУЛАГа), спектакль по пьесе Гоголя и вечер памяти Сары Бернар²⁸.

Театр не был на Соловках единственным проявлением культурной жизни. В лагере была библиотека, число книг в которой с годами дошло до 30 000, и “биосад”, где заключенные экспериментировали с северной флорой и фауной. Соловецкие заключенные, среди которых было много бывших ученых из Петербурга, создали также музей местной флоры, фауны, искусства и истории²⁹. Соловецкая “элита” посещала “клуб”, который на фотографии выглядит побуржуазному уютным. Пианино, паркетный пол — и портреты Маркса, Ленина и Луначарского³⁰.

Используя старое монастырское литографское оборудование, соловецкие заключенные издавали газеты и ежемесячные журналы, где помещали стихи, полные тоски по дому, карикатуры и на удивление откровенную прозу. В декабрьском номере журнала “Соловецкие острова” за 1925 год можно было прочесть рассказ о бывшей актрисе, которую заставили на Соловках работать прачкой. Героиня никак не может приспособиться к новой жизни. Рассказ заканчивается ее плачем: “Все кончено, у-у-у, Соловки проклятые!”

В другом рассказе “старый барин”, который в прошлом посещал “интимные вечера в крутой гостиной Зимнего дворца”, находит на Соловках утешение только в разговорах с другим таким же “баринном” о былых временах³¹. Клише соцреализма явно не стали еще обязательными. Не у всех рассказов счастливый конец, не все вымышленные заключенные радостно перековываются в советских людей.

В соловецких журналах печатались и исследовательские материалы — от работы Лихачева о картежных играх уголовников до статей об искусстве и об архитектуре оскверненной церковью Соловецкого монастыря. За 1926–1929 годы типография СЛОН опубликовала двадцать девять изданий трудов Соловецкого общества краеведения. Общество изучало флору и фауну островов, делая особый упор

на некоторых видах, в частности на северном олене. Печатались статьи об изготовлении кирпича, направлениях ветра, полезных минералах и пушном деле. Последнее заинтересовало некоторых заключенных настолько, что в 1927-м, в разгар экономической деятельности на острове, они добились завоза черно-бурых лисиц из Финляндии для улучшения местной породы. Помимо прочего, общество краеведения провело геологические исследования, результатами которых директор местного музея пользуется до сих пор³².

Заключенные из числа более привилегированных участвовали по случаю новых советских праздников в торжествах, из которых лагерников последующих поколений сознательно исключали. Заметка в сентябрьском номере “Соловецких островов” за 1925 год описывает празднование 1 Мая. Увы, погода была неважная: “Первого мая почти по всему Союзу цветы цветут, а на Соловках еще море от льда не очистилось и снега лежит достаточно.

А все-таки торжественен и строен пролетарский праздник.

С самого раннего утра в общежитии волнение.

Чистятся. Бреются. Кто починкой одежды занят, кто сапоги “до третьего блеска” наяривает”³³.

Куда сильнее удивляет, если иметь в виду порядки последующих лет, отправление религиозных обрядов на островах. Бывший заключенный В. А. Казачков вспоминает: “Пасху 1926 года я очень хорошо помню. Незадолго до нее новый начальник Управления потребовал, чтобы все, кто хочет ходить в церковь, подали ему заявления. Почти никто из заключенных не подавал заявлений — боялись последствий. Но вот перед Пасхой огромное количество людей подали заявления. <...> По дороге к кладбищенской Онуфриевской церкви двигалась огромная процессия, люди шли в несколько рядов. В церкви все, конечно, не поместились. Стояли вокруг, а тем, кто пришел позднее, не было слышно пения”³⁴.

Даже лагерный журнал “СЛОН” в майском номере за 1924 год поместил статью, где о Пасхе осторожно, но вполне определенно говорилось как о старинном празднике весны, который можно отмечать и в советском государстве³⁵.

На Соловках, к изумлению многих, до конца 20-х годов продолжало жить небольшое количество монахов. Возможно, они исполняли роль “инструкторов”, передавая заключенным свои богатые земледельческие и рыболовные навыки (соловецкая сельдь в прошлом шла на царский стол) и знакомя их со сложной системой старинных каналов между озерами. В лагерь привозили и заключенных из числа духовенства — тех, кто возражал против конфискации церковного имущества или нарушал декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Духовенству, как и социалистам, позволяли жить отдельно, и оно до 1930–1931 года могло посещать бо-

гослужения в маленькой церкви на кладбище. Другие лагерники, помимо особых случаев, такого права не имели.

Эти “привилегии” порождали определенное недоброжелательство и служили причиной эпизодических трений между духовенством и обычными заключенными. Одна женщина, после рождения ребенка переведенная в особый “мамочный” лагерь на остров Анзер, вспоминала, что монахини на острове “держались от нас, неверующих, на большом расстоянии. Они были злые, детей не любили, нас ненавидели”. Однако другие духовные лица, как пишут многие мемуаристы, вели себя прямо противоположным образом: активно проповедовали Евангелие и всячески помогали как обычным, так и политическим заключенным³⁶.

Те, у кого были деньги, могли купить себе освобождение от тяжелой работы в лесу и застраховаться от пыток и насильственной смерти. В Кеми, где находился один из Соловецких лагерей, между прочим, был ресторан, в котором нелегально обслуживали и заключенных. За взятки они могли получать с материка еду³⁷. В какой-то момент администрация даже открыла на острове небольшие магазины, торговавшие продуктами и одеждой по ценам в полтора-два раза выше общесоветских³⁸. Одним из тех, кто, по рассказам, выкупил себя из беды, был “граф Виоляро”, сумасбродная личность, чье имя в разнообразной транскрипции фигурирует в нескольких мемуарах. Граф, которого называли “мексиканским консулом в Египте”, опрометчиво отправился после революции в Тифлис к родственникам своей жены-грузинки. И он, и его жена были арестованы и отправлены на север. Вначале им не давали на Соловках больших поблажек и графине приходилось работать прачкой, но затем, гласит лагерная легенда, граф за 5000 рублей купил себе право жить вместе с женой в отдельном доме, где в их распоряжении были лошадь и слуга³⁹. Писали также про богатого индийского коммерсанта из Бомбея, которого вызвало с Соловков британское консульство в Москве. Его мемуары впоследствии были опубликованы в эмигрантской печати⁴⁰.

Эти и другие примеры относительно легкой жизни и быстрого освобождения богатых заключенных были настолько разительны, что в 1926 году группа менее привилегированных лагерников отправила в президиум ЦИК ВКП(б) жалобу на “произвол и насилие, царящие в Соловецком концлагере”. Используя “пролетарскую” фразеологию, рассчитанную на то, чтобы подействовать на коммунистическое руководство, они писали: “Люди, имеющие деньги, устраиваются за те же деньги и вся тяжесть ложится на рабочих и крестьян, к несчастью не имеющих денег”. Если богатые, говорилось в письме, покупают себе право на легкую работу, то безденежные работают по 14–16 часов⁴¹. Как выяснилось, авторы письма не

были единственными, у кого соловецкие произвол и непредсказуемость вызывали недовольство.

Если заключенных волновали лагерная несправедливость и хаотические всплески насилия, то советское руководство было озабочено по иной причине. К середине 20-х годов стало ясно, что соловецкие лагеря, как и “обычные” лагеря и тюрьмы, не продвигаются к самой важной из поставленных целей — самоокупаемости⁴². Начальники концлагерей, как “обычных”, так и “особого назначения”, постоянно требовали у государства денег.

В этом Соловки напоминали другие советские лагеря того времени. На островах из-за особого характера заключенных и надзирателей контраст между жестокостью и комфортом был, вероятно, резче, чем в других местах, но в целом подобная неупорядоченность царяла в те годы в лагерях и тюрьмах по всему Советскому Союзу. В теории обычная система мест лишения свободы тоже состояла из трудовых “колоний” при сельскохозяйственных предприятиях, заводах и фабриках, и их экономическая деятельность тоже была плохо организована и убыточна⁴³. В 1928 году в инспекторском отчете об одном таком лагере в сельской Карелии (59 заключенных, 7 лошадей, 2 свиньи и 21 корова) говорилось, что только у половины заключенных есть одеяла, что лошади не ухожены (а одну самовольно продали цыгану), что надзиратели регулярно используют лошадей для своих нужд, что когда лагерного кузнеца освободили, он унес с собой все инструменты, что лагерные помещения, за исключением жилища начальника, не имеют ни отопления, ни теплоизоляции. Мало того, этот начальник проводит три-четыре дня в неделю вне лагеря, часто самовольно отпускает заключенных, упрямо отказывается учить лагерников агрономии и открыто заявляет, что не верит в их перевоспитание. Некоторые заключенные живут в лагере с женами; охранники пьянствуют⁴⁴. Неудивительно, что центральные власти дали карельскому руководству нагоняй за непонимание социального значения принудительного труда⁴⁵.

Такие лагеря, как свидетельствуют документы, с самого начала были явно убыточны. В июле 1919 года руководители гомельской ЧК послали Дзержинскому письмо с требованием срочной субсидии в 500 000 рублей: сооружение местного концлагеря застопорилось из-за недостатка средств⁴⁶. В 20-е годы различные министерства и ведомства, оспаривавшие контроль за лагерями, бились не только за власть, но и за деньги. Для разгрузки тюрем и лагерей периодически объявлялись амнистии, главной из которых стала амнистия 1927 года, приуроченная к десятой годовщине Октябрьской революции. Тогда из “обычных” мест заключения было выпущено более 50 000 человек (главным образом из-за нехватки помещений и ради экономии)⁴⁷.

К 1925 году необходимость более эффективного использования заключенных была осознана на высшем уровне. 10 ноября заместитель председателя ВСНХ СССР Г. Л. Пятаков писал Дзержинскому: "...я пришел к заключению, о необходимости организации в некоторых местах принудительных поселений в целях создания маломаальски элементарных культурных условий работы. Вероятно, с точки зрения разгрузки мест заключения, эти вопросы точно так же имеют некоторый интерес. Я просил бы поручить ГПУ заняться этими вопросами...". Далее Пятаков перечислил четыре района, настоятельно требовавших развития: Сахалин, устье Енисея, Киргизская степь (территория современного Казахстана) и окрестности Нерчинска (всюду позднее были построены лагеря). Дзержинский одобрил предложение и поручил двум сотрудникам ОГПУ подготовить по этому вопросу заключение⁴⁸.

Поначалу, однако, ничего не произошло, возможно потому, что Дзержинский вскоре умер. Тем не менее предложение Пятакова стало предвестьем перемен. До середины 20-х годов советское руководство колебалось: в чем состоит главная задача тюрем и лагерей — в перевоспитании заключенных, в их наказании или в извлечении прибыли? Теперь ведомства, имевшие отношение к концлагерям, медленно приходили к согласию: места заключения должны окупать себя. К концу десятилетия на смену хаотическому миру послереволюционных советских тюрем и лагерей должна была прийти новая система. Соловки должны были стать не только организованным экономическим предприятием, но и образцовым лагерем, примером, тысячекратно копируемым по всему Советскому Союзу.

Важность Соловков, пусть даже вначале ее не сознавали, в ретроспективе стала вполне ясна. В 1930-м, отчитываясь на Соловках перед партийным собранием, местный начальник Успенский заявил, что именно опыт Соловецкого лагеря привел партию и правительство к мысли о создании общегосударственной системы исправительно-трудовых лагерей⁴⁹.

Как показывает докладная записка Пятакова Дзержинскому, в определенной мере эти перемены планировались на самом верху. Однако детали новой системы — новые методы управления лагерями, способы организации заключенных, режим их труда — разрабатывались на самих Соловецких островах. Да, в середине 20-х на Соловках царили хаос и произвол, но из этого хаоса и произвола родилась система ГУЛАГа.

Одной из движущих сил перемен на Соловках, отчасти определившей характер этих перемен, был Нафталий Аронович Френкель — бывший заключенный, который стал одним из самых влиятельных соловецких начальников. Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ" ут-

верждает, что именно Френкель первым предложил кормить заключенных в зависимости от результатов их труда. Эта смертельная система, убивавшая более слабых лагерников за считанные недели, впоследствии стоила жизни огромному числу людей. С другой стороны, ряд российских и западных историков оспаривает роль Френкеля и считает, что многие истории о его всесии — это легенды и не более того⁵⁰.

Скорее всего, Солженицын действительно преувеличил значение Френкеля: люди, побывавшие в большевистских лагерях раннего периода, еще до Соловков, тоже вспоминали о питании "по выработке", и в любом случае эта идея, можно сказать, лежит на поверхности и вряд ли зародилась в голове только одного человека⁵¹. Тем не менее документы из недавно открытых архивов, и в первую очередь архивов Карельской АССР, показывают, что Френкель и вправду играл важную роль. Даже если он и не разработал систему во всех деталях, он нашел способ превратить лагерь в доходное (по крайней мере, по видимости) экономическое предприятие и сделал это в такой момент, в таком месте и таким образом, что вполне мог привлечь к своим достижениям внимание Сталина.

Расхождению по поводу Френкеля трудно удивляться. Его имя появляется во многих воспоминаниях о лагерях раннего периода, и эти воспоминания показывают, что уже при жизни этот человек был окутан легендой. На официальных фотографиях — подчеркнуто-зловещее лицо, фуражка, аккуратно подстриженные усики; один мемуарист вспоминает, что Френкель одевался как денди⁵². Один из восхищавшихся им соратников по ОГПУ расхваливал его великолепную память и способность делать расчеты в уме: "Никогда в жизни, кажется, он не писал бумаг: у него не было даже ручки"⁵³. Позднее советская пропаганда называла его "блестящим знатоком древесины и вообще лесного дела", расписывала "совершенно невероятную емкость его памяти", его опыт в сельском хозяйстве и инженерии, его эрудицию: "Однажды в поезде он ввязался в разговор двух работников треста ТЭЖЭ и заставил их замолчать, так как проявил исключительные познания в парфюмерном деле и оказался даже знатоком мирового рынка и обонятельных симпатий малых народностей на Малайских островах"⁵⁴.

Кое-кто, однако, ненавидел и боялся его. В 1928 году на ряде специальных собраний соловецкой партийной ячейки коллеги Френкеля обвиняли его в создании своей личной шпионской сети⁵⁵. За год до этого рассказы о нем достигли Парижа. В одной из первых книг о Соловках французский антикоммунист Р. Дюге писал о Френкеле, что "из-за его бесчеловечных нововведений уделом миллионов несчастных стали непосильный труд и жестокие страдания"⁵⁶.

Современники расходились и по вопросу о его происхождении. Солженицын назвал его турецким евреем, родившимся в Константинополе⁵⁷. Другой автор утверждает, что он был “крупным венгерским фабрикантом”⁵⁸. Ширяев писал, что он родом из Одессы, другие — что он из Австрии, из Палестины, что он работал на заводе Форда в Америке⁵⁹. Некоторую ясность вносит его тюремная регистрационная карточка, где говорится, что он родился в Хайфе в 1883 году. (Палестина входила тогда в состав Османской империи.) Оттуда (возможно, через Одессу, возможно, через Австро-Венгрию) он прибыл в Советский Союз, где называл себя “коммерсантом”⁶⁰. В 1923-м его арестовали за нелегальное пересечение границы. Это может означать либо то, что он занимался контрабандой, либо что он добился как коммерсант слишком больших успехов, которых советская власть не пожелала терпеть. Его приговорили к десяти годам лагерей и отправили на Соловки⁶¹.

Как именно Нафталий Френкель превратился из заключенного в одного из начальников СЛОН, тоже не вполне ясно. Согласно легенде, оказавшись в лагере, он был настолько потрясен плохой организацией дела, бессмысленной тратой денег и сил, что сел и написал очень подробные предложения, где точно указал, что именно не выдерживает критики в каждом из лагерных производств, включая заготовку леса, сельское хозяйство и кирпичное дело. Он опустил предложения в лагерный “ящик для жалоб”, после чего они привлекли внимание одного из начальников и тот послал их как диковинку Генриху Ягоде, быстро поднимавшемуся по служебной лестнице в советских “органах” и впоследствии возглавившему НКВД СССР. Ягода якобы пожелал немедленно встретиться с автором. Как утверждает один из современников (и Солженицын, который не называет источника), Френкель сам заявлял, что его возили из лагеря в Москву, где он излагал свои идеи Сталину и Кагановичу⁶². Эта часть легенды наиболее туманная: хотя документы показывают, что в 30-е годы Френкель действительно встречался со Сталиным, и хотя Сталин поощрил его в годы партийных чисток, о посещении им Сталина в 20-е годы сведений пока не найдено. Но это не означает, что такой встречи не было: возможно, документы просто не сохранились⁶³.

Эти сообщения косвенно подтверждаются некоторыми обстоятельствами. К примеру, быстрота, с какой Френкеля перевели из заключенных в начальники, удивительна даже с учетом царившего в СЛОН хаоса. В ноябре 1924-го, когда Френкель находился в лагере менее года, администрация СЛОН уже ходатайствовала о его освобождении. Ходатайство было удовлетворено в 1927-м. Тем временем лагерная администрация регулярно отправляла в ОГПУ письма, превозносившие Френкеля до небес⁶⁴.

Мы также знаем, что Френкель создал и затем возглавил “экономическо-коммерческую часть” СЛОН. В новом качестве он постарался добиться для соловецких лагерей не только самоокупаемости, которой требовали положения о лагерях принудительных работ, но и подлинной прибыльности — вплоть до того, что лагеря стали отбирать работу у других предприятий. Хотя эти предприятия были государственными, в 20-е годы в советской экономике сохранялись элементы конкуренции, и Френкель этим воспользовался. Уже в сентябре 1925-го СЛОН, экономическим руководителем которого стал Френкель, добился права вырубить 130 000 кубометров карельского леса, оттеснив лесозаготовительное предприятие обычного типа. СЛОН также стал акционером Коммунального банка Карелии и вступил в борьбу за право построить дорогу от Кеми до Ухты⁶⁵.

С самого начала карельские власти были недовольны этой деятельностью. Они вообще были против создания лагеря на Соловках⁶⁶. Впоследствии их протесты стали звучать громче. На собрании, созванном по поводу расширения СЛОН, местные власти пожаловались, что лагерь, пользуясь дешевой рабочей силой, несправедливо поставлен в более выгодное положение, чем обычные лесозаготовительные предприятия. Позднее стали звучать и более серьезные обвинения. В феврале 1926 года на заседании Совнаркома Карелии некоторые местные руководители подвергли СЛОН резкой критике, утверждая, что лагерная администрация требует слишком много денег за постройку тракта Кемь — Ухта. Один из выступавших гневно назвал СЛОН “коммерсантом”, чья главная цель — извлечение прибыли⁶⁷.

Кроме того, звучали возражения против решения СЛОН открыть в Кеми свой магазин. Государственное торговое предприятие не могло этого себе позволить, но лагерная администрация имела возможность использовать дешевый — почти дармовой — труд заключенных⁶⁸. Мало того — власти жаловались, что особые связи с ОГПУ позволяют СЛОН не считаться с местными правилами и не отчислять денег в региональный бюджет⁶⁹.

Споры о прибыльности, эффективности и справедливости в связи с использованием принудительного труда велись еще четверть века (далее в этой книге мы обсудим их более детально). Так или иначе, в середине 20-х годов карельские власти потерпели в этих спорах поражение. В датированных 1925 годом отчетах об экономическом положении соловецких лагерей Федор Эйхманс (в то время заместитель Ногтева, а позднее он возглавит лагерь) хвастался экономическими достижениями СЛОН, заявляя, что кирпичный завод, ранее находившийся в жалком состоянии, теперь процветает, что план по лесозаготовкам перевыполняется, что постройка электростанции окончена, что улов рыбы удвоился⁷⁰. Перепевы этих отчет-

тов публиковались затем как в соловецкой печати, так и в общедоступных советских изданиях⁷¹. Там содержались точные подсчеты: в одном отчете дневной рацион заключенного оценивался в 29 копеек, расходы на его одежду за год — в 34 рубля 57 копеек. Общая годовичная стоимость содержания одного заключенного, включая медицинское обслуживание и транспорт, равнялась 211 рублям 67 копейкам⁷². Хотя в 1929 году лагерный бюджет испытывал дефицит в 1,6 миллиона рублей⁷³ (вполне возможно потому, что часть денег прикарманило ОГПУ), об экономических успехах Соловков продолжали трубить вовсю.

Эти успехи вскоре стали главным доводом в пользу перестройки всей советской системы мест заключения. Если результаты были достигнуты ценой уменьшения рационов и ухудшения условий жизни заключенных — ничего страшного⁷⁴. Если они были достигнуты ценой ухудшения отношений с местными властями — не беда.

В самих лагерях мало кто затруднялся назвать человека, ответственного за эти “успехи”. Все без колебаний связывали коммерциализацию лагеря с именем Френкеля, и многие ненавидели его за это. В 1928 году на бурном собрании парторганизации Соловков — настолько бурном, что часть его протоколов недоступна до сих пор, — один из лагерных руководителей пожаловался, что экономическо-коммерческая часть СЛОН приобрела слишком большое влияние. Он атаковал и лично Френкеля, ставшего, по его мнению, слишком незаменимым (его лексика здесь отдает антисемитизмом). Другие интересовались, почему Френкель, бывший заключенный, обслуживается ларьками СЛОН в первоочередном порядке и по низким ценам. Кое-кто заявлял, что соловецкие лагеря в погоне за коммерческой выгодой пренебрегают другими задачами: работа по перевоспитанию заброшена, заключенных нещадно эксплуатируют. Случаи членовредительства ради освобождения от работы не расследуются⁷⁵.

Однако точно так же как соловецкие лагеря одержали верх в споре с карельскими властями, Френкель, возможно благодаря своим московским связям, выиграл внутрilaгерный спор о том, какими должны стать Соловки, как заключенные будут там работать и как с ними будут обращаться.

Как уже было сказано, вряд ли именно Френкель изобрел пресловутую систему “хлеб по выработке”, когда заключенных кормили в зависимости от результатов их работы. Однако он ответствен за развитие и процветание этой системы, за перерастание “оплаты” труда пайком, имевшей место от случая к случаю, в очень четкий, отрегулированный метод распределения пищи и организации лагерной жизни.

Система Френкеля была совершенно неприкрытой. Он разделил заключенных СЛОН на три категории в зависимости от физических данных: способные к тяжелой работе, способные к легкой работе и инвалиды. Каждая категория получала свои задания и должна была выполнять свои нормы. Кормили соответственно, причем разница рационов была очень велика. В одной таблице, составленной между 1928 и 1932 годом, заключенному первой категории отводится в день 800 г хлеба и 80 г мяса, заключенному второй категории — 500 г хлеба и 40 г мяса, заключенному третьей категории — 400 г хлеба и 40 г мяса. Таким образом, низшая категория потребляла вдвое меньше пищи, чем высшая⁷⁶.

На практике эта система очень быстро разделяла лагерников на тех, кто выживет, и тех, кто нет. Более крепкие, которых неплохо кормили, становились еще крепче. Более слабых недостаточное питание делало еще слабее, и в конце концов они заболели или умирали. Ускоряло этот процесс то, что трудовые нормы часто были очень высокими, невыполнимыми для многих заключенных, особенно для бывших горожан, не привыкших добывать торф и валить лес. В 1928-м центральные власти наказали группу лагерных охранников за то, что они заставили 128 заключенных зимой работать в лесу целую ночь, чтобы дать норму. Месяц спустя 75 процентов этих заключенных все еще страдали от жестоких обморожений⁷⁷.

При Френкеле изменился и характер работ в СЛОН: его не интересовали такие экзотические безделицы, как пушное хозяйство и выращивание арктических растений. Вместо этого он посылал заключенных строить дороги и валить лес, благо в бесплатной неквалифицированной рабочей силе недостатка не было⁷⁸. Перемены в характере работы быстро повлекли за собой перемены в характере самого лагеря, точнее — лагерей, потому что опыт СЛОН начал распространяться далеко за пределы Соловецкого архипелага. В частности, Френкеля не интересовало, содержатся ли заключенные в тюремной обстановке, в тюремных помещениях, за колючей проволокой. Он посылал бригады лагерников работать по всей Карелии и Архангельской области за сотни километров от Соловков — туда, где они были наиболее нужны⁷⁹.

Как менеджер, спасающий убыточную компанию, Френкель “рационализировал” и другие стороны лагерной жизни, постепенно ликвидируя все, что не служило производству. Вся видимость перевоспитания быстро исчезла. Критики Френкеля жаловались, что он закрыл лагерные газеты и журналы, прекратил заседания Соловецкого общества краеведения. Правда, соловецкий музей и театр продолжали существовать, но только ради показухи, ради приезжих важных персон.

Вместе с тем беспорядочных вспышек зверства стало меньше. В 1930 году на Соловки приехала комиссия Шанина от ОГПУ, задачей которой было расследовать сообщения о дурном обращении с заключенными. Отчеты комиссии содержат сведения об избиениях и издевательствах над людьми. Вступая в удивительное противоречие с прежней “политикой”, комиссия приговорила к расстрелу девятнадцать человек из лагерной администрации⁸⁰. Их поведение не годилось для лагеря, превыше всего ценившего теперь *трудоспособность*.

И наконец, при Френкеле навсегда изменилось понятие о “политическом заключенном”. Осенью 1925-го искусственная черта, разделявшая уголовников и “контрреволюционеров”, была стерта: и тех и других вместе послали на материк на лесозаготовки. В СЛОН не стало привилегированных заключенных: всех рассматривали как рабочую силу⁸¹.

Правда, с социалистами, содержащимися в Савватиевском скиту, дело обстояло сложнее. Они не вписывались ни в какие представления об экономической эффективности, поскольку в принципе отказывались выполнять какую бы то ни было принудительную работу. Отказывались даже заготавливать для себя дрова. “Нас выслали административным порядком, — заявил один из них, — и пусть теперь администрация обеспечит нас всем необходимым”⁸². Неудивительно, что их бесчисленные претензии вызывали раздражение лагерной администрации, в частности начальника лагеря Ногтева, хотя весной 1923-го именно он вел переговоры с “политическими” в Пертоминске и лично пообещал им более свободный режим на Соловках, если они не будут сопротивляться переводу туда. На новом месте “политические” спорили с начальством о свободе передвижения, о праве на медицинское обслуживание и на переписку с внешним миром. И вот 19 декабря 1923 года в разгар споров о режиме конвоиры открыли огонь по заключенным у Савватиевского скита и убили шесть человек.

Этот инцидент вызвал шум за границей. Политический Красный Крест передал сведения о расстреле за рубеж. Сообщения о нем появились в западной печати. Между Соловками и московским руководством сновали депеши. Поначалу лагерное начальство оправдывало расстрел, заявляя, что заключенные нарушили комендантский час и что конвоиры перед тем, как открыть огонь, сделали три предупреждения.

Позднее, в апреле 1924 года, все еще не до конца признавая, что стрельба велась без предупреждения (а заключенные утверждали, что дело обстояло именно так), лагерная администрация провела более подробное расследование случившегося. Политические заключенные, говорилось в ее рапорте, принадлежали к другому классу, нежели конвоиры. Заключенные, в отличие от солдат, могли

проводить время за чтением книг и газет, получали белый хлеб, масло и молоко. Это была “ненормальная ситуация”. Нарастало естественное ожесточение работающих против неработающих, и когда заключенные стали демонстративно нарушать комендантский час, неизбежно пролилась кровь⁸³. В Москве лагерное начальство в защиту своей позиции зачитало отрывки из писем заключенных родным, где лагерники писали, что они хорошо себя чувствуют, хорошо питаются и им не нужно присылать ни еды, ни одежды. В других письмах речь шла о великолепных видах Соловков⁸⁴. Когда некоторые из писем появились в советской печати, заключенные заявили, что послали родственникам эти идиллические описания соловецкой жизни только для того, чтобы успокоить их⁸⁵.

Московские власти вознегодовали и приняли меры. Соловецкий лагерь и пересыльный пункт в Кеми посетила комиссия, в которую входил заведующий спецотделом ОГПУ Глеб Бокий. Затем в сентябре — октябре 1924 года газета “Известия” опубликовала серию статей о Соловках. “Глубоко ошибаются те, кто думает, что Соловки представляют унылую, мрачную тюрьму, где люди сидят и изнывают в тесном заключении, — писал член комиссии Н. Красиков. — Весь лагерь представляет огромный хозяйственный организм с 3000 рабочих, работающих в самых разнообразных отраслях производства”. Воздав хвалу промышленности и сельскому хозяйству Соловков, Красиков перешел к описанию жизни социалистов в Савватиево: “Образ жизни, какой они ведут, можно характеризовать как анархо-интеллигентский, со всеми его отрицательными сторонами. Вечная бездеятельная толчея, митингование, мелкие семейные дразги, фракционные разногласия, а главное, резко вызывающее агрессивное отношение к власти вообще и к местной администрации и к красноармейской охране в частности <...> — все это ставит эту группу в 300 с лишним человек в состоянии откровенной вражды к каждому мероприятию, к каждой попытке местной власти наладить правильно регулируемую жизнь и работу...”⁸⁶.

В другом советском периодическом издании утверждалось, что заключенные-социалисты питаются лучше, чем красноармейцы. Эти заключенные якобы могут свободно встречаться с родственниками — как иначе они могли бы передавать наружу сведения? — и пользуются лучшим медицинским обслуживанием, чем жители обычных рабочих поселков. Автор статьи с издевкой писал, что эти заключенные требуют золотых зубных протезов и редких, дорогих лекарств⁸⁷.

Это было начало конца. После серии дискуссий, в ходе которых ЦК РКП(б) рассмотрел и отверг план высылки политических за границу (испугались реакции западных социалистов, в особенности британских лейбористов), было принято решение⁸⁸. На рассвете 17 июня 1925 года Савватиевский скит окружили конвоиры. Заклю-

ченным было дано два часа на сборы, после чего их отвели на пристань, посадили на суда и отправили в дальние материковые тюрьмы — одних в Тобольск, других в Верхнеуральск. Там условия были гораздо хуже, чем в Савватиево⁸⁹.

Хотя социалисты продолжали бороться за свои права, переправлять письма за границу, перестукиваться через тюремные стены, устраивать голодовки, их протесты тонули в большевистской пропаганде. В Берлине, Париже и Нью-Йорке старые организации, помогавшие заключенным, испытывали все большие трудности со сбором денег⁹⁰. “После событий 19 декабря, — писал один арестант зарубежному другу, имея в виду расстрел шести человек в 1923 году, — нам казалось, что мир содрогнется — наш социалистический мир. Но он словно бы не заметил того, что произошло на Соловках, и трагедия превратилась в фарс”⁹¹.

К концу 20-х заключенные-социалисты потеряли свой особый статус. Они делили камеры с большевиками, троцкистами и обычными уголовниками. На политических, точнее, на “контрреволюционеров”, стали смотреть не как на привилегированную группу, а как на людей, стоящих в лагерной иерархии ниже уголовников. Лишенные прав, которые они пытались отстаивать, они теперь интересовали тюремщиков лишь в той мере, в какой могли работать. И только способные работать получали достаточно еды, чтобы выжить.

Глава 3 1929 г.: “великий перелом”

Когда большевики пришли к власти, они сначала проявляли по отношению к своим врагам мягкость.

<...> Если бы мы повторили и дальше эту ошибку, мы совершили бы преступление по отношению рабочему классу, мы предали бы его интересы. И это вскоре стало совершенно ясно.

Иосиф Сталин

20 июня 1929 года к маленькой пристани под стеной Соловецкого кремля подошел пароход “Глеб Бокий”. Заключенные смотрели на прибытие с великим ожиданием. Вместо молчаливых, изнуренных арестантов, которые обычно сходили с “Глеба Бокия”, на берегу появилась группа здоровых, энергичных мужчин и одна женщина. Они разговаривали, жестикулировали. На сделанных в тот день фотографиях большинство мужчин одеты в военную форму: среди них было несколько видных чекистов, в том числе сам Глеб Бокий. Один из прибывших, выше остальных и с густыми усами, был одет проще: рабочая кепка, незатейливое пальто. Это был Максим Горький.

В числе заключенных, наблюдавших сцену в окно, был будущий академик Дмитрий Лихачев. Он описал и пассажирку: “...виден был пригорок, на котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой, которая была в кожаной куртке, кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и в кожаной кепке. Это оказалась сноха Горького (жена его сына Максима). Одетая она была, очевидно (по ее мнению), как заправская «чекистка». Группа села в монастырскую коляску “с Бог знает откуда добытой лошастью” и отправилась осматривать остров¹.

Лихачев прекрасно понимал, что Горький — особый посетитель. В тот период своей жизни Горький был вернувшимся “блудным сыном” большевиков, которые перевозили его на все лады. Убежденный социалист, в прошлом близкий к Ленину, Горький тем не менее не одобрил большевистский переворот 1917 года. В последующих статьях и выступлениях он страстно осуждал переворот и “красный террор”, называл политику Ленина “авантюрной”, а послереволюционный Петроград — “трясиной”. В 1921-м он эмигрировал в Сорренто, откуда поначалу продолжал отправлять на родину гневные послания.

Со временем, однако, его настроение изменилось, и в 1928 году он решил вернуться. Причины его возвращения не вполне ясны. Солженицын довольно зло объясняет возвращение тем, что на За-

паде Горький “не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем — и денег”. Орландо Фигес пишет, что в эмиграции Горький был очень несчастен и не мог терпеть общество других русских эмигрантов, большей частью настроенных куда более антикоммунистически, чем он сам². Каковы бы ни были его мотивы, он приехал обратно с твердым намерением всеми силами помогать советскому режиму. Почти сразу же он предпринял целый ряд триумфальных поездок по Советскому Союзу и осознанно включил в маршрут Соловки. Его многолетний интерес к тюрьмам восходил к собственному беспризорному отрочеству.

О визите Горького на Соловки пишут многие мемуаристы, и все сходятся на том, что на острове были сделаны тщательные приготовления. Некоторые вспоминают, что на этот день был изменен лагерный режим, что мужьям позволили повидаться с женами: люди должны были выглядеть как можно более веселыми³. Лихачев пишет, что вдоль пути Горького в землю воткнули свежезрубленные елки, что многих заключенных вывели из кремля в лес, чтобы не создавать у него ощущение тесноты. Однако поведение Горького авторы воспоминаний оценивают по-разному. По словам Лихачева, писатель понял, что его дурачат. Посетив лазарет, где персоналу к его приезду выдали чистые халаты, он сказал: “Не люблю парадов” и вышел. Затем Лихачев рассказывает о посещении Горьким детской колонии. Пробыв там минут десять-пятнадцать, Горький потребовал, чтобы его оставили наедине с четырнадцатилетним мальчиком, вызвавшимся рассказать ему “всю правду”. Через сорок минут Горький вышел со слезами на глазах⁴.

Однако Олег Волков, который тоже был на Соловках во время визита Горького, пишет, что писатель “глядел только в ту сторону, какую ему указывали”⁵. И хотя история о мальчике появляется не только у Лихачева (согласно одной из версий, он сразу же после отъезда Горькому был расстрелян), некоторые мемуаристы утверждают, что к Горькому не дали подойти ни одному заключенному⁶. Есть сведения, что впоследствии все письма лагерников Горькому перехватывались администрацией и что по крайней мере один из их авторов был уничтожен⁷. В. Э. Канэп, бывший чекист, ставший заключенным, даже утверждал, что Горький посетил штрафной изолятор на Секирке, где сделал запись в контрольном журнале. Один из московских руководителей ОГПУ, сопровождавших Горького, написал там: “При посещении мною Секирной нашел надлежащий порядок”. Ниже, по словам Канэпа, Горький добавил: “Сказал бы — отлично”⁸.

Хотя мы не можем установить в точности, что именно Горький сказал и сделал на острове, мы можем прочесть очерк, написанный им впоследствии. Горький хвалит в нем красоту соловецкой природы, описывает живописные монастырские здания и их живописных

обитателей. Плывя к острову на пароходе, он даже разговорился с соловецким монахом. “А начальство как относится к вам?” — спросил Горький. “Начальство тут желает, чтобы все работали. Мы — работаем”, — ответил монах⁹.

Горький с одобрением пишет об условиях жизни заключенных, явно желая внушить читателю, что советский трудовой лагерь — совсем не то же самое, что царская тюрьма. В комнатах женщин, пишет он, “по четыре и по шести кроватей, каждая прибрана “своим”, — свои одеяла, подушки, на стенах фотографии, открытки, на подоконниках — цветы, впечатления “казенщины” — нет, на тюрьму все это ничем не похоже, но кажется, что в этих комнатах живут пассажирки с потонувшего корабля”.

На торфоразработках трудятся “здоровые ребята в холщовых рубахах и высоких сапогах”. Горький встречает и нескольких “политических”. “Это контрреволюционеры эмоционального типа, “монархисты”, те, кого до “революции именовали «черной сотней»”, — пишет он. Когда они говорят ему, что их арестовали несправедливо, он предполагает, что они лгут. В одном месте очерка видится намек на легендарную встречу с четырнадцатилетним мальчиком. Какой-то “молодой человек «мелкого калибра»” подал ему сложенный лист бумаги. Но другие заключенные закричали: “Это — шпион!”.

Но не только условия жизни делали Соловки в глазах Горького лагерем нового типа. Пассажиры и пассажирки “с потонувшего корабля” не просто довольны и здоровы — они играют главные роли в грандиозном эксперименте преобразования преступных и антиобщественных личностей в полезных членов советского общества. Горький подхватил идею Дзержинского о том, что лагеря должны быть не только средством наказания, но и “школами труда”, перековывающими правонарушителей в работников, в которых нуждается новая советская система. Конечная цель эксперимента, который “дал уже неоспоримые положительные результаты”, — “уничтожить тюрьмы для уголовных”. “Если б такой опыт, как эта колония, дерзнуло поставить у себя любое из “культурных” государств Европы, — пишет Горький в конце очерка, — и если б там он мог дать те результаты, которые мы получили, государство это било бы во все свои барабаны, трубило во все медные трубы о достижении своем в деле реорганизации психики преступника”. Мы же “по скромности нашей” не умеем писать о своих достижениях.

Позднее Горький якобы говорил по поводу очерка о Соловках: “Карандаш редактора не коснулся только моей подписи — все остальное совершенно противоположно тому, что я написал, и неузнаваемо”. Мы не знаем, почему он написал то, что написал, — по наивности, из расчетливого желания обмануть читателя, под давлением цензуры?¹⁰ Какими бы мотивами Горький ни руководствовал-

ся, его очерк 1929 года сыграл важную роль в формировании общественного и официального взгляда на новую и гораздо более широкую систему лагерей, которая замышлялась в тот самый год. Ранняя большевистская пропаганда защищала революционное насилие как необходимое, но временное зло, как очищающее средство, применяемое в переходный период. Горький, с другой стороны, придал институционализированному насилию Соловков вид органической части нового порядка и тем самым способствовал примирению общества с растущей властью тоталитарного государства¹¹.

1929 год памятен не только публикацией очерка Горького. К этому времени революция достигла зрелости. Гражданская война окончилась почти десять лет назад. Ленина давно не было в живых. Были испробованы и отброшены экспериментальные экономические модели — военный коммунизм, НЭП. Подобно тому как концлагерь в ветхих зданиях на Соловках превратился в целую сеть северных лагерей, беспорядочный террор ранних советских лет уступил место более систематическому преследованию тех, кого объявляли противниками режима.

К 1929 году, кроме того, революция обрела совсем иного вождя. На протяжении 20-х Сталин победил или уничтожил сначала противников большевистской власти, а затем и своих личных противников. С этой целью он, во-первых, стал играть главную роль в партийных кадровых решениях, во-вторых, начал широко использовать секретную информацию, собираемую для него “органами”, к которым он проявлял особый интерес. Он инициировал ряд партийных чисток, результатами которых вначале были только исключения из партии, и позаботился о том, чтобы провинности людей разбирали на проникнутых обвинительным духом, наэлектризованных массовых собраниях. В 1937–1938 годах эти чистки стали смертельными: за исключением из партии часто следовал приговор к лагерному сроку или “высшей мере”.

Сталин очень искусно одержал верх над своим главным соперником в борьбе за власть — Львом Троцким. Вначале он дискредитировал Троцкого, затем добился его высылки в Турцию, затем использовал его для установления прецедента. Когда Яков Блюмкин, агент ОГПУ и пламенный троцкист, посетил своего кумира в турецкой ссылке и вернулся с письмами Троцкого к его сторонникам в СССР, Сталин позаботился о том, чтобы Блюмкина схватили и приговорили к расстрелу. Тем самым он подчеркнул решимость государства использовать всю силу своих карательных органов не только против членов других социалистических партий и сторонников старого режима, но и против несогласных внутри самой партии большевиков¹².

Однако в 1929-м Сталин еще не был тем диктатором, каким он стал к концу следующего десятилетия. Правильнее было бы сказать, что в том году он привел в действие политику, которая впоследствии сделала его власть безраздельной и в то же время изменила советскую экономику и общество до неузнаваемости. Западные историки называли эту политику “революцией сверху”, “сталинской революцией”. Сам же Сталин назвал 1929 год “годом великого перелома”.

Сердцевиной сталинской революции была программа лихорадочно-быстрой индустриализации. К тому времени большевистская власть так и не принесла большинству людей реального улучшения жизни. Наоборот — годы гражданской войны и экономических экспериментов привели к еще большему обнищанию. И теперь Сталин, возможно, почувствовав растущее народное недовольство, поставил задачу коренным образом изменить условия жизни рядового человека.

С этой целью в 1929-м советское правительство утвердило первый пятилетний план, предусматривавший ежегодное увеличение промышленного производства на 20 процентов. Вновь появились продуктовые карточки. Семидневная неделя — пять рабочих дней, два выходных — была отменена. Люди стали работать по скользящему графику, поддерживая непрерывный цикл производства. На самых важных объектах продолжительность смены доходила до тридцати часов, некоторые рабочие трудились в среднем по 300 часов в месяц¹³. Дух эпохи, насаждаемый сверху и с энтузиазмом подхваченный внизу, был духом соревнования: директора заводов и работники аппарата, рабочие и служащие соперничали друг с другом, стремясь выполнить и перевыполнить план или по крайней мере дать новые предложения по скорейшему его выполнению. В то же время никому не разрешалось ставить под вопрос правильность плана. Это относилось и к высшему уровню — партийные деятели, сомневающиеся в целесообразности столь стремительной индустриализации, недолго сохраняли посты, — и к низшему. Один человек вспоминал потом, как ребенком маршировал по комнате детского сада с флажком и скандировал:

Пять в четыре,
Пять в четыре,
Пять в четыре,
А не в пять!

Смысл этих слов — что пятилетку надо выполнить в четыре года — был мальчику совершенно неведом¹⁴.

Как и все крупные советские начинания, массовая индустриализация создала новые категории преступников. В 1926 году был принят новый советский уголовный кодекс, куда, помимо прочего, во-

шла сильно расширенная статья о контрреволюционной деятельности — 58-я. Она содержала 14 пунктов, и ОГПУ стало использовать их все, в первую очередь для ареста инженеров¹⁵. Само собой, с лихорадочным темпом технических перемен справиться было трудно. Прimitивные технологии, применяемые второпях, вели к ошибкам. На кого-то надо было свалить вину. Отсюда — аресты “вредителей” и “саботажников”, чьей коварной целью было замедлить рост советской экономики. Некоторые из ранних показательных процессов — Шахтинское дело 1928-го, процесс Промпартии 1930-го — были фактически судами над инженерами и представителями технической интеллигенции. То же самое можно сказать и о процессе 1933 года над сотрудниками фирмы “Метро-Виккерс”, привлечшем пристальное внимание за рубежом, поскольку подсудимыми были не только советские граждане, но и британцы. Все они обвинялись в саботаже и в шпионаже в пользу Великобритании¹⁶.

Но были и другие источники пополнения массы заключенных. В 1929-м советский режим ускорил и процесс насильственной коллективизации крестьян. Это был колоссальный переворот, в некоторых отношениях более глубокий, чем Октябрьский. За невероятно короткое время сельские партработники принудили миллионы крестьян отдать свои небольшие земельные наделы и вступить в колхозы. Нередко людей сгоняли с участков, которые возделывали их деды и прадеды. Этот переход безвозвратно подорвал советское сельское хозяйство и создал условия для ужасающего голода на Украине и в южной России в 1932–1934 годах, убившего от шести до семи миллионов человек¹⁷. Кроме того, коллективизация навсегда уничтожила присущее сельской России ощущение связи с прошлым.

Миллионы людей сопротивлялись коллективизации, прятали зерно, отказывались сотрудничать с властями. Всех несогласных причисляли к кулакам. Это понятие, как и понятие “вредителя”, было крайне расплывчатым, под него можно было подвести чуть ли не кого угодно. Лишней коровы или лишней комнаты в избе было достаточно, чтобы по доносу завистливого соседа зачислить в кулаки явно бедного крестьянина. Чтобы сломить сопротивление “кулаков”, режим по существу взял на вооружение старую царскую практику административной ссылки. В деревни просто-напросто приезжали грузовики или повозки и забирали людей семьями. Некоторых “кулаков” расстреляли, некоторых судили и приговорили к лагерному сроку. Большинство, однако, было попросту выслано. В 1930–1933 годы более двух миллионов крестьян вывезли в Сибирь, Казахстан и другие малонаселенные районы Советского Союза, где они прожили всю оставшуюся жизнь на правах “спецпереселенцев”, которым было запрещено покидать новые места проживания. Еще 100 000 арестовали и отправили в лагерь¹⁸.

Когда начался голод, которому способствовала засуха, последовали новые аресты. У крестьян, и особенно у “кулаков”, забирали все зерно, какое только можно было забрать. За малейшую кражу, пусть даже совершенную, чтобы накормить голодных детей, людей сажали в лагерь. Постановление от 7 августа 1932 года предусматривало для таких “расхитителей социалистической собственности” расстрел или длительный лагерный срок. Вскоре людей стали сажать “за колоски”; могли дать десять лет за несколько картофелин или яблок¹⁹. Этим объясняется тот факт, что крестьяне составляли подавляющее большинство советских заключенных в 30-е годы и существенную их часть вплоть до смерти Сталина.

Воздействие этих массовых арестов на места лишения свободы было огромным. Их московские руководители примерно в то же время, когда новые законы вступили в силу, начали призывать к быстрой и радикальной ревизии всей системы. “Обычная” система мест заключения, по-прежнему находившаяся в ведении Наркомата внутренних дел (и по-прежнему гораздо более обширная, чем Соловецкие лагеря, относившиеся к ОГПУ), все предыдущее десятилетие оставалась переполненной и плохо организованной; госбюджет тратил на нее немалые деньги. В масштабах страны положение было таким тяжелым, что в какой-то момент власти попытались уменьшить количество заключенных, начав приговаривать большее число людей к “принудительным работам без лишения свободы”²⁰.

Однако по мере того как коллективизация и репрессии набирали силу, как миллионы “кулаков” изгонялись из родных домов, такие решения начали представляться политически несвоевременными. И вновь руководители страны пришли к выводу, что столь опасные преступники (враги великого сталинского переустройства деревни) требуют более жесткого содержания, и создать к этому средства должно было ОГПУ.

Зная, что система мест лишения свободы приходит в упадок так же быстро, как растет число заключенных, Политбюро ЦК ВКП (б) в 1928 году сформировало комиссию для решения проблемы. Внешне комиссия выглядела нейтральной: в нее входили как представители Наркомюста РСФСР, так и люди из ОГПУ. Возглавил комиссию нарком юстиции Янсон. Задачей комиссии, однако, было создать “систему концлагерей, организованных по типу лагерей ОГПУ”, и ее деятельность проходила в жестких рамках. Вопреки лирическим рассуждениям Горького о перевоспитании через труд все члены комиссии использовали чисто экономический язык. Все проявляли одинаковое беспокойство о “снижении расходов” и о “рационально поставленном использовании труда”²¹.

Правда, протокол заседания комиссии от 15 мая 1929 года содержит ряд практических возражений против создания широкой лагерной системы: большие лагеря трудно будет организовать, нет дорог, ведущих в северные районы, и так далее. Нарком труда сказал, что неправильно наказывать мелких преступников так же, как рецидивистов. Нарком внутренних дел РСФСР Толмачев отметил, что нововведение вызовет критику за границей: белоэмигранты и буржуазная печать заявят, что “мы вместо хваленой пенитенциарной системы с исправительно-трудовым воздействием создали чекистский застенок”²².

Однако его мысль состояла не в том, что система плоха, а в том, что она будет *выглядеть* плохой. Никто из присутствующих не возражал против лагерей “по типу Соловецкого” на том основании, что они жестоки и губительны. Никто не вспомнил о столь любимой Лениным альтернативной теории преступности, согласно которой преступления должны исчезнуть вместе с капитализмом. Разумеется, никто не говорил о перевоспитании заключенных, о “коренном изменении психики людей”, которое восхвалял Горький в очерке о Соловках и которое можно было бы использовать для создания положительного впечатления о первых лагерях. Вместо этого Генрих Ягода, представлявший ОГПУ в комиссии, очень четко изложил подлинные интересы режима:

“Необходимо и возможно уже теперь вывести из мест заключения по РСФСР 10 000 чел., труд которых может быть правильно организован и использован. Вместе с тем мы получили сегодня сведения о переполнении мест лишения свободы также и в УССР. Совершенно очевидно, что политика советской власти и строительство новых тюрем несовместимы. На новые тюрьмы никто денег не даст. Другое дело построение больших лагерей с рационально поставленным использованием труда в них. Мы имеем огромные затруднения в деле отправки рабочих на север. Сосредоточение там многих тысяч заключенных поможет нам продвинуть дело хозяйственной эксплуатации природных богатств севера. <...> Опыт Соловков показывает, как много можно сделать в этом направлении”.

Далее Ягода сказал, что люди, отправленные на север, должны будут оставаться там навсегда: “Рядом мер, как административного, так и хозяйственного содействия освобожденным, мы можем побудить их оставаться на севере, тут же заселяя наши окраины”²³.

Сходная с царской моделью идея о том, что заключенные должны становиться поселенцами, была высказана не случайно. Пока работала комиссия Янсона, другая комиссия начала исследовать пути борьбы с нехваткой рабочей силы на Дальнем Севере. Для решения проблемы выдвигались разные предложения, в частности, заселять безлюдные места безработными и китайскими иммигранта-

ми²⁴. Обе комиссии пытались решить одну и ту же задачу, и этому трудно удивляться. Чтобы выполнить сталинский пятилетний план, Советскому Союзу требовались громадные количества угля, газа, нефти и древесины, источниками которых могли стать Сибирь, Казахстан и Крайний Север. Страна также нуждалась в золоте для покупки новой техники за границей, а геологи как раз недавно обнаружили золото в верховьях Колымы. Несмотря на холод, тяжелые условия жизни и труднодоступность, эти ресурсы необходимо было разрабатывать с огромной скоростью.

В обычном для того времени духе межведомственного соревнования Янсон вначале предложил, чтобы систему возглавил его наркомат. Он вызвался создать на севере европейской части РСФСР ряд лесных лагерей, чтобы увеличить экспорт древесины, которая была для страны главным источником иностранной валюты. Проект был “заморожен” — вероятно, не все хотели, чтобы во главе стояли Янсон и его юристы. И весной 1929 года, когда проект вновь стали рассматривать, комиссия Янсона пришла к несколько иным выводам. 13 апреля 1929-го она предложила создать новую, единую систему концлагерей, которая уничтожила бы различие между обычными местами лишения свободы и лагерями особого назначения. Что еще более важно, новая система должна была находиться в непосредственном ведении ОГПУ²⁵.

Быстрота, с которой ОГПУ брало систему мест заключения под свой контроль, поразительна. В декабре 1927 года в ведении спецотдела ОГПУ находилось 30 000 заключенных — около 10 процентов от общего числа, главным образом в Соловецких лагерях. В отделе работало не более 1000 сотрудников, и его бюджет едва превышал 0,05 процента государственных расходов. Для сравнения: в местах заключения, подчиненных НКВД, содержалось 150 000 человек, и расходы на них составляли 0,25 процента госбюджета. Однако между 1928 и 1930 годом положение изменилось на прямо противоположное. По мере того как другие ведомства постепенно отдавали ОГПУ своих заключенных, свои тюрьмы, свои лагеря, число заключенных в системе ОГПУ увеличилось с 30 000 до 300 000²⁶. В 1931 году ОГПУ взяло под свой контроль и миллионы “спецпереселенцев” (главным образом “кулаков”), которые фактически были обречены на принудительный труд, поскольку им под страхом смерти или ареста было запрещено покидать назначенные места проживания и рабочие места²⁷. К середине 30-х ОГПУ уже контролировало всю огромную трудовую армию советских заключенных.

Чтобы справиться с новыми задачами, ОГПУ реорганизовало свой спецотдел, ведавший лагерями, и преобразовало его в Главное управление лагерями — ГУЛАГ. Позднее эта аббревиатура стала обозначением всей системы²⁸.

С тех самых пор как система советских концлагерей приобрела широкий размах, заключенные и исследователи много думали и спорили о побудительных мотивах к ее созданию. Возникла ли она спонтанно — как побочный результат коллективизации, индустриализации и других процессов, происходивших в стране? Или Сталин тщательно спроектировал рост ГУЛАГа, заранее планируя арест миллионов людей?

В прошлом некоторые специалисты утверждали, что за созданием лагерей не стояло никакого грандиозного плана. Историк Джеймс Харрис писал, что движение за строительство новых лагерей в районе Урала возглавляли не московские чиновники, а местные руководители. Перед лицом непосильных требований пятилетнего плана, с одной стороны, и острой нехватки рабочих рук — с другой, уральские власти ускорили и ужесточили коллективизацию. Всякий “кулак”, согнанный со своей земли, становился очередным подневольным работником²⁹. Другой историк (Майкл Джекобсон), рассуждая в сходном ключе, пишет, что источники грандиозной советской лагерной системы были “банальными”: “Чиновники преследовали недостижимые цели, стремясь к самоокупаемости мест заключения и в то же время желая перевоспитывать заключенных. Руководители изыскивали рабочую силу и деньги, расширяли свои бюрократические владения, ставили нереальные задачи. Начальники лагерей и надзиратели послушно исполняли правила и распоряжения. Теоретики подводили базу. В результате решения постоянно менялись на противоположные, исправлялись или отменялись”³⁰.

Если ГУЛАГ и вправду создавался наобум и вслепую, этому трудно удивляться. Вообще в начале 30-х годов советское руководство в целом и Сталин в частности постоянно меняли курс, принимали решения и затем отменяли их, делали публичные заявления, сознательно направленные на то, чтобы скрыть реальное положение вещей. Изучая историю тех лет, нелегко обнаружить какой-либо четкий широкомасштабный дьявольский план, разработанный Сталиным или кем-либо другим³¹. Например, начав коллективизацию, Сталин в марте 1930 года словно бы опомнился и осадил чересчур ретивых сельских руководителей, обвинив их в “головкружении от успехов”. Что бы он ни имел под этим в виду, его заявление не оказало большого воздействия на ход событий и раскулачивание продолжалось еще не один год.

Деятели из ОГПУ, планировавшие расширение ГУЛАГа, поначалу, кажется, тоже не имели ясного представления о своих конечных целях. Комиссия Янсона принимала решения, потом давала задний ход. Политика ОГПУ как такового представляется противоречивой. Например, на протяжении 30-х годов ОГПУ часто объявляло амнистии с целью разгрузить тюрьмы и лагеря. Однако за ам-

нистией неизменно следовала новая волна репрессий и лагерного строительства, словно Сталин и его подручные сами не знали, хотят ли они роста системы, или словно разные люди в разное время давали противоположные указания.

Сходным образом, лагерная система претерпевала циклические изменения, становясь то более, то менее репрессивной. В ней и после 1929 года, когда лагеря были устойчиво поставлены на путь экономической эффективности, сохранялись некоторые аномалии. Например, даже в 1937-м многих политзаключенных все еще держали в тюрьмах, где работать было воспрещено, что вступало в явное противоречие с общей установкой на эффективность³². Далеко не все бюрократические изменения кажутся осмысленными. Хотя в 30-е годы формальному разграничению между лагерями ОГПУ и НКВД пришел конец, сохранилось остаточное разграничение между “лагерями”, предназначенными для более опасных и политических преступников, и “колониями” для мелких преступников с более короткими сроками. На практике, однако, организация работы, питания и повседневной жизни в лагерях и колониях была почти одинакова.

И все же теперь все большее число историков приходит к единому мнению о том, что у Сталина был если не тщательно разработанный план, то по крайней мере твердая вера в колоссальные преимущества подневольного труда, которую он сохранял до конца жизни. Почему?

Некоторые, как, например, Иван Чухин, бывший сотрудник НКВД, а ныне историк лагерной системы раннего периода, считают, что Сталин затеял сверхамбициозные стройки силами ГУЛАГа для того, чтобы поднять свой личный авторитет. В то время он только лишь утверждался на посту руководителя страны после долгой и жестокой борьбы за власть. Возможно, он полагал, что индустриальные достижения, добиться которых можно было за счет принудительного труда заключенных, помогут ему упрочить свое положение³³.

Не исключено, кроме того, что его вдохновлял исторический пример. Ряд историков, в том числе Роберт Таккер, убедительно продемонстрировали огромный интерес Сталина к Петру Великому, тоже широко использовавшему в грандиозных стройках подневольный труд. В речи на пленуме ЦК, произнесенной в 1928 году — как раз перед началом индустриализации, — Сталин с уважением сказал: “Когда Петр Великий, имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка *выскочить из рамок отсталости*”³⁴.

Курсив здесь мой. Он подчеркивает связь между сталинским “великим переломом” и политикой его предшественника в XVIII веке. В российской исторической традиции Петр фигурирует как

великий и в то же время жестокий властитель, и противоречия здесь не усматривается. В конце концов, никто не помнит, скольким крепостным стоило жизни строительство Санкт-Петербурга, но красота города восхищает всех. Сталин вполне мог руководствоваться его примером.

Возможно, однако, интерес Сталина к концлагерям и вовсе не имел рационального источника; возможно, его навязчивая страсть к грандиозным строительным проектам, осуществляемым армиями подневольных тружеников, проистекает из особой формы мегаломании, которой он был подвержен. Муссолини однажды назвал Ленина художником, чьим материалом являются люди, как у других — мрамор или металл³⁵. Не исключено, что это определение еще лучше подходит к Сталину, которого радовал вид большого количества людей, марширующих или танцующих с идеальной синхронностью³⁶. Он очень любил балет, гимнастические выступления под музыку и гимнастические парады с пирамидами из безмянных человеческих фигур в неестественных позах³⁷. Как и Гитлера, Сталина завораживало кино, особенно голливудские мюзиклы с их массовым слаженным пением и танцами. Несколько другое, но похожее удовольствие, возможно, доставляли ему громадные массы заключенных, прокладывающих каналы и строящих железные дороги по его приказу.

В чем бы ни заключались причины — в политике, в истории или в психологии, — очевидно, что с первых же дней ГУЛАГа Сталин испытывал к лагерям глубокий личный интерес и что он оказал огромное влияние на их развитие. В частности, ключевое решение — передать все советские лагеря и тюрьмы из ведения обычной правоохранительной системы в руки ОГПУ — почти наверняка было принято по указанию Сталина. Он и до 1929 года уделял ОГПУ большое личное внимание: проявлял интерес к карьерам ведущих чекистов, заботился о строительстве комфортабельных домов для них и их семей³⁸. Напротив, с тюремной администрацией НКВД у Сталина были счеты: ее начальники в свое время поддерживали в жестокой внутривластной борьбе противников Сталина³⁹.

Всем членам комиссии Янсона эти нюансы наверняка были хорошо известны, и этого, возможно, было достаточно, чтобы склонить их к передаче мест заключения в ведение ОГПУ. Но Сталин и напрямую вмешался в деятельность комиссии. На каком-то этапе запутанных дискуссий ряд руководителей заявили о своем несогласии с передачей чекистам всех заключенных НКВД, осужденных на срок три года и выше. Это взбесило Сталина. В письме Вячеславу Молотову, написанном в 1930-м, он назвал этот план “происками прогнившего насквозь Толмачева” (наркома внутренних дел РСФСР). Он дал политбюро указание исполнять первоначаль-

ное решение и ликвидировал республиканские наркоматы внутренних дел⁴⁰. Решение Сталина переподчинить лагеря ОГПУ предопределило их будущий характер. Оно вывело их из-под обычного юридического надзора и отдало в цепкие руки руководства тайной полиции, которое было порождением таинственного, противоправного мира ВЧК.

Возможно также (хотя прямых доказательств этому нет), что от Сталина исходило и постоянно выражавшееся намерение построить “лагеря по типу Соловецкого”. Как я уже писала, Соловецкие лагеря никогда не были прибыльными — ни в 1929-м, ни в другие годы. С июня 1928 по июль 1929 года СЛОН имел дефицит по смете в 1,6 миллиона рублей, который пришлось покрыть из государственной казны⁴¹. Хотя и могло возникнуть впечатление, что СЛОН действует более успешно, чем другие местные предприятия, всякому, кто разбирался в экономике, было понятно, что причина этого — неравные условия. К примеру, лесозаготовительные лагеря, использовавшие труд заключенных, могли казаться более производительными, чем обычные предприятия такого же типа, хотя бы просто потому, что крестьяне, занятые на обычных предприятиях, работали только зимой, когда были свободны от сельскохозяйственного труда⁴².

И тем не менее Соловецкие лагеря считались прибыльными — по крайней мере, таковыми их считал Сталин. Он, кроме того, был убежден, что прибыльными их сделало не что иное, как “рациональный” метод Френкеля — распределение еды в зависимости от выработки и ликвидация излишних льгот. О том, что система Френкеля получила одобрение на высшем уровне, говорят факты: во-первых, система была очень быстро растиражирована по всей стране, во-вторых, Френкелю поручили руководить строительством Беломорканала — первым крупным проектом сталинского ГУЛАГа, что было знаком чрезвычайно большого доверия к бывшему заключенному⁴³. Позднее, как мы увидим, вмешательство на самом высоком уровне спасло его от ареста и возможной казни.

Об интересе Сталина к принудительному труду свидетельствует и его постоянное внимание к внутренним деталям лагерного хозяйства. До конца жизни он требовал регулярно сообщать ему о производительности труда в лагерях, что зачастую делалось посредством специфической статистики: сколько угля или нефти добыто, сколько заключенных используется, сколько наград получило лагерное начальство⁴⁴. Особенно интересовали его золотые прииски Дальстроя — лагерного комплекса на северо-востоке страны, в районе Колымы. Он требовал регулярно и точно информировать его о геологических особенностях района, о количестве и качестве добытого золота. Чтобы обеспечивать исполнение своих указаний в дальних

лагерях, он посылал туда инспекционные группы и часто вызывал начальников лагерей в Москву⁴⁵.

Заинтересовавшись каким-либо проектом, он мог уделить ему и еще более пристальное внимание. В частности, его воображением владели каналы, и порой могло показаться, что он хочет прокладывать их всегда и везде. Ягоде однажды пришлось письменно высказать вежливые возражения против нереалистичного желания вождя прорыть канал в центре Москвы с использованием труда заключенных⁴⁶. Увеличивая свой контроль над органами власти, Сталин требовал повышенного внимания к лагерям и от всего руководства страны. В 1940 году политбюро уже чуть ли не каждую неделю обсуждало тот или иной гулаговский проект⁴⁷.

При этом интерес Сталина не был отвлеченным. Он напрямую интересовался конкретными людьми, вовлеченными в лагерный труд: кто арестован, где получил приговор, какова его конечная судьба. Он лично читал ходатайства об освобождении, посылавшиеся ему арестованными или их женами, и часто накладывал краткую резолюцию⁴⁸. Позднее он регулярно запрашивал информацию об интересовавших его заключенных или категориях заключенных, например о западноукраинских националистах⁴⁹.

Есть также свидетельства о том, что внимание Сталина к тем или иным заключенным не всегда носило чисто политический характер и не всегда касалось его личных врагов. Еще в 1931-м, до полной консолидации своей власти, Сталин провел через политбюро резолюцию, позволявшую ему оказывать огромное влияние на аресты определенных категорий технических специалистов⁵⁰. И вполне закономерно, что данные об арестах инженеров и ученых уже на этом раннем этапе говорят о некоем высшем планировании. Вряд ли случайно, что в самую первую группу заключенных, отправленную в новые лагеря на Колыму, входили семь видных специалистов по горному делу, два специалиста по организации труда и один опытный инженер-гидравлик⁵¹. Не случайно, видимо, и то, что накануне запланированной экспедиции, задачей которой было построить лагерь в нефтеносном районе Коми-Зырянской автономной области, ОГПУ арестовало одного из крупнейших советских геологов (мы к этому еще вернемся)⁵². Такие совпадения не могут быть результатом планирования на уровне местного партийного начальства, реагировавшего на требования дня.

И наконец, имеются косвенные, но тем не менее интересные данные, говорящие о том, что массовые аресты конца 30-х и 40-х годов, возможно, в определенной степени объясняются стремлением Сталина использовать рабский труд, а не только, как всегда предполагало большинство, его желанием наказать реальных, воображаемых или потенциальных врагов. Авторы наиболее авторитетного к

настоящему времени российского справочника по лагерям пишут, что “существовала положительная обратная связь между результативностью производственной деятельности лагерей и численностью направляемых в лагеря осужденных”. Не случайно, утверждают они, быстрый рост лагерной системы и увеличение потребности в рабочей силе совпадают по времени с резким ужесточением наказаний за мелкие правонарушения⁵³.

О том же свидетельствуют и некоторые разрозненные архивные документы. Например, 17 марта 1934 года Ягода потребовал от своих подчиненных на Украине предоставить к 1 апреля “не менее 15–20 тысяч трудоспособных заключенных”: они срочно были нужны для окончания канала Москва — Волга. Откуда взять эти 15–20 тысяч человек, Ягода точно не объяснил. Были ли они срочно арестованы во исполнение его требования? Или — как считает историк Терри Мартин — Ягода просто стремился обеспечить ровный и регулярный приток рабочей силы в свою лагерную систему? Этой цели, надо сказать, он так никогда и не добился.

Если аресты были нужны для того, чтобы наполнить лагерь, то задача эта решалась с почти смехотворной неэффективностью. Мартин и другие исследователи указывали, что каждая волна массовых арестов, похоже, заставляла начальников лагерей врасплох, и им очень трудно было даже создавать видимость экономической эффективности. Что касается выбора “человеческого материала”, то он представляется нерациональным: наряду с молодыми здоровыми мужчинами, способными к тяжелому труду в северных лагерях, арестовывали множество женщин, детей, стариков⁵⁴. Явная алогичность массовых арестов — довод не в пользу предположения о тщательно спроектированной системе рабского труда, приводящий многих к мысли, что репрессии против тех, кого Сталин считал своими врагами, были все же главной целью арестов, а наполнение лагерей имело второстепенное значение.

Впрочем, эти два объяснения роста лагерей не исключают друг друга. Сталин вполне мог иметь в виду и то и другое сразу — и расправу с врагами, и приумножение числа рабов. Возможно, им одновременно двигали его собственная паранойя и потребность местных руководителей в рабочей силе. Возможно, о случившемся лучше сказать попросту: Сталин предложил своей тайной полиции “соловецкую модель” концлагерей, Сталин очертил круг жертв — и его подчиненные рьяно взялись за дело.

Глава 4 Беломорканал

В конечном итоге лишь одно из возражений, выдвинутых на заседаниях комиссии Янсона, вызвало определенную озабоченность. Хотя Сталин и его приспешники были уверены, что великий советский народ справится с нехваткой дорог, хотя они без зазрения совести готовы были использовать заключенных как рабов, их по-прежнему очень беспокоило, что будут говорить об их лагерях за границей.

Следует отметить, что, вопреки сложившемуся у многих убеждению, за рубежом в то время довольно много писали о советских лагерях. В конце 20-х годов на Западе было известно о них немало — пожалуй, больше, чем в конце 40-х. Большие статьи о советских местах заключения были опубликованы в немецкой, французской, английской и американской печати, главным образом левой, у которой в прошлом имелись широкие связи с арестованными ныне российскими социалистами¹. В 1927 году французский автор Раймон Дюге опубликовал книгу о Соловках “Un Bagne en Russie Rouge” (“Каторжная тюрьма в красной России”), где на удивление точно было описано буквально все — от личности Нафталия Френкеля до пытки комарами. С. А. Мальсагов, белогвардейский офицер родом из Ингушетии, сумевший бежать из Соловков и перебраться за границу, в 1926-м опубликовал в Лондоне “Island Hell” (“Адские острова”) — еще один рассказ о Соловках. Широко распространившиеся слухи об использовании советскими властями труда заключенных даже побудили Британское антирабовладельческое общество начать расследование, в отчете о котором содержались сведения о цинге среди заключенных и о дурном обращении с ними². Один французский государственный деятель написал статью, основанную на свидетельствах беженцев из России, на которую часто ссылались. В ней он сравнил данные о заключенных в Советском Союзе с результатами проведенного Лигой Наций расследования рабства в Либерии³.

Однако после расширения системы лагерей в 1929–1930 годах фокус международного внимания к ним переместился от судьбы

заключенных социалистов к экономической угрозе деловым интересам Запада. Компании и профсоюзы, почувствовавшие себя ущемленными, начали действовать. В разных странах (главным образом в Великобритании и США) возникло движение за бойкот дешевых советских товаров, произведенных, как считали, посредством принудительного труда. Парадоксальным образом призывы к бойкоту затемнили вопрос в восприятии западных (особенно европейских) левых, которые все еще поддерживали российскую революцию, хотя многим их лидерам было не по себе из-за судьбы их собратьев-социалистов. В частности, британские лейбористы не поддержали запрет на импорт советских товаров, подозревая предлагавшие его ввести компании у себя на родине в нечестной игре⁴.

В США, однако, профсоюзы, и прежде всего Американская федерация труда, поддержали бойкот. На короткое время они добились успеха. Акт о тарифах от 1930 года запрещал ввоз в порты США любого сырья и товаров, произведенных посредством труда заключенных или принудительного труда⁵. На этом основании Министерство финансов США запретило импорт из СССР балансовой древесины и спичек.

Хотя запрет сохранял силу только неделю, поскольку госдепартамент США его не поддержал, обсуждение вопроса продолжалось⁶. В январе 1931-го комитет путей и средств конгресса США рассматривал законопроект, “касающийся запрета на ввоз товаров, произведенных в России посредством труда заключенных”⁷. 18, 19 и 20 мая 1931 года лондонская “Таймс” опубликовала серию на удивление подробных статей о принудительном труде в СССР, которую завершала редакционная статья, осуждавшая недавнее решение британского правительства о дипломатическом признании Советского Союза. Давать России в долг — значит, по мнению редакции, “усиливать тех, кто открыто стремится к свержению нашего правительства и к уничтожению Британской империи”⁸.

Советский режим отнесся к угрозе бойкота очень серьезно, и был принят ряд мер к тому, чтобы приток твердой валюты в страну не прекращался. Некоторые из этих мер были косметическими: например, комиссия Янсона исключила из своих публичных заявлений слова “концентрационный лагерь”. С 7 апреля 1930 года во всех официальных документах советские лагеря неизменно именовались “исправительно-трудовыми” (ИТЛ). Термин сохранился на долгие годы⁸.

Лагерное начальство приняло свои косметические меры на местах, особенно в отношении лесоразработок. В частности, ОГПУ изменило свой договор с трестом “Кареллес”, исключив из него упоминания о труде заключенных. Одновременно 12 090 осужденных

были формально “выведены” из лагерей ОГПУ. Фактически они продолжали работать, но их присутствие было замаскировано бюрократическими хитростями⁹. В очередной раз главной заботой советского руководства была видимость, а не реальность.

В других местах заключенных, занятых на лесозаготовках, действительно заменяли “вольными” или, чаще, ссыльными “поселенцами”, бывшими “кулаками”, у которых выбора в этом вопросе было не больше, чем у заключенных¹⁰. Согласно воспоминаниям мемуаристов, эта замена иногда происходила мгновенно. Джордж Китчин, финский бизнесмен, проведенный в лагерях ОГПУ четыре года и затем освобожденный с помощью финского правительства, писал, что перед приездом иностранной делегации “...от московского начальства была получена секретная шифрованная телеграмма, предписывающая полностью ликвидировать лагерь в три дня, причем так, чтобы и следа не осталось. <...> Во все лагерные подразделения были посланы телеграммы, где говорилось, что надо в двадцать четыре часа прекратить работу, собрать заключенных в эвакуационных пунктах и уничтожить все следы мест лишения свободы, в частности, заграждения из колючей проволоки, караульные вышки и доски с надписями; всем сотрудникам переодеться в гражданскую одежду, конвою разоружиться и ждать дальнейших указаний”.

Китчина наряду с несколькими тысячами других заключенных вывели в лес. По его оценке, эта и другие подобные ей ночные эвакуации стоили жизни более чем 1300 человек¹¹.

В марте 1931 года предсовнаркома Молотов, уверенный, что на лесозаготовках заключенных (по крайней мере, видимых) больше не осталось, пригласил всех желающих иностранцев приехать и убедиться в этом¹². Кое-кто побывал там и раньше: в карельском партийном архиве сохранились сведения о приезде в 1929 году двух американских журналистов, корреспондентов ТАСС и “радикальных газет”, — товарища Дьюранта и товарища Вульфа. Их встретили пением “Интернационала”, и товарищ Вульф пообещал рассказать рабочим Америки, как живут и строят новую жизнь рабочие в Советском Союзе. Это было далеко не последнее показательное мероприятие такого рода¹³.

Хотя в 1931-м движение за бойкот выдохлось, кампания Запада против рабского труда в СССР не прошла совсем уж бесследно: Советский Союз всегда, даже при Сталине, был очень чувствителен к тому, какое впечатление он производит за границей. Ныне некоторые исследователи (в частности, Майкл Джекобсон) предполагают, что угроза бойкота могла быть существенным фактором, предопределившим еще одно, более важное решение советских властей. Заготовка леса, требовавшая огромных затрат неквалифицированно-

го труда, была, конечно, идеальной сферой для использования труда заключенных. Однако экспорт леса был одним из главных источников твердой валюты, и режим хотел обезопасить себя от бойкота. Заключенных надо было перебросить на другой участок, причем лучше всего на такой, чтобы их труд можно было не скрывать, а прославлять. Возможностей было достаточно, но Сталину больше всего пришлось по душе вот такая: проложить огромный канал от Белого моря до Балтийского, в немалой его части — по скальному грунту.

Для своего времени Беломорканал не был уникальным явлением. Еще до начала его строительства Советский Союз приступил к осуществлению нескольких столь же грандиозных проектов, требовавших столь же колоссальных затрат труда. В их числе — постройка крупнейшего в мире Магнитогорского металлургического комбината, огромных новых тракторных и автомобильных заводов, возведение среди болот больших “социалистических городов”. Тем не менее Беломорканал стоит особняком даже среди этих проявлений гигантомании 30-х годов.

Во-первых, канал, как многим в России было известно, был осуществлением очень давней мечты. Первые планы прокладки такого канала возникли еще в XVIII веке, когда российские купцы искали способ переправлять лес и другие грузы из холодных вод Белого моря к портам Балтики без того, чтобы плыть по северным морям вдоль длинного берега Норвегии¹⁴.

Во-вторых, проект был чрезвычайно, до безрассудства амбициозным — видимо, именно поэтому никто раньше не пытался его осуществить. Длина канала составляла 227 км. Требовалось построить 19 шлюзов, 15 плотин, 49 дамб. В этих пустынных северных местах, которые не были толком исследованы, советские проектировщики могли рассчитывать только на самую примитивную технику. Однако, возможно, именно этим отчасти объясняется притягательность проекта для Сталина. Ему нужен был технологический триумф, какого не мог добиться царский режим, и он нужен был ему как можно скорее. Сталин потребовал завершения работ за двадцать месяцев. Готовому каналу было присвоено его имя.

Сталин был главной движущей силой постройки Беломорканала, и Сталин хотел, чтобы канал был построен именно заключенными. До начала работ он с яростью обрушивался на тех, кто, учитывая сравнительно небольшой объем перевозок между двумя морями, сомневался в необходимости столь грандиозной стройки. “Говорят, — писал он Молотову, — что Рыков и Квиринг хотят потушить дело Северного канала вопреки решениям ПБ. Нужно их осадить и дать им по рукам”. На заседании Политбюро, посвя-

щенном канале, Сталин написал Молотову записку, текст которой ясно говорит о том, на чей труд он рассчитывал: “Что касается Северной части канала, <...> имею в виду ее постройку глав[ным] обр[азом] силами ГПУ. Одновременно надо поручить еще раз подсчитать расходы по осуществлению первой части. <...> Слишком много”¹⁵.

Предпочтения Сталина не были тайной. На торжественном заседании после окончания строительства канала начальник Беломорско-Балтийского ИТЛ (Белбалтлага) восхвалял “смелость идеи т. Сталина” о сооружении этого “гиганта гидротехники”, особо отмечая тот “замечательный факт”, что “работа была выполнена не обычной рабочей силой”¹⁶. Воздействие Сталина видно и по скорости, с какой работы были начаты. Решение о строительстве было принято в середине 1931-го, а начало стройки датируется сентябрем того же года, так что разведка и предварительные инженерные работы заняли всего несколько месяцев.

В административном, материальном и даже психологическом смысле первые лагеря для заключенных, занятых на Беломорканале, были порождением СЛОН. Лагеря канала были организованы по соловецкому образцу, укомплектованы соловецкими кадрами, и в них использовалось соловецкое имущество. Едва начались работы, руководство немедленно перебросило на эту стройку многих заключенных из подразделений СЛОН на материке и на самих Соловецких островах. Некоторое время старая администрация СЛОН и новая администрация Беломорканала, возможно, даже конкурировали за контроль над проектом — но канал победил. В конце концов СЛОН перестал существовать как независимая единица. Соловецкий кремль был превращен в “спецтюрьму”, а Соловецкий лагерь стал одним из подразделений Белбалтлага. ОГПУ перебросило с Соловков на канал некоторое количество охранников и ряд видных начальников, в том числе, как было сказано, Нафталия Френкеля, который возглавлял работы на Беломорканале с ноября 1931 года до их завершения¹⁷.

Согласно воспоминаниям бывших заключенных, хаос, царивший на строительстве канала, был просто баснословным. Из экономии вместо металла и цемента использовали древесину, песок и камень. Где только возможно, изворачивались, стараясь снизить расходы. После долгих споров канал решено было вырыть на глубину 5 метров, чего едва хватало для морских судов. Поскольку современная техника была слишком дорога или недоступна, к работам, длившимся двадцать один месяц, привлекли огромное количество неквалифицированной рабочей силы — примерно 170 000 заключенных и “спецпереселенцев”, чьими главными орудиями были лопаты, незатейливые ручные пилы, кирки и тачки¹⁸.

На фотографиях, сделанных в то время, эти инструменты и приспособления, конечно, выглядят примитивными, но лишь более пристальный взгляд позволяет понять, насколько они примитивны. Некоторые из них можно увидеть сейчас в Медвежьегорске, который был в свое время главными воротами канала и “столицей” Белбалтлага. Ныне захолустный карельский городок, он приметен только своей огромной, пустой, изобилующей тараканами гостиницей и маленьким местным историческим музеем. Там можно видеть кирки — кое-как заостренные куски металла, притянутые к рукояткам полосками кожи или веревками. Пила — металлическое полотно с грубо вырезанными зубьями. Чтобы разбивать большие каменные глыбы, заключенные вместо динамита пользовались кувалдами и железными клиньями.

Все — от тачек до строительных лесов — изготовлялось вручную. Один заключенный вспоминал, что “техники не было никакой. Даже обыкновенные автомашины были редкостью. Все делалось вручную, иногда с помощью лошадей: вручную копали и вывозили на тачках землю, вручную бурили скалу и вывозили камни”¹⁹. Даже советская пропаганда хвалилась тем, что камни вывозят на “беломорских фордах” — тяжелых деревянных площадках, положенных на четыре деревянных катка²⁰.

Условия жизни на канале, вопреки усилиям начальника ОГПУ Генриха Ягоды, несшего политическую ответственность за проект, были столь же примитивными. Он, по-видимому, искренне считал, что для того, чтобы стройка была окончена вовремя, жизнь заключенных нужно сделать сносной, и он неоднократно побуждал лагерное начальство лучше с ними обращаться, “чтобы заключенные были своевременно накормлены, одеты и обуты”. Начальство как могло слушалось. Например, в 1933-м начальник Соловецкого лагеря требовал от подчиненных, помимо прочего, устранить очереди в столовой, ликвидировать воровство на кухне и ограничить время вечерней поверки одним часом. Официально пайки были в целом выше, чем несколько лет назад, заключенным рекомендовалось давать колбасу и чай. По правилам им раз в год полагался новый комплект рабочей одежды²¹.

Тем не менее чрезвычайная спешка и плохое планирование неизбежно приводили к огромным человеческим страданиям. По ходу работ вдоль канала надо было строить все новые подразделения лагеря. Прибывая на каждый из этих новых участков, заключенные и ссыльные, находили голое место. Прежде чем начинать работу, они должны были построить себе бараки и организовать снабжение продовольствием, и случалось так, что жестокий холод карельской зимы убивал их раньше, чем они успевали это сделать. Согласно некоторым оценкам, на канале погибло более 25 000 заключенных,

не считая отпущенных из-за болезни или увечья и умерших вскоре после освобождения²². Выдающийся ученый А. Ф. Лосев писал же не из Свирлага, где он находился перед отправкой на Беломорканал, что “многие с сожалением вспоминают Бутырки, так как набиты мы (в мокрых и холодных палатках) настолько, что если ночью поворачивается с боку на бок кто-нибудь один, то с ним должны поворачиваться еще человека 4–5...”. Отчаянно звучит рассказ человека, который мальчиком в составе семьи ссыльных “раскулаченных” оказался в одном из поселений, только что построенных вдоль канала:

“Мы попали жить в барак с двумя ярусами нар. Из-за малых детей нашу семью поместили на первый ярус. Бараки были длинными и холодными. Печи топили круглосуточно, благо с дровами в Карелии был полный достаток. <...> Наш кормилец-отец получал на всю нашу ораву в день третью часть ведра зелено-бурой баланды, где в мутной жиже плавали 2–3 зеленых помидора или огурца, пара кусочков мороженой картошки да болтались 100–200 крупинок перловки или чечевицы”.

Он вспоминал, что отец, строивший жилье для поселенцев, получал 600 граммов хлеба, сестра — 400 граммов. Этим должна была довольствоваться семья из девяти человек²³.

Тогда, как и позднее, некоторые из этих фактов получали отражение в официальных бумагах. На заседании расширенного пленума парткома Белбалтлага в августе 1932-го звучали жалобы на плохую организацию питания, на грязные кухни и на растущую заболеваемость цингой. Ответственный секретарь парткома выразил опасение, что сроки строительства будут сорваны²⁴.

Но большинство не могло позволить себе такую роскошь, как сомнение. В письмах и отчетах людей, отвечавших за те или иные участки строительства, слышны панические ноты. Сталин потребовал построить канал за двадцать месяцев, и те, на кого эта задача была возложена, прекрасно понимали, что от ее своевременного решения зависит их благополучие, а может быть, и сама жизнь. Для ускорения работ лагерное начальство взяло на вооружение методы, уже опробованные в “свободном” трудовом мире — “социалистическое соревнование” между бригадами, “штурмовые ночи”, когда заключенные “добровольно” работали двадцать четыре, а то и сорок восемь часов подряд. Один заключенный вспоминал, что работы шли круглосуточно при тусклом электрическом свете²⁵. Другой в награду за хороший труд получил 10 кг муки и 5 кг сахара. Он отдал муку на пекарню. Там ему испекли белый хлеб, и он его ел один²⁶.

Наряду с соцсоревнованием начальство насаждало культ “ударников”. “Ударники” из числа заключенных за перевыполнение

нормы получали добавочную еду и некоторые другие привилегии, в том числе право (немыслимое в более поздние годы) на новый костюм раз в год и на новую рабочую одежду раз в полгода²⁷. Лучших работников кормили гораздо лучше, чем прочих. В столовой они получали еду через отдельное окно выдачи, над которым висел плакат: “Лучшим — лучшее питание”. А над другим окном — другой плакат: “Здесь получают пищу худшие: отказчики, прогульщики, лодыри”²⁸.

Хорошие работники могли, кроме того, рассчитывать на раннее освобождение: за три дня стопроцентного выполнения нормы срок заключения уменьшался на день. В августе 1933-го, когда строительство было завершено вовремя, 12 484 заключенных были выпущены на свободу. Многие получили ордена и медали²⁹. Один бывший “каналоармеец” вспоминал, что его и других освобождаемых встречали хлебом-солью и криками: “Ура строителям канала!” На радостях он принялся целовать незнакомую женщину. Потом он всю ночь просидел с ней на берегу канала³⁰.

Строительство Беломорканала примечательно во многих отношениях. Его отличали всеобъемлющий хаос, колоссальная спешка, важность, которую ему придавал Сталин. И поистине уникальна была сопровождавшая его риторика: Беломорканал был первым и единственным проектом ГУЛАГа, на который были направлены все яркие прожекторы советской пропаганды как в Советском Союзе, так и за границей. Человеком, избранным для того чтобы объяснить, оправдать и прославить эту стройку на родине и за рубежом, стал не кто иной, как Максим Горький.

В этом нет ничего удивительного. К тому времени Горький стал полноценным и преданным членом сталинской иерархии. После триумфального плавания Сталина по только что оконченному каналу в августе 1933-го Горький возглавил такое же путешествие ста двадцати советских писателей. Писатели (по крайней мере, по их словам) были настолько воодушевлены, что едва могли держать в руках блокноты — дрожали пальцы³¹. Те, кто решил участвовать в написании книги о канале, получили и неплохое материальное вознаграждение, включавшее в себя “невероятный обед в банкетном зале ленинградского ресторана «Астория»”³².

Даже на общем неприглядном фоне социалистического реализма книга “Беломорско-Балтийский канал имени Сталина” выделяется как свидетельство нравственного падения писателей и интеллектуалов в тоталитарном обществе. Как и очерк Горького о Соловках, “Беломорско-Балтийский канал” пытается доказать недоказуемое, претендуя не только на демонстрацию духовного преображения заключенных в сияющие образцы *homo soveticus*, но и на создание ли-

тературы нового типа. Предисловие и послесловие были написаны Горьким, однако ответственность за книгу взял на себя целый авторский коллектив из тридцати шести человек. Используя цветистый язык, гиперболу и передержки, они задались целью выразить дух новой эпохи. Одна из приведенных в книге фотографий заключает в себе ее тему: женщина в арестантской одежде с громадной сосредоточенностью работает отбойным молотком. Подпись гласит: “Изменяя природу, человек изменяет самого себя”. Контраст с хладнокровной безжалостностью документов комиссии Янсона и экономических планов ОГПУ впечатляет.

У тех, кто не знаком с жанром, некоторые особенности соцреалистического “Беломорско-Балтийского канала” могут вызвать удивление. Книга не пытается скрыть правду полностью — например, в ней говорится о трудностях из-за нехватки техники и специалистов. Приводится разговор Матвея Бермана, в то время возглавлявшего ГУЛАГ, с подчиненным: “Вот тебе тысяча здоровых людей. Они осуждены советской властью на различные сроки, и с этими людьми ты должен создать дело.

— Позволь, а где же охрана?

— Охрану ты сформируешь на месте. Сам отберешь из бытовиков.

— Хорошо, но что я понимаю в нефти?

— Возьми себе в помощники заключенного, инженера Духановича.

— Тоже инженер! Он по холодной обработке металлов!

— Что ж ты хочешь? Осуждать в лагеря желательные тебе профессии? Такой статьи в кодексе нет. А мы тебе не Нефтесиндикат”.

С этими словами Берман отправил сотрудника ОГПУ делать свою работу. “Сумасшедшее дело!” — замечают авторы “Канала”. “Через месяц-другой” этот сотрудник и ему подобные хвастаются друг перед другом успехами, которых они добились с помощью своих разношерстных арестантских бригад. “У меня есть полковник. Лучший на весь лагерь лесоруб”, — с гордостью говорит один. “У меня прораб по земляным работам — кассир-растратчик”, — заявляет другой³³.

Смысл ясен: условия тяжелые, грубый человеческий материал нуждается в обработке, но всезнающие и всепобеждающие чекисты несмотря ни на что добиваются успеха и превращают преступников в советских людей. Так реальные факты — примитивность техники, нехватка специалистов — использовались для того, чтобы сделать более правдоподобной фантастическую в иных отношениях картину лагерной жизни.

Немалую часть книги составляют греющие душу квазирелигиозные истории о “перековке” работающих на канале заключенных.

Многие из “заново родившихся” уголовники, но не все. В отличие от очерка Горького о Соловках, где о политзаключенных сказано вскользь и их количество преуменьшено, “Беломорско-Балтийский канал” представляет читателю некоторых ярких “новообращенных” из числа политических. Инженер Маслов, бывший “вредитель”, “пытался иронией прикрыть те серьезные и глубокие процессы перестройки сознания, которые непрерывно шли в нем по мере его вставания в работу”. Инженер Зубрик, “вредитель” из пролетарской среды, “честно заработал свое право снова вернуться в лоно родного класса”³⁴.

Эта книга не была единственным литературным произведением эпохи, где восхвалялась преобразующая сила лагерей. Другой яркий пример — “Аристократы”, комедия Николая Погодина о Беломорканале. Не в последнюю очередь пьеса интересна тем, что она разрабатывает раннебольшевистскую тему “привлекательности” воров. Впервые исполненная в декабре 1934-го пьеса Погодина, по которой позднее был поставлен фильм “Заключенные”, игнорирует “кулаков” и политзаключенных, составлявших большинство строителей канала, и изображает веселые шутки и выходки лагерных уголовников (тех самых “аристократов”), слегка подкрашивая их язык блатным жаргоном. Правда, звучат в пьесе и одна-две зловещие ноты. Один уголовник “выигрывает” в карты девушку: проигравший должен предоставить ее в его распоряжение. В пьесе девушка спасается — в жизни ей, скорее всего, повезло бы меньше.

В финале, однако, все раскаиваются в былых преступлениях, видят свет и с энтузиазмом приступают к труду. Звучит песня:

Я был жестокий бандит, конечно, да...
Грабил народ, не любил труда,
Как черная ночь, моя жизнь была
И меня, конечно, на канал привела.
Все, что было, стало как страшный сон.
Я вроде как будто снова рожден.
Трудиться, и жить, и петь хочу,
От радости слезы текут, и, конечно, я молчу³⁵.

В ту эпоху все это приветствовалось как новый, прогрессивный театр. Польский социалист Ежи Гликсман, видевший “Аристократов” в Москве в 1935-м, описал свое впечатление: “Сцена располагалась не на обычном месте, а в центре зала, зрители сидели вокруг нее. Целью режиссера было приблизить их к действию пьесы, ликвидировать разрыв между зрителями и актерами. Никакого занавеса, декорации чрезвычайно простые — почти как в английском теа-

тре елизаветинских времен... Завораживала сама тема — жизнь в трудовом лагере”³⁶.

Во внелагерном мире такая литература играла двоякую роль. Во-первых, она помогала оправдывать быстрый рост лагерей в глазах зарубежных скептиков, чему власти по-прежнему уделяли внимание. Во-вторых, она должна была успокаивать советских граждан, встревоженных жестокими методами индустриализации и коллективизации, обещая им счастливую развязку: даже жертвам сталинского переустройства общества дается шанс обрести в трудовых лагерях новую жизнь.

Пропаганда была действенной. Посмотрев “Аристократов”, Гликсман выразил желание увидеть настоящий лагерь. К его удивлению, оно вскоре было исполнено: его привезли в подмосковное Болшево в показательную “трудовую коммуну” для несовершеннолетних правонарушителей. Позднее он описывал “симпатичные белые кровати и постельные принадлежности, отличные прачечные. Все сияло чистотой”. Он встретился с группой юных заключенных, которые рассказали ему примерно такие же вдохновляющие личные истории, как те, что можно было прочесть у Погодина и Горького. Он познакомился с бывшим вором, который теперь учился на инженера, с бывшим хулиганом, осознавшим свои ошибки и теперь заведовавшим складом коммуны. “Каким прекрасным может быть мир!” — шепнул Гликсману на ухо кинорежиссер из Франции. К несчастью для Гликсмана, через пять лет он очутился на полу битком набитого “телячьего вагона”, направлявшегося в лагерь, совершенно не похожий на увиденное им в Болшево, в обществе арестантов, не имевших ничего общего с персонажами пьесы Погодина³⁷.

Пропаганда подобного рода играла свою роль и внутри лагерей. Лагерные издания и стенгазеты содержали приблизительно такие же истории и стихи, как те, которыми потчевали внешний мир, но акценты были расставлены несколько иначе. Типичной выглядит газета “Перековка”, которую делали заключенные на строительстве канала Москва — Волга (проект был затеян на гребне “успеха” Беломорканала). Наполненная похвалами в адрес ударников и описаниями их привилегий (говорится, например, что еду им приносят на стол — в очереди стоять не надо), “Перековка” уделяет меньше внимания гимнам духовному перерождению, чем “Беломорско-Балтийский канал”, и делает больший упор на конкретных преимуществах, которые дает заключенному ударный труд.

Не так много здесь и претензий на высшую справедливость советской системы. В номере за 18 января 1933-го приводится речь Лазаря Когана, начальника строительства канала Москва — Волга: “Мы не можем входить в обсуждение вопроса — правильно или

неправильно ты заключен в лагерь. Это не наше дело. В крайнем случае, это дело прокуратуры или высших контрольных инстанций. <...> Ты должен своим трудом создать государству нужные ценности, а мы обязаны сделать из тебя ценного для государства человека”³⁸.

Также обращает на себя внимание отдел жалоб “Перековки”, полный весьма откровенных публикаций. Заключенные жаловались, с одной стороны, на “склоки, ругань, потасовки” в женских бараках, с другой — на пение там религиозных гимнов, на невыполнимые нормы, на нехватку обуви и чистого белья, на дурное обращение с лошадьми, на базар в Дмитрове поблизости от лагеря, на неправильное использование техники. Столь открытого обсуждения лагерных проблем позднее уже не было — оно стало достоянием секретных отчетов, направлявшихся сотрудниками органов прокурорского надзора своему московскому начальству. Однако в начале 30-х годов такая “гласность” была обычным явлением как в лагерях, так и вне их. Она составляла неотъемлемую часть взвинченного, неистового стремления улучшить условия, усовершенствовать методы труда и, самое главное, выполнить лихорадочно нагнетаемые требования сталинского руководства³⁹.

Идя сегодня по берегу Беломорканала, очень трудно вообразить почти истерическую атмосферу тех лет. Я была там в сонный августовский день 1999 года в обществе нескольких местных историков. Мы ненадолго остановились у стелы в Повенце, на которой выбита надпись: “Безвинно погибшим на строительстве Беломорканала в 1931–1933 гг.” Один из моих спутников по традиции выкурил папиросу “Беломор”. Он объяснил мне, что этот сорт, в свое время самый популярный в СССР, был на протяжении десятилетий единственным памятником строителям канала.

Невдалеке — старый “трудпоселок”, где раньше жили ссыльные, ныне практически пустой. Большие, в свое время добротные карельские избы стоят заколоченные. Некоторые покосились. Здешний житель, уроженец Белоруссии, — он даже говорит немного по-польски — сказал нам, что несколько лет назад хотел купить один из домов, но местные власти не разрешили. “Теперь все разваливается”, — сказал он. В огороде за домом у него растут тыквы, огурцы, ягодные кусты. Он угостил нас домашней настойкой. С огородом и пенсией в 550 рублей (в то время примерно 22 доллара) в месяц жить, сказал он, можно. На канале, конечно, работы нет.

И неудивительно: в самом канале купались и швырялись камешками мальчишки. По мелкой темной воде брели коровы, сквозь трещины в бетоне проросла трава. У одного из шлюзов в не-

большом строении с розовыми занавесками на окнах и колоннами в настоящем сталинском стиле одинокая женщина, следящая за уровнем воды в канале, сказала нам, что в день проходит самое большее семь судов, а часто всего три-четыре. Это чуть больше, чем увидел в 1966 году Солженицын, когда он провел на берегу канала восемь часов, за которые мимо него прошли две самоходные баржи с бревнами, годными только на дрова. Тогда, как и сейчас, большую часть грузов перевозили по железной дороге; к тому же, как сказал ему начальник охраны шлюза, канал такой мелкий, что “даже подводные лодки своим ходом не проходят: на баржи их кладут, тогда перетягивают”⁴⁰.

Водный путь от Балтийского до Белого моря оказался, выходит, не таким уж насущно необходимым.

Глава 5 ГУЛАГ расширяется

*Мы идем, а за нами следом
Всем бригадам весело идти.
Впереди стахановской победой
Нам открылись новые пути.
<...>*

*Старый путь уж будет нам неведом,
Мы из ямы вышли на подъем,
По пути стахановской победы
В жизнь свободную уверенно идем.*

Нэра Еронина. Лагерная газета “Кузница”.
Сазлаг, 1936 г.

В политическом отношении Беломорканал был самым важным гулаговским проектом эпохи. Из-за личной заинтересованности Сталина на его постройку были брошены все имеющиеся ресурсы. О ее успешном завершении везде и всюду громко трубила пропаганда. Однако канал не был типичным проектом новосозданного ГУЛАГа. Не был он, кроме того, ни его первым проектом, ни самым крупным из них.

Еще до того как началась прокладка канала, ОГПУ тихо, без всякой пропагандистской шумихи приступило к развертыванию сети лагерей по всей стране. К середине 30-х система ГУЛАГа уже имела в своем распоряжении 300 000 заключенных, распределенных по десятку с лишним крупных лагерных комплексов и ряду небольших пунктов. 15 000 человек трудились в Дальлаге на Дальнем Востоке. Более 20 000 заключенных Вишлага на Северном Урале, созданного на базе Соловецкого ИТЛ, были заняты на строительстве химических и целлюлозно-бумажных заводов. Заключенные Сиблага в Западной Сибири строили железные дороги, трудились на лесозаготовках и на кирпичных заводах. 40 000 человек, содержавшихся в СЛОН, строили дороги, заготавливали лес на экспорт и перерабатывали 40 процентов рыбы, которая вылавливалась в Белом море¹.

В отличие от Белбалтлага, эти новые лагеря не предназначались для показа. Хотя они, безусловно, имели большее значение для советской экономики, изучать их не ездили группы писателей. Их существование не было (пока что) абсолютным секретом, но их и не рекламировали: “реальные” достижения ГУЛАГа служили не для пропаганды внутри страны и тем более за рубежом.

По мере расширения системы лагерей менялась и деятельность ОГПУ. Хотя советская тайная полиция, как и раньше, выискивала и допрашивала подлинных и мнимых врагов режима, вынюхивала

всевозможные “заговоры”, с 1929-го она, кроме того, взяла на себя часть ответственности за экономическое развитие страны. В следующем десятилетии чекисты даже стали своего рода первопроходцами: нередко именно они организовывали разведку и эксплуатацию советских природных ресурсов. Они планировали и снаряжали геологические экспедиции, искавшие в тундре уголь, нефть, золото, никель и другие полезные ископаемые. Они решали, в каких громадных лесных массивах заготавливать древесину, столь необходимую для экспорта. Для перевозки сырья в крупные города и промышленные центры страны они создали большую сеть примитивных автомобильных и железных дорог, протянувшихся через дикие, малообитаемые места на тысячи километров. Иногда они лично принимали участие в экспедициях — шли через тундру, одетые по-северному, сообщали о находках в Москву.

Заключенные, как и тюремщики, порой осваивали новые роли. Хотя многие, конечно, продолжали трудиться за колючей проволокой, добывать уголь, рыть котлованы, некоторым из них в первой половине 30-х годов приходилось тянуть лодки на бечеве по северным рекам, нести геологическое оборудование, бурить землю на местах будущих угольных шахт и нефтяных скважин. Они строили бараки для новых лагерей, натягивали колючую проволоку, воздвигали караульные вышки. Они сооружали заводы для переработки полезных ископаемых, клали шпалы, лили цементный раствор. В итоге они же и заселили вновь освоенные дикие земли.

Позднее советские историки красиво назвали произошедшее “открытием Крайнего Севера”. Это поистине был решительный шаг. Даже в последние десятилетия царской власти, когда в России началась запоздавшая промышленная революция, никто не пытался так активно исследовать и заселять северные районы страны. Слишком суров был климат, слишком велик риск человеческих страданий, слишком примитивна технология. Советский режим куда меньше беспочвенно такие соображения. Технология пусть ненадолго, но улучшилась; что же касается жизни первопроходцев, ею власть спокойно могла пожертвовать. Если некоторые из них погибли — ничего, найдутся другие.

Трагедии случались сплошь и рядом, особенно в начале новой эпохи. Недавно достоверность одной страшной истории, долго бытовавшей среди бывших заключенных, была подтверждена документом, найденным в новосибирском архиве. В письме, адресованном лично Сталину в августе 1933 года, инструктор Нарымского окружка в подробностях описывает прибытие высланных трудпоселенцев (автор называет их “деклассированными элементами”) на остров Назина на Оби. Там их должны были разбить на группы для дальнейшего расселения.

“Первый эшелон составлял 5070 человек, второй — 1044. Всего 6114 человек. В пути, особенно в баржах, люди находились в крайне тяжелом состоянии: скверное питание, скученность, недостаток воздуха <...> В результате, помимо всего прочего, высокая смертность. Например, в первом эшелоне она достигала 35–40 человек в день. <...>

Жизнь в баржах казалась роскошью, а пережитые там трудности сущими пустяками по сравнению с тем, что постигло эти оба эшелона на острове Назина <...> Сам остров оказался совершенно девственным, без каких бы то ни было построек. <...>

При этом на острове не оказалось никаких инструментов, ни крошки продовольствия. <...>

На второй день прибытия первого эшелона, 19 мая, выпал снег, поднялся ветер, а затем мороз. Голодные, истощенные люди, без кровли, не имея никаких инструментов <...> очутились в безвыходном положении. Обледеневшие, они были способны только жечь костры, сидеть, лежать, спать у огня, бродить по острову и есть гнилушки, кору, особенно мох и пр. <...>

Люди начали умирать.

В первые сутки после солнечного дня бригада могильщиков смогла закопать только 295 трупов <...> И только на четвертый или пятый день прибыла на остров ржаная мука, которую и начали раздавать трудпоселенцам по несколько сот грамм.

Получив муку, люди бежали к воде и в шапках, портянках, пиджаках и штанах разводили болтушку и ели ее. При этом огромная часть их просто съедала муку (так как она была в порошке): падали и задыхались, умирали от удушья.

Во время жизни на острове (от 10 до 30 суток) трудпоселенцы получали муку, не имея никакой посуды...”.

К 20 августа, пишет дальше партийный инструктор, почти 4000 из 6114 трудпоселенцев умерло. Было много случаев людоедства. По свидетельству одного заключенного, который видел некоторых выживших в Томске по дороге в тюрьму, “это было сборище ходячих трупов, среди которых было человек 12 упитанных и откормленных людей”. Потом он узнал, что против всех этих эзков — и упитанных, и истощенных — выдвинуто обвинение в людоедстве².

Даже если в других местах смертность была не столь ужасающей, условия жизни на многих из самых известных ранних строек ГУЛАГа могли быть почти такими же невыносимыми. Бамлаг, занимавшийся строительством Байкало-Амурской магистрали и развитием Транссибирской железной дороги, стал одним из примеров того, к каким плачевным результатам приводит плохое планирование. Как и Беломорканал, железная дорога прокладывалась в великой спешке, без должной подготовки. Лагерные начальники приступили к ее строи-

тельству до того, как были окончены проектно-изыскательские работы. Изыскательские партии, не получившие необходимой обуви, одежды и оборудования, должны были представить отчет о трассе длиной в 2000 км за четыре месяца. Карты были неточными, в результате чего совершались дорогостоящие ошибки. Согласно воспоминаниям одного участника работ, «две соседние партии не могли сомкнуться и закончить работу, так как реки, по которым они шли, имели сближенные верховья только на карте, на местности же далеко отстояли друг от друга»³.

В лагерь, администрация которого располагалась в городе Свободном, начали прибывать этапы заключенных. Между январем 1933 и январем 1936 года их количество выросло от нескольких тысяч до 180 000 с лишним. Многие приезжали крайне ослабевшими, без обуви и плохо одетыми, многие страдали цингой, сифилисом, дизентерией. Часть из них составляли люди, пережившие голод начала 30-х годов. Лагерь был совершенно не готов к приему этапов. Одна партия слабосильных, полураздетых заключенных после переброски на сильном морозе была размещена в темном, промерзшем бараке без печки и получила «хлеб, который нужно было распиливать пилой». Начальники Бамлага не могли преодолеть хаос и признавали это в донесениях, направляемых в Москву. Они не знали, что делать с ослабевшими заключенными. Тем, кто не мог работать, просто назначали штрафные пайки, и люди умирали от голода. В одном из документов говорится, что за 37 дней умерло 29 человек, из них 21 — от истощения⁴. Вполне возможно, что за время существования лагеря в нем погибли десятки тысяч человек.

Подобное происходило повсюду. В 1929 году на строительстве железной дороги к северо-востоку от Архангельска силами Севлага инженеры решили, что количество заключенных, привлекаемых к работам, надо увеличить в шесть раз. В апреле — октябре этого года, соответственно, начали прибывать этапы — прибывать на пустое место. Один бывший заключенный вспоминал: «Ни барака, ни поселка. Палатка на краю для охраны и склада. Людей немного, тысячи полторы. Большинство — крестьяне средних лет, из раскулаченных. И урки. Интеллигенции не видно...»⁵.

Хотя все лагерные комплексы, созданные в начале 30-х, первое время были плохо организованы и хотя все они не были готовы к приему истощенных людей из голодных районов, кое-где начальству удалось справиться с губительным хаосом. При сравнительно благоприятных местных обстоятельствах в сочетании с сильной поддержкой из Москвы некоторые из комплексов начали расти и развиваться. Удивительно быстро в них возникли более или менее стабильные административные структуры, основательные здания и даже местная чекистская элита. Некоторые из этих комплексов со

временем стали занимать обширные районы страны, превратив их в колоссальные тюрьмы. Из лагерей, созданных в те годы, два — Ухтинская экспедиция и трест Дальстрой — приобрели в итоге размер и статус промышленных империй. Их возникновение и развитие заслуживает внимания.

Малонаблюдательному пассажиру автомобильная поездка по не слишком хорошему бетонному шоссе из Сыктывкара (столицы республики Коми) в Ухту (один из ее главных промышленных центров) может показаться совершенно неинтересной. 200-километровая дорога, местами очень неважная, идет через бесконечные хвойные леса и болота. Дорога пересекает несколько рек, в остальном же вид однообразен: тайга.

Однако более пристальному взгляду открываются некоторые особенности. Если вы знаете, куда смотреть, кое-где можно заметить углубления в земле почти у самой обочины. Это единственное свидетельство о лагере, который в свое время тянулся вдоль дороги, и о бригадах заключенных, которые строили это шоссе. Их пребывание на участках строительства было временным, поэтому часто они жили здесь не в бараках, а в землянках, от которых и остались углубления.

Другой отрезок шоссе проходит мимо места, где в прошлом качали нефть, — там от лагеря сохранилось больше. Участок зарос травой и кустарником, но, раздвигая их, можно увидеть гниющие доски (сохранившиеся, возможно, благодаря пропитавшей их нефти, которая стекала с обуви заключенных) и обрывки колючей проволоки. Здесь нет памятника, но дальше по дороге стоит обелиск на месте пересыльного пункта в Вогваздино, где содержалось до 25 000 заключенных. От лагеря там ничего не осталось. Но на другом участке шоссе, позади современной заправочной станции, принадлежащей «Лукойлу», стоит старая деревянная караульная вышка, окруженная металлическим мусором и кусками ржавой проволоки.

Тому, кто побывает в Ухте в обществе человека, хорошо знающего город, очень быстро откроется здешняя тайная история. Все дороги, ведущие в город, были построены заключенными, они же возвели все административные и жилые здания в центре Ухты. Посреди города — парк, распланированный и разбитый архитекторами из заключенных; здесь же театр, где играли заключенные артисты, и крепкие деревянные дома, где обитало в свое время лагерное начальство. Ныне на той же самой обсаженной деревьями улице стоят и современные здания, где живут менеджеры из «Газпрома».

Ухта не уникальна для республики Коми. Если приглядеться, следы ГУЛАГа можно увидеть здесь повсюду. Все главные города республики — Сыктывкар, Печора, Воркута, Инта — распланирова-

ны и возведены заключенными. Они строили здесь автомобильные и железные дороги, создавали промышленную инфраструктуру. Тем, кто отбывал здесь срок в 40-е и 50-е годы, Коми АССР казалась одним огромным лагерем — да так оно и было. Многие ее поселки местные жители и теперь называют так же, как в сталинскую пору: например, “китайский поселок” — место, где содержали заключенных китайцев; “Берлин” — память о немецких военнопленных.

Зарождение этой громадной “зоны” связано с одной из первых экспедиций ОГПУ — Ухтинской экспедицией, организованной в 1929-м для исследования совершенно диких в то время земель. По советским меркам экспедиция была неплохо подготовлена. В ней с избытком хватало специалистов, которые большей частью были заключенными Соловецкой лагерной системы: только в 1928-м в СЛОН было отправлено 68 горных инженеров — жертв борьбы с “вредителями” и “саботажниками”⁶.

В ноябре 1928 года — на удивление вовремя — ОГПУ арестовало и Н. Тихановича, известного геолога. Посадив его в московскую Бутырскую тюрьму, его, однако, не подвергли обычным допросам. Вместо этого его привезли на рабочее совещание. Без лишних предисловий, вспоминая позднее Тиханович, неизвестные люди (человек восемь) стали в упор расспрашивать его, как организовать экспедицию по Коми-Зырянской автономной области. Какую одежду он бы взял? Сколько провизии? Какое снаряжение? Каким путем двигаться? Тиханович, впервые побывавший в тех местах еще в 1900 г., предложил два возможных маршрута. Первый — по суше, через тайгу и болота к Усть-Сысольску (позднее — Сыктывкар), который был тогда крупнейшим населенным пунктом региона. Или же геологи могли выбрать водный путь: из Архангельска по Белому и Баренцеву морю к устью Печоры, далее вверх по Печоре и ее притокам. Второй маршрут Тиханович назвал предпочтительным, поскольку на судах можно было доставить больше тяжелого оборудования. По его рекомендации экспедиция отправилась морем. Тиханович, который по-прежнему был заключенным, стал начальником ее геологического отдела.

Время было дорого, и средств на экспедицию не пожалели: советское руководство придавало ей первостепенную важность. В мае 1929 года Москва поручила возглавить экспедицию двум видным чекистам — бывшему начальнику охраны Смольного и Кремля Э. П. Ская и хозяйственнику ОГПУ С. Ф. Сидорову. В пересыльном пункте СЛОН в Кемии они отобрали для экспедиции “рабочую силу” — физически крепких заключенных. В их числе были и “политические”, и “кулаки”, и уголовники. После еще двух месяцев приготовлений можно было отправляться. 5 июля 1929 года в семь утра заключенные начали грузить оборудование на принадлежавший СЛОН пароход

“Глеб Бокий”. Менее чем через сутки пароход со 139 заключенными отчалил.

Неудивительно, что экспедиция столкнулась с многими трудностями. Некоторые конвоиры в последний момент испугались и уволились, а во время стоянки в Архангельске сбежал один надзиратель из заключенных. В дальнейшем в разных точках маршрута побег удался и кое-кому еще. Достигнув устья Печоры, экспедиция двинулась вверх по реке сначала на баржах, затем на лодках. Среди местных жителей трудно было находить проводников: коми не хотели за копейки иметь дело с заключенными. Тем не менее через семь недель экспедиция прибыла на место. 21 августа был разбит базовый лагерь в поселке Чибью (позднее переименованном в Ухту).

После изнурительного путешествия общее настроение, видимо, было подавленным. Люди проделали долгий путь — и где очутились? Места не были богаты по части земных благ. Один из заключенных специалистов, географ Кулевский, записал свое первое впечатление: “Сжималось сердце при виде дикой, пустынной картины: черная, нелепо-огромная, одинокая вышка, две убогие избышки, тайга и болота...”⁷.

У него вряд ли было много времени для размышлений об увиденном. К концу августа уже чувствовалась близость осени. Отдыхать было некогда. Заключенные сразу же начали трудиться по двенадцать часов в сутки — строили лагерь, оборудовали рабочие площадки. Геологи стали определять места, где бурить землю в поисках нефти. Позднее той же осенью приехали новые специалисты. С началом сезона 1930 года стали прибывать и партии заключенных — вначале ежемесячно, а затем и еженедельно. К концу первого года экспедиции число заключенных приблизилось к тысяче.

Несмотря на подготовительные меры, условия жизни заключенных и ссыльных в тот первый период были, как и везде, ужасающими. Многие жили в палатках и землянках — барачков не хватало. Недоставало теплой одежды и обуви, недоставало продовольствия. Мука и мясо были завезены в меньшем количестве, чем заказывали. То же с медикаментами. Как признали в представленном позднее отчете начальники экспедиции, количество больных и ослабевших заключенных росло. Люди тяжело переносили изоляцию. Новые лагеря располагались в такой дали от цивилизации, в частности от дорог, что колючая проволока появилась в Коми АССР только в 1937-м. Побег считался бессмысленным.

А заключенные все прибывали и прибывали, и из базового лагеря в Ухте в тайгу отправлялись дальнейшие экспедиции. В случае успеха такая экспедиция устраивала лагпункт в совсем уж глухом месте в нескольких днях или неделях пути от Ухты. Эти лагпункты, в свою очередь, создавали еще более мелкие лагерные подразделе-

ния — например, для строительства дорог или для сельскохозяйственных работ. Так лагеря распространялись по северным лесам подобно быстрорастущим сорнякам.

Некоторые экспедиции оказались временными. Такова была судьба одной из первых, которая летом 1930 года отправилась из Ухты на остров Вайгач. Более ранние геологические экспедиции уже нашли на острове месторождение свинца и цинка; тем не менее Вайгачская экспедиция была щедро укомплектована заключенными геологами. Некоторым из них за образцовую работу ОГПУ позволило жить на острове с женами и детьми. Из-за отдаленности расположения возможность побега начальство не беспокоило, и оно разрешало арестантам свободно перемещаться повсюду без особых разрешений и пропусков в компании других арестантов или вольнонаемных работников. “В целях <...> стимулирования ударничества и учитываемая особо тяжелые условия работы в Арктике” начальник ГУЛАГа Матвей Берман пообещал заключенным на острове Вайгач уменьшение срока на два дня за каждый день ударного труда⁸. Однако в 1934-м в рудник стала поступать вода, и в следующем году заключенные и оборудование были вывезены с острова⁹.

Другие экспедиции имели более постоянный характер. В 1931 году группа из двадцати трех человек отправилась по рекам из Ухты на север, чтобы начать разработку Воркутинского угольного бассейна — огромного месторождения, открытого в предыдущем году в арктической тундре на севере Коми. Как и во всех таких экспедициях, геологи прокладывали маршрут, заключенные гребли и тянули лодки на бечеве, а маленький контингент чекистов осуществлял общее руководство. Люди плыли и шли, окруженные тучами насекомых, которыми тундра изобилует летом. Прибыв на место, первое время они жили в палатках, затем кое-как соорудили лагерь, перезимовали и весной примитивными средствами начали добывать уголь в “Руднике № 1”. Машин не было — в ход шли кирки, лопаты, деревянные тачки. Всего за шесть лет “Рудник № 1” превратился в город Воркуту — центр Воркутлага, одного из самых больших и жестоких лагерей ГУЛАГа. В 1938 году Воркутлаг насчитывал 15 000 заключенных и добыл 188 206 тонн угля¹⁰.

Формально не все новые обитатели края были заключенными. С 1930-го туда начали отправлять и “спецпереселенцев”. Почти все они были “раскулаченные” крестьяне с женами и детьми, и считалось, что они должны будут заниматься сельским хозяйством. На “поселковое положение” переводили и некоторых заключенных; Ягода лично пообещал, что они получают “свободное время” для работы на огороде, разведения свиней, рыбной ловли и постройки собственных домов. Первое время будут жить “на пайке, потом — за свой счет”¹¹. Звучало неплохо, но на практике все было гораздо ху-

же. В 1930 году приехало почти 5000 ссыльных семей (более 16 000 человек), и на месте они, разумеется, не обнаружили почти ничего. К ноябрю было построено 268 бараков, но нужно было еще по крайней мере 700. В каждой комнате ютились три-четыре семьи. Не хватало еды, одежды, зимней обуви. Не было ни бань, ни дорог, ни почты¹².

Некоторые из “спецпереселенцев” умерли, многие пытались бежать (к концу июля сбежавшими числилось 344 человека), но, несмотря на это, ссыльные стали постоянным дополнением к лагерной системе Коми. Позднейшие волны репрессий принесли сюда новые их контингенты (в частности, поляков и немцев). До сих пор местные жители называют некоторые поселки “Берлин”. Ссыльные не жили за колючей проволокой, но делали ту же работу, что и заключенные, нередко бок о бок с ними. В 1940-м один лесозаготовительный лагерь был превращен в поселок для “спецпереселенцев” — лишнее подтверждение тому, что эти группы были в определенном смысле взаимозаменяемы. Многие ссыльные, кроме того, работали в лагерной охране и лагерном хозяйстве¹³.

Со временем географический рост проявился в названиях лагерей. В 1931 году Ухтинская экспедиция была переименована в Ухтинско-Печорский ИТЛ (Ухтпечлаг). За последующие двадцать лет Ухтпечлаг, в свою очередь, много раз переименовывали, реорганизовывали, делили на части, что отражает расширение его географии, увеличение его могущества и усложнение аппарата. К концу 30-х Ухтпечлаг превратился в целую сеть лагерей общим числом более двух десятков, включавшую в себя Ухтижемлаг (нефтедобыча), Устьвымлаг (лесозаготовки), Воркутлаг (угледобыча) и Севжелдорлаг (железнодорожное строительство)¹⁴.

За несколько лет лагеря Коми АССР стали, кроме того, плотнее населены, в них в соответствии с растущими требованиями появились новые учреждения и новые здания. Нужны были больницы — лагерное начальство распорядилось их построить и создало систему подготовки фармацевтов и младшего медперсонала из числа заключенных. Нужно было организовать питание — устроили собственные совхозы, соорудили склады, разработали систему распределения. Нужно было электричество — построили электростанции. Нужны были строительные материалы — возвели кирпичные заводы.

Нуждаясь в квалифицированных рабочих, обучали тех, какие были. Многие бывшие “кулаки” были неграмотны или полуграмотны, и это создавало огромные трудности при осуществлении проектов, относительно сложных технически. Поэтому начальство организовало ликбез и школу повышенного типа, где преподавали математику, физику, технические дисциплины и политграмоту¹⁵. В 40-е годы в Воркуте — городе, построенном на вечной мерзлоте, где каж-

дый год приходилось ремонтировать дорожное покрытие и подземные коммуникации, уже действовали высшие учебные заведения, театр, кукольный театр, плавательный бассейн и детские сады.

Расширение Ухтпечлага не афишировалось, и осуществлялось оно не наобум. Несомненно, лагерные начальники на местах хотели, чтобы их вотчины, а с ними и их престиж, росли. Создание многих новых лагерных подразделений объясняется не столько центральным планированием, сколько насущной необходимостью. Вместе с тем налицо было стройное согласие между нуждами центра (иметь места, куда отправлять “врагов”) и региональными нуждами (получать людей для работы). Например, в 1930 году, когда Москва предложила направить в здешние края “спецпереселенцев”, местное руководство было в восторге¹⁶. О судьбе Ухтпечлага шел разговор на самом высоком уровне. В ноябре 1932-го политбюро в присутствии Сталина посвятило большую часть одного из заседаний состоянию и будущему развитию Ухтпечлага. Его перспективы и нужды обсуждались на удивление конкретно. Протоколы создают впечатление, что политбюро принимало или, по крайней мере, утверждало все сколько-нибудь важные решения: какие шахты лагерь должен развивать, какие железные дороги строить, сколько тракторов, машин и судов ему требуется, сколько ссыльных семей он может принять. Политбюро выделило лагерю деньги — более 26 миллионов рублей¹⁷.

Не может быть случайностью, что после этого решения число заключенных Ухтпечлага резко возросло. На 1 июля 1932 года их числилось там 4797 человек, на 1 апреля 1933-го — 17 852¹⁸. На самом высоком уровне советской иерархии кто-то был крайне заинтересован в росте Ухтпечлага. Принимая во внимание могущество и престиж Сталина, приходишь к выводу, что это был не кто иной, как он сам.

Как Освенцим стал для массового сознания лагерем, символизирующим всю нацистскую систему концлагерей, так слово “Колыма” сделалось символом величайших тягот и мук ГУЛАГа. “Колыма, — писал один американский историк, — это и река, и нагорье, и территория, и метафора”¹⁹. Богатый минералами, и прежде всего золотом, огромный Колымский регион на северо-востоке Сибири — это, возможно, самая негостеприимная часть России. Там холодней, чем в Коми АССР: зимой температура регулярно падает до 45 по Цельсию и даже ниже, и туда гораздо труднее добираться²⁰. Чтобы доставить заключенных в колымские лагеря, их сначала везли поездами через всю страну во Владивосток. Путешествие иногда занимало три месяца. Далее — морским путем на север, мимо берегов Японии, и через Охотское море в порт Магадан, который был воротами Колымы.

Первый начальник Колымы был одной из самых колоритных фигур в истории ГУЛАГа. Эдуард Берзин, участник революции, в

1918-м командовал дивизионом латышских стрелков, охранявшим Кремль. Позднее он участвовал в подавлении “мятежа эсеров” и в разоблачении “заговора послов” под руководством Брюса Локкарта²¹. В 1926 году Сталин поручил ему организовать Вишлаг, один из первых крупных лагерей страны. Он взялся за работу с огромным энтузиазмом. Один историк Вишлага назвал время его “правления” вершиной “романтического периода” ГУЛАГа²².

ОГПУ развивало Вишлаг одновременно со строительством Беломорканала, и Берзин, судя по всему, горячо одобрял (или делал вид, что одобряет) идеи Горького о “перековке” заключенных. С патерналистским пылом Берзин обеспечивал их кинотеатрами и дискуссионными клубами, библиотеками и столовыми “ресторанного типа”. Он разбивал сады с фонтанами, устроил даже маленький зоопарк. Он регулярно платил заключенным зарплату и применял ту же политику досрочного освобождения за ударную работу, что и начальство Беломорканала. Плоды этих благдеяний, однако, доставались не всем: заключенного, которого считали плохим работником или которому просто не повезло, могли послать на лесозаготовки в один из многих маленьких таежных лагпунктов Вишлага, где условия были тяжелыми, где смертность была выше, где заключенных втихую мучили и даже убивали²³.

Тем не менее Берзин прилагал усилия к тому, чтобы лагерь по крайней мере *выглядел* прилично. И это, на первый взгляд, делает его неподходящей кандидатурой на пост первого директора Государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы (Дальстрой) — псевдокорпорации, созданной для развития Колымского региона. Ибо в задачах, стоявших перед Дальстроем, не было ничего романтического и идеалистического. Сталин проявил интерес к Колыме еще в 1926 году, когда послал в США инженера изучать горное дело²⁴. Позднее между 20 августа 1931 и 16 марта 1932 года политбюро обсуждало геологические и географические особенности Колымы по меньшей мере одиннадцать раз, и в обсуждениях нередко участвовал сам Сталин. Как и комиссия Янсона при создании ГУЛАГа, политбюро, по словам историка Дэвида Нордлендера, использовало в дискуссиях по этому вопросу “не идеалистическую риторику “социалистического строительства”, а вполне прагматический язык: речь шла о приоритетных направлениях вложения средств и о будущей финансовой отдаче”. В последующей переписке с Берзиным Сталин вел разговор о производительности лагерного труда, о квотах, о выработке, а вопрос о перевоспитании заключенных не затронул ни разу²⁵.

Тем не менее Берзин с его талантом к созданию приукрашенных фасадов, видимо, был именно тем человеком, какой нужен был советскому руководству. Ибо хотя позднее Дальстрой был передан в

прямое ведение НКВД СССР, вначале власти неизменно делали вид, что трест — отдельная экономическая единица, не имеющая никакого отношения к ГУЛАГу. Без лишнего шума был образован Севвостлаг, подчиненный ОГПУ, предоставлявший своих заключенных в распоряжение Дальстроя. На практике эти два учреждения никогда не соперничали между собой. Начальник Дальстроя фактически был и начальником Севвостлага, и ни у кого не было на этот счет никаких сомнений. На бумаге, однако, Дальстрой и Севвостлаг существовали отдельно друг от друга²⁶.

В таком положении вещей была своя логика. Во-первых, Дальстрою нужны были и свободные сотрудники, прежде всего инженеры, и женщины брачного возраста (и тех и других на Колыме всегда не хватало). Берзин развернул широкую агитацию, убеждая людей переезжать на Дальний Север, в Москве, Ленинграде, Одессе, Ростове и Новосибирске были открыты отделения Дальстроя²⁷. Уже по этой причине Сталин и Берзин не хотели слишком тесно связывать Колыму с ГУЛАГом: они боялись, что связь отпугнет потенциальных вольнонаемных работников. Кроме того, хотя прямых доказательств этому нет, они, вероятно, учитывали возможную реакцию за рубежом. Как и карельский лес, колымское золото предназначалось для вывоза на Запад в обмен на технику, в которой отчаянно нуждалась советская промышленность. Это, видимо, отчасти объясняет тот факт, что советское руководство хотело представить золотые прииски Колымы как можно более “нормальным” предприятием. Бойкот советского золота мог нанести гораздо больший ущерб, чем бойкот советского леса.

Так или иначе, Сталин с самого начала испытывал к Колыме чрезвычайно сильный личный интерес. В 1932 году он даже потребовал ежедневно докладывать ему о состоянии дел с добычей золота и, как уже было сказано, входил в подробности изыскательских проектов Дальстроя и интересовался использованием квот. Он посылал в лагеря инспекторов и часто вызывал начальников Дальстроя в Москву. Когда политбюро выделяло Дальстрою или Ухтпечлагу деньги, оно точно указывало, на что эти деньги следует потратить²⁸.

И все же “независимость” Дальстроя не была стопроцентно мнимой. Хотя Берзин отчитывался перед Сталиным, он сумел оставить на Колыме свой след, так что “эпоху Берзина” позднее вспоминали с сожалением. Берзин, судя по всему, понимал свою задачу просто: сделать так, чтобы заключенные добывали как можно больше золота. Он не был заинтересован в том, чтобы морить их голодом, убивать, наказывать — значение имела только выработка. Поэтому при первом директоре Дальстроя условия были далеко не такими тяжелыми, как после него, и заключенные гораздо меньше голодали. И

то, что за первые два года работы Дальстроя добыча золота на Колыме выросла в восемь раз, отчасти объясняется этим²⁹.

Несомненно, первые годы Колымы были отмечены тем же хаосом и дезорганизацией, что царили повсеместно. В 1932 году в регионе уже работало почти 10 000 заключенных (в том числе инженеры и специалисты, чья квалификация как нельзя лучше соответствовала задачам) и более 3000 вольнонаемных³⁰. Цифры смертности были чрезвычайно высоки. Из 16 000 заключенных, направленных на Колыму в первый год деятельности Берзина, живыми прибыли в Магадан только 9928³¹. Остальные, плохо одетые и беззащитные, пали жертвой северной зимы. Перенесшие этот первый год позднее утверждали, что в живых осталась только половина из общего числа³².

Однако первоначальный хаос был преодолен, и положение понемногу улучшалось. К этому Берзин приложил немалые старания, справедливо считая, что если от заключенного золотодобытчика требуются высокие показатели, то его надо хорошо одевать и кормить. Томас Сговио, американец, прошедший Колыму, писал, что лагерные “старожилы” вспоминали времена Берзина с теплотой: “Когда температура опускалась ниже — 50С, на работу не посылали. Было три выходных дня в месяц. Кормили сытно и питательно. Зэкам выдавали теплую одежду — меховые шапки, валенки...”³³. Писатель Варлам Шаламов, тоже бывший колымчанин, чьи “Колымские рассказы” принадлежат к числу самых горьких произведений лагерного жанра, писал о периоде правления Берзина:

“Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4–6 часов, летом — 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. <...>

Тогдашние кладбища заключенных настолько малочисленны, что можно было думать, что колымчане — бессмертны”³⁴.

Отношение лагерного начальства к заключенным было в целом тогда более гуманным, чем стало потом. В то время граница между заключенными и вольнонаемными была до некоторой степени размыта. Две группы вступали между собой в нормальные взаимоотношения; часть заключенных находилась на положении расконвоированных, а некоторые из них работали геологами, инженерами и даже входили в состав военизированной охраны³⁵.

Заключенным в какой-то мере позволяли участвовать в политической жизни эпохи. Как и Беломорканал, Колыма создавала своих ударников. Один заключенный Дальстроя даже стал “инструктором стахановских методов труда”. Хорошо работавшие заключенные получали значки с надписью “Ударник Колымы”³⁶.

Подобно Ухтпечлагу, Колыма быстро усложняла свою инфраструктуру. В 30-е годы заключенные не только добывали там золото,

но и строили портовые сооружения в Магадане, а также Колымскую трассу — важнейшую автодорогу региона, которая ведет из Магадана на север. Большая часть лагпунктов Севвостлага располагалась вдоль этой дороги, и часто они получали названия по расстоянию от Магадана (например, “47-й километр”). Город Магадан как таковой был построен заключенными. В 1936 году он насчитывал 15 000 жителей и продолжал расти. Вернувшись в город в 1947-м после семи лет в дальних таежных лагерях, Евгения Гинзбург замерла “от удивления и восторга” — так быстро вырос Магадан. “Только через несколько дней я заметила, что дома эти можно пересчитать по пальцам. Но сейчас это для меня и впрямь столица”³⁷.

Гинзбург, как и некоторые другие лагерники, заметила диковинный парадокс. Странно, но факт: на дикую Колыму, как и в республику Коми, ГУЛАГ постепенно приносил “цивилизацию”, если, конечно, это слово здесь уместно. Через леса прокладывались дороги, там, где были болота, вырастали дома. Оттесняя коренных жителей, власть строила города, заводы, железные дороги. Много лет спустя дочь лагерного повара в отдаленном подразделении лесозаготовительного Локчимлага (Коми АССР) вспоминала жизнь в то время, когда лагерь еще действовал: “Там у них был целый склад овощей, тыквы росли на грядках — не так все голо, как сегодня. (Она с отвращением махнула рукой в сторону крохотного поселка, стоящего ныне на месте лагеря у бывшего штрафного барака, где и теперь живут люди.) Там было настоящее электрическое освещение, и начальство чуть не каждый день разъезжало в больших машинах...”.

Гинзбург сказала примерно о том же более красноречиво: “Загадочно человеческое сердце! Ведь я всей душой проклинаю того, кто выдумал строить город в этой вечной мерзлоте, прогревая ее кровью, потом и слезами ни в чем не повинных людей. И в то же время я явно ощущаю какую-то идиотическую гордость... Как он вырос и похорошел за семь лет моего отсутствия, наш Магадан! Просто неузнаваем. Я люблюю каждым фонарем, каждым куском асфальта и даже афишей, извещающей, что в Доме культуры состоится спектакль — оперетта “Принцесса долларов”. Наверно потому, что нам дорог каждый кусок нашей жизни, даже самый горький”³⁸.

К 1934 году расширение ГУЛАГа на Колыме, в республике Коми, в Сибири, в Казахстане и в других местах СССР приняло тот же характер, что и на Соловках. Вначале — небрежение, произвол и беспорядок, становившиеся причиной многих смертей. Даже если не было откровенного садизма, заключенные страдали от бездумной жестокости конвоиров, обращавшихся с ними как со скотиной. Однако со временем система кое-как налаживалась. Смертность в местах заключения, достигнув высшей точки в 1933-м, стала уменьшаться: свирепствовавший в стране голод отступил, и лагеря были

теперь лучше организованы. В 1934 году, согласно официальной статистике, смертность составляла примерно 4 процента³⁹. Ухтпечлаг качал нефть, Колыма добывала золото, лагеря Архангельской области поставляли древесину. В Сибири строились дороги. Ошибок и бед случалось великое множество, но такая же картина наблюдалась по всей стране. Быстрота индустриализации, изъяны планирования и нехватка квалифицированных кадров делали несчастные случаи и излишние затраты неизбежными, и руководители крупных проектов наверняка это понимали.

ОГПУ, несмотря на все неудачи, быстро превращалось в одну из главных экономических сил страны. В 1934 году Дмитлаг, прокладывавший канал Москва — Волга, использовал почти 200 000 заключенных — больше, чем Беломорканал⁴⁰. Вырос и Сиблаг (в 1934-м — 63 000 заключенных); Дальлаг в том же году насчитывал 50 000 человек, более чем утроившись в размере за четыре года с момента своего образования. По всему Советскому Союзу возникали все новые лагеря: Сазлаг в Узбекистане, где осужденные работали в совхозах; Свирьлаг под Ленинградом, занимавшийся заготовкой дров для города и обработкой древесины; Карлаг в Казахстане, чьи заключенные трудились в сельском хозяйстве, на заводах и фабриках и даже ловили рыбу⁴¹.

В 1934 году, кроме того, был образован НКВД СССР, взявший на себя, в числе прочих, функции ОГПУ. Реорганизация отражала новый статус тайной полиции и ее выросшую сферу ответственности. В ведении НКВД теперь находилось более миллиона заключенных⁴². Но относительное спокойствие продолжалось недолго. Внезапно система претерпела катаклизм, губительный как для рабов, так и для хозяев.

Глава 6

Большой террор и после него

*Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.*

Анна Ахматова. Реквием. 1935–1940

Объективно говоря, 1937 и 1938 год, которые вспоминают как годы “большого террора”, не были самыми ужасными в истории лагерей. Не были они и годами наибольшей численности заключенных: в следующем десятилетии она намного возросла и достигла максимума гораздо позже, чем обычно думают, — в 1952 году. Хотя доступная нам статистика страдает неполнотой, ясно, что смертность в лагерях была выше как во время голода (1932–1933), так и в разгар Второй мировой войны — в 1942–1943 годах, когда общее число людей, содержащихся в ИТЛ, тюрьмах и лагерях военнопленных, составляло примерно четыре миллиона¹.

Есть, кроме того, основания думать, что историки слишком сосредоточили внимание на 1937–1938 годах. Еще Солженицын во многом справедливо сетовал на то, что “упираются все снова и снова в настрявшие 37-й — 38-й годы”². Ведь за Большим террором последовали еще два десятилетия репрессий. С 1918-го шли регулярные массовые аресты и высылки. В начале 20-х их жертвами были политические оппозиционеры, в конце 20-х — “вредители”, в начале 30-х — “кулаки”. Все эти волны массовых арестов сопровождались регулярными кампаниями против “антисоциальных элементов”.

После Большого террора — новые аресты и депортации. Брали поляков, украинцев, прибалтийцев с территорий, оккупированных в 1939–1940 годах; военнослужащих, побывавших в немецком плену и зачисленных в предатели; обыкновенных людей, оказавшихся по ту сторону фронта после нацистского вторжения в 1941-м. В 1948 году многих освобожденных из лагерей забирали повторно; перед самой смертью Сталина прошли массовые аресты евреев. Конечно,

многие жертвы 1937–1938 годов были людьми известными, и “показательные процессы” тех лет были неповторимыми в своем роде зрелищами, однако это позволяет назвать Большой террор не столько вершиной репрессий, сколько их специфической волной, затронувшей как элиту — старых большевиков, ведущих военных и партийных деятелей, — так и широкий круг рядовых граждан, и сопровождавшейся необычно большим количеством казней.

Однако в истории ГУЛАГа 1937 год стал подлинным водоразделом. В том году советские лагеря на время превратились из индифферентных мест заключения, где люди гибли из-за случайностей или халатности, в подлинные лагеря смерти, где людей намеренно убивали пулей или непосильной работой в гораздо большем количестве, чем раньше. Хотя эта перемена была далеко не всеобъемлющей и хотя в 1939-м заключенных стали убивать меньше (смертность в лагерях вплоть до 1953 года, когда умер Сталин, менялась волнообразно — влияли война и идеология), Большой террор оставил в умонастроениях лагерников и их тюремщиков неизгладимый след³.

Как и всей стране, обитателям ГУЛАГа были видны предвестия будущего террора. После убийства Кирова в декабре 1934-го, в котором до сих пор остается много загадочного, Сталин рядом распоряжений предоставил НКВД гораздо большие права в отношении ареста, пыток и ликвидации “врагов народа”. Прошли считанные недели, и жертвами этих распоряжений стали Каменев и Зиновьев — крупные партийные деятели, в прошлом оппоненты Сталина. Наряду с ними арестовали тысячи их сторонников и мнимых сторонников (особенно много в Ленинграде). Последовали массовые исключения из партии, хотя они, надо сказать, не были намного более многочисленными, чем исключения начала 30-х годов.

Постепенно чистка становилась все более кровавой. Весной и летом 1936 года сталинские следователи “работали” с Каменевым, Зиновьевым и группой бывших сторонников Троцкого, готовя их к “признанию своей вины” на большом публичном показательном процессе (он состоялся в августе). Всех их, как и многих их родственников, затем расстреляли. Позднее прошли новые суды над ведущими большевиками, в том числе над популярным Николаем Бухариным. Их семьи тоже пострадали.

Мания арестов и казней распространялась вниз по партийной иерархии и по всему обществу. Ее сознательно усиливал Сталин, который использовал ее, чтобы избавляться от противников, создавать новую прослойку преданных ему руководителей, держать в страхе население и наполнять свои концлагеря. С 1937 года по региональным органам НКВД рассылались количества подлежащих репрессированию. “Первую категорию” составляли те, кого приго-

варивали к расстрелу, прочих же относили ко “второй категории” и отправляли в лагеря на 8–10 лет. Самые “злостные и социально опасные” подлежали заключению в тюрьмы (видимо, чтобы не воздействовали на лагерников). Некоторые специалисты пытаются установить связь между размером “квоты” для той или иной части страны и представлениями НКВД о регионах с наибольшей концентрацией “врагов”. Но, может быть, такой связи и не было⁴.

Эти распоряжения сильно смахивают на директивы какого-нибудь пятилетнего плана. Вот, например, данные о количестве подлежащих репрессированию от 30 июля 1937 года.

Регионы	Первая категория	Вторая категория	Всего
Азербайджанская ССР	1500	3750	5250
Армянская ССР	500	1000	1500
Белорусская ССР	2000	10 000	12 000
Грузинская ССР	2000	3000	5000
Киргизская ССР	250	500	750
Таджикская ССР	500	1300	1800
Туркменская ССР	500	1500	2000
Узбекская ССР	750	4000	4750
Башкирская ССР	500	1500	2000
Бурятско-Монгольская АССР	350	1500	1850
Дагестанская АССР	500	2500	3000
Карельская АССР	300	700	1000
Кабардино-Балкарская АССР	300	700	1000
Крымская АССР	300	1200	1500
Коми АССР	100	300	400
Калмыцкая АССР	100	300	400
Марийская АССР	300	1500	1800
И т. д. ⁵			

Совершенно ясно, что чистка никоим образом не была спонтанной: новые лагеря для новых заключенных готовились заранее. Особого сопротивления она не встретила. Московское руководство НКВД рассчитывало на энтузиазм на местах и не ошибалось. “Для действительной очистки Армении **просим разрешить дополнительно расстрелять 700 человек** из дашнаков и прочих антисоветских элементов”, — обратился в Москву в сентябре 1937-го армянский НКВД. Сталин лично одобрил соответствующее решение. Он и Молотов подписали много подобных распоряжений. Например: “Дать дополнительно Красноярскому краю 6600 чел. лимита по 1-й категории. Иосиф Сталин”. На заседании политбюро в феврале 1938 го-

да НКВД Украины получил разрешение арестовать дополнительно 30 000 “кулацкого и прочего антисоветского элемента”⁶.

Часть советских граждан одобрила новые аресты. Внезапное обнаружение огромного числа “врагов”, многие из которых проникли в высшие партийные органы, разумеется, объясняло, почему, несмотря на сталинский “великий перелом”, несмотря на коллективизацию и пятилетний план, страна так и не преодолела бедность и отсталость. Большинство людей, однако, признающиеся в измене знаменитые революционеры и ночные исчезновения соседей привели в такой ужас и смятение, что они не дерзали высказываться о происходящем.

В ГУЛАГе чистка прежде всего сказалась на составе начальников. Многие из них были ликвидированы. Если в памяти страны 1937 год остался как год, когда революция пожирала своих детей, то в лагерях он запомнился как год, когда ГУЛАГ уничтожил своих основателей начиная с самого верха: народный комиссар внутренних дел Генрих Ягода, на котором во многом лежит ответственность за расширение лагерной системы, был осужден и расстрелян в 1938-м. В прошении о помиловании в адрес Президиума Верховного Совета СССР он просил оставить его в живых. “Тяжело умирать, — писал тот, кто отправил на смерть множество людей. — Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу помиловать меня, сохранив мне жизнь”⁷.

Заняв место Ягоды, малорослый Николай Ежов немедленно начал избавляться от людей Ягоды в НКВД. Он репрессировал и семью Ягоды — его жену, родителей, сестер, племянников и племянниц, — как позднее репрессировал семьи других “врагов народа”. Одна из племянниц вспоминала поведение своей бабушки (матери Ягоды) в тот день, когда ее и всю семью отправляли в ссылку: “Видел бы Генрих, что делают с нами, — тихо сказал кто-то.

И вдруг бабушка, которая никогда не повышала голоса, обернувшись к пустой квартире, громко крикнула:

— Будь он проклят! — Она переступила порог, и дверь захлопнулась, и звук этот гулко отозвался в лестничном проеме, как эхо материнского проклятия”⁸.

Многие из лагерных начальников и администраторов, которых продвигал и отличал Ягода, разделили его судьбу. Наряду с сотнями тысяч других советских граждан они были обвинены в участии в антисоветских заговорах, арестованы и осуждены. Их “дела” порой были очень обширны и затрагивали сотни людей. Одно из самых заметных было организовано вокруг Матвея Бермана, руководившего ГУЛАГом с 1932 по 1937 год. Долгие годы верной службы партии (он вступил в нее в 1917-м) не помогли ему. В декабре 1938-го Бермана обвинили в том, что он возглавлял “правотроцкистскую террорис-

тическую и вредительскую организацию”, создавал льготные условия в лагерях, срывал “боевую и политическую подготовку” лагерной охраны (чем способствовал побегам) и вредительски задерживал строительство заключенными железных дорог.

Берман пострадал не один. По всей стране крупных гулаговских начальников причисляли к той же “правотроцкистской организации” и скопом приговаривали. Чтение их дел производит какое-то сюрреалистическое впечатление: словно все неудачи прошедших лет — невыполненные задания, кое-как построенные дороги, плохо работающие заводы, возведенные руками заключенных, — достигли здесь некой безумной кульминации.

Например, Александр Израилев, заместитель начальника Ухтпечлага, был осужден за то, что он “тормозил развитие угледобычи”. Полковника Александра Полисонова, работавшего в отделе охраны ГУЛАГа, обвинили в создании невозможных условий для исполнения работниками охраны своих обязанностей. Михаил Госкин, возглавлявший в ГУЛАГе отдел железнодорожного строительства, якобы “занимался вредительством путем составления нереальных планов и срыва постройки дороги Волочаевка — Комсомолец”. На Исаака Гинзбурга, возглавлявшего санитарный отдел ГУЛАГа, возложили вину за высокую смертность среди заключенных; кроме того, он якобы создавал “благоприятные условия к освобождению по болезни осужденных за контрреволюционные преступления”. Большею частью эти люди были приговорены к расстрелу, некоторых отправили в тюрьмы или лагеря, горстка дожила до реабилитации 1955 года⁹.

Их судьбу разделило поразительное количество гулаговских руководителей раннего периода. Федор Эйхманс, в прошлом возглавлявший СЛОН, а позднее назначенный заместителем спецотдела ОГПУ, был расстрелян в 1938-м. Второго начальника ГУЛАГа Лазаря Когана казнили в 1939-м. Преемник Бермана на посту руководителя ГУЛАГа Израиль Плинер проработал в должности всего год и был расстрелян в 1939-м¹⁰. Система словно бы выискивала тех, на кого можно было свалить вину за ее плохую работу. Хотя, может быть, “система” — не то слово. Может быть, именно Сталин искал виноватых в том, что его замечательные проекты с использованием рабского труда реализуются так медленно и с такими результатами.

Но были и некоторые любопытные исключения из общего жестокого правила. Ибо Сталин контролировал не только то, кто *будет* арестован, но порой и то, кто *не* будет арестован. Пули избежал, что интересно, Нафталий Френкель, хотя очень многие из тех, с кем он в разное время работал, погибли. В 1937-м он возглавлял Бамлаг — один из самых губительных и подверженных хаосу лагерей Дальне-

го Востока. Но, хотя в 1938-м в Бамлаге было арестовано сорок восемь “троцкистов”, он ухитрился не попасть в их число.

Его отсутствие в списке арестованных тем более странно, что местная газета открыто обвинила его во вредительстве. Тем не менее его таинственно поддержала Москва. Прокурору Бамлага, расследовавшему поведение Френкеля, отсрочка показалась непостижимой. “Мне никак непонятно, почему следствие откладывается Центральным Управлением НКВД “до особого указания” и от кого исходят эти указания, — писал он генеральному прокурору СССР Андрею Вышинскому. — Если троцкистов-шпионов-диверсантов не арестовывать, то кого же тогда арестовывать и судить”. Сталин, как видно, умел защищать своих людей¹¹.

Возможно, самая драматическая расправа с лагерным начальством произошла в конце 1937 году в Магадане и началась с ареста директора Дальстроя Эдуарда Берзина. Как прямой подчиненный Ягоды Берзин должен был подозревать, что его карьера скоро оборвется. Ему следовало почуять неладное, когда в декабре к нему явилась целая группа сотрудников НКВД, в том числе старший майор госбезопасности Павлов, чекист более высокого ранга, чем сам Берзин. Хотя Сталин часто сводил таким образом руководителей, которым предстояла опала, с их преемниками, Берзин, по крайней мере внешне, ничего не заподозрил. Когда пароход со зловещим названием “Николай Ежов”, на котором прибыли “гости”, вошел в бухту Нагаева, Берзин встречал их с духовым оркестром. Потом он несколько дней вводил их в курс дела — они же фактически игнорировали его. Вслед за этим он сам взшел на борт “Николая Ежова”.

Из Владивостока Берзин вполне обычным образом — на Транссибирском экспрессе — отправился в Москву. Но, сев на поезд пассажиром первого класса, он прибыл к месту назначения заключенным. Незадолго до Москвы, в Александрове, поезд остановился. Среди ночи 19 декабря 1937 года, не дав Берзину доехать до Москвы, чтобы не привлекать внимания, его арестовали на перроне и отвезли на Лубянку. Очень быстро ему было предъявлено обвинение в создании “Кольмской антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической, вредительской организации”, переправлявшей золото японскому правительству и готовившей переход советского Дальнего Востока “под протекторат Японии”. Его обвинили, кроме того, в шпионаже в пользу Англии и Германии. Директор Дальстроя, если верить чекистам, был невероятно занятым человеком. Его расстреляли в августе 1938-го в подвале Лубянской тюрьмы.

Нелепость обвинений не уменьшает трагизма событий. К концу декабря расторопный Павлов арестовал большинство подчиненных Берзина. Начальник Севвостлага И. Г. Филиппов в развернутых показаниях, данных под пыткой, упомянул практически их всех. При-

знавшись, что “завербовал” Берзина в 1934-м, он показал, что созданная ими “антисоветская организация” готовила свержение советского правительства посредством “подготовки вооруженного восстания на Колыме... и проведения террористических актов против руководителей Коммунистической партии и советского правительства”. Чуть позже помощник Берзина Лев Эпштейн признался в “сборе секретной информации для Франции и Японии”. Главного врача магаданской больницы обвинили в “связях с иностранными элементами и двурушниками”. В итоге сотни людей, так или иначе связанных с Берзиным, — геологов, чекистов, администраторов, инженеров, — были либо расстреляны, либо отправлены в лагерь¹².

Ради верной общей картины следует сказать, что колымская элита не была единственной влиятельной группой, ликвидированной в 1937–1938 годах. К концу этого периода Сталин уничтожил очень многих видных военачальников, в том числе первого заместителя наркома обороны маршала Тухачевского, Иону Якира, Иеронима Уборевича. Пострадали и их жены и дети — большинство из них расстреляли, некоторым дали лагерный срок¹³. Такой же чистке подверглось и партийное руководство. Она затронула не только потенциальных противников Сталина в верхушке компартии, но и провинциальную партийную элиту, наряду с главами местных и региональных советов, директорами крупных заводов и институтов.

Волна арестов в некоторых местах и внутри определенного общественного слоя была такой мощной, что, как писала позднее Елена Сидоркина (ее саму арестовали в ноябре 1937-го), “никто не был уверен в завтрашнем дне. Боялись друг с другом говорить и встречаться, особенно с теми семьями, где отец или мать были “изолированы”. А уж выступать с защитой арестованного вообще редко кто отваживался. Если же и находился такой смельчак, тут же сам становился кандидатом на «изоляцию»”¹⁴.

Но расстреляли не всех и не каждый лагерь был вычищен полностью. Как показывает судьба протеже Ягоды В. А. Барабанова, у не столь заметного сотрудника гулаговской администрации шансы уцелеть были даже чуть выше среднего. В 1935 году, будучи заместителем начальника Дмитлага, Барабанов был арестован вместе с другим чекистом за появление в лагере “в пьяном виде”. Его сняли с должности, он отбыл маленький срок и в 1938-м, когда шли массовые аресты приспешников Ягоды, в суматохе о нем просто забыли. В 1954 году, простив ему слабость к алкоголю, его снова повысили и назначили первым заместителем начальника ГУЛАГа¹⁵.

Но в памяти лагерников 1937 год остался не только как год Большого террора, но и как год, когда прекратилась пропаганда “перевоспитания” преступников и сошла на нет вся соответствующая

идеалистическая риторика. Отчасти это, возможно, объясняется уходом со сцены тех, кто теснее всех был связан с кампанией. Ягода, чье имя по-прежнему ассоциировалось в массовом сознании с Беломорканалом, был репрессирован. Максим Горький скоропостижно умер в июне 1936-го. Л. Авербах, соавтор Горького по “Беломорско-Балтийскому каналу”, был объявлен троцкистом и арестован в апреле 1937-го. Его судьбу разделила его сестра И. Авербах, написавшая книгу “От преступления к труду” (1936), и многие писатели, участвовавшие в поездке на Беломорканал¹⁶.

Но перемена имела и более глубокие причины. По мере того как политическая риторика становилась все более радикальной, а охота на политических преступников все более оголтелой, менялся и статус лагерей, где содержались эти “опасные” политзаключенные. В стране, охваченной паранойей и шпиономанией, само существование лагерей для “врагов народа” и “вредителей” стало если не полнейшей тайной (в 40-е годы заключенные, строящие дороги и жилые дома, были обычным зрелищем во многих крупных городах), то по крайней мере темой не для публичного обсуждения. Пьеса Николая Погодина “Аристократы” была в 1937 году запрещена. Спектакль по ней вновь появился в афишах — хотя и ненадолго — только в 1956-м¹⁷. “Беломорско-Балтийский канал” Горького тоже был поставлен на полку запрещенных книг. Какая причина была главной — неясно. Возможно, новое начальство НКВД не могло терпеть трескучую хвалу в адрес поверженного Ягоды. Или, возможно, яркие картины успешного перевоспитания “враждебных элементов” плохо вписывались в действительность, где каждый день появлялись все новые “враги”, которых сотнями тысяч убивали, а не перевоспитывали. Несомненно, истории об умелых и всезнающих чекистах никак не вязались с масштабными чистками в НКВД.

Демонстрируя рвение в деле изоляции врагов режима и не считаясь с расходами, московские начальники ГУЛАГа издали новые инструкции о секретности. Всю корреспонденцию надо было теперь пересылать со спецкурьерами. В одном 1940 году курьеры НКВД переправили 25 миллионов единиц секретной корреспонденции. Те, кто посылал заключенным письма, писали вместо адреса номер почтового ящика, потому что местоположение лагерей стало секретным и даже во внутренней переписке НКВД они эвфемистически именовались теперь “спецобъектами” или “подразделениями”¹⁸.

Для более специфической информации как о лагерях, так и о заключенных, передаваемой “открытым текстом телеграмм”, был разработан особый код. Сохранился документ 1940 года со списком кодированных обозначений. Некоторые из них свидетельствуют о некоей творческой изощренности. Слова “беременные женщины” надо было заменять на “книги”, “женщины с детьми” — на “кви-

танции”. “Мужчин” следовало превращать в “счета”. Ссылные шли как “макулатура”, подследственные — как “конверты”. Лагерь превращали в “трест”, лагпункт — в “фабрику”. Один из лагерей получил кодовое название “Свободный”¹⁹.

Изменился и внутрилагерный язык. До осени 1937-го в официальных документах и письмах арестантов часто называли по характеру их работы — например, “лесорубами”. К 1940-му никаких лесорубов уже не осталось — были только *заклученные*, или *з/к*²⁰. Группа *з/к* (зэков) обезличенно называлась “контингент”. Заклученный не мог теперь получить вожделенное звание ударника или стахановца: один лагерный администратор в духе времени потребовал от подчиненных официально называть хороших работников всего-навсего “з/к, работающими по-ударному” или “з/к, работающими методами стахановского труда”.

Термин “политический заклученный”, разумеется, давным-давно уже не использовался в сколько-нибудь положительном смысле. Привилегии лагерников-социалистов исчезли с их переводом из Соловков в 1925 году. Слово “политзаклученный” претерпело полную трансформацию. Оно стало обозначать любого приговоренного по печально знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса, определявшей наказания за “контрреволюционные” преступления, и употреблялось исключительно в отрицательном смысле. “Политических” называли еще КР (контрреволюционерами), контрами, каэрами, контриками и все чаще — врагами народа²¹.

Эту яковинскую кличку, впервые использованную Лениным в 1917 году, возродил в 1927-м Сталин, применив ее к Троцкому и его сторонникам. Более широкое значение она получила в 1936-м, когда ЦК партии направил республиканским и областным парторганизациям закрытое письмо, к которому, по мнению биографа Сталина Дмитрия Волконогова, вождь непосредственно “приложил руку”. В письме подчеркивалось, что враг народа обычно выглядит “ручным и безобидным”, но при этом делает все, чтобы “потихоньку ползти в социализм”, не принимая его. Иными словами, враг народа может и не высказывать свои взгляды открыто. Лаврентий Берия, возглавивший НКВД позднее, на совещаниях часто высказывал мысль, авторство которой он приписывал Сталину: “Враг народа не только тот, кто вредит, но и тот, кто сомневается в правильности линии партии”. Следовательно, враг народа — это любой, кто критически относится к власти Сталина по какой бы то ни было причине, пусть даже он молчит об этом²².

Понятие “враг народа” стало официально использоваться в гулаговских документах. Приказ НКВД от 1937 г. позволил арестовывать женщин как “жен врагов народа”; так же поступали и с детьми. Возникла официальная аббревиатура ЧСИР — член семьи изменника

родины²³. Многих таких “жен” отправили в Темниковский лагерь (Темлаг) в Мордовии. Анна Ларина, вдова видного советского деятеля Николая Бухарина, вспоминала, что беда уравнила всех — Тухачевских и Якиров, Бухариных и Радеков, Уборевичей и Гамарников²⁴.

Галина Левинсон, тоже прошедшая через Темлаг, писала, что лагерный режим был сравнительно либеральным: “может быть, потому, что мы были первые и еще не выработалась привычка относиться к “женам врагов народа” как к остальным заклученным”. Большинство женщин в лагере, отмечает она, были “абсолютно советскими людьми” и считали свой арест результатом какого-то фашистского заговора внутри партии. Некоторые постоянно писали письма Сталину и в ЦК, стремясь довести до их сведения, “что творят органы”²⁵.

В 1937 году и позднее словосочетание “враг народа” было не только официальным термином, но и ругательством. Со времен Соловков основатели и разработчики лагерной системы взяли на вооружение идею о том, что заклученные — не столько люди, сколько “трудовые единицы”. Еще в период сооружения Беломорканала Максим Горький назвал кулаков “полулюдьми”²⁶. Теперь, однако, пропаганда низводила “врагов” к чему-то даже более презренному, чем двуногая скотина. С конца 30-х годов Сталин стал публично называть “врагов народа” “паразитами”, а иногда просто сорняками, которые следует вырвать с корнем²⁷.

Смысл был понятен: *з/к* — это не люди в полном смысле слова и уж точно не полноценные советские граждане. Один бывший лагерник отметил, что “заклученные в России совершенно изъяты из всякой политической жизни, они не принимают участия в ее обедах и обрядах”²⁸. С 1937-го конвоиры никогда не называли заклученных “товарищами”, а заклученного могли избить, если он использовал это слово, обращаясь к конвоиру (надо было говорить: гражданин). В лагере или тюрьме на стене никогда нельзя было увидеть портрет Сталина. Довольно обычное для середины 30-х годов зрелище — поезд с заклученными, вагоны которого украшены портретами Сталина, знаменами и стахановскими лозунгами, — с 1937-го было немислимо, как и празднование заклученными 1 Мая, подобное тем, что в свое время проходили на Соловках²⁹.

Многих иностранцев удивляло сильнейшее действие, которое оказывало на советских заклученных это “изъятие” из советского общества. Француз Жак Росси, прошедший через ГУЛАГ и написавший затем “Справочник по ГУЛАГу” — энциклопедию лагерной жизни, — писал, что слово “товарищ” могло воспламенить сердца заклученных, давно его не слышавших: “В конце 40-х гг. автор был свидетелем, как бригада, отработавшая 11–12-часовую смену, согласилась остаться на следующую смену только потому, что глава стро-

ительства, майор МВД, сказал заключенным: «Прошу вас, *товарищи*»³⁰.

Дегуманизация “политических” имела следствием ясно различимую, а кое-где и катастрофическую перемену в условиях их жизни. ГУЛАГ 30-х годов был, как правило, плохо организован, часто жесток и порой губителен. Случалось, тем не менее, что даже политическим заключенным начальство искренне давало возможность “исправиться”. Для работников Беломорканала выпускалась газета с многозначительным названием “Перековка”. В конце пьесы Погода “Аристократы” происходит “обращение” бывшего вредителя. Флора Липман — дочь уроженки Шотландии, вышедшей замуж за русского, переехавшей в Санкт-Петербург и арестованной за “шпионаж”, побывала в 1934-м в северном лесозаготовительном лагере, где мать отбывала срок, и нашла, что “между заключенными и конвоирами еще сохранился некий элемент человеческих отношений: КГБ пока что не достиг такой искушенности и психологизма, как несколькими годами позже”³¹. Липман писала со знанием дела: она сама “несколькими годами позже” стала заключенной. В 1937 году отношение к заключенным сильно изменилось — особенно к тем, кого арестовали по 58-й статье за “контрреволюционные” преступления.

В лагерях “политических” переводили с административных, хозяйственных и инженерных работ на общие, что означало тяжелый физический труд на шахте, прииске или лесоповале: “врагу народа” и потенциальному вредителю нельзя было теперь занимать сколько-нибудь ответственную должность. Новый директор Дальстроя Павлов лично подписал приказ, предписывающий использовать заключенного геолога И. С. Давиденко только на общих работах, тщательно контролировать его деятельность и ни в коем случае не позволять ему вести самостоятельную работу³². В докладной записке, датированной февралем 1939-го, начальник Белбалтлага писал, что проведено “изгнание работников, не внушающих политического доверия”; в частности, от руководства отдела “отстранены бывшие заключенные, судившиеся за контрреволюционные преступления”. На освобожденные должности “провели выдвижение <...> коммунистов, комсомольцев и проверенных специалистов”³³. Ясно, что экономической эффективности не придавали теперь в лагерях первостепенного значения.

Лагерные режимы в масштабе всей системы ужесточились не только у “политических”, но и у обычных преступников. В начале 30-х годов хлебный паек на общих работах мог составлять 1 кг в день даже у тех, кто не выполнял норму на 100 процентов, а у “ударников” — 2 кг. В основных лагпунктах Беломорканала заключенные получали мясо двенадцать раз в месяц, в остальные дни — рыбу³⁴. Но

к концу десятилетия гарантированный паек уменьшился в два с лишним раза и составлял теперь 400–450 граммов хлеба, а выполняющие норму получали дополнительно всего 200 граммов. Штрафной паек равнялся 300 граммам³⁵. Вспоминая о тех годах на Колыме, Варлам Шаламов писал: “В лагере для того чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке <...> Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира”³⁶.

Условия ухудшались еще и потому, что росло количество заключенных — кое-где с ошеломляющей быстротой. Политбюро, надо сказать, попыталось подготовиться к этому росту и в 1937 году предписало ГУЛАГу начать сооружение пяти новых лесозаготовительных лагерей в республике Коми и других лагерей в отдаленных районах Казахстана. Для ускорения этих работ ГУЛАГу был даже выделен аванс в 10 миллионов рублей. Кроме того, наркоматам обороны, здравоохранения и лесной промышленности было приказано немедленно направить в ГУЛАГ 240 военнослужащих офицеров и политработников, 150 врачей, 400 санитаров, 10 опытных специалистов по лесному хозяйству и “50 выпускников Ленинградской лесотехнической академии”³⁷.

Тем не менее существующие лагеря опять затрещали по швам: повторилось переполнение начала 30-х. Один бывший заключенный вспоминал, что в Мариинском распредпункте Сиблага, рассчитанном на 250–300 человек, в 1938 году находилось около 17 000 осужденных. Даже если цифра завышена раза в четыре, само преувеличение показывает, насколько остро чувствовалась теснота. Барак не хватало, и люди рыли землянки, но даже они были так переполнены, что “шагу нельзя было сделать, чтобы не наступить кому-нибудь на руку”. Заключенные отказывались выходить наружу, боясь потерять место на полу. Не хватало мисок, не хватало ложек, к котлам с пищей выстраивались огромные очереди. Началась эпидемия дизентерии, от которой многие умерли.

Позднее на партактиве Сиблага начальство, распекая подчиненных, поминало “страшные уроки 38-го года, когда потери дней сводились к астрономическим цифрам”³⁸. Согласно официальным данным, по всем лагерям между 1937 и 1938 годом “процент умерших к среднесписочному” вырос более чем вдвое. Локальная статистика имеется не везде, но можно предполагать, что в отдаленных север-

ных лагерях — на Колыме, в Воркуте, в Норильске — куда в больших количествах отправляли “политических”, смертность была намного выше³⁹.

Но заключенные гибли не только от недоедания и непосильной работы. В новой атмосфере отправка “врагов” в лагерь быстро стала казаться недостаточной мерой: лучше избавляться от них совсем. 30 июля 1937 г. НКВД издал приказ “Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов”, содержавший квоты на расстрел, помимо прочего, для лагерей НКВД⁴⁰. 16 августа 1937 года Ежов подписал другой приказ, предписывавший расстреливать заключенных, которые содержались в тюрьмах Главного управления государственной безопасности (ГУГБ). Он потребовал “с 25 августа начать и в 2-х месячный срок закончить операцию по репрессированию наиболее активных контр-революционных элементов, <...> осужденных за шпионскую, диверсионную, террористическую, повстанческую и бандитскую деятельность, а также членов антисоветских партий”⁴¹.

К “контрреволюционерам” он добавил “бандитов и уголовные элементы” на Соловках, которые в 1937-м были превращены в спецтюрьму ГУГБ. Для Соловков была установлена квота: расстрелять 1200 заключенных. Очевидец вспоминал день, когда забирали некоторых из них: “В конце октября неожиданно выгнали всех обитателей открытых камер Кремля на генеральную поверку. На поверке зачитали огромный список — несколько сотен фамилий, — отправляемых в этап. Срок подготовки — два часа. Сбор на этой же площади. Началась ужасная суета. Одни бежали укладывать вещи, другие — прощаться со знакомыми. Через два часа большая часть этапиремых уже стояла с вещами. В это время из изоляторов вывели колонны заключенных с чемоданами и рюкзаками...”⁴².

Есть сведения, что некоторые взяли с собой ножи и перед расстрелом в урочище Сандормох в северной Карелии нанесли палачам раны. После этого всех, кого уводили на расстрел, стали раздевать до белья. По результатам операции руководившего ею офицера НКВД наградили ценным подарком. Но прошло несколько месяцев — и его тоже расстреляли⁴³.

На Соловках заключенных для расстрела выбирали, судя по всему, случайно. Однако в некоторых лагерях начальство воспользовалось возможностью избавиться от особенно “трудных” заключенных. Так, по-видимому, произошло в Воркуте, где многие из отобранных были настоящими троцкистами, а некоторые участвовали в лагерных забастовках и других волнениях. Один очевидец вспоминал, что в начале зимы 1937–1938 года администрация Воркуты поместила примерно 1200 заключенных (главным образом троцкистов и других “политических” плюс небольшое количество уголовников)

в здание бездействующего кирпичного завода и большие переполненные палатки. Горячей еды не давали совсем: дневной рацион составляли 400 граммов черствого хлеба⁴⁴. Так их держали до конца марта, когда из Москвы приехала новая группа офицеров НКВД. Они сформировали “специальную комиссию”. Заключенных стали уводить группами по сорок человек. Им говорили, что их перевозят в другое место. Каждому дали кусок хлеба. Люди в палатке слышали, как они уходят, а затем началась стрельба.

В палатках воцарился настоящий ад. Один крестьянин, посаженный за “спекуляцию” (за продажу на базаре собственного поросенка), лежал с открытыми глазами и ни на что не реагировал. “Что общего у меня с вашими политическими?” — стонал он время от времени. Другой заключенный, как утверждает очевидец, покончил с собой. Двое сошли с ума. Когда осталось примерно 100 человек, расстрелы прекратились так же внезапно и необъяснимо, как начались. Люди из НКВД вернулись в Москву. Оставшиеся в живых заключенные вернулись на шахты. Всего в лагере было расстреляно около 2000 арестантов.

Сталин и Ежов не всегда посылали карателей из Москвы. Для ускорения дела НКВД создавал по всей стране “тройки”, действовавшие как в лагерях, так и вне их. “Тройка” обычно состояла из начальника областного НКВД, секретаря обкома партии и областного прокурора. Они получили право приговаривать людей заочно без судьи, присяжных, адвоката и судебного процесса⁴⁵.

“Тройки” делали свое дело быстро. 20 сентября 1937 года, в ничем не примечательный день, карельская “тройка” вынесла приговор 231 заключенному Белбалтлага. Если, предположим, рабочий день длился десять часов без перерыва, то на решение судьбы одного человека приходилось менее трех минут. В большинстве своем эти люди получили первые сроки гораздо раньше — в начале 30-х. Теперь их обвинили в новых “преступлениях”, которые, как правило, заключались в плохом поведении или отрицательном отношении к лагерной жизни. Среди них были бывшие политзаключенные в классическом смысле слова — меньшевики, анархисты, социал-демократы, — бывшая монахиня, которая “отказывалась работать на Советы”, и раскулаченный, работавший лагерным поваром. Его обвинили в том, что он провоцировал недовольство среди стахановцев. Он якобы специально вначале кормил обычных заключенных, а стахановцев заставлял отстаивать длинные очереди⁴⁶.

Истерия длилась не очень долго. В ноябре 1938 года массовые расстрелы как в лагерях, так и по всей стране резко прекратились. Возможно, чистка зашла слишком далеко даже по мнению Сталина. Может быть, просто-напросто поставленные цели были достигну-

ты. Или же Сталин решил, что по-прежнему некрепкая экономика страны терпит слишком большой ущерб. Так или иначе, в марте 1939-го на партийном съезде он заявил, что в ходе чистки было допущено больше ошибок, чем можно было ожидать⁴⁷.

Никто не извинился и не раскаялся и почти никто не понес наказания. Всего несколько месяцев спустя Сталин разослал всем местным начальникам НКВД циркуляр, где хвалил их за большую работу “по разгрому шпионско-диверсионной агентуры иностранных разведок”. Лишь после этого он указал на некоторые “недостатки” — такие как “глубоко укоренившийся упрощенный порядок расследования”, отсутствие свидетельских показаний, актов экспертизы, вещественных доказательств⁴⁸.

Но чистка внутри самого НКВД прекратилась не полностью. В ноябре 1938 года Николай Ежов, на которого возложили вину за “недостатки”, был снят с должности. Позднее его арестовали и расстреляли. Перед казнью, которая совершилась в 1940-м, Ежов попросил передать Сталину, что будет умирать с его именем на устах⁴⁹.

Подручные Ежова пострадали вместе с ним, как некоторое время раньше — приспешники Ягоды. Евгения Гинзбург, сидевшая в тюрьме, однажды увидела, как надзиратель снимает со стены картонку с тюремными правилами. Потом ее повесили обратно, но резолюция в левом углу: “Утверждаю. Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов” была теперь заклеена белой бумажкой. Перемены на этом не кончились: “В первый раз заклеили фамилию Вайншток [это был начальник тюрьмы] и заменили ее фамилией Антонов. Во второй раз заклеили и Антонова, а на его месте написали: Главное тюремное управление. «Так-то надежнее, — хохотали мы, — менять не придется»”⁵⁰.

Производительность труда в лагерной системе продолжала снижаться. В Ухтпечлаге массовые расстрелы, рост числа больных и ослабевших заключенных и потеря специалистов привели к резкому уменьшению выработки в 1936–1937 годах. В июле 1938-го для обсуждения положения дел в Ухтпечлаге была создана специальная комиссия ГУЛАГа⁵¹. Упала и производительность золотых приисков Колымы. Даже громадный приток новых заключенных не позволил поднять количество добываемого золота до уровня, сравнимого с прошлыми годами. Перед самым своим падением Ежов предложил увеличить расходы на модернизацию устаревшей золотодобывающей техники Дальстроя — как будто дело было в этом⁵².

Между тем начальник Белбалтлага, тот самый, кто хвастался своими успехами в очищении административно-хозяйственного штата лагеря от политзаключенных, теперь жаловался на большую нужду в административном и техническом персонале. Чистка, писал он с осторожностью, безусловно, “оздоровила аппарат” лагеря, но она

же и “увеличила недокомплект”. Например, в 14-м отделении лагеря содержалось 12 500 заключенных, в том числе неполитических только 657, большей частью осужденных за тяжкие уголовные преступления, что тоже исключало их работу на административно-технических или хозяйственных должностях; 184 из 657 были неграмотны или малограмотны, так что для канцелярской и инженерной работы оставалось максимум 70 человек⁵³.

В целом, согласно статистике НКВД, объем капитальных работ в лагерях упал с 3,5 миллиарда рублей, запланированных на 1936-й, до 2 миллиардов в 1937 году. Уменьшилась и стоимость валовой промышленной продукции — с 1,1 миллиарда до 945 миллионов рублей⁵⁴.

Низкая доходность и сильнейшая дезорганизованность большинства лагерей, как и рост в них заболеваемости и смертности, не прошли незамеченными в Москве, где на общих и закрытых партийных собраниях ГУЛАГа лагерная экономика обсуждалась чрезвычайно откровенно. В апреле 1938 года один из ораторов раскритиковал “хаос и безобразие” в лагерях республики Коми. Он также заявил, что “Норильск спроектирован неправильно, много денег затрачено впустую”. А вот слова другого руководителя: “Успехами ГУЛАГ не может гордиться, особенно по лесу. При тех затратах, которые мы сделали, мы могли бы иметь больше. <...> Наши лагеря организовывались без системы, некоторые капитальные здания построены на болоте, их теперь переносят”.

К апрелю 1939 года критика усилилась. В северных лагерях, по словам одного участника собрания, сложилось исключительно тяжелое положение с продовольствием. “Это привело к тому, что огромный процент слабосилки там имеется, огромный процент категории неработающих, большой процент смертности, болезней и т. д.”⁵⁵. В том же году Совнарком признал, что до 60 процентов лагерников страдает пеллагрой и другими болезнями, связанными с плохим питанием⁵⁶.

Разумеется, Большой террор не был единственным виновником этих бед. Как уже отмечалось, даже лесозаготовительные лагеря Френкеля, которыми так восхищался Сталин, никогда не были по-настоящему рентабельными⁵⁷. Труд заключенных всегда был и будет гораздо менее производительным, чем труд свободных людей. Но этот урок еще не был усвоен. После смещения Ежова в ноябре 1938-го его преемник на посту наркома внутренних дел Лаврентий Берия почти сразу принялся менять лагерные режимы и правила, упрощать процедуры с тем, чтобы вернуть лагеря туда, где хотел их видеть Сталин, — в сердцевину советской экономики.

Берия пока еще не понимал, что лагерная система как таковая убыточна и расточительна по природе своей. Он, по-видимому, объяснял недостатки тем, что прежние ее руководители были не-

компетентными людьми. Ныне он был полон решимости превратить лагерь в подлинно прибыльную часть советской экономики.

Ни тогда, ни позже Берия не освободил из лагерей сколько-нибудь значительного числа несправедливо осужденных (хотя из тюрем некоторые были выпущены). Ни тогда, ни позже лагеря не стали более гуманными. Дегуманизация “врагов народа” проявлялась в языке конвоиров и лагерного начальства до самой смерти Сталина. Бесчеловечное обращение с “политическими”, да и с осужденными по другим статьям, продолжалось: в 1939-м под пристальным взором Берии заключенные начали работать на урановых рудниках Колымы практически без всякой защиты от радиации⁵⁸. Берия изменил систему только в одном: он приказал лагерным начальникам оставлять больше заключенных в живых и эффективней их использовать.

На практике, хотя новая политика нигде четко не зафиксирована, Берия отменил запрет на привлечение “каэров”, обладающих инженерной, научной или технической квалификацией, к работе на технических должностях в лагерях. На местах, однако, лагерные начальники по-прежнему опасались широко использовать “политических” как специалистов, и эти опасения сохранились до кончины ГУЛАГа в середине 50-х. Даже в 1948 году различные подразделения органов госбезопасности все еще спорили о том, допустимо ли такое использование: одни утверждали, что это слишком опасно политически, другие указывали, что лагерям без этого очень трудно обходиться⁵⁹. Хотя Берия не разрешил дилемму полностью, он настойчиво стремился сделать лагеря НКВД производительной частью советской экономики и поэтому не мог согласиться с тем, чтобы *все* видные ученые и инженеры ГУЛАГа теряли конечности, отмораживая их на общих работах в северных лагерях. В сентябре 1938-го он начал создавать так называемые *шарашки* — мастерские и научные лаборатории, где работали заключенные специалисты. Солженицын, побывавший в такой шарашке, описал одну из них — “особый таинственный номерной научно-исследовательский институт” — в романе “В круге первом”: “В старое здание подмосковной семинарии, загодя обнесенное колючей проволокой, привезли полтора десятка эзков, вызванных из лагерей. <...> Шарашка тогда еще не знала, что ей нужно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из Германии; захватывала удобные немецкие стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру...”⁶⁰.

В документах НКВД шарашки назывались “особыми конструкторскими бюро”, и с некоторого момента ими ведал 4-й спецотдел НКВД. Всего в них работало около 1000 человек. В некоторых случаях Берия лично выискивал в лагерях талантливых ученых и приказывал доставить их в Москву. Их отводили в баню, стригли, бри-

ли, давали им отдых, а затем отправляли работать в тюремные лаборатории. В числе самых важных “находок” Берии был авиационный инженер Туполев. Он прибыл в шарашку с вещмешком, в котором лежали пайка хлеба и несколько кусочков сахара, и не хотел расставаться с этими запасами даже после того, как ему сказали, что кормить теперь будут лучше.

Туполев, в свой черед, дал Берии список других арестованных специалистов. В их числе были ведущий советский конструктор реактивных двигателей Валентин Глушко и будущий создатель спутников, основоположник всей советской космической программы Сергей Королев. О Королеве сидевшие с ним заключенные вспоминали, что он вернулся на Лубянку после семнадцати месяцев на Колыме истощенный и измученный, цинга лишила его многих зубов⁶¹. Тем не менее в отчете 4-го спецотдела, подготовленном в августе 1944 года, перечислены двадцать важных технических новинок в военной области, спроектированных в шарашках. Некоторые из этих новых видов оружия уже использовались на фронтах Второй мировой войны⁶².

Кое в чем правление Берии принесло облегчение и рядовым энкам. Нормы питания в целом временно увеличились. Как Берия указал в апреле 1938 года, лагерная норма в 2000 калорий в день была в свое время установлена для людей, сидящих в тюрьме и не работающих. На деле даже этот скудный рацион уменьшается на 30–35 процентов из-за воровства, обмана и наказаний за низкие трудовые показатели. Поэтому многие заключенные голодают. Берия выразил об этом сожаление — не потому что он им сочувствовал, а потому что высокая заболеваемость и смертность могли помешать НКВД выполнить производственный план на 1939 год. Берия попросил утвердить новые нормы питания с тем, чтобы “физические возможности лагерной рабочей силы можно было использовать максимально на любом производстве”⁶³.

Хотя нормы были повышены, нельзя сказать, что при Берии к заключенным стали относиться человечнее. Наоборот, было сделано еще несколько шагов по пути превращения арестантов из людей в “рабочие единицы”. В лагере их по-прежнему могли расстрелять, но теперь уже не только за контрреволюционные настроения, но и за отношение к работе. Тем, кто прогуливал, отказывался работать или активно дезорганизовывал общий труд, грозили “суровые меры принуждения: усиленный лагерный режим, карцер, худшие материально-бытовые условия и другие меры дисциплинарного воздействия”. “Отказчику” могли вынести новый приговор — вплоть до расстрела⁶⁴.

Местные прокуроры немедленно начали заниматься случаями отказа. Например, в августе 1939-го за отказ от работы и соответствующую агитацию среди других заключенных один лагерник был

расстрелян. В октябре три содержавшиеся в лагере женщины, по всей видимости православные, были обвинены в отказе от работы и в пении под видом религиозных стихов “контрреволюционных песен”. Двух из них расстреляли, третьей дали новый срок⁶⁵.

Три года Большого террора оставили и другой след. С этих пор никогда ГУЛАГ не рассматривал заключенного как человека, способного к исправлению. Система досрочного освобождения за хорошее поведение была отменена. Ей положил конец сам Сталин своим единственным известным нам публичным вмешательством в повседневную жизнь лагерей. Выступая в 1938 году на заседании Президиума Верховного Совета, он сказал: “Нельзя ли придумать какую-нибудь другую форму оценки их работы — награды и т. д.? Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо. <...> Будут освобождаться лучшие люди, а оставаться худшие”⁶⁶.

Указ по этому вопросу был утвержден в июне 1939 года. Несколько месяцев спустя тем же указом было отменено условно-досрочное освобождение для инвалидов. Соответственно возросло количество больных заключенных. Главными стимулами для хорошей работы в лагерях должны были стать “улучшенное снабжение и питание”, а также денежные и иные награды, которые Сталин считал такими привлекательными для арестантов. В частности, в 1940 году был учрежден нагрудный значок “Отличнику дальстроевцу”⁶⁷.

Некоторые из этих нововведений были откровенно противоправны и встретили определенное сопротивление. Генеральный прокурор Вышинский и нарком юстиции Рычков были против как отмены досрочного освобождения, так и смертной казни за “дезорганизацию лагерной жизни”. Но Берия, как ранее Ягоду, явно поддерживал Сталин, и точка зрения Берии возобладавала. НКВД, помимо прочего, получил право с 1 января 1940 года снять всех заключенных с объектов других ведомств (летом 1939-го их насчитывалось около 130 000). Берия был твердо намерен сделать ГУЛАГ подлинно прибыльным⁶⁸.

Нововведения Берии поразительно быстро дали отдачу. В последние месяцы перед Второй мировой войной экономическая активность НКВД снова начала расти. В 1939 году план капитальных работ в системе НКВД составлял 4,2 миллиарда рублей, в 1940-м — 4,5 миллиарда. В годы войны, когда приток заключенных увеличился, эти цифры росли еще быстрее⁶⁹. Согласно официальной статистике, смертность в лагерях уменьшилась с 5 процентов в 1938-м до 3 процентов в 1939-м, хотя количество заключенных продолжало увеличиваться⁷⁰.

Лагерей теперь было гораздо больше, чем раньше, и они были намного крупнее, чем в начале десятилетия. С 1 января 1935 года по 1 января 1938-го число заключенных почти удвоилось (с 950 000 оно выросло до 1,8 миллиона). Еще миллион человек находился в ссылке⁷¹. Лагеря, состоявшие из нескольких хибар, обнесенных колючей проволокой, превратились в настоящих промышленных гигантов. Севвостлаг, главный лагерь Дальстроя, в 1940 году насчитывал почти 200 000 заключенных⁷². В угледобывающем Воркутлаге, развившемся из “Рудника № 1” Ухтпечлага, в 1938-м было 15 000 заключенных; в 1951-м их стало уже более 70 000.

Возникли и новые лагеря. Возможно, самым суровым из них стал заполярный Норильлаг, расположенный на богатейшем месторождении никеля — вероятно, крупнейшем в мире. Заключенные Норильлага не только добывали никель, но и строили Норильский медно-никелевый комбинат и электростанции. Они построили и город Норильск, где жили сотрудники НКВД, руководившие работами на рудниках и заводах. Как и его предшественники, Норильлаг быстро рос. В 1935-м в нем было 1200 осужденных, в 1940-м — 19 500. Самая большая цифра — 68 849 человек — относится к 1952 году⁷³.

В 1937-м был создан Каргопольлаг в Архангельской области, в 1938-м — Вятлаг в центре России и Краслаг в Красноярском крае. Все они специализировались главным образом на лесозаготовках, но были там и предприятия другого профиля — кирпичные и деревообрабатывающие заводы, мебельные фабрики. Все эти лагеря за 40-е годы удвоили или утроили количество заключенных, которое к концу десятилетия составляло в каждом примерно 30 000⁷⁴.

Были и другие лагеря, которые открывались, закрывались, реорганизовывались так часто, что число заключенных в том или ином году установить довольно трудно. Некоторые — совсем маленькие, созданные ради нужд какого-либо завода, фабрики или стройки. Другие — временные, служившие для строительства автомобильных или железных дорог и прекращавшие существование потом. Чтобы руководить этим большим и сложным хозяйством, ГУЛАГ создал подразделения: Главное управление лагерей промышленного строительства, Главное управление лагерей железнодорожного строительства, Главное управление лагерей лесной промышленности и так далее.

Но изменились не только масштабы. С конца 30-х годов все лагеря носили чисто производственный характер — никаких больше садов и фонтанов, как в Вишлаг, никакой идеалистической пропаганды — вроде той, что сопровождала освоение Колымы, — никаких работников из числа заключенных на всех уровнях лагерной жизни. Ольга Васильева, выполнявшая в конце 30-х и в 40-е годы административную, инженерную и инспекторскую работу на до-

рожных стройках ГУЛАГа, вспоминала, что в ранний период “меньше было охраны, меньше было оперативников, меньше обслуги... В 30-х годах многих заключенных привлекали на всякие работы — писарем, парикмахером, охрана была из заключенных”. Однако в конце 30-х и в 40-е годы положение изменилось: “Все это приобрело массовый характер... раньше было мягче... чем больше лагеря расширялись, чем больше начались события ближе к 37 году, тем больше режим ужесточался”⁷⁵.

Можно сказать, что к концу 30-х годов советская лагерная система приобрела законченную форму. К тому времени она присутствовала почти во всех республиках, краях и областях Советского Союза, во всех его двенадцати часовых поясах. Любой крупный населенный пункт — от Актюбинска до Якутска — теперь имел свой собственный лагерь или колонию. Труд лагерников использовался во всевозможном производстве — от изготовления детских игрушек до строительства военных самолетов. Во многих местах Советского Союза 40-х годов трудно было, идя по своим повседневным делам, не встретить заключенных.

Что еще более важно, лагеря изменились качественно. Это была уже не совокупность отдельныхстроек и предприятий, управляемых в каждом случае по-своему, а полноценный “лагерно-производственный комплекс” со своими внутренними правилами и обычаями, с особой внутрелагерной системой распределения и иерархией⁷⁶. Громадный бюрократический аппарат, тоже выработавший свою специфическую “культуру”, управлял обширной империей ГУЛАГа из Москвы. Центр постоянно посылал на места директивы, касающиеся как общей политики, так и частных. Хотя отдельно взятые лагеря не всегда исполняли инструкции в точности (порой это было просто невозможно), импровизация раннего ГУЛАГа навсегда ушла в прошлое.

Судьбы заключенных были все еще подвержены колебаниям: на них воздействовали политика, экономика и прежде всего ход Второй мировой войны. Однако эпоха проб и экспериментов была позади. Система сформировалась. Все то, что заключенные называли “мясорубкой”, — арест, допрос, перевозка, питание, работа, — к началу 40-х годов обрело незыблемые очертания. По существу здесь очень мало что изменилось до смерти Сталина.

Часть вторая

Жизнь и труд в лагерях

Глава 7

Арест

Мы никогда не спрашивали, услышав про очередной арест, “За что его взяли?”, но таких как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что! Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста, — “Она ведь действительно контрабандистка”, “Он такое себе позволял”, “Я сам слышал, как он сказал...” И еще: “Надо было этого ожидать — у него такой ужасный характер”, “Мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке”, “Это совершенно чужой человек” <...> Вот почему вопрос: “За что его взяли?” — стал для нас запретным. “За что? — яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-нибудь из своих, заглянув в общий стилем, задавал этот вопрос. — Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что”...

Н. Я. Мандельштам. Воспоминания

Анна Ахматова — поэтесса, процитированная выше вдовой поэта, — была и права, и не права. С одной стороны, с середины 20-х годов, когда аппарат советской репрессивной системы сформировался, власть уже не хватала людей на улице и не бросала их в тюрьмы без всяких объяснений: были арест, следствие, суд и приговор. С другой стороны, “преступления”, за которые людей арестовывали, судили и приговаривали, были полностью надуманными, а процедуры следствия и суда — абсурдными, даже сюрреалистическими.

Охватывая советскую лагерную систему ретроспективным взглядом, понимаешь, что это была одна из ее специфических черт: большую часть заключенных поставляла в нее судебная машина, пусть и весьма необычная. Евреев в оккупированной нацистами Европе никто не судил и не приговаривал; между тем подавляющее большинство советских лагерников проходило через следствие (пусть оно и было поверхностным) и суд (пусть он и был фарсом), который выносил приговор (пусть это и занимало меньше минуты). Сотрудниками карательных органов, как и надзирателями и лагерным начальством, от которых позднее зависела жизнь арестованного, несомненно, двигала, помимо прочего, убежденность в том, что все делается по закону.

Но повторяю: из того, что репрессивная система была по видимости судебной, не следует, что она была подчинена стройной логике. Наоборот: в 1947 году было не легче, чем в 1917-м, предсказать

хоть сколько-нибудь определенно, кого арестуют, а кого нет. Правда, можно было определить, кто находится *под угрозой* ареста. Выбор жертвы — особенно на гребне террора — отчасти диктовался тем, что человек по той или иной причине попадал в поле зрения “органов”: сосед слышал его рискованную шутку, начальник донес о его “подозрительном” поведении; однако еще более важна была принадлежность к той или иной из категорий населения, которые в тот момент находились под ударом.

Некоторые из этих категорий были более или менее четко очерчены (в конце 20-х — инженеры и специалисты, в 1931-м — “кулаки”, во время Второй мировой войны — поляки и прибалтийцы с оккупированных территорий); другие имели очень расплывчатые границы. К примеру, в 30-е и 40-е годы под неизменным подозрением находились граждане других стран и люди, имевшие те или иные связи с заграничной, подлинные или мнимые. Независимо от их поведения им всегда угрожал арест; особенноному риску подвергались иностранцы, каким-либо образом выделявшиеся из общей массы. Роберт Робинсон, один из нескольких американских коммунистов негритянского происхождения, поселившихся в Москве в 30-е годы, позднее писал: “Все известные мне чернокожие, ставшие в начале 30-х советскими гражданами, исчезли из Москвы на протяжении семи лет”¹.

Дипломаты не были исключением. Американский гражданин Александр Долган, занимавший одну из младших должностей в американском посольстве в Москве, пишет в мемуарах, как в 1948-м его арестовали на улице и несправедливо обвинили в шпионаже. Подозрение пало на него отчасти потому, что он, будучи молодым человеком, любил уходить от “хвостов” НКВД; кроме того, шоферы посольства, поддаваясь на его уговоры, иногда давали ему на время машины. В результате “органы” решили, что должность не отражает его истинного занятия. Он провел в лагерях восемь лет и вернулся в США только в 1971 году.

Часто жертвами становились иностранные коммунисты. В феврале 1937-го Сталин злоебно сказал генеральному секретарю исполкома Коминтерна Георгию Димитрову: “Все вы там, в Коминтерне, работаете на руку противнику”. Из 394 членов исполкома на январь 1936 года на свободе к апрелю 1938-го остался только 171 человек. Остальных либо расстреляли, либо отправили в лагерь. Среди них были люди многих национальностей — немцы, австрийцы, югославы, итальянцы, болгары, финны, прибалтийцы, даже англичане и французы. Непропорционально сильно пострадали евреи. Сталин уничтожил больше членов политбюро компартии Германии, чем Гитлер: из шестидесяти восьми немецких коммунистических лидеров, эмигрировавших в СССР после прихода нацистов к

власти, сорок один погиб либо от пули, либо в лагерях. Еще больший урон, судя по всему, понесла компартия Польши. Согласно одной оценке, весной и летом 1937 года было казнено 5000 польских коммунистов².

Но иностранными коммунистами дело не ограничилось: Сталин жестоко обошелся с иммигрантами вообще. Возможно, самой многочисленной их группой были 25000 “американских финнов”. Некоторые из них родились в США, другие эмигрировали в эту страну; во время Великой депрессии 30-х годов эти люди переехали в СССР. Большую их часть составляли рабочие, многие были в США безработными. Обманутые советской пропагандой (среди финноязычных американцев работали советские вербовщики, расхваливавшие условия жизни и возможности трудоустройства в Советском Союзе), они потянулись в советскую Карелию. Почти сразу они создали трудности для властей. Карелия, как выяснилось, имела очень мало общего с Америкой. Многие громко возмутились, затем пытались вернуться в США — и в конце 30-х оказались в ГУЛАГе³.

Не меньшим подозрением были окружены советские граждане, имевшие связи с заграничной, прежде всего члены “национальных диаспор” — поляки, немцы, карельские финны, у которых были за рубежом знакомые и родственники, а также разбросанные по СССР прибалтийцы, греки, иранцы, корейцы, афганцы, китайцы и румыны. Согласно архивам НКВД, с июля 1937 по ноябрь 1938 года было осуждено 335 513 представителей “подозрительных национальностей”⁴. Подобные кампании, как мы увидим, проводились и позже — во время войны и после нее.

Чтобы попасть под подозрение в шпионаже, вовсе не обязательно было говорить на иностранном языке. Опасна была любая связь с зарубежным миром. Арестовывали филателистов, эсперантистов, тех, кто переписывался с заграничными знакомыми, тех, у кого были “там” родственники. Всех советских граждан, работавших на Китайско-Восточной железной дороге, которая была проложена через Маньчжурию еще в царские времена, арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Японии. В лагерях их называли харбинцами, поскольку многие из них жили в Харбине⁵. Роберт Конквест пишет об аресте оперной певицы, танцевавшей на официальном приеме с японским послом, и ветеринара, лечившего собак иностранцев⁶.

К концу 30-х годов рядовые советские граждане в большинстве своем поняли, что к чему, и стали избегать любого общения с иностранцами. Хорватский коммунист Карло Стайнер, женившийся на русской, вспоминал: “Русские редко отваживались вступать в личное общение с иностранцами. <...> Родственники жены оставались для меня по существу чужаками. Никто из них не осмеливался прийти к нам в гости. Когда ее родные узнали о нашем намерении

пожениться, все они предостерегали Сою...”⁷. Даже в середине 80-х, когда я в первый раз приехала в Советский Союз, многие русские относились к иностранцам настороженно — избегали их.

Впрочем, не всех иностранцев арестовали и не все обвиненные в связях с границей действительно имели такие связи. Случалось, что людей забирали по гораздо более специфическим причинам⁸. Поэтому на вопрос “За что?”, которого так не любила Анна Ахматова, можно было получить поразительно разнообразные ответы.

Поэт Осип Мандельштам, муж Надежды Мандельштам, был арестован за стихотворение о Сталине:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, — то малина
И широкая грудь осетина.

Татьяну Окуневскую, популярную советскую киноактрису, арестовали, как она считала, за отказ стать любовницей Виктора Абакумова, возглавлявшего с 1943 года советскую контрразведку. Чтобы она поняла истинную причину, ей, утверждает она, показали лист бумаги с надписью “Вы подлежите аресту” и подписью Абакумова⁹. Четверо известных футболистов и тренеров — братья Старостины, арестованные в 1942-м, пострадали, по их мнению, из-за успехов их команды “Спартак”, раздражавших Лаврентия Берия, который болел за “Динамо”¹⁰.

Но можно было и не быть известным человеком. Людмилу Хачатрян арестовали за то, что она вышла замуж за иностранца — югославского военного. Лев Разгон пишет о крестьянине Серегине, который, узнав об убийстве Кирова, сказал: “Ну и фуй с ним”. Серегин никогда не слышал о Кирове и решил, что кто-то погиб в драке в соседней деревне. За эту ошибку ему дали десять лет¹¹. В 1939 году можно было получить лагерный срок за шутку о Сталине; за то, что кто-то пошутил о нем при тебе; за опоздание на работу; за то, что за-

пуганный знакомый или завистливый сосед назвал тебя “соучастником” несуществующего заговора; за то, что у тебя четыре коровы, а у большинства твоих односельчан по одной; за кражу пары обуви; за родство с женой Сталина; за то, что ты взял на работе ручку и немного бумаги и отдал школьнику, у которого не было ни того ни другого. По постановлению 1940 года родственники человека, попытавшегося совершить побег за границу, подлежали аресту, знали они об этой попытке или нет¹². Законы военного времени, каравшие человека за опоздание на работу и запрещавшие переход с одной работы на другую, создавали, как мы увидим, дополнительный контингент “преступников”.

Многообразны были не только причины, но и способы ареста. Некоторые жертвы не испытывали недостатка в предостережениях. В течение нескольких недель до ареста Александра Вайсберга в середине 30-х сотрудник “органов” неоднократно вызывал на допрос и раз за разом спрашивал, как он пришел к “шпионской” деятельности. Кто вас завербовал? Кого вы завербовали? На какие иностранные организации вы работаете? “Он много раз задавал одни и те же вопросы и получал от меня одни и те же ответы”¹³.

Примерно в то же время Галину Серебрякову, автора книги “Юность Маркса” и жену известного советского деятеля Г. Я. Сокольникова, каждый вечер “приглашали” на Лубянку, заставляли ждать до двух или трех утра, затем допрашивали и отпускали домой в пять утра. Около дома, где она жила, стояли агенты в штатском, а когда она шла куда-нибудь, за ней следовала черная машина. Арест представлялся ей неизбежным, и она пыталась покончить с собой. После нескольких месяцев такой жизни ее действительно арестовали¹⁴.

Во время мощных волн массовых арестов в 1929–1930 годах, когда высылали “кулаков”, в 1937–1938-м, когда шла чистка в партии, в 1948-м, когда выпущенных брали по второму разу, многие понимали, что скоро придет их очередь, просто потому, что арестовывали всех вокруг. Элинор Липпер, голландская коммунистка, приехавшая в Москву в 30-е, в 1937 году жила в гостинице “Люкс”, специально предназначенной для зарубежных революционеров. “Каждую ночь из гостиницы исчезало еще несколько человек <...> Утром еще несколько дверей были опечатаны большими красными печатями”¹⁵.

Во времена подлинного ужаса арест порой воспринимался как облегчение. Футбольного тренера Николая Старостина агенты сопровождали несколько недель. В конце концов он разозлился и подошел к одному из них: “Скажите своему начальнику, что если ему надо что-нибудь узнать, он может пригласить меня к себе”. В момент ареста он испытал не страх, не удивление, не шок, а “тревожное любопытство”¹⁶.

Но других арест заставлял врасплох. Польского писателя Александра Вата, жившего во Львове на присоединенной к СССР территории, пригласили в ресторан, где должна была собраться группа писателей. Он спросил пригласившего, по какому поводу встреча. “Увидите”, — сказали ему. Была инсценирована драка, и его арестовали на месте¹⁷. Сотрудника американского посольства Александра Долгана окликнул на улице человек, оказавшийся сотрудником “органов”¹⁸. Актриса Окуневская, когда за ней пришли, лежала с высокой температурой. Она попросила подождать хотя бы дня два, но ей показали ордер с подписью Абакумова и стащили ее по лестнице¹⁹. Солженицын приводит, возможно, апокрифическую историю о женщине, пригласившей следователя, который за ней ухаживал, в Большой театр. После спектакля “друг” повез ее прямо на Лубянку²⁰. Автор лагерных мемуаров Нина Гаген-Торн приводит рассказ женщины, арестованной, когда она снимала с веревки белье в ленинградском дворе; она выскочила в халате, оставив ребенка дома одного. Никакие ее мольбы не помогли²¹.

Создается впечатление, что власти нарочно варьировали тактику: одних брали дома, других на улице, третьих на работе, четвертых в поезде. Это предположение подтверждает докладная записка Сталину от Виктора Абакумова, датированная 17 июля 1947 года. Там говорится, что органы стремятся обеспечить “внезапность производства ареста — в целях: а) предупреждение побега или самоубийства; б) недопущение попытки поставить в известность сообщников; в) предотвращение уничтожения уликовых данных”. В некоторых случаях, продолжает Абакумов, “производится секретный арест на улице или при каких-либо других специально придуманных обстоятельствах”²².

Чаще всего, впрочем, людей арестовывали дома глухой ночью. Во времена массовых арестов страх перед ночным стуком в дверь был повсеместным. Есть старый советский анекдот про мужа и жену, ужаснувшихся, когда ночью в дверь постучали, и облегченно вздохнувших, когда оказалось, что это всего-навсего сосед с вестью о том, что дом горит. Согласно поговорке тех лет: “Воры, проститутки и НКВД обычно работают ночью”²³. Как правило, эти ночные аресты сопровождалась обысками, тактика которых тоже не была неизменной. Осип Мандельштам подвергался аресту дважды — в 1934 и 1938 году; его жена так описывает разницу: “В 38-м никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О. М. В 38-м вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34-м — всю ночь до утра”.

В 1934 году агенты явно знали, что они ищут. Они внимательно просмотрели все бумаги Мандельштама. Старые рукописи откладывали в сторону — их интересовали стихи последних лет. При первом аресте присутствовали понятые, а также знакомый литератор, оказавшийся штатским помощником “органов”. Он весь вечер просидел у Мандельштамов в гостях — видимо, для того чтобы хозяева, “услышав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей”²⁴. В 1938-м такие мелочи чекистов уже не заботили.

Массовые аресты людей той или иной национальности — как, например, в восточной Польше и Прибалтике, оккупированных Красной Армией в 1939–1941 годах, — обычно проходили еще более хаотически. Януша Бардаха, еврейского юношу из польского города Владимира-Волынского, заставили во время одного из таких массовых арестов быть понятым. В ночь на 5 декабря 1939 года группа пьяных энкавэдэшников водила его от дома к дому и забирала людей, подлежащих аресту или высылке. Часть арестованных составляли зажиточные горожане с хорошими связями, чьи фамилии значились в списке, но хватали и беженцев — как правило, евреев, пришедших из оккупированной нацистами западной Польши в оккупированную советскими войсками восточную Польшу, — даже не записывая их имена. В одном доме беженцы, пытаясь защититься от ареста, назвали себя членами Бунда — еврейской социалистической организации. Но услышав, что они из Люблина, находившегося тогда по ту сторону границы, начальник посланной НКВД группы (его звали Геннадий) заорал: “«Поганые перебежчики! Нацистские шпионы!» Дети заплакали, и это разъярило Геннадия еще сильнее: «Пусть они заткнутся, не то я сам ими займусь!»”

Мать притянула их к себе, но они плакали не переставая. Геннадий схватил мальчика за руки, выдернул из материнских объятий и кинул на пол. “Заткнись, тебе говорят!” Мать голосила. Отец пытался что-то сказать, но только хватал ртом воздух. Геннадий поднял мальчика, подержал, пристально посмотрел ему в лицо и с силой бросил его о стену...”

Потом чекисты разгромили дом друзей Бардаха: “Сбоку была дверь в кабинет доктора Шехтера. Посреди кабинета стоял его потемневший письменный стол красного дерева, и Геннадий пошел прямо к столу. Он провел по гладкому дереву рукой и вдруг в приступе ярости хватил по нему железным прутом. “Буржуазная свинья! Паразиты! Найдем мы вас, найдем, эксплуататоры поганые!” Он бил все сильнее и сильнее без остановки, оставляя вмятины на деревянной поверхности...”

Не найдя Шехтеров, чекисты изнасиловали и убили жену садовника.

Часто такие операции проводили не специально обученные сотрудники НКВД, каким поручали “нормальные” аресты “нормальных” преступников, а конвоиры, сопровождавшие эшелоны с депортируемыми. Насилие вряд ли санкционировалось официально: просто советским военнослужащим при аресте “капиталистов” на буржуазном “Западе” пьянство, буйство и даже изнасилование сходило с рук, как сходило им все это с рук позднее во время продвижения Красной Армии через Польшу и Германию²⁵.

Однако некоторые аспекты поведения арестующих жестко диктовались им сверху. В частности, в ноябре 1940-го Главное управление конвойных войск НКВД СССР постановило, что сотрудники, проводящие арест, должны говорить арестуемым, чтобы они брали с собой запас теплой одежды в расчете на три года: казенной одежды в стране не хватало²⁶. Ранее арестующих обычно инструктировали, чтобы они не сообщали людям, куда их увозят, и не создавали у них впечатления, что их увозят надолго. Говорилось примерно следующее: “Не беспокойтесь, ничего с собой не берите. Зададут пару вопросов и отпустят”. Депортируемым иногда говорили, что их просто перемещают в другой район, подальше от границы, для их же защиты²⁷. Делалось это для того, чтобы арестанты меньше пугались, не сопротивлялись, не пытались убежать. В результате люди не брали с собой необходимого, что помогло бы им выжить в условиях сурового климата.

Польским крестьянам, впервые сталкивавшимся с советским режимом и верившим этой лжи, подобная наивность еще простительна; однако точно такие же приемы безотказно действовали на многих московских и ленинградских интеллигентов и партийных работников, уверенных в своей невинности и в том, что все быстро уладится. Евгении Гинзбург, которая жила в Казани и была женой видного партийного начальника, при аресте сказали, что ее задержат минут на сорок, самое большее на час. В результате она даже не попрощалась с детьми²⁸. Партийная работница Елена Сидоркина шла по улице к зданию НКВД с пригласившим ее туда следователем, “мирно разговаривая” с ним и надеясь, что ее отпустят после короткой беседы²⁹.

Софье Москвиной-Бокий, бывшей жене чекиста Глеба Бокия, при аресте отсоветовали брать с собой пальто: “Зачем? Сейчас тепло, самое позднее — через час мы вернемся обратно”. Это побудило писателя Льва Разгона, приходившегося ей зятем, к размышлению о странной жестокости системы: “Почему надо было немолодую и нездоровую женщину забирать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда, со времен фараонов, разрешалось брать с собой?”³⁰

Жене актера Георгия Жженова, впрочем, хватило здравого смысла дать ему с собой теплые вещи. Когда ее стали уверять, что он ско-

ро вернется, она сказала: “Нет. Кто к вам попадает, скоро не возвращается”³¹. Она была права. Между днем, когда перед арестованным открывалась массивная железная дверь советской тюрьмы, и днем его возвращения домой обычно проходило много лет.

Если способ ареста как такового мог иной раз показаться чуть ли не эксцентрическим, последующие процедуры, напротив, стали к 40-м годам более или менее стандартными. Каким бы ни был путь будущего заключенного к тюремным воротам, за ними события шли обычным путем. Человека регистрировали и фотографировали, у него брали отпечатки пальцев, причем происходило это, как правило, задолго до того, как ему объясняли, за что он арестован и какова может быть его судьба. Первые несколько часов, а зачастую и несколько дней он не видел никакого начальства, только рядовых надзирателей, которым он был совершенно безразличен, которые понятия не имели о том, что вменяется ему в вину, и на все вопросы отвечали равнодушным пожатием плеч.

У многих создавалось впечатление, что первые часы в тюрьме нарочно обставлены так, чтобы шокировать заключенного, сделать его неспособным к связному мышлению. Вот что ощущала после нескольких часов на Лубянке Инна Шихеева-Гайстер, арестованная как дочь “врага народа”: “Здесь на Лубянке ты была уже не человек. И вокруг тебя нет людей. Тебя ведет по коридору, фотографирует, раздевает, обыскивает машина. Все делается совершенно безразлично. Ты ищешь человеческий взгляд, я уже не говорю про человеческий голос, человеческий взгляд — его нет. Вот ты вся расхлынутая стоишь перед фотографом, стараешься как-то запахнуть, а тебе пальцем показывают на табурет, пустой голос произносит: «Анфас», «Профиль». И тот же безразличный голос, только женский: «Повернитесь. Поднимите руки. Распустите волосы». Они в тебе человека не видят. Ты для них вещь. Вещь!”³²

Если человека помещали в одну из городских тюрем, а не сажали, как при высылке, сразу на поезд, то он подвергался тщательному обыску, проходившему в несколько этапов. Один документ 1937 года предписывает тюремным надзирателям не забывать, что враг не прекращает борьбу после ареста и может покончить с собой, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Поэтому заключенных лишали пуговиц, ремней, поясов, подтяжек, шнурков, резинок — словом, всего, что теоретически могло послужить для самоубийства³³. У Надежды Иоффе, дочери известного революционера, забрали резинки, пояс от юбки, шнурки от туфель, заколки для волос. Она пишет: “Помню, как меня поразила унижительность и бессмысленность всего этого. Ну что может сделать человек при помощи заколки для волос? И если даже ему придет в голову бредовая идея пове-

ситься на шнурках от туфель, то как он практически делает это? Просто нужно поставить его в отвратительно унижительное положение, когда падает юбка, сползают чулки, шлепают туфли”³⁴.

Следовавший за этим личный обыск был еще более тяжелым испытанием. В романе “В круге первом” Солженицын описывает арест дипломата Иннокентия Володина. Через несколько часов после того, как его привезли на Лубянку, каждое отверстие его тела было обследовано: “Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое, и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твердым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, еще — помахать руками, и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:

— “Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Еще. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх. Влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперед до пола. Ноги — шире. Ягодицы — разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Еще раз!”

Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство с государственным Левиафаном. Он был внутренне напряжен, готов к высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений. Но он никак не представлял, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда...”³⁵

Для женщин такой обыск был еще тяжелее. Одна бывшая лагерница потом вспоминала, что надзирательница “забрала у нас лифчики, пояса с подвязками и другие части женского туалета. За этим последовал краткий, но отвратительный гинекологический осмотр. Я молчала, но чувствовала себя так, словно меня лишили всякого человеческого достоинства”³⁶.

Т. П. Милютина, в 1941–1942 годах просидевшая двенадцать месяцев в Александровском центральном, подвергалась обыску неоднократно. Сокамерниц по пять человек выводили на очень холодную лестничную площадку. Надо было совершенно раздеться, положить одежду на пол и поднять руки. “Конвоир засовывал пальцы в волосы, смотрел в уши, под язык, заставлял, расставив ноги, присесть и подняться. После первого такого обыска все захлебывались слезами, у многих была истерика”, — пишет Милютина³⁷.

После обыска некоторых арестантов помещали в одиночную камеру. “Уничтожающая идея первых часов тюрьмы, — продолжает

Солженицын, — состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтоб никто не подбодрил его, чтоб на него одного давило тупеё, поддерживающее весь разветвленный многотысячный аппарат”³⁸. В камере, где оказался Евгений Гнедин — советский дипломат, происходивший из семьи революционеров, — были только небольшой привинченный к полу столик и два табурета, тоже привинченные к полу. Две откидные полки для спанья днем опускались и составляли часть стены. Все, включая стены, потолок, табуреты и полки, было выкрашено в голубой цвет. Камера, замечает Гнедин, выглядела как “своеобразная каюта парохода”³⁹.

Многих, как, например, Александра Долгана, на несколько часов или даже на несколько дней после ареста помещали в боксы. Эта была камера размером менее чем полтора на три метра. “Пустой ящик со скамейкой”, — пишет Долган⁴⁰. Польского хирурга Исаака Фогельфангера среди зимы посадили в камеру с окнами без стекол⁴¹. Других, в частности Любовь Бершадскую, которая позднее участвовала в лагерном восстании в Кенгире, изолировали на весь период следствия. Бершадская, которая провела в одиночке девять месяцев, пишет, что с нетерпением ждала допросов: “так хотелось с кем-нибудь разговаривать”⁴².

Однако переполненная камера могла стать для новичка еще более тяжелым испытанием, чем одиночка. Описание камеры в Бутырской тюрьме, куда попала Ольга Адамова-Слиозберг, приводит на ум картины Хиеронимуса Босха: “Камера была огромная, сводчатые стены в подтеках, по обе стороны узкого прохода сплошные нары, забитые телами; на веревках сушились какие-то тряпки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кричал, кто-то плакал в голос”⁴³.

Другой мемуарист также пытается передать свое потрясение: “Зрелище было ужасное. Длинноволосые бородатые люди, запах пота, и нигде даже присесть. Нужно немалое усилие воображения, чтобы представить себе место, где я оказался”⁴⁴.

Финка Айно Куусинен, жена известного коммунистического деятеля Отто Куусинена, считала, что ее нарочно сразу поместили туда, где были слышны крики допрашиваемых: “До сих пор, хотя прошло уже около тридцати лет, мне трудно описывать первую ночь в Лефортово. Камера была расположена так, что все внешние звуки были в ней отчетливо слышны. Позднее я выяснила, что внизу, прямо под стенами моей камеры, стояло низкое строение, безобидно называвшееся “отделением для допросов”. На самом деле это была камера пыток. Оттуда раздавались страшные, нечеловеческие крики, непрерывные удары плетки. Может ли даже истязаемое животное кричать так страшно, как эти люди, которых избивали часами, с угрозами и руганью?”⁴⁵

Но где бы человек ни оказался в первую ночь после ареста — в старой тюрьме царской постройки, в привокзальной кутузке, в переоборудованной церкви или монастырской келье, — перед ним стояла насущная, неотложная задача: преодолеть шок, прийти в себя, приспособиться к особым тюремным порядкам и выдержать следствие. От того, как это ему удастся, зависело, в каком состоянии он покинет тюрьму и в конечном счете как сложится его жизнь в лагерях.

Из всех стадий, которые проходил арестант на пути к ГУЛАГу, западному человеку, вероятно, легче всего представить себе допрос, поскольку он описан не только в книгах по истории, но и в западной художественной литературе (например, в классическом романе Артура Кестлера “Слепящая тьма”), показан в военных фильмах и отражен в других областях высокой и низкой культуры. Крайнюю жестокость на допросах проявляли гестаповцы и испанские инквизиторы. Тактика тех и других вошла в легенду. “Мы знаем, как развязать тебе язык”, — говорят и нынешние мальчишки, когда играют в войну.

Допросы подозреваемых, конечно, происходят и в демократических, правовых государствах — иногда в соответствии с законом, иногда нет. И за пределами СССР допрашиваемых порой подвергали и подвергают психологическому воздействию и даже пыткам. Тактика “злого и доброго следователя” не только вошла в разные языки как идиома, но и фигурировала в руководствах для американской полиции (ныне вышедших из употребления). В большинстве стран в те или иные времена допрос сопровождался давлением, и стремление оградить человека от такого давления побудило Верховный суд США постановить в 1966 году в решении по делу “Миранда против штата Аризона”, что подозреваемого надлежит информировать, помимо прочего, о его праве на молчание и на услуги адвоката⁴⁶.

Тем не менее допросы, проводимые советскими “органами”, уникальны если не методами, то своей массовостью. В некоторые периоды типичное “дело” включало в себя сотни людей, которых арестовывали по всему Советскому Союзу. Показательны для того времени рапорты управления НКВД Оренбургской области, озаглавленные: “Операции по ликвидации подпольных троцкистских групп, а также других контрреволюционных объединений, проведенные в период с 1 апреля по 18 сентября 1937 года”. В рапортах говорится, что за пять месяцев в этой местности было арестовано 420 “троцкистов”, 120 “правых”, “более двух тысяч членов правой военно-японской организации казаков”, “более 1500 офицеров и царских чиновников, сосланных в 1935 году из Ленинграда в Орен-

бург”, около 250 человек “по так называемому польскому делу”, приблизительно 95 человек “по делу об уроженцах Харбина”, 3290 человек бывших кулаков и 1399 человек “при ликвидации преступных элементов”.

В целом за пять месяцев оренбургские органы НКВД арестовали более 7500 человек, и на тщательное изучение улик у них просто не было времени. Но это было и не важно: расследование каждого из этих “контрреволюционных заговоров” инициировала Москва. Местные органы НКВД просто исполняли ее указания, реализуя спущенные сверху квоты⁴⁷.

Из-за большого числа арестов пришлось применять специальные процедуры. Это не всегда вело к большей жестокости. Наоборот, массовость порой означала, что НКВД сводил расследование к минимуму. Человека второпях допрашивали и затем второпях приговаривали; иногда этому предшествовал краткий “суд”. Известный советский военачальник генерал Александр Горбатов вспоминал, что суд над ним длился четыре-пять минут. Были сверены его личные данные и задан единственный вопрос: “Почему вы не сознались на следствии в своих преступлениях?” Приговор — пятнадцать лет⁴⁸.

Других не судили вообще: приговор в их отсутствие выносило либо “особое совещание”, либо “тройка”. Так произошло с Томасом Сговио, чье дело “расследовалось” чрезвычайно поверхностно. Он родился в Буффало, штат Нью-Йорк, и приехал в СССР в 1935-м как политэмигрант, поскольку его отца, американского коммуниста итальянского происхождения, за политическую деятельность выслали из США в Советский Союз. За три года, проведенные в Москве, Сговио постепенно разочаровался и решил отправиться домой, для чего попросил вернуть ему американское гражданство, от которого он отказался по приезде в СССР. 12 марта 1938 года, выйдя из американского посольства, он подвергся аресту.

Следственное дело Сговио, фотокопию которого он десятилетия спустя сделал в московском архиве и затем подарил Гуверовскому институту, невелико по объему, что соответствует его воспоминаниям о событиях. Имеется список того, что нашли при нем во время первого личного обыска: профсоюзная книжка, блокнот с адресами и телефонами, читательский билет библиотеки, лист бумаги “с надписями на иностранном языке”, семь фотографий, перочинный нож, конверт с заграничными марками и так далее. Есть бумага за подписью капитана госбезопасности Сорокина, где говорится, что подозреваемый вошел в посольство США 12 марта 1938 года. Есть показания свидетеля о том, что подозреваемый вышел из посольства в 13.15. Имеются также протоколы первоначального расследования и двух кратких допросов; на каждой странице — подписи Сговио и следователя. Первое заявление Сговио гласит: “Я хотел вер-

нуть себе американское гражданство. Три месяца назад я в первый раз пошел в посольство США и подал просьбу о возвращении гражданства. Сегодня я пошел опять. <...> Секретарша сказала мне, что сотрудник, который занимается моим делом, отлучился на обеденный перерыв, и посоветовала прийти через час или два”⁴⁹.

Последующие допросы большей частью состояли в том, что Сговио вновь и вновь заставляли рассказывать о подробностях своего визита в посольство. Только один раз от него потребовали: “Расскажите нам все о вашей шпионской деятельности!” Он ответил: “Вы знаете, что я не шпион”, и больше на него, судя по всему, особенно не давили, хотя допрашивающий с неопределенно-угрожающим видом поглаживал кусок резинового шланга, какими обычно избивали заключенных⁵⁰.

Хотя сотрудников НКВД дело Сговио не слишком интересовало, они, конечно же, не сомневались в его исходе. Несколько лет спустя, когда Сговио потребовал отмены приговора, прокуратура решила, что поскольку он не отрицает, что подал в посольство просьбу о возвращении гражданства, для пересмотра дела нет оснований. Признание Сговио в том, что он действительно был в посольстве и хотел покинуть СССР, “особое совещание” сочло достаточным основанием, чтобы приговорить его к пяти годам как “социально опасный элемент”. Его случай был рутинным. Захлестнутые потоком дел, следователи ограничились минимумом⁵¹.

Бывали случаи, когда людей сажали с еще меньшими основаниями и допрашивали еще поверхностней. Поскольку тот, кто попадал под подозрение, автоматически считался виновным, людей очень редко отпускали просто так — хоть какой-то срок, но давали. Советский еврей Леонид Финкельштейн, арестованный в конце 40-х, рассказал мне, что хотя правдоподобного обвинения в его адрес выдвинуть не смогли, ему все-таки дали сравнительно небольшой семилетний срок: о признании “органами” своей ошибки не могло быть и речи. С. Г. Дурасов вспоминает слова одного из следователей, которые вели его дело: “Мы без вины никого не берем. А если бы даже за тобой и не было вины, выпустить нельзя, будут говорить, без вины берут”⁵².

С другой стороны, когда у НКВД возникал интерес, в частности, когда интерес возникал лично у Сталина, отношение следователей к людям, взятым в ходе массовых арестов, могло мгновенно измениться от безразличного к злобному. В некоторых случаях от следователей требовали широкомасштабной фабрикация улик, как, например, в 1937 году при “вскрытии и ликвидации” того, что Николай Ежов в закрытом письме назвал “крупнейшей и, судя по всем данным, основной диверсионно-шпионской сетью польской разведки в СССР”⁵³. Если вялые допросы Сговио — одна крайность, то

массовая операция против этой якобы действовавшей в СССР польской шпионской сети — другая: людей допрашивали с единственной целью — выбить из них признание.

Начало операции положил оперативный приказ НКВД СССР № 00485, в определенном смысле ставший основой и для позднейших массовых арестов. В приказе были четко перечислены категории лиц, подлежащих аресту: все оставшиеся в СССР после войны 1920–1921 годов польские военнопленные; все перебежчики и политэмигранты из Польши; все бывшие члены польских “антисоветских” политических партий; “наиболее активная часть местных антисоветских националистических элементов польских районов”⁵⁴. На практике под подозрением оказались все живущие в СССР лица польского происхождения, а их было много, особенно в приграничных районах Украины и Белоруссии. Операция приняла такой размах, что польский консул в Киеве, описывая происходящее в секретном отчете, отмечал, что в некоторых населенных пунктах забирали не только всех поляков подряд, но и всех, от директора фабрики до крестьянина, чья фамилия была похожа на польскую⁵⁵.

Но арест — это только начало. Поскольку польская фамилия — еще не основание для того, чтобы дать человеку срок, приказ № 00485 предписывал региональным органам НКВД “одновременно с развертыванием операции по арестам вести следственную работу. Основной упор следствия сосредоточить на полном разоблачении организаторов и руководителей диверсионных групп с целью исчерпывающего выявления диверсионной сети”⁵⁶.

На практике, как и во многих других последующих “операциях” такого рода, это означало, что арестованные сами должны были под давлением предоставить “улики” против себя. Система была проста. Арестованного поляка спрашивали о его связях в “диверсионной сети”. Получив ответ, что он ни в какой “сети” не участвовал, его избивали или подвергали иным пыткам до тех пор, пока он не “вспоминал” то, что от него требовалось. Ежов, лично заинтересованный в успехе “операции”, присутствовал на некоторых пытках. Если заключенный подавал официальную жалобу на такое обращение, Ежов приказывал подчиненным не обращать на нее внимания и “продолжать в том же духе”. От признавшегося требовали назвать “сообщников”, после чего начинался новый цикл. Так “диверсионная сеть” росла и росла.

За два года в ходе так называемой “польской операции” было арестовано более 140 000 человек, что, по некоторым оценкам, составляет почти 10 процентов от общего числа репрессированных во время Большого террора. При этом пытки и принуждение к самооговору использовались настолько широко, что в 1939 году, когда власти ненадолго смягчили свою политику репрессий, НКВД про-

вел расследование допущенных в отношении поляков “ошибок”. Один подпавший под расследование сотрудник НКВД показал на допросе, что избивать подсудимых можно было без ограничений — никаких особых разрешений на это не требовалось. Тем, кто выражал разного рода сомнения, было прямо сказано, что “приказ согласован со Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б) и что нужно поляков громить вовсю”⁵⁷.

Хотя позднее Сталин раскритиковал “упрощенный порядок расследования”, есть данные о том, что он лично санкционировал применение подобных методов. В частности, в докладной записке, которую в 1947 году направил Сталину Виктор Абакумов, специально отмечается, что главная задача следователя — “добиться получения от него [арестованного] правдивых и откровенных показаний, имея в виду не только установление вины самого арестованного, но и разоблачение всех его преступных связей, а также лиц, направлявших его преступную деятельность и их вражеские замыслы”⁵⁸. Вопрос о пытках и избиениях Абакумов обходит стороной; однако он пишет, что следователь “изучает характер арестованного” и на этой основе решает, какой режим — легкий или строгий — к нему применить и как эффективнее употребить “метод убеждения с использованием религиозных убеждений арестованного, семейных и личных привязанностей, самолюбия, тщеславия и т. д. <...> Иногда для того чтобы перехитрить арестованного и создать у него впечатление, что органам МВД все известно о нем, следователь напоминает арестованному отдельные интимные подробности его личной жизни, пороки, которые он скрывает от окружающих и др”.

То, что советские “органы” придавали признанию вины столь большое значение, в прошлом объясняли по-разному, и этот вопрос по-прежнему обсуждается. Некоторые считают, что это шло с самого верха. Роман Бракман, автор неортодоксальной биографии Сталина “The Secret File of Joseph Stalin” (“Секретная папка Иосифа Сталина”), считает, что советский лидер страдал навязчивой идеей, заставлявшей его принуждать заключенных признаваться в преступлениях, которые совершал он сам. По версии Бракмана, Сталин до революции был агентом царской охранки, вследствие чего у него потом развилась потребность добиваться от других людей признаний в предательстве. Роберт Конквест тоже считает, что у Сталина была эта потребность, по крайней мере в отношении тех, кого он знал лично: “Сталину нужно было не только убивать старых противников, но и уничтожать их морально и политически”. Впрочем, это, конечно, относится лишь к единицам из миллионов арестованных.

Но потребность добиваться признательных показаний, судя по всему, испытывали и следователи. Возможно, признания давали им некое ощущение правомерности собственных действий: они помо-

гали им воспринимать безумие массовых произвольных арестов как нечто более гуманное или по крайней мере более законное. В операциях, подобных “польской”, признание, кроме того, давало “улики”, необходимые для новых арестов. И еще: советская политико-экономическая система была маниакально сосредоточена на постановке и решении задач, на выполнении плана, нормы, и признание служило конкретным “доказательством” успешно проведенного следствия. Конквест пишет: “Утвердилось представление о том, что признание вины — лучший из возможных результатов. Сотрудники НКВД, которые его добивались, считали передовиками, а отстающий сотрудник НКВД не мог рассчитывать на долголетие”⁵⁹.

Каков бы ни был источник сосредоточенности НКВД на признаниях, заключенный чаще всего не испытывал на себе в чистом виде ни той губительной целеустремленности, что видна в деле “польских диверсантов”, ни того безразличия, с каким отнеслись к Томасу Сговио. Обычно налицо была смесь того и другого. Чекисты крайне жестко требовали от подозреваемого порочащих сведений о нем самом и о его знакомых, и они же проявляли наплевательскую незаинтересованность в исходе дела.

Эта довольно-таки сюрреалистическая система просматривается уже в 20-е годы, когда до Большого террора было еще далеко, и после него она сохранялась достаточно долго. Еще в 1931 году следователь, который вел дело ученого Владимира Чернавина, обвиненного во вредительстве, угрожал ему расстрелом в случае, если он откажется дать признательные показания. Он же в другой момент пообещал Чернавину, если он сознается, “снисхождение”. Под конец он чуть ли не умолял Чернавина оговорить самого себя: “Я вам скажу прямо, ведь и нам, следователям, приходится часто врать, мало ли мы говорим такого, что в протокол заносить нельзя и чего мы сами никогда не подпишем”⁶⁰.

Когда результат имел большее значение, применялась пытка. До 1937 года избиения как таковые были, судя по всему, запрещены. Один бывший сотрудник ГУЛАГа утверждает, что в первой половине 30-х пытать заключенных, безусловно, не разрешалось⁶¹. Но стремление получить признания арестованных ведущих членов партии привело к тому, что было взято на вооружение физическое воздействие. По-видимому, это произошло в 1937-м. В 1956 году Никита Хрущев публично заявил: “Но как можно получить от человека признание в преступлениях, которых он не совершал? Только одним способом: применением физических методов воздействия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства. Так добывались мнимые «признания»”⁶².

Пытки в тот период применялись так широко и их использование так часто ставилось под сомнение, что в начале 1939-го Сталин на-

правил региональным руководителям НКВД шифровку, где говорилось, что “применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 г. с разрешения ЦК ВКП(б)”. Он разъяснял далее, что подобные методы допускаются “...в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков”.

С точки зрения Сталина, это вполне допустимый и гуманный метод, хотя порой, возможно, он применяется и к “случайно арестованным честным людям”. Этот зловещий документ, безусловно, показывает, что Сталин знал, какие приемы используются при допросах, и одобрял их использование⁶³.

Очень многие из тех, кто побывал под следствием в этот период, пишут, как их били руками и ногами, как им разбивали в кровь лицо, как повреждали внутренние органы. Евгений Гнедин вспоминал, что его одновременно били по голове два человека, один слева, другой справа, и что его затем избивали резиновыми дубинками. Это происходило в тюрьме Сухановке, в кабинете Берии, в его присутствии⁶⁴. Сотрудники НКВД, кроме того, применяли пытки, использовавшиеся в других странах и в другие эпохи: людей били по животу мешками с песком, им ломали конечности, их подвешивали со связанными за спиной руками и ногами⁶⁵. Одно из самых ужасающих описаний пыток принадлежит театральному режиссеру Всеволоду Мейерхольду, чья официальная жалоба Молотову сохранилась в архиве: “...меня здесь били, больного 65-летнего старика: клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой силой. В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные, чувствительные места ног лили крутой кипяток, и я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной, руками меня били *по лицу* размахами с высоты... <...> Конвоир, который вел меня однажды с такого допроса, спросил меня: “У тебя малярия?” — такую тело мое обнаружило способность к нервной дрожи. Когда я лег на койку и заснул, с тем чтобы через час опять идти на допрос, который длился перед этим восемнадцать часов, я проснулся, разбуженный своим стоном и тем, что меня подбрасывало на койке так, как это бывает с больными, погибающими от горячки”⁶⁶.

Хотя после 1939 года такие избиения формально были запрещены, это не всегда означало, что следствие велось более гуманными методами. И в 20-е, и в 30-е, и в 40-е годы сотни и сотни тысяч заключенных страдали не от непосредственного физического воздействия, а от

психологических мучений, на какие намекал Абакумов Сталину. Тех, кто упрямылся и отказывался сознаваться, могли, к примеру, лишиться прогулок, книг, им могли урезать питание. Их могли поместить в карцер, где было очень жарко или очень холодно, как, например, Хаву Волович, которую к тому же пытали бессонницей: “Этот первый тюремный холод я никогда не забуду. Я просто не умею, не в состоянии его описать. Меня морил сон и будил холод. Я вскакивала, бегала по камере, на ходу засыпая, ложились и опять вскакивала”⁶⁷.

Другим устраивали очные ставки. Евгению Гинзбург пришлось выслушать, как ее многолетняя подруга Наля, говоря “как по-писаному”, обвиняет ее в участии в подпольной троцкистской группе⁶⁸. На подследственных воздействовали угрозами в отношении их родных; некоторых после долгого пребывания в одиночке сажали в камеру со стукачом, которому они открывались. Женщин насиловали или запугивали угрозой насилия. Одна полячка вспоминала: “Вдруг без видимой причины мой следователь пришел в чрезвычайно игривое настроение. Он встал из-за стола, обошел его и сел на диван рядом со мной. Я поднялась и пошла выпить воды. Он двинулся за мной и встал у меня за спиной. Я аккуратно проскользнула мимо и вернулась на диван. Он опять уселся рядом. Я — опять выпить воды. Эти маневры длились часа два. Я чувствовала себя униженной и беспомощной...”⁶⁹.

С 20-х годов существовали и регулярно применялись иные, нежели избиение, формы физического воздействия. Чернавину в самом начале следствия пришлось испытать “стоянку” (в его случае, правда, она длилась недолго). Заключение должно было неподвижно стоять лицом к стене. Некоторым его сокамерникам пришлось куда тяжелее: “Гравер Н., человек более пятидесяти лет, полный, даже грузный, простоял таким образом несколько суток. Есть, пить и спать не давали; в уборную водили раз в день. Он ни в чем не «сознался» и после этого. В камеру он уже не мог подняться сам, и его стража тащила по лестницам. <...> Ремесленник В., лет тридцати пяти, у которого одна нога была отнята выше колена и заменена протезом, простоял четверо суток и тоже не «признался»”⁷⁰.

Гораздо чаще, однако, заключенным просто-напросто не давали спать. Эта не самая страшная, на первый взгляд, форма пытки называлась у заключенных “конвейер”. На “конвейер”, судя по всему, не требовалось предварительного разрешения от начальства, и он мог продолжаться много дней и даже недель. Поступали просто: ночью подследственного допрашивали, а днем спать не разрешали. Надзиратели постоянно его будили, угрожая за “нарушение режима” карцером или более тяжким наказанием. Один из самых ярких рассказов о “конвейере” и его воздействии на человека оставил Александр Долган — американец, прошедший ГУЛАГ. Весь первый месяц в

Лефортове он практически был лишен сна: “Теперь мне кажется, что и часа не удавалось урвать, в некоторые ночи я спал всего несколько минут”. В результате его мозг начал вести себя странно: “Вдруг оказывалось, что я ничего не помню о предыдущих нескольких минутах. Провалы памяти. Полная пустота...”

Потом я, конечно, стал пробовать спать сидя. Попытка приучить тело оставаться в вертикальном положении. Я думал: если получится, я смогу хоть по несколько минут спать тайком от надзирателя, заглядывающего в глазок.

Так я и делал — забывался то на десять минут, то на полчаса, изредка чуть подольше, если Сидоров кончал допрос раньше шести утра и надзиратели оставляли меня в покое до пробуждения. Но этого было мало. Слишком долго все тянулось. Я чувствовал, что с каждым днем сдаю, теряю силы, становлюсь все менее дисциплинированным. Я чуть ли не больше — нет, и вправду больше, чем умереть, боялся сойти с ума...”

Долган не “сознавался” много месяцев, что составляло предмет его гордости на протяжении всего лагерного срока. Но когда, спустя еще много месяцев, его вернули в Москву из лагеря в Дзержинске и опять стали избивать, он подписал, что от него требовали, думая: “Какого черта... Все равно я у них в руках. Надо было давно это сделать, и не было бы всех этих мучений”⁷¹.

Подписывать или нет? Этот вопрос задавали себе многие и отвечали на него по-разному. Некоторые — довольно большой процент тех, кто написал воспоминания, — держались или из принципа, или ошибочно полагая, что так удастся добиться оправдания. “Лучше умру, чем оклеветашу себя, а тем более других”, — сказал следователю генерал Горбатов, терпя пытки (в чем они состояли, он не пишет). Многие, как указывают Солженицын, Горбатов и другие, считали, что смехотворно будто обстоятельное “признание” будет способствовать созданию атмосферы абсурда, на которую сами органы НКВД в конце концов должны будут обратить внимание. Горбатов писал о своих сокамерниках: “Произвели они на меня впечатление культурных и серьезных людей. Однако я пришел в ужас, когда узнал, что все они уже подписали на допросах у следователей несусветную чепуху, признаваясь в мнимых преступлениях за себя и за других. <...> Некоторые придерживались странной “теории”: чем больше посадят, тем лучше, потому что скорее поймут, что все это вреднейший для партии вздор”⁷².

Но не все считали, что подписавших есть в чем винить. Лев Разгон в мемуарах отвечает Горбатову, называя его высказывания выскомерными и безнравственными:

“Мне кажется, что подло винить в этом не палачей, а жертвы. Горбатову просто повезло: у него был ленивый следователь или же

такой, который не получил категорическое указание “дожать” подследственного. Вопрос о том, можно ли пыткой вынудить подписать на себя лживое показание, достаточно сейчас исследован врачами, психологами и психиатрами. В нашем веке материала для подобных исследований было намного больше, чем в средние века. Можно вынудить!”⁷³

Люди и сейчас по-разному отвечают на вопрос, стоило ли упорствовать. Сусанна Печуро, которая была под следствием более года (она участвовала в крохотной молодежной антисталинской организации, что было чистым донкихотством), сказала в интервью, что упорствовать не стоило. Этим люди просто продлевали следствие, и в конце концов им все равно выносили приговор.

Однако дело Сговио ясно показывает, что последующие решения (о досрочном освобождении, об амнистии и т. д.) принимались с учетом того, что имелось в деле заключенного, включая признание. Иными словами, если тебе удавалось продержаться, появлялся хоть маленький, но шанс на отмену или смягчение приговора. Вплоть до 50-х годов ко всем этим “юридическим” формальностям, сколь бы сюрреалистическими они ни выглядели, подходили серьезно.

В конечном счете самым важным результатом следствия было его психологическое воздействие на заключенного. Еще до длительного этапа на восток, еще до первого появления в лагере он был в некотором смысле “подготовлен” к новой жизни в качестве раба. Он уже знал, что лишен обычных человеческих прав, включая право на честное разбирательство и честный суд. Он уже знал, что власть НКВД абсолютна, что он может быть уничтожен в любой момент. Если он сознался в преступлении, которого не совершал, это сильно снижало его самооценку. Но даже если не сознался, у него все равно не оставалось и тени надежды на то, что “ошибка”, которая привела к его аресту, скоро будет исправлена.

Глава 8 Тюрьма

*Быть может, старая тюрьма центральная
Меня, несчастного, по новой ждет.*

Из воровской песни

Арест и допросы лишали человека сил, подавляли его волю, отнимали у него способность разумно мыслить. Но и сама советская тюремная система, в которой заключенный находился до и в ходе следствия, а часто и долгое время после его окончания, оказывала огромное воздействие на его душевное состояние.

Если взглянуть на советские тюрьмы и советский тюремный режим в международном плане, то в них не было ничего из ряда вон выходящего по части жестокости. Разумеется, заключенным в них приходилось хуже, чем в большинстве западных тюрем, и хуже, чем в царских тюрьмах. С другой стороны, тюрьмы Китая и других стран третьего мира в середине XX века тоже были местами чрезвычайно неприятными. Тем не менее в советской тюремной жизни были черты, присущие только ей. Некоторые стороны повседневного тюремного режима, например порядок допроса, кажется, нарочно были придуманы с тем, чтобы подготовить заключенного к новой жизни в ГУЛАГе.

Отношение властей к тюрьмам, конечно же, отражало смену приоритетов у лагерного руководства. Например, в августе 1935-го, когда волна политических арестов начала набирать силу, Генрих Ягода издал приказ, из которого становится ясно, что главная “цель” ареста (если, конечно, подобный арест имеет “цель” в сколько-нибудь нормальном смысле) — удовлетворение все более неистовой потребности в признании вины. Приказ Ягоды ставит не только “привилегии” заключенного, но и основные условия его жизни в тюрьме в прямую зависимость от воли расследующих его дело сотрудников НКВД. Если арестант сотрудничал со следствием (что обычно означало признание), то ему разрешали получать письма, продуктовые посылки, газеты и книги. Он имел право на одно свидание в месяц и на ежедневную часовую прогулку. Если он упрямился, его могли всего этого лишиться, и вдобавок ему могли урезать паек¹.

Однако в 1942 году, после возвышения Берии, пообещавшего превратить ГУЛАГ в эффективную экономическую машину, приоритеты Москвы несколько изменились. Лагеря становились важной состав-

ной частью военного производства, и лагерные начальники часто жаловались, что многие заключенные, которых к ним привозят, совершенно не годны к работе. Изголодавшиеся, грязные, долгое время лишённые физической нагрузки, они были не в состоянии выполнять нормы в угольных шахтах или на лесоповале. Поэтому в мае 1942-го Берия потребовал от тюремного начальства обеспечивать “элементарные санитарные условия” и ограничил право следователя воздействовать на повседневную жизнь заключенных.

Согласно новому приказу Берии, заключенных надлежало выводить на прогулку не менее чем на час (что примечательно, за исключением приговоренных к высшей мере, чье состояние здоровья не влияло на производственные показатели НКВД). Тюремное начальство обязано было выделить для прогулок специальные дворы и площадки. “Ослабленным заключенных и стариков выводить на прогулки с помощью сокамерников. <...> Ни одного заключенного в камере на время прогулки не оставлять”. Надзиратели должны были обеспечить заключенным (за исключением вызванных на неотложный допрос и на этап) возможность восьмичасового сна, страдающим поносом полагалось витаминное и диетическое питание, негодные параша подлежали замене или ремонту. Приказом даже определялся размер параша. В мужской камере ее высота должна была составлять 55–60 см, в женской — 30–35 см. Объем — как минимум 0,75 литра на человека².

Несмотря на эти до смешного детальные правила, тюрьмы по-прежнему очень сильно различались между собой. В какой-то мере эти различия диктовались расположением. В провинциальных тюрьмах, как правило, было грязнее и вольготнее, московские отличались большей чистотой и строгостью. Но даже три главные московские тюрьмы были неодинаковы. Печально знаменитая Лубянка, которая по-прежнему доминирует на большой площади в центре Москвы и служит штаб-квартирой ФСБ — преемницы НКВД и КГБ, — использовалась для приема и допроса самых важных политических “преступников”. Камер там было немного: один документ 1956 года говорит о 118, и 94 из них были очень маленькие, вмещавшие от одного до четырех человек³. В прошлом здание принадлежало страховой компании, и в некоторых камерах Лубянки были паркетные полы, которые заключенным приходилось мыть каждый день. Анархистка А. М. Гарасева, которая позднее была секретарем у Солженицына, попала на Лубянку в 1926 году. Она вспоминала, что еду там разносила “официантка в белом фартучке и кружевной наkolке”⁴.

Тюрьма в Лефортове, тоже следственная, в XIX веке была военной тюрьмой. Ее камеры, изначально не предназначенные для большого числа заключенных, были темнее и грязнее, и там было очень тесно. Здание тюрьмы напоминает по форме букву К, и, как пишет в

воспоминаниях Дмитрий Панин, “на первом этаже, в центре, где скрещиваются коридоры, стоит тюремщик с флажком и регулирует движение арестованных, которых ведут на следствие”⁵. В конце 30-х Лефортово было настолько переполнено, что НКВД открыл “филиал” в бывшем монастыре в подмосковном Суханове. Защищенная как “объект 110”, Сухановка имела страшную репутацию из-за тамошних пыток. Там “не было никаких правил внутреннего распорядка и никаких определенных правил ведения следствия”⁶. У Берии там был кабинет, и людей иногда пытали в его присутствии⁷.

Старейшая из трех тюрем — Бутырская — была построена в XVIII веке и спроектирована как дворец, но ее быстро переоборудовали в тюрьму. В царское время одним из ее самых известных заключенных был Феликс Дзержинский; помимо него, там сидели и другие польские и русские революционеры⁸. В Бутырках в основном держали тех, кто ждал этапа по окончании следствия. Здесь тоже царил теснота и грязь, но режим был более свободный. Гарасева пишет, что если на Лубянке надзиратели во время прогулки заставляли заключенного ходить по кругу, то в Бутырках можно было делать что тебе вздумается. Как и другие, она вспоминает превосходную тюремную библиотеку, состоявшую из книг, оставленных поколениями заключенных⁹.

Тюрьмы, кроме того, менялись от эпохи к эпохе. В начале 30-х годов многих приговаривали к месяцам и даже годам одиночной камеры. Борис Четвериков, просидевший в одиночке шестнадцать месяцев, не сошел с ума благодаря тому, что придумывал себе занятия: стирал свою одежду, мыл пол, стены, вполголоса пел песни и оперные арии¹⁰. Александру Долгану, которого держали в одиночке во время следствия, сохранить присутствие духа помогла ходьба: он вычислил, сколько шагов составляют километр, и “двинулся в путь” — сначала по Москве в американское посольство (“Я дышал чистым, холодным воображаемым воздухом и запахивал воротник”), затем через всю Европу и, наконец, через Атлантику домой, в Соединенные Штаты¹¹.

Евгения Гинзбург почти два года провела в ярославской тюрьме, причем немалую часть этого срока — в одиночке: “Я до сих пор, закрыв глаза, могу себе представить малейшую выпуклость или царапину на этих стенах, выкрашенных до половины излюбленным тюремным цветом — багово-красным, а сверху — грязно-белесым”. Но даже эта “спецтюрьма” начала “трещать по швам” и Гинзбург дали сокамерницу. В конце концов большинство “тюрзаков” перевели в лагерь. Как пишет Гинзбург, “у тех, кто вдохновлял и осуществлял акцию тридцать седьмого года, просто не было времени и возможности выдерживать такую массу народа по 20 и по 10 лет в крепостях. Это вошло в противоречие с темпами эпохи, с ее экономикой”¹².

В 40-е годы, когда аресты стали еще более массовыми, трудно было изолировать кого бы то ни было, даже вновь поступивших и даже на несколько часов. В 1947-м Леонида Финкельштейна после ареста поместили в “вокзал” — “громкую общую камеру без всяких удобств, куда первоначально кидали всех арестованных. Потом их постепенно сортировали, отправляли в баню и распределяли по камерам”. Неимоверная теснота была гораздо более обычным явлением, чем одиночное заключение. Выбираю примеры наугад: в главной городской тюрьме Архангельска, рассчитанной на 740 человек, в 1941 году содержалось от 1661 до 2380 арестантов. В котлаской тюрьме, рассчитанной на 300 заключенных, их было до 460¹³.

В более отдаленных районах страны положение могло быть еще хуже. В 1940 году в рассчитанной на 472 человека тюрьме города Станислава в недавно оккупированной восточной Польше сидело 1709 заключенных и было всего 150 комплектов постельного белья¹⁴. В феврале 1941-го в тюрьмах Татарской АССР при расчетном количестве заключенных 2710 их было 6353. В мае 1942-го население тюрем Ташкента при формальной емкости в 960 человек составляло 2754¹⁵. От такой тесноты больше всего страдали подследственные, которые по ночам подвергались жестоким изматывающим допросам, а дни должны были проводить среди множества других заключенных. Поэт Н. Заболоцкий писал: “Весь этот процесс разложения человека проходил на глазах у всей камеры. Человек не мог здесь уединиться ни на миг, и даже свою нужду отправлял он в открытой уборной, находившейся тут же. Тот, кто хотел плакать, — плакал при всех, и чувство естественного стыда удесятерило его муки. Тот, кто хотел покончить с собою, ночью, — под одеялом, сжав зубы, осколком стекла пытался вскрыть вены на руке, но чей-либо бессонный взор быстро обнаруживал самоубийцу, и товарищи обезоруживали его”¹⁶.

О тесноте, порождавшей у заключенных взаимное озлобление, писала и Маргарете Бубер-Нойман. Заключенных будили в половине пятого утра, после чего “...камера становилась похожа на растревоженный муравейник. Все хватало умывальные принадлежности и старались по возможности протиснуться в числе первых, потому что умывальная комната была, конечно же, не приспособлена для такого числа людей. Там было пять отверстий в полу и десять кранов, и у каждого отверстия и крана мгновенно выстраивалась очередь. Представьте себе утреннее посещение уборной на глазах у по меньшей мере дюжины других женщин, которые кричат на тебя, торопят...”¹⁷.

На эту тесноту, конечно же, обращали внимание и тюремные власти, старавшиеся подавить всякий намек на солидарность заключенных. Уже в 1935 году по приказу Ягоды заключенным было запреще-

но разговаривать, кричать, петь, писать на стенах камеры, оставлять где-либо знаки и пометки, стоять у окон и пытаться вступить в общение с арестантами в других камерах. Нарушителям этих правил грозило лишение прогулок и писем, даже помещение в карцер¹⁸. Сидевшие в советских тюрьмах в 30-е годы часто отмечают вынужденную тишину: “Ни одна не говорила в полный голос, а некоторые изъяснялись знаками”, — писала Бубер-Нойман о Бутырках, где “женщины сидели полуголые, и от долгого пребывания без света и воздуха кожа у большинства приобрела особый серо-голубой оттенок”¹⁹.

В некоторых тюрьмах запрет на громкие разговоры оставался в силе и в следующем десятилетии, в других он был снят: один бывший заключенный вспоминает о “тишине” Лубянки в 1949-м, после которой “камера № 106 Бутырок поражала так, как поражает базар после мелочной лавочки”²⁰. Н. Гранкина вспоминает о казанской тюрьме: “Мы стали шептаться. Опять откинулась “кормушка”*: «Тише!»”²¹.

Многие мемуаристы вспоминают, как конвоиры, переводя заключенного из камеры в камеру или доставляя его на допрос, звенели ключами, щелкали пальцами или издавали другие условные звуки, чтобы предупредить других конвоиров дальше по коридору. Если двоих арестантов вели навстречу друг другу, одного быстро уводили в другой коридор или ставили в особую закрытую нишу. Переводчик испанской литературы В. К. Ясный однажды простоял в таком “конверте” на Лубянке два с половиной часа²². Подобные шкафы, видимо, использовались довольно широко: в подвале бывшей штаб-квартиры “органов” в Будапеште, ныне превращенной в музей, есть такой шкаф. Цель — предотвратить встречи заключенных с поделщиками или с родственниками, которые тоже могли быть под арестом.

Из-за глухой тишины уже сам переход в комнату для допросов действовал на заключенного подавляюще. Александр Долган так описывает ходьбу по коврам, устилавшим полы в коридорах Лубянки: “Пока мы шли, не было слышно ни звука — только щелкал языком охранник. <...> Железные двери были выкрашены в серый цвет, серый с голубоватым оттенком, и полумрак, тишина и одинаковые серые двери вдоль всего коридора, в конце его сливающиеся с темнотой, — все это угнетало и лишало присутствия духа”²³.

Чтобы заключенные не знали, кто сидит в соседних камерах, людей вызывали на допрос или на этап не по фамилиям, а по их первым буквам: “Чья тут фамилия на букву «Г»?”²⁴.

Как и в большинстве тюрем по всему миру, порядок поддерживался посредством жесткой регламентации повседневной жизни.

* “Кормушка” — маленькая дверца в двери камеры. — *Прим. перев.*

Заяра Веселая, дочь писателя и “врага народа” Артема Веселого, описывает типичный день на Лубянке. “Приготовиться к opravке!” — кричал надзиратель, и женщины молча выстраивались парами перед дверью уборной. Там у них было десять минут, за которые они успевали, помимо прочего, умыться и кое-что постирать (хотя стирать было запрещено). Затем — завтрак: “кружка горячей коричневой воды — то ли чай, то ли кофе”, пайка хлеба, два-три кусочка сахара. Затем — обход надзирателя, к которому можно было обратиться с просьбой (например, сказать, что тебе нужно к врачу). Затем — “центральное событие дня”: двадцатиминутная прогулка. “Гуляли в небольшом глухом дворе, ходили по стеночке, кругами, в затылок друг другу”. Однажды этот порядок почему-то был нарушен. Вечером, после отбоя, Веселую и ее сокамерниц вывели на крышу. Московских улиц оттуда видно не было, но по крайней мере можно было увидеть городские огни, светившие словно из другой страны²⁵.

Остальная часть дня проходила однообразно: на обед — тюремная баланда с потрохами, крупой и подгнившей капустой, на ужин — та же баланда. Вечером — еще одна opravка. В промежутке заключенные вполголоса разговаривали, иногда читали. Веселая вспоминает, что ей выдавали одну книгу на неделю, но правила в разных тюрьмах были разные (как и качество библиотек, которые, как я уже писала, кое-где были превосходными). В некоторых тюрьмах заключенные, которым родственники посылали деньги, могли покупать еду в ларьке.

Помимо скуки и плохого питания, людей изводило и другое. Всем заключенным (не только подследственным) запрещалось спать днем. Надзиратели постоянно за этим следили, заглядывая в камеры через глазки. Любовь Бершадская вспоминает: “Подъем в шесть часов утра — и до одиннадцати вечера нельзя садиться на кровать, можно либо ходить, либо сидеть на табуретке, не облокачиваясь ни на стол, ни на стену”²⁶.

Ночью было не лучше. Спать мешал никогда не выключавшийся яркий свет; кроме того, заключенным запрещалось держать руки под одеялом. Веселая пишет: “Всякий раз с вечера я добросовестно выпрастывала руки наружу. Неудобно, неуютно — никак не заснешь. <...> Но стоило задремать, как я непроизвольно натягивала одеяло на плечи. Скрежетал замок, надзиратель тряс мою кровать: «Руки!»”²⁷. Бубер-Нойман: “Пока не привыкнешь, ночью хуже, чем днем. Попробуйте уснуть под режущим электрическим светом (лица закрывать не разрешалось) на голых досках без подушки и даже без соломенного матраса, а порой и без одеяла, когда с обеих сторон к тебе прижаты бока сокамерниц”.

Возможно, самым эффективным средством для того, чтобы заключенный не чувствовал себя в камере слишком уютно, было при-

сутствие там стукачей, которыми советская жизнь была богата на всех уровнях. Они играли важную роль и в лагерях, но там все же легче было укрыться от их внимания. В тюрьме уйти от них было куда, и приходилось взвешивать каждое слово. Бубер-Нойман пишет, что, за одним исключением, она “за все время пребывания в Бутырках не слышала от русских заключенных ни одного критического слова в адрес советского режима”²⁸.

Считалось, что в камере всегда есть хоть один стукач. Если сидело двое, каждый подозревал другого. В больших камерах стукачей иногда “вычисляли” и старались избегать. Когда Ольга Адамова-Слиозберг попала в Бутырскую тюрьму, она увидела на нарах у окна свободное место. Она спросила у сокамерницы, можно ли там лечь. “Ну что же, ложитесь, но только соседка там не очень хорошая”, — ответили ей. Оказалось, что соседка “пишет заявления на всех в камере, и с ней никто не разговаривает”.

Не всех стукачей легко было выявить, и паранойя была так сильна, что любая необычная черта могла вызвать подозрение и враждебность. Адамова-Слиозберг, увидев, как сокамерница “моется заграничной губкой и надевает какое-то необыкновенное белье”, решила, что она шпионка. Позднее стало ясно, что это не так, и они подружились²⁹. Варлам Шаламов писал: “Прийти в другую камеру переведенным, а не с “воли” — не очень приятно. Это всегда вызывает подозрение, настроенность новых товарищей — не доносчик ли это?”³⁰

Несомненно, система была жестокой, застенчивой и бесчеловечной. И тем не менее заключенные как могли боролись со скукой, с постоянными большими и малыми унижениями, с попытками начальства превратить их в отдельные “атомы”. Бывшие заключенные не раз отмечали, что в тюрьмах арестантская солидарность проявлялась сильнее, чем в лагерях, где администрации легче было “разделять и властвовать”. Между лагерниками можно было посеять взаимное отчуждение, соблазняя некоторых из них более высоким положением в лагерной иерархии, лучшим питанием и более легкой работой.

В тюрьме же все были более или менее равны. Хотя начальство и здесь пыталось привлечь кое-кого к сотрудничеству, таких случаев было меньше, чем в лагере. Для многих заключенных дни и месяцы в тюрьме перед этапом даже стали своего рода первоначальным курсом техники выживания и, вопреки всем усилиям администрации, первым опытом совместного противостояния власти.

Некоторые просто перенимали у сокамерников элементарные приемы гигиены и способы сохранить личное достоинство. Инне Шихеевой-Гайстер сразу же показали, как сделать пуговицы из жеваного хлебного мякиша (иначе спадала одежда), как надергать ниток, как смастерить из рыбной косточки иголку. Эти и подобные им

навыки были полезны и позднее — в лагерях³¹. Дмитрий Быстролетов, бывший советский разведчик на Западе, научился делать нитки из старых носков: носки распускают, а затем нитки полируют куском мыла. Эти нитки и шилья, изготовленные из спичек, можно было обменивать на еду и папиросы³². Молодая антисталинистка Сусанна Печуро научилась в камере многому: “спать, чтобы не замечали, шить с помощью палочки от веника, обходиться без резинок, без поясов, пуговиц...”.

Налаживать, насколько возможно, жизнь помогало заключенным и наличие старост. С одной стороны, в тюрьмах, железнодорожных вагонах и лагерных бараках староста был официально признанной фигурой, чьи обязанности были перечислены в документах. С другой стороны, многообразие его функций — от поддержания чистоты в камере до обеспечения порядка при движении на “оправку” — требовало, чтобы его власть была признана всеми³³. Поэтому стукачи и прочие любимчики администрации, как правило, не были лучшими кандидатами. Александр Вайсберг писал, что в больших камерах, вмещавших 200 и более заключенных, “нормальная жизнь была бы невозможна без старшего по камере, ведающего раздачей пищи, прогулками и т. п.”. Однако, поскольку начальство отказывалось признавать какие бы то ни было организации заключенных (“логика была проста: организация контрреволюционеров — это контрреволюционная организация”), ему пришлось, пишет Вайсберг, принять классическое советское решение. Узнав через стукачей, кого заключенные выбрали “нелегально”, администрация официально назначила этого человека старостой³⁴.

В переполненных камерах главной задачей старосты было встречать новых заключенных и отводить им место для сна. Как правило, новичок должен был спать около параша; затем, постепенно повышая свой статус, он перемещался в сторону окна. “Для больших и престарелых, — пишет Элинор Липпер, — исключений не делали”³⁵. Староста разрешал конфликты и поддерживал в камере общий порядок, что было отнюдь не просто. Поляк Казимеж Зарод, который был старостой камеры, вспоминал: “Надзиратели постоянно грозились наказать меня, если я не буду держать под контролем недисциплинированных, особенно после девяти вечера, когда запрещались разговоры”. В конце концов за неспособность навести порядок Зарод был посажен в карцер³⁶. На основании других источников, однако, складывается впечатление, что обычно приказы старост выполнялись.

Несомненно, больше всего смекалки заключенные потратили на то, чтобы обойти самое строгое из правил — запрет на сообщение между камерами и с окружающим миром. Несмотря на риск серьез-

ного наказания, арестанты оставляли друг для друга записки, например, в уборных. Леонид Финкельштейн попытался передать в другую камеру кусок мяса, помидор и хлеб: “Когда нас отвели в уборную, я попробовал открыть окно и протолкнуть в него еду”. Его поймали за этим занятием и отправили в карцер. Иногда заключенные передавали послания через подкупленных охранников; случалось даже, что подкупать и не надо было. Надзирательница ставропольской тюрьмы время от времени передавала Льву Разгону устные сообщения от его жены³⁷.

В 1939 году, когда Вильнюс, находившийся тогда под польским управлением, был оккупирован Советским Союзом*, один бывший заключенный, который четырнадцать месяцев просидел в городской тюрьме, представил польскому правительству в изгнании свидетельство о постепенной замене польского тюремного режима советским. Одну за другой заключенные теряли свои “привилегии”: право на переписку, на книги из тюремной библиотеки, на пользование карандашом и бумагой, на продуктовые посылки. Вводились новые правила, обычные для большинства советских тюрем: в камерах всю ночь горел свет, окна поверх решетки были забраны металлическими листами. Неожиданно последнее новшество создало возможность сообщения между камерами: “Я открыл окно, прижался лицом к решетке и заговорил с соседями. Даже если часовой во дворе услышал, он не мог понять, откуда доносится голос: благодаря жестяному листу не видно было, какое окно открыто”³⁸.

Но, пожалуй, самой изощренной формой запретного общения было перестукивание, для которого изобрели подобие азбуки Морзе. Стучали по стенам камер или по трубам. Шифр был придуман еще в царские времена; Варлам Шаламов приписывает его изобретение одному из декабристов³⁹. Екатерина Олицкая узнала “азбуку” от соратников-эсеров задолго до своего ареста в 1924 году⁴⁰. Евгения Гинзбург прочитала о ней в мемуарах Веры Фигнер. Находясь под следствием, она припомнила ее в достаточной мере, чтобы установить связь с соседней камерой⁴¹. “Азбука” была довольно проста. Буквы русского алфавита располагались в пять строк по шесть штук:

А	Б	В	Г	Д	Е(Ё)
Ж	З	И	К	Л	М
Н	О	П	Р	С	Т
У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Щ	Ъ	Ы	Э	Ю	Я

* В соответствии с Пактом о ненападении, заключенным между СССР и Германией 23 августа 1939 года. — *Прим. ред.*

Каждая буква кодировалась двумя сериями стуков, из которых первая означала номер строки, вторая — положение буквы в строке:

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6

Даже тех, кто не знал шифра, иногда удавалось научить ему через стенку. Раз за разом выстукивали алфавит и один-два простых вопроса в надежде, что на той стороне в конце концов сообразят, что к чему. Так в Лефортове выучил “азбуку” и запомнил ее с помощью спичек Александр Долган. Когда он наконец научился “разговаривать” с соседом и понял, что тот все время спрашивает его “Кто ты?”, он почувствовал “прилив чистой любви к человеку, который три месяца спрашивал меня, кто я такой”⁴².

Шифр не всегда был широко распространен. В 1949 году Заяра Веселая не смогла найти в Бутырках никого, кто знал бы его, и решила, что традиция умерла. Позднее она пришла к выводу, что ошибалась: во-первых, другие говорили ей, что пользовались “азбукой” в то время, во-вторых, в ее камеру однажды, услышав стук, ворвался надзиратель, желая знать источник⁴³. Были и другие схемы перестукивания. Одну из них, тоже основанную на порядке букв алфавита, по словам писателя и поэта Анатолия Жигулина, он изобрел сам и использовал, когда с группой друзей находился под следствием (все были арестованы одновременно)⁴⁴.

Иногда возникали более сложные формы самоорганизации заключенных. Одну из них описал в рассказе “Комбеды” Варлам Шаламов, упоминают о ней и другие⁴⁵. Ее источником послужила несправедливость: в какой-то момент в конце 30-х годов начальство вдруг запретило подследственным получать посылки от родственников на том основании, что, “оперируя двумя французскими булками, пятью яблоками и парой старых штанов, можно сообщить в тюрьму любой текст”. Можно было присылать только деньги, причем так, чтобы сумма составляла круглую цифру и не могла использоваться для передачи сообщения. Но не всем родные могли прислать деньги. У кого-то они были слишком бедны, у кого-то жили слишком далеко. Были и такие, кто отрекся от арестованных родственников. Поэтому тогда как одни заключенные раз в неделю могли покупать в тюремном ларьке масло, сыр, колбасу, табак, белый хлеб, папиросы, другие должны были довольствоваться скудным тюремным рационом и, что еще важнее, чувствовали себя “лишними на этом общем празднике”, каким являлся день “лавочки”.

Чтобы решить эту проблему, заключенные Бутырок воскресили выражение, бытовавшее в первые годы революции, и создали “комбеды” — комитеты бедноты. Каждый вносил в кассу комитета 10 процентов своих денег, что давало неимущим возможность покупать себе еду. Система действовала несколько лет; затем начальство решило ликвидировать комитеты и пообещало заключенным за отказ в них участвовать свою “полную поддержку”. Камеры не сдавались, и отказывающихся подвергали бойкоту. Кто, спрашивает Шаламов, “рискнет противопоставить себя тюремному коллективу — людям, которые с тобой двадцать четыре часа в сутки, и только сон спасает тебя от недружелюбных, враждебных взглядов товарищей?”.

Что любопытно, этот рассказ — один из немногих в довольно обширном наследии Шаламова, который кончается на оптимистической ноте: “...человеческий коллектив, сплоченный, как это всегда бывает в тюрьме, в отличие от “воли” и лагеря, при полном бесправии своем, находит точку приложения своих духовных сил для настойчивого утверждения извечного человеческого права жить по-своему”⁴⁶.

Писатель, чье творчество окрашено в чрезвычайно мрачные тона, увидел в этой специфической форме тюремной солидарности проблеск надежды. Такую надежду могли вдребезги разбить ужасы этапа и первых лагерных дней.

Глава 9

Этап, прибытие, сортировка

*Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.*

*Над морем сгущался туман,
Стонала стихия морская.
Нам путь предстоял в Магадан —
Столицу Колымского края.*

*От качки страдали з/к,
Обнявшись, как родные братья.
Нередко у них с языка
Срывались глухие проклятья.*

*Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался.
Прощай навсегда, материк!
Ревел пароход, задыхался...*

Песня советских заключенных

В 1827 году княгиня Мария Волконская, жена декабриста Сергея Волконского, оставила родных, ребенка, спокойную жизнь в Санкт-Петербурге и отправилась к мужу в Сибирь. Вот как биограф описывает ее путешествие, считавшееся в то время почти невыносимо трудным: “День за днем сани мчались к бескрайнему горизонту. Мария, пребывавшая словно вне времени, испытывала лихорадочный подъем. Путешествие казалось каким-то нереальным — сказывался недостаток сна и еды. Остановливались только на почтовых станциях, где она грелась горячим чаем с лимоном из вездесущего самовара. Сани, запряженные резвой тройкой, неслись с опьяняющей быстротой. “Живей!.. А ну живей!” — покрикивал ямщик, и снег летел из-под конских копыт, и без усталости звенели колокольчики...”¹.

Столетие спустя сокамерница Евгении Гинзбург, читая поэмы Некрасова о путешествии жен декабристов за Урал, завистливо вздыхала: “Всю жизнь считала, что декабристки — непревзойденные страдальцы. <...> Попробовали бы они в столыпинском вагоне”².

Не “резвые тройки” везли заключенных XX века через сибирские снега, и никто не подавал им горячий чай с лимоном. Княгиня Волконская, вполне возможно, лила в пути слезы, но у арестантов советской эпохи при слове “этап” пересыхало в горле от страха, доходя-

шего до ужаса. Отправка в лагерь была мучительным прыжком в неизвестность, расставанием с соседями по камере и привычной обстановкой, сколь бы убогой она ни была. Хуже того: переезд заключенных из обычной тюрьмы в пересыльную, из пересыльной тюрьмы в лагерь и между лагерями сопровождался физическими страданиями и откровенной жестокостью. В некоторых отношениях это была часть жизни ГУЛАГа, которую наиболее трудно описать.

Для тех, кто испытывал эти муки впервые, событие было насыщено символикой. Арест и следствие были своего рода инициацией, вхождением в систему; железнодорожное путешествие через всю Россию означало географический разрыв с прошлой жизнью и начало новой. В эшелонах, двигавшихся из Москвы и Ленинграда на север и восток, чувства всегда били через край. Американец Томас Сговиво, пытавшийся вернуть себе гражданство, вспоминал поездку на Колыму: “Поезд отправился из Москвы вечером 24 июня. Это было началом путешествия на восток, продлившегося целый месяц. Я никогда не забуду эту минуту. Семьдесят мужчин <...> заплакали”³.

Длительные этапы, как правило, сопровождалась пересадками. Эзков, сидевших в больших городских тюрьмах, доставляли к поезду машинами, сам вид которых говорил о владевшей органами НКВД навязчивой идее секретности. Снаружи эти “черные вороны” выглядели обычными грузовиками с крытыми кузовами, на которых в 30-е годы часто писали: “Хлеб”. Позднее чекисты проявляли больше фантазии. Людмила Хачатрян, арестованная в 1948 году, вспоминала надписи: “Московские котлеты” и “Овощи — фрукты”.

“Внутри машина разделена на крошечные, абсолютно темные клетки — кабинки. В каждую заталкивается человек. Дышать нечем”⁴. В одной “модели” 1951 года были не кабинки, а две длинные скамьи, на которых теснились заключенные⁵. Крестьянам и жертвам первых массовых депортаций из Прибалтики и восточной Польши приходилось тяжелее. Их часто сажали в обычные грузовики, где, как сказал мне один пожилой литовец, люди были “как сельди в бочке”: первый садился, раздвигал ноги, второй садился у него между ног, сам раздвигал ноги, и так далее до заполнения кузова⁶. Это было особенно мучительно, когда людей забирали в разных местах, и поездка к железнодорожной станции затягивалась на целый день. Во время депортаций с бывших польских территорий в феврале 1940 года дети замерзали в машинах насмерть, а взрослые получали тяжелые неизлечимые отморожения рук и ног⁷.

В провинциальных городах секретность соблюдали не так строго и заключенных иногда вели к станции по улицам пешком. Многим это давало возможность в последний раз взглянуть на обычную жизнь, а “вольные” граждане получали возможность взглянуть на заключенных. Януша Бардаха удивило поведение жителей Петро-

павловска в Казахстане, мимо которых вели арестантов: “Большинство составляли женщины, закутанные в платки и одетые в длинные тяжелые пальто. К моему изумлению, они начали кричать на конвоиров: “Фашисты!.. Убийцы!.. Почему вы не на фронте?” Они стали кидать в них комьями снега. Конвоиры несколько раз выстрелили в воздух, и женщины немного подались назад, но продолжали ругаться и идти за нами. Они бросали в нашу колонну свертки, хлеб, завернутую в тряпицы картошку, сало. Одна женщина сняла платок и зимнее пальто и отдала легко одетому заключенному. Я поймал пару шерстяных варежек”⁸.

Сочувствие арестантам — давняя русская традиция. Достоевский писал о приносимом в острог на Рождество обильным подающим от горожан “в виде калачей, хлеба, ватрушек, пряжеников, шанег, блинов и прочих сдобных печений”⁹. Но в 40-е годы XX века подобное случилось редко. Во многих местах, в частности в печально знаменитом Магадане, заключенные на улицах были настолько обычным зрелищем, что на них не обращали внимания.

Пешком или на грузовике, этапируемые в конце концов прибывали на железнодорожную станцию. Иногда это был обычный вокзал, иногда особая станция — “участок земли, окруженный колючей проволокой”, по воспоминаниям Леонида Финкельштейна. Он также рассказывал, что погрузке предшествовала особая процедура:

“Эки стоят огромной колонной, их считают и пересчитывают. Поезд уже подан. <...> Перед погрузкой звучит приказ: “На колени!”, потому что это ответственный момент — кто-то может броситься бежать. И вот всех ставят на колени, и без команды лучше не вставать, потому что они только рады будут выстрелить. Пересчитывают, загоняют в вагоны и запирают. Сразу поезд никогда не отправляется — бывает, стоит несколько часов. Потом вдруг: “Тронуться!” — и мы едем”.

Снаружи арестантские вагоны часто имели вполне обычный вид, только были снабжены средствами против побега. Эдуард Бука, арестованный в Польше, обследовал свой вагон внимательным взглядом человека, надеявшегося сбежать. Он вспоминал, что “каждый вагон был опоясан несколькими кусками колючей проволоки, снаружи были оборудованы деревянные площадки для конвоя, в верхней и нижней части вагона зажигались электрические фонари, маленькие окошки были забраны массивными решетками”¹⁰. Финкельштейн вспоминал, что “каждое утро раздавался стук. У конвоя были деревянные молотки, и они постоянно простукивали вагоны — убеждались, что никто не пытался проделать отверстие и сбежать”.

Крайне редко в отношении особо важных заключенных принимались специальные меры. Анна Ларина, жена Николая Бухарина, ехала не с другими арестантами, а в купе конвоя¹¹. Но в подавляю-

шем большинстве случаев эски ехали все скопом в вагоне одного из двух типов. Вагон первого типа назывался столыпинским (“столыпинкой”). Это были обычные вагоны, переоборудованные для заключенных, и могли составлять огромный арестантский эшелон или прицепляться по одному или по два к другим поездам. Один бывший “пассажир” описывает их так: “«Столыпинка» напоминает обычный русский вагон третьего класса, только там очень много решеток и стальных прутьев. Окна, конечно же, зарешечены. Купе разделены между собой стальной сеткой и напоминают клетки, от коридора их отделяет длинная решетчатая перегородка. Это позволяет конвою постоянно наблюдать за всеми заключенными”¹².

В столыпинских вагонах было очень тесно: “На двух самых верхних нарах лежали валетом по два человека. На средних, превращенных в сплошные нары, — семь головой к двери и один у них в ногах, поперек. Под двумя нижними скамейками — по одному, а на них и на вешах в проходе сидели еще четырнадцать эсков. Ночью внизу все как-то сваливалось вповалку”¹³.

Но было и другое неудобство, едва ли не более существенное. В “столыпинках” конвоиры могли постоянно видеть заключенных: они смотрели, что арестанты едят, слушали их разговоры, решали, когда и куда они пойдут на “оправку”. Почти каждый мемуарист, описывающий этапы, упоминает о мучениях, связанных с отправлением естественных нужд. Раз в день, иногда два (а иногда ни разу) конвоиры выводили заключенных в уборную; или же поезд останавливался и людям разрешали выйти. “Самое худшее происходит, когда после долгих препирательств с конвоем нам позволяют выйти из вагонов и каждый или каждая ищет под вагоном место, чтобы облегчиться под множеством взглядов со всех сторон”¹⁴.

Совсем плохо приходилось тем, кто страдал желудочно-кишечными заболеваниями: “Заключенные, у которых не было сил удержаться, с хныканьем пачкали свою одежду, а часто и одежду соседей. И даже содружество, рождаемое общей бедой, не могло помешать иным ненавидеть этих несчастных”¹⁵.

Поэтому некоторые эски предпочитали вагоны другого типа — товарные, или “телячьи”. Они не всегда были переоборудованы для перевозки людей; иногда посреди вагона стояла небольшая печка, для спанья сооружались нары. Более примитивные, чем “столыпинки”, товарные вагоны не разделялись на секции, и в них было больше пространства. Кроме того, там была “уборная” (дыра в полу), которой можно было пользоваться без особого разрешения конвоя¹⁶.

Однако путешествие в таких вагонах было сопряжено со своими особыми неприятностями. Иногда, к примеру, дыры в полу засорялись. В поезде, где ехал Бука, дыра замерзла. “Что нам было делать?

Мы мочились в щель между дверью и полом и испражнялись в тряпочки, из которых потом делали аккуратные свертки, рассчитывая, что когда-нибудь поезд остановят и откроют двери, чтобы мы могли их выбросить”¹⁷. В поездах, где ехали ссыльные (мужчины, женщины и дети в одном вагоне), эти дыры (или параши, выливавшиеся в окно) создавали другую трудность. А. Знаменская, девочкой в начале 30-х сосланная как дочь “кулака”, пишет, что люди очень страдали “из-за врожденной стыдливости”. Даже она “делала это только тогда, когда мама загоразживала меня своей широкой юбкой”¹⁸.

Но главными мучениями были не уборные и не стыд, а голод и особенно жажда. Иногда (это зависело от маршрута и типа поезда) заключенных кормили в дороге горячей пищей, иногда нет. В сухой паек на этапах входил хлеб, который выдавали либо дневными 300-граммовыми порциями, либо сразу помногу (скажем, по 2 кг). Помимо хлеба, заключенных кормили селедкой, от которой очень хотелось пить¹⁹. Воды, однако, редко давали больше, чем по кружке в день, даже летом. Это вошло в систему, и о страшной жажде во время этапов вспоминают многие. “Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встречая Новый, 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать черные закоптелые сосульки, нарощие на стенах вагона от наших же собственных испарений”, — писал Н. Заболоцкий²⁰. За двадцать восемь дней поездки, вспоминает Л. Бершадская, воду давали три раза. Заключенные то и дело кричали: “Конвой, — уберите труп!”²¹.

Пресловутая кружка в день тоже не спасала от жажды. Евгения Гинзбург пишет о мучительном решении, которое надо было принять: “Некоторые предпочитают выпить всю дневную порцию с утра. Те же, кто бережет воду, чтобы время от времени пропускать по глоточку до самого вечера, — не знают ни минуты покоя. Все смотрят на кружку, дрожат за нее”²². Еще хорошо, что у них были кружки: одна бывшая заключенная на всю жизнь запомнила трагический момент, когда у нее украли чайник, в котором удобно было держать дневной запас воды²³.

Поезд, в котором ехала Нина Гаген-Торн, три дня стоял в Новосибирске посреди лета. Городская тюрьма была переполнена и отказалась принять проезжающий контингент. “Был июль. Жара. Крыша столыпинского вагона накалилась, и мы лежали на нарах, как пирожки в печке”. Вагон решил начать голодовку, хотя конвой угрожал новым сроком. “Не желаем заболеть дизентерией! — кричали женщины. — Четвертый день лежим в говне!” В конце концов им принесли воды попить и умыться²⁴.

Поезд, в котором ехала одна польская заключенная, тоже остановился, но в дождливую погоду. Естественно, арестанты попытались собрать воду, стекающую с крыши. Но “когда мы выставили

кружки между прутьев зарешеченных окон, конвоир, сидевший на крыше, закричал, что это запрещено и что он будет стрелять”²⁵.

Зимой было не лучше. Другая польская ссыльная вспоминала, что, пока ее везли поездом на восток, она получала только “замерзший хлеб и лед вместо воды”²⁶. Некоторые категории ссыльных и зимой, и летом испытывали свои особые мучения. Когда один поезд, который вез людей в ссылку, остановился на обычной станции (такое происходило редко), люди бросились покупать у местных жителей съестное. “Евреи кинулись за яйцами, — вспоминал один поляк. — Они скорее голодали бы, чем стали есть трэфное”²⁷.

Сильнее всего страдали дети и старики. Барбару Армонас, вышедшую замуж за американца, вывезли в составе большой группы литовцев — мужчин, женщин и детей. Среди них была женщина, родившая четыре часа назад, и парализованная старуха восьмидесяти трех лет, которую невозможно было держать в чистоте, — “очень скоро от нее пошел дурной запах и повсюду на ее коже появились открытые раны”. Ехало три младенца: “У родителей были огромные трудности с пеленками, потому что регулярно их стирать было невозможно. Иной раз, когда поезд останавливался после дождя, матери кидались наружу стирать их в канавах. У канав порой возникали драки: кто-то хотел мыть в них посуду, кто-то — умываться, а кто-то — стирать грязные пеленки. <...> Родители всеми силами старались держать младенцев в чистоте. И использованные пеленки сушились и вытряхивались. На новые пеленки рвали простыни и рубахи, мужчины иногда обматывали мокрые пеленки себе вокруг талии, чтобы сохли быстрее”.

Детям чуть постарше тоже приходилось плохо: “Несколько дней стояла сильная жара, запах в вагонах был невыносимый, некоторые из нас заболели. В нашем вагоне у двухлетнего мальчика была высокая температура, он постоянно кричал от боли. Кто-то дал его родителям немного аспирина, и это все, чем ему могли помочь. Ему становилось все хуже, и в конце концов он умер. На очередной остановке в каком-то лесу солдаты вынесли его тело из вагона и, по их словам, похоронили. Сердце надрывалось при виде горя родителей и их бессильной ярости. В нормальных условиях и под наблюдением врача мальчик бы выжил. Теперь никто даже точно не знал, где его закопали”²⁸.

В отношении “контриков” принимались особые меры, и им было еще тяжелее, чем ссыльным. Марию Сандрацкую арестовали, когда ее ребенку было два месяца, и повезли в теплушке, специально отведенной для кормящих матерей. Всего таких теплушек было две, в них разместились 65 матерей с детьми. Поездка заняла 18 дней. Стояла зима, тепла от двух дымных буржеек было недостаточ-

но. Не было ни особого питания, ни достаточного количества теплой воды, чтобы подмыть детей и постирать пеленки, которые стали “грязно-зелеными”. Две женщины покончили с собой, перерезав себе горло стеклом. Еще одна сошла с ума, ребенка у нее отняли. Трех детей стали кормить другие матери, одного — сама Сандрацкая. Ее собственная дочь заболела воспалением легких, и ее спасло грудное молоко. Лекарств, конечно же, не было.

В Томской пересыльной тюрьме было не лучше. Дети заболевали. Двое из них умерли. Еще две женщины пытались покончить с собой, но их спасли. Другие решились на голодовку. На пятый день голодовки к ним пришла комиссия из сотрудников НКВД. Во время разговора одна обезумевшая мать бросила в них своего ребенка. Только в женском лагере, где многие заключенные были сестрами и женами “врагов народа”, удалось организовать детские ясли. В конце концов Сандрацкая добилась разрешения отправить дочку из лагеря родственникам²⁹.

Бесчеловечность, о которой пишет Сандрацкая, кажется необычайной. Но ее горький опыт — не исключение. Один бывший лагерный врач пишет о том, как он сопровождал “детский этап” — сорок детей, из них пятнадцать грудных с матерями, плюс две нянечки. Всех посадили в обычный “стольпинский” вагон и очень плохо кормили³⁰.

Поезда с заключенными иногда делали остановки, но эти остановки не всегда приносили людям облегчение. Арестантов выводили из поезда, сажали в машины и везли в пересыльную тюрьму. Режим в ней был примерно такой же, как в следственной тюрьме, с той разницей, что надзирателям здесь было еще меньше дела до заключенных, которых все равно скоро увезут. Поэтому предвидеть, что тебя ждет в пересыльной тюрьме, было совершенно невозможно.

Поляк Кароль Харенчик, которого отправили с Западной Украины на Колыму в начале Второй мировой войны, сравнил между собой многие пересыльные тюрьмы, где он побывал. В анкете, которую он заполнил для польской армии, он отметил, что во Львове тюрьма сухая, что там “хороший душ” и “довольно чисто”. Напротив, киевская тюрьма была “переполнена и неопишимо грязна”, она кишела вшами. В Харькове в камеру площадью 96 кв. м втиснули 387 человек, и вшей там было великое множество. В Артемовске в тюрьме царил “почти крошечная тьма” и на прогулку не выводили; “цементный пол не моют, на нем валяются остатки рыбы. От грязи, вони и спертого воздуха болит и кружится голова”. В Ворошиловграде тюрьма была “довольно чистая”, и заключенных дважды в день выводили на opravку. В пересыльном лагере в Старобельске гулять выводили только раз в неделю на полчаса³¹.

Возможно, самые примитивные “пересылки” были на тихоокеанском побережье, где заключенные дожидались отправки морем на Колыму. В 30-е годы там был только один пересыльный лагерь — “Вторая речка” близ Владивостока. Но она не справлялась с людским потоком, и в 1938-м были построены еще два пересыльных лагеря — Бухта Находка и Ванино. И все равно для тысяч заключенных, ожидавших погрузки на суда, барачников не хватало³². Вот как один из них описывает пребывание в Находке в конце июля 1947 года: “...под открытым небом содержалось до двадцати тысяч заключенных. Ни о каких помещениях там не могло быть и речи — сидели, лежали и жили вповалку прямо на земле”³³.

Снабжение водой было здесь если и лучше, чем в поездах, то немалого, притом что людей по-прежнему кормили в разгар лета соленой рыбой. “По всему лагерю висели плакаты: “Не пейте сырую воду”. Бушевали сразу две эпидемии — тифа и дизентерии. Заключенные не обращали внимания на плакаты и пили воду, которая сочилась там и сям на территории лагеря <...> Всякий может понять, как отчаянно мы нуждались в глотке воды”³⁴.

Для заключенных, которые уже провели в дороге много недель (мемуаристы пишут, что железнодорожное путешествие до Находки могло продлиться сорок семь дней)³⁵, условия жизни в пересыльных лагерях у Тихого океана были почти невыносимы. Один бывший лагерник вспоминал, что к моменту прибытия этапа в Находку 70 процентов его товарищей страдали куриной слепотой (результат авитаминоза) и поносом³⁶. Медицинская помощь почти не оказывалась. Без лекарств и должного ухода в декабре 1938 года в пересыльном лагере “Вторая речка” умер поэт Осип Мандельштам, страдавший параноидальным страхом и помрачениями сознания³⁷.

Те, кто не слишком обессилел, иной раз могли в этих пересыльных лагерях заработать лишний кусок хлеба. Носили цемент, разгружали вагоны, копали ямы для отхожих мест³⁸. Некоторым Находка запомнилась как “единственный лагерь, где заключенные выпрашивали работу”. Одна полячка вспоминала: “Кормят только тех, кто работает, но, поскольку всем работы не хватает, некоторые умирают с голоду <...> Проституция цветет, как ирисы на сибирских лугах”³⁹.

Кое-кто, пишет Томас Стговио, промышлял торговлей: “Там была большая пустая площадка, так называемый базар. Заключенные приходили туда меняться. <...> Деньги не ценились. Наибольшим спросом пользовались хлеб, табак и газетная бумага для самокруток. В лагерном хозяйстве и обслуживании работали заключенные, отбывавшие срок по неполитическим статьям. На хлеб и табак они выменивали у вновь прибывших одежду, а потом продавали ее “вольным” за рубли, копя деньги на то время, когда их освободят.

Днем базар был самым оживленным местом в лагере. Именно здесь, в этой коммунистической дыре, я столкнулся с частным предпринимательством в его грубейшей форме”⁴⁰.

В пересыльных лагерях ужасы этапа не кончались. Путешествие на Колыму завершалось плаванием, как и для тех, кто спускался по Енисею от Красноярска к Норильску, или для тех, кто в ранний период ГУЛАГа отправлялся по Белому морю из Архангельска в Ухту. Мало кто из заключенных, поднимавшихся на борт парохода перед отбытием на Колыму, не чувствовал, что впереди пропасть — некий Стикс, за которым лежит незнакомый край. Многие до этого ни разу не плавали на судне⁴¹.

В пароходах как таковых не было ничего примечательного. Колымский маршрут обслуживали старые грузовые суда голландского, шведского, английского и американского производства, первоначально не приспособленные для перевозки людей. Их немного переоборудовали, но изменения в основном носили косметический характер. На дымовых трубах написали: “ДС” (“Дальстрой”), на палубах устроили пулеметные гнезда, в трюмах, разделенных решетками на секции, поставили грубые деревянные нары. Самый крупный пароход Дальстроя, вначале предназначенный для перевозки огромных катушек кабеля, получил название “Николай Ежов”, а после падения Ежова был переименован в “Феликс Дзержинский”⁴².

Других перемен, которые учитывали бы особый характер “груза”, по существу сделано не было. На первой стадии плавания, когда судно шло недалеко от берегов Японии, заключенных на палубу не выпускали. В это время люки, которые вели из трюма наверх, были задраены на случай, если рядом пройдет какое-нибудь японское рыболовное судно⁴³. Рейсы считались настолько секретными, что в 1939 году, когда корабль Дальстроя “Индирик” с полутора тысячами человек на борту (главным образом заключенными, возвращавшимися на “материк”) потерпел крушение у японского острова Хоккайдо, команда не стала обращаться за помощью, чем обрекла большинство пассажиров на гибель. Спасательных средств для них на борту, разумеется, не было, и судовое начальство, не желавшее раскрывать истинный характер “груза”, не позвало на помощь другие суда, хотя их поблизости было немало. Несколько японских рыбаков пытались что-то сделать по своей инициативе, но тщетно: более тысячи человек погибло⁴⁴.

Секретность, из-за которой заключенных не выпускали на палубу, доставляла им неимоверные страдания. Конвоиры бросали им еду в трюм, и они дрались за нее. Воду спускали с палубы в ведрах. И пищи, и воды не хватало, как и воздуха. Анархистка Екатерина Олицкая вспоминала, что от духоты и качки у многих началась рвота, едва они отчалили⁴⁵. Евгения Гинзбург, спускаясь в трюм, мгно-

венно почувствовала себя плохо: “Кажется, я держусь на ногах только потому, что упасть некуда. <...> Наконец-то мы в трюме. Здесь плотная, скользкая духота. Нас много, очень много. Мы стиснуты так, что не продохнуть. Сидим и лежим прямо на грязном полу, друг на друге. Сидим, раздвинув ноги, чтобы между ними мог поместиться еще кто-нибудь”⁴⁶.

Когда японский берег оставался позади, заключенным иногда позволяли подниматься на палубу и использовать корабельный галльон, который, конечно, не мог пропустить тысячи людей. Мемуаристы отмечают, что ждать приходилось “2 часа”, “7–8 часов”, “весь день”⁴⁷. Сговорио так описывает это приспособление: “К борту судна снаружи был приделан ящик, сбитый из досок. <...> Перелезть в ящик через борт качающегося корабля было не так-то просто. Пожилые заключенные и те, кто ни разу не был в море, боялись, но тычки конвой и нужда в конце концов заставляли их преодолеть страх. День и ночь на протяжении всего плавания на лестнице стояла длинная очередь. Одновременно в ящике могли находиться только два человека”⁴⁸.

Но эти страдания меркли перед издевательствами со стороны уголовников. Прежде всего это относится к концу 30-х и началу 40-х годов, когда “блатные” играли в лагерной системе наиболее важную роль и содержались вместе с “политическими”. Нередко “политическим” приходилось столкнуться с уголовниками уже в поезде. Айно Куусинен вспоминала: “Больше всего в дороге нам досаждали молодые уголовники. Они захватили верхние нары. Занимались там всяким непотребством, плевались, ругались матом и даже мочились на лежавших внизу”⁴⁹.

В море было еще хуже. Элинор Липпер, отправленная на Колыму в конце 30-х, пишет, что “политические” “лежали, прижавшись друг к другу, на грязном полу трюма, потому что нары захватили уголовники. Если одна из нас осмеливалась поднять голову, сверху на нее дождем летели рыбки головы и потроха. Если какую-нибудь “блатнячку” тошнило, блевотина лилась прямо на нас”⁵⁰.

Особенно лакомой добычей были поляки и прибалтийцы, лучше одетые и имевшие при себе более ценные вещи, чем жители СССР. Однажды группа уголовников, погасив в трюме свет, напала на заключенных поляков. Одни были убиты, другие ограблены. “Оставшиеся в живых, — писал один из переживших трагедию, — до конца дней своих будут знать, что такое побывать в аду”⁵¹.

Смешение заключенных мужского и женского пола могло иметь еще более тяжелые последствия, чем соединение “блатных” с “политическими”. Формально это было запрещено: мужчин и женщин везли раздельно. Но на практике конвоиров можно было подкупить. Мужчины врываются в женский отсек трюма, и начинался “колым-

ский трамвай” — групповое изнасилование. Елена Глинка, побывавшая на Колыме, пишет:

“Насиловали под команду трамвайного “вагоновожатога” <...> По команде “Кончай базар” — отваливались, нехотя уступая место следующему, стоящему в полной половой готовности. Мертвых женщин оттащивали за ноги к двери и складывали штабелем у порога; остальных приводили в чувство — отливали водой, — и очередь выстраивалась опять. <...> В мае 1951 года на океанском теплоходе “Минск” (то был знаменитый, прогремевший на всю Колыму “Большой трамвай”) трупы женщин сбрасывали за борт. Охрана даже не переписывала мертвых по фамилиям...”⁵².

По словам Глинки, никто, насколько ей известно, за эти массовые изнасилования не наказывался. О том же пишет Януш Бардах из восточной Польши, которого везли морем на Колыму в 1942-м. При нем группа уголовников задумала вторжение в женский отсек трюма, и он видел, как они проделали отверстие в стенке и втащили женщин к себе:

“С каждой тут же срывали одежду, и немедленно на нее набрасывалось сразу несколько мужчин. Я видел белые извивающиеся тела жертв, их лягающиеся ноги, видел, как они царапали лица насильников. Женщины кусались, вопили, стонали. Насильники били их. <...> Женщин не хватило на всех, и несколько плотных мужчин пошли к нарам и стали выискивать юношей. Их присовокупили к оргии. Они лежали на животе, и на пол текли их слезы и кровь”.

Никто из других заключенных не пытался остановить насильников: “Сотни мужчин, свешиваясь с нар, смотрели на происходящее, но ни один не вмешался”. Все кончилось, пишет Бардах, только когда охранники с палубы окатили трюм водой. Затем они вытащили несколько женских трупов и унесли искалеченных женщин. Наказание не понес никто⁵³.

“Всякий, — писал один бывший заключенный, — кто увидел бы Дантов ад, сказал бы, что он — ничто по сравнению с этим кораблем”⁵⁴.

Есть много других рассказов об этапах; некоторые из них настолько трагичны, что нет сил их повторять. Эти поездки были так ужасны, что в коллективной памяти бывших лагерников они превратились в мучительную загадку, разгадать которую почти так же трудно, как понять суть всего ГУЛАГа. Представления о природе более или менее обычного человека помогают объяснить жестокость лагерных начальников, которые, как мы увидим, испытывали давление более высокого начальства, требовавшего выполнения плана. Можно в той или иной мере объяснить и действия следователей, чья жизнь зависела от их успехов в выбивании признаний (к то-

му же на эту работу иногда специально брали людей с садистскими наклонностями). Но гораздо труднее объяснить, почему заурядный конвой отказывался давать воду заключенным, умирающим от жажды, давать аспирин больному ребенку, защищать женщин от группового изнасилования, переходящего в убийство.

Данных о том, что конвоиров напрямую инструктировали мучить людей на этапах, конечно же, нет. Напротив, имелись подробные правила этапирования, и сведения о частом их нарушении порой вызывали начальственный гнев. В приказе от 8 декабря 1941 г. “Об упорядочении этапирования заключенных” осуждалось “безответственное, а иногда преступное отношение” некоторых сотрудников к формированию и организации этапов. В результате “заключенные прибывают к месту назначения истощенными и продолжительное время не могут быть использованы на работах”⁵⁵.

В приказе от 25 февраля 1940 г. с негодованием говорилось не только о том, что в нарушение предыдущих указаний в лагеря “вместо полноценной рабочей силы направляются инвалиды, больные, слабосильные, несовершеннолетние”, но и о том, что многие не снабжаются необходимой одеждой, плохо обеспечиваются в пути пищей, водой и топливом. “Зачастую осужденные направляются с неоформленными личными делами, а иногда и без личных дел”. Иначе говоря, люди прибывали в лагеря, где никто не знал, за что они приговорены и к какому сроку. Из 1900 заключенных, прибывших на Дальний Север из Владлага 31 октября 1939 года, 590 были признаны ограниченно трудоспособными, больными или инвалидами. Некоторым осталось всего несколько месяцев срока, у двоих он вообще кончился. Большинство были “раздеты и разуты”. В ноябре 1939-го группу осужденных из 272 человек, ни у кого из которых не было зимней одежды, 500 километров везли в открытых грузовиках в сильный мороз, в результате чего многие простудились. Обо всех этих фактах сообщалось с приличествующим негодованием, и виновных наказывали⁵⁶.

Режим в пересыльных пунктах тоже регулировался многочисленными инструкциями. Например, в приказе от 26 июля 1940 г. описывается организация пересыльных пунктов и содержится требование к их начальникам обеспечить работу бань, дезинфекционных камер и кухонь⁵⁷. Не меньшее значение на словах придавалось безопасности тюремного флота Дальстроя. Когда в декабре 1947 года в результате взрывов на двух судах в магаданском порту 97 человек погибли и 224 были ранены, Москва обвинила администрацию порта в “преступной халатности”. Виновные были отданы под суд и получили сроки⁵⁸.

Начальство ГУЛАГа в Москве хорошо знало об ужасах морского и речного этапирования. В отчете о прокурорской проверке в Но-

рильлаге в 1943 году говорится, что заключенные, которых отправляли на баржах по Енисею, часто прибывали к месту назначения в плохом физическом состоянии. Из 14 125 заключенных, прибывших в Норильск в 1943-м, около пятисот были госпитализированы в Дудинке в первый или второй день после прибытия; около тысячи из-за истощения были признаны временно нетрудоспособными⁵⁹.

Несмотря на все показное негодование, система перевозки заключенных почти не менялась. Сверху вниз шли директивы, снизу вверх — жалобы. Тем не менее 24 декабря 1944 года на станцию Комсомольск прибыл этап, состояние которого признал крайне тяжелым даже заместитель прокурора СССР Г. Сафонов. Его официальный отчет о судьбе “эшелона с/к 950” из 51 вагона поражает даже на фоне общей кошмарной истории гулаговских этапов: “Заключенные прибыли в неотепленных и необорудованных для перевозки заключенных вагонах. В каждом вагоне было в среднем по 10–12 нар, на которых могло разместиться не более 18 чел., в то время как заключенных было размещено по 48 чел.

Вагоны не были снабжены достаточным количеством бачков для воды, вследствие чего имелись перебои в снабжении водой по целым суткам.

<...> Хлеб заключенным выдавался мерзлый, а в течение 10 дней совершенно не выдавался.

Заключенные прибыли одетые в летнее обмундирование, грязные, завшивленные, с явными признаками обморожения.

<...> Больные заключенные валялись на мерзлом полу без медицинской помощи и тут же умирали. Трупы умерших в течение длительного времени находились в вагонах”.

Из 1402 заключенных, отправленных эшелонами с/к 950, прибыло 1291; 53 человека умерло в пути, 66 оставили в лечебных учреждениях в разных точках маршрута. По прибытии еще 335 человек было госпитализировано с обморожениями III и II степени, воспалением легких и другими болезнями. Поездка длилась 60 дней, 24 из которых поезд стоял “в связи с плохой организацией работы питательных пунктов и задержек железной дороги”. Но даже в этом вопиющем случае начальник эшелона Хабаров отделался выговором с предупреждением⁶⁰.

Многие пережившие подобные этапы пытались объяснить эту чудовищную жестокость со стороны молодых, неопытных конвойных, которые отнюдь не были матерыми убийцами вроде тех, что подвизались в тюрьмах. Нина Гаген-Торн писала: “Это не было проявление злобы, а просто полное равнодушие конвоя — он не рассматривал нас как людей. Мы — живой груз”⁶¹. Такого же мнения придерживается поляк Антони Экарт, арестованный после советского вторжения в Польшу в 1939 году: “Нас не мучили жаждой

сознательно — просто носить воду означало для конвоиров добавочный труд, и они не хотели носить ее без приказа. Начальник конвоя не проявлял к этому вопросу интереса, а конвоирам слишком хлопотно было на станциях по нескольку раз в день водить заключенных к колодцам или кранам, повышая риск побега”⁶².

Но некоторые заключенные отмечали больше чем безразличие: “Утром вышел в коридор начальник конвоя <...> А он стоит лицом к окну, спиной к нам, даже не оглянулся. Потом рыкнул: «Тра-та-та, вашу мать! Надоели вы мне!»”⁶³

Усталостью, скукой и озлоблением из-за необходимости исполнять унижительную работу объясняет эту труднообъяснимую жестокость Солженицын. Он даже попытался вникнуть в образ мысли конвоиров. Штаты ограничены, дел много, а “носить воду ведрами — далеко, да и обидно носить: почему советский воин должен воду таскать, как ишак, для врагов народа?” Солженицын продолжает: “Потом еще: воду эту раздавать долго — своих кружек у заключенных нет, у кого и были, так отняли, — значит, пой их из двух казенных, и пока напьются, ты все стой рядом, черпай, черпай да подавай. <...>

Но и все б это конвой перенес, и таскал бы воду и поил, если б, свиньи такие, налакавшись воды, не просились бы потом на оправку. А получается так: не дашь им сутки воды — и оправки не просят; один раз напоишь — один раз и на оправку; пожалеешь, два раза напоишь — два раза и на оправку. Прямой расчет все-таки — не поить”⁶⁴.

Каковы бы ни были причины — безразличие, усталость, злоба, уязвленная гордость конвоя — заключенные страдали неизменно. Как правило, их доставляли к месту назначения не только сбитыми с толку и униженными тюрьмой и следствием, но и физически истощенными — словом, во всех отношениях созревшими для очередной стадии путешествия по ГУЛАГу — для прибытия в лагерь.

Если не было темно, если заключенный не был болен и если у него хватало любопытства поднять глаза, первое, что он видел, были лагерные ворота. Чаще всего на них красовался лозунг. Над воротами одного из колымских лагпунктов “во всю ширь, от столба к столбу — сияла фанерная «радуга», задрапированная приспособленным к ней кумачовым транспарантом: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства!»”⁶⁵. Барбару Армонас в трудовой колонии близ Иркутска встретил плакат: “Честным трудом отдам долг отчизне”⁶⁶. В 1933 году на Соловках, ставших к тому времени спецтюрьмой, висел лозунг: “Железной рукой загоним человечество к счастью!”⁶⁷. Юрий Чирков, арестованный в четырнадцать лет, увидел над воротами Соловецкого кремля лозунг: “Через труд — к

освобождению!”), очень похожий на тот, что висел над входом в Освенцим: “Arbeit macht frei” (“Труд освобождает”)⁶⁸.

Как и прибытие в тюрьму, приезд новичков в лагерь сопровождался своими ритуалами: бывших обитателей тюремных камер, измотанных этапом, надо было превратить в эков-работяг. Поляк Кароль Колонна-Чосновский вспоминал: “По прибытии в лагерь нас очень долго пересчитывали. <...> В тот вечер этому, казалось, не будет конца. Бесчисленное количество раз мы строились по пять человек в ряд, каждый ряд должен был сделать три шага вперед по команде озабоченных сотрудников НКВД: “Один, два, три”. Они старательно записывали все цифры в большие блокноты. Видимо, прибавляя количество живых к количеству расстрелянных по дороге, они не получали требуемой суммы”⁶⁹.

После пересчитывания мужчин и женщин вели в баню и брили всюду, где росли волосы. Эта процедура, осуществляемая, согласно официальной инструкции, с гигиеническими целями⁷⁰ (предполагалось, и не без оснований, что у заключенных, побывавших в советских тюрьмах, должны быть вши), имела, кроме того, важное ритуальное значение. С особым ужасом и отвращением о ней вспоминали женщины, и этому трудно удивляться. Часто им приходилось раздеваться и обнаженными ждать своей очереди на бритье на глазах у конвоиров-мужчин. “Кажется, в первый раз я услышала вопли протеста. Женщины остаются женщинами”, — пишет Екатерина Олицкая, подвергшаяся этой процедуре по приезде на Колыму⁷¹. Ольга Адамова-Слиозберг перенесла нечто похожее в пересыльной тюрьме: “Раздевались мы внизу и хотели уже подняться наверх по лестнице, когда увидели, что вдоль перил снизу доверху выстроились конвоиры. Мы скучились.

Почти все стояли, опустив глаза, с красными пятнами на лицах. Я подняла глаза и встретила с глазами офицера, начальника конвоя. Он исподлобья смотрел на меня и говорил:

— Ну, давайте, давайте, не задерживаться!

И вдруг я почувствовала облегчение, мне даже стало смешно.

“Плывать мне на них, они для меня такие же мужчины, как бык Васька, которого я боялась в детстве”, — подумала я и первая, нахально глядя в глаза конвоира, пошла вперед. За мной пошли остальные”⁷².

Когда заключенные были вымыты и побриты, начинался второй этап превращения мужчин и женщин в безликих эков — выдача одежды. Правила, определяющие, могут ли заключенные носить собственную одежду, менялись от периода к периоду и от лагеря к лагерю. Создается впечатление, что на практике это зависело от местного лагерного начальства: “На одной колонне можно было свою носить, на другой ни в коем случае”, — сказала мне Галина Смир-

нова, которая была в Озерлаге в начале 50-х годов. Это не всегда имело большое значение: к тому времени, как заключенные попадали в лагерь, у многих одежда становилась не лучше лагерной или оказывалась добычей уголовников.

Лагерная одежда, как правило, была старой, рваной, плохо сшитой и неподходящей по размеру. Некоторым — особенно женщинам — казалось, что одеждой их сознательно стремятся унижить. Алла Андреева, жена писателя и спиритуалиста Даниила Андреева, в начале носила в лагере свою одежду, но в 1950-м ее отобрали и выдали казенную. Она восприняла перемену как оскорбление: "...ведь у нас отняли все, у нас отняли имя, то, что является личностью человека, и одели нас, я уж не говорю, что это были безобразные платья. Главное, конечно, это номера на спине".

Никто не заботился о том, чтобы одежда подходила человеку по размеру. "Каждому из нас, — вспоминал Януш Бардах, — выдали кальсоны, черную гимнастерку, ватные штаны, бушлат, ушанку, зимнюю обувь на резиновой подошве и меховые рукавицы. Все это раздавалось как попало, и подбирать себе одежду по размеру должны были мы сами. Все, что я получил, было мне страшно велико, и мне стоило многочасовых усилий поменяться на что-то более приемлемое"⁷³.

Другая бывшая лагерница, столь же критически настроенная в отношении лагерных "мод", писала, что женщинам выдавали "телогрейки, ватные гольфы до колен и лапти. Мы стали выглядеть как пугала. У нас почти не осталось своей одежды — все было продано уголовницам, точнее, обменно на хлеб. Шелковые чулки и шарфы вызвали такой восторг, что пришлось их продать — отказаться было опасно"⁷⁴.

Поскольку рваная одежда воспринималась как унижение, многие тратили большие усилия на ее починку. Одна бывшая заключенная вспоминала, что поначалу не очень переживала из-за старой, изорванной одежды, но позднее "поддалась общей, неистребимой потребности женщин прихорашиваться" и стала зашивать дыры, делать карманы и т. д. Это помогало сохранить достоинство⁷⁵. Женщины, хорошо умеющие шить, обычно могли заработать себе на добавочную еду, поскольку даже небольшие усовершенствования в стандартной одежде ценились высоко: способность чем-то отличаться, выглядеть хоть ненамного лучше других ассоциировалась, как мы увидим, с более высоким положением, лучшим здоровьем, привилегированностью. Варлам Шаламов хорошо понимал значение этих мелких различий: "Нательное белье в лагере бывает "индивидуальное" и "общее". Это — казенные, официально принятые выражения наряду с такими словесными перлами, как "заклопленность", "завшивленность" и т. д. Белье "индивидуальное" — это бе-

лье поновей и получше, которое берегут для лагерной obsługi, десятников из заключенных и тому подобных привилегированных лиц. <...> Белье же "общее" есть общее белье. Его раздают тут же, в бане, после мытья, взамен грязного, собираемого и пересчитываемого, впрочем, отдельно и заранее. Ни о каких выборах по росту не может быть и речи. Чистое белье — чистая лотерея, и странно и до слез больно было мне видеть взрослых людей, плакавших от обиды при получении истлевшего чистого взамен крепкого грязного. Ничто не может человека заставить отойти от тех неприятностей, которые и составляют жизнь"⁷⁶.

Мытье, бритье и раздача эковской одежды были, при всем их шокирующем воздействии, только первым этапом длительной "инициации". Затем сразу же начиналось распределение будущих работников по категориям. Эта сортировка решала в жизни лагерников очень многое. От нее зависело все: статус заключенного в лагере, барак, в котором он жил, работа, которую он выполнял. Это, в свою очередь, нередко определяло, останется он в живых или нет.

Должна сказать, что я не нашла в мемуарах указаний на сортировку, подобную той, что практиковалась в нацистских лагерях смерти. Иными словами — на сортировку, после которой более слабых отводили в сторону и расстреливали. Зверства при приемке новых партий заключенных, безусловно, случались (об одном эпизоде рассказывает переживший его бывший солдовчанин)⁷⁷, но обычная практика, по крайней мере в конце 30-х и начале 40-х годов, была иной. Ослабевших не везли в какой-нибудь дальний лагпункт на расстрел, а помещали на "карантин", во-первых, чтобы оградить других от возможных инфекций, во-вторых, чтобы люди, перенесшие тюрьму и мучительный переезд, могли подкормиться. Лагерное начальство, судя по всему, относилось к этому правилу серьезно, что подтверждается как архивными документами, так и воспоминаниями бывших заключенных⁷⁸.

Александр Вайсбергу, к примеру, прежде чем послать его на общие работы, предоставили еду и отдых⁷⁹. После долгого этапа в Ухтижемлаге польский социалист Ежи Гликсман, которому в свое время так понравился московский спектакль по "Аристократам" Погодина, получил трехдневный отдых, во время которого с ним и другими новоприбывшими обращались как с "гостями"⁸⁰. Петр Якир, сын советского генерала, прошел двухнедельный карантин в Севураллаге⁸¹. Для Евгении Гинзбург, которая прибыла в Магадан тяжело больной, первые дни в столице Колымы "слились в сплошной клубок беспомощности, боли, провалов в черноту небытия". Ее, как и других, прямо с парохода "Джурма" отправили в лагерную больницу, где за два месяца она полностью поправила здоровье. Некоторые были настроены скептически. — Телец на заклятие, —

желчно шутила Лиза Шевелева, на воле личный секретарь Стасовой, — кому только нужна эта поправка? Выйдете отсюда — сразу на общие. За неделю опять превратитесь в тот же труп, что были на «Джурме» ...”⁸²

Поправившись (если им давали такую возможность) и одевшись по-лагерному, заключенные проходили сортировку. По идее это была в большой мере регламентированная процедура. Еще в 1930 году было издано “Положение об ИТЛ”, которое содержало очень строгие и подробные правила, касающиеся классификации заключенных. Теоретически характер их работы определялся двумя группами критериев: “социальным положением” и приговором, с одной стороны, и здоровьем — с другой. В тот ранний период арестантов разбивали на три категории: заключенные “из трудящихся”, не замешанные в контрреволюционных преступлениях и приговоренные не более чем к пяти годам; заключенные “из трудящихся”, не замешанные в контрреволюционных преступлениях и приговоренные более чем к пяти годам; “нетрудовые элементы и лица, осужденные за контрреволюционные преступления”.

Заключенному каждой из трех категорий назначался тот или иной режим содержания — первоначальный (самый суровый), облегченный или льготный. Кроме того, они проходили медицинское освидетельствование. По его результатам, а также в зависимости от категории и режима лагерная администрация направляла человека на ту или иную работу. В соответствии с ее характером и в зависимости от выполнения нормы ему назначался один из четырех продовольственных пайков — основной, трудовой, усиленный или штрафной⁸³. Эти подразделения многократно менялись. Например, в 1941 году, согласно приказу народного комиссара внутренних дел, заключенные подразделялись на годных к физическому труду, годных к работе по своей специальности и годных к легкому физическому труду. За числом заключенных в разных категориях Москва постоянно следила, и начальство лагерей, где оказывалось слишком много “слабосилки”, получало взыскания⁸⁴.

Реальный процесс был далек от упорядоченности. У него были формальные стороны, определявшиеся лагерными начальниками, и неформальные: заключенные шли на ухищрения, заключали друг с другом сделки. Со многими во время этой первой лагерной сортировки обращались довольно грубо. Молодой венгр Дердь Бин, взятый в Будапеште в конце Второй мировой войны, сравнил сортировку, которую он прошел в 1946-м, с торговлей рабами: “Всем приказали выйти во двор и раздеться. Когда заключенного вызывали по фамилии, он предстал перед медицинской комиссией для обследования, которое состояло в оттягивании кожи на ягодицах, — так определяли объем мускулатуры. По мышцам судили о том, на что

человек годен, и если его брали, его документы откладывали в особую стопку. Этим занимались женщины в белых халатах, но выбор у них был маленький — сплошь ходячие мертвецы. Поэтому выбрали молодых — независимо от мускулатуры”⁸⁵.

О “рынке рабов” говорит и Ежи Гликсман. Он описывает сортировку в котласском пересыльном лагере, откуда эков отправляли в лагерь к северу от Архангельска. Охранники разбудили заключенных среди ночи и велели всем, даже серьезно больным, собраться утром с вещами. Людей повели из лагеря через лес. Через час пришли на большую поляну, где их построили по шестнадцати человек в ряд. Заключенные провели на поляне целый день: “В течение всего дня появлялись незнакомые сотрудники в форме и в штатском. Они ходили среди заключенных, некоторым приказывали снять фуфайку, щупали руки, ноги, осматривали ладони, приказывали нагнуть. Иногда требовали, чтобы человек открыл рот, и смотрели на его зубы, как лошади на ярмарке. <...> Некоторые искали инженеров, квалифицированных слесарей, токарей; другим требовались плотники; и всем нужны были физически сильные мужчины для работы на лесоповале, в сельхозах, на угольных шахтах и нефтяных скважинах”.

Главной заботой лагерного начальства было, понял Гликсман, “не набрать ненароком калек, инвалидов, больных — словом, дармоедов. Вот почему время от времени посылались специальные агенты за подходящим человеческим материалом”⁸⁶.

С самого начала, кроме того, было ясно, что правила сортировки порой можно и нужно нарушать. В 1947 году в Темниковском лагере Нина Гаген-Торн прошла через крайне унижительную процедуру, которая, однако, кончилась для нее хорошо. По приезду в лагерь женщин немедленно повели в баню. Их одежду отправили в прожарку, а их самих, мокрых и голых, выстроили в предбаннике якобы для “саносмотра”. Но осматривали их, помимо врача, нарядчик и начальник режима: “Майор идет вдоль строя, быстро осматривая тела. Отбирает товар — на производство, в швейную! В сельхоз! В зоне! В больницу! Нарядчик записывает фамилии. <...> Я, после первого тура, была посредственным товаром, почти не стоившим внимания.

— Фамилия? — проходя, спросил нарядчик.

— Гаген-Торн.

Черные глаза майора пристальнее остановились.

— К профессору Гаген-Торну какое отношение? — спросил он.

— Дочь.

— Положите в больницу, у нее чесотка: красная сыпь по животу”.

Поскольку чесотки у Нины Гаген-Торн не было, она предположила (догадка, как потом выяснилось, была верна), что майор знал ее отца, восхищался им и теперь решил дать ей отдохнуть⁸⁷.

Поведение заключенного во время сортировки, непосредственно после нее и вообще в первые дни лагерной жизни могло иметь для него очень большое значение. Например, польский писатель Густав Герлинг-Грудзинский в первые три дня в Каргопольлаге оценил свое положение и “продал урке из бригады грузчиков офицерские сапоги за сносную цену — 900 грамм хлеба”. В благодарность урка использовал свои связи в лагерной администрации и помог Герлингу-Грудзинскому стать грузчиком на продовольственной базе. Это тяжелая работа, сказали ему, но зато “можно что-то съедобное украсть” (так и оказалось). И он сразу получил “привилегию”. Начальство велело ему “явиться на склад за бушлатом, ушанкой, ватными штанами, рукавицами и валенками “первого срока” (т.е. новыми или чуть поношенными) — за полным комплектом одежды, который положен только ударным бригадам”⁸⁸.

Люди обделывали свои дела разными способами. Попав в Ухтижемлаг, Гликсман сразу понял, что статус “специалиста”, который он получил на котласской пересылке (его записали как квалифицированного экономиста), в лагере не имеет никакого значения. Между тем он заметил, что в первые лагерные дни его более смекалистые русские знакомые постарались использовать личные связи: “Большинство “специалистов” употребили три свободных дня на посещение разных административных подразделений лагеря, где они выискивали старых знакомых и вели подозрительные переговоры с начальством и вольнонаемными работниками. Все были возбуждены и озабочены. У каждого были свои секреты, и каждый боялся, как бы кто-нибудь не испортил ему игру, перехватив более легкую или выгодную должность. Большинство очень быстро сообразило, куда идти, к кому обращаться и что говорить”.

В результате квалифицированного польского врача отправили на лесоповал, а бывший сутенер устроился счетоводом, “не имея ни малейшего понятия о бухгалтерии и будучи к тому же малограмотным”⁸⁹.

Заключенные, которые избежали таким образом тяжелой физической работы, добились этого благодаря тому, что успели выработать начатки стратегии выживания — но только начатки. Теперь им предстояло усвоить особые правила повседневной лагерной жизни.

Глава 10 Лагерная жизнь

*Звон колокольный дальний
В камеру вместе с рассветом.
Колокол слышу печальный:
— Где ты, — доносится, — где ты?
— Здесь я! — И слезы привета,
Слезы неволи скупые.
Не перед Богом это,
Перед тобой, Россия.*

Семен Виленский. 1948 г.

Согласно самым точным из имеющихся на нынешний день подсчетов, между 1929 и 1953 годом в ведении ГУЛАГа находилось 476 лагерных комплексов¹. Но эта цифра мало о чем говорит. На практике каждый из этих комплексов состоял из десятков, а то и сотен более мелких подразделений — лагпунктов, которые не подсчитаны и вряд ли когда-нибудь будут подсчитаны, поскольку среди них были как постоянные, так и временные, причем многие из них в разное время принадлежали к ведению разных лагерей. О порядках и обычаях в этих лагпунктах мало что можно сказать такого, что было бы применимо ко всем ним без исключения. Даже если ограничиться бериевским периодом, продлившимся с 1939 по 1953 год, условия жизни и работы в ГУЛАГе очень сильно различались как от года к году, так и от места к месту, даже внутри одного лагерного комплекса.

“Каждый лагерь — свой мир, да, целый мир, отдельный город, отдельная страна”, — писала актриса Татьяна Окуневская². У каждого лагеря был свой характер. Жизнь в каком-либо из гигантских индустриальных северных лагерей очень сильно отличалась от жизни в сельскохозяйственных лагерях юга России. Жизнь в любом лагере в самый тяжелый период Второй мировой войны, когда за год умирала четвертая часть эков, была совсем не похожа на жизнь в начале 50-х, когда смертность в лагерях была примерно такой же, как по всей стране. Жизнь в лагере, руководимом относительно либеральным начальником, не походила на жизнь под началом усадиста. В одном лагпункте могло быть несколько тысяч заключенных, в другом — несколько десятков. Различались они и по продолжительности существования: одни действовали с 20-х по 80-е годы (к концу этого срока — как места содержания уголовников), другие создавались на одно лето для строительства автомобильных и железных дорог в Сибири.

Тем не менее накануне войны некоторые особенности жизни и труда были общими для подавляющего большинства лагерей. Положение в разных лагпунктах по-прежнему могло быть разным, но громадные скачки в общенациональной политике, характерные для 30-х годов, прекратились. Косная бюрократия, которая в конечном итоге наложила свою мертвящую руку практически на все стороны жизни СССР, постепенно подчинила себе и ГУЛАГ.

В связи с этим поражает различие между схематичными и несколько расплывчатыми правилами содержания заключенных в лагерях, изданными в 1930-м, и более детальными правилами, вступившими в силу в 1939 году, после того как НКВД возглавил Берия. Это различие, судя по всему, отражает перемену в отношениях между центральными органами ГУЛАГа и начальниками лагерей на местах. В первое, экспериментальное, десятилетие ГУЛАГа разработчики инструкций не пытались определять, как должны быть устроены лагеря, и лишь слегка касались вопроса о поведении заключенных. Они довольствовались общей схемой, предоставляя местному начальству заполнять пустоты.

Более поздние инструкции, напротив, очень подробны и конкретны. Они охватывают практически все стороны лагерной жизни — от способов постройки бараков до повседневного режима жизни заключенных. Это соответствовало новым задачам ГУЛАГа³. Создается впечатление, что с 1939 года Берия (за которым, видимо, стоял Сталин) уже не хотел, чтобы лагеря ГУЛАГа были лагерями смерти, какими некоторые из них по существу являлись в 1937 и 1938 году. Это не означает, однако, что начальство было более озабочено сохранением жизни людей, не говоря уже о человеческом достоинстве. С 1939 года главная забота Москвы была экономической: заключенные должны были стать винтиками лагерной машины, выполняющей план.

С этой целью директивы Москвы требовали строжайшего контроля над заключенными, который должен был осуществляться посредством регулирования условий их жизни. По идее, как уже отмечалось, лагерь должен был отнести каждого зека к той или иной категории, учитывая его приговор, профессию и трудоспособность. По идее лагерь должен был дать каждому зеку работу и назначить ему норму. По идее лагерь должен был предоставить каждому зеку самое необходимое — еду, одежду, жилое помещение, учитывая то, как он эту норму выполняет. По идее все стороны лагерной жизни должны были работать на улучшение производственных показателей: даже “культурно-воспитательная часть” существовала в лагерях главным образом потому, что, по мнению гулаговского начальства, она могла стимулировать труд заключенных. По идее прокурорские проверки проводились для того, чтобы все элементы лагерной жизни

ни действовали слаженно. По идее каждый зек даже имел право жаловаться — начальнику лагеря, Москве, Сталину, если он считал, что начальство нарушает правила.

Однако на практике все было по-другому. Человек — не машина, лагерь — не стерильная отлаженная фабрика, и система никогда не действовала так, как ей полагалось действовать. Охранники брали взятки, хозяйственники воровали, заключенные выискивали способы обойти лагерные правила. Они, кроме того, создавали свои неформальные внутрелагерные иерархии, которые не всегда хорошо согласовывались с официальной иерархией, создаваемой лагерной администрацией. Несмотря на регулярные прокурорские проверки, за которыми следовали взыскания и сердитые письма из центра, лишь немногие лагеря соответствовали теоретической модели. Несмотря на кажущуюся серьезность, с которой иногда разбирались жалобы заключенных, — для их разбора создавались целые комиссии, — это редко приводило к реальным переменам⁴.

Именно это противоречие между представлениями московского начальства о том, какими должны быть лагеря, и тем, какими они были на самом деле, — между правилами, изложенными на бумаге, и практическими действиями — придавало жизни в ГУЛАГе особый, сюрреалистический характер. В теории вся жизнь заключенных вплоть до мелочей регламентировалась из центра. На практике все стороны их жизни зависели, кроме того, от их отношений с людьми, которые их контролировали, и друг с другом.

Зона: за колючей проволокой

Самым действенным инструментом, каким располагало лагерное начальство, был, конечно, контроль над пространством, в котором существовали заключенные. Речь идет о “зоне”, или “жилой зоне”. По инструкции она должна была иметь форму квадрата или прямоугольника. В целях обеспечения наилучшего обзора любые неправильные очертания запрещались⁵. В этом квадрате или прямоугольнике мало что останавливало взгляд. Строения на территории типичного лагпункта были, как правило, похожи одно на другое. На фотографиях, сделанных в Воркутлаге и сохранившихся в московских архивах, видны примитивные деревянные постройки, различимые только по надписям: “штрафной изолятор”, “столовая”⁶. В центре лагеря, поблизости от ворот, обычно была большая пустая площадка, где заключенные дважды в день выстраивались для перекулки. За воротами, как правило, располагались бараки охраны и дома начальства — тоже деревянные.

От любой другой территории зону отличало, конечно, ограждение. Жак Росси, автор “Справочника по ГУЛАГу”, писал, что обычно оно “...состоит из деревянных столбов, закопанных в землю на одну треть. Они высятся от 2,5 до 6 м — в зависимости от местн. условий. По столбам протянуты горизонтально 7–15 рядов колюч. проволоки. Расстояние между столбами ок. 6 м. Между каждой парой протянуты по диагонали еще две нитки колючки”⁷.

Если лагерь или колония располагались в городе или поблизости от него, ограждение обычно делали не из колючей проволоки, а сплошным — кирпичным или деревянным, чтобы снаружи ничего не было видно. Такие ограждения, как правило, делали на совесть: в Медвежьегорске, столице Беломорканала, высокий деревянный лагерьный забор, построенный в начале 30-х годов, еще стоял в 1998-м, когда я приехала в город.

Чтобы выйти за зону, заключенный или охранник должен был миновать вахту. Дежурные на вахте контролировали всех, кто входил в лагерь и выходил из него, будь то вольнонаемные работники или партии заключенных, конвоируемые на работу. В лагере Пермь-36, восстановленном в первоначальном виде в качестве мемориала, вахта представляет собой огороженное с боков пространство между внутренними и внешними воротами. Пройдя через одни ворота, заключенный останавливается для обыска или проверки, и только потом его пропускают через другие.

Границу зоны определяла не только колючая проволока или забор. В большинстве лагерей на высоких сторожевых вышках дежурили вооруженные часовые. Иногда вокруг лагеря бегали собаки на цепи с кольцом, через которое была пропущена проволока, опоясывавшая всю зону. Собаки, за которых отвечали особые люди из охраны, были приучены лаять на приближающихся эков и преследовать беглецов по запаху. Барьерами для заключенных служили, таким образом, не только колючая проволока или забор, но и взгляд, запах, звук.

Еще одним барьером был страх, который удерживал заключенных в лагере лучше любого ограждения. Маргарете Бубер-Нойман держали в лагере с относительно нестрогим режимом: заключенным разрешалось “свободно перемещаться за пределами лагеря на расстоянии до полумили; дальше охранники стреляли без предупреждения”⁸. Это было необычно: в большинстве лагерей они стреляли без предупреждения гораздо раньше. Инструкция Берии от 1939 года предписывала лагерному начальству создавать по периметру лагеря запретную зону шириной в 5 метров⁹. Летом конвоиры регулярно прочесывали “запретку” граблями, а зимой на ней оставляли нетронутый снег, чтобы видны были следы. О приближении к ней обычно предупреждала табличка: “Запретная зона”. Иногда ее еще

называли “огневой зоной”, потому что часовым на вышках разрешалось стрелять в любого, кто в нее войдет¹⁰.

И все же, несмотря на колючую проволоку, заборы и собак, границы лагпунктов не были совершенно непроницаемы. Если нацистские концлагеря были, по выражению одного специалиста, “герметически закупорены”¹¹, то советская система в этом отношении отличалась от немецкой.

Прежде всего, советские заключенные подразделялись на конвойных и бесконвойных, и бесконвойным, составлявшим незначительное меньшинство, разрешалось без сопровождения выходить за вахту, выполнять вне лагеря мелкие поручения начальства, работать на неохраемых участках железных дорог и даже квартировать у местных жителей за пределами зоны. Последняя привилегия была учреждена на раннем этапе истории лагерей — в хаотическую эпоху начала 30-х¹². Хотя затем ее несколько раз строго запрещали, она продолжала существовать. Инструкция, выпущенная в 1939-м, категорически запрещала “всем без исключения заключенным проживание за зоной в деревнях, на частных квартирах или в домах, принадлежащих лагерю”. Лишь в отдельных случаях и “с согласия начальника 3-го отдела” разрешалось размещать бесконвойных заключенных в охраняемых служебных помещениях вне зоны¹³. На практике, однако, эти правила часто нарушались. Еще долгое время после выхода инструкции 1939 года в отчетах о прокурорских проверках перечислялись многообразные отступления от них. В городе Орджоникидзе, писал один проверяющий, заключенные ходили по улицам, посещали рынки, входили в квартиры местных жителей, пили и воровали. В одной колонии близ Ленинграда заключенному предоставили лошадь, на которой он скрылся. В Воронеже конвоир оставил тридцать восемь заключенных колонии № 14 стоять на улице, пока он ходил в магазин¹⁴.

Прокуратура СССР направила в сибирский лагерь, расположенный близ Комсомольска, письмо, обвиняющее лагерное начальство в предоставлении не менее чем 1763 заключенным статуса бесконвойных. В результате, гневно писала прокуратура, заключенных можно встретить в любой части города, в любом учреждении, в квартирах местных жителей¹⁵. В другом лагере, по утверждению прокуратуры, 150 заключенным в нарушение режима позволили жить на частных квартирах, что вело к “массовым случаям пьянства, хулиганства и даже грабегам местного населения”¹⁶.

И внутри зоны заключенный не был полностью лишен свободы передвижения. Одна из особенностей концлагеря, отличавших его от тюрьмы, состояла в том, что большинство лагерников, когда они не работали и не спали, могли выходить из бараков и входить в них по своему усмотрению. В нерабочее время они в определенных пре-

делах могли сами решать, чем будут заниматься. Лишь тех, кого приговаривали к каторжным работам, учрежденным в 1943 году, и тех, кто содержался в “особых лагерях МВД”, созданных в 1948-м, на ночь запирали в бараках, чем заключенные возмущались и что позднее служило поводом для восстаний¹⁷.

После тюрьмы с ее теснотой многие испытывали в лагере удивление и облегчение. Один зэк говорил о своем прибытии в Ухтпечлаг: “Настроение, между прочим, было отличное, когда на свежий воздух попали”¹⁸. Ольга Адамова-Слиозберг вспоминала, как по приезде в Магаданский лагерь новоприбывшие “целыми днями обсуждали преимущества лагерной жизни перед тюремной”: “Население лагеря (около 1000 человек) нам казалось огромным: столько людей, столько бесед, так много можно найти друзей!

Природа. Мы ходили внутри огороженной проволокой зоны и смотрели на небо, мы трели на дальние сопки, подходили к чахлым деревьям и гладили их руками. Мы дышали влажным морским воздухом, ощущали на лицах моросающий дождь, садились на влажную траву, прикасались руками к земле. Мы жили без всего этого четыре года, а оказывается, это совершенно необходимо, без этого нельзя чувствовать себя нормальным человеком”¹⁹.

Леонид Финкельштейн: “Тебя привезли, ты вышел из “воронка”, и тебя удивляют несколько вещей. Первое — что заключенные ходят взад-вперед без охраны, идут по своим делам, куда угодно. Второе — что они выглядят совершенно не так, как ты. Контраст еще сильнее чувствовался, когда я уже жил в лагере и приводили новых заключенных. У всех новичков лица были зеленые — из-за нехватки свежего воздуха, плохой еды и тому подобного. У лагерников цвет лица более или менее нормальный. Ты оказываешься среди сравнительно свободных людей, у которых не такой уж болезненный вид”.

Со временем ощущение относительной лагерной “свободы” обычно сходило на нет. В тюрьме, писал поляк Казимеж Зарод, еще можно было верить, что случилась ошибка, что вскоре придет освобождение. И, как бы то ни было, “нас по-прежнему окружали атрибуты цивилизации — тюрьма располагалась посреди большого города”. В лагере, однако, человек делался частицей, более или менее свободно движущейся внутри “диковинного сообщества <...> Исчезло всякое ощущение нормы. День ото дня меня все сильнее охватывала паника, постепенно переходившая в отчаяние. Я старался загнать ее вглубь, в подсознание, но мало-помалу мне становилось ясно, что я оказался жертвой циничного, незаконного деяния и что спасения, по-видимому, нет...”²⁰.

Что еще хуже, эта сравнительная свобода передвижения могла легко и быстро перейти в анархию. Днем в лагпункте было много конвоиров и надзирателей, однако ночью нередко почти никого не

оставалось. Один-два человека дежурили на вахте, прочие же уходили на ту сторону заграждения. К охранникам на вахте заключенные обращались только в тех случаях, когда считали, что их жизни угрожает опасность. Один мемуарист вспоминает, что после смертельной схватки между политическими и уголовниками (обычное явление в послевоенный период, как мы увидим), потерпевшие поражение уголовники “бросились к вахте и к охранным вышкам, умоляя о помощи”. На следующий день их отправили в другой лагпункт — начальство решило избежать массового убийства²¹. В других воспоминаниях рассказывается, как, боясь изнасилования (и, вполне возможно, убийства), девушка, к которой приставал уголовник, бросилась на вахту и попросила посадить ее в штрафной изолятор, а оттуда отправить в этап. “Так и сделали”²².

Вахта, однако, не гарантировала безопасности. Дежурившие там охранники не всегда реагировали на жалобы заключенных. Узнав о каком-нибудь зверстве или об издевательствах одних зэков над другими, они вполне могли просто расхохотаться. Как официальные документы, так и мемуары лагерников рассказывают о многих случаях, когда охранники встречали весть об убийстве, избиении или изнасиловании в среде заключенных безразличием или смехом. Густав Герлинг-Грудзинский так описывает ночное групповое изнасилование в одном из лагпунктов Каргопольлага: “В морозной тишине раздался короткий горловой крик, набухший слезами и приглушенный суконным кляпом. С ближайшей вышки раздался сонный голос: “Ребята, вы что, человеческого позора у вас нет”. Они стащили ее [девушку] со скамейки и, словно тряпичную куклу, поволокли за барак, в уборную”²³.

На бумаге порядок был строгим: заключенные должны находиться в зоне. Но на практике правила нередко нарушались, и жестокие поступки заключенных, о которых в лагерных правилах не говорилось, наказывались далеко не всегда.

Режим: распорядок жизни

Если перемещение зэков в пространстве контролировала зона, то их временем распоряжался режим²⁴ — совокупность правил и процедур, определявших жизнь лагеря. Колючая проволока ограничивала свободу передвижения заключенного, а его день регулировался приказами и звуковыми сигналами.

В разных лагпунктах режим различался по строгости, что отражалось как меняющиеся приоритеты, так и тип заключенных в том или ином лагере. В разное время существовали лагеря облегченного режима для инвалидов, лагеря общего режима, лагеря особого ре-

жима и лагеря строгого режима. Но в основе своей система всюду была одна и та же. Режим определял время подъема и отбоя заключенных, продолжительность сна, порядок вывода на работу, время и порядок раздачи пищи.

В большинстве лагерей день зэка официально начинался с развода — отправки бригад на работу. Людей будил звуковой сигнал “достаточной слышимости”. Второй звуковой сигнал сообщал, что время завтрака прошло и пора на развод. Заключенные строились у лагерных ворот для утренней поверки. Валерий Фрид, советский киносценарист и автор чрезвычайно красочных мемуаров, описал эту сцену: “Бригады выстраиваются перед воротами. У нарядчика в руках узкая, чисто строганная дощечка: на ней номера бригад, количество работяг. (Бумага дефицитна, а на дощечке цифры можно соскоблить стеклом и назавтра вписать новые.) Конвоир и нарядчик по карточкам проверяют, все ли на месте, и если все — бригада отправляется на работу. А если кого-то нет — задержка, пока не отловят и не приведут отказчика”²⁵.

Согласно инструкции, разработанной в Москве, поверка не должна была занимать больше пятнадцати минут²⁶. Но, конечно же, часто ждать приходилось гораздо дольше, какая бы ни была погода. Об этом пишет Казимеж Зарод: “В половине четвертого утра мы должны были стоять посреди площадки рядами по пять человек. Конвоиры часто ошибались и начинали считать заново. Зимним метельным утром это была долгая, холодная, мучительная процедура. Если конвоиры не спали на ходу и были сосредоточены, поверка обычно длилась минут тридцать, но если они обсчитывались, она могла затянуться на час”²⁷.

В некоторых лагерях принимали меры “для поднятия духа” заключенных. Снова Фрид: “У нас на “комендантском” развод шел под аккомпанемент баяна. Освобожденный от других обязанностей зек играл бодрые мелодии”²⁸. Зарод вспоминает, что утром играл целый лагерный оркестр из профессионалов и любителей: “Каждое утро у ворот стоял “оркестр” и играл военные марши, под которые мы должны были “бодро и весело” отправляться на работу. Доиграв до того момента, когда в ворота проходил хвост колонны, музыканты оставляли инструменты и, пристроившись сзади, шли вместе со всеми в лес”²⁹.

Дальше — путь на работу. Конвоиры выкрикивали свое обычное: “Шаг вправо, шаг влево считаем за побег. Конвой стреляет без предупреждения. Шагом марш!” — и заключенные рядами по пять человек трогались с места. Если идти было далеко, конвоиры сопровождали их с собаками. Вечером, после возвращения в лагерь, — примерно такая же процедура. На ужин отводился час, после чего заключенных опять строили пятерками и считали (если им везло —

один раз). Инструкцией на вечернюю поверку отводилось несколько больше времени, чем на утреннюю, — тридцать-сорок минут (возможно, потому, что побег из рабочей зоны был более вероятен, чем из жилой)³⁰. Потом — новый звуковой сигнал: отбой.

Правила и инструкции не были незыблемыми. Режим менялся — как правило, в сторону ужесточения. Жак Росси не без оснований пишет: “Основной чертой сов. пенитенциарного режима является его систематическое усиление, постепенное возведение в ранг закона первоначального произвольного садизма”³¹. На протяжении 40-х годов режим становился все более суровым, рабочий день удлинялся, выходных давали все меньше. В 1931-м заключенные, участвовавшие в Вайгачской экспедиции, работали в три смены по шесть часов. На Колыме в начале 30-х рабочий день тоже был более или менее нормальным — летом работали больше, зимой меньше³². Но за последнее десятилетие рабочий день удвоился. В конце 30-х годов, согласно воспоминаниям Е. Олицкой, женщины на швейном комбинате при Магаданском лагпункте работали “в душных, плохо вентилируемых помещениях по 12 часов в день”. На Колыме рабочий день тоже был увеличен до двенадцати часов³³. Потом Олицкая попала в строительную бригаду: рабочий день — 14–16 часов с часовым обеденным перерывом в полдень и двумя пятиминутными перерывами в десять утра и в четыре часа дня³⁴.

Это не было исключением. В 1940 году рабочий день в ГУЛАГе был официально увеличен до одиннадцати часов, и на практике он часто длился еще дольше³⁵. В марте 1942-го НКВД СССР направил всем начальникам лагерей негодующую директиву, напоминавшую им о том, что “продолжительность сна для заключенных не должна быть менее 8-ми часов”. В ряде лагерей и колоний, говорилось в директиве, это правило грубо нарушается: заключенные спят по 4–5 часов. В результате, констатировала Москва, “заключенные теряют работоспособность, переходят в категорию слабосильных, инвалидов и т. д.”³⁶.

Но требования к заключенным все возрастали, особенно в годы войны, когда нужны были рабочие руки. В сентябре 1942-го начальство ГУЛАГа официально увеличило рабочий день заключенных, работавших на строительстве аэродромных сооружений, до двенадцати часов с часовым перерывом на обед. Подобное происходило по всей стране. Во время войны в Вятлаге работали по шестнадцать часов в день³⁷, летом 1943-го в Воркуте — двенадцать часов (правда, в марте 1944 года рабочий день там был сокращен до десяти часов, вероятно, из-за высокой смертности и заболеваемости)³⁸. Сергей Бондаревский, работавший в годы войны в “шарашке”, пишет об одиннадцатичасовом рабочем дне с перерывами. Как правило, он трудился с восьми утра до двух дня, затем с четырех до семи, затем с восьми до десяти вечера³⁹.

В любом случае правила часто нарушались. Один бывший заключенный описывает труд на колымском золотом прииске: норма — 150 тачек породы в день, работа — до выполнения, то есть иной раз далеко за полночь. Потом в лагерь, похлебать баланду, и в пять утра подъем⁴⁰. В конце 40-х годов администрация Норильлага использовала такой же подход. Один бывший лагерник, копавший котлован в вечной мерзлоте, вспоминал, что в конце двенадцатичасового рабочего дня наверх лебедкой поднимали только тех, кто выполнил норму. Не выполнил — остаешься внизу⁴¹.

Перекуров было немного. В лагерных воспоминаниях о работе на ткацкой фабрике в годы войны читаем: “В шесть мы должны были быть на фабрике. В десять — пятиминутный перекур: хочешь курить — беги метров за двести в подвал, больше нигде на территории фабрики этого делать нельзя. Нарушитель мог получить два лишних года срока. В час дня — получасовой обеденный перерыв. С маленькой миской в руке надо было сломя голову нестись в столовую, там отстоять длинную очередь, получить отвратительное соевое кушанье, от которого у большинства были нелады с желудком, и, кровь из носу, быть в цеху, когда станки снова начнут работать. Затем, не покидая рабочих мест, мы сидели до семи вечера⁴².”

Количество выходных дней тоже было регламентировано. Обычным энкам полагался один выходной в неделю, приговоренным к строгому режиму — два в месяц. Но эти правила соблюдались далеко не всегда. Еще в 1933 году Москва разослала директиву, напоминающую начальникам лагерей о необходимости предоставлять заключенным дни отдыха, которые в пылу борьбы за выполнение плана то и дело отменялись⁴³. Десять лет спустя положение оставалось таким же. Во время войны Казимеж Зарод получил один выходной в десять дней⁴⁴. Другой заключенный — всего один выходной в месяц⁴⁵.

Согласно воспоминаниям Густава Герлинга-Грудзинского, у него свободных дней было еще меньше: “По лагерным правилам, заключенным полагается отдых раз в десять дней. Практика, однако, показала, что, празднуя выходной даже раз в месяц, энки наносят огромные потери выполнению лагерного производственного плана. Поэтому установился обычай, согласно которому выходной торжественно объявлялся, когда лагерь достигал своего максимума в выполнении квартального плана. <...> Мы, разумеется, не имели доступа ни к плану, ни к производственным показателям, и этот молчаливый уговор был фикцией, полностью отдававшей нас на милость лагерной администрации”⁴⁶.

И даже в столь редкие выходные дни заключенных иногда заставляли убирать лагерную территорию и бараки, чистить уборные, разгребать снег⁴⁷. На этом фоне особенно сильное впечатление про-

изводит один приказ Лазаря Когана, начальника Дмитлага. Озабоченный состоянием лагерных лошадей, Коган начал с констатации: “Увеличившаяся за последний месяц заболеваемость и падеж лошадей есть результат ряда причин, основными из которых являются перегрузка лошадей непосильной работой, в тяжелых дорожных условиях, и отсутствие полного и регулярного отдыха для восстановления сил лошади”. Далее идут конкретные указания:

“1. Время работы лошади не должно превышать 10 часов, не считая обязательного 2-х часового перерыва для отдыха и подкормки, среди рабочего дня.

2. Средне-суточный пробег не должен превышать 32 км.

3. Отдых лошади должен носить регулярный (каждый 8-й день) характер и быть полным”⁴⁸.

О необходимости давать отдых людям речь, увы, не идет.

Бараки: жилое пространство

Большинство заключенных в большинстве лагерей жили в бараках. Редко, однако, бараки сооружались заблаговременно — до приезда первых энков. Те, кому выпадало строить новый лагерь, ночевали в палатках или землянках. Как поется в арестантской песне,

Мы ехали долго и скоро.
Вдруг поезд, как вкопанный, стал.
Вокруг — только лес да болота.
Вот здесь будем строить канал⁴⁹.

Ивана Сулимова, который в 30-е годы был заключенным Воркутлага, выгрузили вместе с другими энками на “ровной площадке заполярной тундры”. Они развели костры, поставили палатки и начали сооружать “зону из четырех вышек для часовых и забора из горбылей, опутанную колючей проволокой”⁵⁰. Поляку Янушу Семинскому, попавшему на Колыму после войны, тоже пришлось строить новый лагпункт “с нуля”. Дело было среди зимы. Ночевали на голой земле. Многие энки умерли — особенно те, что проиграли битву за место у костра⁵¹. В декабре 1940-го заключенные, прибывшие в Прикаспийский лагерь в Азербайджане, тоже спали, как писал возмущенный прокурор, “под открытым небом на сырой земле”⁵². Такой образ жизни не всегда был временным. Даже в 1955 году в некоторых лагерях люди еще жили в палатках⁵³.

Бараки (если они были) неизменно представляли собой чрезвычайно примитивные деревянные строения. Их конструкция в общих чертах определялась директивами Москвы, поэтому описания барачных строений схожи между собой: один бывший заключенный за другим

вспоминает длинные прямоугольные деревянные постройки без внутренней и внешней обшивки стен, где трещины замазывались глиной. Внутри — нары. Иногда был грубо сколоченный стол и скамейки, иногда не было⁵⁴. На Колыме и в других местах, если древесины было мало, бараки строили из кирпичей или камня — разумеется, тоже наспех и тоже задешево. Использовались старинные способы утепления. На фотографиях, сделанных зимой 1945 году в Воркутлаге, бараков почти не видно: их скошенные крыши спускаются очень низко, и скапливающийся снег защищал помещение от холода⁵⁵.

Часто жили не в бараках, а в землянках. А. П. Евстюничев так описывает землянку в Карелии в начале 40-х годов: “Землянка — это расчищенная от снега площадка, снят верхний слой земли, из круглых неотесанных бревен сделаны стены и крыша. И все это сооружение засыпано землей и снегом. Вход в землянку занавешивался брезентом. Передняя часть у входа в землянку ничем не занята. В одном его углу стояла бочка с водой. Посредине металлическая печка — бочка из-под бензина с выведенной трубой через крышу и дверкой сбоку”⁵⁶.

Во временных лагпунктах, которые создавались у строящихся дорог, землянки были обычным явлением. Как я уже писала в главе 4, оставшиеся от них углубления и сегодня видны у обочин северных дорог и на речном берегу близ старой части Воркуты. Иногда заключенные жили и в палатках. В мемуарах Сулимова, где речь идет о рождении Воркутлага, рассказано об установке за два-три дня пятнадцати больших палаток на 100 человек каждая с трехъярусными нарами⁵⁷.

Что касается бараков, то в реальности они редко соответствовали даже тем низким стандартам, которые установила для них Москва. Почти всегда в них было чрезвычайно тесно, даже после того как сошел на нет хаос конца 30-х. В отчете о проверке двадцати трех лагерей в 1948 году серdito отмечено, что в большинстве из них “на одного заключенного приходится не более 1–1,5 кв. метров жилой площади” и не выполняются нормы санитарии: “заключенные не имеют отдельных спальных мест, постельных принадлежностей”⁵⁸. Иногда было еще теснее. Маргарете Бубер-Нойман писала, что, когда ее привезли в лагерь, спать в бараках было совершенно негде и ей пришлось провести первые несколько ночей на полу умывальной комнаты⁵⁹.

Для спанья обычно служили так называемые вагонки — двухъярусные нары, составленные так, что получалось как бы железнодорожное купе на четверых (отсюда и название). Но часто заключенные спали на еще более примитивных сплошных нарах, против чего постоянно возражали проверяющие, считавшие этот способ ночевки

негигиеничным. В 1948-м Москва распорядилась немедленно заменить сплошные нары вагонками⁶⁰; однако Алла Андреева, которая отбывала срок в Мордовии в конце 40-х и начале 50-х годов, спала на сплошных нарах и вспоминала, что многие спали под ними на полу.

Постельные принадлежности тоже сильно различались от лагеря к лагерю, несмотря на строгие инструкции Москвы (предъявлявшие, однако, к лагерям довольно скромные требования). Заключенному полагалось одно новое полотенце в год, одна наволочка в четыре года, простыня раз в два года и одеяло раз в пять лет⁶¹. На практике же, писала Элинор Липпер, заключенный получал “так называемый соломный матрас”.

“В нем не было соломы и очень редко было сено, потому что сена не хватало для скота; вместо этого в матрас клали стружки и тряпки, если у заключенного находились тряпки. Еще — шерстяное одеяло и наволочка, которую ты мог набивать чем угодно, потому что подушек не было”⁶².

Некоторым не доставалось и этого. Даже в 1950 году востоковед Исаак Фильштинский, арестованный в 1948-м, использовал в Каргопольлаге вместо подушки телогрейку, а укрывался бушлатом.

В приказе от 1948 г. говорилось также, что полы в бараках должны быть не земляные, а деревянные. Но и в 50-е годы в бараке, где жила Ирена Аргинская, пол был глинобитный⁶³. И даже деревянный пол зачастую нельзя было толком очистить, потому что не было щеток. После войны одна полячка, описывая пережитое по запросу комиссии, рассказывала, что в ее лагере уборкой бараков и отхожих мест занимались ночные дежурные: “Грязь на полу барака приходилось отскребывать ножом. Русские женщины приходили в бешенство из-за нашего неумения это делать и спрашивали, как же мы жили дома. Им в голову не приходило, что даже самый грязный пол можно очистить щеткой”⁶⁴.

Отопление и освещение были столь же примитивны, но и в этом отношении разница между лагерями могла быть значительной. Один бывший заключенный вспоминал, что в бараках было очень темно: “Электрические лампочки блестели желто-бледными, чуть заметными точками, а керосиновые — чадили и тухли”⁶⁵. Другие жаловались на противоположное — на то, что свет горел всю ночь и мешал спать⁶⁶. В некоторых лагерях близ Воркуты с отоплением проблем не было, потому что можно было приносить в барак куски угля из шахты; вместе с тем Сусанна Печуро, вспоминая Интлаг, говорила: “Утром просыпаешься — и волосы примерзают к нарам, и все совершенно замерзшее, и вода в ведре, которая там стоит для питья”. Водопровода в бараках не было, воду приносили дневальные — старые женщины, не пригодные к более тяжелой работе. Они же убирали в бараке и присматривали за вещами в течение дня⁶⁷.

Вдоль нар и столов, всюду, где можно было что-нибудь повесить, сушилось огромное количество сырой и грязной одежды, и вонь в бараках стояла страшная. В особых лагерях, где бараки запирались на ночь и на окнах стояли решетки, ночью, по словам Ирены Аргинской, было “почти невозможно дышать”.

Усугубляло дело отсутствие в бараках уборных. Там, где двери барачных на ночь запирались, ставили, как в тюрьме, параша. Одна бывшая лагерница писала, что “дежурные должны были рано утром выносить парашу — громадный чан. Поднять его было немислимо, и его тащили волоком по скользкой дороге. Содержимое неминуемо выплескивалось”⁶⁸. Галина Смирнова, арестованная в начале 50-х, вспоминала: “Если что-нибудь серьезное — терпи до утра, иначе ужасная вонь. <...> Днем туалеты — деревянные дырки на улице, 30–40 градусов мороза или жара, все равно”.

Томас Сговио: “Перед каждым барачком воткнули в землю, чтобы он не мерз, деревянный шест. Очередной приказ! Отныне мочиться на территории лагеря разрешалось только в отхожем месте или на шест, к верхушке которого была привязана белая тряпка. Нарушителю — десять суток штрафного изолятора. <...> Приказ появился потому, что некоторые заключенные, не желая ночью идти в отхожее место, до которого было далеко, справляли нужду прямо на протоптанные в снегу дорожки. Весь снег был в желтых пятнах. Когда поздней весной он таял, вонь была ужасающая. <...> Два раза в месяц мы скалывали с шестов ледяные пирамиды и на тачках вывозили куски за зону...”⁶⁹.

Грязь и теснота создавали не только эстетические проблемы, и дело не сводилось к одному лишь дискомфорту. Переполненные нары и нехватка пространства могли становиться причиной смерти человека — особенно в лагерях, где работали по двадцатичетырехчасовому графику. В одном таком лагере, где работа была организована в три смены, по словам одного мемуариста, спящие в бараке были в любое время суток. Борьба за возможность поспать была борьбой за жизнь. Из-за места для сна ругались, бывало, что и убивали друг друга. А радио в бараке орало в полную силу, поэтому его ненавидели⁷⁰.

Из-за того что условия сна имели столь важное значение, они всегда были важным средством контроля над заключенными, и лагерное начальство сознательно использовало их в этом качестве. В центральном московском архиве гулаговские архивисты бережно сохранили фотографии барачных разных типов, предназначенных для разных категорий эков. В бараках “отличников” — кровати на одного человека с матрасами и одеялами, дощатые полы, картинки на стенах. Заключенные хоть и не улыбаются в объектив, но не выглядят голодными и заняты чтением газет. А вот в режимных бараках для

проштрафившихся — грубые деревянные нары. Даже на снимках, сделанных с пропагандистскими целями, на этих нарах нет матрасов и эски укрываются одним одеялом на двоих⁷¹.

В некоторых лагерях этикет, окружавший условия сна, стал довольно замысловатым. Пространство было в таком дефиците, что обладание им и возможность уединиться считались колоссальной привилегией и были достоянием лагерной “аристократии”. Заключенным высшего разряда — бригадирам, нормировщикам и так далее — нередко отводились места в бараках меньшего размера, с меньшим количеством людей. Солженицын, назначенный по приезде в московский лагерь “заведующим производством”, получил место в “особой комнате”: “...вместо вагонок — обыкновенные кровати, тумбочка — одна на двоих, а не на бригаду; днем дверь запиралась и можно было оставлять вещи; наконец, была полулегальная электрическая плитка и не надо было ходить толпиться к большой общей плите во дворе”⁷².

Такое считалось роскошью. Некоторые сравнительно “престижные” должности — плотника, инструментального мастера — иногда давали желанную возможность ночевать в мастерской. Анна Розина, работавшая в Темлаге в сапожной мастерской, в ней и спала; к тому же ей разрешали чаще ходить в баню, что тоже было большой привилегией⁷³.

Почти в каждом лагере заключенные врачи тоже имели особый статус и ночевали отдельно. Хирург Исаак Фогельфангер, имевший право спать в “камерке около приемного покоя” лагерной больницы, чувствовал себя из-за этого привилегированным: “Когда я ложился, мне казалось, что луна улыбается мне в окно”. В той же камерке спал и лагерный фельдшер⁷⁴.

Иногда особые условия предоставляли инвалидам. Актрисе Татьяне Окуневской удалось попасть в инвалидный лагерь в Литве, где “барак, как на Пуксе, длинный, но много окон, светлый, чистый, и нет над головой верхних нар”⁷⁵. Но лучше всех были устроены талантливые инженеры и ученые, работавшие в “шарашках”. В подмосковной “шарашке” в Болшеве бараки были просторные, светлые, чистые и обогревались не буржуйками, а печами-голландками. Были подушки, одеяла и постельное белье, свет на ночь выключался, и работал душ⁷⁶. Но заключенные, жившие в этих особых условиях, конечно, понимали, что легко могут лишиться всех привилегий, и это заставляло их работать изо всех сил.

В лагерях часто устанавливалась и другая иерархия — неформальная. В большинстве барачных решения о том, кто где будет спать, принимала самая сильная и сплоченная группа заключенных. До конца 40-х годов, когда набрали силу крупные национальные груп-

пы — украинцы, прибалтийцы, чеченцы, поляки, — лучше всех организованы были, как мы увидим, уголовники. Поэтому они обычно захватывали места на верхних нарах, где было теплее и просторнее; чужаков спихивали вниз. Зэки второго разряда спали на нижних нарах, но были и такие, кто лежал на полу. Они страдали больше всех; один бывший заключенный вспоминал, что сверху на них текла моча “урок”: “Больше всего попадало тем, которые спали под нижними нарами. Этот этаж назывался “колхозным сектором”. Урки загоняли сюда колхозников, разных интеллигентных стариков, духовенство и даже “своих” в наказание за нарушение их блатной “морали”.

Сюда текло не только с верхних и нижних нар; урки выливали сюда помои, воду, вчерашнюю баланду. И “колхозный сектор” должен был терпеливо все это переносить, ибо за жалобы выливалось на него еще больше всяких нечистот. <...> Люди болели, задыхались, теряли сознание, сходили с ума, умирали от тифа, дизентерии, кончали жизнь самоубийством”⁷⁷.

Заключенному, даже политическому, могла, однако, вдруг улыбнуться удача. Поляка Кароля Колонна-Чосновского, работавшего в лагере фельдшером, выхватил из барачной тесноты блатной “босс” Гриша: “Он царственно наподдал ногой одному из своих приближенных, и тот, восприняв пинок как приказ освободить мне место, немедленно сделал это. Я был смущен и сказал, что мне вовсе не хочется сидеть так близко к печке, но воля хозяина была законом: я понял это по могучему толчку со стороны другого урки из Гришиной свиты”. Миг спустя он обнаружил, что сидит у ног Гриши. “Он явно хотел, чтобы тут я и оставался...”⁷⁸. Колонна-Чосновский не стал спорить. Место, на котором человек сидел (или лежал) даже несколько часов, имело большое значение.

Баня

От грязи, тесноты и антисанитарии плодились клопы и вши. В 30-е годы в “Перековке” (так называлась газета строителей канала Москва — Волга) была помещена “сатирическая” карикатура: зэк получает белье после стирки. Подпись гласит: “В бане с водой дела плохи. Дадут “чистое”, а там вши да блохи”. Подпись под другой карикатурой: “А во время сна в бараке клопы впиваются, как черные раки”⁷⁹. С годами бедствие не уменьшалось. Один поляк вспоминал своего лагерного друга времен войны, которого эта живность чрезвычайно занимала: “Как биолога его интересовало, сколько вшей может сосуществовать на данном участке. На своей рубашке он насчитал шестьдесят, час спустя к ним добавилось еще шестьдесят”⁸⁰.

Руководители ГУЛАГа понимали опасность тифа, переносчиком которого были вши, и в 40-е годы, по крайней мере на бумаге, вели постоянную борьбу с паразитами. Раз в десять дней, согласно инструкции, обязательная баня. Вся одежда по идее должна была подвергаться дезинфекции — первый раз по приезде зэка в лагерь, затем с регулярными интервалами⁸¹. Как мы уже знаем, лагерные парикмахеры брили новоприбывших всюду, где на теле росли волосы; мужчинам регулярно брили головы. В списки довольствия заключенных постоянно включалось мыло, хотя и в мизерных количествах; в 1944 году, например, на зэка полагалось 200 граммов мыла в месяц. Женщинам, лагерным детям и пациентам лагерных больниц давали дополнительно 50 граммов, “малолеткам” — 100 граммов, заключенным, занятым на “особо грязных работах”, 200 граммов. Этого должно было хватать на поддержание личной чистоты и на мелкую стирку⁸². (Дефицит мыла как в лагерях, так и вне их сохранялся еще долго. Даже в 1991 году его нехватка стала одной из причин забастовки советских шахтеров.)

Не все, однако, были убеждены в эффективности лагерной дезинфекции. На практике, как писал один бывший заключенный, “баня, казалось, лишь увеличивала половую активность вшей”⁸³. Варлам Шаламов куда более категоричен. Дезинфекционная камера, пишет он, “никаких вшей не убивает. Это одна проформа и аппарат создания дополнительных мук для арестанта”⁸⁴.

Формально Шаламов неправ. Дезинфекция не была задумана как способ пытки — как я уже сказала, Москва издавала очень строгие распоряжения о борьбе с паразитами, и во многих документах ГУЛАГа содержится очень резкая критика начальников лагерей и лагпунктов, не сумевших эту борьбу организовать. В приказе по Управлению Дмитлага за 1933 год говорится, что в женских бараках одного из лагпунктов “грязно, постельные принадлежности в беспорядке, женщины жалуются на массу клопов, с коими Санчасть никакой борьбы не ведет”⁸⁵. В документах прокуратуры, касавшихся подготовки ряда северных лагерей к зиме 1940—1941 годов, с негодованием говорится, что в Буреинском ИТЛ “санитарно бытовые условия заключенных плохие, вшивость в бараках, клопы, что отрицательно действует на отдых заключенных”. В Новосибирском ИТЛ большая завшивленность. В одном лагпункте вши обнаружены у 100 процентов заключенных. “В результате плохого санитарного состояния лагеря имеется большое количество кожных и желудочно-кишечных заболеваний. <...> Из приведенного видно, что антисанитарное состояние лагеря обходится очень и очень дорого”.

В другом лагпункте, гневно продолжали авторы документа, было две вспышки тифа; заключенные там ходят черные от грязи⁸⁶. Жалобы на засилье вшей и негодующие требования избавиться от них из

года в год звучали в отчетах, представлявшихся гулаговскими прозекторами⁸⁷. После вспышки сыпного тифа в Темлаге в 1937-м начальник лагпункта и заведующий медсанчастью были сняты с должностей, обвинены в “преступной беспечности и бездеятельности” и отданы под суд⁸⁸. Попытались использовать не только кнут, но и пряник: в 1933 году в Дмитлаге объявили, что за успешную борьбу с клопами лагерники будут премироваться⁸⁹.

Отказ заключенных от мытья воспринимался очень серьезно. Ирена Аргинская, которая в начале 50-х была в особом лагере для “политических” в Кенгире, рассказывала, что женщины, принадлежавшие к одной из религиозных сект, ни за что не хотели мыться. Их мыли насильно: “Я болела и получила освобождение от работы. И в тот момент, когда я болела, прошли надзирательницы и сказали: “Все больные мыть монашек”. Картина была такая: к их секции подвезли телегу, и мы начали их выносить и складывать на эту телегу. Они очень возражали, они нас кусали, били и прочее. Но тем не менее, когда их клали, они уже лежали тихо. Потом мы сами впряглись в эту телегу и довезли их до бани. Там мы их вынимали из этой телеги, раздевали, и это было самое ужасное, потому что часто себе позволять такие вещи лагерное начальство не могло, поэтому с нее снимаешь одежду, а с нее прямо сыпятся вши. Потом их складывали под душ, пускали воду, и мы их мыли. А в это время их одежда прожаривалась”.

Аргинская, кроме того, вспоминает, что в Кенгире “в принципе в баню можно было ходить свободно”. Леонид Ситко, который до ГУЛАГа был военнопленным в Германии, рассказывал в интервью, что в Степлаге и Минлаге “можно было помыться в любое время, там можно было и стирать; вшей, в отличие от немецкого лагеря, не было”. Иной раз на предприятии, где работали заключенные, был душ, и им можно было тайком или открыто воспользоваться. Так поступал Исаак Фильштинский, сидевший в Каргопольлаге, где в бане, куда водили бригадами, всегда не хватало горячей воды.

Так или иначе, в словах Шаламова, который был крайне низкого мнения о лагерной гигиене, есть доля истины. Несмотря на все инструкции, требовавшие серьезного отношения к мытью и дезинфекции, местное лагерное начальство часто подходило к ним формально и не заботилось о результате. Либо не хватало угля, чтобы поддерживать в дезинфекционной камере нужную температуру; либо те, кто отвечал за гигиену, работали спустя рукава; либо месяцами не завозили мыла; либо завозили, но запасы разворовывались. В колымском лагпункте Дизельная “во время банных дней каждому заключенному давали маленький ломтик мыла и большую кружку теплой воды. Как быть? Сливали человек пять-шесть свои кружки в одну шайку и этой водой обходились — и намыливались и обмывались”.

В лагпункт Сопка вода “доставлялась, как многие грузы, по бремсбергу и узкоколейке, а зимой добывалась из снега. Но там и снега почти не было, его сдувало ветром. <...> Работяги приходили из шахты все в пыли, а воды в умывальниках не было”⁹⁰.

На помывку обычно отводилось всего несколько минут⁹¹. В 1941-м в одном из лагпунктов Сиблага инспектор, к своему возмущению, обнаружил, что из-за халатности начальства заключенные не мылись два месяца⁹². В наихудших лагерях бесчеловечное отношение к энкам приводило к тому, что мытье для них превращалось в пытку. Банные ужасы описывают многие, но ярче всех — тот же Шаламов, посвятивший колымским баням целый очерк. Несмотря на усталость, заключенным приходилось ждать там очереди часами: “В баню ходят или после работы, или до работы. А после многих часов работы на морозе (да и летом не легче), когда все помыслы и надежды сосредоточены на желании как-нибудь скорей добраться до нар, до пищи и заснуть — банная задержка почти невыносима”.

Вначале энки долго стоят в очереди на морозе. Затем их пускают в раздевалку — до сотни человек в помещение, рассчитанное на десять-пятнадцать. В бараках тем временем идет уборка, при которой выбрасывается все “лишнее”, чем они обзавелись, — запасные рукавицы, портянки и тому подобное: “Человеку свойственно быстро обрастать мелкими вещами, будь он нищий или какой-нибудь лауреат — все равно. <...> Обрастает так и арестант. Ведь он рабочий — ему надо иметь и иголку, и материал для заплат, и лишнюю старую миску, может быть. Все это выбрасывалось, и после каждой бани все вновь заводили “хозяйство”, если не успевали заранее забить все это куда-нибудь глубоко в снег, чтобы вытащить через сутки”.

В самой бане всегда не хватало воды — помыться толком было невозможно. Людям давали деревянную шайку “не очень горячей воды”, которую остужали кусками льда. Лишней воды ни у кого не было, “да и покупать ее никто не может”. Не хватало и тепла; ощущение холода “усугубляется тысячей сквозняков из дверей, из щелей. <...> Каждая баня — это риск простуды...”. Баня отличалась еще и “гулом, дымом, криком и теснотой (кричат, как в бане — это бытующее выражение)”⁹³.

Эту адскую сцену описывает и Томас Стовиио, по словам которого заключенных на Колыме иногда приходилось гнать в баню кулаками: “Ожидание своей очереди за дверью на морозе, потом холодный предбанник, обязательная дезинфекция и окуливание одежды, которая сваливается в общую кучу, — попробуй потом найди свое — драки и вопли: “Это моя телогрейка, сволочь!” — разбор сырого белья с гнидами в швах, бритье подмышек и лобков, и, наконец, когда приходит наша очередь мыться, деревянная шайка, котелок холодной воды, котелок горячей и кусочек черного вонючего мыла...”⁹⁴.

Шаламов так описывает унижительный процесс получения белья после мытья: “Задолго до раздачи вымывшиеся толпой собираются к этому окошечку. Судят и рядят о том, какое белье выдавалось в прошлый раз, какое белье выдавали пять лет назад в Бамлаге...”⁹⁵.

Поблажки в отношении мытья неизбежно становились частью общей системы лагерных привилегий. К примеру, в Темлаге заключенным, занятым на определенных должностях, разрешалось мыться чаще⁹⁶. Работа в бане, дававшая доступ к чистой воде и возможность допускать или не допускать к ней других, была в лагерях одной из самых вожделенных. В конечном счете вопреки всем строжайшим распоряжениям Москвы, лагерная гигиена, здоровье заключенных и предоставляемые им удобства целиком зависели от местных обстоятельств и прихотей начальства.

Так выглядела одна из сторон лагерного быта — быта, вывернутого наизнанку, превращавшего простое удовольствие в “отрицательное событие для заключенных, отягчающее их быт”. Это наблюдение Шаламова есть, по его же словам, “одно из свидетельств того смещения масштабов, которое представляется самым главным, самым основным качеством, которым лагерь наделяет человека...”⁹⁷.

Столовая

Обширная литература о ГУЛАГе содержит много описаний разнообразных лагерей и отражает опыт многих не похожих друг на друга людей. Но одна принадлежность лагерной жизни кажется постоянной, кто бы о ней ни писал, о каком бы лагере или периоде ни шла речь. Это баланда, которую заключенные получали раз, а иногда и два раза в день.

Все бывшие эки сходятся на том, что вкус поллитровой порции лагерного супа был омерзителен. По консистенции он был водянистым, по содержанию — подозрительным. Галина Левинсон писала, что часто он был сварен “из гнилой капусты и картошки, иногда с кусочком трески, иногда с селедочной головой”⁹⁸. Барбара Армонас вспоминала про баланду с “кусочками легкого или рыбьими жабрами и несколькими ломтиками картошки”⁹⁹. Леонид Ситко сказал, что суп всегда был очень жидкий, без мяса. Даже Лазарь Коган, возглавлявший строительство канала Москва — Волга, в одном приказе посетовал: “Некоторые повара работают так, как будто они готовят не для советской столовой, а для обжорки. От такого отношения к делу получается иногда негодная, а чаще невкусная и однообразная пища”¹⁰⁰.

Так или иначе, голод — великая сила: суп, в нормальных условиях несъедобный, заключенные, большинство которых страдало от

нехватки пищи, съедали подчистую. Голод не был случайностью: людей держали впроголодь специально, потому что паек, наряду с регламентацией времени и жизненного пространства, был одним из важнейших средств воздействия начальства на эков.

Поэтому определение пищевого довольствия лагерников превратилось в сложную науку. Точные нормы для разных категорий заключенных и лагерных работников устанавливались в Москве и часто менялись. Руководители ГУЛАГа постоянно уточняли цифры, высчитывали и пересчитывали минимальное количество еды, необходимое заключенному, чтобы он мог работать. Начальники лагерей то и дело получали на этот счет новые инструкции — пространные, сложные документы, написанные тяжелым бюрократическим языком.

Типичен, к примеру, приказ от 30 октября 1944 г. об изменении норм питания. Приказ определял “гарантированную” норму для большинства заключенных: 550 граммов хлеба в день, 8 граммов сахара, плюс другие продукты по списку, предназначенные для приготовления утренней каши, дневной баланды и ужина: 75 граммов крупы или макарон, 15 граммов мяса или мясопродуктов, 55 граммов рыбы или рыбопродуктов, 10 граммов жиров, 500 граммов картофеля и овощей, 15 граммов соли, 2 грамма суррогатного чая.

Список был снабжен примечаниями. Лагерному начальству предписывалось уменьшать хлебный паек заключенным, выполняющим норму менее чем на 75 процентов, — на 50 граммов, выполняющим норму менее чем на 50 процентов — на 100 граммов. Вместе с тем за перевыполнение нормы полагалась надбавка: 50 граммов крупы, 25 граммов мяса, 25 граммов рыбы и прочее¹⁰¹.

Для сравнения, в 1942 году, когда положение с продовольствием по всей стране было гораздо хуже, лагерному охраннику полагалось в день 700 граммов хлеба, почти килограмм овощей и 75 граммов мяса с особыми надбавками для работающих в условиях высокогорья¹⁰². В шарашках во время войны заключенных кормили лучше, чем в лагерях: там полагалось 800 граммов хлеба и 50 граммов мяса. Вдобавок — 15 сигарет в день плюс спички¹⁰³. Нормы питания для беременных женщин, несовершеннолетних заключенных, военнопленных, вольнонаемных рабочих, детей, содержащихся в детских учреждениях при лагерях, были чуть выше¹⁰⁴.

Некоторые лагеря вводили более тонкие градации. В июле 1933-го начальство Дмитлага выпустило приказ, определявший разные нормы питания для заключенных, выполняющих норму менее чем на 79 процентов, на 80–89, на 90–99; на 100–109, на 110–124, на 125 процентов и более¹⁰⁵.

Разумеется, необходимость точно выделять питание разным группам заключенных, состав которых иной раз менялся день ото

дня, требовала немалой бюрократической работы, с которой лагерям зачастую трудно было справляться. Приходилось иметь под рукой большие папки с инструкциями, определяющими, кого как кормить в том или ином случае. Даже в небольших лагпунктах велся подробный ежедневный учет выполнения нормы каждым заключенным и, соответственно, пайка, на который он имел право. Например, в небольшом лагпункте Кедровый Шор (это было одно из сельскохозяйственных подразделений Интлага) в 1943 году использовалось по меньшей мере тринадцать норм питания. Лагерный счетовод (скорее всего, заключенный) определял, по какой норме будет получать еду каждый из тысячи заключенных лагпункта. На многочисленных длинных, разграфленных от руки карандашом листах бумаги он чернилами писал фамилии и номера¹⁰⁶.

В более крупных лагерях справляться с бумажной работой было еще труднее. Бывший главный бухгалтер ГУЛАГа А. С. Наринский пишет о том, как начальство одного лагеря, строившего железную дорогу на севере, решило выдавать заключенным талоны на питание в зависимости от дневной выработки. Но в лагерной системе хронически не хватало бумаги и с талонами возникли затруднения. За неимением лучшего использовались автобусные билеты, в доставке которых однажды случился трехдневный перебой, который грозил «дезорганизовать все питание заключенных»¹⁰⁷.

Доставка продовольствия зимой тоже была проблемой, особенно в те лагеря, где не было своих пекарен. «Погруженный в товарные вагоны еще теплый хлеб, — пишет Наринский, — за 400 километров пути на 50-градусном морозе так замерзал, что он становился недоступен не только человеческим зубам, но и топору»¹⁰⁸. Несмотря на рассылку сложных инструкций, касающихся хранения зимой скудных северных запасов картофеля и овощей, немалая их часть замерзала и становилась несъедобной. Летом протухали мясо и рыба, портились другие продукты. Продовольственные склады сгорали или в них во множестве заводились крысы¹⁰⁹.

Многие лагеря создавали свои земледельческие или животноводческие совхозы, но они чаще всего работали плохо. В одном приказе, касающемся работы такого совхоза, среди прочих проблем указаны нехватка технически грамотного персонала, отсутствие запчастей для трактора, отсутствие скотных дворов и плохая готовность к посевной кампании¹¹⁰.

Неудивительно, что заключенные, даже если они не голодали, почти всегда страдали от недостатка витаминов. На эту проблему лагерное начальство обращало некоторое внимание. В отсутствие витаминных препаратов заключенных часто заставляли пить отвратительный на вкус и сомнительный по лечебным свойствам хвойный отвар¹¹¹. Для сравнения, нормы довольствия для офицеров и ря-

довых красноармейцев, служащих в отдаленных местностях, включали витамин С и сухофрукты для компенсации нехватки витаминов в обычном рационе. Генералам, адмиралам и офицерскому составу полагались, кроме того, сыр, икра, рыбные консервы и яйца¹¹².

Сама по себе раздача супа в условиях северной зимы была сопряжена с трудностями, особенно если дело происходило днем на рабочем «объекте». В 1939 году В. Горохова, которая была лагерным врачом на Колыме, подала начальнику лагеря рапорт, где указала, помимо прочего, что у заключенных, которые вынуждены обедать под открытым небом, во время еды замерзает суп¹¹³. Сказывалась на раздаче еды и перенаселенность лагерей: один заключенный вспоминает, что в лагпункте на прииске Мальдык близ Магадана было одно раздаточное окошко на 700 с лишним человек¹¹⁴.

На питание влияли и внешние по отношению к ГУЛАГу события: например, во время Второй мировой войны поставки продовольствия нередко прекращались совсем. Наихудшими были 1942 и 1943 год, когда еды не хватало повсюду (ГУЛАГ, разумеется, снабжался отнюдь не в первую очередь). Бывший колымский заключенный Владимир Петров вспоминает пять дней, в течение которых продовольствие в лагерь не привозили вообще: «На прииске начался самый настоящий голод. Пять тысяч человек не получали ни куска хлеба».

Ложек и посуды тоже постоянно не хватало. Петров пишет: «Суп, который выдавали теплым, успевал покрыться льдом, пока человек ждал очереди воспользоваться ложкой. Видимо, поэтому большинство предпочитало обходиться без ложек»¹¹⁵. Другая заключенная считала, что спасла свою жизнь, выменяв на хлеб «поллитровую эмалированную кружку <...> Если у тебя есть своя посуда, ты получаешь первым вершки — а жир-то весь сверху; последнему остается одна муть. Другие ждут, пока освободится твоя посуда. Поел — передаешь другому, тот — третьему»¹¹⁶.

Другие заключенные делали миски и ложки из дерева. В маленьком музее при московском обществе «Мемориал» выставлено несколько этих трогающих душу предметов¹¹⁷. Как всегда, центральной администрации ГУЛАГа было хорошо известно об этих нехватках, и эпизодически она пыталась что-то предпринять: начальство одного лагеря, например, удостоилось похвалы за использование для изготовления посуды пустых консервных банок¹¹⁸. Но даже если миски и ложки имелись, часто не было возможности их помыть; между тем один из приказов по Дмитлагу категорически запрещал работникам кухни раскладывать еду в грязную посуду¹¹⁹.

По всем этим причинам разработанные в Москве нормы пищевого довольствия, сами по себе рассчитанные на необходимый для выживания минимум, не дают достоверного представления о том,

как питались заключенные на самом деле. То, что советские лагерники сильно голодали, явствует не только из их воспоминаний. Прокуратура периодически проводила проверки лагерей, и в ее архивах сохранились сведения о том, чем людей кормили в действительности. Невероятный разрыв между аккуратными перечнями продуктов, составленными в Москве, и результатами прокурорских проверок поражает.

Например, обследование Волгостроя в 1942-м показало, что в одном лагунке восемьдесят человек больны пеллагрой. В отчете прямо говорится, что люди умирают от голода. В Сиблаге — большом лагере в Западной Сибири — помощник прокурора СССР обнаружил, что в первом квартале 1941 года нормы питания систематически нарушались: мясо, рыба и жиры выдавались крайне редко, сахар не выдавался вовсе. В Свердловской области в 1942-м лагерная еда не содержала жиров, рыбы, мяса, а зачастую и овощей. В Вятлаге в июле 1942-го еда была плохой, практически несъедобной, не содержащей витаминов. Причина — отсутствие жиров, мяса, рыбы, картофеля. Все готовилось из муки и круп¹²⁰.

Распространенной причиной нехватки еды было отсутствие необходимых поставок. Это была постоянная проблема: к примеру, в лагунке Кедровый Шор был составлен список продуктов, которыми заменялось то, что заключенные должны были получать, но не получали. Вместо молока — творог, вместо хлеба — галеты, вместо мяса — грибы, вместо сахара — ягоды¹²¹. В результате рацион заключенных был совсем не таким, каким ему полагалось быть по московским документам. Проверка Бирлага, проведенная прокуратурой в 1940-м, показала, что “весь обед для работающих з/к состоит из воды, заправленной 130 граммами крупы на каждого з/к и на второе из черной булочки весом около 100 грамм. На завтрак и ужин варится такой же суп”. Лагерный повар сказал проверяющему, что “по установленной норме продукты ни разу не выдавались”, что в лагерь не поставляются ни рыба, ни мясо, ни овощи, ни сало, хотя нормами питания они предусмотрены. Все дело в том, пишет прокурор, “что Управление лагеря за отсутствием средств не имеет возможности платить деньги за продукты питания и вещевое довольствие, <...> а без денег ни одна снабжающая организация не хочет ничего отпустить”. Результат — 500 с лишним случаев цинги¹²².

Столь же часто привезенные в лагерь продукты, немедленно разворовывались. Воровали на всех уровнях, но главным образом это делали те, кто работал на кухне или на продовольственном складе. Ради возможности чем-то поживиться заключенные всячески стремились получить должность, дававшую доступ к продуктам. Евгению Гинзбург однажды “спасла” работа судомойкой в лагерной сто-

ловой мужской зоны. Помимо “настоящего мясного супа и знаменитых пончиков, варенных в подсолнечном масле”, ей доставались взгляды, полные “смешанного чувства острой зависти и в то же время какого-то униженного преклонения перед теми, кто сумел занять такую позицию в жизни. Около еды!”¹²³.

Даже ради того чтобы чистить картошку или собирать урожай на лагерном подсобном участке, заключенные давали взятки: так можно было подкормиться. Позднее Гинзбург работала на лагерной птицеферме — смотрела за курами, которые шли на стол начальству. Она и ее напарница пользовались своим положением: “Мы поливали лагерную кашу рыбьим жиром, позаимствованным у кур. Варили овсяный кисель из птичьего овса. Наконец ежедневно съедали три яйца на двоих — одно в суп и по одному в виде натурального деликатеса. (Больше брать мы не хотели, чтобы не снизить показателя яйценоскости. По ним судили о нашей работе.)”¹²⁴.

Воровали и в более крупных масштабах, особенно в северных лагерях, где еды не хватало не только заключенным, но и охранникам и вольнонаемным. Там каждый стремился урвать хоть что-нибудь. В каждом лагере ежегодно составляли перечень убытков. В лагунке Кедровый Шор только за четвертый квартал 1944 года недостача превысила двадцать тысяч рублей¹²⁵.

В масштабах страны цифры были гораздо выше. Например, в одном документе прокуратуры за 1947 год перечислены многие случаи растрат и хищений, в том числе в Вятлаге, где двенадцать человек, включая заведующего лагерным складом, расхитили “продуктов и овощей” на 170 000 рублей. В другом докладе за тот же год подсчитано, что в тридцати четырех лагерях, проверенных во втором квартале 1946 года, было украдено в общей сложности 70 тонн хлеба, 132 тонны картофеля и 17 тонн мяса. Автор доклада делает вывод: “Сложная система снабжения заключенных по котловому довольствию <...> создает условия, способствующие разбазариванию хлеба и других продуктов питания”. Другими причинами злоупотреблений он считает “систему снабжения вольнонаемного состава ИТЛ по карточкам не установленного образца и талонам подсобного хозяйства” и плохую работу ревизионных аппаратов при главных бухгалтериях управлений ИТЛ¹²⁶.

Иногда страх перед инспекциями приносил плоды: в некоторых лагерях, боясь неприятностей, старались исполнить хотя бы букву инструкций. Например, один лагерник вспоминает “сахарный день” в конце каждого месяца, когда заключенные получали по полстакана сахара — месячную норму. Сахар съедался немедленно¹²⁷.

Голодали не все и не всегда. Даже если большая часть продуктов не доходила до арестантского котла, хлеб, как правило, экам доставался. Как и баланду, хлеб ГУЛАГа описывают многие. Один быв-

ший заключенный вспоминает “250 граммов так называемого хлеба, испеченного на 50 процентов из прогорклой ржаной муки, на 50 процентов из молотого зерна магары*. Хлеб, испеченный с примесью этого зерна, был похож на обжаренный кирпич”¹²⁸. Другой пишет, что “черный хлеб был действительно черным из-за отрубей, которые, кроме того, делали его грубым по консистенции”. Он также отмечает, что хлеб был влажным и тяжелым, из-за чего “фактически мы получали меньше положенных 700 граммов”¹²⁹.

Заключенные дрались за лучшие, более сухие куски хлеба¹³⁰. Изображая в рассказе “Шерри-бренди” смерть поэта Осипа Мандельштама, Варлам Шаламов описывает утрату интереса даже к хлебу: “Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему, не запихивал в рот дрожжами пальцами довесок...”¹³¹.

В голодных лагерях в голодные годы хлеб приобрел чуть ли не священный статус, и его потребление было окружено особыми ритуалами. Лагерные воры беззастенчиво крали у заключенных почти все, но кража хлеба считалась в лагерной среде мерзким, отвратительным проступком. Владимир Петров во время долгого железнодорожного этапа на Колыму увидел, что “воровство дозволялось, красть можно было все, на что хватало воровского таланта и удачи, за одним исключением — хлеба. Хлеб был священен и неприкосновенен, кому бы он ни принадлежал”. Петрова выбрали старостой вагона, и в этом качестве ему было поручено побить мелкого ворышку, укравшего хлеб. Так он и поступил¹³². Томас Сговио писал, что неписанный закон лагерных блатных на Колыме гласил: “Воруй все — кроме священной пайки”. Он “не раз видел, как заключенных били до смерти за нарушение священного правила”¹³³. Казимеж Зарод вспоминал: “Если заключенные ловили кого-то на воровстве одежды, табака или чего-то другого, он мог ожидать побоев, но неписанный закон нашего лагеря — и всех лагерей, насколько я понял по рассказам людей, переведенных к нам из других мест, — гласил, что укравший хлеб заслуживает смерти”¹³⁴.

Дмитрий Панин, близкий друг Солженицына, описывает в мемуарах, как подобный приговор могли привести в исполнение: “Застигнутого на месте преступления вора подымали на высоту вытянутых рук и грохали три-четыре раза спиной об пол. Отбив почки, выкидывали, как падаль, из барака”¹³⁵.

Как и многие бывшие заключенные, прожившие в лагерях голодные военные годы, Панин подробно описывает личные ритуалы, которыми люди окружали потребление хлебной пайки. Если

хлеб выдавали раз в день, утром, то человек должен был принять мучительное решение: съесть все сразу или оставить часть на вторую половину дня. Хранить хлеб небезопасно: можешь потерять, могут украсть. С другой стороны, вроде бы легче прожить день, если у тебя есть кусок в запасе. Панин решительно предостерегает от этого, знакомя нас с единственным в своем роде изложением принципов особой науки о том, “как нужно есть голодный паек”:

“Когда дают пайку, неудержимо хочется продлить наслаждение самой едой. Хлеб режут, делят, катают из мякиша шарики. Из веревочек и палочек делают весы и вывешивают разные кусочки... Так пытаются продлить процесс еды до трех и более часов. Нельзя! Это — самоубийство.

— Пайку надо съесть не долее, чем за тридцать минут. Кусочки хлеба должны быть тщательно пережеваны, превращены во рту в кашу, эмульсию, доведены до сладости и всосаны внутрь. Пища должна отдать всю прану. <...>

— Если постоянно будешь делить пайку и оставлять часть ее на вечер — погибнешь. Ешь сразу!

— Если “схаваешь” очень быстро, как едят хлеб в нормальных условиях сильно проголодавшиеся люди, — сократишь свои дни”¹³⁶.

Хлебом и многими способами его есть был занят ум многих жителей СССР, не только эков. Один мой российский знакомый до сей поры не ест черного хлеба, потому что мальчиком в Казахстане во время войны он только им и питался. Сусанна Печуро, которая в 50-е годы была заключенной Минлага, вспоминала разговор двух лагерниц-крестьянок, знавших голодную жизнь без лагерной пайки: “Две крестьянки русских держат хлеб, одна гладит его, говорит: ”Хлебушек, ведь каждый день дают”, а другая: «Насушить бы его, деткам послать, ведь голодные сидят, так ведь отправить-то не разрешают»”.

Этот разговор, сказала мне Печуро, даже у нее, заключенной, вызвал ощущение “сжигающего стыда”.

* Злаковая кормовая культура. — Прим. ред.

Глава 11

Труд в лагерях

*Спускают вниз больных, негодных,
кто для работы в шахте слаб.
Их отправляют в нижний лагерь
валить колымскую тайгу.
Оно несложно на бумаге.
Но позабыть я не могу
цепочку санок на снегу,
людей, впряженных в эти сани.
Худую напрягая грудь,
они свою упряжку тянут...
порою встанут отдохнуть,
порою на крутом подъеме
запнутся: тяжесть тянет вниз,
вот-вот собьет, осилит, сломит...
Тела несчастных напряглись,
на тощих шеях жилы вздулись...
Мы все видали лошадей,
когда они вот так запнулись,
А мы, мы видели людей.*

Елена Владимировна. Колыма

Рабочая зона

Работа была главной задачей подавляющего большинства советских лагерей. Она была главным занятием заключенных и главной заботой администрации. Организация повседневной жизни была подчинена работе, и благополучие заключенных зависело от того, как они трудились. Однако выработать обобщенное представление о лагерном труде не так-то просто: образ заключенного, в метель орудующего кайлом на золотом прииске или угольном месторождении, — стереотип, и не более того. Таких, конечно, было множество — миллионы, как показывают цифры, относящиеся к лагерям Колымы и Воркуты, — но существовали, как мы теперь знаем, и лагеря в центре Москвы, где эски проектировали самолеты, и лагеря в центре России, где эски строили атомные электростанции и работали на них, и рыболовецкие лагеря на Тихом океане, и сельскохозяйственные лагеря в южном Узбекистане. Архивы ГУЛАГа в Москве полны фотографий заключенных с верблюдами¹.

Спектр экономической деятельности ГУЛАГа, несомненно, был столь же широк, как спектр экономической деятельности всего СССР. Листая самый полный на сегодня справочник по лагерям

“Система исправительно-трудовых лагерей в СССР”, видишь, что заключенные добывали золото, никель, уголь и торф, прокладывали автомобильные и железные дороги, работали на военных, химических и металлургических предприятиях, строили электростанции, аэропорты, жилые дома, укладывали канализационные трубы, валяли лес, делали рыбные консервы². В архивах ГУЛАГа хранится фотоальбом, целиком посвященный выпускаемой заключенными продукции. В числе прочего сфотографированы мины, снаряды и другое военное снаряжение; детали автомобилей, дверные замки, пуговицы; стулья, шкафы, телефонные будки, бочки; обувь, корзины, ткани (приложены образцы); ковры, кожа, меховые шапки, овчинные полушубки; бокалы, лампы, стеклянные банки; мыло и свечи; и даже игрушки — деревянные танки, ветряные мельнички, заводные зайцы, играющие на барабане³.

Различия в характере работы существовали как между лагерями, так и внутри лагерей. В лесозаготовительных лагерях большинство заключенных было занято на лесоповале. Получившие срок три года или меньше работали в исправительно-трудовых колониях, где режим был легче лагерного, и которые обычно были привязаны к какому-либо одному предприятию. Напротив, более крупные лагеря могли сочетать в себе несколько родов деятельности, например работу на шахте, на кирпичном заводе, на электростанции и на строительстве зданий или дороги. В таких лагерях эски разгружали товарные поезда, водили грузовики, убирали урожай овощей, работали на кухне, в больнице, в детских яслях. Неофициально они работали и слугами, нянями, портными у лагерных начальников, надзирателей и их жен.

Заключенным с большими сроками обычно доводилось побывать на очень разных работах, хороших и плохих — как повезет. На протяжении своих без малого двадцати лет лагерной жизни Евгения Гинзбург работала на лесоповале и на рытье канав, была уборщицей в магаданской гостинице, судомойкой, птичницей, прачкой у жен лагерного начальства, медсестрой в деткомбинате. Наконец она стала медсестрой в больнице для заключенных⁴. Другой политзаключенный, Леонид Ситко, прошедший в советских лагерях одиннадцать лет, сначала был сварщиком, потом добывал камень в каменном карьере, потом работал в строительной бригаде, потом был шахтером, потом делал столы и книжные полки на деревообрабатывающем заводе.

Но хотя видов работ в лагерях было почти так же много, как на воле, работающие заключенные обычно подразделялись на две категории. Одну составляли те, кто трудился на “общих работах”, другую — все остальные, так называемые придурки. Последние, как мы увидим, были некой особой кастой. Общие работы, на которых было за-

нято подавляющее большинство заключенных, представляли собой именно то, чем они кажутся по названию: тяжелый неквалифицированный физический труд. “Первая лагерная зима 1949–1950 годов была для меня особенно тяжелой, — рассказывал Исаак Фильштинский. — Я не имел профессии, которая могла бы в лагере пригодиться, и меня гоняли по разным общим работам с места на место “пилить, носить, тащить, толкать” и т. д., словом, куда только не придет в голову нарядчику”.

За исключением тех, кому везло с самого начала, — обычно это были инженеры-строители или другие полезные для лагеря специалисты, или же люди, уже зарекомендовавшие себя стукачами, — в большинстве своем эски после карантина, длившегося примерно неделю, автоматически посылались на общие работы. Заключенного зачисляли в бригаду численностью от четырех до четырехсот человек — все они не только вместе работали, но и вместе ели и, как правило, спали в одном бараке. Бригаду возглавлял бригадир из заключенных — человек, пользовавшийся доверием, чей статус был весьма высок. Он распределял работу, следил за ее ходом и старался обеспечить выполнение нормы.

Лагерное начальство понимало значение бригадиров, по статусу находившихся где-то между заключенными и администрацией. В 1933 году начальник Дмитлага в приказе напоминал подчиненным, что “бригадир является самым важным, самым значительным лицом на производстве”, и возмущался тем, что они “не умеют найти среди каналоармейцев нужных для производства способных людей”⁵.

Для заключенного отношения с бригадиром были не просто важны — они определяли всю его жизнь и нередко решали, выживет он или умрет. Один заключенный писал: “Жизнь заключенного очень сильно зависит от бригады и от бригадира, круглые сутки ты проводишь в их обществе. И на работе, и в столовой, и на нарах — все те же лица. Бригадники — либо все вместе, либо по группам, либо все врозь. Либо помогают тебе выжить, либо помогают загнаться. Либо — сочувствие и помощь, либо — неприязнь или безразличие. Очень важна и роль бригадира, а также — кто он; его задачи и поведение: выслужиться перед начальством за твой счет и для своего благополучия, а члены бригады — его подданные, слуги и лакеи, или он считает тебя своим товарищем по несчастью и делает все, чтобы облегчить жизнь бригадникам”⁶.

Некоторые бригадиры угрожали подчиненным и грубо воздействовали на них. В свой первый день на карагандинской шахте Александр Вайсберг обессилел от голода и тяжелой работы. Это привело в бешенство бригадира, который “взревел и обрушил на меня, как разъяренный бык, всю мощь своего большого тела. Он бил меня кулаками, пинал ногами и напоследок отвесил мне такой

удар по голове, что я свалился наземь, весь в синяках и с окровавленным лицом...”⁷.

В других случаях бригадир предоставлял самой бригаде понуждать людей к более усердной работе. Герой рассказа Солженицына “Один день Ивана Денисовича” размышляет о том, что лагерная бригада — не такая, “как на воле, где Иван Иванычу отдельно зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата. В лагере бригада — это такое устройство, чтоб не начальство эсков понукало, а эски друг друга. Тут так: или всем *дополнительное*, или все подыхайте”⁸.

Колымского заключенного Петра Деманта, написавшего мемуары под псевдонимом Вернон Кресс, за невыполнение нормы товарищи по бригаде ругали и били; в конце концов его перевели в “слабосильную” бригаду, где эски получали меньший паек⁹. Юрий Зорин вспоминал о своем пребывании в бригаде, в основном состоявшей из трудолюбивых литовцев, которые не терпели халтурщиков: “Вы себе представить не можете, на воле так качественно не работали, как работали литовцы. <...> Когда человек плохо работает, его из литовской бригады убирают”.

Если эску не везло и он оказывался в “плохой” бригаде, откуда не в состоянии был улизнуть с помощью хитрости или взятки, он мог умереть голодной смертью. М. Б. Миндлин (позднее — один из основателей общества “Мемориал”) однажды попал на Колыме в бригаду, состоявшую в основном из грузин и возглавляемую бригадиром-грузином. Миндлина быстро стало ясно, что бригадники боятся своего бригадира не меньше, чем лагерного начальства, и что ему, “единственному еврею среди грузин”, на легкую жизнь рассчитывать не приходится. В первые дни он работал очень усердно, надеясь получить “внекатегорийное питание” — “1200 грамм хлеба и баланды от пуза”. Но бригадир, закрывая наряды, провел его по разряду тех, кому полагалось только по 700 граммов. Затем с помощью взятки Миндлин сумел перейти в другую бригаду, где была совершенно другая атмосфера: бригадир действительно заботился о подчиненных. “Каждый, кто попадал в бригаду Бобровникова, считал себя счастливым и спасенным от голодной смерти”. Миндлин он вначале поставил на легкую работу, чтобы дать ему окрепнуть. Позднее сам Миндлин стал бригадиром и в этом качестве “давал на лапу” старшему повару, хлеборезу, нарядчику и другим нужным людям, способным облегчить положение бригады¹⁰.

Поведение бригадира так много значило потому, что общие работы, как правило, не должны были по идее носить фиктивный или бессмысленный характер. Если в нацистских лагерях, как пишет один видный ученый, работа часто была “в первую очередь предназначена для пытки и издевательства”, то советские заключенные должны были выполнять производственный план¹¹. Были, конечно,

исключения. Глупые или садистски жестокие начальники иногда давали энкам бессмысленные задания. Сусанна Печуро вспоминала, как один начальник, заставлявший заключенных делать бессмысленную работу — носить глину с места на место, — сказал: “Мне нужна не ваша работа, мне нужны ваши мучения”. Нечто подобное, вероятно, слышали заключенные на Соловках в 20-е годы. В 40-е, как мы увидим, возникла система штрафных лагерей, чья главная задача была не экономической, а карательной. Но даже там заключенные должны были что-то производить.

Чаще всего, однако, начальство не задавалось специальной целью мучить заключенных — его просто не волновало, мучатся они или нет. Гораздо важнее было выполнение общего производственного плана и индивидуальных трудовых норм, которые могли выражаться в кубометрах леса, тоннах угля, метрах вырытых канав. К выполнению нормы относились с неумолимой серьезностью. Повсюду в лагерях висели плакаты, призывавшие заключенных отдавать все силы труду. На эту же цель направлялись главные усилия “культурно-воспитательных” подразделений. В столовых или на центральных площадях некоторых лагерей на больших досках регулярно вывешивались трудовые показатели бригад¹².

Нормы с колоссальным тщанием и научным обоснованием устанавливал нормировщик, чья работа, как считалось, требовала очень высокой квалификации. Жак Росси пишет, что при расчистке снега различались: свежеснеженный снег; легкий снег; слегка слежавшийся снег; слежавшийся снег (требующий нажима ноги на лопату); сильно слежавшийся снег; смерзшийся снег (который нужно долбить ломом). Мало этого, “ряд коэффициентов учитывает расстояние и высоту отброски снега и т. п.”¹³.

Но при всей видимой научности установление трудовых норм и решение вопроса о том, кто выполнил норму, а кто нет, было сопряжено с коррупцией, несправедливостью и несообразностями. В первых, заключенным обычно устанавливались те же нормы, что и вольнонаемным рабочим — профессиональным лесорубам и шахтерам. Однако, как правило, эки не были ни лесорубами, ни шахтерами, и часто они имели смутное представление о том, что от них требуется. Кроме того, после тюрьмы и изнурительного этапа в “столыпинке” или телячьим вагоне их физические силы были подорваны.

Чем меньше у заключенного было опыта физического труда и чем сильнее он был измотан, тем хуже ему приходилось. Евгении Гинзбург принадлежит классическое описание того, как они с напарницей, обе непривычные к физическому труду, обе ослабленные годами тюрьмы, пытались валить деревья: “Три дня мы с Галей пытались сделать невозможное. Бедные деревья! Как они, наверно,

страдали, погибая от наших неумелых рук. Где уж нам, неопытным и полуживым, было рушить кого-то другого. Топор срывался, брызгая в лицо мелкой щепой. Пилили мы судорожно, неритмично, мысленно обвиняя друг друга в неловкости, хотя вслух никаких упреков не делали, сознавая, что ссориться — это было бы роскошью, которой мы не могли себе позволить. Пилу то и дело заносило. Но самым страшным был момент, когда искромсанное нами дерево готовилось наконец упасть, а мы не понимали, куда оно клонится. Один раз Галю сильно стукнуло по голове, но фельдшер нашей командировки отказался даже йодом прижечь ссадину, заявив:

— Старый номер! Освобождения с первого дня захотела!”

В конце дня бригадир подсчитывал результаты: у Евгении и Гали могло получиться, скажем, 18 процентов нормы. На следующий день, “получив “по выработке” крохотный ломтик хлеба, мы шли в лес и, еще не дойдя до рабочего места, буквально валились с ног от слабости”. Между тем бригадир “очень доходчиво объяснял нам на разводах и поверках, что никакой уравниловки быть не может и бросать народный хлеб на контриков и саботажников, не выполняющих норму, он не намерен”¹⁴.

В заполярных и приполярных лагерях — на Колыме, в Воркуте, в Норильске — трудности усугублялись климатом и местоположением. Вопреки распространенному мнению, летом в Арктике ненамного легче, чем зимой. Температура может подниматься выше 30 по Цельсию. Когда снег тает, поверхность тундры покрывается грязью, по которой трудно ходить. Летом одолевает мошка — целые тучи мелких насекомых, в жужжании которых тонут все прочие звуки. Одна бывшая лагерница пишет: “Мошка лезла под рукава, под штанины. От ее укусов опухало лицо. Нам привозили на объект обед, и пока, бывало, проглотишь свою баланду, в миске полно мошки (“как гречневая каша”). Эта дрянь попадала в глаза, в нос и рот, и на вкус была сладкой от нашей крови. Чем больше человек кутался и потел, тем больше она жрала. Лучшим выходом было игнорировать ее, одеться полегче и вместо накомарника надеть венки из травы или березовых веток”¹⁵.

Зимой, конечно, было чрезвычайно холодно — 30, 40, 50 ниже нуля. Многие мемуаристы, поэты и прозаики пытались описать, каково это — работать на таком морозе. В одних воспоминаниях говорится, что “простейший взмах рукой вызывал явственно слышимый свистящий звук”¹⁶. Другой бывший заключенный пишет, что однажды в сочельник проснулся утром и почувствовал, что не может поднять голову. “Я спросонья подумал было, что ночью кто-то привязал ее к нарам; потом попытался подняться, и тогда тряпка, которой я перед тем как лечь спать обмотал голову и уши, слетела. Опираясь на локоть, я потянул за конец и понял, что тряпка примерзла

к нарам. Мое дыхание и дыхание всех, кто был в помещении, висело в воздухе, как дым”¹⁷.

Януш Бардах писал: “Не двигаться было рискованно. Когда нас считали, мы подпрыгивали, притоптывали на месте, хлопывали себя, чтобы сохранить тепло. Я непрерывно шевелил пальцами ног, сжимал и разжимал кулаки. <...> Прикоснешься голой рукой к металлу — оставишь на нем кожу. Ходить в баню было крайне опасно. А если у тебя понос и ты присел на снегу, рискуешь остаться так навсегда”. Поэтому некоторые заключенные предпочитали пачкать кальсоны. “Работать с ними рядом было противно, а вечером в палатке, когда мы начинали согреваться, вонь поднималась невыносимая. Таких людей нередко били и выкидывали наружу”¹⁸.

Некоторые виды общих работ были хуже других из-за условий, в которых оказывались люди. Один бывший заключенный вспоминал, что на северных угольных шахтах под землей было теплее, чем наверху, но на людей из трешин постоянно капала ледяная вода: “Шахтер становится своеобразной большой сосулькой с устойчивым и длительным переохлаждением всего организма. Через три-четыре месяца такой адской работы наступает массовое заболевание скоротечной чахоткой, от которой более половины эков уходят на тот свет или становятся туберкулезными...”¹⁹.

Исаака Фильштинского в Каргопольлаге поставили на работу, которая зимой была одной из самых неприятных, — сортировать лес в сортировочном бассейне с горячей водой, которая подавалась с электростанции.

“Поскольку в ту зиму в Архангельской области стояли устойчивые морозы в сорок-сорок пять градусов, над бассейном все время висел густой пар, — вспоминает он. — Было одновременно и очень сыро и холодно. <...> Работа была не очень тяжелая, однако через тридцать-сорок минут все тело пронизывала и обволакивала сырость, оставляя изморозь на бороде, усах и ресницах и проникая до самых костей сквозь жалкую лагерную одежку”.

Но хуже всего приходилось зимой тем, кто работал в лесу. Мало того что было холодно — мог налететь жестокий неожиданный буран, подобный тому, в какой попал Януш Бардах на Колыме, работая в карьере. Вместе с другими заключенными и конвоирами он возвращался в лагерь вслед за сторожевыми собаками, держась за общий канат: “Я не видел ничего дальше спины Юрия. Я вцепился в канат, как в спасательный круг. <...> Никаких ориентиров видно не было, я понятия не имел, сколько нам еще идти, и был уверен, что нам не добраться до лагеря. Вдруг я почувствовал под ногой что-то мягкое — это был заключенный, который отпустил канат и упал. “Стойте!” — заорал я. — Но какое там — никто меня не слышал. Я нагнулся и потянул упавшего за руку. “Вот, держи!” Я попы-

тался вложить ему в руку канат. Бесполезно. Рука, когда я ее отпустил, упала на снег. Резкая команда Юрия заставила меня двинуться дальше...”.

Когда бригада Бардах вернулась в лагерь, в ней не хватало трех заключенных. Обычно “тела тех, кто не дошел, находили только весной — часто в какой-нибудь сотне метров от зоны”²⁰.

Стандартная одежда плохо защищала от непогоды. В 1943-м, например, в перечень вещевого довольствия, установленный НКВД, входили летняя рубашка (на два сезона), летние шаровары (на два сезона), ватная телогрейка (на два года), ватные шаровары (на полтора года), валенки (на два года) и нательное белье (на девять месяцев)²¹. На практике даже этих скудных комплектов на всех не хватало. Прокурорская проверка двадцати трех лагерей в 1947 году обнаружила “крайне неудовлетворительное обеспечение заключенных одеждой, бельем и обувью”. В Красноярском лагере менее чем у половины заключенных была теплая обувь. В Норильлаге на Крайнем Севере теплой обувью было обеспечено только 75 процентов лагерников, теплой одеждой — 86. В Воркутлаге, тоже расположенном за Полярным кругом, валенки были только у 48 процентов заключенных, белье в некоторых подразделениях — только у 35–30²².

В отсутствие казенной обуви людям приходилось что-то изобретать. Плели лапти из лыка, делали обувь из старых телогреек, из автпокрышек. В лучшем случае в этих штуковинах было трудно ходить — особенно по глубокому снегу. В худшем — они пропускали влагу и холод, практически гарантируя обморожение²³. Вот как Элинон Липпер описывает самодельную обувь под названием “ЧТЗ” (от “Челябинский тракторный завод”): “Они были сделаны из слегка подбитой войлоком и простеганной мешковины. Высокие и широкие голенища доходили до колен, а внизу носы и пятки обшивались клеенкой или дерматином. Подошва — три куса старой автомобильной шины. Все сооружение привязывается к ступне бечевкой и другой бечевкой перетягивается под коленом, чтобы внутрь не попал снег. <...> После дня носки они делаются совершенно покоробленными, и дряблые подошвы гнутся по-всякому. Ткань вбирает влагу с невероятной быстротой, особенно если на обувь пошли мешки из-под соли...”²⁴.

Другой бывший заключенный вспоминает сходные приспособления: “Пальцы ног с боков были свободны. Невозможно было сделать так, чтобы ткань плотно прилегала к ступне, поэтому пальцы ног легко было обморозить”. Он действительно обморозил в этой обуви ступни, что, по его мнению, спасло ему жизнь, поскольку его освободили от работы²⁵.

Заключенные по-разному пытались бороться с холодом. После работы люди спешили в бараки и теснились вокруг печки, подходя

к огню так близко, что загоралась одежда: “В нос бил едкий, отвратительный запах горящего тряпья”²⁶. Греться среди дня некоторые считали опасным. Исаака Фильштинского опытные лагерники предупреждали, что при работе на холоде нельзя подходить ни к костру, ни к печке: из-за резких перепадов температуры можно заработать воспаление легких. “Человеческий организм так устроен, что, как бы ни было телу холодно, оно приспособляется и привыкает. Этому мудрому правилу я следовал в лагере всегда и никогда не простужался”²⁷.

Лагерное начальство должно было делать определенные скидки на холод. Согласно правилам, в некоторых северных лагерях заключенные получали добавку к пайку. Но добавка, как явствует из документов за 1944 год, могла составлять всего 50 граммов хлеба в день, что, конечно, не является достаточной компенсацией за страшную стужу²⁸. Теоретически, когда было слишком холодно или надвигался буран, заключенных не должны были выводить на работу. Владимир Петров пишет, что в годы правления Берзина на Колыме заключенные шли на работу лишь при температуре выше -50 . Но зимой 1938–1939-го, после смещения Берзина, работали и в более сильный мороз. Проследить за исполнением инструкции, пишет Петров, заключенные не могли: единственным обладателем термометра на прииске был начальник лагеря. В результате “за зиму 1938–1939 гг. только три дня были объявлены нерабочими из-за холода, тогда как предыдущей зимой таких дней было пятнадцать”²⁹.

Другой свидетель, Казимеж Зарод, вспоминает, что в его лагере во время Второй мировой войны работали при температуре -49°C и выше. Один раз его лесозаготовительной бригаде было велено возвращаться в зону среди дня: температура упала ниже -53 . “Как бодро мы собрали инструменты, построились в колонну и двинулись в лагерь!”³⁰ Бардах пишет, что на Колыме в военные годы температурный порог равнялся -50 , “при этом охлаждение за счет ветра во внимание не принималось”³¹.

Но погода была не единственным препятствием для выполнения нормы. Во многих лагерях нормы были невероятно высокими. Отчасти это было закономерным побочным результатом советского централизованного планирования: от предприятий требовали год от года наращивать производство. Согласно воспоминаниям Екатерины Олицкой, лагерницы, работавшие на швейном комбинате, надрывались, стараясь выполнить норму и удержаться на этой работе в отапливаемом помещении. Но начальство все повышало и повышало нормы, пока они не стали невыполнимыми³².

Нормы становились жестче еще и потому, что и заключенные, и нормировщики лгали, преувеличивая объем выполненной работы. В результате нормы иногда вырастали до астрономических разме-

ров. Александр Вайсберг вспоминал, что даже на “легких” работах нормы были невероятно высоки: “Каждому давали практически невыполнимое задание. Двое работников прачечной должны были за десять дней перестирать одежду восьмисот человек”³³.

Перевыполнение нормы и сверхурочная работа не всегда приносили желанные блага. Антони Экарт вспоминал случай, когда вскрылась ото льда река, у которой стоял лагерь, и возникла угроза наводнения: “Двое суток несколько бригад из самых крепких заключенных, в том числе все “ударники”, работали как сумасшедшие почти без перерывов. И за все, что они сделали, им выдали по селедке на двоих и по пачке махорки на четверых”³⁴.

Длинный рабочий день, малое количество выходных и недостаточный отдых в течение дня повышали вероятность несчастных случаев. В начале 50-х годов неопытным женщинам-заключенным было велено тушить лесной пожар в окрестностях Озерлага. В результате, вспоминала одна из них, несколько человек сгорело³⁵. Сочетание усталости и непогоды часто оказывалось губельным. Об этом свидетельствует Александр Долган:

“Холодные онемевшие пальцы не могли толком держать черенки, рычаги, брусья и стойки, и поэтому было много несчастных случаев, часто со смертельным исходом. Одного заключенного раздавило, когда мы по двум наклонным бревнам скатывали бревна с платформы. Он не успел отскочить, когда их разом скатилось двадцать с лишним штук. Конвойные кинули труп, чтобы не мешал, на платформу, и кровавое месиво лежало там, дожидаясь вечера, когда мы отнесли его в лагерь”³⁶.

Москва вела статистический учет несчастных случаев, и по их поводу иногда возникала гневная перепалка между проверяющими и лагерным начальством. В одном документе за 1945 год перечислено 7124 несчастных случая только на воркутинских угольных шахтах, из которых 482 привели к серьезным увечьям и 137 — к гибели людей. Причины, говорится в документе, — нехватка шахтерских ламп, аварии электрооборудования, неопытность бригад и текучесть их состава. Проверяющие с негодованием приводят количество рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев: 61 492³⁷.

Работу тормозили, кроме того, плохая до нелепости организация труда и небрежное управление. Хотя вольнонаемный труд в СССР тоже был организован плохо, в ГУЛАГе, где здоровье и жизнь рабочих значили очень мало, где подвоз оборудования и запчастей затрудняли громадные расстояния и погода, дело обстояло еще хуже. Со времен Беломорканала в ГУЛАГе главенствовал дух хаоса, и так было даже в 50-е годы, когда гораздо больше рабочих мест в Советском Союзе было механизировано. На лесозаготовках работали “без мотопил, трелевочных тракторов, автопогрузчиков”³⁸. На текстиль-

ных и швейных фабриках “оборудования не хватало или оно было плохое”. Согласно воспоминаниям одной бывшей заключенной, “все швы надо было заглаживать огромным утюгом, весившим два килограмма. За смену ты должна была разгладить 426 пар брюк. От тяжести утюга немели руки, распухали и болели ноги”³⁹.

Техника постоянно ломалась, но часто от заключенных при этом все равно требовали норму. На той же швейной фабрике “постоянно звали механиков. Большей частью это были женщины-заключенные. Ремонт длился часами, потому что квалификация у женщин была низкая. Выполнить необходимый объем работы становилось невозможно, и в результате мы не получали хлеба”⁴⁰.

Тема ломающихся машин и низкой квалификации технического персонала возникает в анналах ГУЛАГа вновь и вновь. Лагерные начальники, участвовавшие в партийной конференции в Хабаровске в 1934-м, жаловались на постоянные перебои в поставках оборудования и недостаточную вычку технического персонала, из-за чего они не могли выполнить плановые задания по добыче золота⁴¹. В письме от 1938 года, адресованном заместителю наркома внутренних дел СССР, курировавшему ГУЛАГ, говорится, что 40–50 процентов тракторов неисправны. Нельзя было полагаться и на более примитивные методы работы. В письме, датированном предыдущим годом, сообщается, что из 36 491 лошадей, которыми располагает ГУЛАГ, 25 процентов работать не могут⁴².

На предприятиях ГУЛАГа очень остро чувствовалась нехватка инженеров и управленцев. Вольнонаемных специалистов там работало очень мало, а те, что работали, далеко не всегда обладали необходимой квалификацией. Чтобы привлечь вольнонаемных работников, не один год прилагались большие усилия. Людям сулили немалые привилегии. Еще в середине 30-х годов Дальстрой развернул агитацию по всему Советскому Союзу, предлагая особые льготы тем, кто завербует на два года. Льготы включали в себя зарплату, на 20 процентов превышающую среднюю по стране, в течение первых двух лет и десятипроцентную надбавку в дальнейшем. Завербовавшимся, кроме того, обещали оплачиваемый отпуск, возможность покупать дефицитные продукты и вещи, хорошую пенсию⁴³.

Советская печать с энтузиазмом творила фальшивые образы северных краев. Примером такой пропаганды может служить журнал “Sovietland” (“Советская страна”), издававшийся на английском языке для иностранцев. В апреле 1939 года в статье о Магадане (типичный образчик жанра!) журналист распространялся о волшебной привлекательности города: “Море огней, которым Магадан становится вечером, — зрелище необычайно волнующее и притягательное. Днем и ночью в городе беспрерывно кипит жизнь. Он полон

людей, чье существование подчинено жесткому рабочему графику. Аккуратность и расторопность рождает быстроту, а быстрота — это легкий и счастливый труд...”

Тот факт, что люди, “чье существование подчинено жесткому рабочему графику”, — это заключенные, автор статьи обходит молчанием.

Эти ухищрения, однако, не приносили особых результатов: привлекать специалистов необходимого уровня, как правило, не удавалось, и предприятиям ГУЛАГа приходилось довольствоваться заключенными, в числе которых случайно могли оказаться люди с нужной квалификацией. Один бывший лагерник вспоминал, как его в составе строительной бригады послали строить мост за 600 километров к северу от Магадана. Как это делать, никто в бригаде толком не знал. Бригадиром выбрали единственного среди всех инженера, хотя мосты не были его специальностью. Мост был построен. Первым же паводком его снесло⁴⁴.

Эта неудача, однако, была сущей мелочью по сравнению с некоторыми другими. Крупные проекты ГУЛАГа, на реализацию которых бросали тысячи людей и тратили громадные ресурсы, нередко проваливались. Вероятно, самый известный из подобных случаев — попытка построить железную дорогу из района Воркуты к Салехарду в устье Оби. Решение о начале стройки было принято советским правительством в апреле 1947 года. А уже несколько дней спустя одновременно начались изыскательские и строительные работы. Кроме железной дороги, силами заключенных предполагалось построить на мысе Каменный в Обской губе крупный морской порт.

Начались обычные сложности. Вместо тракторов, которых не хватало, в ход шли старые танки. Недостаток техники возмещали нещадным использованием труда заключенных. Одиннадцатичасовой рабочий день был нормой, и даже вольнонаемные работали с 9 до 18 и с 21 до 24 часов. К концу года трудности стали более серьезными. Вдруг выяснилось, что район Каменного мыса — неподходящее место для порта: глубина недостаточна для морских судов, грунт слишком слаб, чтобы выдержать крупные промышленные здания. В январе 1949 года Сталин провел ночное совещание, на котором было решено построить порт в Игарке на берегу Енисея и продолжить до этого места железную дорогу. Возникли два новых лагеря — Строительство 501 и Строительство 503, которые должны были прокладывать рельсовые пути навстречу друг другу. Расстояние от Салехарда на Оби до Игарки — 1300 километров.

Работы шли. В их разгар число используемых заключенных достигало, согласно одному источнику, 80 000, согласно другому — 120 000. Прокладка дороги в условиях полярной тундры была делом

почти невозможным. Зимой — страшные морозы, коротким летом — болотная топь. Пути то и дело прогибались, паровозы и вагоны часто сходили с рельсов. Из-за нехватки металла все мелкие и средние мосты сооружали из дерева. К весне 1953-го, когда умер Сталин, от Салехарда было проложено 400 километров пути, от Игарки — 200 километров. Порт существовал только на бумаге. Спустя считанные дни после похорон Сталина работы на “мертвой дороге”, обошедшиеся в 40 миллиардов рублей и десятки тысяч жизней, были остановлены навсегда⁴⁵.

В меньшем масштабе такие истории происходили по всему ГУЛАГу постоянно. Но, как бы ни были суровы местные условия, как бы ни был мал опыт и какой бы скверной ни была организация дела, давление сверху на лагерное начальство не ослабевало, а значит, не ослабевало и давление на заключенных. Лагеря беспрерывно инспектировали и контролировали, от их администрации требовали улучшения трудовых показателей. Результаты, какими бы фальшивыми они ни были, имели значение. Сколько бы ни усмехались эски, отлично понимавшие, как халтурно делается работа, игра шла всерьез и ставкой для них была жизнь.

КВЧ: культурно-воспитательная часть

Не будь фотографий, сделанных в 1945 году в Богословлаге и помещенных в аккуратный альбом, где ясно помечено, что это материалы из архива НКВД, человек, которому они случайно попались бы на глаза, вряд ли подумал, что это лагерные снимки. Мы видим на них ухоженные садики, цветы, кусты, фонтан и беседку. На лагерных воротах — красная звезда и лозунг, призывающий отдать все силы Родине. В другом архивном альбоме, хранящемся рядом с первым, фотографии заключенных, которые трудно соотнести с привычным образом эска. Вот довольный жизнью человек держит тыкву; вот быки тянут плуг; вот улыбающийся лагерный начальник срывает яблоко. Рядом со снимками — графики: производственный план и его выполнение⁴⁶.

Все подобные альбомы, оформленные со школьной тщательностью, — результат деятельности лагерной культурно-воспитательной части (КВЧ). КВЧ (или ее эквивалент) возникла вместе с ГУЛАГом. В первом номере журнала “СЛОН”, издававшегося в Соловецком лагере, помещена статья “Воспитательно-трудовые задачи в местах заключения”. В ней говорилось: “Таким образом, исправительно-трудовая политика Республики заключается в исправлении заключенных путем привлечения их к участию в организованном производственном труде”⁴⁷.

Как правило, однако, подлинной целью лагерной пропаганды был рост производственных показателей. Так было даже в период строительства Беломорканала, когда, как мы видели, пропаганда “перековки” была наиболее громкой и, возможно, наиболее искренней. Культ ударничества достиг тогда в масштабах страны высшей точки. Лагерные художники рисовали портреты лучших “каналоармейцев”, лагерные актеры и музыканты давали для них специальные представления. Ударников приглашали на многолюдные слеты с песнями и речами. За одним таким слетом, состоявшимся 21 апреля 1933 года, последовал двухдневный “аврал”: тридцать тысяч ударников работали сорок восемь часов без перерыва⁴⁸.

Со всем этим было решительно покончено во второй половине 30-х, когда заключенные стали “врагами народа” и, следовательно, не могли быть ударниками. В какой-то мере, однако, в 1939 году, когда руководство лагерями перешло к Берии, бывшая риторика начала потихоньку возвращаться. Хотя ни тогда, ни впоследствии грандиозных проектов, подобных Беломорканалу, об “успехе” которых можно было бы трубить на весь мир, ГУЛАГ не предпринимал, язык “перековки” снова стали брать на вооружение. В 40-е годы каждому лагерю было предписано иметь по крайней мере одного воспитателя, библиотеку и клуб. В клубе давались самодеятельные спектакли и концерты, проводились политзанятия. Один такой клуб вспоминает Томас Стовио: “В главной комнате, где могли рассесться человек тридцать, были деревянные, крикливо раскрашенные стены. Стояло несколько столов — вроде бы для чтения. Но ни книг, ни газет, ни журналов. Да и откуда им взяться? Газеты ценились на вес золота — бумага шла на самокрутки”⁴⁹.

В 30-е годы и позднее главным объектом деятельности КВЧ считались уголовные преступники. Как и в вопросе о том, следует ли допускать “политических” к ответственной работе в лагерях, не было ясности и насчет того, стоит ли тратить время на их перевоспитание. В положении о культурно-воспитательной работе, выпущенном НКВД в 1940 году, прямо говорится, что объектами перевоспитания являются лишь заключенные, осужденные за бытовые и должностные преступления. В лагерной самодеятельности “каэрам”, согласно положению, разрешалось только играть на музыкальных инструментах, но нельзя было ни петь, ни говорить⁵⁰.

Но эти распоряжения, как обычно, чаще игнорировались, чем исполнялись. И как обычно, подлинная роль КВЧ в лагерной жизни отличалась от той, которую отводила ей Москва. Если руководство НКВД хотело, чтобы КВЧ побуждала заключенных к более усердной работе, сами лагерники использовали КВЧ для взаимной моральной поддержки и для выживания.

Похоже на то, что лагерные воспитатели, пытаясь пропагандировать среди заключенных доблестный труд, использовали во многом те же приемы, что и партийные работники за пределами зоны. В достаточно крупных лагерях КВЧ выпускала лагерные газеты. Иногда это были газеты в полном смысле слова, с репортажами, с длинными статьями о достигнутых лагерем успехах, а также с обычной для советской печати “самокритикой”. За исключением краткого периода в начале 30-х, эти газеты, как правило, предназначались главным образом для вольнонаемных работников и лагерной администрации⁵¹.

Для заключенных делались стенгазеты. Один бывший заключенный отзываясь о них так: “Стенгазету, этот атрибут советского образа жизни, никто никогда не читал, но выпускалась она регулярно”. В ней “гневно клеймились отказчики, лодыри, не хотевшие честным трудом искупать свою вину перед Родиной”. В стенгазетах часто были и юмористические отделы: “предполагалось, очевидно, что умиравшие с голоду работяги, читая материалы этого отдела, будут прямо за животы держаться от смеха”⁵².

Какое бы ощущение нелепости ни вызывали стенгазеты у многих лагерников, московское начальство ГУЛАГа относилось к ним чрезвычайно серьезно. Стенгазета, гласило положение о культурно-воспитательной работе, “показывает лучшие образцы работы, популяризирует отличников производства, разоблачает лодырей, отказчиков, промотчиков”. Помещать в них портреты Сталина не разрешалось: читателями стенгазет, так или иначе, были не “товарищи”, а преступники, исключенные из советской жизни и лишённые права смотреть на вождя. Абсурдная атмосфера секретности, воцарившаяся в лагерях в 1937-м, окутывала их и в 40-е годы: лагерные газеты нельзя было выносить за зону⁵³.

КВЧ еще показывала заключенным фильмы. Густав Герлинг-Грудзинский вспоминает американский музыкальный фильм, “полный дам в турнюрах, мужчин в жилетах в обтяжку и жабо” и советскую пропагандистскую короткометражку, кончающуюся “торжеством добра”: “...неуклюжий студент занял первое место в социалистическом соревновании, а потом с горящим взглядом произнес речь о том, что при социализме физический труд возведен на пьедестал почета”⁵⁴.

Тем временем некоторые уголовники использовали темноту в помещениях, где показывали кино, для сведения счетов. “Помню, в конце одного из сеансов из зала на носилках выносили труп”, — сказал мне один бывший заключенный⁵⁵.

КВЧ, кроме того, проводила футбольные матчи, шахматные турниры, концерты художественной самодеятельности. В одном архивном документе приведен репертуар ансамбля песни и пляски НКВД СССР, ездившего по лагерям:

1. Баллада о Сталине
2. Казачья дума о Сталине
3. Песня о Берия
4. Песня о Родине
5. В бой за Родину
6. Все за Родину
7. Песня бойцов НКВД
8. Песня о чекистах
9. Песня о дальней заставе
10. Марш пограничников⁵⁶.

Были и более легкие номера, такие как “Давай закурим” и “Песня о Днепре”. Репертуар драматического коллектива включал в себя, среди прочего, инсценировки рассказов Чехова. Тем не менее главные усилия, по крайней мере в теории, артисты должны были направлять не на развлечения лагерников, а на их воспитание. Как гласил приказ Москвы за 1940 год, целью всякой постановки должна быть мобилизация заключенных, воспитание в них “сознательного отношения к труду”⁵⁷. Но, как мы увидим, лагерники учились использовать самодеятельность и как средство выживания.

Были, однако, у КВЧ и другие задачи, и заключенные порой пытались попасть на более легкую работу иными способами, нежели участие в самодеятельности. КВЧ отвечала, в частности, за сбор “рационализаторских предложений”. К этой задаче она подходила чрезвычайно серьезно. В направленном в Москву полугодичном отчете начальство одного лагеря в Нижне-Амурской области без тени иронии писало, что получено 302 рацпредложения, из которых внедрено 157, что позволило сэкономить 81 232 рубля⁵⁸.

Исаак Фильштинский с немалой долей насмешки рассказывает, как некоторые заключенные использовали эту начальственную политику в своих целях. Один бывший шофер заявил, что может сконструировать механизм, добывающий топливо для машин “прямо... из воздуха”. Начальство загорелось и выделило ему особую мастерскую: “Я не могу сказать, поверило ли лагерное начальство в возможность подобного изобретения или нет, — рассказывал Фильштинский. — Скорее всего, оно просто старалось выполнить очередную инструкцию ГУЛАГа. В каждом лагере должны были быть свои изобретатели и рационализаторы. <...> А потом, чем черт не шутит, вдруг у Вдовина что-то получится — ведь тогда и лагерное начальство огребет Сталинскую премию!” В конце концов Вдовина разоблачили: однажды, возвращаясь с завода, он нес “огромную конструкцию”, состоящую, в частности, из консервных банок и спичечных коробков. Тут-то начальство и распознало блеф.

Как и по всей стране, в лагерях шло “социалистическое соревнование” и чествовались ударники, перевыполнявшие норму в три, а то и в четыре раза. Первые такие кампании 30-х годов я описала в главе 4, но они продолжались и в 40-е — с меньшим энтузиазмом, но с большей долей абсурдной гиперболизации. Победители соревнования получали награды разного рода. Помимо лучшего питания и лучших условий жизни, им иной раз полагалось и нечто менее осязаемое. В 1942 году, к примеру, за доблестный труд вручали “книжку отличника”. В ней — календарик с клеточками для процентов выполнения нормы за каждый месяц; листки для записей о рацпредложениях и изобретениях; перечень прав, предоставляемых обладателю книжки (на лучшее место в общежитии “со всеми положенными постельными принадлежностями”, на первоочередное получение “обмундирования первого срока и продуктов питания по установленным нормам”, на неограниченное получение “с разрешения начальника лагерного подразделения” передач от родных и знакомых и т. д.); и цитата из Сталина: “...трудолюбивый человек чувствует себя у нас свободным гражданином своей страны, своего рода общественным деятелем. И если он работает хорошо и дает обществу то, что может дать, — он герой труда, он овеян славой”⁵⁹.

Не все относились к таким наградам серьезно. Вот что писал о результатах трудового соревнования поляк Антони Экарт: “Была воздвигнута фанерная доска почета, на которой вывешивались итоги социалистического рабочего соревнования. Иногда к ней прикрепляли кое-как нарисованный портрет ведущего “ударника”, сопровождаемый подробностями его достижений. Цифры были невероятные — пятьсот, даже тысяча процентов нормы. А ведь работа была — рыть землю лопатой. Даже самому тупому заключенному понятно было, что нельзя нарыть в пять-десять раз больше обычного...”⁶⁰.

Воспитатели из КВЧ должны были, кроме того, убеждать “отказчиков” в том, что в их интересах работать, а не сидеть в штрафном изоляторе или перебиваться на штрафном пайке. Разумеется, к их лекциям мало кто относился всерьез: было много других способов заставить человека работать. Но кое-кто клевал на эту удочку, к большой радости гулаговского начальства в Москве. Оно-то относилось к этой функции КВЧ чрезвычайно серьезно и даже периодически созывало совещания начальников КВЧ, где докладчикам задавались, например, такие вопросы: “Какая основная причина и мотивировка отказчиков?” или “Чем вызвалось непредставление выходного дня?”

На одном таком совещании, проходившем во время Второй мировой войны, организаторы активно обменивались опытом. Один из них признал, что “есть отказчики, которые не идут на работу потому, что их используют не по силам, они получают мало хлеба...”.

Но он же утверждал, что даже на голодного человека можно воздействовать: одному отказчику, у которого брат находился на фронте, он сказал, что “отказ от работы — это нож, занесенный над шеей брата”. И заключенный вышел на работу. В другом лагере отказчикам показали фильм “Ленинград в борьбе”, после чего в их настроениях произошел “резкий перелом”. Еще один начальник КВЧ сообщил, что в его лагере членам ударных “фронтных” бригад предоставлены лучшие бараки и созданы лучшие культурно-бытовые условия. После работы они “украшают свои бараки”, разводят цветы. Им даже разрешили заводить индивидуальные огороды. В этом месте на полях стенограммы синим карандашом размашисто написано: “Хорошо!”⁶¹.

Подобному обмену опытом придавалось такое значение, что в разгар войны культурно-воспитательный отдел ГУЛАГа в Москве издал брошюру на соответствующую тему. Название — “Возвращенные к жизни” — рождает некие религиозные ассоциации. Автор, сотрудник КВЧ Логинов, описывает свои беседы с рядом “отказчиков”. Используя тонкий психологический подход, он всех до единого обратил в трудовую “веру”.

Сюжеты довольно-таки предсказуемые. Молодую образованную Екатерину Ш., муж которой был расстрелян за “шпионаж” в 1937-м, посадили на пять лет за “потерю бдительности советской женщины”. Логинов возрождает в ней желание жить, объясняя ей, что ее жизнь и труд нужны советскому обществу. Заключенному Самуилу Гольдштейну Логинов разъясняет “сущность расовой теории и гитлеровского нового порядка в Европе”, завуалированно обращаясь тем самым к его еврейскому национальному самосознанию. Этот необычный (в СССР) подход производит на Гольдштейна такое впечатление, что он изъявляет желание немедленно отправиться на фронт. “Ваше оружие сегодня — ваш труд”, — возражает Логинов и убеждает его самоотверженно трудиться в лагере. “Ваша жизнь нужна обществу и вам также”, — говорит он еще одному “отказчику”, и тот приступает к труду⁶².

Само собой, Логинов был горд проделанной работой, которой отдал столько сил. Его энтузиазм был велик. Без награды Логинов не остался: начальник ГУЛАГа В. Г. Наседкин был так доволен, что велел разослать брошюру по всем лагерям и назначил Логинову премию в 1000 рублей.

Неясно, однако, были ли Логинов и его “отказчики” искренни. Трудно понять, к примеру, сознавал ли Логинов, что многие из тех, кого он “вернул к жизни”, ни в чем не виновны. Чувствовал ли он это хотя бы на подсознательном уровне? Не знаем мы и того, подлинным ли было обращение Екатерины Ш. (если она существовала) и ей подобных в советскую “веру” или же они решили притворить-

ся ради лучшей кормежки, лучшего отношения начальства, более легкой работы. Материальные и мировоззренческие мотивы не всегда исключали друг друга. Для человека, потрясенного и сбитого с толку стремительным переходом из разряда полезных граждан в разряд бесправных заключенных, “увидеть свет” и вновь стать “советским” порой означало как психологическое исцеление от шока, так и надежду на лучшие условия, в которых можно выжить.

Вопрос о том, были ли они искренни, верили ли они в то, что делали, составляет часть более обширного вопроса, затрагивающего самую сердцевину советского режима: в какой мере советские руководители верили в то, что они делали и к чему призывали? Пропаганда и действительность всегда находились в СССР в странных отношениях: фабрики едва работали, в магазинах нечего было купить, старушкам не на что было обогреть свое жилье, а вместе с тем на улицах плакаты прославляли “торжество социализма” и “героические достижения советской родины”.

Эти парадоксы равным образом проявлялись и в лагерях, и за их пределами. В историческом исследовании, посвященном Магнитогорску — детищу сталинской индустриализации, — Стивен Коткин пишет, что краткие биографии перевоспитавшихся заключенных в газете Магнитогорской исправительно-трудовой колонии написаны языком, “поразительно похожим на тот, каким могли бы изъясняться рабочие-передовики вне колонии: люди самоотверженно работают, учатся, стараются повысить свой трудовой и образовательный уровень”⁶³.

И все-таки в лагерях положение было более странным. Уже в “свободном” советском мире колоссальный разрыв между пропагандой и действительностью казался многим смехотворным и нелепым, но в ГУЛАГе абсурд достиг новых высот. От заключенных, которых постоянно называли “врагами народа”, которым запрещали употреблять слово “товарищ” и смотреть на портреты Сталина, тем не менее ожидали такой же, как от свободных людей, доблестной работы во славу социалистической родины; от них ожидали участия в “художественной самодеятельности”, словно бы продиктованного бескорыстной любовью к искусству. Этот абсурд был хорошо виден всем. В определенный период своей лагерной жизни Алла Андреева была художницей, то есть писала лозунги. Эта работа, очень легкая по лагерным меркам, помогла ей сберечь здоровье и, вполне вероятно, спасла ей жизнь. При этом в интервью, взятом мною много лет спустя, она сказала, что не помнит лозунгов, которые писала. Выдумывали их начальники — “что-то вроде: “Отдадим все силы труду” <...> Я писала их очень быстро, очень технически хорошо, но абсолютно забывала тут же, что я написала. Это какая-то самозащита”.

Леонид Трус, который был в лагерях в первой половине 50-х, тоже отмечает бессмысленность лозунгов, которые висели по всему лагерю и звучали по лагерному радио: “В лагере было свое радио, которое регулярно передавало какие-то передачи о наших трудовых успехах и обличало тех, кто плохо работает. Это было очень топорно, гнусно, тошнило от этих передач, но я вспоминал те передачи, которые я слушал по радио на свободе, и убеждался, что по сути они ничем не отличались, там более талантливые люди, они умели это красивее рассказать <...>, но по существу это то же самое, те же самые плакаты, те же самые призывы, только здесь они звучат нелепо: “Взял обязательство — выполни”, и еще я неоднократно встречал, в лагере это звучало особенно нелепо: “Труд в СССР — дело чести, славы, доблести и геройства” (слова Сталина). И всякие другие лозунги, которые везде были: “Мы за мир”, «Да здравствует мир во всем мире»”.

Иностранцам, не столь привычным к лозунгам и плакатам, деятельность КВЧ казалась еще более странной. Вот как описывает типичное политзанятие поляк Антони Экарт: “Сотрудник КВЧ — профессиональный агитатор, по уму тянувший лет на шесть, — обычно часа два распространялся перед заключенными о величии доблестного труда. Он говорил им, что все достойные люди — патриоты, что все патриоты любят Советский Союз, что трудящимся живется здесь лучше, чем в любой другой стране мира, что советские граждане гордятся своей страной, и так далее, и тому подобное. И все это говорилось людям, которые на самой коже своей несли свидетельства нелепости и лицемерия подобных заявлений. Но оратор не смущается безразличием слушателей и продолжает. Под конец он обещает ударникам улучшение оплаты, кормежки и условий жизни. Воздействие на людей, проходящих школу голода, можно себе представить”⁶⁴.

Еще один поляк, депортированный из восточной Польши, сходным образом отреагировал на лекцию в сибирском лагере: “Лектор час за часом доказывал нам, что Бога нет, что Он — всего-навсего буржуазная выдумка. Мы должны радоваться, что оказались среди советских людей, в самой прекрасной стране мира. Здесь, в лагере, нам предстоит научиться работать и стать достойными людьми. Время от времени он начинал нас образовывать: говорил, что “земля круглая”, в полной уверенности, что мы понятия об этом не имеем, сообщал нам, что Крит — полуостров, что Рузвельт — министр иностранных дел. Изрекая подобные “истины”, он был непоколебимо уверен в нашем полнейшем невежестве, ибо откуда нам, выросшим в буржуазном государстве, было почерпнуть элементарные знания? <...> Он с удовольствием подчеркивал, что нам нечего и мечтать о возвращении нашей свободы, что Польша никогда больше не поднимется...”.

Незадачливый лектор, пишет поляк, трудился впустую: “Чем больше он об этом распространялся, тем сильнее мы бунтовали внутренне, надеясь вопреки всему. Лица отвердели, в них читалась решимость”⁶⁵.

По словам другого поляка, Густава Герлинга-Грудзинского, деятельность лагерной КВЧ была “реликтом предписаний, изданных в Москве в те времена, когда лагеря действительно рассматривались как полувоспитательные учреждения. Что-то гоголевское было в этой слепой верности чиновничьему вымыслу вопреки практике жизни — что-то от воспитания «мертвых душ»”⁶⁶.

Поляки не были одиноки в своих взглядах: сходного мнения придерживается подавляющее число мемуаристов, которые либо не упоминают о КВЧ вовсе, либо высмеивают ее. Поэтому, когда пишешь о роли пропаганды в лагерях, нелегко понять, насколько она в действительности была важна для центральной администрации. С одной стороны, есть основания утверждать (и многие утверждают), что лагерная пропаганда, как и вся советская, была чистейшим фарсом, что никто ей не верил, что лагерное начальство таким наивным и откровенным способом просто пыталось пудрить заключенным мозги.

С другой стороны, если пропаганда, плакаты, политзанятия были фарсом, и не более того, и если им действительно не верила ни одна живая душа, почему же тогда на все это тратилось так много реального времени и денег? В одних только архивах ГУЛАГа содержатся сотни и сотни документов, свидетельствующих об активной работе КВЧ. В частности, в первом квартале 1943 года, в самый разгар войны, из лагерей в Москву и обратно неслись взволнованные телеграммы: лагерные начальники отчаянно добивались, чтобы для заключенных прислали музыкальные инструменты. В том же году лагеря проводили выставки-смотр художественного творчества на тему: “Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков”. Лучшие экспонаты (50 картин и 8 работ художественной вышивки) прислали в Москву “для оценки их квалифицированными художниками”. В этот период повсеместной нехватки рабочих рук центральные органы рекомендовали, чтобы в каждом лагере были библиотекарь, киномеханик для показа пропагандистских фильмов и культурорганизатор из числа заключенных, который “ведет повседневную борьбу за чистоту”, помогает КВЧ поднимать культурный уровень лагерников, организует среди них кружки художественной самодеятельности и “помогает заключенным правильно разбираться в вопросах текущей политики”⁶⁷.

Лагерные воспитатели представляли полугодовые или квартальные отчеты о своей работе, где перечисляли свои достижения во всех мыслимых подробностях. Один такой отчет составил в том же 1943

году начальник КВЧ Востураллага, насчитывавшего в то время 13 000 заключенных. Отчет занимает 21 страницу и начинается с признания того, что в первом полугодии 1943-го лагерь не выполнил производственный план. Во втором полугодии, однако, были приняты меры. Перед КВЧ стояли следующие задачи: “мобилизовать заключенных на выполнение и перевыполнение производственных заданий, вытекавших из указаний тов. Сталина”, “содействовать администрации лагподразделений в проведении работ по оздоровлению контингентов и подготовке лагеря к зиме”, “ликвидировать недостатки в культурно-воспитательной работе”⁶⁸. Далее начальник КВЧ переходит к описанию проведенных мероприятий. За второе полугодие, гордо заявляет он, общее число докладов, лекций и политбесед составило 762 при 70 000 человеко-посещений; проведено 444 политинформации при 82 400 человеко-посещений; проведено 5046 “громких читок газет”; устроено 232 концерта и спектакля; организовано 69 киносеансов; создано 38 кружков художественной самодеятельности⁶⁹.

Можно попытаться найти объяснения этой титанической деятельности. Возможно, КВЧ была для гулаговской бюрократии чем-то вроде козла отпущения: если план не выполняется, виной тому не плохая организация дела, не голод среди заключенных, не бессмысленная жестокость, не нехватка валенок, а недостаточная пропаганда. Возможно, все дело в закостенелости системы: раз центр постановил, что пропаганда должна быть, все действовали соответственно, сколь бы нелепо это ни выглядело. Возможно, московское начальство было настолько отгорожено от реальной лагерной жизни, что и вправду считало, что 444 политинформации и 762 политбеседы могут заставить голодающих людей прибавить в работе (хотя верится в это с трудом — доступные руководству сведения, содержащиеся в отчетах органов прокурорского надзора, говорили сами за себя).

Возможно, удовлетворительного объяснения просто не существует. Когда я спросила об этом Владимира Буковского — советского диссидента, который в более поздние годы сам был заключенным, — он пожал плечами. Именно этот парадокс, сказал он, делает ГУЛАГ единственным в своем роде явлением: “В наших лагерях тебя хотели сделать не просто рабом, но таким, который поет и улыбается во время работы. Им мало было нас давить — они хотели, чтобы мы их за это благодарили”⁷⁰.

Глава 12

Наказания и награды

*Кто там не был, тот будет.
А кто был, тот не забудет.*

Советская поговорка о тюрьмах¹

ШИЗО

Очень немногие советские концлагеря сохранились, пусть даже в сильно разрушенном виде, до нынешнего дня. Любопытно, однако, что ШИЗО (штрафные изоляторы) в изрядном количестве стоят до сих пор. К примеру, от 7-го лагпункта Ухтпечлага только ШИЗО и остался — ныне там мастерская автомеханика-армянина. Он не стал трогать решетки на окнах, рассчитывая, по его словам, что “Солженицын купит это здание”. От сельскохозяйственного лагпункта Локчимлага в Аджероме остался опять-таки только штрафной изолятор — теперь это жилой дом на несколько семей. Одна из живущих в нем пожилых женщин похвалила сохранившуюся с тех времен массивную дверь. В середине ее — большое отверстие (“форточка”), через которое заключенным давали еду.

Долговечность штрафных изоляторов говорит о том, что их старались сделать попрочнее. Часто единственное кирпичное здание в деревянном лагере, ШИЗО был зоной внутри зоны, и в нем действовал “режим внутри режима”. “Мрачное каменное здание, — пишет один бывший заключенный. — Наружные ворота, внутренние ворота, повсюду вооруженные постовые”².

В 1939 году Москва выпустила подробную инструкцию, где, в частности, описывались устройство штрафных изоляторов и правила, которым должны были подчиняться штрафники. Каждый лагпункт или группа лагпунктов, если они были мелкие, имел свой ШИЗО, обычно за зоной, а если в ней, то окруженный “глухим забором” и стоящий в отдалении от других построек. Эти дополнительные меры, возможно, были излишни: зэки, как писал Герлинг-Грудзинский, обходили изолятор стороной, “даже не глядя в сторону серых каменных стен, продырявленных отверстиями, из которых зияла темная пустота”³.

Каждому лагерю, где бы он ни находился, — близ Магадана, Воркуты или Норильска — предписывалось организовать центральный штрафной лагпункт. Часто такой лагпункт был, по существу, очень большой тюрьмой, которая, согласно инструкции, создавалась “в наиболее отдаленном от населенных мест и путей сообщения районе с обеспечением усиленной изоляции и охраны, причем

охрана комплектуется из особо проверенных, дисциплинированных и хорошо знающих службу стрелков из вольнонаемного состава”. В центральных штрафных лагпунктах были как общие, так и одиночные камеры (карцеры). Последние находились в специальном помещении и предназначались для “особо злостного элемента”. На работу из карцера не выводили. Запрещались прогулки, пользование табаком, бумагой, спичками. И это помимо накладываемых и на обитателей общих камер “обычных” запретов на переписку, получение посылок и свидания⁴.

Существование ШИЗО, казалось бы, противоречило общим экономическим принципам ГУЛАГа. Особые помещения, особая охрана — все это требовало расходов. Не выводить заключенных на работу — прямой убыток. Однако, с точки зрения лагерного начальства, ШИЗО были необходимы, и дело тут не столько в желании причинить экаму дополнительные страдания, сколько в обширных и многообразных усилиях с единой целью — заставить их работать изо всех сил. Как и штрафной паек, штрафной режим должен был пугать потенциальных отказчиков; он, кроме того, был наказанием для тех, кто совершал лагерные преступления, такие как убийство или побег.

Поскольку эти два типа нарушений, как правило, совершались разными категориями заключенных, в некоторых лагерях ШИЗО приобрели особые черты. С одной стороны, там содержались блатные, куда больше, чем “политические”, склонные к убийству и побегу. Со временем, однако, там становилось все больше зэков совсем иного типа — бескомпромиссных верующих (“религиозников”), которые из принципа отказывались работать на сатанинскую власть. В Потьме, где содержалась Айно Куусинен, начальство выстроило особый штрафной барак для верующих русских женщин, которые “отказывались работать в поле, громко молились и пели. В лагере их прозвали монашками”. Еду им носили в барак; охранник водил их два раза в день оправляться. “Иногда появлялся с плеткой комендант, и из барака доносились стоны и крики. Обычно монашек били по голому телу, но ничего не добивались — они продолжали молиться и соблюдать пост”. Потом женщин увезли. По словам Куусинен, их скорее всего расстреляли⁵.

В ШИЗО попадали и другие категории отказчиков. Само существование штрафных изоляторов давало заключенным выбор: либо работать, либо попадать на определенный срок в ШИЗО, где тебя очень скудно кормили, где ты страдал от холода и многих неудобств, но зато не изнурял себя работой в лесу или забое. Лев Разгон приводит историю графа Тышкевича — польского аристократа, который, оказавшись в сибирском лесозаготовительном лагере, стал категорически отказываться от работы. “Не знаю, чего в графе было боль-

ше — графского гонора или же расчета, — пишет Разгон, имея в виду, что граф, возможно, рассчитывал сохранить силы и обойтись штрафным пайком. — Каждое утро перед разводом, когда колонна зеков выстраивалась на дворе зоны, два надзирателя приводили из карцера графа Тышкевича. Обросшего седой щетиной, стриженного, в обрывках старого пальто и в опорках, его подводили к начальнику лагпункта, который начинал свое воспитательное представление:

— Ну ты, граф, так твою и так и перетак, ты работать пойдешь? Ах, ты не можешь! Ты... — И тут начальник, к общему удовольствию лаг-населения, для которого это было ежедневным спектаклем, объяснял графу, что он думает о нем, о его близких и далеких родственниках и что он с этим графом сделает в самое ближайшее время. Граф спокойно и величественно слушал, пока не раздавалась начальственная команда: — В пердильник его, сукиного сына, пся крев, в матку бозку! — И надзиратели уводили графа в карцер, где, как говорили, он пользовался среди отказчиков авторитетом и уважением⁷⁶.

Разгон пишет об этом не без юмора, однако такая стратегия была очень рискованной: штрафной режим был чрезвычайно строгим. Официально дневная норма питания для не выполняющих трудовую норму составляла 300 граммов ржаного хлеба, 5 граммов муки, 25 граммов крупы или макарон, 27 граммов мяса или рыбы и 170 граммов картофеля. Хотя и этого было очень мало, обитатели штрафных изоляторов получали еще меньше: 300 граммов хлеба в сутки, кипятилок и раз в три дня — “жидкая горячая пища” (баланда)⁷⁷.

Для большинства заключенных, однако, тяжелее всего в штрафном режиме были дополнительные страдания, которым местное лагерное начальство подвергало их по своему усмотрению. Скажем, приходилось спать на голом топчане. Или давали хлеб из некачественной муки. Или “жидкая горячая пища” была чрезвычайно водянистой. Януша Бардаха поместили в карцер, где пол был залит водой, а стены были сырые и заплесневелые: “Мое белье и рубашка уже напитались влагой, и я дрожал от холода. Шея и плечи онемели. От сырости древесина топчана была гнилая, особенно по краям. <...> Топчан был такой узкий, что на спине лежать я не мог, а когда я лежал на боку, ноги свисали. Все время приходилось их подгибать. Трудно было решить, на каком боку лежать: если на одном, то лицо прижималось к склизкой стене, если на другом, то мокла спина”⁷⁸.

Сырость и холод были обычным явлением. Хотя по инструкции температура в штрафных изоляторах не должна была опускаться ниже 16°C, отоплением часто пренебрегали. Густав Герлинг-Грудзинский писал, что в его изоляторе “окошки в тесных камерах не были ни застеклены, ни даже забиты досками, и температура воздуха была не намного выше, чем снаружи”. Он описывает и другие нарочно созданные неудобства:

“Моя камера была такой узкой, что одним большим шагом я переходил от стены Т. к стене Горбатова. <...> На верхних нарах невозможно было сидеть, не прислоняясь согнутой спиной к деревянному потолку камеры, на нижние же надо было влезать движением ныряльщика, головой вперед, а вылезать, отталкиваясь, как пловец на мелком месте, руками от досок. Расстояние между краем нар и дверью, возле которой стояла параша, составляло не больше обычного полушага”⁷⁹.

Лагерное начальство решало, оставлять ли штрафнику одежду (многих держали в изоляторе в одном белье) и выводить ли его на работу. Если не выводили, он все время находился без движения в холодном помещении. Если выводили, он сильнее страдал от голода. Майю Улановскую держали на штрафном пайке целый месяц и при этом заставляли работать. “Постоянно хочется есть, — писала она. — <...> Говорят только о еде”⁸⁰. Из-за таких, часто неожиданных, особенностей и поворотов штрафного режима заключенные очень боялись ШИЗО. “Случалось, что эски с детским плачем обещали исправиться, лишь бы вырваться оттуда”, — писал Герлинг-Грудзинский⁸¹.

В крупных лагерных комплексах вводилась дифференциация наказаний: не только ШИЗО, но и штрафные бараки и даже целые штрафные лагпункты. В Дмитлаге, строившем канал Москва — Волга, в 1933 году был создан “Отдельный Лагерный Пункт усиленного режима” для “отказчиков от работ, беглецов, воров и т. д.”. Для надежности новый лагпункт окружили не одним, а двумя рядами колючей проволоки; на работу заключенных сопровождал усиленный конвой, и использовали их “исключительно на физических работах, в местах, исключающих возможность побега”⁸².

Примерно в то же время в Дальстрое был сооружен штрафной лагпункт, который к концу 30-х приобрел широкую и страшную славу. Серпантинная (или Серпантинка) находилась в холмистой местности далеко к северу от Магадана. Нарочно построенный там, где было очень мало солнечного света, где было холоднее и темнее, чем в большинстве лагпунктов долины (которая и в целом отличалась суровым климатом), штрафной лагпункт Дальстроя был очень надежно огорожен и укреплен и в 1937–1938 годах служил также местом расстрелов. Само его название страшило эзков, которые приравнивали отправку на Серпантинку к смертному приговору⁸³.

О Серпантинке известно очень немногое, главным образом потому, что мало кто вышел из нее живым и смог ее описать. Еще меньше мы знаем о штрафных лагпунктах других лагерей, например об Искитиме, штрафном лагпункте Сиблага, построенном у известнякового карьера. Заключенные добывали в карьере известняк вручную, и известковая пыль, вызывавшая болезни легких, убила

многих — кого раньше, кого позже¹⁴. Некоторое время в Искитиме пробыла Анна Ларина, молодая вдова Бухарина. Но имена большинства прошедших этот лагпункт и имена большинства погибших там остаются неизвестными¹⁵.

Жертвы Искитима, однако, не вполне позабыты. Их страдания так сильно подействовали на воображение местных жителей, что несколько десятилетий спустя, когда на холме у бывшего лагеря пробился источник, люди восприняли это как чудо. Овраг под источником был, как считают здесь, местом массовых расстрелов, и многие верят, что родник сотворен Богом в память погибших. Тихим морозным днем в конце сибирской зимы, когда землю еще покрывал метровый слой снега, я видела, как люди группами поднимаются на холм, наполняют чистой водой пластмассовые ведерки и бутылки, благоговейно делают глоток-другой и почтительно поглядывают вниз, в овраг.

Почтовый ящик

ШИЗО был максимальным (кроме расстрела) наказанием пени-тенциарной системы. Но ГУЛАГ распределял не только наказания, но и награды: система кнута и пряника. Помимо еды, сна и условий труда заключенного лагерь контролировал и его доступ к внешнему миру. Из года в год московское начальство ГУЛАГа посылало в лагерь инструкции, определяющие, сколько писем, посылок и денежных переводов имеют право получать заключенные, когда и как могут происходить их свидания с родственниками.

Как и инструкции о штрафных изоляторах, правила, регулирующие внешние контакты, менялись — обычно в сторону ужесточения. Например, в “Положении об ИТЛ” 1930 года просто говорится, что заключенные имеют право переписываться и получать посылки. Нет в “Положении” и конкретных ограничений на свидания. Однако порядок предоставления свиданий и получения посылок устанавливался специальными инструкциями ОГПУ¹⁶.

Инструкция 1939 года была уже куда более детальной. В ней вполне определенно говорилось, что право на свидания с родными имеют только заключенные, выполняющие производственную норму (одно свидание в шесть месяцев). Лучшим производственникам предоставлялось одно свидание в три месяца. На посылки тоже наложили ограничения: одна посылка в месяц, а осужденным за контрреволюционные преступления — одна в три месяца¹⁷.

В этой инструкции приводятся подробные правила, регулирующие отправку и получение писем. “Политические”, осужденные за одни “контрреволюционные преступления”, могли получать одно

письмо в месяц, за другие — одно в три месяца. Лагерникам запрещалось касаться в письмах определенных тем: нельзя было называть количество заключенных в лагере, писать о режиме содержания, упоминать фамилии начальников, сообщать о характере производства. Письма, где эти запреты нарушались, цензоры конфисковывали, тщательно фиксируя нарушения в личных делах заключенных. Видимо, копили улики о “шпионаже”.

Все эти правила постоянно менялись, исправлялись, приспособлялись к обстоятельствам. В военные годы, к примеру, были сняты все ограничения на продуктовые посылки: начальство ГУЛАГа, судя по всему, попросту рассчитывало, что родственники помогут НКВД кормить заключенных (власти с этой задачей не справлялись). Однако после войны в лагерных подразделениях строгого режима для совершивших тяжкие преступления и в особых лагерях для “политических” права ээков на связь с внешним миром опять были урезаны. Разрешали писать только четыре письма в год, а получать письма можно было лишь от близких родственников — родителей, братьев, сестер, супругов и детей¹⁸.

Именно из-за того, что правила были такими разнообразными, такими сложными и так часто менялись, на практике сношения с внешним миром, как и многое другое, зависели от прихотей непосредственного начальства. Разумеется, письма и посылки никогда не доходили до заключенных в штрафных изоляторах, штрафных бараках и штрафных лагпунктах. Не получали их и те, на кого начальство по тем или иным причинам имело зуб. Более того, некоторые лагеря были настолько изолированы, что люди там не получали писем вовсе¹⁹. Были лагеря, где письма не выдавались из-за халатности или плохой организации жизни. Об одном лагере проверяющий из прокуратуры недовольно писал, что “посылки, письма, денежные переводы заключенным не вручались и лежали тысячами на складах и в экспедициях без всякого движения”²⁰. Во многих лагерях люди получали письма с опозданием в несколько месяцев, если получали вообще. Многие заключенные только годы спустя узнали, как много адресованных им писем и посылок пропало. Что-то было украдено, что-то просто потерялось. С другой стороны, те, кому было строго запрещено получать письма, иногда, вопреки всем усилиям лагерного начальства, все же их получали в обход администрации²¹.

Некоторые цензоры, нарушая правила, тайком отдавали заключенным “закракованные” письма, которые подлежали изъятию или уничтожению. Дмитрий Быстролетов вспоминает поступавшую так комсомолку Валю: она “рисковала самым главным — куском хлеба, не говоря уже о свободе (за это давали 10 лет)”²².

Были, конечно, способы обойти как цензуру писем, так и ограничения на их число. Анне Розиной однажды передали письмо от

мужа, спрятанное в пироге. Она рассказывает и о письмах, которые освобождающиеся из лагеря зашивали под подкладку, о письмах, которые засовывали под подошвы²³. В лагере легкого режима Барбара Армонас передавала письма на волю через бесконвойных, работавших вне зоны²⁴.

Генерал Горбатов пишет о том, как он отправил неподцензурное письмо жене из вагона для перевозки заключенных. Об этом способе упоминают многие. “У одного из пяти уголовных, ехавших с нами в вагоне, был небольшой кусочек карандашного графита, который он утаил при обыске; он согласился продать его за две пачки махорки. Выписав из лавочки эти две пачки и две книжечки папиросной бумаги, я отдал ему махорку, взял карандаш и написал на тонких листиках письмо, пронумеровав каждый листок. Конверт я сделал из бумаги, в которую была завернута махорка, и заклеил его хлебом. Чтобы письмо не унесло ветром в кусты при выброске из вагона, я привязал к нему корку хлеба нитками, которые вытащил из полотенца, а между конвертом и коркой вложил рубль и четыре листочка с надписью: “Кто найдет конверт, прошу приклеить марку и опустить в почтовый ящик”. Проехав какую-то большую станцию, я устроился у окна вагона и незаметно выбросил письмо...”²⁵.

Вскоре жена его получила.

Некоторые трудности, связанные с писанием писем, не упоминались в инструкциях. Хорошо, конечно, иметь право послать письмо, но не всегда легко найти, чем и на чем писать. Быстролетов вспоминает: “Бумага в лагере — драгоценность, потому что она крайне нужна заключенному и достать ее негде: что значат крики воспитателей в дни отдыха: “Сегодня почтовый день! Сдавайте письма!”, если писать не на чем, если пишут немногие счастливики, а остальные угрюмо лежат на койках, лицом упершись в стенку?”²⁶.

Один заключенный вспоминал, как выменял на хлеб две странички, вырванные из “Вопросов ленинизма” Сталина и написал письмо домой между строк вождя²⁷. В небольших лагпунктах даже сотрудникам администрации приходилось искать творческие решения. В Кедровом Шоре лагерный счетовод использовал для официальных документов старые обои²⁸.

Правила, касающиеся посылок, были еще более сложными. В инструкциях, рассылавшихся начальникам всех лагерей, было прямо сказано, что надзиратель, прежде чем передать заключенному содержимое посылки, должен изъять все запрещенное²⁹. Часто получение посылки было сопряжено с целым ритуалом. Вначале зэку сообщали о его счастье. Затем он шел в “посылочную”, где ящики хранились под замком. Вскрыв посылку, надзиратель проверял, разрезал, откупоривал все, что в ней было, вплоть до последней лу-

ковицы или куска колбасы — смотрел, нет ли записки, оружия или денег. То, что благополучно проходило проверку, заключенный забирал; часть можно было оставить на складе на хранение (в зоне продукты могли отнять). Сидевшим в ШИЗО или наказанным как-либо иначе посылок, разумеется, не выдавали.

Возможны были варианты. Один заключенный увидел, что еда из посылки, которую он оставил на хранение в конторе, быстро исчезает — воруют счетоводы. Тогда он взял бутылку топленого масла и спрятал у себя в брюках, привязав веревочкой к поясу. “Согретое теплом моего тела, оно всегда было жидким”. Вечерами он сдабривал этим маслом хлеб³⁰. Дмитрий Быстролетов жил в лагпункте, где оставить посылку было негде:

“Я работал тогда в тундре на строительстве завода и жил в рабочем бараке, где оставлять ничего было нельзя и нельзя было захватить с собой на работу — при обыске у ворот солдаты отберут и съедят сами, а в бараке украдет и съест дневальный. Все полученное приходилось использовать сразу. Я пробивал гвоздем из нар две дыры в банке и под одеялом начинал сосать сгущенное молоко, но усталость была так велика, что я засыпал, и драгоценная жидкость бесполезно вытекала на грязный тюфяк”³¹.

При получении посылки возникали сложные нравственные коллизии, поскольку получали их не все. Делиться или нет? И если делиться, то с кем — с друзьями или с потенциальными покровителями? В тюрьме порой создавались “комбеды”, но в лагере это было невозможно. Иные угощали всех подряд — из доброты или в надежде распространить дух доброй воли. Другие делились с небольшим кружком друзей. Некоторые ели поодиночке. Одна бывшая заключенная призналась: “Случалось мне и в одиночку, по ночам, поедать печенье из посылки. Это считалось неприличным, но еще хуже казалось наслаждаться своим богатством на глазах у других...”³².

В голодные военные годы в губительных северных лагерях от посылки иной раз зависело, жить человеку или умирать. Актер Георгий Жженов вспоминал, как две посылки однажды спасли ему жизнь. Мать отправила их ему из Ленинграда в 1940-м, а получил он их три года спустя в критический момент, когда он потерял последнюю надежду, медленно умирая от недоедания и цинги.

Жженов работал тогда в колымском лагпункте в бане — для работы в забое он был слишком слаб. Узнав, что ему пришли две посылки, он вначале не поверил такому счастью. Потом, убедившись, что это правда, он отправился пешком за десять километров в другой лагпункт, где его ждали посылки. После двух с лишним часов ходьбы, с трудом одолев всего километр с небольшим, он вернулся. Потом он попросил лагерного оперуполномоченного взять его с собой. Последнюю часть пути оперуполномоченный, сжалившись над

ним, вез его на санках. Получив наконец свои посылки, Жженов увидел, что “сахар, колбаса, сало, конфеты, лук, чеснок, печенье, сухари, шоколад, папиросы «Беломор», вместе с оберточной и газетной бумагой, в которую был завернут каждый продукт, за время трехлетнего блуждания в поисках адресата перемешались, как в стиральной машине, превратились в единую твердую массу со сладковатым запахом гнили, плесени, запахом табака и конфетной парфюмерии <...> Я подошел к столу, откромсал ножом кусок и тут же при всех, почти не разжевывая, торопливо проглотил, не разбирая ни вкуса, ни запаха, словно боясь, что кто-то может помешать или отнять у меня «это»...”³³.

Дом свиданий

Однако главным источником радостных или мучительных переживаний заключенных были не письма и не посылки, а свидания с родными — с женой, с мужем, с матерью. Право на свидания имели лишь те, кто выполнял трудовую норму и все требования лагерного режима. Официальные документы прямо называли свидание высшей формой поощрения за “примерное поведение и хорошую, добросовестную и ударную работу”³⁴. Возможность встречи с близким человеком была чрезвычайно мощным стимулом для хорошего поведения.

Разумеется, родственники решались приехать не ко всем. Для того чтобы поддерживать связь с арестованным “врагом народа”, от них требовалось немалое душевное мужество. А поездка на Колыму, в Воркуту, в Норильск или в Казахстан, пусть даже на правах свободного гражданина, требовала и физической стойкости. Надо было долго ехать на поезде в дальние, дикие места, а затем идти пешком или трястись в кузове грузовика до лагпункта. После этого часто приходилось ждать несколько дней или даже недель, упрашивая глумливых лагерных начальников разрешить свидание с заключенным — свидание, в котором вполне могли отказать без объяснения причин. Затем — долгий путь обратно тем же маршрутом.

Помимо физических тягот — страшное душевное напряжение. Родственники заключенных, пишет Герлинг-Грудзинский, “чувствовали, сколь безгранично страдание их близких, и в то же время не могли ни понять его до конца, ни облегчить: годы разлуки выжгли в них значительную часть чувств, некогда испытываемых к родному человеку <...> лагерь, хотя далекий и непроницаемо огражденный от пришельцев извне, отбрасывал и на них свою зловещую тень. Они не были заключенными, не были “врагами народа”, но были родственниками «врагов народа»”³⁵.

Смятение испытывали не только взрослые, но и дети. Двухлетний сын одного заключенного, когда ему сказали: “Пойди, поцелуй папу”, бросился к охраннику и обнял его за шею³⁶. Дочь конструктора ракет Сергея Королева вспоминала, как ее привезли к отцу, работавшему в “шарашке”. Перед свиданием ей говорили, что он прилетел из командировки на самолете. “Как же ты сумел сесть, тут такой маленький дворик?” — спросила она³⁷.

В тюрьмах и в некоторых лагерях свидания непременно были короткими. Обычно на них присутствовал надзиратель, что тоже создавало колоссальное напряжение. “И так хочется сказать, очень многое сказать, обо всем, что прошел за этот год, — вспоминал В. Ясный о своем единственном свидании с матерью. — И ничего не могу сказать. Почему-то растерянность, не находится слов. А если вдруг и начинаешь что-то рассказывать, тут же бдительный страж прерывает тебя: — Не положено!”³⁸.

Еще более трагична история, рассказанная Быстролетовым. В 1941 году ему предоставили несколько свиданий с женой в присутствии надзирателя. Жена была больна туберкулезом и приехала из Москвы проститься перед смертью. Прощаясь, жена обняла его за шею, надзиратель стал отрывать ее руки, говоря, что свидание окончено. Она упала, из горла у нее хлынула кровь. Не помня себя, Быстролетов бросился на надзирателя и избил его в кровь. От суда и сурового наказания его спасла война, начавшаяся именно в этот день. В переполохе на его проступок махнули рукой. Жену он больше не видел³⁹.

Надзиратели, однако, присутствовали не на всех свиданиях. В крупных лагерях заключенным иногда разрешали “личные свидания”, длившиеся несколько дней. С 40-х годов такие встречи обычно происходили в специальных “домах свиданий” на краю лагеря. Один такой дом описывает Герлинг-Грудзинский: “Если глядеть на дом свиданий с дороги, которая вела из вольного поселка к лагерю, он производил приятное впечатление. Он был выстроен из неохотуренных сосновых досок, щели между которыми были заткнуты паклей, покрыт хорошей жстью <...> К двери, которая находилась по ту сторону зоны и была доступна только для вольных, вело крепкое деревянное крыльцо, на окнах висели ситцевые занавески, а на подоконниках стояли длинные ящики с цветами. В каждой комнатке было две чисто застеленные кровати, большой стол, две лавки, железная печурка и лампочка с абажуром. Чего еще мог желать зэк, годами живший в грязном бараке, на общих нарах, если не этого образца мелкобуржуазного благополучия, и у кого из нас мечты о жизни на воле приобретали форму не по этому подобию?”⁴⁰.

Увы, эти “мечты о воле” часто сменялись горечью. Свидания далеко не всегда были радостными. Случалось, заключенный, пред-

чувствуя, что живым ему из лагеря не выйти, встречал родственников просьбой больше не приезжать. “Ты этот адрес забудь. Мне важнее, чтобы у тебя все было в порядке”, — сказала одна заключенная брату, с которым разговаривала двадцать минут на двадцатиградусном морозе⁴¹. Мужчины, к которым после долгой разлуки приезжали жены, испытывали, пишет Герлинг-Грудзинский, беспокойство особого рода: “Годы тяжкого труда и голода подорвали в них мужскую силу, и теперь, перед сближением с почти чужой женщиной, они, наряду с робким возбуждением, испытывали бессильное отчаяние и гнев. Несколько раз мне довелось слышать мужскую похвалу после свиданий, но обычно это была стыдливая тема, и окружающие относились к ней с молчаливым уважением”⁴².

Жены, приезжавшие с воли, рассказывали мужьям о своих тяготах, которых тоже хватало. Многим из-за ареста мужа трудно было найти работу, их не принимали в учебные заведения; иной раз женщинам приходилось скрывать замужество от подозрительных соседей. Некоторые приезжали сообщить о своем решении развестись. В романе “В круге первом” Солженицын с поразительным сочувствием приводит один такой разговор, основанный на его подлинном разговоре с женой Натальей. В книге Надя, жена заключенного Нержина, может из-за своего замужества потерять и работу, и место в общежитии, и возможность защитить диссертацию. Развод — единственный шанс, дающий “путь в жизни”.

“Надя сразу потупилась, обвисла головой.

— Я хотела тебе сказать... Только ты не принимай этого к сердцу — nicht wahr! — ты когда-то настаивал, чтобы мы... развелись... — совсем тихо закончила она. <...>

Да, когда-то он настаивал... А сейчас дрогнул. И только тут заметил, что обручального кольца, с которым она никогда не расставалась, на ее пальце нет.

— Да, конечно, — очень решительно подтвердил он. <...>

— Так вот... ты не будешь против... если... придется... это сделать?.. — Она подняла голову. Ее глаза расширились. Серая игольчатая радуга ее глаз светилась просьбой о прощении и понимании. — Это — псевдо, — одним дыханием, без голоса добавила она”⁴³.

Свидание и по другим причинам могло быть хуже, чем его отсутствие. Израиль Мазус, который был в лагерях в 50-е годы, рассказывает историю заключенного, к которому приехала на свидание жена. Он сообщил о предстоящей встрече другим, о чем потом пожалел. Пока он проходил все обычные в таких случаях процедуры — мылся в бане, брился у парикмахера, получал в каптерке приличную одежду, — ему беспрестанно подмигивали, тыкали его в бок, намекали на скрипучую кровать в комнате свиданий⁴⁴. Но надзиратель не захотел оставить его с женой вдвоем. Какое уж тут “окошко на волю”.

Соприкосновения с внешним миром всегда были чем-то осложнены — ожиданием, желанием, тревогой. Снова процитирую Герлинг-Грудзинского: “Неизвестно, что тут было главной причиной: то ли воплощенная на три дня свобода не выдерживала сравнения со своим сублимированным образом, то ли она продолжалась слишком недолго, то ли, наконец, исчезнув, как недосмотренный сон, она оставляла после себя пустоту, в которой вновь нечего было ждать, — во всяком случае, эски после свиданий были мрачны, раздражительны и молчаливы. Не говорю уж о тех случаях, когда свидание принимало трагический оборот и превращалось в краткое оформление развода. Плотник из 48-й бригады Крестинский дважды пытался повеситься в бараке после свидания, во время которого жена потребовала у него развода и согласия на то, чтоб отдать детей в детдом”.

Герлинг-Грудзинский, которому как иностранцу некого было ждать, тем не менее понимал значение дома свиданий яснее, чем многие советские авторы: “Глядя на эсков после свиданий, я иногда приходил к выводу, что насколько надежда часто может быть единственным содержанием жизни, настолько же ее исполнение иногда становится едва выносимой мукой”⁴⁵.

Глава 13

Охранники

Как ни странно, не все лагерные правила писались начальством. Были и неписанные правила, следуя которым можно было повысить свой статус, получить привилегии, жить чуть лучше других. Была в лагерях и неофициальная иерархия. Овладевшему неписанными правилами и научившемуся подниматься в лагерной иерархии было гораздо легче выжить.

В верхней части этой иерархии находились начальники, надзиратели и конвоиры. Я сознательно пишу: “в верхней части”, а не “над” или “выше”, потому что в ГУЛАГе начальство и охранники не составляли отдельной касты, совершенно отгороженной от заключенных. В отличие от эсэсовцев, охранявших нацистские концлагеря, они не считались представителями высшей расы — этническое происхождение у них с заключенными часто было общее. Например, после Второй мировой войны в лагерях содержалось много сотен тысяч украинцев, и в тот же период там было немало охранников с Украины¹.

И социально охрана и заключенные не были полностью разделены. Некоторые начальники и конвоиры налаживали с заключенными развитые “левые” торговые отношения. Иные из них пили с эсками; многие сожительствовали с лагерницами². Что еще более важно, многие охранники в прошлом были заключенными: в начале 30-х обычной практикой было переводить хорошо ведущих себя осужденных в охрану, а некоторые поднимались и выше³. Самой яркой в этом смысле была, видимо, карьера Нафталия Френкеля, но есть и другие примеры.

Яков Куперман сделал не столь головокружительную карьеру, но его судьба показательна. Куперман, позднее подаривший свои неопубликованные записки московскому “Мемориалу”, был арестован в 1930-м и приговорен к десяти годам ИТЛ. Находился в Кемьском лагере, затем работал в плановом отделе строительства Беломорканала. В 1932-м его дело пересмотрели и лагерь заменили ссылкой. Позднее он в качестве вольнонаемного работал в управлении БАМстроя, о чем под конец жизни вспоминал “с удовольствием”⁴. Его решение не было необычным. В 1938 году более половины административных работников и почти половину работников охраны Белбалтлага составляли бывшие заключенные или заключенные⁵.

В иерархии можно было не только подняться, но и опуститься. Если ээку сравнительно легко было стать охранником, то верно и обратное. Работники ГУЛАГа составили немалую часть тех тысяч сотрудников НКВД, что были арестованы в ходе чистки 1937—1938 годов. Усилиями подозрительных сослуживцев людей из охраны и администрации ГУЛАГа регулярно арестовывали и позднее. В изолированных лагпунктах доносительство цвело пышным цветом: целые папки в архивах ГУЛАГа полны обвинений и контробвинений, гневных писем о недостатках в работе лагеря, об отсутствии поддержки из центра, о плохих условиях труда с требованиями арестовать и наказать виновных⁶.

Работников лагерной охраны и администрации регулярно наказывали за дезертирство, пьянство, воровство, потерю оружия и даже за дурное обращение с эсками⁷. Например, в архивных документах Ванинского ИТЛ и пересыльного лагеря в порту Ванино читаем о стрелке охраны В. Садовникове, который “прибыл в больницу убить жену. А убил медсестру”; о стрелке И. Соболеве, который отобрал 300 рублей у заключенных и потерял партбилет; о начальнике лагпункта В. Суворове, организовавшем коллективную пьянку и вступившем в драку с офицерами с применением огнестрельного оружия; и о многих других, напивавшихся на службе до бессознательного состояния⁸. В личных бумагах видного деятеля сталинских времен Георгия Маленкова содержится докладная записка о деле двух работников лагерной охраны, убивших во время пьянки женщину-врача (мать троих несовершеннолетних детей) и санитарку⁹. Жизнь в отдаленных лагерных подразделениях была тяжелой и скучной, и это, как писал в ЦК ВКП(б) заместитель начальника политотдела ГУЛАГа, “толкало ребят [молодых вольнонаемных рабочих] на прогулы, самовольный уход, недисциплинированность, пьянство, картежные игры и, как правило, заканчивается преданием суду”¹⁰.

Иные сотрудники НКВД совершали полный круг, что было довольно частым явлением: становились заключенными, а потом делали вторую карьеру в администрации ГУЛАГа. Многие бывшие заключенные отмечают быстроту, с которой арестованные работники НКВД вставали в лагерях на ноги и получали хорошие должности. Лев Разгон пишет в мемуарах о некоем Корабельникове, бывшем рядовом оперативнике НКВД, с которым он познакомился на барже по пути в лагерь. Корабельников объяснил Разгону свой арест тем, что он “трепанулся самому своему большому корешу <...> про одно бабское дело у начальника <...> Сунули мне пятак СОЭ* — и в общий этап”. Но он очень быстро выделился из общей массы. Ме-

* СОЭ — социально-опасный элемент. — *Прим. перев.*

сяц спустя Разгон встретил его еще раз. На нем была новая, чистая лагерная униформа. Он стал начальником штрафной подкомандировки Устьвымлага¹¹.

Рассказ Разгона вполне соответствует архивным данным. Очень многие сотрудники ГУЛАГа имели судимости. Создается впечатление, что руководство страны сделало ГУЛАГ местом ссылки для прощтрафившихся работников НКВД¹². Тот, кого отправляли на дальние окраины гулаговской империи, имел мало шансов вернуться в другие подразделения НКВД, тем более в Москву. О расслоении между оперативными работниками НКВД и сотрудниками ГУЛАГа говорит и принятая в ГУЛАГе система знаков различия¹³. На партийных собраниях и конференциях лагерные работники жаловались на свой низкий статус. «На ГУЛАГ смотрят как на управление, от которого все можно требовать и ничего не давать, — сетовал один из них. — <...> Эта линия чрезмерной скромности, что мы хуже всех, неправильна, и отсюда происходят непорядки в зарплате, с квартирным вопросом и т. д.»¹⁴. В 1946-м, когда НКВД был опять разделен и переименован, ГУЛАГ подчинили Министерству внутренних дел (МВД), тогда как почти все более престижные функции НКВД, особенно разведка и контрразведка, достались Министерству госбезопасности (МГБ, позднее — КГБ), чей престиж был выше. МВД, ведавшее системой мест заключения вплоть до распада СССР, было менее влиятельно¹⁵.

Лагерные начальники с самого начала имели сравнительно низкий статус. В письме, отправленном из Соловецкого лагеря в начале 20-х, один заключенный писал, что лагерная администрация целиком состоит из прощтрафившихся чекистов, приговоренных «за воровство, вымогательство, истязания и прочие проступки»¹⁶. В 30-е и 40-е годы в ГУЛАГ переводили тех, чьи биографические данные не отвечали требованиям, — людей не вполне пролетарского происхождения и представителей «подозрительных» в данный момент нацменьшинств (например, поляков, евреев, прибалтийцев). ГУЛАГ также становился последним прибежищем для людей неспособных, некомпетентных или пьющих. В 1937 году начальник ГУЛАГа И. Плинер жаловался: «Нам давали отсеивать из других отделов, нам давали по принципу — на тебе боже, что нам не гоже. <...> И в лучшем случае нам давали тех, которые спились — раз человек спился, дают его в ГУЛАГ. <...> С точки зрения аппарата НКВД, самое большое наказание, если кто-то провинится, — это посылка его в лагерь на работу»¹⁷.

В 1939-м другой гулаговский чиновник заявил, что «в охрану набирались люди не то, что второго сорта, а последнего, четвертого сорта»¹⁸. В 1945 году Василий Чернышов — заместитель наркома внутренних дел СССР, курировавший ГУЛАГ, — разослал всем на-

чальникам лагерей и региональным руководителям НКВД почтограмму, выражавшую недовольство по поводу вопиющих недостатков в работе военизированной охраны ИТЛ, в которой «участились случаи нарушений революционной законности, самоубийств, дезертирств, утери и хищения оружия, пьянства и других аморальных проявлений»¹⁹. В 1952-м, когда вскрылись злоупотребления на высших уровнях МГБ, Сталин немедленно «сослал» одного из главных провинившихся на должность заместителя начальника управления Баженовского лагеря на Урале²⁰.

Архивы ГУЛАГа подтверждают мнение, деликатно высказанное одной бывшей заключенной: и охранники, и начальники чаще всего были «люди очень недалекие»²¹. В частности, из одиннадцати человек, занимавших между 1930 и 1960 годом должность начальника ГУЛАГа, высшее образование было только у пятерых, а у троих — только начальное. Мало кто удерживался на этом посту долго: за тридцать лет только двое — Матвей Берман и Виктор Наседкин — занимали его дольше пяти лет. Израиль Плинер продержался год (1937–1938), Глеб Филаретов — только три месяца (в 1938–1939)²².

Что касается нижней части иерархии НКВД, личные дела работников ГУЛАГа начиная с 1940-го показывают, что даже самые «благонадежные» из тюремщиков — члены партии и кандидаты — в подавляющем большинстве происходили из крестьян и имели минимальное образование — хорошо если пять лет школы, а то всего три²³. По данным на январь 1945 года почти три четверти работников ГУЛАГа имели низшее образование. Этот процент примерно вдвое выше, чем среди оперативных работников НКВД²⁴.

Еще хуже образованна была военизированная охрана (ВОХР). Ее составляли те, кто охранял лагерь по периметру, конвоировал эзков на работу, сопровождал их на восток в эшелонах, зачастую имея весьма смутное представление о том, зачем они это делают. В одном документе, относящемся к Каргопольягу, с возмущением говорится, что стрелки ВОХР не знают фамилий членов политбюро, руководителей партии²⁵. В другом документе перечислены несчастные случаи из-за неправильного обращения охранников с оружием. Один «в результате неумелого обращения с оружием ранил трех заключенных». Другой, «находясь на посту в нетрезвом состоянии, ранил гражданку Тимофееву»²⁶.

Командиры дивизионов на совещаниях докладывали: «Бойцы не знают, как смазывать, чистить и беречь оружие. <...> Девушка-боец стоит на посту с заткнутым тряпочкой каналом ствола. <...> Некоторые бойцы ходят на пост с чужими винтовками, а свои не берут из-за того, что чистить каждый раз лень»²⁷. Москва бомбардировала лагерь требованиями усилить культурно-воспитательную работу среди охранников²⁸.

Но нужда в кадрах была такова, что ГУЛАГ не брезговал и “отсевом”, “пьяницами”, “людьми четвертого сорта” из других подразделений НКВД. От хронической нехватки персонала страдало большинство советских учреждений, и ГУЛАГ страдал особенно сильно. НКВД не мог предоставить достаточного количества провинившихся сотрудников, чтобы удовлетворить потребность в восемнадцатикратном росте численности личного состава между 1930 и 1939 годом, чтобы дать 150 000 новых работников в 1939–1941 годах, чтобы обеспечить колоссальный послевоенный рост ГУЛАГа. В 1947-м, когда только в военизированной охране лагерей служило 157 000 человек, ГУЛАГ считал, что охрана у него недоукомплектована на 40 000 стрелков²⁹.

Эта проблема не переставала мучить гулаговское начальство вплоть до окончательной ликвидации системы. За исключением очень немногих высших должностей, работа в лагерях не считалась ни престижной, ни привлекательной, жилищные условия, особенно в дальних северных точках, оставляли, мягко говоря, желать лучшего. Общая нехватка продовольствия приводила к тому, что охранники и начальство получали свои пайки в зависимости от категории снабжения³⁰. Заместитель начальника политотдела ГУЛАГа, объехав ряд лагерей в районе Воркуты, писал о плохих условиях, в которых живут бойцы и командиры военизированной охраны, которые работают по 14–16 часов в сутки в трудных климатических условиях Севера. Некоторые, как и заключенные, страдали от цинги и пеллагры — болезней, вызываемых нехваткой витаминов³¹. Другой проверяющий отметил, что в Каргопольяге двадцать шесть стрелков ВОХР получили приговоры по уголовным статьям, многие за то, что засыпали на посту. Летом они работали по тринадцати часов в сутки, и возможности хорошо провести свободное время у них не было. Особенно страдали семейные: многие, не имея квартир, вынуждены были жить в бараках³².

Тем, кто хотел перейти на другую работу, сделать это было трудно, даже на высших уровнях. В архиве прокуратуры сохранилась просьба заместителя прокурора Норильяга перевести его из Заполярья в “южные районы” из-за плохого здоровья и переутомления: “...если невозможно будет перевести в другую прокуратуру ИТЛ, прошу меня перевести в территориальную прокуратуру или же отчислить из органов Прокуратуры”. Ему предложили Красноярский край, но он не согласился: хотя Красноярск южнее Норильска, разница условий невелика³³.

После смерти Сталина бывшие сотрудники ГУЛАГа нередко в порядке самооправдания говорили о трудностях своей работы. Ольга Васильева, работавшая старшим инспектором в лагерном отделе Главного управления шоссейных дорог НКВД — МВД, во время встречи со мной много рассуждала о тяжелой жизни сотрудника

ГУЛАГа. В ходе нашего разговора в ее просторной московской квартире Васильева рассказала мне, что в одном лагере начальник охраны пригласил ее к себе переночевать. Она легла в кровать его сына, работавшего стрелком и находившегося на дежурстве. “Я ночью просыпаюсь и вся горю, думаю, неужели я заболела? Возможно, тиф? Зажигаю свет, а у него не коврик над кроватью повешен, а серое солдатское одеяло, и это одеяло все как живое шевелится, вши ползают. То есть не только у заключенных, но и у начальства были вши”. Возвращаясь домой из командировки в лагерь, она раздевалась в подъезде догола, чтобы не занести вшей в квартиру.

Работу лагерного начальства Васильева оценивает как чрезвычайно трудную: “Это же не шутка, тебе поручают сотню, тысячу заключенных, были и рецидивы, и убийства, тяжелые бытовые статьи, от них же можно ждать чего угодно. Значит, ты все время своей вахты должен быть в большом напряжении, начеку”. Начальник, обязаный организовать эффективную работу, должен параллельно решать многие другие вопросы: “Начальник стройки, он же начальник лагеря не меньше 60 процентов своего времени проводил не на стройке, решая инженерные дела, вопросы строительства, а решал дела лагеря. Заболел человек, эпидемия, не дай бог, вспыхнула, или какие-то разовые случаи заболевания, значит, нужно везти в больницу, дает машину или лошадь с телегой, отвозят в больницу”.

Васильева также сказала, что лагерное начальство и питалось плохо, особенно во время войны: щи, каша, селедка. “Я не помню про мясо, я его сама не видела”. При Сталине московские сотрудники ГУЛАГа работали каждый день с девяти утра до двух-трех часов ночи. Сына она видела только по воскресеньям. Но после смерти Сталина положение улучшилось. Министр внутренних дел С. Н. Круглов издал приказ, предоставлявший рядовым сотрудникам часовой обеденный перерыв, офицерам — двухчасовой. В 1963 году Васильева и ее муж получили очень большую квартиру в центре Москвы, где я и взяла у нее интервью в 1998-м.

В сталинский период, однако, работа в ГУЛАГе вознаграждалась хуже, и московскому начальству приходилось думать, как завлечь людей на эти малопопулярные должности. В 1930 году, когда система еще рассматривалась как одно из средств великого экономического прорыва, ОГПУ развернуло своего рода внутреннюю рекламную кампанию. Энтузиастов звали в новые лагеря Дальнего Севера: “Энтузиазм и энергия чекистов создали и укрепили Соловецкие лагеря, играющие большую положительную роль в деле промышленного и культурного развития далекого Севера европейской части нашего Союза.

Новые лагеря под руководством чекистов так же, как и Соловецкие, должны сыграть преобразовательную роль в хозяйстве и культуре далеких окраин.

Для этой ответственной, руководящей работы <...> необходимы твердые чекисты, добровольно желающие работать”.

Добровольцам, помимо прочего, обещали прибавку к зарплате до 50 процентов, двухмесячный ежегодный отпуск, а через три года — вознаграждение в размере трехмесячного оклада и трехмесячный отпуск. Кроме того, им полагался ежемесячный бесплатный “книжный паек” и “льготы по приобретению предметов культурной необходимости, радио-аппаратуры, спортивных принадлежностей и проч.”³⁴.

Позднее, когда от бескорыстного энтузиазма (если он был) совсем ничего не осталось, возникла целая система стимулирования. Лагеря были классифицированы по дальности и суровости условий, и соответственно росли надбавки к зарплате сотрудников НКВД. Некоторые лагеря приманивали людей возможностью для спорта и другого отдыха. НКВД, кроме того, построил для своих сотрудников специальные санатории и дома отдыха на Черном море и в Кисловодске, где они могли проводить свои длинные отпуска³⁵.

Были созданы особые учебные заведения для подготовки и переподготовки кадров ГУЛАГа. В одном из них, находившемся в Харькове, преподавались не только обязательные история ВКП(б) и “материалы к истории ВЧК — ОГПУ — НКВД”, но и уголовная политика СССР, исправительно-трудовая политика, практика работы мест заключения (административная работа, культурно-воспитательная работа, организация и планирование работы, учет и отчетность) и военные предметы³⁶. Тем, кто изъявлял желание работать в Дальстрое, в лагерях Колымы, позволяли даже менять в документах социальное происхождение своих детей на “из рабочих”, что давало им преимущество при поступлении в вузы и было поэтому довольно мощным стимулом³⁷.

Деньги и льготы привлекали людей и на низшие должности. Для многих ГУЛАГ был просто наименьшим из зол. В сталинском СССР, где люди страдали от войн, голода и недоедания, работа конвоира или надзирателя означала для иных серьезное социальное продвижение. Сусанна Печуро, находившаяся в лагерях в первой половине 50-х, рассказывала про надзирательницу, которая пошла на эту работу, чтобы вырваться из колхоза с его голодной жизнью. “Она была сирота, <...> у нее было семеро младших братьев и сестер. Она жила там с ними на Севере и на эту свою зарплату и свой паек она их всех кормила”. Другой свидетель рассказывает историю Марии Ивановой — молодой женщины, добровольно пришедшей работать в лагерь в 1948 году. Надеясь избежать жизни в колхозе и еще сильнее надеясь найти мужа, Мария Иванова была любовницей разных лагерных начальников, переходя от одного к другому по

нисходящей. В конце концов она оказалась в одной комнатухе с матерью и двумя внебрачными детьми³⁸.

Но даже больших зарплат, длинных отпусков и перспектив социального роста не всегда было достаточно, чтобы привлекать в систему нужное количество работников, особенно на нижних уровнях. Во времена наивысшего спроса людей иной раз просто направляли туда, где они были нужны, не объясняя им, куда именно они едут. Медсестра Зоя Еременко сразу после окончания двухгодичной медшколы оказалась в лагере Красноярск-26. “Насторожилась, испугалась, но когда ознакомилась, оказалось, что “там” такие же люди и работа медицинская такая же, как и была на практических занятиях”, — вспоминала она³⁹.

Особенно трагическими были судьбы тех, кого заставили работать в лагерях после Второй мировой войны. Тысячи бывших красноармейцев, пробившихся к своим из немецкого плена, и гражданских лиц, которые жили во время войны на чужой территории (беженцев, перемещенных лиц) отправляли по возвращении в СССР в “проверочно-фильтрационные лагеря”, где подвергали допросам. Часть из тех, кого не сажали после этого в ИТЛ, посылали служить в военизированную стрелковую охрану мест заключения. К началу 1946-го таких было 31 000, и в некоторых лагерях они составляли до 80 процентов охраны⁴⁰. Перейти на другую работу было трудно. У многих не было ни паспортов, ни прописки, ни военных билетов. Без этого люди не могли покинуть лагеря и искать другую работу. Каждый год 300–400 охранников кончали самоубийством. Один из пытавшихся это сделать так объяснял свой поступок: “Причиной этого настроения является то, что я давно служу, и до сего времени меня не прописывают, и почти каждый день приходит милиционер с предупреждением о выселении с квартиры, а потому на этой почве у меня каждый день скандалы в семье”⁴¹.

Другие попросту опускались. Югославский коммунист Карло Стайнер, который во время войны и после нее был заключенным в Норильске, вспоминал, что такие охранники “резко отличались от тех, кто не участвовал в войне”: “Признаки разложения были хорошо заметны. Эти охранники с охотой брали взятки у женщин-заключенных или становились клиентами самых привлекательных. Они позволяли уголовникам уходить из бригады грабить квартиры, а потом получали с них долю награбленного. Они не боялись суровых наказаний, которым их могли подвергнуть, узнай начальство об их проступках”⁴².

Протестовали лишь единицы. В архиве сохранились сведения о репатрианте Данилюке, который решительно заявил: “Я вообще не желаю служить в органах МВД”. После многочисленных “проработок” его уволили из системы военизированной охраны. По крайней

мере, в его случае упорный и последовательный отказ работать в ГУЛАГе принес желаемый результат⁴³.

Самых своих удачливых и верных работников система вознаграждала. Некоторые из них получили многое помимо пайка и более высокого социального статуса. Те, кто силами своих заключенных принес государству много золота или древесины, в конечном итоге не оставались без награды. И если жизнь в заурядном лесозаготовительном лагпункте никогда не была очень приятной даже для тех, кто в нем командовал, то в некоторых крупных лагерях начальство со временем устроилось с немалым комфортом.

В 40-е годы города, находившиеся в центре крупных лагерных комплексов, — такие как Магадан, Воркута, Норильск, Ухта, — уже были большими населенными пунктами, где кипела жизнь, работали магазины и театры, были разбиты парки. За время, прошедшее после первых дней ГУЛАГа, возможностей для хорошей жизни стало неизмеримо больше. В крупных лагерях большие начальники получали более высокие зарплаты и более солидные премии, имели более длинные отпуска, чем начальники в обычной промышленности. В эпоху всеобщего дефицита они хорошо питались и имели доступ к высококачественным товарам. “Жизнь в Норильске была лучше, чем в любой другой точке Советского Союза, — вспоминал Андрей Чебуркин, работавший на производстве в Норильске, а позднее местный чиновник. — Во-первых, у всех начальников были домработницы из заключенных. Потом — еда. Роскошь, а не еда. Все сорта рыбы. В озерах можно было наловить сколько хочешь. Вся страна жила по карточкам, а мы тут — практически без карточек. Мясо. Масло. Под шампанское хорошо шли крабы, их тут было немерено. Икра <...> Ее бочками привозили. Я, конечно, начальство имею в виду, не работяг. Те были заключенными, у них своя доля. <...>

Платили хорошо. <...> Скажем, бригадир имел шесть — восемь тысяч. В центральных областях можно было получать самое большее тысячу двести. Я приехал в Норильск работать инспектором в специальном Управлении НКВД по урану. Искали урановую руду. Мне положили зарплату инспектора: две тысячи сто с самого начала, потом каждые полгода повышали на десять процентов. Это примерно в пять раз больше, чем люди получали в обычной гражданской жизни”^{44*}.

Ключевым является первое утверждение Чебуркина: “У всех начальников были домработницы”, поскольку оно справедливо в от-

* Отрывки из интервью Чебуркина даются здесь в обратном переводе. — *Прим. перев.*

ношении не только начальников, но и рядовых сотрудников. Формально использование заключенных в качестве домашних работников или работниц было запрещено. Но оно было распространено чрезвычайно широко, и власти хорошо об этом знали. Они не раз пытались положить конец этой практике, но безуспешно⁴⁵. В Воркуте Константин Рокоссовский, позднее ставший генералом, затем маршалом, а затем и министром обороны сталинистской Польши, был “денщиком у совершенно необразованного, очень грубого конвоира Бучко. Он приносил Бучко еду, топил печь, убирал его небольшую квартиру”⁴⁶. В Магадане Евгения Гинзбург некоторое время работала прачкой у жены одного из начальников⁴⁷.

Томас Сговиво на Колыме был денщиком у старшего надзирателя — готовил ему еду, добывал ему спиртное и в конце концов завоевал его доверие. “Томас, друг ты мой, — говорил ему надзиратель, — запомни одно. Береги мой партбилет. Напьюсь — смотри, чтоб я его не потерял. Ты мой слуга. Потеряю — пристрелю как собаку. <...> А я этого не хочу”⁴⁸.

Но у действительно больших начальников слугами дело не ограничивалось. Иван Никишов, который в 1939-м, после чисток, стал руководителем Дальстроя и занимал этот пост до 1948 года, приобрел сомнительную славу, роскошествуя среди голодающих. Никишов принадлежал к другому поколению, чем его предшественник Берзин, — к поколению, далеко ушедшему от пламенных аскетических лет революции и гражданской войны. Без особых угрызений совести Никишов использовал свое положение для того, чтобы жить хорошо. Он обзавелся “большой личной службой охраны, роскошными автомобилями, шикарными служебными помещениями и чудо-дачей на берегу Тихого океана”⁴⁹. На этой даче, по свидетельствам заключенных, было вдоволь ковров, медвежьих шкур, хрустальных люстр. В роскошной столовой Никишов и его лагерная жена Гридасова — молодая, энергичная бывшая воспитательница из лагерной КВЧ — лакомились медвежьей печенью, изысканными винами, фруктами, ягодами, свежими огурцами и помидорами из специальной теплицы⁵⁰.

Никишов был не один такой. Лев Разгон дал незабываемую характеристику полковника Тарасюка — начальника Устьвымлага в годы войны: “Он и жил как римлянин, назначенный губернатором какой-нибудь варварской провинции, завоеванной Римом. В специальных теплицах и оранжереях для него выращивали овощи и фрукты, экзотические для Севера цветы. Были найдены лучшие краснодеревщики, делавшие ему мебель; самые известные в прошлом портные обшивали его капризную и своенравную жену. И лечили его не какие-то вольнонаемные врачешки, со студенческой скамьи запредавшиеся ГУЛАГу, а крупнейшие профессора, руково-

дители крупных столичных клиник, отбывавшие свои большие сроки в медпунктах далеких лесных лагерей”⁵¹.

Нередко заключенным приходилось помогать начальству удовлетворять свои прихоти. Лагерному врачу Исааку Фогельфангеру постоянно не хватало медицинского спирта, потому что его фармацевт использовал спирт для приготовления настойки, которой начальник лагеря угощал приезжающих чинов НКВД: “Чем больше они пьют, тем лучшее мнение у них складывается о состоянии дел в Севураллаге”. Фогельфангер наблюдал, как лагерный повар готовит для приезжих банкет, используя продукты, которые приберет на этот случай: “икра, копченый угорь, горячие булочки с грибами, арктический голец в лимонном желе, запеченный гусь и запеченный поросенок”⁵².

В этот период (в 40-е годы) начальники, подобные Никишову, начали считать себя чем-то более значительным, нежели просто тюремщики. Некоторые даже принялись соревноваться друг с другом в разных областях, создавая фантастические вариации на тему “утереть нос соседям”. Каждый хотел, чтобы именно у него была лучшая лагерная театральная труппа, лучший лагерный оркестр, лучшие лагерные художники. В 1946-м в Унжлага Лев Копелев узнал, что начальник лагеря “приказывает специально отбирать в тюрьмах артистов, музыкантов, художников <...>. Ведущих артистов постоянно содержали в больнице, числили их выздоравливающими или санитарями...”. Больницы Унжлага были настоящими “пристанищами искусства”⁵³. Дальстрой создал труппу из заключенных, которая выступала в Магадане и на некоторых приисках; в ней участвовали многие известные певцы и танцоры, отбывавшие срок на Колыме⁵⁴. Лев Разгон пишет и о начальнике Ухтижемлага, у которого была “настоящая опереточная труппа” под руководством известного актера Константина Эгерта. Этот начальник также “пристроил к делу” известную балерину из Большого театра, первоклассных певцов и музыкантов: “Иногда начальник Ухтинского лагеря наносил визит в соседний лагерь. Хотя это прозаически называлось “для обмена опытом”, но обставлялся такой визит по всем правилам протокола посещения одних глав государств главами других. Начальство сопровождала большая свита начальников отделов, для них готовились избранные места в гостинице, намечались маршруты, привозились с “Зимки” подарки. И начальник привозил с собой своих лучших артистов, чтобы хозяева понимали, что и у них с искусством не хуже, а может быть, даже и лучше...”⁵⁵.

Бывший театр Ухтижемлага — большое белое строение с колоннами и театральными символами на фронтоне — и сегодня является одним из самых заметных зданий Ухты. От него совсем недалеко

до бывшей резиденции начальника лагеря — большого деревянного дома на краю парка.

Начальство проявляло интерес не только к искусству. Тот, кто предпочитал спорт, мог пестовать лагерную футбольную команду, которая яростно соперничала с другими. Известный футболист и тренер Николай Старостин, арестованный за то, что его команда имела неосторожность обыграть команду, курируемую Берией, тоже попал в Ухту, где его встретили прямо на вокзале. Его познакомили с капитаном местной футбольной команды, который разговаривал с ним почтительно и сказал, что его здесь ждут давно: “Генерал [начальник лагеря] души не чает в футболе. Это он вас сюда вырвал”. Немалую часть своего лагерного срока Старостин провел, тренируя футбольные команды НКВД и переезжая с места на место в зависимости от того, какой начальник хотел видеть его у себя в качестве тренера⁵⁶.

Подобные излишества лишь изредка могли вызвать беспокойность или просто интерес Москвы. Реагируя на жалобу, Берия однажды начал проверку обстоятельств роскошной жизни Никишова. В отчете о проверке, помимо прочего, говорится, что Никишов истратил 15 000 рублей — огромную по тем временам сумму — на банкет по случаю приезда Хабаровской оперетты⁵⁷. В отчете также осуждается “обстановка подхалимства” вокруг Никишова и его жены Гридасовой: “Влияние Гридасовой так велико, что даже непосредственные заместители т. Никишова заявляют, что они могут работать на своих участках до тех пор, пока она к ним благосклонно относится”⁵⁸. Никаких действий, однако, предпринято не было. Гридасова и Никишов продолжали спокойно царствовать.

В последние годы нередко приходится слышать, что, вопреки послевоенным заявлениям немцев, работавших в концлагерях или в карательных бригадах, мало кого из них к этому принуждали. Один специалист не так давно высказал мнение, что в большинстве своем они шли туда добровольно (на этот счет разгорелись споры)⁵⁹. В отношении России и других постсоветских государств этот вопрос следует рассматривать особо. Очень часто работники лагерей, как и большинство советских граждан, имели очень узкий выбор. Им просто указывали место работы, и приходилось ехать. Ограниченный выбор был неотъемлемым свойством советской экономической системы.

Тем не менее было бы неверно считать, что офицерам НКВД и конвоирам приходилось “не лучше, чем заключенным”, что они были такими же жертвами системы. Ибо, хотя они, может быть, предпочли бы работать в другом месте, у служащих ГУЛАГа был довольно существенный выбор в рамках системы — куда больший,

чем у работников нацистских концлагерей, чьи действия были регламентированы более жестко. В ГУЛАГе ты мог проявлять жестокость и сострадание. Мог работой доводить заключенных до смерти, а мог пытаться сохранить жизнь как можно большему их числу. Мог сочувствовать осужденным, чья судьба, выпавшая карта иначе, была бы твоей и еще, возможно, станет твоей, а мог пользоваться на всю катушку временной удачей и свирепо властвовать над бывшими и будущими товарищами по несчастью.

Ничто в истории прошлой жизни администраторов и охранников ГУЛАГа не определяло с достоверностью их линию поведения в лагерях; их этническое и социальное происхождение было настолько же пестрым, как у заключенных. Когда я спрашивала людей, прошедших ГУЛАГ, о начальниках и охранниках, я почти всегда получала ответ, что они очень сильно различались между собой. Галина Смирнова сказала, что они были “как и все люди, разные”. Алла Андреева — что “были явно больные садисты, но были и совершенно нормальные, хорошие люди”. Андреева вспомнила про главного бухгалтера, который однажды вскоре после смерти Сталина “влетел в бухгалтерию, где работали заключенные старушки-бухгалтерши, — влетел с воплями, тряся их за плечи: «Снимайте, снимайте это с номерами, вам отдадут вашу одежду!»”.

По словам Ирены Аргинской, надзиратели, охрана и начальники были “самые разные люди”, причем люди, менявшиеся со временем. Призывников “очень сильно накачивали”, и “первое время это были просто звери, невозможное что-то. Но потом они как-то начинали понимать, не все, но большая часть, поэтому их достаточно часто меняли”.

Разумеется, начальство давило на охранников и администрацию, запрещая им проявлять доброту к заключенным. В архиве прокуратуры сохранилось дело Левина — начальника отдела снабжения Восточного района Дмитлага. Его обвинили в подозрительной мягкости к лагерникам. В частности, он позволил одному из них встретиться с братом (как правило, родственников держали раздельно). И вообще его отношение к зэкам, особенно к одной их группе, которую якобы составляли бывшие меньшевики, показалось кое-кому излишне дружественным. Левин, который сам ранее был зэком на Беломорканале, оправдывался: “Кем они были в прошлом, мне не известно”. Шел 1937 год, и Левин был осужден⁶⁰.

Но такие суровые меры применялись не всегда. Некоторые крупные лагерные начальники были известны своим человеческим отношением к заключенным. В книге “О Сталине и сталинизме” историк, публицист и диссидент Рой Медведев пишет об одном из таких начальников — В. А. Кундуше, который в начале войны принял все-таки требование увеличить производство. Он поставил образован-

ных политзаключенных на административные должности вместо блатных и вообще обращался с зэками мягко: даже добился для некоторых досрочного освобождения. Его предприятие “сразу же вышло в передовые и в течение всей войны перевыполняло план”. Но когда война кончилась, Кундуша арестовали, видимо, за ту самую гуманность, что помогла ему наладить производство⁶¹. Лев Разгон описывает необычную пересыльную тюрьму в Георгиевске, через которую прошел и он, и его вторая жена Рика, тюрьму, где “...камеры не только подметены, но и вымыты. Полы, нары. Где кормят настолько сытно, что исчезает постоянный этапный голод. Где в бане можно мыться по-настоящему. Где даже есть — Рикю это поразило больше всего! — специальная комната со всеми приспособлениями, где женщины могут совершать свой туалет...”⁶².

Были и другие примеры. Советский еврей Генрих Эльштейн-Горчаков, арестованный в 1945-м, на одном из этапов своей лагерной жизни попал в инвалидное подразделение Сиблага. Там появился новый начальник — бывший фронтовик, который не смог найти себе другой работы. Он взялся за дело серьезно: построил новый барак, выдал всем заключенным матрасы, одеяла и даже постельное белье, по-новому организовал работу. Лагерь преобразился⁶³.

Алексея Прядилова, арестованного в шестнадцать лет, отправили в сельскохозяйственный лагерь на Алтай. Начальник “воспринимал лагерь как хозяйственную организацию, к заключенным относился не как к преступникам и врагам, которых надо «перевоспитывать», а как к штрафникам и работникам, и был убежден, что с голодных работу спрашивать бесполезно”⁶⁴. Даже проверяющие из прокуратуры иногда обнаруживали хороших начальников. Один из них, посетивший Бурлаг в 1942 году, увидел, что “заключенные этих заводов потому и работали на отлично, что и условия у них были отличные. Так, например, бараки содержались в чистоте, каждый имел постельные принадлежности, хорошую одежду и обувь”⁶⁵.

Встречались и более прямые формы доброты. Галина Левинсон вспоминает в мемуарах, как начальник лагпункта отговорил одну заключенную от аборта. “Выйдя из лагеря, вы будете одиноки, — сказал он. — Подумайте, как хорошо, если у вас будет ребенок, будет близкое существо”. Впоследствии она была благодарна ему за этот совет⁶⁶. Анатолий Жигулин пишет о хорошем новом начальнике, который “спас от смерти сотни людей”, вопреки правилам называл зэков “товарищи заключенные” и под страхом расстрела приказал повару кормить их досыта. Он явно, замечает Жигулин, “еще не мог привыкнуть к новому обращению с заключенными”. Мария Сандрацкая, арестованная как жена “врага народа”, пишет о человеческом начальнике, который заботился о матерях с детьми: устроил

ясли, организовал усиленное питание для кормящих матерей, освобождал матерей от тяжелых работ⁶⁷.

Проявлять доброту было возможно: на разных уровнях всегда попадались люди, которые понимали положение дел и не соглашались с пропагандой, называвшей всех эзков врагами. Удивительно, сколь многие мемуаристы отмечают отдельные проявления доброты со стороны тюремных охранников, отдельные примеры сочувствия. “Не сомневаюсь, — писал Евгений Гнедин, — что в огромной армии лагерной администрации имелись честные работники, которые тяготились тем, что им пришлось выступать в роли надсмотрщиков над невинно осужденными людьми”⁶⁸. И в то же время большинство мемуаристов изумляется тому, насколько исключительной была такая человечность. Ибо, несмотря на некоторые обратные примеры, чистота в тюрьмах не была нормой, многие лагеря несли заключенным смерть — и большинство охранников относилось к эзкам в лучшем случае с безразличием, в худшем — откровенно жестоко.

Повторяю: жестокости никто ни от кого формально не требовал, наоборот — за преднамеренную жестокость Москва нередко наказывала. В архивных документах Вятлага содержатся сведения о сотрудниках лагеря, наказанных за систематические избиения заключенных, за присвоение их имущества и за насилие над женщинами⁶⁹. В архиве Дмитлага читаем о приговорах по уголовным статьям за избиение эзков в пьяном виде. В документах из центрального архива ГУЛАГа говорится о наказаниях за избиения людей, за пытки во время допросов, за отправку эзков на этап без зимней одежды⁷⁰.

Но зверства продолжались. Иногда они были откровенно садистскими. Виктор Булгаков, который был в лагерях в 50-е, вспоминал одного неграмотного казаха, который специально подолгу держал людей на морозе, и другого, который “любил покрасоваться своей силой и бил заключенных”. В архиве ГУЛАГа среди многих документов на эту тему есть сведения о некоем Решетове — начальнике одного из лагунктов Волгостроя во время войны, который сажал заключенных в очень холодный карцер и заставлял больных работать в лютый мороз, что многим стоило жизни⁷¹.

Чаще, однако, жестокость объяснялась не столько садизмом, сколько выгодой. Охранник, застреливший эзка при попытке побега, получал денежное вознаграждение, и его могли даже отпустить домой в отпуск. Поэтому такие “попытки” специально провоцировались. Результат описывает Жигулин:

— Эй! Мужик! Принеси-ка мне вон то бревнышко для сидения!

— Оно за запреткой, гражданин начальник!

— Ничего, я разрешаю. Иди!

Вышел — очередь из автомата — и нет человека. Случай типичный, банальный⁷².

О типичности этого случая говорят и архивы. В 1938 году в Вятлаге командир взвода ВОХР, его помощник и два стрелка были преданы суду за “убийство 2-х з/к при спровоцированном ими побеге”. Кроме того, выяснилось, что командир и помощник присваивали вещи заключенных⁷³. О провоцировании побегов пишет и Борис Дьяков, опубликовавший лагерные мемуары в СССР в 1964 году⁷⁴.

Как и в поездах для заключенных, жестокость в лагерях нередко, судя по всему, объяснялась скукой и злостью из-за необходимости выполнять обязанности обслуги. Работая медсестрой в колымской лагерной больнице, нидерландская коммунистка Элинор Липпер однажды ночью сидела у койки пациента, страдавшего плевритом с высокой температурой. На спине у него был карбункул, который лопнул из-за побоев конвоира, сопровождавшего его в больницу: “Болезненно задыхаясь, он рассказал мне, что конвоир хотел побыстрее закончить неприятный для себя поход и потому час за часом гнал его вперед — тяжелобольного в лихорадочном состоянии — ударами дубинки. Напоследок конвоир пригрозил переломать ему все кости, если он расскажет в больнице о побоях”. Боясь до самого конца, больной так и не повторил этот рассказ в присутствии кого-либо не из числа заключенных. “Мы дали ему спокойно умереть, — пишет Липпер, — и конвоир продолжал избивать людей без помех”⁷⁵.

Большей частью, однако, жестокость советской лагерной охраны была бездумной, тупой, ленивой жестокостью, как в отношении, скажем, овец. Если вохровцев прямо не инструктировали зверствовать, то их и не учили рассматривать заключенных, особенно политических, как полноценных людей. Наоборот, были потрачены большие усилия на воспитание ненависти к “жесточайшим врагам советского народа, особо опасным государственным преступникам”. Подобная пропаганда оказывала сильное действие на людей, уже озлобленных своими неудачами, нежеланной работой, плохими условиями жизни⁷⁶. Она влияла не только на охрану, но и на вольнонаемных работников, не принадлежавших к системе НКВД. Одна бывшая заключенная вспоминала: “Обычно от вольных мы были отгорожены стеной взаимной неприязни. <...> Наш серый строй в сопровождении конвоя и иногда собак был для них, наверное, чем-то очень неприятным, о чем лучше было не думать”⁷⁷.

Так было уже в 20-е годы, когда соловецкие надзиратели командой “Дельфин!” заставляли окоченевших заключенных прыгать в воду. Еще хуже, разумеется, стало в конце 30-х, когда политических заключенных объявили “врагами народа” и лагерный режим ужесточился. В 1937 году на производственном совещании директор Дальстроя Эдуард Берзин сказал: “Если эта сволочь, которая к нам прибывает, на материке нам вредила, давайте так поставим дело,

чтобы она хотя бы на Колыме для советской власти поработала. Возможности заставить работать у нас имеются”⁷⁸.

Но и после Большого террора пропаганда не ослабевала. В 40-е и 50-е годы заключенных постоянно называли военными преступниками, пособниками фашистов, предателями и шпионами. Украинских националистов, которые хлынули в лагеря после Второй мировой войны, клеймили как приспешников нацистских палачей, как украинских фашистов, как агентов иностранных разведок. Тогдашний глава Украины Никита Хрущев заявил на пленуме ЦК КПСС, что украинские националисты “стараясь угодить своему хозяину, Гитлеру, чтобы только заработать порцию похлебки за свою собачью службу”⁷⁹. Во время войны охранники почти всех политических называли фашистами, гитлеровцами или власовцами.

Особенно горько было это слышать евреям, ветеранам войны, храбро сражавшимся с немцами, и иностранным коммунистам, бежавшим от фашизма у себя на родине⁸⁰. “Мы не фашисты, многие из нас были партийцами!” — негодуя возразил югославский коммунист Карло Стайнер группе глумливых уголовников, назвавших “фашистами” бригаду политических⁸¹. Маргарете Бубер-Нойман, немецкая коммунистка, которая из ГУЛАГа напрямик попала в немецкий концлагерь Равенсбрюк, писала, что ей неоднократно приходилось слышать произнесенное в свой адрес слово “фашистка”⁸². А когда арестованный сотрудник НКВД Михаил Шрейдер сказал на допросе, что его, еврея, гитлеровцы уж никак не могли сделать своим агентом, он услышал в ответ: “Какой ты еврей? Нам известно, что ты немец и что по заданию немецкой разведки несколько лет тому назад тебе сделали для маскировки обрезание”⁸³.

Высказываясь подобным образом, называя заключенных врагами и выродками, их начальники убеждали самих себя в законности своих действий по отношению к ним. Впрочем, рассуждения о “врагах” составляли лишь часть идеологии гулаговских работников. Другой частью — назовем ее риторикой государственного рабства — было представление о первостепенной важности труда и о том, что Советскому Союзу, чтобы выжить, необходим постоянный рост производства. Если коротко — оправданно все, что способствует извлечению золота из земли. Эту идею очень ярко выразил Алексей Логинов, бывший директор Норильского горно-металлургического комбината, в интервью, которое он дал британскому кинодокументалисту: “С самого начала мы прекрасно понимали, что внешний мир никогда не оставит нашу советскую революцию в покое. Не только Сталин это понимал — все понимали, каждый рядовой коммунист, каждый рядовой гражданин понимал, что нам не только надо строить, но надо строить с полным сознанием того, что скоро будет война. В местах, где я работал, невероятно интенсивно искали

всяческое сырье: медь, никель, алюминий, железо и так далее. Об огромных природных запасах Норильска мы знали давно, но как их разрабатывать в условиях Арктики? Поэтому все дело было отдано в руки НКВД. Кто еще мог с ним справиться? Вы знаете, сколько народу арестовали. Нам в Норильске нужны были десятки тысяч...”⁸⁴.

Логинов сказал это в 90-е годы, спустя почти полвека после того, как Норильск перестал быть обширным лагерным комплексом. Но его слова перекликаются с теми, что в 1964-м написала в газету “Известия” Анна Захарова, работавшая, как и ее муж майор Захаров, в одном из лагерей. Письмо не было опубликовано, но позднее циркулировало в самиздате. Как и Логинов, Захарова говорит о долге перед родиной и о жертвах, которые принес ее муж ради величия СССР: “...он уже здоровье потерял, работая с преступным миром, так как здесь вся работа поставлена на нервах. Мы бы и рады уже отдохнуть, так как муж уже отслужил свое, но не отпускают. Коммунист — офицер, долг службы обязывает”⁸⁵.

Сходный взгляд выразила одна бывшая сотрудница лагерной администрации, попросившая меня не указывать ее фамилию. Она с гордостью говорила о работе, которую проделали ее заключенные во время войны: “Абсолютно все в лагере трудились, все расплатились со страной, отдали фронту, что могли”⁸⁶.

В этой системе понятий, где главную роль играли преданность Советскому Союзу и исполнение поставленных руководством экономических задач, жестокость во имя выполнения плана казалась людям, виновным в ней, достойной чуть ли не восхищения. Точнее говоря, подлинная суть жестокости, как и подлинная суть лагерей, могла быть скрыта завесой экономической риторики. Взяв в 1991 году интервью у бывшего сотрудника администрации Карлага, американский журналист Адам Хохшилд с горечью заметил: “Послушаешь этого полковника и не поймешь, что речь идет о месте заключения. Он не говорил почти ни о чем, кроме роли Карлага в советской экономике. Такие слова могли звучать из уст гордого собой регионального партийного начальника: «У нас была своя собственная сельскохозяйственная опытная станция. Скотоводство тоже было на передовом уровне. Здесь разводили крупный рогатый скот хороших пород — красной степной, казахской белоголовой...»”⁸⁷.

Руководители высшего звена очень часто говорили о заключенных как о машинах или инструментах, нужных только для выполнения тех или иных работ. Их открыто считали дешевой, удобной рабочей силой, необходимой для производства наравне с цементом и сталью. Об этом выразительно сказал тот же Логинов: “Если посы-

* Здесь и ниже отрывки из интервью с А. Логиновым даются в обратном переводе. — *Прим. перев.*

лать туда [в Норильск] вольнонаемных, то сначала надо построить для них дома. А то как они будут жить? С заключенными проще — барак, печь с трубой, и они выживут. Ну, и поесть что-нибудь. Коротко говоря, заключенные в тех обстоятельствах были единственной категорией людей, которую можно было использовать в таких масштабах. Было бы у нас больше времени, может, сделали бы как-нибудь по-другому...”⁸⁸.

Экономический жаргон позволял лагерному начальству оправдывать все — даже гибель людей. Ради высших целей можно делать что угодно. Иногда такая позиция принимала крайние формы. Лев Разгон приводит разговор между начальником Устьвымлага полковником Тарасюком и начальником санчасти доктором Коганом, который имел глупость похвастаться перед полковником количеством больных эсков, “вырванных из рук пеллагры” — болезни, вызываемой голодом:

“Тарасюк: Что они получают?”

Коган: Они все получают противопеллагрозный паек, установленный санотделом ГУЛАГа: столько-то белков в количестве столько-то калорий.

Тарасюк: Когда и сколько из них пойдет в лес?

Коган: Ну конечно, в лес они уже никогда не пойдут. Но они будут жить и когда-нибудь их можно будет использовать в зоне на легких работах.

Тарасюк: Снять с них все противопеллагрозные пайки. Запишите: пайки эти передать работающим в лесу. А этих — на инвалидный.

Коган: Товарищ полковник! Очевидно, я плохо объяснил вам. Эти люди могут жить только при условии получения этого специального пайка. Инвалиды получают четыреста граммов хлеба... На таком пайке они умрут в первую же декаду... Этого нельзя делать!

Тарасюк даже с каким-то интересом посмотрел на взволнованного врача.

— Это что, по вашей медицинской этике нельзя делать?

— Да, нельзя...

— Ну, я плевал на вашу этику, — спокойно и без всяких признаков гнева сказал Тарасюк.

— Записали? Идем дальше...

Все эти двести сорок шесть человек умерли не позже чем через месяц”⁸⁹.

Архивы показывают, что ничего из ряда вон выходящего в этом не было. Один прокурор, проверявший условия жизни заключенных Волгостроя во время войны, писал: “Лагерная администрация была заинтересована исключительно по выработке кубов леса <...> и ничуть не интересовалась обеспечением как вещдоловствием и питанием заключенных, и без разбора направляла на общие работы

заключенных, были ли они одеты, здоровы или сыты”⁹⁰. Приведу также замечание, сделанное на совещании в январе 1943 года. Говоря на совершенно нейтральном языке статистики, сотрудник администрации Вятлага Авруцкий предложил: “Мы имеем 100% раб. силы, а программы не выполняем, т. к. группа “В” катастрофически растет. Если бы те продукты, которые даются группе “В”, дать здоровому контингенту — то мы бы не имели группы “В” и выполнили бы программу”⁹¹. Группой “В”, разумеется, назывались слабосильные заключенные, которые, безусловно, перестанут существовать, если их не кормить.

Начальники лагерей имели возможность принимать такие решения, находясь в некотором отдалении от людей, которых эти решения затрагивали; впрочем, сотрудников низшего уровня непосредственная близость не всегда побуждала к большему сочувствию. Поляк Казимеж Зарод однажды шел в колонне эсков к месту нового лагеря. Любям практически не давали еды, и они начали ослабевать. Наконец один упал и не смог встать. Конвойный поднял винтовку. Другой конвойный пригрозил упавшему, что если он не встанет, его застрелят.

“Бога ради, погодите, — простонал эск. — Дайте только передохнуть, и я догоню.

— Иди, или умрешь, — сказал первый конвойный. <...>

Солдат прицелился. Я не мог поверить, что он выстрелит. Те, что шли за мной, перестроились, и мне уже не видно было, что происходит, но вдруг раздался выстрел, за ним другой, и ясно было, что эска уже нет”.

Зарод отмечает, что убивали не всех, кто упал во время перехода. Выбившихся из сил арестантов помоложе поднимали и бросали на телегу, где они “лежали как мешки, пока не приходили в себя <...> Смысл, как я понял, был в том, что молодой поправится и будет работать, а от пожилого все равно проку мало. Тех, кого кидали, как узлы со старым тряпьем, на телеги для провианта, спасало не чело-веклобие. Конвоиры были люди хоть и молодые, но тертые и явно успели избавиться от всякой гуманности”⁹².

Те, кто занимал посты на самом вершине лагерной системы, наверняка относились к заключенным так же, хотя это не засвидетельствовано никакими мемуарами. В этой книге я регулярно цитирую отчеты о проверках, проводившихся Отделом по надзору за местами заключения Прокуратуры СССР. Эти отчеты, подававшиеся регулярно и заархивированные с большой аккуратностью, примечательны своей откровенностью. В них говорится об эпидемиях тифа, о нехватке еды и одежды. Отмечаются лагеря, где смертность слишком высока. Конкретные начальники лагерей обвиняются в создании слишком тяжелых условий для заключенных. Подсчитывается

число человеко-дней, потерянных из-за болезней, несчастных случаев, смертей. По этим отчетам видно, что московские руководители ГУЛАГа знали, и хорошо знали, какова лагерная жизнь. Она содержится в отчетах целиком, и о ней написано в них так же прямо, как писали Солженицын и Варлам Шаламов.

И хотя иногда происходили те или иные перемены, хотя отдельных начальников наказывали, больше всего в этих отчетах поражает их повторяемость. Они приводят на ум абсурдную “культуру” отчетности ради галочки, которую ярко изобразил Гоголь в “Мертвых душах”. Соблюдались формальности, подшивались к делу документы, выражалось ритуальное негодование, а до реальных людей никому не было дела. Начальник лагеря получал рутинную взбучку за неспособность улучшить условия жизни эков, их условия жизни оставались какими были, и на этом разговор кончался.

По большому счету никто не принуждал конвоиров убивать стариков, оставляя в живых молодых. Никто не принуждал начальников лагерей избавляться от больных. Никто не принуждал московских руководителей ГУЛАГа игнорировать результаты прокурорских проверок. Но такие решения принимались открыто и каждый день, принимались охранниками и администраторами, явно убежденными в своем праве их принимать.

Эту идеологию государственного рабовладения исповедовали не только хозяева ГУЛАГа. Заключение побуждали к сотрудничеству, и некоторые поддавались.

Глава 14

Заключенные

Человек есть существо, ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение.

Ф. Достоевский. Записки из Мертвого дома

Урки

Для неопытного политзаключенного, для арестованной за буханку хлеба крестьянской девушки, для неподготовленного депортированного поляка первая встреча с урками была настоящим потрясением, столкновением с чем-то непостижимым. Евгения Гинзбург впервые столкнулась с матерыми преступницами на пароходе, который вез ее на Колыму:

“Это были не обычные блатнячки, а самые сливки уголовного мира. Так называемые “стервы” — рецидивистки, убийцы, садистки, мастерицы половых извращений. <...> Они сию же минуту принялись терроризировать “фраерш”, “контриков”. Их приводило в восторг сознание, что есть на свете люди, еще более презренные, еще более отверженные, чем они, — враги народа! <...> Они отнимали у нас хлеб, вытаскивали последние тряпки из наших узлов, вытаскивали с занятых мест”¹.

У Александра Горбатова, будущего генерала и героя войны, которого трудно назвать трусливым человеком, на том же пароходе “Джурма”, направлявшемся тем же маршрутом в Магадан, украли сапоги: “Сильно ударив меня в грудь и по голове, один из уголовных с насмешкой сказал: “Давно продал мне сапоги и деньги взял, а сапог до сих пор не отдает”. Рассмеявшись, они с добычей пошли прочь, но, увидев, что я в отчаянии иду за ними, они остановились и начали меня снова избивать на глазах притихших людей”².

Подобное описывают десятки свидетелей. В бараках и поездах урки кидались на других заключенных в какой-то безумной ярости, сбрасывали их с нар, отбирали последнюю одежду, орали, завывали, матерились. Нормальному человеку их вид и поведение казались дикими. Поляка Антони Экарта привело в ужас “полнейшее бесстыдство урок: они открыто отправляли все свои естественные потребности, в том числе занимались онанизмом. Это придавало им поразительное сходство с обезьянами, с которыми у них, казалось, было гораздо больше общего, чем с людьми”³. Мария Иоффе, вдова известного советского дипломата, писала, что блатные, не стесняясь, справляли нужду прямо у палаток и не испытывали ни

жалости, ни сочувствия даже друг к другу: “Жрет, гадит, живет только тело”⁴.

Лишь спустя недели или месяцы лагерной жизни новичку становилось ясно, что уголовный мир неоднороден, что у него есть своя иерархия, свои разряды, что воры бывают разные. Лев Разгон пишет: “Теперь они все были поделены на касты, на сообщества с железной дисциплиной, со множеством правил и установлений, нарушение которых жестоко каралось: в лучшем случае — полным изгнанием из уголовного сообщества, а часто и смертью”⁵.

Поляк Кароль Колонна-Чосновский, оказавшийся единственным политическим в чисто уголовном северном лесозаготовительном лагере, также отмечает различия: “Русский уголовник в те дни развил в себе колоссальное классовое сознание. По существу, класс для него было все. На вершине иерархии стояли большие шишки, грабившие банки или поезда. Одним из таких был Гриша Черный, главарь лагерной мафии. На нижней ступени лестницы — мелкие воришки, карманники. Шишки использовали их как слуг или посыльных и относились к ним крайне пренебрежительно. Прочие преступники образовывали “средний класс”, который, в свою очередь, был неоднородным.

Во многом это странное общество было карикатурным подобием “нормального” мира. В нем можно было найти эквиваленты всех оттенков человеческих достоинств и слабостей. Легко было, например, распознать амбициозного человека на пути к успеху, сноба, карьериста, плута, но также и честного, великодушного человека...”⁶.

Верхнюю ступень занимали профессиональные преступники — урки, блатные. В их числе были воры в законе — элита преступного мира, выработавшая сложный кодекс правил и обычаев, который возник до ГУЛАГа и пережил его. Воры в законе не имели ничего общего с подавляющим большинством заключенных ГУЛАГа, сидевших по уголовным статьям. Так называемые блатовики — люди, осужденные за мелкую кражу, за нарушение трудовой дисциплины или за другие неполитические преступления, — ненавидели воров в законе так же сильно, как политзаключенных.

Этому трудно удивляться: культура воров в законе очень сильно отличалась от культуры рядовых советских граждан. Воровские законы и обычаи зародились глубоко в недрах преступного мира царской России, в воровских и нищенских группировках, контролировавших мелкую преступность в ту эпоху⁷. Но в первые десятилетия советской власти они распространились гораздо шире. Их переносчиками стали сотни тысяч беспризорников — прямых жертв революции, гражданской войны и коллективизации, начинавших уличными детьми и затем становившихся ворами. К концу 20-х годов, когда в массовом порядке стали создаваться лагеря, профессиональ-

ные преступники уже стали совершенно отдельным сообществом с жестким кодексом поведения, запрещавшим им иметь какие-либо дела с советским государством. Настоящий вор в законе отказывался работать, иметь паспорт и тем или иным образом сотрудничать с властями — разве только с той целью, чтобы использовать власти в своих интересах. В “аристократах” из пьесы Николая Погодина, поставленной в 1934-м, уже узнаются воры в законе, из принципа отказывающиеся делать какую бы то ни было работу⁸.

Программы перевоспитания начала 30-х, как правило, были нацелены скорее на воров, чем на политических. Будучи “социально близкими” (в отличие от “социально опасных” политических), воры считались людьми исправимыми. Но к концу 30-х власти, судя по всему, отказались от идеи перевоспитания профессиональных преступников. Вместо этого они решили использовать их для контроля и устрашения других заключенных, в первую очередь “контрреволюционеров”, которых воры, естественно, не любили⁹.

Ситуация не была совсем уж новой. Столетием раньше уголовные преступники в сибирских острогах уже ненавидели политзаключенных. В “Записках из Мертвого дома” Достоевский приводит слова одного арестанта: “Да-с, дворян они не любят, — заметил он, — особенно политических, съест рады; немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий...”¹⁰.

В СССР примерно с 1937 года и до конца войны лагерное начальство открыто использовало небольшие группы профессиональных преступников для контроля над остальными заключенными. В этот период воровская верхушка не работала и только заставляла работать других¹¹. Лев Разгон пишет: “Они не работали, но им приписывали полную выработку; они облагали денежной данью всех “мужиков” — работающих; они половинили посылки, покупки в ларьке; бесцеремонно курочили новые этапы, забирая у новичков лучшую одежду. Словом — они были рэкетирами, гангстерами, членами маленькой мафии, и все “блатовики” — а их было большинство — ненавидели “законников” лютой ненавистью”¹².

Некоторым политическим, особенно после войны, удавалось наладить отношения с ворами в законе. Иным уголовным боссам нравилось иметь политических в качестве приближенных или дружков. Александр Долган завоевал уважение такого босса в пересыльном лагере, победив в кулачной драке урку низшего разряда¹³. Отчасти из-за подобной победы Марлен Кораллов, молодой политзаключенный, ставший впоследствии одним из основателей общества “Мемориал”, был замечен Николаем, который “практически был хозяином зоны”. Никола велел Кораллову занять койку рядом с ним. Это решение тут же повысило лагерный статус Кораллова: “Лагерь уже понял: если я захожу в первую тройку около Николая, я уже захо-

жу в некую элиту. Мгновенно изменилось <...> отношение ко мне”.

В большинстве случаев власть воров над политическими была абсолютной. Это помогает понять, почему они, по выражению одного криминолога, чувствовали себя в лагерях как дома: им жилось там лучше, чем другим, и у них там была реальная власть, какой они не пользовались на воле¹⁴. В интервью со мной Кораллов рассказал, что у Николы единственного на весь барак была железная койка в два яруса на него одного. “Слуги” Николы следили за тем, чтобы никто не нарушал этот порядок, они же, когда у него собирались люди, завешивали его место в бараке одеялами, чтобы никто снаружи не подсматривал. Подход к “хозяину” внимательно контролировался. Для таких заключенных большой срок мог быть предметом некой гордости. “Какие-то молодые ребята, — по словам Кораллова, — для того чтобы повысить свой авторитет, делали попытку побега, безнадежную, но они получали еще двадцать пять, потом попытку, предположим, саботажа, еще двадцать пять лет. И когда он приезжает куда-то, о, у него сто лет, он вот какая фигура по лагерному счету”.

Высокий статус блатных делал их мир привлекательным для молодых зэков, которых иногда вводили в воровское братство посредством сложных ритуалов “инициации”. Согласно данным, собранным в 50-е годы агентами милиции и администрацией лагерей, всякий вступающий в сообщество давал клятву быть хорошим воров и соблюдать строгие правила воровской жизни. Опытные воры давали новичку рекомендацию — возможно, хвалили за “нарушение лагерной дисциплины” — и присваивали ему кличку. Новость о церемонии быстро распространялась по лагерям посредством воровской системы связи, поэтому даже если молодого вора переводили в другой лагерь, статус за ним сохранялся¹⁵.

Такую систему увидел в 1946-м подростком один зэк, чей рассказ передает Николай Медведев в книге “Узник ГУЛАГа”. Ссылного парнишку, отправленного на Колыму за кражу высыпавшегося в реку колхозного зерна, еще в пути взял под крыло и постепенно ввел в воровской мир “главный урка” Малай. На прииске рассказчику велели было мести пол в столовой, но Малай вырвал у него из рук метлу. “И я не стал работать, как не работали все воры. За меня подметали, убирали, мыли другие зеки...”¹⁶.

Лагерная администрация, объясняет рассказчик, смотрела на это сквозь пальцы. “Для ментов одно было важно — это чтобы прииск давал золото, как можно больше золота и чтобы в лагере не было хипиша, держался порядок”. И воры, говорит он скорее одобрительно, этот порядок в целом поддерживали. Лишаясь части рабочей силы, лагерь зато выигрывал в дисциплине. “Если кого-то шибко обижали на зоне, то пострадавший искал защиту не у хозяина, не у

ментов, а шел к ворам...”. Это, утверждает рассказчик, “в какой-то мере сдерживало проявление чрезмерного насилия и произвола”¹⁷.

Воровская власть в лагерях изображена здесь скорее в положительном свете, и это необычно: ведь сами урки, многие из которых были малограмотны, не писали мемуаров, а “нормальные” авторы, писавшие о ГУЛАГе, — свидетели террора, грабежа и насилия, чинимых блатными над другими заключенными, — страстно их ненавидели. “Вор-блатарь стоит вне человеческой морали, — решительно заявляет Варлам Шаламов. — Любой убийца, любой хулиган — ничто по сравнению с вором”¹⁸. Солженицын писал: “Именно этот общечеловеческий мир, наш мир с его моралью, привычками жизни и взаимным обращением, наиболее ненавистен блатным, наиболее высмеивается ими, наиболее противопоставляется своему антисоциальному антиобщественному кублу”¹⁹. Анатолий Жигулин выразительно описывает один из способов, каким суки (так назывались воры, согласившиеся работать) навели свой “порядок”. Однажды, сидя в почти пустой столовой, он услышал, как два зэка спорят из-за ложки. Вошел со свитой Деземия — “старший помощник” главной суки:

“Что за шум такой? Что за спор? Нельзя нарушать тишину в столовой.

— Да вот он у меня ложку взял, подменил. У меня целая была. А он дал мне сломанную, перевязанную проволочкой!

— Я вас сейчас обоих и накажу, и примирю,— захохотал Деземия. А потом вдруг молниеносно сделал два выпада пикой [длинным кинжалом],— словно молнией выколол спорящим по одному глазу”²⁰.

Влияние воров на лагерную жизнь, безусловно, было огромным. Их жаргон, который так сильно отличается от обычного русского языка, что его можно считать чуть ли не особым языком, стал в лагерях самым распространенным средством общения. Помимо богатого набора изощренных ругательств, словарь блатного жаргона, составленный в 80-е годы (многие слова и выражения сохранились с 40-х годов), содержит сотни слов, обозначающих обычные объекты — предметы одежды, части тела, инструменты. Эти слова совершенно не похожи на соответствующие слова русского языка. Для объектов и понятий, представляющих особый интерес (деньги, вор, проститутка, кража), имеются десятки синонимов. Помимо выражений, обозначающих общую причастность к преступному миру (например, “по музыке ходить”), есть много выражений для специфических видов воровства: “держат садку” — воровать на вокзале, “держат марку” — воровать в городском транспорте, “идти на шальную” — совершать незапланированную кражу, “денник” — дневной вор, “клюквенник” — церковный вор, и так далее²¹.

“Блатную музыку” (воровской жаргон) выучивали почти все эки, хотя не все делали это охотно. Некоторые так и не привыкли к этому языку. Одна политзаключенная, выйдя на свободу, писала: “Самое трудное в таком лагере — выносить постоянную брань и сквернословие. <...> Ругательства, которыми уголовники уснащают свою речь, невыносимо грубы, и кажется, что они способны разговаривать друг с другом только самыми грязными и низкими словами. Мы так ненавидели эту ругань, что когда они принимались сквернословить, мы говорили друг другу: «Если бы она умирала около меня, я бы глотка воды ей не дала»”²².

Другие пытались изучать блатной жаргон. Еще в 1925 году один соловецкий заключенный опубликовал в лагерном журнале “Соловецкие острова” статью о происхождении ряда слов. Некоторые из них, пишет он, просто-напросто отражают воровскую мораль: о женщинах говорят языком наполовину циничным, наполовину сентиментально-слезливым. Иные слова порождены обстановкой: воры говорят “стучать” в смысле “говорить”, потому что в тюрьмах они перестукиваются²³. Другой бывший заключенный отмечает, что некоторые слова — “шмон”, “мусор”, “фраер” — пришли в блатной язык из идиша²⁴. Вероятно, это показатель важной роли Одессы в развитии воровской культуры России.

Время от времени лагерные руководители пытались бороться с жаргоном. В 1933 году начальники Дмитлага издали приказ, который предписывал принять “соответствующие меры” к тому, чтобы заключенные, охранники и сотрудники лагерной администрации перестали использовать блатные слова, ставшие на тот момент “словами общеупотребительными, не изгоняемыми даже из официальной переписки, докладов, и т. д.”²⁵. Нет никаких свидетельств о том, что приказ оказал какое-либо действие.

Настоящие воры не только говорили, но и выглядели по-другому, чем другие эки. Их диковинные вкусы в одежде, возможно, еще больше, чем жаргон, подчеркивали их принадлежность к особой касте и усиливали их устрашающее воздействие на других заключенных. В 40-е годы, пишет Шаламов, все блатные Колымы носили на шее алюминиевые крестики. Здесь не было религиозного смысла — “это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки”.

Моды менялись: “В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее — капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иголкой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина...”²⁶.

Георгий Фельдгун, чья лагерная жизнь тоже пришлась на 40-е, вспоминал: “Вор образца 1943 года ходил обычно в темно-синей

шевиотовой тройке, причем брюки заправлялись в хромовые сапоги. Из-под жилетки («правилки») виднелась косоворотка, одетая навыпуск. Наконец, кепка-восьмиклинка с пуговкой, надвинутая на глаза, дополняла экипировку. Характерными признаками были также: татуировка сентиментального характера: «Не забуду мать родную», «Нет счастья в жизни», затем «фикса» во рту, то есть золотая или серебряная коронка на зубе. Вор передвигался по зоне обычно мелкими шажками, держа носки ног несколько врозь”²⁷.

Татуировка, о которой пишут многие, выделяла членов воровского сообщества из общей массы лагерников и показывала место данного вора в этом сообществе. Как пишет один историк лагерной жизни, гомосексуалисты, наркоманы, осужденные за изнасилование и осужденные за убийство татуировались по-разному²⁸. Солженицын конкретизирует: “Бронзовую кожу свою они отдают под татуировку, и так постоянно удовлетворена их художественная, эротическая и даже нравственная потребность: на грудях, на животах, на спинах друг у друга они разглядывают могучих орлов, присевших на скалу или летящих в небе; *балдоху* (солнце) с лучами во все стороны; женщин и мужчин в слиянии; и отдельные органы их наслаждений; и вдруг около сердца — Ленина или Сталина, или даже обоих <...> Иногда посмеются забавному кочегару, закидывающему уголь в самую задницу, или обезьяне, предавшейся онанизму. И прочтут друг на друге хотя и знакомые, но и дорогие в своем повторении надписи: “Всех дешевок в рот ...!” <...> Или на животе у блатной девчонки: «Умру за горячую...!»”²⁹.

Томас Сговиво, который был профессиональным художником, быстро освоил ремесло татуировщика. Один из воров заказал ему портрет Ленина на груди: в блатной среде бытовало мнение, что никакие расстрельщики не будут стрелять в портрет Ленина или Сталина³⁰.

Урки отличались от других заключенных и по характеру развлечений. Сложная система ритуалов окружала их карточные игры, сопряженные с немалым риском как из-за больших ставок, так и из-за начальства, которое за карты наказывало³¹. Но для людей, привычных к опасности, риск только повышал притягательность игры. Филнолог Дмитрий Лихачев, который был заключенным на Соловках, писал: “Многие жулики сравнивают ощущение при игре с ощущением при краже”³².

Уркам нипочем были любые запреты на карточную игру. Обыски и конфискации не давали результата. Среди воров встречались настоящие мастера изготовления карт — этот процесс в 40-е годы был весьма сложным и тонким. Прежде всего, вырезались лезвием бумажные прямоугольники. Чтобы сделать карты достаточно твердыми, листочки склеивали по пяти-шести штук с помощью крахма-

ла, полученного протирали жеваного хлеба через тряпку. Затем карты прессовали в течение ночи под нарами. С помощью трафарета, вырезанного из днища кружки, наносили рисунок. Для черных мастей использовали сажу. Если удавалось с помощью угроз или подкупа достать в санчасти стрептомицин, им рисовали красные масти³³.

Карточные ритуалы могли быть элементом террора блатных над политическими. Играя друг с другом, урки ставили на кон деньги, хлеб, одежду. Проиграв свое, ставили деньги, хлеб, одежду других эзков. Густав Герлинг-Грудзинский впервые увидел это в столовском вагоне, ехавшем на север. Одним из его попутчиков был поляк Шкловский. В том же вагоне играли в карты трое уроков, в том числе “орангутанг с плоским монгольским лицом”.

“...Орангутанг внезапно швырнул карты, прыгнул с верхней полки и стал перед Шкловским.

— Давай шинель, — заорал он, — я ее в карты проиграл.

Полковник удивленно открыл глаза и, не меняя позы, пожал плечами.

— Давай, — завопил тот снова, — давай, а то глаза выколю!

Шкловский медленно встал и отдал шинель.

Только позже, в лагере, я понял смысл этой странной сцены. Игра на чужие вещи принадлежит к самым популярным развлечениям уроков, а главная ее привлекательность состоит в том, что проигравший обязан изъять у постороннего зрителя заранее условленную вещь³⁴.

Одна заключенная вспоминала, что так был проигран весь женский барак, где она жила. Узнав об этом, женщины с тревогой ждали несколько дней, не хотели верить — и однажды ночью их атаковали: “Шум поднялся невероятный: женщины оглушительно вопили, визжали, пока мужчины не пришли нам на помощь <...> в конце концов оказалось, что они забрали лишь несколько охапок одежды и ранили ножом старосту³⁵”.

Карты порой были не менее опасны для самих блатных. Генерал Горбатов повстречал на Колыме вора, у которого на левой руке было всего два пальца. Он объяснил: “Играл в карты, проигрался, денег уже не было, поставил на карту хороший костюм — не мой, конечно, а тот, который был на только что доставленном “политическом”, — и проиграл. Костюм хотел забрать ночью, когда новичок его снимет, ложась спать, а отдать должен был до восьми часов утра. Но взять костюм мне не удалось — “политического” в этот же день увезли в другой лагерь. Значит, долг не был уплачен. По этому случаю собрался наш совет старейшин, чтобы определить мне наказание. Истец потребовал лишить меня всех пяти пальцев левой руки. Совет предложил два пальца. Поторговались и согласились на трех.

Я положил руку на стол, истец взял палку и пятью ударами отбил у меня три пальца”.

В заключение вор сказал чуть ли не с гордостью: “У нас тоже есть свои законы, да еще и покрепче, чем у вас. Провинился перед своими товарищами — отвечай³⁶”. “Судебные” ритуалы были у воров такими же изощренными, как их ритуалы инициации: “суд” слушал дело и выносил виновному приговор — избить, унижить или даже убить. Колонна-Чосновский описывает долгую яростную карточную игру между двумя урками высокого ранга, в результате которой один проиграл все, что у него было, и оказался во власти победителя. Тот потребовал не ногу и не руку — ему пришла в голову другая, чрезвычайно унижительная компенсация. Он велел барачному “художнику” вытатуировать на лице проигравшего огромный половой член, направленный ему в рот. Татуировка была сделана, но минуты спустя обиженный уничтожил ее, прижав к лицу раскаленную кочергу и обезобразив себя на всю жизнь³⁷. Антон Антонов-Овсеенко, сын видного большевика, вспоминал, что встретил в лагере “глухонемого”: человек проигрался в карты, и ему запретили говорить в течение трех лет. Его переводили из лагеря в лагерь, но он все равно не решался нарушить запрет, о котором знали все урки. “За нарушение его покартали бы смертью. Никому не позволено преступить воровской закон³⁸”.

Власти знали об этих ритуалах и порой пытались вмешиваться — не всегда успешно. В 1951 году воровской суд приговорил урку по фамилии Юрилкин к смерти. Лагерное начальство, узнав о приговоре, перевело Юрилкина вначале в другой лагерь, затем в пересыльную тюрьму, затем в третий лагерь в другой части страны. Тем не менее два вора в законе в конце концов выследили его и убили — через четыре года! Их судили и расстреляли за убийство, но даже такие наказания останавливали далеко не всех. В 1956 году советская прокуратура констатировала, что зачастую решение об убийстве того или иного заключенного, находящегося в другом лагере, выполняется беспрекословно³⁹.

Воровские суды могли выносить приговоры и не-ворам — неудивительно, что они внушали такой ужас. Леонид Финкельштейн, который был политзаключенным в начале 50-х, вспоминал одно такое убийство: “Я лично видел только одно убийство... Вы видели когда-нибудь большой железный напильник? Такой напильник, заостренный с одного конца, — оружие абсолютно смертельное. <...>

У нас был нарядчик — он распределял между эками работу. Уж не знаю, чем он провинился. Так или иначе, воры в законе решили, что его надо убить. Это произошло, когда нас считали перед работой. Каждая бригада стояла отдельно, нарядчик стоял перед нами. Его фамилия была Казахов, это был крупный, толстый мужчина.

Один вор бросился вперед из строя и всадил ему напильник прямо в живот. Судя по всему, умелый, натренированный убийца. Его схватили немедленно, но у него уже было двадцать пять лет. Его, конечно, судили и дали еще двадцать пять. Реально его срок увеличился, может, года на два — суший пустяк...”.

Все же воры довольно редко поднимали “карающую руку” на начальство. В целом они если и не были лояльными советскими гражданами, то по крайней мере в одном сотрудничали с властями охотно: они с удовольствием осуществляли контроль над политическими, радуясь — я еще раз цитирую Евгению Гинзбург, — “что есть на свете люди, еще более презренные, еще более отверженные, чем они”.

Контрики и бытовые

Блатных с их особым жаргоном, характерной одеждой и устойчивой культурой было легко узнавать, и их легко описывать. Гораздо труднее выносить обобщающие суждения об остальных заключенных, составлявших основу гулаговской рабочей силы, — ведь их брали из всех слоев советского общества. Наш взгляд на лагерное большинство долго был искажен, поскольку нам волей-неволей приходилось полагаться в основном на мемуары, и главным образом на мемуары, опубликованные вне СССР. Их авторами обычно были люди интеллигентные, нередко иностранцы, и почти всегда политзаключенные.

Однако с конца 80-х, когда начала развиваться горбачевская гласность, мы стали получать доступ к более широкому спектру воспоминаний и к некоторым архивным документам. Из последних, к которым надо относиться с большой осторожностью, явствует, что подавляющее большинство заключенных составляла отнюдь не интеллигенция, а рабочие и крестьяне. Некоторые цифры, относящиеся к 30-м годам, когда большую часть заключенных ГУЛАГа составляли кулаки, весьма красноречивы. В 1934 году высшее образование имели только 0,7 процента лагерников, начальное — 39,1. В то же время 42,6 процента проходят как “полуграмотные”, 12 процентов — как неграмотные. Даже в 1938-м, когда среди интеллигенции Москвы и Ленинграда бушевал Большой террор, люди с высшим образованием составляли всего 1,1 процента, более половины имели начальное образование и треть была полуграмотна⁴⁰.

Сопоставимыми цифрами, касающимися социального происхождения заключенных, мы не располагаем, однако стоит отметить, что в 1948 году менее четверти заключенных были политическими, то есть осужденными за “контрреволюционные” преступления по 58-й статье УК. Это укладывается в общую схему. Политические со-

ставляли всего 12 и 18 процентов заключенных в годы террора (1937 и 1938); во время войны их доля увеличилась до 30–40 процентов; в 1946-м в результате амнистии, которую получили уголовники после победы, она подскочила почти до 60 процентов; затем до конца сталинского правления оставалась более или менее постоянной — между четвертью и третью⁴¹. Учитывая к тому же более быструю оборачиваемость неполитических заключенных — у них в целом были меньшие сроки и их чаще освобождали досрочно, — можно сказать, что подавляющее большинство людей, прошедших через ГУЛАГ в 30-е и 40-е годы, составляли арестанты с уголовными статьями. В основном это были рабочие и крестьяне.

Эти цифры помогают исправить неверные представления, бытовавшие в прошлом, но они же могут и ввести в заблуждение. Мемуарная литература, ставшая доступной в России после распада СССР, показывает, что многие “политические” сталинской эпохи не были политзаключенными в нынешнем смысле. В 20-е годы в лагерях действительно находились члены антибольшевистских партий, называвшие себя политзаключенными. В 30-е там оказались немногочисленные подлинные троцкисты. В 40-е после массовых арестов на Украине, в Прибалтике и Польше в ГУЛАГ попали настоящие антисоветские активисты и партизаны. В первой половине 50-х туда отправляли членов студенческих антисталинских кружков, которых были единицы.

Из сотен тысяч людей, которые проходят по лагерной статистике как политические, громадное большинство не были ни диссидентами, ни священниками, отправляющими тайные службы, ни даже партийными деятелями. Это были рядовые люди, подхваченные волной массовых арестов и зачастую не имевшие ярко выраженных политических взглядов. Ольга Адамова-Слиозберг, до ГУЛАГа работавшая в Москве в одном из промышленных наркоматов, писала: “До ареста у меня была стандартная жизнь беспартийной интеллигентной советской женщины. Я не отличалась особой активностью в общественных делах, добросовестно работала. Основные интересы были в кругу моей семьи”⁴².

Если “политические” не всегда были политическими, то и “уголовники” далеко не всегда были уголовниками. Несомненно, в лагерях встречались настоящие правонарушители, а в военные и послевоенные годы — настоящие военные преступники и пособники нацистов; но большую часть так называемых бытовиков (лиц, осужденных за неполитические преступления) составляли люди, чьи проступки в другом обществе вообще не повлекли бы за собой лишение свободы. Так, отец Александра Лебеда, российского генерала и политического деятеля, получил пять лет за два десятиминутных опоздания на работу⁴³. В архиве главным образом уголовного по

составу заключенных Полянского ИТЛ близ Красноярска-26, где создавался один из советских ядерных реакторов, содержатся сведения о “преступнике”, получившем шесть лет за кражу на базаре одной галоши, о другом, получившем десять лет за “способствование хищению 10 булок хлеба”, и о третьем — грузчике, в одиночку растившем двоих детей, которому дали семь лет за то, что он при доставке вина в магазин похитил три бутылки. Еще одного посадили на пять лет за “спекуляцию”: он купил партию папирос в одном месте и перепродал в другом⁴⁴. Антони Экарт рассказывает о женщине, арестованной за карандаш, который она принесла домой из учреждения, где работала. Карандаш нужен был ее сыну, которому нечем было выполнять школьную домашнюю работу⁴⁵. В перевернутом мире ГУЛАГа уголовные “преступники” были преступниками не больше, чем “политические” — активными оппонентами режима.

“Политических” советская судебная система тщательно классифицировала. В целом статус “контрреволюционеров” был ниже, чем статус уголовников; как я уже писала, первых считали “социально опасными”, вторых — “социально близкими”. Но “политических” сортировали также в зависимости от пункта 58-й статьи Уголовного кодекса, по которому они были осуждены. Евгения Гинзбург пишет, что самым легким для них был пункт 10 — “антисоветская агитация” (АСА). По нему проходили так называемые болтуны, арестованные за шутку, за анекдот, за критическое замечание о Сталине или местном партийном руководителе (а часто и этого не было, хватало доноса соседа-недоброжелателя). Даже лагерное начальство молчаливо признавало, что “болтуны” осуждены ни за что, и им легче было получить менее тяжелую работу.

Хуже приходилось осужденным за “контрреволюционную деятельность” (КРД). Еще хуже — отправленным в лагерь за “контрреволюционную троцкистскую деятельность” (КРТД). Добавочное “Т”, как правило, означало, что человека могут поставить только на тяжелые “общие работы” (лесоповал, работа в шахте, строительство дорог), особенно если срок составляет 10–15 лет или больше⁴⁶.

Но и это было еще не самое худшее. Ниже КРТД стояли КРТТД, осужденные за “контрреволюционную троцкистско-террористическую деятельность”. “Я знал случаи, — пишет Лев Разгон, — когда дополнительное “Т” появлялось в формуляре во время очередной генпроверки, в результате ссоры с нарядчиком или начальником УРЧ [учетно-распределительной части] из блатных”⁴⁷. Разница в одной букве могла означать разницу между жизнью и смертью, поскольку лагернику с шифром КРТТД не полагалось ничего, кроме самого тяжкого физического труда в штрафном лагпункте.

Подобные правила, однако, не всегда были четкими. На практике эки постоянно взвешивали возможные последствия своего при-

говора, пытаясь понять, как он скажется на их жизни. Варлам Шаламов пишет о том, как однажды ему в лагере улыбнулась удача: его отправили на фельдшерские курсы. Но его охватило беспокойство: “Принимают ли пятьдесят восьмую? Только десятый пункт. А у моего соседа по кузову машины? Тоже десятый — “аса”. Литер: “антисоветская агитация”. Приравнивается к десятому пункту”⁴⁸.

Место “политического” в лагерной иерархии определял не только приговор. Хотя “контрики” не имели такого, как у блатных, кодекса поведения и особого жаргона, нередко они рано или поздно примыкали к тем или иным внутрилагерным группировкам. Эти “кланы” политических формировались ради товарищества, ради взаимной защиты или по общности мировоззрения. Они не были четко очерчены — перекрывались друг с другом и с группировками бытовиков — и возникали не в каждом лагере. Но когда они существовали, то могли иметь для заключенного жизненно важное значение.

Самыми фундаментальными и в конечном счете самыми мощными “кланами” политических были те, что формировались на основе национальности или места происхождения. Их роль резко возросла в военные и послевоенные годы, когда намного увеличилось количество арестованных иностранцев и представителей нацменьшинств. Землячества образовывались естественным порядком: прибыв в лагерь, заключенный немедленно принимался искать сородичей — эстонцев, украинцев или даже (в единичных случаях) американцев. Уолтер Уорик, один из “американских финнов”, попавших в лагерь во второй половине 30-х, в воспоминаниях, написанных для своей семьи, говорит о том, как объединились в его лагере финноязычные заключенные, чтобы защититься от грабежа и бандитизма уголовников: “Стало ясно, что если мы хотим хоть немного покоя, надо объединиться против них. И мы создали группу взаимопомощи. Нас было шестеро: два американских финна <...> два финских финна <...> и два финна из-под Ленинграда...”⁴⁹.

Национальные землячества различались по характеру. Например, есть разные мнения о том, была ли своя группировка у евреев, или они вливались в общую русскую массу (а когда стало много евреев из Польши — в общую польскую массу). Ответ, судя по всему, зависит от периода, и во многом — от личных пристрастий и взглядов. Многие из евреев, арестованных в конце 30-х в ходе репрессий против партийных и военных руководителей, считали себя в первую очередь коммунистами, а евреями лишь во вторую. Как писал один бывший заключенный, в лагерях все стали русскими — и кавказцы, и татары, и евреи⁵⁰.

Но во время Второй мировой войны, когда, наряду с поляками, в лагерь стали прибывать евреи из Польши, у них начала возникать

некая этническая общность. Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой, описывает один лагерь, где начальником швейного цеха — вождя, по гулаговским меркам, места работы — был еврей Либерман. “Когда в лагерь прибывала новая партия, он обходил строй, спрашивал: «Евреи есть? Выходи. Евреи есть?..»”. Всех евреев он старался устроить в свой цех, спасая от тяжелых общих работ. Он даже изобрел способ помочь двум раввинам, которым по религиозному закону не полагалось работать — можно было только молиться. Для одного Либерман “сделал гардероб. Прибил доску с гвоздями, огородил ее и внутрь посадил старого раввина. Так тот и просидел весь срок у пустой вешалки...”. Другому он придумал должность “контролера по качеству”. Раввин ходил вдоль конвейера, улыбался и молился про себя⁵¹.

Особенно тяжело пришлось евреям в начале 50-х, когда государственный антисемитизм, выразившийся, в частности, в “деле врачей”, которые якобы пытались убить Сталина, достиг пика. Но и в эти годы в разных лагерях уровень антисемитизма, судя по всему, был разным. Еврейка Ада Пурыжинская, арестованная в разгар “дела врачей” (ее брата расстреляли за “подготовку убийства Сталина”), вспоминала: “Я не так уж очень ощущала, что я еврейка, не могу сказать, что меня за это травил”. Но еврей Леонид Трус, арестованный примерно в то же время, рассказывал, как один старый зэк избавил его от нападков яркого антисемита, осужденного за спекуляцию иконами. Старый зэк сказал: “Насчет Христа чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, ты же здесь хриstopродавец, торговал этим Христом, иконами...”. И это разрядило обстановку.

Трус считал необходимым не пытаться скрывать, что он еврей, наоборот, на валенках, чтобы они не потерялись, он нарисовал шестиконечную звезду. В его лагере “евреи, как и русские, ни в какую группу не объединились”. Из-за этого, говорит Трус, “самое тяжелое, что было для меня, <...> это одиночество, оттого что я еврей среди русских, все спаяны земляческими отношениями, а я совершенно один”.

Западноевропейцам и североамериканцам, оказавшимся в ГУЛАГе, из-за малого их числа трудно было создавать сильные землячества. Да и как они могли бы помочь друг другу? Многих лагерная обстановка привела в полное смятение, русского языка они не знали, пища для них была несъедобна, условия жизни — невыносимы. Вот что пишет о Владивостокской пересылке Нина Гаген-Торн: “...если в бараках привычные советские люди — они могут выдерживать пищу из соленой рыбы, даже если она тухловата. Когда прибыл большой этап из арестованных иностранных членов III Интернационала — вспыхнула сильная дизентерия. И началась борьба с ней: внесли кипяченую воду в баки, которые стояли внутри барakov.

Осыпали хлоркой дырки уборных. Поставили бачки с дезинфекционным раствором. Но немки все равно умирали”⁵². Жалеет иностранцев и Лев Разгон: они, “попав к нам, так и не могли ничего понять, ассимилироваться, попробовать прижиться. Они лишь инстинктивно жались друг к другу...”⁵³.

Но арестанты с Запада, в частности, поляки, чехи и другие восточноевропейцы, имели и некоторые преимущества. Порой они становились предметом особого интереса и чуть ли не восхищения: люди завязывали с ними знакомство, подкармливали их, относились к ним по-доброму. Поляк Антони Экарт, учившийся в Швейцарии, получил должность в больнице усилиями санитаря Аккермана, уроженца Бессарабии: “Мое западное происхождение упростило дело” — человек с Запада всех интересовал и все хотели ему помочь⁵⁴. Шотландка Флора Липман, чей русский отчим уговорил ее семью переехать в СССР, развлекала соседок по бараку национальной одеждой и песнями:

“Я поддегивала юбку выше колен, чтобы она выглядела как шотландская юбочка, чулки приспускала до уровня колен. На шотландский манер набрасывала на плечи одеяло, из шапки делала горскую меховую сумку. Когда я пела “Annie-Laurie” и “Ye Banks and Braes o’Bonnie Doon”, мой голос звенел от гордости. А кончала всегда гимном “Боже, храни короля” — без перевода”⁵⁵.

Экарт пишет о том, как он стал “предметом любопытства” для эков из советской интеллигенции: “На специально организованных, тщательно законспирированных сходках я рассказывал тем, кому можно было доверять, о своей жизни в Цюрихе, Варшаве, Вене и других западных городах. Мой женеvский костюм спортивного покроя и мои шелковые рубашки подвергались пристальному исследованию — они были единственным вещественным свидетельством высокого уровня жизни за пределами коммунистического мира. Некоторые не верили мне, когда я говорил, что спокойно мог позволить себе все это на жалованье младшего инженера на цементном заводе.

— Сколько у тебя было костюмов? — спросил меня один агроном.

— Шесть или семь.

— Да врешь ты все! — воскликнул молодой человек лет двадцати пяти. Затем он обратился к другим: — Долго мы еще будем слушать эти байки? Всему есть предел, мы не дети.

Мне трудно было убедить их в том, что на Западе рядовой человек, уделяющий некоторое внимание своей внешности, покупает несколько костюмов, потому что одежда сохраняется лучше, если ее время от времени можно менять. Советскому интеллигенту, который редко имеет более одного костюма, нелегко было это понять”⁵⁶.

Американец Джон Нобл, арестованный в Дрездене, тоже стал “воркутинской важной персоной”. Его рассказам об Америке сола-

герники не верили. “Джонни, — сказал ему один, — ты еще, чего доброго, начнешь нас уверять, что американские рабочие разъезжают на собственных машинах”⁵⁷.

Хотя иностранное происхождение восхищало других эзков, оно же мешало западным людям завязывать тесные отношения, служившие для многих источником поддержки. Липман писала: “Даже мои новые лагерные “друзья” боялись меня, потому что в их глазах я была иностранкой”⁵⁸. Экарт, оказавшись единственным нерусским заключенным на весь лагпункт, страдал от этого: советские граждане его не любили, он их тоже. “Меня окружала если не ненависть, то неприязнь. <...> Им не нравилось, что я не такой, как они. На каждом шагу я сталкивался с их недоверием и грубостью, с их зловредностью и внутренней вульгарностью. Много ночей я провел без сна, боясь за себя и за свое имущество”⁵⁹.

И вновь его переживания находят отражение в переживаниях былой эпохи. Описывая отношения между поляками и русскими в остроге XIX века, Достоевский показывает нам, что соотечественники Экарта испытывали примерно те же чувства, что и он: “Поляки (я говорю об одних политических преступниках) были с ними [с другими каторжниками] как-то утонченно, обидно вежливы, крайне необщительны и никак не могли скрыть перед арестантами своего к ним отвращения, а те понимали это очень хорошо и платили той же монетой”⁶⁰.

В еще более уязвимом положении оказались мусульмане и другие заключенные из Средней Азии и с Кавказа. Они были так же дезориентированы, как западные люди, но, в отличие от них, не вызывали у русских никакого интереса и любопытства. Эти “нацмены” начали попадать в лагеря еще в 20-е годы. Их в больших количествах арестовывали во время усмирения и советизации Центральной Азии и Северного Кавказа. О тех, что попали на Беломорканал, в книге “Беломорско-Балтийский канал” сказано: “Все непонятно им. Люди, которые ими руководят, канал, который они строят, и еда, которую они жуют”⁶¹. С 1933 года такие заключенные работали и на строительстве канала Москва — Волга, где начальних лагеря, кажется, проявлял к ним сочувствие. Он приказал сконцентрировать их в отдельные бригады, артели и лагпункты, чтобы по крайней мере они могли быть вместе”⁶². Позднее Густав Герлинг-Грудзинский встречал таких “нацменов” в северном лесозаготовительном лагере. Каждый вечер он видел их в лазарете, ожидающих приема у лагерного врача: “Уже в прихожей держась за животы, они с самого порога перегородки издавали резкий жалобный скулеж, в котором невозможно было отличить болезненные стоны от удивительно ломаной русской речи. На их болезнь не было лекарства <...> Они умирали от тоски по родным краям — от голода, холода и однооб-

разной снежной белизны. Их косо сощуренные глаза, непривычные к северному пейзажу, не переставая слезились и зарастали желтой полоской гноя на ресницах. В редкие выходные дни узбеки, туркмены и киргизы собирались в один угол барака, празднично приодевшись в цветные шелковые халаты и узорчатые тубетейки. Никогда нельзя было отгадать, о чем они так оживленно разговаривают — жестикулируя, перекрикивая друг друга и задумчиво кивая головами, — но уж наверняка не о лагере”⁶³.

Немногим лучше приходилось корейцам (обычно это были советские граждане) и японцам, появившимся в ГУЛАГе и в лагерях для военнопленных в конце войны в ошеломляющем количестве — 600 000 человек. Японцы особенно страдали от пищи, не только скудной, но и непривычной для них, практически несъедобной. В результате они выискивали и ели то, что казалось столь же несъедобным другим заключенным, — дикие травы, насекомых, жуков, змей, грибы, каких не брали в рот даже русские”⁶⁴. Иногда это кончалось плохо: есть сведения о японцах, насмерть отравившихся ядовитыми растениями. О том, как одиноко было японцам в лагерях, говорит эпизод из воспоминаний одного русского заключенного. Однажды он нашел где-то брошюру с докладом Жданова в переводе на японский язык и принес ее приятелю — японскому военнопленному. “...Я впервые увидел его таким радостным. Потом он говорил, что читал брошюру почти каждый день, наслаждаясь родным языком”⁶⁵.

Представители некоторых других дальневосточных народов приспособивались быстрее. Некоторые свидетели отмечают крепкую спаянность китайцев, одни из которых родились в СССР, другие легально приехали на заработки в 20-е годы, третьи были несчастливые люди, которые случайно или повинувшись некоему порыву пересекли очень длинную советско-китайскую границу. Один заключенный вспоминал рассказ китайца о том, как его, подобно многим другим, арестовали, когда он переплыл пограничную реку Амур, соблазненный заречными видами: “Зелень и золото листвы <...> Так красива была степь! Из тех наших, что переплывали реку, никто не возвращался. Мы решили, что там, должно быть, живет очень хорошо, и тоже решили переплыть. Едва мы это сделали, нас арестовали. Статья 58, пункт 6 — шпионаж. Десять лет”⁶⁶.

Согласно воспоминаниям Дмитрия Панина, лагерного товарища Солженицына, китайцы “общались только между собой, не отвечали ни на какие вопросы, делая вид, что не понимают”⁶⁷. Карло Стайнер писал, что они очень хорошо умели устраивать друг друга на подходящие должности: “По всей Европе славятся китайские жонглеры и фокусники, а в лагерях китайцы работали в прачечных. Во всех лагерях, где я побывал, в прачечных только они и работали”⁶⁸.

Но намного более сильные этнические группы образовали в ГУЛАГе прибалтийцы и западные украинцы, которых в массовом порядке отправляли в лагеря во время войны и после нее (см. главу 20). Не столь многочисленны, но также заметны были поляки (особенно польские партизаны-антикоммунисты, появившиеся в лагерях во второй половине 40-х годов) и чеченцы — нация, которая, по словам Солженицына, “совсем не поддавалась психологии покорности” и в этом смысле выделялась из всех высланных народов⁶⁹. Сила этих этнических групп определялась их численностью и отчетливой антисоветской ориентацией. Арестованные после войны поляки, прибалтийцы и западные украинцы имели опыт военной и партизанской борьбы против советской оккупации, и в некоторых случаях их партизанские организации действовали и в лагерях. Вскоре после войны генеральный штаб Украинской повстанческой армии — одной из нескольких групп, боровшихся в то время за контроль над Украиной, — выпустил обращение ко всем украинцам, находящимся в ссылке или в лагерях: “Где бы вы ни были сейчас — в шахте, в лесу или в лагере, — всегда оставайтесь, какими были раньше, оставайтесь настоящими украинцами и продолжайте бороться”.

В лагерях бывшие партизаны сознательно помогали друг другу и брали под опеку новоприбывших. Поляк Адам Галинский, сражавшийся в антисоветской Армии Крайовой как во время, так и после войны, писал: “Мы особо заботились о молодежи из Армии Крайовой, поддерживали ее боевой дух — он был самым высоким в разлагающейся атмосфере морального упадка, который преобладал среди разнообразных национальных групп в воркутинских лагерях”⁷⁰.

Позднее, когда поляки, прибалтийцы и украинцы смогли оказывать большее влияние на руководство лагерями, они, как и грузины, армяне, чеченцы, получили возможность создавать свои бригады, жить в отдельных бараках, отмечать национальные праздники. Иногда эти сильные группировки сотрудничали между собой. Поляк Александр Ват писал, что украинцы и поляки, чьи партизанские отряды во время войны яростно враждовали между собой на Западной Украине, относились друг к другу в советских местах заключения “сдержанно, но невероятно лояльно: «Да, мы враги — но не здесь»”⁷¹.

Но порой этнические группы проявляли враждебность и друг к другу, и к русским. Людмила Хачатрян, арестованная за любовную связь с югославским военным, сказала, что прибалтийцы в ее лагере не любили работать с русскими и проявляли к ним антагонизм. Национальные группы сопротивления, отмечает один из авторов, “враждебно относятся и к режиму, и к русским”. По мнению Эдуарда Буки, враждебность носила более общий характер: “Заключенные редко помогали людям другой национальности”⁷². Однако Павел Негретов, который был в воркутинском лагере примерно в то же

время, что и Бука, сказал мне, что люди разных национальностей хорошо ладили между собой, правда, администрация через своих стукачей пыталась спровоцировать рознь.

Во второй половине 40-х, когда различные этнические группы потеснили блатных в борьбе за верховенство в лагерях, они иногда конфликтовали между собой. Марлен Кораллов вспоминает: “И эти группировки понемногу начинали состязание друг с другом, началась уже борьба за власть, а власть эта означала очень многое: кто, например, контролирует столовую? Потому что повара будут подчиняться хозяевам”. По словам Кораллова, равновесие между национальными группами было тогда очень неустойчивым и могло нарушиться прибытием нового этапа. Например, с одним из этапов в лагерь приехало много чеченцев, и они, “чтобы доказать свою силу, днем, когда лагерники были на работе, вошли в барак и нижний ряд коек (это аристократический ряд) сбросили на пол”.

Леонид Ситко, который побывал во время войны в немецких концлагерях, а затем, после возвращения на родину, был отправлен в ГУЛАГ, наблюдал в конце 40-х годов еще более серьезное столкновение между чеченцами, с одной стороны, и русскими и украинцами, с другой. Конфликт начался с драки между бригадами, кончившейся гибелью одного из них. “И вот вспыхнула война, настоящая война. <...> В этой войне много народу было порезано и с одной, и с другой стороны”. Позднее в зону вошли солдаты и посадили участников столкновения в лагерную тюрьму. Хотя поводы для конфликтов возникали из-за борьбы за влияние, у них были более глубокие национальные причины. Ситко объясняет: “Заключенные из Прибалтики и с Западной Украины считали, что советские и русские одно и то же. Хотя русских сидело очень много в лагерях, это не мешало им считать, что русские были захватчики, оккупанты”.

К самому Ситко однажды ночью подошли четверо западных украинцев:

“«Твоя фамилия украинская — ты кто, перевертынь?» Это очень обидное слово, означает изменник, предатель. Я рассказал, что я вырос на Кавказе, в семье, где все говорили по-русски, поэтому, говорю, не знаю, почему у меня такая фамилия. Они посидели-посидели, переглянулись и ушли, но могли и заколоть, ножи у них были”.

Одна бывшая заключенная, сказав, что национальные отношения в их лагере в целом были нормальными, оговорила, что бендеровцы “дико всех ненавидели”⁷³.

Как ни странно, русские в большинстве лагерей своей группировки не создавали, хотя они, согласно статистике ГУЛАГа, во все годы его существования составляли в нем ошутимое большинство⁷⁴. Правда, земляки тяготели друг к другу: москвичи искали москви-

чей, ленинградцы — ленинградцев. Владимиру Петрову однажды помог врач, который спросил его:

“ — Ты откуда?

— Был студентом в Ленинграде.

— А-а, значит, мы земляки — очень хорошо, — сказал врач и хлопнул меня по плечу”⁷⁵.

Самой сильной и организованной группой нередко были москвичи. Леонид Трус, арестованный еще студентом, вспоминал, что старшие москвичи в его лагере составляли некую “интеллигентскую элиту”, куда его поначалу не пускали. Желая взять книгу в лагерной библиотеке, он встретился с недоверием библиотекаря, опасавшегося, что книга не вернется обратно.

Обычно, впрочем, такие связи были довольно слабыми: заключенные не получали от них ничего, кроме бесед об улицах, где они когда-то жили, о школе, в которую вместе ходили. Если другие этнические группы создавали целые сети взаимной поддержки — помогали новоприбывшим находить места в бараке, устраивали их на более легкие работы, — то русские ничего этого не делали. Ада Федерольф писала, что в Туруханске, куда ее и других женщин отправили в ссылку, их пароход встречали ссыльные из предыдущей партии: “Потом какой-то мужчина, еврей, отозвал в сторону группу наших евреек, стал совать им хлеб и учил, что говорить, как себя держать. Потом так же отошли и несколько грузинок, и вот посреди двора остались мы, русские, человек десять-пятнадцать; никто к нам не подходил, не совал хлеб и ничего не говорил”⁷⁶.

При этом определенные различия между русскими заключенными были — различия, основанные не на этнической принадлежности, а на идеологии. Нина Гаген-Торн писала: “Основная масса женщин в лагерях несла свою судьбу и страдание, как стихийное бедствие, не пытаясь разобраться в причинах. <...> Но тем, кто находил для себя какое-то объяснение происходящего и верил в него, было легче”⁷⁷. Среди тех, кто находил объяснение, заметнее других были коммунисты, по-прежнему заявлявшие о своей невиновности и преданности Советскому Союзу, по-прежнему верившие, вопреки очевидности, что все прочие заключенные — враги, которых следует избегать. Алла Андреева вспоминает о “большевичках”: “Они находили друг друга и держались вместе, потому что они были чистые советские люди, а все остальные были преступники”. В Минлаге в начале 50-х Сусанна Печуро застала следующую картину: “В своем углу сидят москвички, которые друг другу объясняют, что мы, конечно, честные советские люди, что мы, конечно, коммунисты, да здравствует Сталин, мы, конечно, ни в чем не виноваты, и наше родное правительство разберется и нас выпустит, а это все враги”.

И Печуро, и Ирена Аргинская, которая примерно в то же время была заключенной в Кенгире, говорят, что в большинстве своем это были люди не первой молодости, арестованные в ходе партийных чисток 1937 и 1938 года. Аргинская вспоминает, что многие из них находились в инвалидных лагерях. Анна Ларина, вдова видного партийного деятеля Николая Бухарина, первое время, несмотря на арест, оставалась верна идеям революции. Еще в тюрьме она сочинила стихотворение, посвященное годовщине Октябрьской революции:

Но хоть за решеткой тоскливой
Бывает обидно порой,
Я праздную вместе с счастливой,
Родною моею страной.

Сегодня я верю в иное,
Что в жизнь я снова войду,
И вместе с родным комсомолом
По площади Красной пройду!

Позднее Ларина назвала эти строки “бредом сумасшедшего”. Но тогда, в тюрьме, она читала стихотворение женам старых большевиков, и “оно вызвало их одобрение и аплодисменты, трогало до слез”.

Солженицын посвятил коммунистам, которых он саркастически назвал “благонамеренными”, одну из глав “Архипелага ГУЛАГ”. Его поражала их способность объяснять все вплоть до своего собственного ареста, пыток и лагерного срока “очень ловкой работой иностранных разведок”, “вредительством огромного масштаба”, “затеей местных энкаведистов” или “изменой в рядах партии”. Иные приходили к научному выводу: “Эти репрессии — историческая необходимость развития нашего общества”⁷⁸.

Позднее некоторые из этих “лоялистов” написали мемуары, которые охотно публиковала советская печать. В 1964 году журнал “Октябрь” напечатал “Повесть о пережитом” Бориса Дьякова. В предисловии было сказано: “Сила повести Б. Дьякова в том, что она — о настоящих советских людях, об истинных коммунистах. В тяжелых условиях они не теряли человеческого достоинства, были верны своим партийным идеалам, преданы Родине”. Один из персонажей Дьякова, арестованный коммунист Тодорский, рассказывает, как он в лагере помог старшему лейтенанту НКВД написать конспект по истории партии. А майору НКВД Яковлеву он заявил, что, несмотря на свое заключение, по-прежнему считает себя коммунистом: “Я ни в чем против Советской власти не виновен. Поэтому был и остаюсь коммунистом”. Майор посоветовал ему вести себя потише: “А для чего об этом кричать?.. Вы думаете, что все в лагере любят коммунистов?”⁷⁹.

Их и правда не любили: тех, кто провозглашал себя коммунистами, часто подозревали в том, что они работают на лагерное начальство. О Дьякове Солженицын замечает, что он в своем сочинении некоторые вещи обходит молчанием. *За что*, спрашивает Солженицын, “оперуполномоченный Соковиков дружески отправлял письма Дьякова, минуя лагерную цензуру”? “Дружба такая — откуда?”⁸⁰. Архивы показывают, что Дьяков действительно много лет был тайным агентом (кличка — Дятел) и продолжал эту деятельность в лагерях⁸¹.

Превосходили коммунистов в убежденности только верующие — православные, баптисты, свидетели Иеговы и представители других конфессий. Особенно сильно их присутствие ощущалось в женских лагерях, где верующих называли “монашками”. По словам Аллы Андреевой, в конце 40-х годов в женском лагере в Мордовии “большая часть была религиозна”, и в католические праздники православные подменяли на работе католичек, а в православные праздники — наоборот.

Как уже было сказано, некоторые группы верующих не желали сотрудничать с советской властью, считая ее сатанинской. Их члены отказывались работать на нее и в чем-либо расписываться. Нина Гаген-Торн пишет об одной верующей, которую решили “активировать”, то есть выпустить на свободу по причине тяжелой болезни. Узнав об этом, она сказала: “А я вас не признаю. Власть ваша неправедная, на паспорте вашем печать Антихристова. Мне он не надобен. Выйду на волю, вы опять в тюрьму посадите. Не для чего и выходить”. Повернулась и пошла в барак⁸². В одном лагере с Айно Кусинен жили “монашки”, которые отказывались носить лагерную одежду с номерами. Номера писали на их голых спинах, и на поверке “они стояли голые на ветру и дожде”⁸³.

Солженицын приводит историю, которую в разных вариантах рассказывают и другие авторы, об “имяславцах”, которых привезли на Соловки в 1930 году. Они “отрекались от всего, что идет от антихриста: не получали никаких советских документов, ни в чем не расписывались этой власти и не брали в руки ее денег”. Их отправили на маленький остров и обещали дать двухмесячный паек, но при условии, что арестанты за него распишутся. Они отказались. Через два месяца на острове “нашли только трупы расклеванные”⁸⁴.

Но даже те верующие, что соглашались работать, не всегда сшивались с другими заключенными и порой даже не хотели с ними разговаривать. Они сидели вместе и либо хранили полное молчание, либо молились, либо пели религиозные гимны, например, такой:

Я сидел за тюремной решеткой,
Вспоминая о том, как Христос
Крест тяжелый покорно и кротко
На Голгофу с смирением нес⁸⁵.

Крайние формы религиозности вызывали у других заключенных смешанные чувства. Атеистка Аргинская сказала мне в интервью, что “монашек” все дружно ненавидели за неудобства, которые они причиняли другим, — особенно тех, что отказывались мыться. Гаген-Торн пишет, что “монашек” многие ругали: “Мы работаем, а они нет! А хлеб берут! Наши труды...”⁸⁶.

И все же тем, кто, приехав в лагерь, сразу оказывался среди своих, в одном отношении было легче. В шайке блатных, в группировке националистов, в сообществе коммунистов или в религиозном объединении человек искал и находил помощь и поддержку. Чаше всего, однако, “политическому” или “бытовому” не так просто было найти для себя группировку. Одиному эзку труднее было понять лагерную жизнь, лагерную мораль и лагерную иерархию. Без разветвленной сети контактов приходилось осваивать эту науку самому.

Глава 15

Женщины и дети

...Когда мы возвратились с работы, дневальная встретила меня возгласом: — Беги в барак, посмотри, что у тебя под подушкой лежит! Сердце у меня забилося. Я подумала: наверное, мне все-таки дали мой хлеб! Я подбежала к постели и отбросила подушку. Под подушкой лежало три письма из дома, три письма!

Я уже полгода не получала писем.

Первое чувство, которое я испытала, было острое разочарование: это был не хлеб, это были письма!

А вслед за этим — ужас.

Во что я превратилась, если кусок хлеба мне дороже писем от мамы, папы, детей! Я раскрыла конверты. Выпали фотографии. Серыми своими глазами глянула на меня дочь. Сын наморщил лобик и что-то думает. Я забыла о хлебе, я плакала.

Ольга Адамова-Слизберг. Путь

Они должны были выполнять одни и те же трудовые нормы. Они ели одну и ту же водянистую баланду. Они жили в одних и тех же бараках. Они тряслись в одних и тех же телячьих вагонах. Их жалкая одежда и обувь была почти одинакова. С ними одинаково обращались во время допросов. И все же — лагерный опыт мужчин и женщин не вполне совпадал.

Разумеется, многие из женщин, переживших лагерь, убеждены, что в ГУЛАГе пол давал им немалые преимущества перед мужчинами. Женщины лучше умеют заботиться о себе, лучше следят за своей одеждой и волосами. Им, кажется, легче было переносить голод, они не так быстро заболели пеллагрой и другими болезнями, связанными с недоеданием¹. У них возникали крепкие дружеские связи, и они оказывали друг другу такую помощь, на какую мужчины редко были способны. Маргарете Бубер-Нойман вспоминает, что с ней в камере Бутырок сидела женщина, арестованная в легком летнем платье. Теперь оно превратилось в лохмотья. Обитательницы камеры решили сшить ей новое платье: «Они купили в складчину полдюжины полотенец из грубого небеленого русского полотна. Но как скроить платье без ножниц? Немного смекалки — и решение найдено. Разрез намечался обгорелым концом спички, ткань складывалась по этой линии, а затем вдоль складки взад-вперед водили горячей спичкой. Пламя прожигало материю по линии. Нитки для шитья аккуратно выдергивались из других кусков ткани. <...>

Платье из полотенец (его шили для дородной латышки) переходило из рук в руки, и вдоль ворота, на рукавах и на подоле появилась красивая вышивка. Когда платье было готово, его увлажнили и аккуратно сложили. Счастливая обладательница разгладила его, проспав на нем ночь. Невероятно, но утром, когда она его продемонстрировала, оно выглядело роскошно. Оно не испортило бы витрину любого модного магазина².

Однако многие бывшие заключенные мужского пола придерживаются противоположного мнения. Они считают, что женщины быстрее опускались нравственно, чем мужчины, — ведь у них были особые, чисто женские возможности получить более легкую работу и повысить свой лагерный статус. В результате они сбивались с пути, теряли себя в жестком мире ГУЛАГа. Густав Герлинг-Грудзинский пишет, к примеру, о «кудрявой Тане, московской оперной певице», посаженной за «шпионаж». Как «политически подозрительная» она сразу же попала в бригаду лесорубов. Ей «выпало несчастье понравиться гнусному урке Ване, и вот она огромным топором очищала от коры поваленные сосны. Тащась в нескольких метрах позади бригады рослых мужиков, она приходила вечером в зону и из последних сил добиралась до кухни за своим «первым котлом» (400 грамм хлеба и две тарелки самой жидкой баланды — выполнение нормы меньше, чем на 100 процентов). Было видно, что у нее жар, но лекпом (помощник врача, что-то вроде фельдшера) был Ванин кореш и ни за что не давал ей освобождения».

Через две недели она отдалась Ване, а затем «стала чем-то вроде бригадной маркитантки, пока какая-то похотливая начальственная лапа не вытащила ее за волосы из болота и не посадила за стол лагерных счетоводов»³.

Бывали и худшие судьбы — о них пишет тот же Герлинг-Грудзинский. Он рассказывает о молодой полячке, которую сразу же очень высоко оценили урки. Поначалу «...она выходила на работу с гордо вскинутой головой и каждого мужчину, который посмел к ней приблизиться, прошивала молнией гневного взгляда. Вечером она возвращалась в зону несколько присмирив, но по-прежнему неприступная и скромно-высокомерная. Прямо с вахты она шла на кухню за баландой и потом, после наступления сумерек, больше не выходила из женского барака. Было похоже, что ее не так легко поймать в западню ночной охоты...».

Но и эта стойкость была сломлена. Заведующий овощным складом, где она работала, неделю за неделей «бдительно надзирал, чтоб она не воровала подгнившую морковку и соленые помидоры из бочки». И девушка не выдержала. Однажды заведующий «пришел вечером в наш барак и молча бросил мне на нары изодранные женские трусики». С тех пор девушка совершенно переменилась. «Она не

спешила, как бывало, на кухню за баландой, но, вернувшись с базы, гоняла по зоне до поздней ночи, как мартовская кошка. Ее имел кто хотел — под нарами, на нарах, в кабинках техников, на вещевом складе. Каждый раз, встречая меня, она отворачивалась, судорожно стискивая губы. Только раз, когда, случайно зайдя на картофельный склад на базе, я застал ее на куче картошки с бригадиром 56-й, горбатым уродом Левковичем, она разразилась судорожными рыданиями и, возвращаясь вечером в зону, еле сдерживала слезы, прижимая к глазам два худых кулачка”⁴.

Подобные истории рассказывались часто, хотя надо сказать, что из уст женщины они могли звучать несколько иначе. Например, лагерный “роман” Татьяны Руженцевой начался с записки. Эта была “стандартная любовная записка, чисто лагерная” от молодого, красивого Саши, заведующего сапожной мастерской, который входил в число лагерной “аристократии”. Записка была короткой: “Давай с тобой жить, и я буду тебе помогать”. Через несколько дней Саша потребовал ответа: “Будешь со мной жить или не будешь?” Она отказалась, и он избил ее железной палкой. Он отнес ее в больницу и велел врачу и медсестрам хорошо за ней ухаживать (к его словам там прислушивались). Она поправлялась несколько дней. Выйдя из больницы, она стала жить с Сашей, рассудив, что выхода нет — “иначе он меня просто убьет”.

“Так, — пишет Руженцева, — началась моя семейная жизнь”. Выгоды были очевидны: “Я поправилась, ходила в красивых сапожках, уже не носила черт знает какие отрепья: у меня была новая телогрейка, новые брюки. <...> У меня даже новая шапка была”. Много десятилетий спустя Руженцева назвала Сашу своей первой настоящей любовью. К несчастью, Сашу затем отправили в другой лагерь и она никогда больше его не видела. Офицер, отправивший Сашу, тоже ее домогался. “Я вынуждена была жить с этим подонком, у меня не было выхода”, — пишет Руженцева. Любви к нему у нее не было, но связь давала ей преимущества: она могла выходить за зону, и у нее была своя лошадка, на которой она развозила по объектам газеты и табак⁵. Ее рассказ, как и эпизод из книги Герлинга-Грудзинского, можно назвать историей нравственной деградации, а можно — историей выживания.

Строго говоря, ничего подобного происходить не должно было. Мужчин и женщин в принципе полагалось держать раздельно, и некоторые бывшие заключенные вспоминают, что годами не видели лиц противоположного пола. К тому же лагерному начальству не особенно нужны были арестантки. Физически более слабые, они плохо способствовали росту производства, и поэтому начальники некоторых лагерей старались их не брать. В феврале 1941-го

администрация ГУЛАГа даже разослала всем региональным руководителям НКВД и всем начальникам лагерей циркуляр с жестким требованием принимать женские этапы; там же перечислялись отрасли производства, в которых можно продуктивно использовать женский труд: швейная, текстильная, трикотажная, деревообрабатывающая, металлообрабатывающая, обувная промышленность, некоторые виды работ на лесозаготовках и на погрузке и разгрузке вагонов⁶.

Возможно, из-за возражений лагерных начальников количество женщин в лагерях всегда было сравнительно низким. Сравнительно невелика и доля женщин среди расстрелянных в ходе чисток 1937–1938 годов. Согласно официальной статистике, например, в 1942-м женщины составляли только около 13 процентов заключенных ГУЛАГа. В 1945-м их доля возросла до 30 процентов, отчасти из-за того, что огромное число мужчин находилось в армии, но также и из-за того, что многих молодых женщин наказывали “за побеги с заводов, <...> куда их мобилизовывали во время войны”⁷. В 1948 году женщин в лагерях было 22 процента, в 1951–1952 годах — 17 процентов⁸. Правда, эти цифры не вполне отражают положение дел, потому что женщин гораздо чаще отправляли в колонии, где режим был легче. А в крупных промышленных лагерях Дальнего Севера их было еще меньше.

Следствием относительно низкого числа женщин явилось, однако, то, что они, как еда, одежда и прочее, всегда были в дефиците. Поэтому, хотя их, возможно, низко ценили те, кого заботила статистика лагерного производства, они были в большой цене у эков, охранников и вольнонаемных рабочих мужского пола. В тех лагерях, где заключенные мужского и женского пола могли более или менее открыто общаться, или там, где на практике некоторые мужчины имели доступ в женские бараки, красивых женщин часто домогались, и их сплошь и рядом пытались соблазнить едой и более легкой работой. Такое, разумеется, случалось не только в ГУЛАГе. Например, в докладе организации “Международная амнистия” за 1999 год о положении женщин-заключенных в США говорится о случаях изнасилования женщин-заключенных мужчинами-заключенными или надзирателями, о взятках, которые мужчины-заключенные дают надзирателям за доступ в женские камеры, об обысках с раздеванием и ощупыванием женщин мужчинами⁹. Однако в советских лагерях установилась такая социальная иерархия, что женщин в них мучили и унижали в масштабах, необычных даже для мест заключения.

Судьба женщины с самого начала в громадной мере зависела от ее статуса и положения в том или ином лагерном “клане”. В преступном мире в отношении женщин действовала сложная система

правил и ритуалов, и уважения им оказывали очень мало. Как пишет Варлам Шаламов, “потомственный “урка” с детских лет учится презрению к женщине. <...> Существо низшее, женщина создана лишь затем, чтобы насытить животную страсть вора, быть мишенью его грубых шуток и предметом публичных побоев, когда блатарь «гуляет»”. Проститутки фактически были собственностью блатных вожakov, ими торговали и обменивались, они даже переходили по наследству к брату или другу, если мужчину переводили в другой лагерь или убивали. Вору иногда приходилось уступить свою подругу, при этом обычно “до ссоры дело не доходит, и проститутка покорно спит с новым ее хозяином. Никакого дележа женщин, никакой любви “втроем” в блатном мире не существует”. Воровка могла жить только с вором, но ни в коем случае не с “фраером”¹⁰.

Женщины не были единственным объектом похоти. В кругу “блатарей” гомосексуальные отношения подчинялись столь же грубым и жестоким правилам. Некоторые уголовные вожаки наряду с лагерными “женами” или вместо них имели в своем окружении юношей гомосексуальной ориентации. Томас Сговиво пишет о бригадире, у которого была “жена” мужского пола — молодой человек, получавший добавочную еду в обмен на секс¹¹. Однако правила, окружавшие в лагерях мужской гомосексуализм, описать трудно, поскольку мемуаристы редко затрагивают эту тему. Дело, возможно, в том, что гомосексуализм по-прежнему остается в русской культуре частичным табу, и люди предпочитают о нем не писать. Мужской гомосексуализм, кроме того, был в лагерях приметой главным образом уголовного мира, а уголовники редко пишут воспоминания.

Тем не менее мы знаем, что к 70-м — 80-м годам советские уголовники выработали весьма изощренные правила гомосексуально-го этикета. Пассивные гомосексуалисты-мужчины изгонялись из тюремного или лагерного сообщества: они ели за отдельными столами и не разговаривали с другими мужчинами¹². Подобные правила, хотя о них редко писали, существовали в некоторых местах еще в конце 30-х, когда пятнадцатилетний Петр Якир наблюдал гомосексуальные отношения в камере для “малолеток”. В рассказах сокамерников очень часто “фигурировали пьянки и девочки”. Якир пишет: “У меня не укладывалось в голове, что такие маленькие мальчики в состоянии общаться с женщинами. Но я ошибался. У одного из пацанов осталась пайка, он сохранил ее до вечера, а вечером спросил у голодающего Машки:

— Пожрать хочешь? Он ответил:

— Да.

— Тогда снимай штаны.

Это произошло в уголке, трудно просматриваемом из волчка, у всех на глазах. Все это никого не удивляло, и я тоже делал вид, что

меня это не удивляет. Такие случаи в дальнейшем повторялись очень часто. Пассивной стороной были одни и те же; им, как парням, не разрешалось пить из общей кружки, применялись и другие унижающие их ограничения”¹³.

Что любопытно, лесбийская любовь была в лагерях более открытой — по крайней мере, о ней чаще пишут мемуаристы. В женской блатной среде она была сильно ритуализована. Лесбиянок порой называли “оно”, среди них были “мужья” (иначе — “коблы”) и “жены”. Согласно одним мемуарам, “жены обычно были настоящими рабынями: они мыли ноги коблам, всячески ублажали их”. Коблам часто присваивались мужские имена, и почти все они курили¹⁴. О лесбиянстве говорили откровенно, даже пели частушки:

Ой, спасибо Сталину,
Сделал с меня барыню,
И корова я и бык,
Я и баба, и мужик.

Опознавательными знаками лесбиянок служили одежда и некоторые черты поведения. Одна полячка, побывавшая в лагерях, позднее писала: “Такие женские пары были известны всем, и они не пытались скрывать свою связь. Игравшие роль мужчин обычно и одевались по-мужски, стригли волосы коротко и держали руки в карманах. Когда такую пару вдруг захлестывала волна страсти, они вскакивали от своих швейных машинок, гонялись друг за другом и, рухнув на пол, неистово целовались”¹⁵.

Валерий Фрид пишет о женщинах, которых считали гермафродитами. Одна была “коротко стриженная, красивая, в офицерских брюках”; у другой, по-видимому, действительно были и мужские, и женские гениталии¹⁶. Другой бывший заключенный упоминает о лесбиянском изнасиловании: одну “скромную тихую девушку” загнали под нары и там разорвали ей девственную плеву¹⁷. Заключенные интеллигенты смотрели на лесбиянство косо. Одна бывшая “политическая” назвала его “отвратительным явлением”¹⁸. Но оно существовало и в среде “политических”, хотя и в более скрытой форме. Нередко лесбиянками становились женщины, у которых на воле были мужья и дети. Сусанна Печуро сказала мне, что в Минлаге, где сидели в основном политические, лесбиянские отношения кому-то “помогли выжить”.

На характер половых отношений, будь они добровольными или насильственными, гомо- или гетеросексуальными, воздействовала грубая лагерная обстановка. По необходимости любовь в лагере часто была шокирующе открытой. По словам одной бывшей заключенной, пары “подползали под проволоку и соединялись около туалета, на земле”¹⁹. Солженицын вспоминает: “Вагонка, обвешанная от сосе-

док тряпьем, — классическая лагерная картина”²⁰. Исаак Фильштинский, проснувшись ночью в бараке, увидел, что рядом на нарах лежит женщина. Она проникла на свидание к лагерному повару. “Кроме меня в бараке никто не спал, а с напряженным вниманием вся эта мужская масса прислушивалась к тому, что происходит”. Хава Волович пишет: “То, над чем человек на свободе, может быть, сто раз задумался бы, здесь совершалось запросто, как у бродячих кошек”²¹. Другой бывший заключенный отмечает, что у блатных любовь была животной²².

Секс был настолько у всех на виду, что окружающие относились к нему с большой долей безразличия. Сексуальное насилие и проституция для некоторых были частью повседневной жизни. Эдуард Бука однажды работал на лесопилке рядом с женской бригадой. Пришла группа уголовников. Они “хватали женщин, каких хотели, и валили их прямо в снег или брали их притиснув к штабелю бревен. Женщинам это, кажется, было не впервой, и они не сопротивлялись. У них была бригадирша, но она против этого вмешательства не возражала — можно подумать, считала происходящее лишь другим видом работы”²³. Лев Разгон рассказывает об очень юной белокурой девчужке, которая однажды подметала лагерный двор. Сам он к тому времени уже был “вольным” и пришел навестить знакомого лагерного врача. Санитар принес Разгону “привилегированный больничный обед”, но он есть не хотел и предложил еду девчужке. “Ела она тихо и аккуратно, было в ней еще много ошутимодомашнего, воспитанного семьей”. Ему показалось, что примерно так должна выглядеть его подростковая дочь.

“Девочка поела, аккуратно сложила на деревянный поднос посуду. Потом подняла платье, стянула с себя трусы и, держа их в руке, повернула ко мне не улыбочивое свое лицо.

— Мне лечь или как, — спросила она.

А потом, не поняв, а затем испугавшись того, что со мной происходит, так же — без улыбки — оправдывающе сказала:

— Меня ведь без этого не кормят...”²⁴.

Иные женские бараки мало чем отличались от борделей. Солженицын вспоминает один, который был “неописуемо грязен, несравнимо грязен, запущен, в нем тяжелый запах, вагонки — без постельных принадлежностей. Существовал официальный запрет мужчинам туда входить — но он не соблюдался и никем не проверялся. Не только мужчины туда шли, но валили малолетки, мальчишки по 12–13 лет шли туда обучаться. <...> Все совершалось с природной естественностью, у всех на виду и сразу в нескольких местах. Только явная старость или явное уродство были защитой женщины — и больше ничто”²⁵.

И все же, наряду с рассказами о грубом и животном сексе, во многих воспоминаниях приводятся столь же невероятные истории о

лагерной любви. Иногда она начиналась с простого женского желания получить защиту. По своеобразному лагерному правилу, о котором упоминает Герлинг-Грудзинский, женщину, имеющую “лагерного мужа”, другие мужчины не трогали²⁶. Такие “браки” не всегда были равными: приличные женщины порой начинали жить с ворами²⁷. И не всегда, как мы видим из воспоминаний Руженцевой, женщина имела здесь свободный выбор. Но неправильно было бы сводить все к принуждению и проституции. Как пишет Валерий Фрид, “скорее это были браки по расчету — а иногда и по любви”. Даже если отношения возникали по чисто практическим причинам, заключенные относились к ним серьезно. “Про сколько-нибудь постоянную любовницу зек говорил “моя жена”, — пишет Фрид. — И она про него — “муж”. Это говорилось не в шутку: лагерная связь как-то оцеловечивала нашу жизнь”²⁸.

И, как ни удивительно, заключенные, если они не были слишком истощены или больны, искали любви. Анатолий Жигулин пишет о своей лагерной возлюбленной, которой была политическая заключенная — “веселая, добрая, синеглазая, золотоволосая” немка Марта. Потом он узнал, что Марта родила от него дочь. Была осень 1952 года. “Всего полгода оставалось до смерти Сталина. А после смерти Сталина всех иностранцев (кроме настоящих преступников) сразу освободили. Так что Марта с ребенком, если не случилось какого-либо несчастья, уехала домой”²⁹. Воспоминания лагерного врача Исаака Фогельфангера порой читаются как роман, герой которого, минуя опасности, с которыми сопряжена связь с женой лагерного начальника, вкушает радости подлинной любви³⁰.

Люди, лишённые всего, так отчаянно тосковали по личным отношениям, что иногда у них завязывалась длительная платоническая любовная переписка. Больше всего таких случаев было в конце 40-х в особых лагерях для “политических”, где женщин и мужчин держали строго раздельно. В Минлаге заключенные разного пола обменивались посланиями через работников лагерной больницы. Была разработана “целая механика” переписки: например, в точке, где пересекаются пути женских и мужских бригад, какая-нибудь женщина роняет бушлат и тут же поднимает. При этом она незаметно берет сверток оставленных писем и точно такой же сверток кладет. Позже его заберет кто-либо из мужчин³¹. Были и другие способы: “В определенный час определенные лица из заключенных той или другой зоны в определенном месте перебрасывают письма от женщин к мужчинам от мужчин к женщинам. Так называемые «почтальоны»”³².

Такие письма, вспоминает Леонид Ситко, писались “мельчайшим почерком на мельчайшей бумаге”. Подписывались псевдонимами: он сам, к примеру, был “Гамлетом”, его корреспондентка —

“марсианкой”. Он “познакомился” с ней через своего товарища, который обменивался письмами с одной заключенной, и та сказала ему, что одна женщина в ее бараке сильно грустит из-за разлуки с сыном, которого родила перед арестом. Они стали переписываться и один раз даже сумели встретиться, подкупив часового³³.

Порой в поисках родственной души люди прибегали к еще менее обычным способам. В Кенгирском особом лагере некоторые заключенные (почти все “политические”, совершенно отрезанные от семей, друзей, мужей, жен) завязывали длительные, насыщенные отношения с эками другого пола, которых они никогда не видели³⁴. Заключались и браки через стену, разделявшую мужскую и женскую зону, — браки между литовцами и литовками, ни разу между собой не встречавшимися. “Ксендз <...> свидетельствовал письменно, что такая-то и такой-то навеки соединены перед небом”.

Такая любовь существовала, хотя лагерное начальство возвело между зонами высокую стену, пустило сверху колючую проволоку и запретило экам подходить к стене. Говоря об этих браках вслепую, Солженицын мгновенно отбрасывает горечь и сарказм, которыми проникнуто почти все, что он пишет о лагерных отношениях: “В этом соединении с незнакомым узником за стеной <...> мне слышится хор ангелов. Это — как бескорыстное созерцание небесных светил. Это слишком высоко для века расчета и подпрыгивающего джаза”³⁵.

Если любовь, секс, сексуальное насилие и проституция были частью лагерной жизни, то, следовательно, такой же ее частью были беременность и роды. Помимо приисков и строительных площадок, лесных делянок и штрафных изоляторов, барачков и телячьих вагонов, в ГУЛАГе были родильные палаты, “мамочные” лагеря, ясли и детские сады.

Не все дети ГУЛАГа рождались за колючей проволокой. Некоторых “арестовывали” вместе с матерями. Правила, по которым это делалось, всегда были расплывчатыми. В оперативном приказе за 1937 год “Об операции по репрессированию жен и детей изменников родины” сказано, что беременные и кормящие матери аресту не подлежат³⁶; однако в приказе за 1940-й говорится, что при поступлении в тюрьму кормящих матерей дети “содержатся в тюрьме до полутора лет, т. е. до того возраста, когда ребенок перестает нуждаться в материнском молоке”. После этого “дети передаются родственникам или в органы здравоохранения”³⁷.

На практике беременных и матерей с грудными детьми арестовывали регулярно. Во время рутинного осмотра прибывшего в лагерь этапа один лагерный врач обнаружил женщину, у которой уже шли схватки. Ее арестовали на седьмом месяце беременности³⁸. Другую женщину, Наталию Запорожец, отправили в ссылку на восьмом

месяце беременности. После езды в тряских вагонах и в кузове грузовика она родила мертвого ребенка³⁹. Художница и автор воспоминаний Ефросиния Керсновская помогала принимать ребенка, который родился в вагоне во время этапа⁴⁰.

Детей старше грудного возраста тоже “арестовывали” вместе с родителями. В начале 20-х годов одна заключенная написала из тюрьмы Дзержинскому едкое письмо, где “благодарила” его за арест ее трехлетнего сына: тюрьма, пишет она, гораздо лучше детского дома, который она называет “фабрикой ангелов” (то есть мертвых детей)⁴¹. Сотни тысяч детей были фактически арестованы вместе с родителями во время двух грандиозных кампаний высылки — “кулацкой” начала 30-х годов и “этнической” во время и после Второй мировой войны.

Потрясение, испытанное этими детьми, осталось с ними на всю жизнь. Одна полячка вспоминала, что с ней в тюремной камере сидела женщина с трехлетним сыном — ребенком воспитанным, но болезненным и молчаливым. “Мы, как могли, развлекали его всякими историями и сказками, но время от времени он прерывал нас вопросом: «А мы правда в тюрьме?»”⁴²

Сын высланного “кулака” много лет спустя вспоминал свои мытарства в скотном вагоне: “Люди стали дикими. <...> Сколько дней ехали, не помню. В вагоне семь человек умерли от голода. Доехали до города Томска, и высаживают нас, несколько семей. Выгрузили из вагона несколько человек мертвыми, детей, стариков и молодых”⁴³.

Некоторые женщины, несмотря на трудности, нарочно и даже с неким циничным расчетом беременели в лагерях. Чаще всего это были “блатнячки” или арестованные за мелкие правонарушения. Таким способом они рассчитывали перейти на более легкие работы, получать лучшее питание и, может быть, выйти на свободу по амнистии, какие периодически давали женщинам с маленькими детьми. Такие амнистии (одну из них, например, объявили в 1945-м, другую в 1948 году) обычно не относились к женщинам, осужденным за контрреволюционные преступления⁴⁴. “Женщины старались забеременеть любым способом, потому что не работали два года”, — сказала мне Людмила Хачатрян во время интервью⁴⁵.

Согласно воспоминаниям другой бывшей заключенной, однажды до нее дошел слух, что всех женщин с детьми (“мамок”) будут освобождать. И она нарочно забеременела⁴⁶. Надежда Иоффе (ей разрешили в лагере совместное проживание с мужем, и у нее родился ребенок) пишет, что женщины в “бараке мамок” были в огромном большинстве случаев начисто лишены материнских чувств и бросали детей, как только получали такую возможность⁴⁷.

Разумеется, не все забеременевшие женщины хотели рожать. Начальство ГУЛАГа, кажется, испытывало двойственные чувства

насчет аборт: иногда их разрешали, а иногда за них давали вторые сроки⁴⁸. Неясно, кроме того, насколько часто их делали, потому что говорят и пишут о них мало: во многих десятках мемуаров и интервью мне попало только два упоминания об абортах. Алла Андреева рассказала в интервью о женщине, которая “напихла себе внутрь всяких гвоздей, а она шила, сидела за мотором, и вызвала кровотечение”⁴⁹. Другая женщина вспоминала, как ей делал аборт лагерный врач: “И вот вообразите себе такую картину. Ночь. Темно. <...> Мы, двое рабов, с которыми могут расправиться как угодно, насторожены: ждем, что в любой момент загрохочут в наружную дверь с проверкой. Андрей Андреевич пытается сделать мне аборт рукой, намазанной йодом, без инструментов. Но он так нервничает, так волнуется, что ничего у него не получается.

Боль не дает мне вдохнуть, но я терплю без стонов, чтобы кто-нибудь не услышал... “Оставь!” — говорю, наконец, в изнеможении, и вся процедура откладывается еще на двое суток... Наконец все вышло — комками, с сильным кровотечением.

Так никогда я и не стала матерью”⁵⁰.

Другие, наоборот, хотели ребенка, и часто это тоже кончалось трагически. История, рассказанная Хавой Волович, противоречит всему, что писалось об эгоизме и продажности женщин, рожавших в лагерях. Арестованная в 1937-м по “политической” статье, она была в лагере очень одинока и сознательно хотела родить ребенка. И в 1942 году в глухом лагпункте, где для матерей не было подходящих условий, у нее родилась дочь Элеонора, к отцу которой Хава особых чувств не испытывала: “Нас было три мамы. Нам выделили небольшую комнатку в бараке. Клопы здесь сыпались с потолка и со стен как песок. Все ночи напролет мы их обирали с детей.

А днем — на работу, поручив малышей какой-нибудь активированной старушке, которая съедала оставленную детям еду”.

Тем не менее, пишет Волович, “целый год я ночами стояла у постельки ребенка, обирала клопов и молилась.

Молилась, чтобы бог продлил мои муки хоть на сто лет, но не разлучал с дочкой. Чтобы, пусть нищей, пусть калекой, выпустил из заключения вместе с ней. Чтобы я могла, ползая в ногах у людей и выпрашивая подавание, вырастить и воспитать ее.

Но бог не откликнулся на мои молитвы. Едва только ребенок стал ходить, едва только я услышала от него первые, ласкающие слух, такие чудесные слова — “мама”, “мамыця”, как нас в зимнюю стужу, одетых в отрепья, посадили в теплушку и повезли в “мамочный” лагерь, где моя ангелоподобная толстуха с золотыми кудряшками вскоре превратилась в бледненькую тень с синими кругами под глазами и запекшимися губками”.

Волович работала сначала на лесоповале, потом на лесопилке. Вечерами она приносила в лагерь вязанку дров и отдавала нянечкам, которые за это пускали ее к дочке помимо обычных свиданий. “Видела, как в семь часов утра няньки делали побудку малышам. Тычками, пинками поднимали их из ненагретых постелей. <...> Толкая детей в спинки кулаками и осыпая грубой бранью, меняли распашонки, подмывали ледяной водой. А малыши даже плакать не смели. Они только кряхтели по-стариковски и — гукали.

Это страшное гуканье целыми днями несло из детских кроваток. Дети, которым полагалось уже сидеть или ползать, лежали на спинках, поджав ножки к животу, и издавали эти странные звуки, похожие на приглушенный голубиный стон”.

На семнадцать детей приходилась одна няня, которая должна была кормить, мыть, одевать детей и содержать палату в чистоте. Она старалась облегчить себе задачу: “Из кухни няня принесла пылающую жаром кашу. Разложив ее по мисочкам, она выхватила из кровати первого попавшегося ребенка, загнула ему руки назад, привязала их полотенцем к туловищу и стала, как индюка, напихивать горячей кашей, ложку за ложкой, не оставляя ему времени глотать”.

Элеонора начала чахнуть. “При свиданиях я обнаруживала на ее тельце синяки. Никогда не забуду, как, цепляясь за мою шею, она исхудалой ручонкой показывала на дверь и стонала: “Мамыця, домой!”. Она не забывала клоповника, в котором увидела свет и была все время с мамой. <...>

Маленькая Элеонора, которой был год и три месяца, вскоре почувствовала, что ее мольбы о “доме” — бесполезны. Она перестала тянуться ко мне при встречах, а молча отворачивалась.

Только в последний день своей жизни, когда я взяла ее на руки (мне было позволено кормить ее грудью), она, глядя расширенными глазами куда-то в сторону, стала слабенькими кулачками колотить меня по лицу, щипать и кусать грудь. А затем показала рукой на кровать.

Вечером, когда я пришла с охапкой дров в группу, кровать ее уже была пуста. Я нашла ее в морге голенькой, среди трупов взрослых лагерников.

В этом мире она прожила всего год и четыре месяца и умерла 3 марта 1944 года. <...> Вот и вся история о том, как я совершила самое тяжкое преступление, единственный раз в жизни став матерью”⁵¹.

В архивах ГУЛАГа сохранились фотографии лагерных детских учреждений, похожих на те, что описала Волович. Один такой альбом снабжен стихотворным введением:

Им Родина Сталинским солнышком светит,
 Любовью к Вождю всенародной полна.
 И счастливы наши чудесные дети,
 Как счастлива вся молодая страна.
 <...>

Здесь, в этих просторных и теплых кроватках
 Спят новые граждане нашей страны.
 Покушав пресладко, заснули ребятки.
 И снятся им, верно, забавные сны.

Фотографии противоречат стихам и подписям. На одной кормящие матери в белых масках (что должно демонстрировать высокий уровень санитарии в данном лагере) тесно сидят в ряд на скамье с серьезными лицами и держат младенцев на руках. На другой детей ведут на вечернюю прогулку. Они идут колонной и ведут себя не более непринужденно, чем матери. На многих снимках дети обриты, чтобы не завелись вши, и это делает их похожими на маленьких эзков, каковыми они, по существу, и были⁵². “Деткомбинат — это тоже зона, — пишет Евгения Гинзбург. — С вахтой, с воротами, с бараками и колючей проволокой”⁵³.

В той или иной мере гулаговское начальство в Москве наверняка знало, как ужасна жизнь лагерных детей. Нам, во всяком случае, известно, что руководители ГУЛАГа передавали некоторые сведения “наверх”: в докладной записке Сталину за 1949 год о положении женщин в лагерях неодобрительно отмечается, что из 503 000 женщин, находящихся в данный момент в местах заключения, 9300 беременны и 23 790 имеют при себе маленьких детей. “Учитывая крайне вредное влияние на здоровье и воспитание детей, оказываемое пребыванием в местах заключения”, авторы записки предложили досрочно освободить беременных женщин и женщин с детьми до семи лет, находящимися либо в лагере при матери, либо дома без матери, — всего примерно 70 000 женщин (но “политические”, как и рецидивистки и осужденные за тяжкие преступления, освобождению не подлежали)⁵⁴.

Время от времени такие амнистии происходили. Но положение детей, оставшихся в лагерях, если и улучшалось, то незначительно. Поскольку они не вносили вклада в лагерное производство, их здоровье и благополучие мало что значили для большинства лагерных начальников, и они, как правило, жили в самых плохих, холодных, старых помещениях. Один инспектор, обследовавший лагерный детский дом, отметил, что температура в нем зимой не поднимается выше 11°C; другой увидел помещение с облупившейся краской и без всякого освещения — не было даже керосиновых ламп⁵⁵. В партийном документе за 1933 год говорится, что в детских домах Сиблага недостает 800 пар детской летней обуви, 700 ком-

плектов верхней одежды, 900 комплектов столовой посуды⁵⁶. Работницы детских домов часто не имели необходимой квалификации. Более того, эти “придурочные” должности нередко доставались “блатнячкам”. Надежда Иоффе пишет: “Вот так они и работали: целыми часами стояли под лестницей со своими «мужиками» или совсем уходили, а дети, не кормленные, не присмотренные, и болели, и умирали”⁵⁷.

Матерям, чья беременность уже дорого стоила лагерю, обычно не разрешали возмещать детям недостаток внимания персонала — если они хотели его возмещать. От них требовали прежде всего работы, и лишь неохотно и ненадолго их отпускали кормить. Обычно им позволяли побыть с ребенком пятнадцать минут каждые четыре часа, не снимая грязной рабочей одежды. А потом — опять за работу, пусть ребенок и оставался голодный. Иногда женщинам не разрешали даже этого. Один проверяющий из прокуратуры упоминает о женщине, которая из-за своих рабочих обязанностей на несколько минут опоздала на кормление, и ее не пустили к ребенку⁵⁸. Одна бывшая работница лагерной санитарной службы сказала в интервью, что на кормление ребенка грудью отводилось полчаса или 40 минут, а если он не доедал, то няня докармливала его из бутылочки.

В этом же интервью получили подтверждение рассказы бывших заключенных о другой форме жестокости: когда у матери кончалось молоко или ребенок выходил из грудного возраста, женщине часто отказывали в свиданиях с ребенком. Работница лагерной санитарной службы сказала мне, что лично запрещала многим матерям гулять со своими детьми на том основании, что мать-заключенная могла сознательно нанести ребенку вред. Мать, сказала она, могла “нажевать табак, положить в этот табак сахару и пихнуть малюсенькому ребенку в рот”. По ее словам, одна лагерница зимой нарочно обнажила своему ребенку ноги, чтобы он заболел и умер. “Мы за этих детей отвечали головой, а многим матерям они были не нужны”⁵⁹. Той же логикой могли руководствоваться и другие лагерные начальники, разлучавшие матерей с детьми. В равной степени возможно, однако, что такие правила были одним из результатов бездумной жестокости администраторов: устраивать свидания было неудобно и хлопотно, и проще было их запретить.

Отделение детей от родителей в столь маленьком возрасте имело вполне предсказуемые последствия. Сплошь и рядом возникали детские эпидемии. Детская смертность была чрезвычайно высока — настолько высока, что истинные цифры часто скрывали (сведения о таком сокрытии имеются в отчетах о прокурорских проверках)⁶⁰. Но и те дети, что не умирали в ясельном возрасте, имели мало шансов на нормальную жизнь в лагерных детских домах. Кому-то везло: иной раз попадались заботливые нянечки и воспитательницы. Ко-

му-то не везло. Евгения Гинзбург, придя в первый раз на работу в лагерный деткомбинат, обнаружила, что даже большие дети не умеют говорить:

“Да, только некоторые четырехлетки произносили отдельные несвязные слова. Преобладали нечленораздельные вопли, мимика, драки.

— Откуда же им говорить? Кто их учил? Кого они слышали? — с бесстрастной интонацией объясняла мне Аня. — В грудниковой группе они ведь все время просто лежат на своих койках. Никто их на руки не берет, хоть лопни от крика. Запрещено на руки брать. Только менять мокрые пеленки. Если их, конечно, хватает”.

Когда Гинзбург попыталась чему-то научить своих воспитанников, первыми отреагировали близнецы, с которыми мать поддерживала некоторый контакт. Но и их опыт был крайне ограничен:

“— Посмотри, — сказала я Стасику, показывая ему нарисованный мною домик, — что это такое?”

— Барак, — довольно четко ответил мальчик. Несколькими движениями карандаша я усадила у домика кошку. Но ее не узнал никто, даже Стасик. Не видели они никогда такого редкостного зверя. Тогда я обвела домик идилическим традиционным забором.

— А это что?

— Зона! Зона! — радостно закричала Верочка и захлопала в ладоши”⁶¹.

Обычно детей переводили из лагерных детских учреждений в городские детские дома в двухлетнем возрасте. Некоторые матери радовались тому, что ребенок покидает лагерь. Другие протестовали, зная, что мать могут затем нарочно или случайно перевести в другой лагерь, и она окажется далеко от ребенка, чью фамилию могут изменить или забыть. В таком случае по освобождении трудно было рассчитывать на душевную близость с ребенком, и был риск не найти его вовсе⁶². В обычных детских домах иногда такое происходило. Валентина Юрганова, которая родилась в Поволжье в “кулацкой” немецкой семье, оказалась в детском доме, где некоторые воспитанники были слишком малы, чтобы помнить свои фамилии, а администрацию это мало заботило. Одной девочке, сказала она мне, дали фамилию Каштанова, потому что в саду у детского дома росло много каштанов.

Одна бывшая детдомовка в письме в “Мемориал” рассказала душераздирающую историю своих долгих попыток навести справки о родителях и узнать свою настоящую фамилию. В городе, указанном в ее паспорте как место рождения, в ЗАГСе не было сведений о рождении ребенка с такими именем и фамилией. В детский дом она попала маленькой и о родителях мало что помнила. Некоторые воспоминания, однако, у нее остались: “помню <...> маму за швейной ма-

шинкой (ножной). Я прошу у нее нитку с иголкой. <...> Себя в саду. <...> И последнее. Настежь раскрытая дверь. Вдали комнаты темнота, справа кровать пустая, что-то случилось. Почему-то я одна. Страшно. Я спряталась за створку двери...”⁶³.

Неудивительно, что некоторые матери, когда их детей забирали, “кричали и убивались, иной раз даже впадали в бешенство, и такую сажали под замок, пока она не успокоится”. Шансы когда-нибудь свидеться с ребенком были невелики⁶⁴.

В детских домах лагерным детям не всегда жилось лучше. Помимо них, там оказывались дети из другой многочисленной категории — те, кого сразу отвезли в детский дом после ареста родителей. Как правило, эти детские дома были страшно переполнены, грязны и недоукомплектованы персоналом. Многие дети там умирали. Одна бывшая заключенная вспоминала, как из ее лагеря отправили одиннадцать детей в спецдетдома Архангельска. Потом, после многократных запросов о судьбе детей, их матери получили официальный ответ, что все они погибли во время эпидемии⁶⁵. В 1931 году, в разгар коллективизации, начальники детприемников Урала писали отчаянные письма в местные органы власти. Они просили помочь им позаботиться о тысячах “кулацких” детей — новых сирот: “В комнате 12 кв. метров находятся 30 мальчиков; на 38 детей 7 коек, на которых спят дети-рецидивисты. Двое восемнадцатилетних обитателей изнасиловали технику, ограбили магазин, пьют вместе с завхозом, сторожика скупает краденое”. “Дети сидят на грязных койках, играют в карты, которые нарезаны из портретов вождей, дерутся, курят, ломают решетки на окнах и долбят стены с целью побега”⁶⁶. В детском доме для кулацких детей “ребята спят на полу как беспризорные, обувь у воспитанников отсутствует. <...> Воды не бывает по несколько дней. Питаются плохо, кроме воды и картошки на обед ничего не получают. Посуды нет, едят из ковшиков. На 140 человек одна чашка, ложки отсутствуют, приходится есть по очереди и руками. Освещения нет, имеется одна лампа на весь детдом, но и она без керосина”⁶⁷.

В 1933-м из детского дома близ Смоленска была отправлена телеграмма в деткомиссию ВЦИК: “Снят <со> снабжения детдом. Голодает сто воспитанников. Организации отказываются дать норму. Помощи нет. Срочно примите меры”⁶⁸.

С годами мало что менялось. В одном приказе наркома внутренних дел за 1938 год говорится о детском доме, где подростки изнасиловали двух восьмилетних девочек, и о другом детском доме, где на 212 детей приходилось 12 ложек и 20 тарелок, где за неимением постельных принадлежностей дети спали в одежде и обуви⁶⁹. Наталью Савельеву, чьи родители были арестованы, в 1943-м забрали из детдома “в дочери” бездетные супруги. При этом ее разлучили с сестрой, которую она потом так и не смогла найти⁷⁰.

Детям “политических” было в таких домах особенно трудно: часто к ним относились хуже, чем к другим воспитанникам-сиротам. Как десятилетней Светлане Когтевой, многим говорили, что они должны “забыть своих родителей, так как они враги народа”⁷¹. Сотрудникам НКВД, отвечающим за такие детдома, было велено проявлять особую бдительность и следить за тем, чтобы дети контрреволюционеров не получали никаких привилегий⁷². Из-за этой бдительности четырнадцатилетний Петр Якир после ареста родителей пробыл в детприемнике всего три дня, в течение которых он “успел снискать славу вожака детей “изменников” Родины”. Его отправили в тюрьму, а оттуда в лагерь⁷³.

Чаще дети “политических” страдали от насмешек и изоляции. Одна женщина, прошедшая в детстве через детприемник, вспоминала, что у тех, чьи родители были “врагами народа”, брали отпечатки пальцев, как у преступников. Учителя и воспитатели боялись оказывать таким детям внимание и помогать им⁷⁴. Юрганова вспоминает, что, остро сознавая свой “вражеский” статус, она нарочно постаралась забыть немецкий язык, на котором говорила в детстве.

В такой обстановке даже дети из культурных семей быстро усваивали привычки шпаны. Владимиру Глебову, сыну видного большевика Льва Каменева, было четыре года, когда арестовали его отца. Глебова “сослали” в специальный детдом в западной Сибири. Около 40 процентов воспитанников были детьми “врагов народа”, другие 40 процентов — малолетними правонарушителями, 20 — цыганскими детьми, арестованными за бродяжничество. Как Глебов объяснил журналисту Адаму Хохшилду, раннее знакомство с юными преступниками давало сыну “врага народа” определенные преимущества: “Мой дружок научил меня кое-каким приемам самозащиты, которые здорово помогли мне потом. Видите, вот у меня шрам, вот другой. <...> Когда на тебя идут с ножом, ты должен уметь защититься. Главный принцип — не жди, бей первым. Вот оно, наше счастливое советское детство!”⁷⁵.

Многих детей детский дом непоправимо травмировал. Одна мать по окончании лагерного срока забрала из детского дома восьмилетнюю дочь. Девочка едва умела говорить, набрасывалась на еду и вела себя как дикий затравленный зверек. Она не понимала, что перед ней мама⁷⁶. Другая мать, просидев в лагерях восемь лет, пришла в детский дом забирать детей, но они отказались с ней идти. Им внушили, что их родители — “враги народа”. Их специально инструктировали не уходить с матерью, если она когда-либо за ними явится, и они так никогда и не воссоединились с родителями⁷⁷.

Неудивительно, что многие воспитанники убегали из таких детских домов. Оказавшись на улице, они очень быстро попадали в

криминальное окружение, и рано или поздно их снова арестовывали. Порочный круг замыкался.

На первый взгляд, в документе НКВД за 1944–1945 годы, касающемся восьми лагерей на Украине, нет ничего необычного. Названы лагеря, выполнившие пятилетний план, и лагеря, не выполнившие его. С похвалой говорится об ударниках. Жестко отмечено, что питание в большинстве лагерей было очень плохим и однообразным. С одобрением сказано, что за отчетный период эпидемия случилась только в одном лагере, когда в него перевели пять человек из переполненной харьковской тюрьмы.

Однако некоторые подробности отчета все же выдают подлинный характер этих лагерей. Проверяющий жалуется, к примеру, что в одном из них не хватает учебников, ручек, тетрадей, карандашей. Он строго замечает, что некоторые заключенные, играя в азартные игры, проигрывают хлебный паек на много месяцев вперед. Более юные лагерники, судя по всему, были слишком неопытны, чтобы играть в карты со старшими⁷⁸.

Эти восемь украинских лагерей — детские колонии. Не все несовершеннолетние попадали в ГУЛАГ из-за ареста родителей. Некоторые оказывались там потому, что совершали правонарушения. Лагеря для “малолеток” находились в ведении тех же органов, что и лагеря для взрослых, и походили на них во многих отношениях.

Первоначально эти “детские лагеря” создавались для беспризорников, которых было очень много из-за гражданской войны, голода, коллективизации и массовых арестов. В начале 30-х годов группы уличных детей были обычным зрелищем на вокзалах и в скверах советских городов. Писатель Виктор Серж вспоминал: “Я видел их в Ленинграде и Москве. Они ночевали в канализационных трубах, в тумбах для афиш, в кладбищенских гробницах, где хозяйничали без помех; они устраивали ночные сходки в общественных уборных; они ездили на крышах и нижних выступах вагонов. Вонючие, заразные, в черном поту возникали перед пассажирами — клячливые копейки или ждали случая стибрить чемодан...”⁷⁹.

Этих детей было столько и с ними было так трудно, что в 1934-м ГУЛАГ, не желая допускать превращения детей арестованных родителей в беспризорников, создал первые детские учреждения во взрослых лагерях⁸⁰. Чуть позже — в 1935 году — ГУЛАГ стал создавать и специализированные детские колонии. Беспризорных детей забирали на улицах в ходе массовых облав и отправляли в колонии, где их учили и готовили к трудовой жизни.

В 1935 году был принят печально известный закон, по которому дети с двенадцати лет подлежали такой же уголовной ответственности, как и взрослые. По этому закону крестьянских девочек аресто-

вывали за горстку зерна, детей “врагов народа”, подозреваемых в “пособничестве” родителям, сажали в тюрьмы для несовершеннолетних вместе с юными проститутками, карманниками, бродягами⁸¹. В докладной записке за 1933-й читаем: “Рахаметзянова — 12 лет, татарка, по-русски не говорит, ехала с матерью через Москву, на вокзале мать ушла за хлебом, милицией была задержана и направлена одна в Нарым”⁸². Малолетних правонарушителей было так много, что в 1937-м были созданы детдома с особым режимом для детей, которые систематически нарушали правила, действовавшие в обычных детских домах. С 1939 года несудимых беспризорных и безнадзорных детей больше не посылали в детские трудовые колонии. Туда стали отправлять малолетних преступников по приговору суда или “особого совещания”⁸³.

Несмотря на риск сурового наказания, число малолетних правонарушителей продолжало расти. Война порождала не только сирот, но и детей-беглецов, безнадзорных детей, чьи отцы были на фронте, а матери двенадцать часов в сутки работали на фабриках, а также несовершеннолетних преступников нового сорта — тех, кто, работая на фабрике или заводе (иной раз, после эвакуации предприятия, вдалеке от родных), самовольно покидал место работы и тем самым нарушал закон военного времени “О самовольном уходе с работы на предприятиях военной промышленности”⁸⁴. Согласно статистике НКВД, за 1943–1945 годы через детприемники прошло 842 144 бездомных детей — колоссальная цифра! Большую часть отправили назад к родным, в детские дома, в ремесленные училища и школы ФЗО. Но немалое число, по документам — 52 830, попало в трудовые воспитательные колонии, которые по существу были детскими концлагерями⁸⁵.

Во многих отношениях с детьми в лагерях для “малолеток” обращались так же, как со взрослыми зэками. Их арест и этапирование происходили по тем же правилам, за двумя исключениями: несовершеннолетних полагалось держать отдельно и в них нельзя было стрелять при попытке побега⁸⁶. Тюремные камеры для несовершеннолетних были такими же скверными, как камеры для взрослых. Отчет о прокурорской проверке одной такой камеры рисует удручающе знакомую картину: “Стены загрязнены; койками и матрасами не все заключенные обеспечены. Простыней, наволочек и одеял совершенно не имеется. В камере № 5 за отсутствием стекла, окно закрывается подушкой, а в камере № 14 оконная форточка не закрывается”⁸⁷. В приказе за 1940 год говорится, что “помещения трудколоний <...> содержатся в недопустимо антисанитарных условиях и часто не обеспечены даже горячей водой и <...> кружками, мисками, табуретками”⁸⁸.

Некоторых юных арестантов и допрашивали как взрослых. Четырнадцатилетнего Петра Якира из детприемника отвезли в мест-

ное отделение НКВД и подвергли ночному допросу. Его обвинили “в организации анархической конной банды, ставившей себе целью действовать в тылу Красной Армии во время будущей войны”. “Доказательством” служило то, что Якир любил кататься верхом. Подростка поместили во взрослую тюрьму и приговорили к пяти годам колонии как “социально опасный элемент”⁸⁹. Как взрослого допрашивали и шестнадцатилетнего поляка Ежи Кмецика, которого в 1939-м, после советского вторжения в Польшу, поймали при попытке бежать в Венгрию. Кмецика по многу часов заставляли стоять или сидеть на табуретке, его кормили соленым супом и не давали воды. Помимо прочего, его спросили: “Сколько тебе заплатил за разведывательные сведения господин Черчилль?”. Кмецик не знал, кто такой Черчилль, и попросил разъяснить вопрос⁹⁰.

В архиве сохранилось следственное дело пятнадцатилетнего Владимира Мороза, которого обвинили в “контрреволюционной деятельности” в детдоме, где он содержался. Мать Мороза и его семнадцатилетний старший брат были арестованы раньше. Его отец был расстрелян. В детдоме Мороз вел дневник, который попал в руки НКВД. В дневнике он сетует на окружающую “ложь и несправедливость”: “Если бы человек, заснувший летаргическим сном лет 12 тому назад, проснулся, он был бы просто поражен переменами, произошедшими за это время”. Мороза приговорили к трем годам лагеря, но в 1939-м он умер в тюрьме⁹¹.

Эти случаи нельзя считать исключительными. В 1939 году, когда в советской печати появился ряд сообщений об аресте сотрудников НКВД за получение фальшивых признаний недозволенными методами, одна сибирская газета рассказала о “деле”, по которому проходило 160 детей большей частью в возрасте двенадцати-четырнадцати лет, хотя некоторым было всего десять. Четыре сотрудника НКВД и прокуратуры получили за ведение этого дела сроки от пяти до десяти лет. Историк Роберт Конквест пишет, что признания детей были добыты “сравнительно легко”: “Одного ночного допроса было достаточно, чтобы десятилетний мальчик ломался и сознавался в участии в фашистской организации с семилетнего возраста”⁹².

Дети-арестанты не были избавлены и от неумолимых требований системы рабского труда. Хотя, как правило, детские колонии не входили в состав самых жестоких северных лесозаготовительных или золотодобывающих лагерей, в 1940 году в Норильском лагере на Крайнем севере был лагпункт для несовершеннолетних. Из 1000 детей и подростков, которые там содержались, часть работала на кирпичном заводе, остальные занимались расчисткой снега. Большинство составляли пятнадцати- и шестнадцатилетние, но были и дети от двенадцати до четырнадцати лет. Семнадцатилетних переводили во взрослые лагеря. О тяжелых условиях в Норильском детском ла-

гере писали многие проверяющие, и в конце концов лагерь перевели в более южный район страны. Но к тому времени многие юные эзки пали жертвой холода и недоедания⁹³.

Более типичны сведения об украинских детских колониях, где мальчики занимались деревообработкой и металлообработкой, а девочки шитьем⁹⁴. Кмецик, которого отправили в детскую колонию близ Житомира, работал на мебельной фабрике⁹⁵. Тем не менее в детских колониях присутствовало многое из того, что было во взрослых лагерях: производственный план, индивидуальные нормы, режим. В циркуляре НКВД за 1940 год для несовершеннолетних от двенадцати до шестнадцати лет устанавливается четырехчасовой рабочий день, и еще четыре часа отводятся для учебы. Согласно тому же приказу, рабочий день заключенного в возрасте шестнадцати-восемнадцати лет составляет восемь часов, а учиться он должен два часа в день⁹⁶. В Норильском лагере эти правила не соблюдались — школы там не было вообще⁹⁷.

Кмецик в колонии посещал вечернюю школу. Помимо прочего, ему там сообщили, что “Англия — это остров в Западной Европе. <...> Там правят лорды в красных одеяниях с белыми воротниками. Они владеют рабочими, которые трудятся на них, получая за это гроши”⁹⁸. Учеба не была в детских колониях первоочередной задачей. В 1944-м Берия гордо проинформировал Сталина, что колонии для несовершеннолетних внесли важный вклад в военную промышленность: там произведено боеприпасов и прочего на общую сумму 150 миллионов рублей⁹⁹.

На детей в колониях воздействовали с помощью такой же пропаганды, как на взрослых в лагерях. Лагерные газеты середины 30-х писали о детях-стахановцах. Борясь с детским “тунеядством”, детей привлекали к таким же культурно-воспитательным мероприятиям, как и взрослых, заставляли петь те же самые сталинистские песни¹⁰⁰.

И наконец, детей подвергали такому же психологическому давлению. Циркуляр НКВД за 1941 год потребовал организовать “агентурно-оперативное обслуживание” колоний для несовершеннолетних и детских приемников-распределителей, создать “осведомительную сеть из числа несовершеннолетних”. Причина — “контрреволюционные проявления со стороны антисоветского элемента из числа обслуживающего персонала и несовершеннолетних заключенных”. Так, в одной колонии дети “учинили бунт, разгромили столовую, напали на охрану, ранили шесть стрелков ВОХР”¹⁰¹.

Лишь в одном смысле дети в колониях могли считать, что им повезло: их не отправили в обычный лагерь, они, в отличие от других “малолеток”, не окружены взрослыми эзками. Как и обилие беременных женщин, все возраставшее число несовершеннолетних во взрослых лагерях было для лагерного начальства источником посто-

янной головной боли. В октябре 1935-го Генрих Ягода указал начальникам всех лагерей на то, что, вопреки его директивам, “осужденные несовершеннолетние до сих пор в трудовые колонии не переведены и продолжают содержаться в тюрьмах, наравне с другими осужденными”. На 20 августа, пишет он, в тюрьмах находилось 4305 несовершеннолетних¹⁰². В 1948 году — тринадцать лет спустя — проверяющие из прокуратуры по-прежнему жаловались, что слишком много несовершеннолетних находится во взрослых лагерях, где на них разлагающе действуют матерые преступники. В частности, один восемнадцатилетний юноша, осужденный за мелкую кражу, подпал под влияние бандита-рецидивиста и впоследствии совершил убийство¹⁰³.

“Малолетки” не вызывали у взрослых эзков большого сочувствия. Они “прибывали в наши места уже утратившими от голода, от ужаса с ними происшедшего всякую сопротивляемость”, — писал Лев Разгон, который видел, как несовершеннолетние естественным образом группируются вокруг сильнейших, то есть профессиональных воров, у которых мальчики становились “слугами, бессловесными рабами, холуями, шутами, наложниками”, девочки — наложницами¹⁰⁴. Несмотря на страшную судьбу “малолеток”, их не особенно жалели; наоборот, на них направлены иные из самых резких инвектив в лагерной мемуарной литературе. Разгон пишет, что “малолетки”, при всем различии происхождения, вскоре становились одинаковыми — “страшными в своей мстительной жестокости, разнузданности и безответственности”. Хуже того, “они никого и ничего не боялись. Жили они в отдельных бараках, куда боялись заходить надзиратели и начальники. В этих бараках происходило самое омерзительное, циничное, разнузданное, жестокое из всего, что могло быть в таком месте, как лагерь. Если “паханы” кого-нибудь проигрывали и надобно было убить — это делали — за пайку хлеба или даже из “чистого интереса” — мальчики-малолетки. И девочки-малолетки похвалялись тем, что могут пропустить через себя целую бригаду лесорубов... Ничего человеческого не оставалось в этих детях, и невозможно было себе представить, что они могут вернуться в нормальный мир и стать нормальными людьми”¹⁰⁵.

Солженицын говорит примерно то же: “В их сознании нет никакого контрольного флажка между дозволенным и недозволенным, и уж вовсе никакого представления о добре и зле. Для них то все хорошо, чего они хотят, и то все плохо, что им мешает. Наглую нахальную манеру держаться они усваивают потому, что это самая выгодная в лагере форма поведения”¹⁰⁶.

Голландец Йохан Вигманс, побывавший в ГУЛАГе, тоже пишет о лагерных несовершеннолетних, которые, “похоже, не имели ничего против такой жизни. Формально они должны были работать, но на

практике в гробу они видали эту работу. При этом — регулярная кор-
межка и широкие возможности учиться у дружков уму-разуму”¹⁰⁷.

Были, однако, исключения. Александр Клейн рассказывает о двух тринадцатилетних деревенских мальчиках, осужденных на двадцать лет лагерей за то, что во время войны отбили корову у угнавших ее в лес “партизан”. Клейн познакомился с ними на десятом году их заключения. Когда в начале срока их попытались разлучить, они объявили голодовку и добились, чтобы их отправили в один лагерь. Лагерники и даже охранники их жалели: старались подкормить, найти им работу полегче. Инженеры-каторжане дали им неплохое общее и техническое образование. Выйдя, наконец, на свободу после смерти Сталина, молодые люди вскоре стали квалифицированными инженерами. Если бы не лагерь, пишет Клейн, “кто бы и где помог полуграмотным деревенским мальчишкам стать образованными людьми, хорошими специалистами?”¹⁰⁸.

Тем не менее, когда в конце 90-х я попыталась найти мемуары кого-либо, кто был в лагере “малолеткой”, это оказалось почти невозможным. Помимо воспоминаний Якира, Кмечика и горстки других, собранных обществом “Мемориал” и другими организациями, нет почти ничего¹⁰⁹. Между тем таких детей и подростков были десятки тысяч, и многие наверняка еще живы. Я даже предложила одной моей российской знакомой дать объявление в газете в надежде взять у кого-либо из них интервью. “Не надо, — сказала она. — Мы же понимаем, кем они стали”. Не помогли ни десятилетия пропаганды, ни плакаты на стенах детских домов, ни благодарности Сталину “за наше счастливое детство”: люди, прожившие в СССР, хорошо понимают, что дети лагерей, дети улиц, дети из детских домов в большинстве своем стали “полноценными” членами большого и всеобъемлющего преступного сообщества страны.

Глава 16 Умирующие

*Что же, значит — истощенье?
Что же, значит — изнемог?
Страшно каждое движенье
Изболевших рук и ног.*

*Страшен голод... Бред о хлебе...
“Хлеба, хлеба” — сердца стук.
Далеко в прозрачном небе
Равнодушный солнца круг.*

*Тонким свистом клуб дыхания...
Это — минус пятьдесят.
Что же? Значит — умираешь?
Горы смотрят и молчат.*

Нина Гаген-Торн. *Memoria*

Все время, пока существовал ГУЛАГ, заключенные неизменно отводили место в самом низу лагерной иерархии умирающим — точнее, живым мертвецам. К ним относится немало слов лагерного жаргона: их называли фитилями (жизнь еле теплилась в них, как огонек на фитиле), говноедами, помоечниками, но чаще всего доходягами. Жак Росси в “Справочнике по ГУЛАГу” дает саркастическую версию происхождения этого слова: “термин появился в 30-х гг., когда материальное положение трудящихся начало резко ухудшаться, и в то же время пропаганда безудержно и авторитетно твердила, что «доходим до социализма»”¹.

Попросту говоря, доходяги — это умирающие от голода. Болезни, которыми они страдали, — цинга, пеллагра, различные формы поноса — были вызваны недоеданием и витаминной недостаточностью. На ранних стадиях у больных шатались зубы и появлялись болячки на коже (такие симптомы иногда возникали даже у лагерных охранников)². Позднее начиналась куриная слепота, когда человек перестает видеть в сумерках. Герлинг-Грудзинский пишет: “Вид курслепов, которые утром и вечером, вытянув руки вперед, медленно ступали по обледелым дорожкам, ведущим к кухне, был в зоне <...> привычным...”³.

Голодающие, кроме того, страдали желудочными расстройствами, головокружением, у них сильно опухали ноги. Томас Сговио, который был на грани голодной смерти, однажды, проснувшись, увидел, что одна его нога “лиловая и вдвое толще другой. Она зудела и вся была покрыта прыщами”. Вскоре “прыщи превратились в громадные волдыри. Из них стали сочиться кровь и гной. Я вдавил палец в лило-

вую плоть — вмятина осталась надолго”. Когда Сговии обнаружил, что ноги не лезут в сапоги, ему посоветовали разрезать голенища⁴.

На последних стадиях истощения доходяги приобретали диковинный, нечеловеческий вид, физически воплощали собой дегуманизирующую государственную риторику: в свои предсмертные дни враги народа вовсе переставали быть людьми. Их охватывало безумие, они часто раздражались длинными тирадами или впадали в бред. Кожа становилась сухая и дряблая. Глаза приобретали странный блеск. Они готовы были есть что угодно — птиц, собак, отбросы. Передвигались медленно, не могли контролировать функции кишечника и мочевого пузыря и потому источали жуткий запах. Вот как описывает первую встречу с ними Тамара Петкевич: “Там, за проволокой, стояла шеренга живых существ, отдаленно напомиавших людей. <...> Их было человек десять: разного роста скелеты, обтянутые коричневым пергаментом кожи; голые по пояс, с висящими пустыми сумками иссохших, ничем не прикрытых грудей, с обритыми наголо головами. Кроме нелепых грязных тусов, на них не было ничего. Берцовые кости заключали вогнутый круг пустоты. Женщины?! Все страдания жизни до той минуты, до того как я вблизи увидела этих людей, были ложь, неправда, игрушки! А это было настоящим!”⁵

Незабываемое описание доходяг оставил Варлам Шаламов. Он подчеркивает их сходство друг с другом, потерю индивидуальных черт и безымянность, которая усиливала внушаемый ими ужас:

Я поднял стакан за лесную дорогу,
За падающих в пути,
За тех, что брести по дороге не могут,
Но их заставляют брести.

За их синеватые жесткие губы,
За одинаковость лиц,
За рваные, инеем крытые шубы,
За руки без рукавиц.

За мерку воды — за консервную банку,
Цингу, что навязла в зубах.
За зубы будящих их всех спозаранку
Раскормленных, сытых собак.

За солнце, что с неба глядит исподлобья
На то, что творится вокруг.
За снежные, белые эти надгробья —
Работу понятливых вьюг.

За пайку сырого, липучего хлеба,
Проглоченную второпях,
За бледное, слишком высокое небо,
За речку Аян-Урях!⁶

Словом “доходяга” обозначалось в советских лагерях не только физическое состояние человека. Эти люди, объясняет Сговии, были не просто больны: голод доводил их до того, что они уже не могли следить за собой. Постепенно заключенный опускался: переставал мыться, контролировать функции кишечника, нормально реагировать на обиды. В конце концов он делался в буквальном смысле сумасшедшим. Впервые увидев человека в таком состоянии, Сговии испытал глубокое потрясение. Это был американский коммунист Эйзенштейн, с которым Сговии был знаком в Москве до ареста. “В первый момент я не узнал моего друга. Когда я поздоровался с ним, Эйзенштейн не ответил. У него было пустое, неживое лицо доходяги. Он смотрел сквозь меня, словно меня не было. Казалось, Эйзенштейн никого не видит. Его взгляд был лишен всякого выражения. Собирая в столовой пустые тарелки со столов, он оглядывал каждую в поисках остатков. Он водил пальцем по внутренности тарелки и потом лизал его”.

Эйзенштейн, пишет Сговии, полностью потерял, как и прочие “фитили”, чувство собственного достоинства: “Они не следили за собой, не мылись — даже когда имели такую возможность. “Фитили” не обращали внимания на вшей, которые высасывали их кровь, не утирали рукавами бушлатов носы, из которых текло. <...> “Фитиль” с безразличием сносил удары. Если другие зэки принимались его бить, он закрывал от ударов голову. Потом падал на пол и, когда его оставляли в покое, вставал, если мог, и с тихим хныканьем ковылял прочь, словно ничего особенного не случилось. После работы доходяга болтался около кухни и выпрашивал остатки. Забавы ради повар иногда выплескивал ему в лицо черпак супа. Тогда бедняга судорожно собирал жидкость пальцами с мокрой бороды и лизал их. <...> “Фитили” стояли вокруг столов в надежде, что кто-нибудь оставит немного баланды или каши. Когда такое происходило, ближайшие из них бросались к обедкам. Завязывалась потасовка, во время которой баланду недолго было и пролить. Тогда они продолжали борьбу на четвереньках за каждую частицу драгоценной еды”⁷.

Те немногие, что, побывав доходягами, сумели оправиться и выжить, позднее пытались объяснить (это им не вполне удавалось), каково это — быть ходячим мертвецом. Януш Бардах вспоминал, что после восьми месяцев на Колыме у него, когда он просыпался, кружилась голова и разум был замутнен. “Больших усилий стоило утром взять себя в руки и дойти до столовой”⁸. У Якова Эфрусси, прежде чем он стал доходягой, украли пенсне — “близоруким хорошо известно, что представляет собой жизнь без очков: все окружающее погружается в туман”, — и вследствие отморожения он потерял пальцы рук. Вот как он описывает свои ощущения: “Надо сказать,

что постоянное недоедание действует на человеческую психику губительно. От мысли о еде нельзя отвлечься, о ней думаешь все время. К физическому недомоганию добавляется и моральное, так как постоянное ощущение голода унижительно, оно лишает самоуважения, чувства собственного достоинства. Все мысли сосредотачиваются на решении одной задачи: как раздобыть еду? Поэтому у помойки, расположенной вблизи от столовой, у входа в кухню, всегда толпятся “доходяги”. Они ждут, не выбросят ли из кухни что-нибудь съестное, например капустные очистки”⁹.

Так велика была притягательность кухни, так сильны навязчивые мысли о еде, что многие почти утрачивали способность руководствоваться какими-либо иными мотивами. Герлинг-Грудзинский пишет: “Где граница воздействия голода, за которой клонящиеся к упадку человеческое достоинство заново обретает свое пошатнувшееся равновесие? Нет такой. Сколько раз я сам, приплюснув пылающее лицо к заледенелому кухонному окну, немим взглядом выпрашивал у ленинградского вора Федьки еще один половник “жижицы”? И разве мой близкий друг, старый коммунист, товарищ молодости Ленина, инженер Садовский не вырвал однажды у меня на опустелом помосте возле кухни котелок с супом и, даже не добежав до уборной, жадно выглотал по дороге горячую жижу? Если есть Бог — пусть безжалостно покарает тех, кто ломает людей голодом”¹⁰.

Еврей-сионист из Польши Иегошуа Гильбоа, арестованный в 1940 году, ярко описывает самообман, с помощью которого эки пытались убедить себя, что едят больше, чем на самом деле: “Мы пытались обманывать свои желудки: крошили хлеб, пока он не становился почти как мука, смешивали его с солью и заливали большим количеством воды. Этот деликатес назывался “хлебным соусом”. Соленая вода в какой-то мере приобретала цвет и вкус хлеба. Ее выпивали — оставалась хлебная кашица. Туда опять наливали воду и повторяли это до тех пор, пока хлеб не отдавал последние остатки своего вкуса. Если сперва наполнить желудок хлебной водой, а на десерт съесть хлебный соус, уже совершенно безвкусный, то создается иллюзия, будто ты съел несколько сот граммов”.

Еще Гильбоа пишет, что он размачивал в воде соленую рыбу. Получившуюся жидкость “можно использовать для приготовления хлебного соуса, и тогда у тебя возникает поистине королевское лакомство”¹¹.

Эки, достигшие той стадии, когда человек постоянно находится около кухни и подбирает отбросы, были, как правило, близки к смерти и могли умереть в любой момент — ночью на нарах, по пути на работу, в столовой во время ужина или направляясь куда-нибудь в зоне. Януш Бардах однажды увидел, как заключенный упал во вре-

мя вечерней поверки. “Вокруг столпились люди. “Шапка моя”, — сказал один. Другие стащили с него валенки, портянки, бушлат и штаны. Из-за белья завязалась драка.

И только когда упавший был раздет догола, он пошевелил головой, поднял руку и слабым, но отчетливым голосом произнес: “Холодно очень”. Но тут же его голова упала обратно в снег, глаза начали стекленеть. Стервятники равнодушно отошли от него с добычей. За те несколько минут, что он лежал голый, он, вероятно, умер от переохлаждения”¹².

Кроме голода, заключенные умирали и от других причин. Многие гибли во время работы — условия на шахтах и заводах часто были опасными. Ослабленные голодом, люди легко становились жертвами эпидемий. О тифе я уже писала, но слабые и голодные люди были подвержены и многим другим заболеваниям. Например, в Сиблаге в первом квартале 1941-го было госпитализировано 8029 человек: 746 с туберкулезом — из них 109 умерли; 72 с пневмонией — 22 умерли; 36 с дизентерией — 9 умерли; 177 с обморожениями — 5 умерли; 302 с желудочно-кишечными болезнями — 7 умерли; 210 с последствиями несчастных случаев во время работы — 7 умерли; 912 с болезнями системы кровообращения — 123 умерли¹³.

Некоторые кончали самоубийством, хотя на этой теме лежит странное табу. Сколько человек избрали этот выход, трудно сказать. Официальной статистики нет. Нет, что странно, и согласия между выжившими по поводу частоты самоубийств в лагерях. Надежда Мандельштам писала, что в лагерях самоубийством не кончали — люди боролись за жизнь изо всех сил. Ей вторят некоторые другие¹⁴. Евгений Гнедин писал, что хотя и в тюрьме, и впоследствии в ссылке он думал о самоубийстве, в лагерях, где он пробыл восемь лет, эта мысль ни разу не приходила ему в голову: “Каждый день был днем борьбы за жизнь; как же, ведя такой бой, думать об отказе от жизни? И была цель — выйти невредимым из испытаний, и жила надежда: в полноте сил встретиться с любимыми людьми”¹⁵.

Историк Кэтрин Мерридейл выдвинула другую теорию. В ходе своих исследований она встретила с двумя московскими психологами, изучавшими систему лагерей или работавшими в ней. Подобно Надежде Мандельштам и Гнедину, они утверждали, что самоубийства и душевные заболевания были в лагерях редкостью. Когда она привела данные, говорившие об обратном, “они были удивлены и немного обижены”. Это диковинное упрямство она объясняет российским “мифом стоицизма”, но, возможно, оно имеет и другие причины¹⁶. Как предполагает литературный критик Цветан Тодоров, мемуаристы потому пишут о странном отсутствии самоубийств, что хотят подчеркнуть уникальность пережитого: лагеря были настолько ужасны, что никто не думал о таком “нормальном” решении, как са-

моубийство. “Выживший прежде всего стремится передать чуждость лагерей всему привычному”, — утверждает Тодоров¹⁷.

На самом же деле рассказов о самоубийствах сохранилось очень много, и о них вспоминает немало мемуаристов. Один из них пишет о самоубийстве красивого юноши, которого блатные поставили на кон в карточной игре¹⁸. Другой — о самоубийстве молодого советского немца, оставившего письмо к Сталину: “Моя смерть — это сознательный акт моего протеста против насилия и беззакония, чинимого над нами, советскими немцами, органами НКВД”¹⁹. М. Миндлин, переживший Колыму, вспоминает, что в 1939–1940 годах было много случаев, когда люди “переходили запретные зоны, намеренно подставляя себя под пули конвоиров”²⁰.

Евгения Гинзбург, видевшая, как перерезали веревку, на которой повесилась ее лагерная подруга Полина Мельникова, с огромным уважением написала о ней: “Нет, уж если кто тут бывший человек, так не она, утвердившая свое право человека таким поступком, распорядившаяся собой по-хозяйски. Это я, я бывший человек. Я, которая, вместо того чтобы рыдать над ее трупом, выкрикивая проклятия палачам, пишу на краешке стеллажа «Акт о смерти»”²¹. Тодоров пишет, что многие узники ГУЛАГа и нацистских концлагерей видели в самоубийстве возможность проявить свою свободную волю: “Самоубийством человек пусть последний раз в жизни, но меняет ход событий вместо того, чтобы просто реагировать на них. Такое самоубийство — акт вызова, а не отчаяния”²².

Лагерному начальству было безразлично, как именно ээк умирал. Обычно его заботило другое — как скрыть или хотя бы затушевать высокую смертность: начальников лагпунктов, где умирали слишком много, иногда наказывали. Хотя строгость применяли выборочно и некоторые считали, что чем больше ээков умрет, тем лучше, начальников иных самых гиблых лагерей порой снимали с работы²³. Вот почему, как пишут некоторые бывшие лагерники, врачи прятали трупы от инспекторов, и вот почему умирающих часто осуждали досрочно — чтобы не портили статистику²⁴.

Даже когда смерть фиксировалась, это не всегда делалось честно. Теми или иными способами начальство заставляло врачей указывать как причину смерти не голод, а что-либо иное. Так, хирургу Исааку Фогельфангеру было прямо приказано независимо от подлинной причины смерти писать “сердечная недостаточность”²⁵. Порой, правда, такое имело неожиданные последствия: в одном лагере оказалось столько “сердечных приступов”, что инспекторы заподозрили неладное. Прокуратура заставила врачей эксгумировать и обследовать трупы. Выяснилось, что люди умерли от пеллагры²⁶. Не всегда подобный хаос создавался намеренно: в другом лагере документы были в таком беспорядке, что проверяющий жаловался: “2-й

отдел давал справки о заключенных, что такой-то умер, в то время как разыскиваемый был жив, или заключенный объявлялся в бегах, а в действительности заключенный находился в лагере и т. д.”²⁷.

От заключенных часто нарочно скрывали случаи смерти. Конечно, сделать вид, что никто не умирает, было невозможно: один бывший заключенный вспоминал, что трупы лежали штабелем у забора до самой весны²⁸, — но масштабы уничтожения людей старались завуалировать. Во многих лагерях трупы вывозили ночью и хоронили в секретных местах. Лишь случайно Эдуард Бука, которого заставили задержаться на работе, чтобы выполнить норму, увидел, что происходит с трупами в Воркуте:

“Их складывали, как бревна, под навесом, пока не набиралось достаточно для массового захоронения на лагерном кладбище. Тогда их голыми грузили на сани головами наружу. К большому пальцу правой ноги каждого трупа привязывалась деревянная бирка с фамилией и номером. Прежде чем сани выезжали из лагерных ворот, надзиратель для верности разбивал каждую голову киркой. За зоной тела сваливали в одну из нескольких вырытых летом траншей. Смертность росла, и с какого-то момента приобретать уверенность в том, что человек действительно умер, стали иначе. Теперь уже не разбивали голову, а протыкали туловище шомполом. Это было легче, чем махать киркой”²⁹.

Помимо прочего, массовые захоронения совершались втайне потому, что формально они были запрещены. Это не значит, что они были редкостью. Следы массовых захоронений обнаруживаются сейчас на местах бывших лагерей по всей России, и порой тела даже становятся видны: вечная мерзлота не только сохраняет их в неразложившемся виде, но и перемещает в соответствии с годичной сменой тепла и холода. Об этом пишет Варлам Шаламов: “Камень, Север сопротивлялись всеми силами этой работе человека, не пуская мертвецов в свои недра. <...> Раскрылась земля, показывая свои подземные кладовые, ибо в подземных кладовых Колымы не только золото, не только олово, не только вольфрам, не только уран, но и нетленные человеческие тела”³⁰.

Однако так хоронить ээков не полагалось: в 1946 году начальство ГУЛАГа разослало по лагерям директиву, согласно которой заключенных надо было хоронить по отдельности, в гробах и белье, в могилах глубиной не менее полутора метров. “На могиле заключенного устанавливается дощечка с присвоенным ей порядковым номером”. Данные о том, кто где похоронен, должны были содержаться только в специальной книге, хранящейся в учетно-распределительной части лагподразделения³¹.

На бумаге это выглядит более или менее цивилизованно. Но другая директива предписывала лагерному начальству извлекать изо

рта у трупов золотые зубные протезы. Эта процедура должна была проходить под надзором комиссии в составе представителей санитарной службы, лагерной администрации и финотдела. Золото затем должно было передаваться в ближайшее отделение госбанка. Можно предположить, однако, что такие комиссии собирались не очень часто. В лагерном мире, где было очень много трупов, тайком присвоить зубное золото не составляло большого труда³².

А трупов действительно было очень много. Вот что писал об ужасе лагерной смерти Герлинг-Грудзинский: “Смерть в лагере была страшна еще и своей безымянностью. Мы не знали, где хоронят покойников и составляют ли на них хоть коротенькое свидетельство о смерти. <...> Сознать, что никто никогда не узнает об их смерти и о том, где их схоронили, было для эков одной из наигорших психологических пыток. <...> На стенах барака появлялись выцарапанные по известке фамилии эков — те, кто останется в живых, должны будут дополнить фамилии мертвых крестиком и датой; каждый заключенный строго соблюдал регулярность переписки с семьей, чтобы внезапный перерыв мог дать приблизительное представление о том, когда он умер”³³.

Но, несмотря на усилия эков, великое множество смертей не оставило следа нигде — ни на земле, ни в памяти, ни в документах. Записи о смерти не делались, родные не извещались, деревянные бирки гнивали. Ныне поблизости от мест бывших северных лагерей порой попадаются на глаза признаки массовых захоронений полувековой давности: неровная земля, нестарая сосновая поросль, высокая трава. Иногда видишь памятник, установленный местными активистами, но чаще кладбище ничем не отмечено. Фамилии, биографии, родственные связи, история — все утрачено...

Глава 17

Стратегии выживания

*Я беден, одинок и наг,
Лишен огня.
Сиреневый полярный мрак
Вокруг меня. <...>*

*Я говорю мои стихи,
Я их кричу.
Деревья, голы и глухи,
Страшны чуть-чуть.*

*И только эхо с дальних гор
Звучит в ушах,
И полной грудью мне легко
Опять дышать.*

**Варлам Шаламов.
Несколько моих жизней**

И все-таки многие заключенные выживали. Выживали даже в наихудших лагерях, в тяжелейших условиях, в годы войны, в голодные годы, в годы массовых расстрелов. Мало того — некоторые сохраняли себя психологически, сохраняли настолько, что, вернувшись домой, могли жить более или менее нормальной жизнью. Януш Бардах стал пластическим хирургом в американском городе Айова-Сити. Исаак Фильштинский вернулся к занятиям восточными языками, Лев Разгон — к занятиям детской литературой, Анатолий Жигулин — к поэтическому творчеству. Евгения Гинзбург переехала в Москву и немало лет была душой кружка бывших лагерников, собиравшихся поужинать, выпить чаю и поспорить за ее кухонным столом.

Ада Пурыжинская, арестованная в юном возрасте, после освобождения вышла замуж и родила четверых детей, среди которых есть талантливые музыканты. С двоими из них я познакомилась за обильным и веселым семейным обедом, во время которого Пурыжинская потчевала меня разнообразной вкусной едой и была разочарована, когда я сказала, что больше съесть не в силах. Квартира Ирены Аргинской тоже полна веселья, немалая часть которого исходит от нее самой. Сейчас она способна шутить по поводу лагерной одежды, которую носила сорок лет назад: “Жаке́том это назвать трудно”. Ее словоохотливая взрослая дочь смеялась вместе с ней.

Достижения иных бывших лагерников были поистине выдающимися. Александр Солженицын стал известным во всем мире писателем. Генерал Горбатов командовал армией и участвовал во взя-

тии Берлина. Сергей Королев после Колымы и “шарашки” военных лет стал отцом советской космической программы. Густав Герлинг-Грудзинский после освобождения воевал в польской армии и благодаря своим книгам, написанным в Неаполе, стал одним из самых уважаемых в посткоммунистической Польше литераторов. Известие о его смерти в июле 2000-го поместили на первых страницах ведущие варшавские газеты, и его трудам — особенно лагерным мемуарам “Иной мир” — отдало дань почтения целое поколение польских интеллектуалов.

Способность выжить и оправиться от удара проявили и другие. Исаак Фогельфангер, который сам после ГУЛАГа стал профессором хирургии в Оттавском университете, писал: “Раны излечиваются, и человек способен вновь стать самим собой — может быть, даже стать чуть сильнее и человечнее, чем раньше...”¹.

Разумеется, не все истории выживания в ГУЛАГе имели такой хороший конец, и не всю истину можно узнать, читая лагерные мемуары. Те, кто не выжил, их не написали. Не написали их и те, кого лагерь подкосил душевно или физически. Как правило, не писали воспоминаний люди, уцелевшие благодаря поступкам, в которых стыдно признаться, а если и писали, то, порой, не всю правду. Крайне мало мемуаров оставили осведомители — точнее, те, кто готов был бы в этом признаться, — и люди, которые откровенно сообщили о том, что ценой их собственного выживания стала чья-то смерть или нанесенный кому-то вред.

Поэтому некоторые из выживших сомневаются в достоверности лагерных мемуаров. Пожилой и не слишком словоохотливый бывший лагерник Юрий Зорин, которого я интервьюировала в Архангельске, отмахнулся, когда я спросила его о философии выживания. Ничего такого не было, сказал он. При чтении лагерных мемуаров создается ошибочное, по его мнению, впечатление, что в лагерях “о чем только не говорили, не думали”. “Жизнь в лагере немножко проще, вся задача заключается в том, чтобы прожить один день, остаться в живых, не заболеть, поменьше работать, побольше получить. И поэтому там философских разговоров, как правило, не ведут. <...> Спасала молодость, спасало здоровье, спасала физическая сила, потому что там, по Дарвину, выживал сильнейший”².

Поэтому к вопросу о том, кто выживал и за счет чего, надо подходить очень осторожно. Тут нет возможности опереться на архивные документы, нет вполне объективных данных. У нас есть только слова тех, кто счел возможным рассказать о своем лагерном опыте в мемуарах или интервью. Любой из них мог иметь причины для того, чтобы скрыть некоторые факты своей биографии.

Несмотря на эту оговорку, в нескольких сотнях опубликованных или хранящихся в архивах лагерных мемуаров можно выявить

некоторые закономерности. Стратегии выживания существовали, и они были в то время хорошо известны, хотя и сильно варьировались в зависимости от обстоятельств. Выживание в исправительно-трудовой колонии на западе России в середине 30-х и даже в конце 40-х годов, когда работа шла в основном на фабриках или заводах и арестантов кормили пусть не вдоволь, но регулярно, не требовало, видимо, особой душевной адаптации. Но выживание в голодные военные годы в каком-либо из северных лагерей — на Колыме, в Воркуте, в Норильске — часто требовало огромного таланта и силы воли или же колоссальной подлости. В обоих случаях человек, останься он на свободе, возможно, понятия бы не имел, что способен на такое.

Несомненно, многие уцелели потому, что нашли способы выжить над прочими зэками, выделиться из голодающей массы. Нравственно разлагающее воздействие этого отчаянного соперничества отражено в десятках пословиц и поговорок, бывших в ходу в лагерях. “Умри ты сегодня, а я завтра” — одна из них. “Человек человеку волк” (так озаглавил свои мемуары Януш Бардах) — другая...

Многие бывшие зэки говорят о жестокой борьбе за выживание, многие, как Зорин, называют эту борьбу дарвиновской. “Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдержали”, — писал Шаламов³. “Всего три недели спустя большинство лагерников были сломленными людьми, которых интересовала только еда. Они вели себя как животные, ни к кому не питали теплых чувств, всех подозревали, во вчерашнем друге видели соперника в борьбе за выживание”, — писал Эдуард Бука⁴.

Участница дореволюционного социалистического движения Екатерина Олицкая пришла в ужас от аморальности лагерной жизни: если в тюрьме арестанты часто помогали друг другу, сильные поддерживали слабых, то в советском лагере каждая заключенная “жила сама по себе”, стараясь за счет других хоть немного возвыситься в лагерной иерархии⁵. Галина Усакова так говорила мне о переменах, которые сама в себе почувствовала: “Я была благополучной девочкой и достаточно воспитанной, из интеллигентной семьи. Но там с этими качествами не выживешь, там нужно было самоутверждаться обязательно. Если ты там где-то в чем-то уступил, проявил слабость, ты не выживешь. <...> Научившись приспособляться, ты же учишься и лжи, и лицемерию, это в разных формах проявляется”.

Герлинг-Грудзинский идет дальше и описывает, как прибывший в лагерь заключенный постепенно приучается “жить без сострадания”: “Сначала он будет делиться последним куском хлеба с зэками, дошедшими до границы голодного безумия, под руку водить с

работы больных куриной слепотой, звать на помощь, когда его товарищ на лесоповале отрубил себе два пальца на руке, украдкой заносить в “мертвецкую” помои от баланды и селедочные головки; через несколько недель он, однако, обнаружит, что делает все это не по бескорыстному движению сердца, но по эгоистическому велению разума — пытаюсь спасти в первую очередь себя и только потом других. Лагерь, со своими нравами и обычаями, со своей системой поддержания эзков чуть ниже нижней границы человечности, немало поможет ему в этом. Мог ли он предполагать, что можно унижить человека до такой степени, чтобы он возбуждал не сострадание, а отвращение даже у товарищей по несчастью? Как же жалеть курслепов, когда видишь, как их каждый день подталкивают прикладами, чтобы не задерживали возвращения в зону, а в зоне сами эзки, спешащие на кухню, нетерпеливо спихивают их с узкой лагерной дорожки; как навешать “мертвецкую”, погруженную в вечерние потемки и гнилостную вонь испражнений; как делиться хлебом с голодным, который завтра встретит тебя в бараке сумасшедшим, навязчивым взглядом? <...> Значит, прав был следователь, говоря, что железная метла советского правосудия сметает в лагеря один мусор, а человек, действительно достойный называться человеком, сумеет доказать, что в его отношении совершена ошибка”⁶.

О подобном говорят не только те, кто прошел советские лагеря. “Если людям, находящимся в рабстве, предлагают привилегии, — пишет Примо Леви, переживший Освенцим, — требуя взамен предательства в отношении товарищей, безусловно, найдутся такие, кто примет предложение”⁷. Бруно Беттельхайм, также писавший о немецких лагерях, замечает, что заключенные старшего возраста нередко “перенимали эсэсовские ценности и поведение”, в частности ненависть к более слабым и к тем, кто стоял ниже рангом, особенно к евреям⁸.

В советских лагерях, как и в нацистских, уголовники с большой готовностью брали на вооружение дегуманизирующую риторику начальства. Блатные называли политических фашистами и врагами народа. Особое отвращение вызывали у них доходяги из числа политических. Кароль Колонна-Чосновский, находясь в необычном положении единственного политического в сплошь уголовном лагпункте, наслушался высказываний блатарей о таких как он: “Много их слишком — вот в чем беда. Слабые, грязные, жрать жрут, а работать не могут. Чего начальство с ними цацкается?”. Один из блатных, пишет Колонна-Чосновский, сказал, что встретил в пересыльном лагере человека с Запада — ученого, университетского профессора. “Вижу — сидит и жрет гнилой тресковый хвост. Жрет взаправду! Ну, он у меня получил. Спрашиваю, что это он такое делает? Он мне: есть очень хочется. <...> Я ему так врезал, что он

тут же все выbleвал. Как вспомню, тошнить начинает. Я даже начальству на него показал, но старый козел на другое утро отдал концы. Поделом гаду!”⁹.

Другие эзки смотрели и учились. Варлам Шаламов пишет: “Молодой крестьянин, попавший в заключение, видит, что в этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. <...> Ему начинает казаться, что правда лагерной жизни у блатарей, что, только подражая им в своем поведении, он встанет на путь реального спасения своей жизни. <...>

Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями.

Аргумент спора — кулак, палка. Средство понуждения — приклад, зуботычина”¹⁰.

И все же не следует думать, что в лагерях нравственность не играла никакой роли, что доброта и великодушие не могли там существовать. Что любопытно, даже самые большие пессимисты из писавших о лагерях нередко противоречат себе в этом пункте. Например, Шаламов, который создал в своей прозе беспримерные картины лагерного зверства, писал: “Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее в лагере — это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку, арестанту, как я”¹¹. То есть Шаламов был исключением из своего собственного правила.

Большинство мемуаристов сходятся на том, что ГУЛАГ не был черно-белым миром, где четко проведена граница между хозяевами и рабами, где единственный способ выжить — жестокость. Заключенные, “вольняшки” и охрана составляли сложную социальную систему, которая, как мы видели, находилась в постоянном движении. Заключенные перемещались вверх и вниз в лагерной иерархии. Они могли изменить свое положение, сотрудничая с властями или бросая им вызов, умно лавируя, завязывая отношения с людьми. На жизнь лагерника влияло даже простое везение или невезение: если срок у него был большой, он нередко состоял как из “хороших” полос, когда у человека была не слишком трудная работа и возможность подкормиться, так и периодов тяжелых болезней и голода, когда он становился пациентом санчасти или одним из роющихся в отбросах доходяг.

Способы выживания были, можно сказать, встроены в систему. По большей части начальство не прилагало специальных усилий к тому, чтобы губить эзков; его заботило главным образом выполнение почти нереальных планов, спускаемых из Москвы. Поэтому начальство было очень даже не прочь награждать и поощрять арестан-

тов, полезных для производства. заключенные, разумеется, этим пользовались. Цели у них с начальством были разные: начальству нужны были золото и лес, зэкам — жизнь; но иногда для достижения этих разных целей они находили общие средства. Конкретные стратегии выживания, о которых идет речь ниже, лучше других подходили и начальству, и заключенным.

Туфта: видимость работы

Дать точное описание туфты не так-то просто. Приблизительно “туфта” означает “очковтирательство”, “обман начальства”, и подобная практика была неотъемлемой частью всей советской системы, так что нельзя говорить о туфте как о чем-то присущем одному ГУЛАГу¹². Более того, она была явлением не только советским. По словицу коммунистической эпохи: “Они делают вид, что нам платят, мы делаем вид, что работаем” можно было слышать в большинстве стран Варшавского договора.

Туфтой были проникнуты практически все стороны трудовой жизни: раздача заданий, организация работы, учет — и она затрагивала почти всех участников лагерной системы, от московских руководителей ГУЛАГа до рядовых стрелков ВОХР и самых забитых зэков. Так было в течение всего периода существования ГУЛАГа. Со времен Беломорканала среди лагерников гулял стишок:

Без туфты и аммонала
Не построили б канала¹³.

В последующие годы вопрос о том, как заключенные работали, насколько они были при этом честны и в какой мере старались уклониться от работы, живо обсуждался. Высказывались разные мнения. С 1962 года, когда публикация рассказа Солженицына “Один день Ивана Денисовича” положила начало более или менее открытым дискуссиям на лагерную тему, бывшие лагерники, публицисты и историки спорили между собой о лагерной трудовой морали. Немалая часть новаторского рассказа Солженицына посвящена мыслям героя о том, как бы работать поменьше. Он приходит в санчасть в надежде освободиться от работы по болезни; мечтает о том, как бы заболеть на две-три недели; наблюдает за тем, как бригадиры смотрят на лагерный термометр, — не отменят ли работу из-за мороза; с уважением думает об умном бригадире, который “не так на работу, как на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано — докажи, что сделано; за что дешево платят — оберни так, чтоб дороже”; ворует доски, чтобы растопить печку; ворует лишнюю порцию за обедом. “От работы лошади дохнут”, — рассуждает Иван Денисович.

После публикации рассказа некоторые бывшие лагерники оспаривали право Ивана Денисовича называться типичным зэком — оспаривали как по идеологическим, так и по личным причинам. С одной стороны, те, кто верил в советскую систему — и верил поэтому, что лагерный “труд” был полезен и необходим, — сочли “лень” Ивана Денисовича недопустимой. В ряде “альтернативных”, более “просоветских” публикаций о лагерной жизни в советской печати после “Ивана Денисовича” специально был сделан упор на самоотверженный труд тех, кто, несмотря на несправедливый арест, остался убежденным сторонником существующего строя. Советский писатель Борис Дьяков приводит рассказ инженера, работавшего на лагерной стройке под Пермью: “Временами так увлекался работой, что забывал, кто я теперь... Раз даже написал статью в областную газету “Звезда”. На участке у нас было до черта безобразий и с транспортом и с материалами. <...> Важно, что после статьи стало больше порядка...”¹⁴.

Те, кто управлял лагерями, придерживались еще более определенных взглядов. Одна бывшая сотрудница лагерной администрации, чью фамилию я не называю, сердито сказала мне, что все рассказы о тяжелой жизни заключенных — сушая неправда. Заключенные, если они работали, жили очень хорошо, заявила она. Они даже могли покупать себе в ларьке *сгущенное молоко* (курсив мой. — Э.Э.), которого обычные люди во время войны не видели. Но “как только заключенный отказывается работать, ему плохо”¹⁵. Такие взгляды редко высказывались публично, однако были исключения. Жена майора МВД Анна Захарова, чье письмо в газету “Известия” в 60-е годы циркулировало в советском самиздате, резко критиковала Солженицына. Захарова была возмущена “Иваном Денисовичем” “до глубины души”: “Понятно, что герой произведения Шухов с таким настроением к советским людям только и надеется на санчасть, чтобы как-то увильнуть от работы, от искупления своей вины перед Родиной. <...> Почему, собственно, человек должен увиливать от физического труда, пренебрегать им? Ведь у нас основа советского строя — труд, и только в труде человек познает настоящую свою силу”¹⁶.

Случалось, возражали и бывшие зэки, но по другим, не столь идеологическим причинам. В. К. Ясный, просидевший с 1938-го по 1943 год, пишет в мемуарах: “Мы старались работать на совесть. Не из-за страха лишиться пайки, попасть в ШИЗО. <...> Посильная работа, а таковой она была в нашей бригаде, помогала забыть, отогнать тревожные мысли”¹⁷. Майя Улановская, арестованная вслед за матерью, пишет, что мать добросовестной работой “хотела доказать, что евреи и интеллигенция умеют работать не хуже других”. (О себе она, однако, пишет: “Я работала, потому что застав-

ляли. <...> Боюсь, что честь еврейской нации я в этом пункте не поддержала”¹⁸.)

Те, кто долгие годы с энтузиазмом работал на советскую власть, нередко сохраняли этот энтузиазм и после ареста. Авиаконструктор Александр Борин, арестованный по политической статье, работал в лагере на заводе “Крекин”. В мемуарах он с гордостью рассказывает о своих инженерных достижениях, ради которых он трудился и в свободное время¹⁹. Алла Шистер, арестованная в 1937-м, сказала мне в интервью: “Я всегда работала, как будто я на воле. В чем моя особенность, я не могу плохо работать. Если надо копать, я буду копать до последнего, я выкопаю этот корень”. После двух лет на общих работах Шистер назначили начальницей отдела: “Они видели, что я работала не как работают заключенные, а что я работаю изо всех сил”. Подчиненные Шистер, по ее словам, всегда выполняли план, причем добивалась она этого без апелляции к их советскому патриотизму. Вот как она описывает один трудовой эпизод: “Я прихожу к рабочим в карьер, где они землю копали. Мне охрана говорит: “Мы вас проводим”. Я говорю: “Не надо меня провожать”, я одна иду, около двенадцати ночи было. Я прихожу, говорю: “Чтобы мне был выполнен план, кирпич нужен фронту”. Они мне: “Алла Борисовна, как это план по кирпичу, давай нам сейчас норму хлеба!” Я им: “Норма будет, если будет выполнен план”. — “Как мы тебя сейчас бросим в эту яму, закопаем, и тебя никто не найдет”. Я стою спокойно, говорю: “Не закопают. Я вам обещаю, если вы сегодня к двенадцати часам выполните норму, я вам даю махорку”. Махорка для рабочих там дороже золота, бриллиантов”. Махорку Шистер получала на правах начальницы, но сама не курила и берегла ее как раз для таких случаев²⁰.

Были, конечно, и такие, кто стремился добиться преимуществ, обещаемых за хорошую работу. Ударникам, перевыполнившим норму, полагалось лучшее питание. Владимир Петров, только его привезли в колымский лагерь, сразу увидел, что обитатели “стакановской палатки” сильно отличаются от дохода: “Они были несравнимо чище. Даже в тяжелейших лагерных условиях они каждый день мыли лицо. Если не было воды, обтирали снегом. И одеты они были приличней <...> У них было больше выдержки. Они не жались к печке, а сидели на нарах и делали что-нибудь или разговаривали. Даже снаружи их палатка выглядела иначе”.

Петров попросился в их бригаду: ее участникам давали килограмм хлеба в день. Но он не выдержал темпа работы, и из бригады его выгнали — слабакам в ней не было места²¹. Его случай не был исключительным. Герлинг-Грудзинский пишет: “...зачарованность нормой была не только привилегией вольных, которые ее установили, но и элементарным жизненным инстинктом рабов, которые ее

выполняли. В бригадах, работавших звеньями по три-четыре человека, ревностней всех на страже нормы стояли сами ээки: выработку рассчитывали тоже по звеньям, деля ее на число работающих. Так совершенно исчезало чувство каторжной солидарности, уступая место безумной погоне за процентами. Неквалифицированный ээк, оказавшись в сработавшемся звене, не мог рассчитывать ни на какую снисходительность; после недолгой борьбы ему приходилось отступить и перейти в звено, где нередко он же должен был надзирать за более слабыми. Во всем этом было что-то бесчеловечное, безжалостно рвущее единственную, казалось бы, естественно существующую между ээками связь — их солидарность перед лицом преследователей”²².

Но ударная работа иногда оказывалась палкой о двух концах. Лев Разгон пишет о крестьянах, которые губили себя, стремясь перевыполнять норму ради “большой пайки” — почти полутора килограммов хлеба. “Пусть сырого, плохо пропеченного, но настоящего хлеба! Для крестьянина, годами жившего впроголодь, такое количество хлеба — даже без приварка — казалось колоссальным”. Но даже это “колоссальное количество” не возмещало сил, которые тратились на лесоповале. Работник, пишет Разгон, был “обречен на неминуемую голодную смерть. Да, да, самую тривиальную голодную смерть при пайке полтора кило”²³. Что “в лагере губит не маленькая пайка, а большая”, говорит и Варлам Шаламов; Солженицын соглашается: “Пословица верна: большая пайка губит. Самый крепкий работяга за сезон выкатки леса доходит вчистую”²⁴.

Так или иначе, в подавляющем большинстве мемуаристы пишут об уклонении от работы (в определенной мере о том же говорят и архивные документы). В основе этого уклонения лежала не лень и даже не желание выразить презрение к советской власти. В его основе лежало стремление выжить. Плохо одетые, голодные, вынужденные работать в тяжелейших погодных условиях и на неисправной технике, ээки очень часто видели в уклонении от работы единственный шанс спастись.

Из неопубликованных записок Зинаиды Усовой, арестованной “за мужа” в 1938 году, хорошо видно, как заключенные приходили к такому выводу. Сначала Усова попала в Темлаг, где сидели многие жены партийных руководителей и военачальников. Режим в Темлаге был относительно мягким, работа — посильной, и женщины трудились с энтузиазмом. В большинстве своем они по-прежнему верили в советскую власть и считали свой арест частью некоей огромной ошибки; кроме того, они надеялись хорошей работой заслужить досрочное освобождение. Сама Усова “спать ложилась и вставала с мыслями о работе, придумывала свои рисунки. Один из них даже был принят в производство”.

Позднее, однако, Усову и некоторых других “жен врагов народа” перевели в Талажский лагерь, где содержались и уголовники. Работать пришлось на мебельной фабрике. Нормы выработки были очень жесткие. Система принуждения, пишет Усова, “делала людей рабами с рабской психологией”. Полную 700-граммовую пайку хлеба давали только тем, кто выполнял норму полностью. Нетрудоспособные получали всего 300 граммов, которых едва хватало, чтобы не умереть с голоду.

Со своей стороны, заключенные в этом лагере как могли старались “обмануть начальство, увильнуть от работы”. Женщины из Темлага со своим трудовым энтузиазмом в эту линию поведения не вписывались. “С точки зрения талажских старожилов мы были или дурочками, или чем-то вроде штрейкбрехеров. Нас сразу невзлюбили”²⁵. Вскоре, однако, новоприбывшие переняли у старожилов технику “увилвания от работы”. Так система творила туфту (а не туфта систему).

Порой заключенные изобретали оригинальные разновидности туфты. Одна полька, работавшая на колымской рыбоконсервной фабрике, отметила, что завышенные нормы можно было выполнять только за счет обмана. Стахановцами становились просто-напросто “самые хитрые обманщики”, которые скрытно от начальства не докладывали в каждую банку сельди²⁶. Валерий Фрид получил “первый урок туфты” на строительстве лагерной бани. Ему объяснили, что, шпаклюя мхом щели между бревнами, можно “только слегка заткнуть щель, а излишек ровненько обрубить <...> Так я и стал делать, отгоняя от себя мысль: а что, если в этой бане <...> придется мыться самому, да еще зимой? Ведь мох подсохнет, и холодным ветром его выдует к чертям”²⁷.

Евгения Гинзбург рассказала в мемуарах, как, работая на лесоповале с напарницей Галей, научилась выполнять невыполнимую норму. Заметив, что одна заключенная, которая работала “без напарницы, пилой-одноручкой”, раз за разом выполняет норму, они спросили ее, как ей это удается. “Припертая нами к стене, она, быстренько озираясь, нет ли поблизости конвоя, объяснила нам технику дела:

— Кругом-то ведь штабеля. Ну, старые штабеля, напиленные прежними этапами. Полно ведь их тут и никто не считал, сколько...

— Ну и что же? Ведь сразу видно, что это старые, а не свежеспиленные...

— А что их, собственно, отличает? Только то, что срезы у них потемневшие. А если от каждого бревна отпилить маленький ломтик, то срез будет самый что ни на есть свеженький. А потом — переложить штабель на это же место, только комьями в другую сторону... Вот и норма...

Эта операция получила у нас в дальнейшем название “освежить бутерброды”. Она дала нам передышку. <...> Добавлю, что совесть нас нисколько не мучила”²⁸.

Томас Сговвио, который тоже работал на Колыме на лесоповале, попал в бригаду, некоторое время не делавшую ровно ничего: “За все эти январские дни мы с напарником Левиным, как и остальные в нашей бригаде, не свалили ни единого дерева. В лесу было много штабелей бревен. Мы выбирали один или два, счищали снег и садились у костра. Даже можно было не счищать, потому что ни разу за первый месяц ни бригадир, ни десятник не пришли проверить нашу выработку”²⁹.

Другие, для того чтобы справляться с непосильными требованиями, использовали личные отношения и связи. Один заключенный Каргопольлага заплатил другому, более опытному, куском сала, чтобы тот научил его валить лес. В результате он стал выполнять норму и даже мог отдохнуть час-полтора в конце смены³⁰. Другой лагерник, работавший на колымском золотом прииске, “по благу” получил относительно легкую работу — катить и опрокидывать вагонетку с песком³¹.

Но чаще туфта организовывалась на уровне бригады. Бригадир, в частности, имел возможность менять на бумаге выработку отдельных заключенных. Один бывший зэк пишет, что добрый бригадир раз за разом писал ему 60 процентов нормы, хотя вырабатывал он меньше³². Другой вспоминает, как бригадир добился от начальства уменьшения нормы и этим спас жизнь многих рабочих, которые до этого “мерли как мухи”³³. С другой стороны, Юрий Зорин, который сам был в лагере бригадиром, сказал мне, что бригадиру надо было брать и давать взятки — иначе не прожить. “Там свои, уголовные законы, которые, может быть, не всем понятны, кто живет за зоной”. Леонид Трус вспоминал, что в Норильске бригадир отдавал львиную долю общего денежного заработка физически крепким и инициативным работникам, которые “знают, где что есть”. Кое-что доставалось середнякам, а слабым, от которых бригадир хотел избавиться, он вообще ничего не платил. На “выработку” зэка влияли взятки и клановые связи.

С точки зрения зэка лучшими бригадами были те, где туфта достигала грандиозных масштабов. Работая в карьере на Северном Урале в конце 40-х, Леонид Финкельштейн попал в бригаду, бригадир которой выработал изошренную систему обмана. Утром рабочие спускались в карьер. Конвоиры оставались наверху и там весь день грелись у костров. Бригадир Иван поступал вот как: “Мы точно знали, какие участки на дне карьера видны сверху, а какие нет, и это нам помогало мошенничать. <...> На видимых участках мы усердно долбили каменную стену. Мы работали, и конвоиры слы-

шали стук — они и видели, и слышали нашу работу. Потом Иван, проходя вдоль ряда, <...> говорил: “Шаг влево” — и мы все делали один шаг влево. Конвой этого не замечал.

Мы делали шаг, потом еще шаг, потом еще, пока последний не оказывался в невидимой зоне — граница была проведена мелом по земле. Там, в невидимой зоне, мы один за другим садились на землю и отдыхали — только слегка стучали кайлом для звука. Потом Иван говорил: “Хватит! Шаг вправо” — и мы опять постепенно переходили в область видимости. Все начиналось снова. Ни один из нас не работал и половины смены”.

Другие заключенные рассказывали Финкельштейну про туфту в другом лагере при прокладке канала. Приемы были другие, но не менее хитроумные. “Главное — показать, что бригада выполнила норму”. Рабочие, копая землю, должны были оставлять нетронутым “земляной столбик, который показывал, насколько бригада углубилась за смену”. Нормы были очень тяжелые, но “там были мастера, настоящие мастера, которые ухитрялись удлинить столбик. В это трудно поверить, ведь он был из цельного куска грунта, так что, казалось бы, всякое жульничество сразу должно было стать заметным, и тем не менее они жульничали самым артистическим образом. И вся бригада получала стахановский паек”.

Такие таланты не всегда были необходимы. Леонид Трус, помимо прочего, работал на разгрузке вагонов: “То, что было на расстоянии 10 метров, пишется, что на расстоянии 300 метров, это совсем другие нормы, другие расценки”. “Туфта была постоянно, без этого вообще ничего бы не было. <...> Без этого просто лагерь не существует”, — рассказывал он о Норильске.

Туфта присутствовала и на более высоких уровнях лагерной иерархии. Сложные переговоры шли между бригадами и нормировщиками, которые, как и бригадиры, были сильно подвержены фаворитизму и взяточничеству. Многие зависело и от их прихотей. Ольга Адамова-Слиозберг в 1939-м на Колыме была бригадиром женской бригады землекопов. Под ее началом работали горожанки, политические, ослабленные долгим тюремным заключением. На третий день выяснилось, что бригада дает 3 процента нормы. Адамова-Слиозберг попросила более легкую работу и сказала, что в бригаде “культурные люди, бывшие члены партии”. Нормировщик нахмурился: “— Ах, бывшие члены партии? Вот если бы вы были проститутки, я дал бы вам мыть окошечки, и вы делали бы по три нормы. Когда эти члены партии в 1929 году раскулачивали меня, выгоняли из дома с шестью детьми, я им говорил: “Чем же дети-то виноваты?” Они мне отвечали: “Таков советский закон”. Так вот, соблюдайте советский закон, выбрасывайте по 9 кубометров грунта!”³⁴.

Нормировщики знали, что в некоторых случаях рабочую силу надо беречь — например, когда вышестоящее начальство недовольно высокой смертностью в лагере или когда лагерь находится на Дальнем Севере и поэтому получает пополнение только раз в сезон. В таких обстоятельствах они могли понижать норму или смотреть сквозь пальцы на ее невыполнение. Такая практика называлась в лагерях “натягиванием нормы” и была чрезвычайно широко распространена³⁵. Один заключенный, работавший на угольной шахте, вспоминал, как вольнонаемный главный инженер шахты помог бригадире “натянуть” невыполнимую норму — 5,5 тонны угля на человека в день³⁶.

На самых разных уровнях лагерной иерархии процветало взяточничество, которое распространялось по цепочке. Александр Клейн был в воркутинском лагере в первой половине 50-х. Зэкам тогда платили небольшие деньги, и в зоне работал ларек.

“Получая заработанные деньги (после всех вычетов их было немного), работяга давал “лапу” (взятку) бригадире. Это считалось обязательным: бригадир должен был давать “лапу” десятнику и нормировщикам, которые начисляли процент выполнения плана бригаде <...> Кроме того, десятники и бригадиры должны были давать “лапу” нарядчикам. Повара платили шеф-повару, рабочие бани — заведующему баней”.

В среднем, пишет Клейн, ему пришлось отдавать половину своей зарплаты. Отказ мог иметь самые тяжелые последствия. Тем, кто не платил, писали низкую выработку, и они получали урезанный паек. Бригадирам, не желавшим платить, порой приходилось еще хуже. Одному такому, пишет Клейн, размозжили голову камнем, когда он отдыхал на нарах после смены. Соседи даже не проснулись³⁷.

На всех уровнях лагерной жизни туфта воздействовала на учет и бухгалтерию. Лагерные начальники, учетчики и бухгалтеры очень часто мухлевали с цифрами — это видно из десятков сообщений о хищениях, сохранившихся в документах органов прокурорского надзора. Всякий, кто имел возможность, присваивал продукты, деньги и прочее. В 1942 году сестру бывшего начальника железнодорожного отдела Джекказганского комбината обвинили в том, что она в магазине комбината “незаконно приобрела много продуктов, которые повезет в Караганду, занимается спекуляцией”. В 1941-м начальник и бухгалтер одного лагпункта, используя служебное положение, открыли фальшивый банковский счет, позволявший им присваивать лагерные средства. Начальник присвоил 25 000 рублей, бухгалтер 18 000 рублей — по тем временам это были очень большие суммы. Но частенько крали и по мелочи: в большой папке документов прокуратуры за 1942–1944 годы, относящихся к

Сиблагу, содержится, помимо прочего, обширная и резкая переписка по поводу предполагаемого хищения одним лагерным прокурором двух железных мисок, одного эмалированного чайника, одного одеяла, одного матраса, двух простынь, двух подушек и двух наволочек³⁸.

Где воровство, там, разумеется, и приписки. Туфта, начинавшаяся на бригадном уровне, суммировалась на уровне лагпункта, и когда бухгалтерия крупного лагеря выдавала общие цифры выработки, эти цифры были очень далеки от действительности. Они, как мы увидим, давали весьма превратное представление о производительности лагерного труда, которая, судя по всему, была чрезвычайно низкой.

Учитывая размах обмана и очковтирательства, трудно понять, какую достоверную информацию можно извлечь из архивных данных о гулаговском производстве. По этой причине меня неизменно приводили в замешательство подробнейшие годовичные отчеты ГУЛАГа, например, тот, что был представлен в марте 1940 года. В этом поразительном документе, занимающем 124 страницы, приведены данные о производстве десятков лагерей, тщательно рассортированных по профилю: лесозаготовительные, горнодобывающие, лагеря при заводах и фабриках, сельхозлагеря. Приложены подробные таблицы, содержащие многообразные цифры. В заключение сказано, что годовой объем гулаговского производства составил 2659,5 миллиона рублей. Эта цифра, с учетом всех обстоятельств, представляется совершенно бессмысленной³⁹.

Придурки:

сотрудничество и пособничество

Туфта не была единственным способом, каким выживали заключенные, зажатые между невыполнимыми нормами и голодными пайками. И она не была единственным средством, каким начальство пыталось достичь недостижимых производственных показателей. Были и другие возможности склонять заключенных к сотрудничеству. О них чрезвычайно ярко пишет Исаак Фильштинский в первой главе своих мемуаров “Мы шагаем под конвоем”.

Фильштинский вспоминает, как в один из своих первых дней в Каргопольлаге (Архангельская область) он, новичок, встретил другую новенькую — молодую женщину. Она была в составе небольшой группы женщин, временно присоединенной к его бригаде. Уловив ее “робкий, испуганный взгляд”, он приблизился к ней и спросил: “Недавно с воли?” “Вчера этапом из тюрьмы”, — ответила она. Они разговорились, и она рассказала ему “свою по тем време-

нам достаточно банальную историю”. Художница, двадцать шесть лет, замужем, мать трехлетнего ребенка. “Сидит потому, что что-то сказала подруге-художнице, а та донесла “куда надо””. Поскольку ее отец был арестован в 1937-м, ей, дочери “врага народа”, легко было пришить “террористические намерения”.

Пока они шли на работу, женщина, по-прежнему испуганно оглядываясь, держала его под руку. Это было запрещено, но, к счастью, конвой не обратил внимания. В рабочей зоне женщин отделили от мужчин, но на обратном пути молодая художница опять нашла Фильштинского. В последующие полторы недели они каждый день ходили на работу и с работы вместе. Она говорила о своей тоске по дому, о муже, который подал на развод, о ребенке, про которого она ничего не знает. Потом всех женщин перевели в другие подразделения лагеря, и Фильштинский “напрочь забыл о своей спутнице”.

Прошло три года. Стоял “летний, относительно для Севера жаркий день”, когда Фильштинский вновь увидел бывшую художницу. На сей раз она “была одета в новенькую телогрейку, аккуратно подогнанную по росту и фигуре, с щегольским воротничком, на голове у нее вместо традиционного лагерного, сшитого из портяночного материала капора был берет, а на ногах вместо лагерных ботинок туфли”. Она “растолстела, лицо приняло грубое и даже вульгарное выражение”. Говорила она на грубом и похабном блатном жаргоне, что свидетельствовало о “прочной и длительной связи женщины с уголовным лагерным миром”. Увидев Фильштинского, она “сразу замолкла, и сквозь белила и румяна проступили красные пятна”. Потом она “быстро зашагала, почти побежала прочь от колонны”.

Когда Фильштинский встретил ее в третий и последний раз, она была одета, как ему показалось, “по последней столичной моде”. Она восседала за большим начальственным столом и больше не была заключенной. Она была женой майора Л., одного из лагерных начальников, известного своей жестокостью. С Фильштинским она говорила спокойно и свысока, не испытывая больше никакого смущения. Метаморфоза стала полной: из заключенной она превратилась в пособницу администрации, а потом и в начальницу. Сначала она усвоила язык блатного мира, затем его одежду и поведение. Идя по этому пути, она наконец достигла привилегированного положения в лагерном руководстве. Фильштинский понял, что говорить с ней не о чем, но, выходя из комнаты, обернулся. Их глаза встретились, и на мгновение он поймал ее взгляд, полный “безграничной тоски”. Ему даже показалось, что в ее глазах блеснули слезы⁴⁰.

Рассказ Фильштинского об этой женской судьбе вряд ли может удивить читателя, знакомого с другими лагерными системами. Не-

мецкий социолог Вольфганг Софски писал о нацистских лагерях, что в них “абсолютная власть — это структура, а не обладание”. Он имеет в виду, что власть в этих лагерях не сводилась к тому, что некие лица контролировали жизни других лиц. “Превращая некоторое число жертв в своих пособников, режим размывал границу между администрацией и заключенными”⁴¹. Хотя жестокость ГУЛАГа была иначе организована и иначе проявлялась, в указанном отношении нацистские и советские лагеря были схожи: советский режим тоже превращал некоторых заключенных в коллаборационистов, пособников репрессивной системы, возвышая их над другими, давая им привилегии, делая их орудиями своей власти. Не случайно Фильштинский делает акцент на меняющемся от раза к разу “гардеробе” своей знакомой: в лагерях, где все и всегда было в дефиците, даже небольшие улучшения в одежде, питании или условиях жизни были достаточным стимулом для пособничества, для стремления иных заключенных выделиться, уйти с общих работ. Те, кому это удавалось, назывались на лагерном жаргоне придурками. Жизнь зэка, ставшего придурком, улучшалась во множестве мелочей.

Солженицын, который много пишет о придурках в “Архипелаге ГУЛАГ”, отмечает их тягу к получению вроде бы небольших, но очень ощутимых привилегий: “По обычной кастовой ограниченности человеческого рода, придуркам очень скоро становится неудобным спать с простыми работягами в одном бараке, на общей вагонке, и вообще даже на вагонке, а не на кровати, есть за одним столом, раздеваться в одной бане, надевать то белье, в котором потел и которое изорвал работяга”.

Оговариваясь, что “всякая житейская классификация не имеет резких границ”, Солженицын старается как можно точнее описать иерархию придурков. На низшей ступени, пишет он, стоят “конструкторы, технологи, геодезисты, мотористы, дежурные по механизмам”, несколько выше их — “инженеры, техники, прорабы, десятники, мастера цехов, плановики, нормировщики, и еще бухгалтеры, секретарши, машинистки”. Все это — “производственные придурки”. Обычно они, как и все, утром “строятся на развод, идут в конвоируемой колонне”. Но труд “не требует от них физических испытаний, не изнуряет их”.

Более привилегированное положение занимали “зонные придурки”, не выходявшие из жилой зоны. Солженицын пишет: “Рабочему хоздвора уже живется значительно легче, чем работяге общему: ему не становится на развод, значит можно позже подниматься и завтракать; у него нет проходки под конвоем до рабочего места и назад, меньше строгости, меньше холода, меньше тратить силы; к тому ж и кончается его рабочий день раньше; его работы или в тепле,

или обогревалка ему всегда доступна. <...> “Портной” звучит и значит в лагере примерно то же, что на воле — «доцент»”⁴².

Зонным придуркам “низшего класса” приходилось работать руками, “и иногда немало”. В их числе — “прачка, санитарка, судомойка, кочегар и рабочие бани, кубовщик, простые пекари, дневальные барачков”, а также рабочие лагерного хоздвора — слесари, столяры, печники. Выше — “истые зонные придурки”, не занимающиеся физической работой: повара, хлеборезы, врачи, фельдшеры, парикмахеры, коменданты, нарядчики, бухгалтеры, инженеры зоны и хоздвора и т. д. В некоторых лагерях была даже такая должность, как дегустатор⁴³. Эти придурки, пишет Солженицын, “не только сыты, не только ходят в чистом, не только избавлены от подъема тяжестей и ломоты в спине, но имеют большую власть над тем, что нужно человеку, и, значит, власть над людьми”⁴⁴. Они могли решать, какой работой будет заниматься тот или иной обычный зэк, сколько еды и какое медицинское обслуживание будет получать, а значит, в конечном счете, жить ему или умирать.

В отличие от привилегированных заключенных в нацистских лагерях, придурки ГУЛАГа не принадлежали к какой-либо определенной этнической категории. Теоретически подняться до положения придурка и даже стать охранником мог кто угодно (люди нередко переходили из придурков в охранники и наоборот). Хотя в принципе любой обычный зэк мог стать придурком и любой придурок мог перейти в положение обычного зэка, эти переходы подчинялись сложным правилам.

Правила различались от лагеря к лагерю и от периода к периоду, но некоторые принципы соблюдались более или менее постоянно. Что самое главное, в придурки гораздо легче было попадать “социально близким” уголовникам, чем “социально опасным” политическим. Согласно извращенным “нравственным” представлениям ГУЛАГа, “социально близкие”, в том числе не только профессиональные воры и убийцы, но и “бытовики”, легче, чем политические, могли превратиться в добропорядочных советских граждан и поэтому больше заслуживали “придурочных” должностей. И в некоторых отношениях уголовники, которые только рады были проявить жестокость, оказывались идеальными придурками. “Везде и всегда, — с горечью писал один бывший политический, — эти заключенные пользовались почти безграничным доверием тюремного или лагерного начальства и назначались на такие выгодные должности, как работа в конторе, ларьке, столовой, бане, парикмахерской и т. д.”⁴⁵. Как я уже писала, это в наибольшей степени относится к концу 30-х и годам войны, когда в советских лагерях верховодили уголовники. Но и позднее (Фильштинский пишет о кон-

це 40-х) “культура” придурков была мало отличима от “культуры” блатных.

Но придурки из блатных тоже создавали трудности для лагерного начальства. Они не были “врагами народа”, но у них не было никакого образования, нередко они даже были неграмотны и не желали учиться. Даже если в лагере открывали школы ликвидации неграмотности, блатари, как правило, всячески отлынивали от занятий⁴⁶. Это, пишет Лев Разгон, не оставляло лагерному начальству иного выбора, кроме как использовать политически: “под давлением неумолимого, не знающего никаких отговорок плана самые усердные, ненавидящие “контриков” вертухайские начальники вынуждены были нарушить закон от 1930 года и ставить на работы, требующие специальных знаний, «пятьдесят восьмую»”⁴⁷.

С 1939 года, когда Берия, сменивший Ежова, поставил задачу сделать ГУЛАГ прибыльным, четких и ясных правил на этот счет никогда не было. В инструкции за август 1939-го о режиме содержания заключенных в ИТЛ, запрещавшей использование “политических” в аппарате Управления лагеря, были сделаны некоторые исключения. По специальности можно было использовать заключенных врачей, а также, в случае особой необходимости, людей, осужденных по “менее тяжким” пунктам 58-й статьи — пунктам 7, 10, 12 и 14, определявшим наказание, в частности, за “антисоветскую агитацию или пропаганду” (например, за политические анекдоты). А вот осужденных за “терроризм” или “измену Родине” полагалось использовать только на общих работах⁴⁸. Но с началом войны даже это правило перестали соблюдать. Сталин и Молотов разрешили Дальстрою ввиду чрезвычайных обстоятельств заключать индивидуальные соглашения на определенный срок с инженерами, техниками и административными работниками, отправленными на Колыму⁴⁹.

Тем не менее лагерному начальнику, у которого на ответственных должностях работало слишком много политических, могли “дать по шапке”, и некоторая неопределенность в этом вопросе сохранялась всегда. Поэтому, пишут Солженицын и Разгон, политическим порой давали “хорошую” работу в помещении (например, работу бухгалтера, учетчика), но — на временной основе. Раз в году, когда из Москвы приезжали проверяющие, всех “неблагонадежных” выгоняли на общие работы.

На практике правила зачастую оказывались просто бессмысленными. В Каргопольлаге Фильштинского как политического не приняли на курсы бракеров, но разрешили ходить на занятия и сдать экзамен, после чего он смог-таки устроиться бракером на лесобиржу⁵⁰. В послевоенные годы, когда на лагерную жизнь начали оказывать влияние сильные национальные группы, на смену власти уго-

ловников нередко приходило верховенство лучше организованных национальных землячеств, чаще всего украинских и прибалтийских. Те, кто попадал на хорошие должности (бригадира, десятника, нормировщика), всячески старались, и небезуспешно, помогать своим — вытаскивать их с общих работ, делать придурками.

Однако заключенные не могли в полной мере распорядиться распределением “придурочных” должностей. Последнее слово всегда оставалось за лагерным начальством, и оно, как правило, было склонно устраивать на лучшие места тех, кто был в наибольшей степени готов к пособничеству, а именно, готов стать осведомителем, стукачом. Сколько таких стукачей использовала система, увы, сказать невозможно. В российских архивах документы третьих (оперативно-чекистских) лагерных отделов, ведавших набором осведомителей, остались, в отличие от документов ряда других подразделений, закрытыми. Российский историк Виктор Бердинских в книге о Вятлаге приводит некоторые цифры, не называя источника: “Уже в 20-е годы руководство ОГПУ ставило задачу иметь среди з/к в лагерях не менее 25 процентов доносчиков. В 1930–1940-е годы плановая цифра уменьшилась до 10 процентов”. Но и Бердинских признает, что “об успехах и неудачах в этом деле рассказывать сложно, так как оперчекистские отделы, где сосредоточены списки стукачей, <...> закрыты намертво”⁵¹.

В мемуарах бывших лагерников практически нет признаний в доносах, хотя некоторые пишут о том, что их вербовали. Безусловно, тот, кто был осведомителем в тюрьме (или даже до ареста), прибывал в лагерь с отметкой в личном деле о склонности к такого рода сотрудничеству. С другими, судя по всему, проводили беседу на эту тему вскоре после их прибытия в лагерь, пока они еще не успевали оправиться после первого смятения и испуга. Леонид Трус был вызван к “куму” (оперуполномоченному, ведавшему набором осведомителей) на второй день пребывания в лагере. Он отказался стать стукачом, и в отместку его очень долго держали на общих работах. Бердинских приводит цитаты на эту тему из интервью, взятых им у бывших заключенных, и переписки с ними:

“С первого дня пребывания в зоне этапников по вечерам стали вызывать к “куму” (оперуполномоченному 1-го отдела Вятлага). Вызвал “кум” и меня. Ласковый, склизкий, обтекаемый. Играл на том, что автоавария, за которую я осужден (10 лет ИТК и 3 года поражения в правах), не является позорной (это не разбой, убийство и прочее), он предложил мне стукачество, фискальство. Я вежливо отказался и не подписал предложение «кума»”.

“Кум” обматерил его, но в штрафной изолятор отправлять не стал. В бараке, к удивлению заключенного, его “никто не тронул пальцем, хотя некоторых били смертным боем. Дело в том, что под

кабинет “кума” был сделан подкоп и шестерка воровская дословно слышал разговоры “кума” с з/к и подробно передавал их содержание ворам”⁵².

Возможно, самым знаменитым исключением из почти всеобщего правила — не признаваться в согласии стать осведомителем — стал Александр Солженицын, который подробно описывает свои отношения с лагерным начальством. То, что он дал слабину, он объясняет началом срока и резкой потерей привычного положения армейского офицера, которое он называет незаслуженно высоким. Солженицына пригласили в кабинет оперуполномоченного: это была “маленькая, уютно обставленная комната” с радиоприемником, из которого лилась приятная классическая музыка. Вежливо поинтересовавшись, как Солженицын привыкает к лагерю, кум спросил: “Остаетесь вы советским человеком? Или нет?”. Помявшись, Солженицын согласился: “Я-то себя... д-да... советский...”.

Но, хотя он “сам подставил себя под вечный шах, объявившись советским человеком”, Солженицын вначале отказался стать доносчиком. Тогда оперуполномоченный изменил тактику. Он выключил радио и заговорил более жестко. В какой-то момент упомянул о блатных, о которых, он знал, Солженицын высказывался резко. Кто-нибудь из этих самых блатных, бежав из лагеря, может напасть в Москве на его одинокую жену! В результате Солженицын согласился сообщать оперуполномоченному о готовящихся побегах. Он подписал соответствующее обязательство и получил псевдоним для письменных сообщений: Ветров. “Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами”⁵³.

Солженицын, по его словам, ни разу не написал доноса. Когда в 1956-м его опять стали вербовать, он отказался что-либо подписывать. Так или иначе, после того, первого разговора он продолжал, пока его не перевели в другое место, работать на придурочной должности, жить в комнате придурков, немножко лучше одеваться и немножко лучше питаться, чем обычные зэки. Спустя много лет Солженицын назвал свое поведение мелким и ничтожным. Лагерный опыт внушил ему неприязнь ко всем придуркам.

Написанное Солженицыным о лагерных придурках неизменно — со времен первой публикации и по сей день — вызывало споры. С его суждениями о придурках, как и с его представлениями об отношении зэков к труду, далеко не всегда соглашались бывшие лагерники и историки ГУЛАГа. Ведь практически все авторы классических, наиболее широко читаемых лагерных мемуаров — Евгения Гинзбург, Лев Разгон, Варлам Шаламов и сам Солженицын — в тот или иной период были придурками. Вполне возможно, правы те, кто утверждает, что подавляющее большинство из всех бывших зэков, от-

сидевших большой срок, выжили благодаря тому, что на том или ином этапе лагерной жизни были придурками. Один бывший заключенный рассказал мне о встрече старых лагерных друзей. Люди предавались воспоминаниям, смеялись над лагерными байками, и вдруг, один из них, обведя глазами комнату, понял, что их свело, что позволило им смеяться над прошлым, а не плакать: “Да мы все тут бывшие придурки!”

Несомненно, многие уцелели благодаря тому, что смогли получить “придурочную” работу в помещении и избежать тем самым общих работ с их ужасами. Но всегда ли это означало активное пособничество лагерному начальству? Солженицын считает, что всегда. Даже тех придурков, которые не были стукачами, можно, утверждает он, назвать коллаборационистами: “Какой придурочный пост не связан с угождением высшим и с участием в общей системе принуждения?”.

Иногда, объясняет Солженицын, это участие было косвенным, но все равно вредоносным. “Производственные придурки” — нормировщики, учетчики, инженеры — не убивали и не калечили людей непосредственно, но все они были участниками системы, губившей зэков непосильным трудом. То же самое относится и к “зонным придуркам”: машинистки печатали бесчеловечные приказы начальства, каждый хлебрез, взявший себе лишний кусок, тем самым обкрадывал работяг, надрывавшихся в лесу. “А кто же недовешивает Ивану Денисовичу хлеб? — пишет Солженицын. — Намочив водой, крадет его сахар? Кто не дает жирам, мясу и добрым крупам всыпаться в общий котел?”⁵⁴

Многие с ним соглашались. Одна бывшая заключенная пишет, что сознательно девять лет оставалась на общих работах, чтобы избежать сделок с совестью, с которыми сопряжена придурочная должность⁵⁵. Дмитрий Панин (который, как я уже писала, был знаком с Солженицыным в лагерях и стал прототипом одного из героев романа “В круге первом”) признается, что двухнедельную сытную работу в кухне “пережил как пригвождение к позорному столбу”. Он пишет: “...хуже всего было сознание, что ворует часть приварка заключенных. От самоутешительной мысли, что можно не миндальничать, раз тебя довели до такого состояния, легче не становилось. Поэтому я даже обрадовался, когда меня изгнали”⁵⁶.

Решительно возражал Солженицыну (как и многие другие вплоть до настоящего времени) Лев Разгон, который стал в 90-е годы почти таким же авторитетным автором, пишущим о ГУЛАГе. В лагере Разгон был нормировщиком — это одна из высших придурочных должностей. Разгон пишет, что для него, как и для многих, выбор между придурочной должностью и общими работами

был выбором между жизнью и смертью. Лесоповал, в особенности в военные годы, “был убийствен”. Его называли “сухим расстрелом”. Даже из привычных к тяжелому труду крестьян выживали лишь те, “кто умел точить инструмент и становился инструментальщиком, кого брали на привычные сельхозработы, где была возможность подкормиться краденой картошкой, редиской, любым овощем”⁵⁷.

Разгон не считает безнравственным поведение тех, кто выбрал жизнь, и отказывается ставить их на одну доску с теми, кто отправил их в лагерь. Он оспаривает мнение Солженицына о придурках как о людях продажных и утверждает, что многие из них как могли помогали другим заключенным: “Они могли подбирать себе помощников, назначать на “блатные” работы людей, и — что говорить! — делали они это в первую очередь по отношению к интеллигентам, специалистам, людям, умеющим что-то делать. И не потому, что Иваны Денисовичи, ходившие на лесоповал, были им безразличны и далеки, а потому, что невозможно было помочь тем, кто ничего, кроме физической работы, не мог делать. Но и среди них искали и находили людей самых экзотических специальностей: умевших гнуть дуги — их переводили на командировку, где изготавливались лыжи; умевших плести из лозы мебель — начальство любило обзаводиться плетеными креслами, стульями, диванами”⁵⁸.

Точно так же, как были хорошие и плохие охранники, пишет Разгон, были хорошие и плохие придурки: одни старались принести другим экам пользу, другие употребляли свои возможности во зло. И в конечном счете придурки не чувствовали себя в намного большей безопасности, чем те, кто стоял ниже них. Работа не ставила их на грань гибели, но они знали, что все может измениться. В любой момент по приказу какого-нибудь начальства их могли перевести в другой лагерь, на другую работу, туда, где их ждала иная, жестокая судьба.

Санчасть: больницы и врачи

Из многого, что было необычным в лагерной жизни, возможно, самое странное было одновременно самым естественным: лагерный врач. Он был в каждом лагпункте. Если квалифицированных врачей не хватало, в лагпункте имелся по крайней мере санитар или фельдшер (с медицинским образованием или без него). Как ангелы-хранители, медики ГУЛАГа порой выхватывали эков из ледяной пустыни и помещали их в чистые лагерные больницы, где они могли

подлечиться, подкормиться, отогреться и вернуться к жизни. Все прочие — надзиратели, конвоиры, бригадиры — постоянно говорили эзку: “Давай, давай!” Только врач не обязан был это делать. “Только врач, — писал Варлам Шаламов, — не посылает заключенного в белую зимнюю тьму, в заледенелый каменный забой на много часов повседневно”⁵⁹.

Иным лагерникам несколько слов, сказанные медиком, в буквальном смысле спасли жизнь. У Льва Копелева, охваченного лихорадкой, страшно изголодавшегося и исхудавшего, “доктор Нина” диагностировала пеллагру, гайморит, заболевание кишечника и сильную простуду. “Завтра как раз уходит этап в больницу”, — сказала она ему. Путешествие из лагпункта в центральную больницу лагеря было очень трудным. Из скудных пожитков Копелеву не разрешили взять почти ничего: велено было “сдать имущество лагпункта”. Сначала брели пешком, под ногами “клячье снега, жидкая, скользкая, вязкая грязь”. Потом вместе с другими больными и умирающими Копелева посадили в тесную теплушку. Дорога была настоящим адом. Но в больнице произошло чудесное преображение: “...я в блаженной полудреме сидел в белой теплой приемной на топчане, застланном чистой простыней. <...> Ларинголог дядя Боря, маленький, круглолицый, с седыми усиками, осмотрел очень внимательно. Я передал ему привет от доктора Нины. Он кивнул, улыбнулся, стал расспрашивать: кто, откуда.

— А вы в Москве такого критика Мотылеву знали?

— Тамару Лазаревну? Конечно!

— Это моя племянница.

<...> После короткого опроса он поглядел на термометр. — Ого, почти 40, Иоганн, кладите его сразу на койку, все барахло сдайте в прожарку и помойте его здесь, не тащите в баню, чтобы не простудить... <...>

Когда я очнулся, то увидел на табуретке у койки шесть больших кусков хлеба: три черных и три давно уже не виденных белых. То были больничные пайки за три дня, «пеллагрозные».

В больничный паек, кроме хлеба, входила “баланда из картошки, брюквы, моркови и кусок селедки”. Как дополнительное лечебное питание против пеллагры выдавали дрожжи и горчицу. Вскоре Копелев получил из дому посылку и деньги, на которые покупал картошку, молоко, махорку. Он был, казалось, приговорен к смерти, а теперь чувствовал, что спасен⁶⁰.

Такое происходило довольно часто. Евгения Гинзбург назвала больницу, где она работала на Колыме, раем⁶¹. “Мы чувствовали себя королями”, — пишет Томас Сговио о “бараке для выздоравливающих” в лагпункте Средникан, где он каждое утро получал “све-

жую сладкую булочку”⁶². Другие на много лет сохранили память об изумлении, в которое их привели чистые простыни, доброта санитарок, самоотверженность врачей, спасавших людям жизнь. Один бывший заключенный вспоминает о враче, который с риском для себя самовольно покинул лагерь, чтобы раздобыть необходимые медикаменты⁶³. Татьяна Окуневская написала о своем лагерном враче, что он “возвращает людей из смерти”⁶⁴. Вадим Александровский, который сам был лагерным врачом, пишет: “...врач и фельдшер в лагере — это если и не боги, то, во всяком случае, полубоги. Именно от них зависит освобождение от проклятой убийственной работы, именно они могут послать на месяц в ОП (оздоровительный пункт)...”⁶⁵.

Восемнадцатилетний венгр Янош Рожаш, попавший после войны в тот же лагерь, что и Александр Солженицын, написал книгу “Сестра Дуся”. Так звали лагерную медсестру, которая, он считал, спасла ему жизнь. Она не только сидела и разговаривала с ним в бараке доходя, убеждая его, что под ее присмотром он не умрет, но и обменяла свою собственную хлебную пайку на молоко для него, поскольку он мало что в состоянии был переварить. Он остался благодарным ей на всю жизнь: “Я представлял себе два любимых лица: далекое лицо родной матери и лицо сестры Дуси. Они были поразительно похожи. <...> Я утешал себя, что, если со временем я даже забуду лицо матери, представлю сестру Дусю и через нее увижу родную мать”⁶⁶.

Благодарность Рожаша к сестре Дусе переросла в любовь к русскому языку и русской культуре. Когда я спустя полвека после освобождения Рожаша познакомилась с ним в Будапеште, он говорил на элегантном, беглом русском, поддерживал связь с друзьями в России и с гордостью показал мне упоминания об истории своих злоключений в “Архипелаге ГУЛАГ” и в мемуарах жены Солженицына⁶⁷.

Многие, между тем, отмечают еще один парадокс. Когда заключенный с нетяжелой формой цинги работал в бригаде, его шатающиеся зубы и волдыри на ногах никого не интересовали. На его жалобы начальство отвечало в лучшем случае презрением и насмешками. Сделавшись доходягой, он становился предметом злых шуток и издевательств. Но когда у него сильно поднималась температура или симптомы болезни принимали критический характер — иными словами, когда он уже “проходил” как больной, — этому самому умирающему немедленно давали “противоцинготный” или “пеллагрозный” паек и предоставляли всю доступную в ГУЛАГе медицинскую помощь.

Этот парадокс был неотъемлемым элементом лагерной системы. С самого ее зарождения с больными заключенными обращались

иначе, чем со здоровыми. Уже в январе 1931 года для тех, кто не мог больше заниматься тяжелой физической работой, создавались инвалидные бригады⁶⁸. Позднее возникли инвалидные бараки и даже инвалидные лагпункты. В 1933 году в Дмитлаге было приказано создать “сангородки” на 3600 заключенных⁶⁹. В официальных документах ГУЛАГа были аккуратно расписаны добавки к пайку для заключенных, находящихся на больничном лечении: кое-какие мясные продукты, натуральный чай (обычным з/к полагался суррогатный), лук (он помогал против цинги) и, неожиданно, стручковый перец и лавровый лист. Даже если на практике дополнительное питание сводилось к “чутьочке картофеля, или сухого зеленого горошка (наполовину сырого, чтобы сохранить витамины), или кислой капусты”, больничный паек был роскошью по сравнению с обычновенным⁷⁰.

Густава Герлинга-Грудзинского так поразил контраст между смертельной жесткостью лагеря и самоотверженным стремлением медицинских работников возвращать к жизни тех, чье здоровье лагерь добросовестно разрушал, что он сделал вывод: в России царит нечто вроде “культы больницы”.

“Было что-то невероятное в том, — пишет он, — что прямо за порогом, после выписки из больницы, зэк снова становился зэком, но, оставаясь лежать на больничной койке, он обладал всеми человеческими правами, за исключением свободы. Для человека, непривычного к контрастам советской жизни, больницы вырастали до масштаба храмов посреди безумств инквизиции”⁷¹.

Трудно было это понять и венгру Дердю Бину, которого отправили в неплохо оборудованную магаданскую больницу: “Я спрашивал себя, зачем они стараются меня спасти? Ведь, казалось бы, они хотят одного — моей мучительной смерти. Впрочем, с логикой я распрощался уже давно”⁷².

Московское начальство ГУЛАГа, несомненно, считало проблемы, создаваемые большим количеством нетрудоспособных заключенных, очень серьезными. Хотя существование в лагерях инвалидов отнюдь не было новостью, проблема обострилась после принятого Сталиным и Берией в 1939 году решения отменить для них условно-досрочное освобождение. Вдруг оказалось, что от больных уже не так просто избавляться. Если не что другое, то это заставило начальство лагерей обратить внимание на больницы. Один проверяющий точно подсчитал рабочее время, потерянное в лагере из-за болезней: “С октября месяца 1940 г. по 1-ю половину марта 1941 г. было 3472 случая обмороживания заключенных, в силу чего было потеряно рабочих трудодней — 42 334 дня. Доведены до слабосилия заключенные в количестве 2400 чел.”. Другой прокурор доложил, что в том же году из 2398 заключенных в ИТЛ Крыма 860 были лишь

ограниченно годными к работе, а 273 — полностью нетрудоспособными. Некоторые лежачие больные находились в больнице, других из-за нехватки коек держали в тюремных камерах, что тяжелым бременем ложилось на всю систему⁷³.

Отношение к больным и к необходимости их лечить, как и ко всему прочему в ГУЛАГе, было сложным и двойственным. В некоторых лагерях особые инвалидные лагпункты, судя по всему, создавались главным образом для того, чтобы инвалиды не ухудшали производственные показатели. Многих “слабосильных” отправляли из лесных, строительных и промышленных в сельскохозяйственные лагеря, например в Сиблаг, где в 1940–1941 годах из 63 000 заключенных было 9000 инвалидов и около 15 000 полуинвалидов — в общей сложности более трети⁷⁴.

Необходимость выполнять план ставила перед многими лагерными начальниками дилемму. С одной стороны, они искренне хотели лечить больных, чтобы те снова могли полноценно работать. С другой, они не хотели поощрять “лентяев”. На практике это зачастую означало, что лагерная администрация устанавливала лимиты, иногда очень четкие, на то, сколько заключенных могут одновременно числиться больными и сколько их может быть отправлено в оздоровительные лагпункты или “сангородки”⁷⁵. Иными словами, при любом количестве больных врачи могли освобождать от работы лишь определенный небольшой процент. Бывший лагерный врач В. Александровский вспоминает, что в его лагере каждый день на прием к врачу являлось тридцать-сорок человек, то есть около 10 процентов заключенных лагпункта. При этом “фактически освобождать более 3–5 процентов не полагалось. Дальше начинались разборки”⁷⁶.

Если больных было больше, им приходилось ждать. Типична история Терегулова — заключенного Устьвымлага, который несколько раз заявлял, что болен и не может работать. Согласно составленному позже прокуратурой официальному документу, “медицинские работники не обратили внимания на заявления Терегулова и он был послан на работу. Не будучи в состоянии работать, Терегулов отказался от работы, за что был водворен в штрафной изолятор, где содержался четыре дня, после чего был доставлен в тяжелом состоянии в стационар и там умер”. В другом лагере, говорится в том же документе, туберкулезного больного по фамилии Брус использовали на тяжелых работах. “Состояние здоровья Брус в момент проверки было настолько тяжелым, что после окончания работы он не мог следовать в зону лагерного подразделения без посторонней помощи”⁷⁷.

Жесткая квота на болезни означала, что врачи находились под страшным давлением противоборствующих сил. Если у них из-за не-

оказания медицинской помощи слишком много заключенных умирали, им грозили неприятности или даже лагерный срок⁷⁸. С другой стороны, на них воздействовала самая жестокая и агрессивная часть лагерной уголовной элиты, которой нужны были освобождения от работы. Если врач хотел давать отдых действительно больным пациентам, он должен был сопротивляться натиску блатных. Шаламов в одном из рассказов описывает судьбу молодого врача-арестанта Суrowого, направленного работать в медпункт прииска “Спокойный”, где было много уголовников: “Друзья отговаривали Суrowого — можно было отказаться, пойти на общие работы, но не ехать на явно опасную работу. Суrowый попал в больницу с общих работ — он боялся туда вернуться и согласился поехать на прииск работать по специальности. Начальство дало Суrowому инструкции, но не дало советов, как себя держать. Ему было запрещено категорически направлять с прииска здоровых воров. Через месяц он был убит прямо на приеме — пятьдесят две ножевые раны было сочтено на его теле”⁷⁹.

Кароль Колонна-Чосновский, приехав работать фельдшером в блатной лагпункт, был предупрежден, что его предшественника пациенты зарубили. В первую же ночь к нему пришел человек с топором, требуя освобождения от работы на день. Кароль, однако, проявил расторопность и вышвырнул его из фельдшерской хибарки. На следующий день он заключил сделку с Гришей, главарем всех блатных лагпункта: в дополнение к действительно больным Гриша ежедневно мог давать ему фамилии двух человек, которых надо было освободить от работы⁸⁰.

Сходный случай описывает Александр Долган. В один из первых дней его работы фельдшером к нему явился уголовник. Он заявил, что у него болит живот, и потребовал опиум. “Он жестом поманил меня к себе. “А ну-ка глянь!” — свирепо прошептал он и распахнул рубашку. Под рубашкой в правой руке он держал кривой нож, похожий на миниатюрный ятаган. «Мне нужен опиум, понял? Ко мне всегда тут хорошо относились. Вот что, новенький: либо я получу опиум, либо ты получишь вот этот нож»”. Долган сумел отделаться от него, дав ему фальшивую настойку опия. Другие, не столь смекалистые, порой надолго оказывались в руках у блатных⁸¹.

Заключенные, попадавшие все-таки в больницу, обнаруживали, что качество медицинской помощи может быть очень разным. В больших лагерях были нормальные больницы, укомплектованные соответствующим штатом и снабжаемые лекарствами. В центральной больнице Дальстроя, расположенной в Магадане, было новейшее оборудование и отличные врачи-заключенные, многие в прошлом московские специалисты. Хотя большинство ее пациентов

составляли сотрудники НКВД и лагерной администрации, квалифицированную помощь специалистов в Магадане или в другом месте получали и самые удачливые из больных заключенных. Леониду Финкельштейну даже разрешили побывать у зубного врача. Некоторые инвалидные лагпункты также были хорошо оборудованы и, судя по всему, действительно предназначены для того, чтобы возвращать пациентам здоровье. В один из таких попала Татьяна Окуневская. Ее обрадовали обширная территория и растущие за зоной деревья: “Я столько лет их не видела! И весна!”⁸².

В санчастях маленьких лагпунктов все было намного хуже. Как правило, врачам удавалось поддерживать лишь весьма относительный уровень стерильности и асептики⁸³. Больницы нередко представляли собой обычные бараки с койками, а иногда пациентов клали по двое на одну койку. Набор лекарств часто был минимальным. В результате прокурорской проверки одного маленького лагеря было установлено, что в нем нет особого больничного здания, пациентам не предоставляется постельное и нательное белье, нет лекарств, нет квалифицированного медперсонала. Поэтому смертность была чрезвычайно высока⁸⁴.

Воспоминания лагерников свидетельствуют о том же. Исаак Фогельфангер, который был главным хирургом лагерной больницы, пишет о небольшой санчасти одного из лагпунктов Севураллага, что “лечение и отчетность там никуда не годились”. Кроме того, “питание было совершенно недостаточным, и остро не хватало медикаментов. Больным с переломами и обширными повреждениями мягких тканей, подлежавшим хирургическому лечению, не оказывалось необходимой помощи. Редко, как я потом выяснил, пациентов выписывали в работоспособном состоянии. Попадая в больницу с выраженными симптомами истощения, люди в большинстве своем там умирали”⁸⁵.

Поляк Ежи Гликсман вспоминал, что в одном лагпункте заключенные фактически лежали на полу вповалку: “Все проходы были заполнены телами лежащих. Повсюду грязь, мерзость. Многие пациенты бредили, издавали бессвязные крики, другие лежали бледные, неподвижные”⁸⁶.

Еще хуже было в бараках для неизлечимо больных, которые можно было назвать (и называли) мертвецкими. В одном таком бараке для дизентерийных “пациенты лежали неделями. Кому сильно везло, выздоравливали. Но чаще умирали. Не было ни ухода, ни лекарств. <...> Чью-либо смерть пациенты обычно старались скрывать три-четыре дня, чтобы получать паек умершего”⁸⁷.

Бюрократические препоны усугубляли положение. В 1940 году по результатам проверки было отмечено, что в одном лагере не хватало коек для больных, и поскольку пациентам, не находящимся в

больнице, не полагалось больничного пайка, те, кому не досталось в ней места, получали урезанный паек “отказчиков”⁸⁸.

Хотя многие лагерные врачи всеми силами старались спасти человеческие жизни, от некоторых помощи было мало. Иные, находясь в привилегированном положении, больше думали, как угодить начальству, чем о “врагах народа”, которых они должны были лечить. Элинора Липпер вспоминала главного врача больницы на пятьсот пациентов: “Она вела себя как помещица царских времен. Весь персонал больницы она считала своими личными слугами. Как-то раз ухватила санитаря, допустившего оплошность, за волосы и дернула так, что он закричал от боли”⁸⁹. В другом лагере жена начальника, работавшая врачом в больнице, получила порицание от проверяющих за то, что она слишком долго не госпитализировала тяжелобольных, не освобождала заболевших от работы, вела себя грубо, выгоняла из больницы невылеченных людей⁹⁰.

Иногда врачи сознательно отказывали пациентам-энкам в необходимом лечении. В 1956-м в Горлаге Леонид Трус получил тяжелую производственную травму. Была очень сильно повреждена нога. Лагерный врач только наложил жгут, чтобы остановить кровотечение, но этого было мало. Трус потерял много крови и страшно замерз. Из лагеря его отвезли в Норильск в городскую больницу. Находясь в полубессознательном состоянии, он услышал, как врач велит сестре готовить переливание крови. Тем временем сопровождающие сообщали его данные: имя, фамилию, пол, возраст, место работы. Узнав, что он зэк, медики “тут же оставили всю работу и сказали: «Мы заключенным помощь не оказываем»”. Труса перевезли в лагерную больницу, и там за взятку ему ввели глюкозу и морфий. Переливание крови никто делать не стал. На следующее утро ногу ампутировали. “Мое состояние было настолько плохое, — рассказал он мне во время интервью, — что хирург считал, что я все равно жить не буду, и поэтому он сам даже не стал делать операцию, а дал попрактиковаться своей жене, которая была не хирургом, а терапевтом, но он хотел, чтобы она приобрела квалификацию хирурга. <...> Правда, потом мне сказали, что она сделала все очень хорошо, грамотно, за исключением каких-то деталей, которые она сделала не то что неаккуратно, она просто не думала, что я буду жить, и поэтому ей это было совершенно безразлично. И вот я остался жив!”.

Не все лагерные врачи, независимо от доброты, имели достаточную квалификацию. В их числе были как ведущие московские специалисты, отбывавшие лагерный срок, так и невежды, не разбиравшиеся в медицине и просто стремившиеся получить относительно теплое местечко. Еще в 1932 году ОГПУ сетовало на нехватку квалифицированного медперсонала⁹¹. Вследствие этого заключенные,

имевшие диплом врача, были исключением из правил, касавшихся назначения на придурочные должности: за какую бы “контрреволюционную террористическую деятельность” они ни были осуждены, им почти всегда разрешали лечить больных⁹².

Из-за дефицита кадров заключенных учили на медсестер и фельдшеров — учили чаще всего наспех и самому элементарному. Евгения Гинзбург стала “медперсоной” после всего нескольких дней в лагерной больнице, где ее научили ставить банки и делать инъекции⁹³. Александр Долган, которого научили в лагере основам фельдшерской работы, прошел проверку в другом лагере. Начальник, сомневающийся в его квалификации, велел ему сделать вскрытие, и он “разыграл наилучший спектакль, какой только мог, всем своим видом показывая, что делал это много раз”⁹⁴. Януш Бардах, чтобы получить должность фельдшера, тоже солгал: сказал, что учился на третьем курсе медицинского факультета, тогда как на самом деле еще даже не поступил в университет⁹⁵.

Результаты были предсказуемы. Заняв в Севураллаге свою первую должность лагерного врача, квалифицированный хирург Исаак Фогельфангер с изумлением обнаружил, что цинготные волдыри, вызванные не инфекцией, а истощением, тамошний фельдшер лечит йодом. Позднее он увидел, как несколько пациентов умерло, потому что безграмотный врач велел ввести им раствор обычного сахара⁹⁶.

Все это наверняка было известно лагерным начальникам, один из которых в письме московскому руководству сетовал на нехватку врачей, на то, что в некоторых лагпунктах медицинскую помощь заключенным оказывают неквалифицированные самоучки. Другой писал, что лагерная медицина противоречит всем принципам советского здравоохранения⁹⁷. Начальство все знало, заключенные все знали и тем не менее в лагерных больницах ничего не менялось к лучшему.

Но несмотря на все это — на продажность врачей, на плохую подготовку младшего персонала, на нехватку медикаментов, — жизнь в больнице или изоляторе была для эзков настолько привлекательна, что ради попадания туда они готовы были не только угрожать врачам, но и калечить себя самих. Как солдаты, не желающие идти в бой, заключенные, пытаясь спасти себе жизнь, наносили себе увечья, симулировали или нарочно вызывали болезни — делались “саморубами” или “мастырщиками”. Некоторые надеялись таким образом получить освобождение или амнистию по инвалидности. Столь многие в это верили, что ГУЛАГ, по крайней мере в одном случае, объявил, что инвалидов и слабосильных досрочно выпускать не будут (хотя в некоторых случаях их выпускали)⁹⁸. Однако большинство просто хотело освободиться от работы.

Наказание за членовредительство было суровым — новый срок. Ведь инвалид — обуза для государства и помеха выполнению плана. “Саморубы карались жестоко — как саботаж”, — пишет Анатолий Жигулин⁹⁹. Один бывший заключенный пишет об уголовнике, отрубившем себе топором четыре пальца на левой руке. Но в инвалидный лагерь его не отправили — заставили сидеть на снегу и смотреть, как другие работают. “Если бы, замерзая, он попробовал встать размяться <...> его бы немедленно застрелили “при попытке к бегству <...>”. Очень скоро он сам попросил дать ему лопату и, придерживая ее, как крючком, единственным уцелевшим пальцем левой руки, кидал мерзлую землю, плача и ругаясь”¹⁰⁰.

Тем не менее многие заключенные считали, что игра стоит свеч. Себя при этом не жалели. Блатные часто отрубали себе три средних пальца руки — без них нельзя было работать на лесоповале или катить тачку на приисках. Случалось, человек отрубал себе ступню или кисть руки, выжигал глаза кислотой. Некоторые, идя в мороз на работу, обматывали ступню мокрой тряпкой. Возвращались с обморожением третьей степени. Так же поступали с пальцами рук. В 60-е годы Анатолий Марченко видел, как заключенный прибил свою мошонку к тюремной скамье¹⁰¹.

Но использовались и более хитроумные способы. Один изобретательный уголовник украл шприц и ввел себе в половой член мыльный раствор. Возникшие выделения выглядели как симптом венерической болезни. Другой придумал способ симулировать силикоз. С серебряного кольца, которое ему удалось сохранить при себе, он напильником натер немного серебряного порошка. Смешав этот порошок с табаком, он выкурил получившуюся смесь. Он ничего не почувствовал, но, придя в санчасть, стал имитировать силикозный кашель. Сделали рентген легких, и на снимке увидели злое вещество затемнение. Его освободили от тяжелых работ и отправили в лагерь для неизлечимо больных¹⁰².

Заключенные также пытались инфицировать себя, провоцировали хронические заболевания. Вадим Александровский лечил пациента, сделавшего себе “мастырку” на ступне грязной иглой¹⁰³. Густав Герлинг-Грудзинский рассказывает о заключенном, который раз в несколько дней тайком клал руку в огонь, не позволяя зажить ране, дававшей ему освобождение от работы¹⁰⁴. Жигулин нарочно вызвал у себя ангину, после “жаркой пробежки” напившись ледяной воды и надышавшись холодным воздухом. “О, прекрасные десять-двенадцать дней в маленькой больнице!”¹⁰⁵.

Некоторые симулировали сумасшествие. Бардах некоторое время работал фельдшером в психиатрическом отделении центральной магаданской больницы. Там главный способ разоблачения симулянтов состоял в том, что их помещали в одну палату с настоящими

шизофрениками. “Многие, даже самые упорные, всего через несколько часов принимались барабанить в дверь и умолять, чтобы их выпустили”. Если это не действовало, зэку делали инъекцию камфары, вызывавшую судороги. Из выживших мало кто хотел повторения процедуры¹⁰⁶.

Как пишет Элинор Липпер, своя стандартная процедура была и для тех, кто симулировал паралич. Пациента клали на операционный стол и усыпляли малой дозой анестезирующего средства. Когда он просыпался, его ставили на ноги и звали по имени. Прежде чем вспомнить, что ему надо рухнуть на пол, он делал несколько шагов¹⁰⁷. Дмитрий Быстролетов рассказывает о разоблачении девушки, симулировавшей глухоту. Начальник лагпункта вызвал ее мать и разрешил ей свидание с дочерью. В барак мать не пустили и велели ей кричать — вызывать дочь. Разумеется, дочь ответила¹⁰⁸.

Но некоторые врачи помогали пациентам симулировать. У Александра Долгана, несмотря на очень большую слабость и понос, температура повысилась не настолько, чтобы его освободили от работы. Но когда он сказал лагерному врачу, образованному латышу, что он американец, тот просиял: “Я так мечтал найти человека, с которым можно поговорить по-английски!” Он показал Долгану, как внести инфекцию в рану, которую сделал у себя на руке сам Долган. В результате получился огромный волдырь, который произвел требуемое впечатление на людей из МВД, инспектировавших больницу¹⁰⁹.

В очередной раз обычная мораль переворачивается с ног на голову. В свободном мире врач, который нарочно делает пациента больным, не заслуживает доброго слова. Но в лагере такой врач справедливо мог считаться святым человеком.

“Обычные добродетели”

Не все стратегии выживания в лагерях были порождением самой системы. Не все они были связаны с пособничеством начальству, жестокостью или членовредительством. Если некоторые из выживших, возможно, подавляющее большинство, выжили благодаря манипулированию лагерными правилами к своей выгоде, то другие опирались на то, что Цветан Тодоров в своей книге о морали концлагерей называет “обычными добродетелями”, — на дружбу, заботу, достоинство и духовную жизнь¹¹⁰.

Забота принимала многообразные формы. Как мы уже видели, среди заключенных возникали сообщества, которые способствовали выживанию. Члены этнических группировок — украинских,

прибалтийских, польских, — которые доминировали в некоторых лагерях в конце 40-х, создавали целые системы взаимопомощи. Другие зэки за годы лагерной жизни терпеливо ткали свои независимые сети знакомств. А некоторые довольствовались одним-двумя чрезвычайно близкими друзьями. Возможно, самая известная из этих лагерных дружб была между Ариадной Эфрон (дочерью поэтессы Марины Цветаевой) и Адой Федерольф. И в тюрьме и в ссылке они всячески старались не разлучаться, и позднее их воспоминания вышли в одном томе. Вот как Федерольф описывает их встречу после вынужденной разлуки, когда их отправили из рязанской тюрьмы разными этапами: “Было уже лето. Первые дни после приезда [в пересыльную тюрьму] были ужасны. Гулять вывели только один раз — жара была нестерпимая...”

И вдруг новый этап из Рязани и... Аля. Я задохнулась от радости, втащила ее на верхние нары, поближе к воздуху, и легла рядом. Вот оно, зекское счастье, счастье встречи с человеком...”¹¹¹.

Сходные чувства испытывали и другие. О том, как важно иметь друга, доверенное лицо, человека, который не оставит тебя в беде, пишет Зоя Марченко¹¹². “Одному прожить было невозможно. Люди объединялись в группы по два-три человека”, — писал другой бывший заключенный¹¹³. Дмитрий Панин рассказывает, как его бригада благодаря своей сплоченности с успехом отражала атаки блатарей¹¹⁴. Разумеется, дружба имела свои пределы. Януш Бардах пишет о своих отношениях с лагерным другом: “Мы никогда не просили друг у друга еду и не предлагали ее. Оба понимали, что если мы хотим оставаться друзьями, эту святыню трогать не следует”¹¹⁵.

Сохранять человеческий облик помогало не только уважение к другим, но и уважение к себе. Многие, особенно женщины, пишут о необходимости держать себя, насколько возможно, в чистоте. Это был способ поддерживать собственное достоинство. Ольга Адамова-Слиозберг вспоминала, как ее сокамерница “с утра очень озабоченно стирала, сушила и пришивала к блузке белый воротничок”¹¹⁶. Заключенные японцы устроили в Магадане национальную “баню” — ею служила большая бочка, к которой были приделаны скамейки¹¹⁷. Борис Четвериков, шестнадцать месяцев просидевший в ленинградской тюрьме “Кресты”, постоянно стирал и перестирывал свою одежду, мыл стены и пол камеры, припоминал и вполголоса пел оперные арии¹¹⁸. Некоторые делали гимнастику или совершали гигиенические процедуры. Бардах пишет: “...несмотря на холод и усталость, я мыл у ручного насоса лицо и руки, сохраняя привычку, которая выработалась у меня дома и в Красной Армии. Я не хотел терять уважения к себе, не хотел походить на многих заключенных, которые у меня на глазах день ото дня опускались. Вначале переста-

вали заботиться о личной чистоте и своей внешности, затем теряли интерес к другим заключенным и наконец — к собственной жизни. Мало что было в моей власти, но хотя бы я мог поддерживать этот ритуал, который, я верил, должен был уберечь меня от деградации и верной смерти”¹¹⁹.

Другим помогала интеллектуальная деятельность. Очень многие заключенные сочиняли или вспоминали стихи, по многу раз повторяли свои и чужие строфы сначала самим себе, а потом и друзьям. Евгения Гинзбург пишет: “Однажды, уже в Москве шестидесятых годов, один писатель высказал мне сомнение: неужели в подобных условиях заключенные могли читать про себя стихи и находить в поэзии душевную разрядку? Да, да, он знает, что об этом свидетельствую не я одна, но ему все кажется, что эта мысль возникла у нас задним числом”. Этот человек, говорит Гинзбург, “плохо представлял себе наше поколение”, которое было “порождением своего времени, эпохи величайших иллюзий. Мы <...> “с небес поэзии бросались в коммунизм”¹²⁰.

Этнограф Нина Гаген-Торн сочиняла в лагере стихи и часто пела их сама себе:

“Я в лагерях практически поняла, почему дописьменная культура всегда слагалась в виде песен — иначе не запомнишь, не затвердишь. Книжки были у нас случайностью. Их то давали, то лишали. Писать запрещали всегда, как и вести учебные кружки: боялись, разведут контрреволюцию. И вот каждый приготавливал себе сам, как умел, умственную пищу”¹²¹.

Шаламов писал, что поэзия помогла ему “среди притворства и растлевающего зла” сохранить живое сердце. Вот отрывок из его стихотворения “Поэту”:

Я ел, как зверь, рыча над пищей.
Казался чудом из чудес
Листок простой бумаги писчей,
С небес слетевший в темный лес.

Я пил, как зверь, лакая воду,
Мочил отросшие усы.
Я жил не месяцем, не годом,
Я жить решался на часы.

И каждый вечер, в удивленье,
Что до сих пор еще живой,
Я повторял стихотворенья
И снова слышал голос твой.

И я шептал их, как молитвы,
Их почитал живой водой,
И образком, хранящим в битве,
И путеводною звездой.

Они единственною связью
С иною жизнью были там,
Где мир душил житейской грязью
И смерть ходила по пятам.

Солженицын, сочиняя в тюрьмах стихи, пользовался для их запоминания обломками спичек. Его биограф Майкл Скаммел пишет: “Он выкладывал на портсигаре обломки спичек в два ряда по десяти штук. Один ряд обозначал десятки, другой — единицы. Повторяя про себя стихи, он перемещал “единицу” после каждой строчки, “десяток” после каждых десяти строчек. Каждая пятидесятая и сотая строка запоминалась с особой тщательностью, и раз в месяц он повторял написанное с начала до конца. Если на контрольное место попадала не та строка, он повторял все снова и снова, пока не получалось как надо”¹²².

Возможно, по сходным причинам многим помогала молитва. Мемуары одного баптиста, отправленного в лагерь уже в 70-е годы, почти целиком состоят из воспоминаний о том, где и когда он молился, где и как прятал Библию¹²³. Многие писали о важном значении религиозных праздников. Пасху иногда праздновали тайно (в пересыльном пункте Соловецкого лагеря это однажды произошло в лагерной пекарне), иногда открыто — например, в арестантском вагоне: “Вагон качался, пение было нестройное, визгливое, на остановках конвой стучал колотушкой в стену, а они все пели”¹²⁴. В бараках порой праздновали Рождество. Русский заключенный Юрий Зорин был восхищен тем, как справляли Рождество литовцы. К празднику они готовились целый год: “Вы представляете, в бараке стол накрыт, и чего только нет — и водка, и ветчина, все на свете”. Водку заносили в зону “в резиновых грелках, но в очень маленькой дозе, поэтому когда ошупывают сапоги, не ощущают этой жидкости”.

Атеист Лев Копелев присутствовал на тайном праздновании Пасхи: “Койки сдвинуты к стенам. В углу тумбочка, застланная цветным домашним покрывалом. На ней икона и несколько самодельных свечей. Батюшка с жестяным крестом в облачении, составленном из чистых простынь, кадил душистой смолкой.

...В небольшой комнате полуметно, мерцают тоненькие свечки. Батюшка служит тихим, глуховатым, подрагивающим стариковским голосом. Несколько женщин в белых платочках запевают тоже негромко, но истово светлыми голосами. Хор подхватывает дружно, хотя все стараются, чтоб негромко. <...>

Мы здесь едва знаем, или вовсе не знаем друг друга. Иных и не узнать в сумраке. Наверное, не только мы с Сергеем неверующие. Но поем все согласно”¹²⁵.

Казимеж Зарод был в числе поляков, праздновавших в лагере сочельник 1940 года. Священник незаметно ходил в тот вечер из бара-

ка в барак и в каждом служил мессу. “Без Библии и молитвенника он начал произносить знакомые латинские слова мессы, — пишет Зарод. — Он говорил чуть слышным шепотом, а отвечали мы и во все почти беззвучно, дыханием:

— Kyrie eleison, Christe eleison — Господи, помилуй, Христос, помилуй нас. Gloria in excelsis Deo...

Слова омывали нас, и атмосфера барака, обычно грубая и ожесточенная, незаметно менялась. Повернутые к священнику лица людей, прислушивавшихся к еле различимому шепоту, смягчались и успокаивались.

— Все в порядке, там никого, — раздался голос человека, смотревшего в окно¹²⁶.

Говоря шире, интеллектуальные, религиозные или творческие занятия помогли многим образованным заключенным уцелеть и духовно, и физически. Те, у кого были особые навыки или дарования, нередко извлекали из них практическую пользу. В частности, в мире постоянного дефицита, где очень трудно было раздобыть даже самое элементарное, люди, способные что-то смастерить, всегда были в цене. Князь Кирилл Голицын рассказывает об умельцах, научившихся в Бутырках вырезать швейные иглы из костяных ручек от зубных щеток¹²⁷. Александр Долган, прежде чем стать фельдшером, нашел свой способ “заработать несколько рублей или дополнительные граммы хлеба”:

“Я увидел, что из проводов для дуговых сварочных аппаратов можно извлечь немало алюминия. Я подумал, что если научусь его расплавлять, то смогу отливать ложки. Я поговорил с заключенными, которые знали толк в металле, и усвоил кое-какие идеи, но свою не выдавал. Кроме того, я нашел хорошие укрытия, где можно провести некоторое время, не рискуя, что тебя вытащат на работу, и другие укрытия, где можно было прятать инструменты и куски алюминиевого провода.

Я смастерил для моей литейной две неглубокие емкости, наворовал кусков алюминиевого провода, сделал из тонкой стали, которую взял в печной мастерской, примитивный плавильный тигель, стибрил для своего “горна” хорошего древесного угля и дизельного топлива и был готов приступить к прибыльному делу”.

Вскоре, пишет Долган, он уже мог “почти каждый день делать по две ложки”. На эти ложки он выменял у других заключенных растительное масло и стеклянную емкость, где его можно было хранить. Теперь у него было во что макать хлеб¹²⁸.

Не все, что заключенные создавали руками, носило чисто утилитарный характер. Художница Алла Андреева постоянно получала заказы на свои услуги — и не только от заключенных, но и от начальства. “Умер кто-то за зоной, нам приносят красить гроб, слома-

лось что-то за зоной, приносят. Мы делали все, мы не могли говорить: “Я этого не могу, я этого не умею”. Нам приносили битую посуду, рваных кукол, под Новый год елки, елочные игрушки делали...”¹²⁹. Другой заключенный вырезал на продажу небольшие “сувениры” из мамонтовой кости: браслеты для часов, статуэтки с изображениями северных сюжетов, колбе, медальоны, пуговицы и т. д. Предвидя осуждение со стороны некоторых читателей, — мол, “хапуга и в заключении нашел источник дохода”, — он пишет: “Каждый волен думать по-своему. <...> Как бы кому ни казалось, но за работу не грешно получить и оплату”¹³⁰.

В музее общества “Мемориал” в Москве, созданном бывшими заключенными и призванном рассказать историю сталинских репрессий, сегодня много таких вещиц — кружевных изделий, резных безделушек, самодельных игральные карт и даже небольших произведений искусства — картин, рисунков, скульптур. Все это заключенные сохранили, привезли домой и позднее подарили музею.

Иной раз “товаром” становилось нечто и вовсе нематериальное. Как ни странно, в ГУЛАГе можно было выживать за счет пения, танцев или актерской игры. Это относится главным образом к большим лагерям с тщеславным начальством, которое желало похвастаться лагерным оркестром или театральной труппой. Один из начальников Ухтижемлага решил создать настоящую оперную труппу, и вследствие этого жизни десятков певцов и танцоров были спасены. По меньшей мере, людей на время репетиций освобождали от работы на лесоповале. Еще важнее то, что они могли испытать забытые чувства. “Когда актеры были на сцене, они забывали о постоянном чувстве голода, о своем бесправии, о конвое, поджидавшем их с овчарками у служебного входа”, — писал Александр Клейн¹³¹. Скрипач Георгий Фельдгун, играя в джаз-оркестре Дальстроя, “дышал воздухом свободы”¹³².

Артисты получали и вполне ощутимые материальные выгоды. В одном приказе по Дмитлагу определяется единая форма для лагерной музкоманды, в том числе вожделенные сапоги, и содержится распоряжение предоставить ей отдельное помещение “для жилья и занятий”¹³³. В Магадане Томас Сговио побывал в одном таком бараке для музыкантов: “Справа от входа было отдельное помещение с маленькой плитой. На проволоке, протянутой от стены к стене, сушились портянки и валенки. Индивидуальные койки были аккуратно застелены одеялами. На каждой — соломенный матрас и подушка. На стенах висели музыкальные инструменты: туба, валторна, тромбон, труба и т. д. Примерно каждый второй музыкант был уркой. У всех у них были хорошие лагерные должности — парикмахера, повара, банщика, учетчика и т. п.”¹³⁴.

В маленьких лагерях и даже в тюрьмах артистам тоже порой предоставлялись лучшие условия. Скрипача Георгия Фельдгуна хорошо покормили в пересыльном лагере после выступления перед группой из пятидесяти “сух”. Ощущение было довольно странное: “Господи, ну что может быть нелепее. Находящаяся на краю света Бухта Ванина, барак, в котором обитают какие-то дикие суки, и бессмертная музыка, созданная более двухсот лет тому назад. Мы играем Вивальди (!) для пятидесяти горилл...”¹³⁵.

Другая заключенная в пересыльном лагере попала в труппу художественной самодеятельности, участников которой благодаря их талантам не отправляли на этап. Она попросилась выйти на сцену, начала петь экспромтом, не попала в тон оркестру, но с успехом превратила свою оплошность в комический номер. Открывшийся в ней талант актрисы неизменно в дальнейшем помогал ей жить в лагерях и был источником душевного подъема¹³⁶. Не она одна исполняла юмор, чтобы уцелеть. Дмитрий Панин вспоминает о профессиональном клоуне родом из Одессы, которому его искусство спасло жизнь: он развеселил своим выступлением лагерное начальство, и оно отменило приказ об отправке его в штрафной лагерь. “Я никогда ни прежде, ни позже не видел такого эмоционального представления. <...> Диссонансом явились в ужимках и веселье танца большие черные глаза клоуна, которые молили о пощаде”¹³⁷.

Из многих способов выживания за счет сотрудничества с начальством художественная самодеятельность считалась в среде заключенных наиболее приемлемой нравственно. Одна из причин, видимо, в том, что от выступлений артистов выигрывали и зэки-зрители. Даже для рядовых работяг театр был источником громадной моральной поддержки, чем-то крайне необходимым для выживания. “Для заключенных театр был источником радости, его любили, им восхищались”, — писал один бывший соловчанин¹³⁸. Герлинг-Грудзинский вспоминал, что перед представлением “зэки снимали у порога шапки, отряхивали в сених снег с валенок и по очереди занимали места на лавках, исполнившись торжественной сосредоточенности и почти набожной почтительности”¹³⁹.

Возможно, именно поэтому те, чей актерский или музыкальный талант позволял им жить несколько лучше, как правило, возбуждали не зависть и ненависть, а восхищение. Киноактрису Татьяну Окуневскую, которую отправили в лагерь за отказ стать любовницей Абакумова, возглавлявшего советскую контрразведку, повсюду узнавали, и ей повсюду помогали. Во время одного лагерного концерта ей показалось, что к ее ногам летят камни. На самом деле это были банки с консервированными мексиканскими ананасами — неслыханный деликатес, который каким-то чудом завезли в лагерные ларьки¹⁴⁰.

Футбольного тренера Николая Старостина тоже высоко ценили в лагерях. Урки передавали из лагеря в лагерь “негласный уговор: Старостина не трогать”. По вечерам, когда он начинал рассказывать футбольные истории, “игра в карты сразу прекращалась”. Всякий раз после перевода в новый лагерь ему предлагали устроиться в санчасть. “Это первое, что мне предлагали, куда бы я ни приезжал, если среди врачей или начальства попадались болельщики. В больнице было чище и сытнее...”¹⁴¹.

Лишь очень немногие задавались сложными нравственными вопросами — допустимо ли петь и плясать в заключении. Одной из таких была Надежда Иоффе: “Когда я оглядываюсь на свои пять лет — мне не стыдно их вспоминать и краснеть, вроде, не за что. Вот только самодеятельность... По существу, в этом не было ничего дурного... И все-таки... Наши далекие предки примерно в аналогичных условиях повесили свои лютни и сказали, что петь в неволе они не будут. А мы вот, пели — в неволе...”¹⁴².

Некоторые заключенные, особенно люди несоветского происхождения, были недовольны самим характером представлений. Один поляк, арестованный во время войны, писал, что назначение лагерного театра — “еще сильнее разрушить твоё уважение к себе <...> Иногда там давали “художественные” представления, или играл какой-то диковинный оркестр, но все это делалось не ради твоего душевного удовлетворения, а скорей для того, чтобы показать тебе их [советскую] культуру, деморализовать тебя еще больше”¹⁴³.

У тех, кто не желал участвовать в официальных представлениях, был и другой путь. Изрядное число бывших политзаключенных, написавших мемуары (и это в какой-то мере помогает понять, почему они написали мемуары), объясняет свое выживание способностью “тискать романы”, то есть развлекать блатных пересказыванием книг или фильмов. В лагерях и тюрьмах, где книг было мало и фильмы показывали редко, хороший рассказчик ценился очень высоко. Леонид Финкельштейн признался, что до конца дней будет “благодарен тому вору, который в мой первый тюремный день угадал во мне эту способность и сказал: “Ты ведь, наверно, кучу книжек прочитал. Рассказывай их ребятам, и будешь жить — не тужить”. Мне и правда жилось получше, чем другим. Я даже кой-какую славу приобрел. <...> Я встречал людей, которые говорили: «А, ты Леончик — романист, я слыхал про тебя в Тайшете»”. Благодаря этой способности Финкельштейна два раза в день приглашали в кабинку прораба и давали кружку кипятку. В карьере, где он тогда работал, “это означало жизнь”. Финкельштейн установил, что наибольшим успехом пользуется русская и иностранная классика. Советская литература воспринималась намного хуже.

Другие приходили к таким же выводам. В жарком, душном вагоне по пути во Владивосток Евгения Гинзбург поняла, что “читать наизусть очень выгодно. Вот, например, “Горе от ума”. После каждого действия мне дают отхлебнуть глоток из чьей-нибудь кружки. За общественную работу”¹⁴⁴.

Александр Ват рассказывал в тюрьме уголовникам “Красное и черное” Стендаля¹⁴⁵. Александр Долган — “Отверженных”¹⁴⁶, Януш Бардах — “Трех мушкетеров”: “Мой статус повышался с каждым поворотом сюжета”¹⁴⁷. Колонна-Чосновский завоевал уважение блатных, которые называли голодающих “политических” паразитами, тем, что рассказал им “свою собственную, максимально приукрашенную драматическими эффектами, версию фильма, который я видел в Польше несколько лет назад. Место действия — Чикаго, персонажи — полицейские и гангстеры, в том числе Ал Капоне. Я еще вставил туда Багси Малоуна и, кажется, даже Бонни и Клайда. Постарался впихнуть все, что помнил, а некоторые повороты изобрел на ходу”. Рассказ произвел на блатных сильное впечатление, и поляку пришлось повторять его много раз: “Они слушали как дети, затаив дыхание. Они готовы были слушать одно и то же снова и снова, и, как детям, им хотелось, чтобы я каждый раз употреблял одни и те же слова. Они замечали малейшее изменение и малейший пропуск. <...> Не прошло и трех недель, как мое положение стало совсем другим”¹⁴⁸.

Иной раз творческий дар помогал заключенному выжить, не принося ему материальных выгод. Нина Гаген-Торн вспоминает о преподавательнице музыки по классу композиции, специалистке по истории музыки, любительнице Вагнера, которая писала в лагере оперу. Она добровольно выбрала работу ассенизатора — чистила лагерные уборные, и это оставляло ей некую свободу, возможность мыслить и творить¹⁴⁹. Алексей Смирнов, один из ведущих защитников свободы печати в современной России, рассказал мне о двух литературоведах, которые, находясь в лагерях, придумали никогда не существовавшего французского поэта XVIII века и писали от его имени стилизованные французские стихи¹⁵⁰. Герлинг-Грудзинский с благодарностью вспоминал “уроки” литературы, которые давал ему в лагере один бывший профессор¹⁵¹.

Ирене Аргинской помогла ее эстетическая восприимчивость. Даже спустя много лет она с восторгом говорила об “умопомрачительной красоте” Севера, о его просторах, о восходах и закатах. Она рассказала, как ее мать, совершив долгое и трудное путешествие, приехала к ней в лагерь, но увидеться с дочерью не смогла: Ирину только что отправили в больницу. Свидание не состоялось, но мать до самой смерти вспоминала о красоте тайги.

Впрочем, красота не на всех действовала одинаково. Окруженная той же тайгой, тем же воздухом, теми же просторами Майя Ула-

новская не смогла оценить сибирскую природу: “Я на нее глядеть не хотела. И почти против воли запомнились грандиозные восходы и закаты, мощные сосны и лиственницы, яркие цветы — почему-то без запаха”¹⁵².

Это замечание так меня поразило, что, когда я сама в разгар лета приехала на Крайний Север, я по-особенному взглянула на широкие реки, на бескрайние леса, на лунный ландшафт арктической тундры. Около угольной шахты, где раньше был один из воркутинских лагунктов, я даже сорвала несколько северных цветов — хотела проверить, есть ли у них запах. Есть. Возможно, Улановская просто не желала его ощутить.

Глава 18

Бунт и побег

Если бы я услышал лай упряжных собак, означающий, что началось патрулирование, мне, думаю, физически стало бы плохо. Мы пробежали несколько шагов к наружному заграждению. <...> Шума мы, скорее всего, производили немного, но каждый звук казался оглушительным. <...> Последним отчаянным рывком мы влезли на внешний забор из колючей проволоки, прыгнули, вскочили на ноги, огляделись, затаив дыхание, и дружно бросились бежать.

Славомир Равич. Долгий путь

Среди многих мифов о ГУЛАГе одним из главных представляется миф о невозможности побега. Побег из сталинских лагерей, пишет Солженицын, “были затеями великанов, но великанов обреченных”¹. Анатолий Жигулин утверждает: “Побег с Колымы невозможен”². Варлам Шаламов с характерной для него суровостью пишет, что почти всегда беглецы — это “новички-первогодки, в чьем сердце еще не убита воля, самолюбие и чей рассудок еще не разобрался в условиях Крайнего Севера”³. Бывший заместитель начальника Норильского гарнизона Николай Абакумов категорически отверг возможность успешного побега: “Из лагерей некоторые убегали, но до материка не добрался никто”⁴.

Об одном неудачном побеге рассказал Густав Герлинг-Грудзинский. После длительной подготовки арестант ушел во время рабочего дня, не замеченный охраной. Проблуждав несколько дней в морозном лесу, он, голодный, в полубессознательном состоянии пришел в деревню, находившуюся всего километрах в пятнадцати от лагеря. Жители вернули его в лагерь. “Свобода не для нас, — всегда заканчивал он потом в бараке свой рассказ о побеге. — Мы на всю жизнь прикованы к лагерю, хоть и не носим цепей. Мы можем пробоовать, блуждать, но в конце концов возвращаемся”⁵.

Лагеря, разумеется, строились с тем расчетом, чтобы бежать из них было трудно; для этого служили заграждения, колючая проволока, караульные вышки и прочесываемая граблями запретная зона. Но во многих лагерях колючая проволока была почти что и не нужна. Против беглецов работали климат — десять месяцев в году температура ниже нуля — и географический фактор, который невозможно оценить в полной мере, пока сам не побываешь на месте какого-нибудь отдаленного северного лагеря.

Например, заполярную Воркуту — город, построенный около угольных шахт Воркутлага, — с полным правом можно назвать городом практически недоступным. Туда не ведет ни одна автомобильная дорога, до города и шахт можно добраться только поездом или самолетом. Зимой всякий идущий по безлесной тундре представляет собой очень удобную мишень. Летом здесь непроходимое болото, которое просматривается не хуже, чем зимой.

В лагерях, расположенных южнее, расстояния тоже были проблемой для беглецов. Если даже эск перелезал через “колючку” или убегал из рабочей зоны (невнимательность конвоя порой делала эту задачу не такой уж трудной), он оказывался вдалеке от дорог и населенных пунктов. Не было еды, не было укрытия, иногда негде было достать воду.

Что еще важнее, повсюду были часовые и патрули. Весь колымский регион — многие тысячи квадратных километров тайги — фактически был одним огромным лагерем, как и вся республика Коми, немалая часть казахских степей и север Сибири. В таких местах было мало обычных деревень с обычными жителями. Одинокого человека без надлежащих документов не могли принять за кого-либо иного, кроме как за беглого заключенного, и его либо расстреливали на месте, либо избивали и возвращали в лагерь. Один заключенный решил поэтому не присоединяться к группе, готовившей побег: “Куда я пойду без документов и денег, когда кругом лагеря, посты и патрули?”⁶.

От местных жителей, не имеющих отношения к лагерям, беглому эску, встретить он их даже, ожидать помощи было трудно. В царские времена в Сибири люди традиционно сочувствовали беглецам. На ночь крестьяне выставляли для них на завалинку хлеб и молоко. Как пелось в старинной песне каторжан,

Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.

В сталинском СССР все было иначе. Беглого “врага народа”, и уж тем более беглого уголовника-рецидивиста, скорее всего, сдали бы властям — не только потому, что люди верили или наполовину верили официальной пропаганде насчет заключенных, но и потому, что за укрывательство беглеца можно было самому получить большой срок⁷. В параноидальной атмосфере тех лет достаточно было того, что люди испытывали общий, неспецифический страх: “Что касается местного населения, то никто спасать или прятать, как спасали и прятали беглецов из немецких концлагерей жители западных стран, не стал бы. Потому что много лет все жили в постоянном страхе и подозрительности, с часу на час ждали какую-то беду, даже друг друга боялись <...> В местности, где от мала до

велика болели шпиономанией, на успех побега рассчитывать было бесполезно”⁸.

Помимо идеологии и страха, действовала жадность. Справедливо или нет, многие мемуаристы высказывают мнение, что местные жители — якуты на севере, казахи на юге — зачастую рады были поймать беглеца, рассчитывая на награду. Некоторые становились профессиональными охотниками на заключенных, за которых можно было получить kilo чая или мешок муки⁹. На Колыме лагерным начальством однажды было объявлено, что за правую руку застреленного беглеца любому местному жителю заплатят 250 рублей. По другим сведениям, доказательством пресечения побега служила отрезанная голова убитого эзика. Сообщения о денежных наградах сохранились в архивах¹⁰. Согласно одному документу, рыбак, опознавший в неизвестном человеке разыскиваемого заключенного, получил 250 рублей, его сын, которого он послал сообщить оперстрелку, — 150 рублей. В другом случае сцепщик поездов получил за беглеца целых 300 рублей¹¹.

Пойманных наказывали чрезвычайно жестоко. Многих расстреливали на месте. Трупы беглецов служили пропагандистским целям: “Когда мы приблизились к воротам, мне на секунду показалось, что я вижу кошмарный сон: на столбе висел голый труп. Руки и ноги обмотаны проволокой, голова свисает на сторону, остекленные глаза полукругом открыты. Над головой фанера с надписью: «Так будет с каждым, кто попробует бежать из Норильска»”¹².

Жигулин пишет, что на Колыме тела беглецов иной раз лежали у проходной много дней¹³. Эта практика, восходящая к Соловкам, стала к 40-м годам почти повсеместной¹⁴.

И все же эзики уходили в побег. Судя по гулаговской статистике и по недовольной переписке начальства на эту тему, сохранившейся в архивах, попыток — удачных и неудачных — было больше, чем думало большинство мемуаристов. Имеются, к примеру, приказы о наказаниях за допущенные побег. В 1945 году после нескольких групповых побегов при этапировании заключенных из “ИТЛ строительства НКВД № 500” (строилась железная дорога в Восточной Сибири) виновные в них офицеры ВОХР были посажены под арест на пять-десять суток с удержанием 50 процентов суточной зарплаты за каждый день ареста. В других случаях после громких побегов охранников отдавали под суд, начальников лагпунктов снимали с должности¹⁵.

Сохранились сведения и о поощрениях охранникам, предотвратившим побег. Дежурного, который принял решительные меры после того, как группа заключенных, задушив надзирателя, попыталась бежать, наградили 300 рублями. Начальник караула и дежурный по штабу получили по 200 рублей, четыре красноармейца — по 100 рублей¹⁶.

Ни один лагерь не исключал побега полностью. Считалось, например, что из Соловецкого лагеря из-за отдаленности его расположения бежать невозможно. Но в мае 1925 года двум бывшим белогвардейцам — С. Мальсагову и Ю. Безсонову — удался побег из одного из материковых подразделений СЛОН. Напав на охранников и разоружив их, они затем тридцать пять дней шли к финской границе. Оба впоследствии написали книги о своих приключениях, которые принадлежат к числу первых публикаций о Соловках на Западе¹⁷. Другой известный побег с Соловков произошел в 1928-м, когда лагерь покинуло сразу несколько заключенных. Все они впоследствии были задержаны¹⁸. Два эффектных побега (тоже с Соловков) датируются 1934 годом. Первый совершили четверо “шпионов”, второй — “один шпион и двое бандитов”. Обе группы бежали на лодках, стремясь, судя по всему, добраться до Финляндии. В результате один из лагерных начальников был снят с работы, другие получили выговоры¹⁹.

В конце 20-х годов, когда подразделения СЛОН стали создаваться на материке (в Карелии), возможностей для побега стало больше, чем не преминул воспользоваться Владимир Чернавин. До ареста он работал в мурманском “Севгосрыбтресте” и вопреки абсурдно завышенному пятилетнему плану храбро отстаивал реалистический подход к делу, в результате чего был обвинен во “вредительстве” и отправлен на пять лет в Соловецкий лагерь. С определенного момента он работал ихтиологом в рыбопромышленном отделении СЛОН в Кеми и совершал длительные поездки без конвоя по северной Карелии для организации новых рыбных промыслов.

Чернавин не торопился. За долгие месяцы он завоевал доверие начальства, и оно разрешило ему десятидневное свидание с женой и четырнадцатилетним сыном. Они приехали летом 1933-го, и однажды все вместе отправились на “экскурсию” на карбасе по местным морским бухтам. Потом причалили и отправились к финской границе пешком. “Я бежал с каторги, рискуя жизнью жены и сына. Без оружия, без теплой одежды, в ужасной обуви, почти без пищи. Мы пересекли морской залив в дырявой лодке, заплатанной моими руками. Прошли сотни верст. Без компаса и карты, далеко за полярным кругом, дикими горами, лесами и страшными болотами”, — писал Чернавин²⁰. Десятилетия спустя его сын вспоминал, что отец надеялся своей книгой о пережитом изменить взгляд мировой общественности на Советский Союз. Книгу он написал. Взгляд на СССР не изменился²¹.

Судя по всему, история Чернавина не единична: первый период ГУЛАГа, период его бурного расширения, поистине можно назвать золотым веком беглецов. Количество заключенных стремительно

росло, количество охранников за ним не поспевало, и к тому же лагеря располагались сравнительно близко от Финляндии. В 1930 году на финской границе было задержано 1174 нарушителя, а в 1932-м — уже 7202. Можно предположить, что число успешных побегов возросло в той же пропорции²². Согласно статистике ГУЛАГа (хотя за полную ее достоверность, конечно, ручаться нельзя), в 1933 году из лагерей бежало 45 755 человек, из которых поймано было только чуть больше половины — 28 370²³. Отмечалось, что беглые заключенные терроризируют местное население, и начальники лагерей, пограничники и местные органы ОГПУ постоянно посылали запросы о подкреплении²⁴.

ОГПУ ужесточило контроль. В этот период к пресечению побегов стали активно подключать местное население: один приказ ОГПУ предписывал “организовать в 25–30-километровой полосе (прилегающей к лагерям) актив из местного населения для борьбы с побегими”, а также “обеспечить выявление и задержание бежавших заключенных на железнодорожном и водном транспорте”. Был, кроме того, издан приказ, запрещающий открывать камеры для вывода заключенных после вечерней поверки²⁵. Местные начальники настойчиво просили усилить надзор за лагерями²⁶. Законом было увеличено наказание за побег. За убийство беглецов были установлены премии²⁷.

Тем не менее количество побегов снижалось медленно. В 30-е годы на Колыме групповые побегии были все еще довольно частым явлением. Уголовники “организовывались в банды, а овладев оружием, нападали на вольнонаемных дальстроевцев, геологические партии, коренных жителей Колымы”. В 1936 году там “изъяли 22 банды”, и для предупреждения побегов “особо опасный элемент” перевели в специально созданное лагерное подразделение на 1500 человек²⁸. В январе 1938-го, в разгар Большого террора, один из заместителей народного комиссара внутренних дел разослал по всем лагерям приказ, констатирующий, что, “несмотря на целый ряд приказов о решительной борьбе с побегими заключенных из лагерей, <...> серьезного перелома в этом отношении нет”²⁹.

В первый период после вступления СССР во Вторую мировую войну количество побегов вновь резко подскочило: передислокация лагерей из прифронтовой полосы в тыл и общая неразбериха создавали для этого дополнительные возможности³⁰. В июле 1941-го из Печорлага, одного из самых отдаленных лагерей Коми АССР, бежало пятнадцать человек. В августе того же года из Воркутлага бежало восемь краснофлотцев, возглавляемых бывшим старшим лейтенантом Северного флота³¹.

На более позднем этапе войны число побегов уменьшилось, но они не прекратились. В 1947 году, когда было больше всего побегов за

весь послевоенный период, попытку совершили 10 440 заключенных, из которых поймали только 2894³². Это, конечно, очень малая доля от тех миллионов, что находились тогда в лагерях, и все же приведенные цифры говорят, что побег, вопреки сложившемуся у многих мнению, был возможен. Не исключено даже, что частота побегов была одной из причин ужесточения лагерного режима и усиления охраны в последние пять лет существования сталинского ГУЛАГа.

Мемуаристы сходятся на том, что подавляющее большинство беглецов составляли уголовники. На блатном жаргоне о побеге в теплое время года говорили так: “Придет весна, и меня освободит зеленый прокурор”. Шаламов пишет: “Путешествие по тайге возможно только летом, когда можно, если продукты кончатся, есть траву, грибы, ягоды, корни растений, печь лепешки из растертого в муку ягеля — оленьего мха, ловить мышей-полевок, бурундуков, белок, кедровок, зайцев...”³³. В заполярной тундре, однако, почти невозможно было передвигаться, пока не замерзали болота и воздух был наполнен гнусом и мошкой. Люди там надеялись на “белого прокурора”³⁴.

Урки имели при побеге гораздо лучшие шансы, чем политические. Если вору удавалось добраться до крупного города, он мог влиться в местный преступный мир, подделать документы и найти себе убежище. Нередко блатные вовсе даже не стремились всерьез вернуться в “свободный” мир — просто хотели погулять немного “на воле”. Если беглого вора ловили и он оставался после этого в живых, что значили еще десять лет для человека, у которого уже было два двадцатипятилетних срока? Один бывший зэк вспоминал про блатнячку, бежавшую всего-навсего ради свидания с мужчиной. Вернулась она полная восторга, хотя ее немедленно отправили в штрафной изолятор³⁵.

Политические убежали гораздо реже. Дело не только в том, что им недоставало связей и опыта, но и в том, что их усердней искали и преследовали. Чернавин, который много думал об этом прежде чем решиться на побег, объясняет разницу так: “Охрана особенно и не старается преследовать уголовных, все равно они или сами находят, когда выйдут на железную дорогу, или доедут до города и там будут выловлены. За бежавшими каэрами всегда нарядается погоня, иногда мобилизуются ближайшие села, в преследовании всегда принимает участие пограничная стража. Каэр почти всегда пытается бежать за границу, потому что на родине скрыться ему негде”³⁶.

Большую часть беглецов составляли мужчины, но были среди них и женщины. Из лагеря, где находилась Маргарете Бубер-Нойман, бежала вместе с лагерным поваром молодая цыганка. Услышав об этом, цыганка постарше понимающе кивнула: “Она знает, что

где-то поблизости стоит табор. Доберется — значит, спасена”³⁷. Обычно побег планировался заранее, но иной раз они происходили экспромтом. Солженицын вспоминает случай, когда заключенный перелез через колючую проволоку во время пыльной бури в Казахстане³⁸. Чаще (но далеко не всегда) бежали из рабочих зон, которые охранялись хуже. За выбранный наугад месяц (сентябрь 1945-го) 51 процент зафиксированных случаев побега произошли в рабочей зоне, 27 — в жилой зоне, 11 процентов — во время этапирования³⁹. Эдуард Бука с группой молодых украинцев задумали побег из вагона поезда, который вез их в Сибирь. Он так описывает этот план: “Моим ножовочным лезвием мы собирались выпилить четыре-пять досок, работая только ночами и маскируя пропилы смесью хлеба и конского дерьма с пола вагона. Когда дыра была бы готова, мы дождались бы остановки в лесу, выбили бы доски, выскочили бы наружу — столько людей, сколько успело бы выскочить, — и разбежались бы в разные стороны, чтобы сбить с толку конвой. Некоторых застрелили бы, но большая часть бы ушла”⁴⁰.

От плана пришлось отказаться, потому что охрана заподозрила неладное. Побег с поездов, однако, случались: к примеру, в мае 1940-го двое заключенных бежали через люки товарных вагонов⁴¹. В том же году Януш Бардах выскользнул из вагона, выломав гнилые доски. Но на место он их не поставил и поэтому был немедленно пойман: его выследили с собаками, жестоко избили, но в живых оставили⁴².

Некоторые побег, пишет Солженицын, начинаются “не с рывка и отчаяния, а с технического расчета и золотых рук”⁴³. Однажды в товарном вагоне заключенные сделали ложную внутреннюю торцевую стенку; план был — втиснуться за стенку и уехать в вагоне из лагеря⁴⁴. В другой раз двадцать шесть уголовников сделали подкоп под забором, удачно выбрались, но, как утверждал сотрудник “органов”, возглавлявший поиск, все до одного были пойманы в течение года⁴⁵.

Другие, подобно Чернавину, использовали для побега свое особое положение в лагере. В архиве сохранились сведения о том, как заключенный нарочно вызвал крушение товарного поезда и бежал в возникшей после этого суматохе⁴⁶. В другом случае заключенные, которым поручили рыть могилы на лагерном кладбище, убили конвоира и, “зарыв труп в могилу, скрылись”. Их исчезновение, как и труп, было обнаружено не сразу⁴⁷. Легче было бежать и бесконвойным, имевшим право выходить за зону.

Беглецы пытались маскироваться. Варлам Шаламов рассказывает о беглом заключенном, который провел на свободе два года, путешествуя по Сибири под видом геолога. В Якутске местное “научное начальство”, гордясь приездом в город крупного специалис-

та, чрезвычайно почтительно попросило его прочесть лекцию. “Кривошей улыбался, цитировал по-английски Шекспира, что-то чертил, перечисляя десятки иностранных фамилий”. В конце концов его разоблачили: роковую роль сыграло то, что он посылал деньги жене⁴⁸. Возможно, это вымышленная история, но в архивах есть сведения о сходных случаях. Один колымский беглец обзавелся документами на чужое имя, вылетел самолетом в Якутск и там устроился в городской гостинице. При задержании у него изъяли 200 граммов золота⁴⁹.

Не все побег были сопряжены с полетом творческой фантазии, но многие — вероятно, большинство, особенно если бежали уголовники, — были сопряжены с насилием. Беглецы нападали на охранников, вольнонаемных работников и местных жителей, стреляли в них, резали, душили⁵⁰. Не щадили и братьев-лагерников. Один распространенный способ побега предполагал людоедство. Двое заключенных, сговорившись заранее, подбивали бежать с ними третьего (“мясо”), которому предстояло стать пищей для первых двух на время пути. Бука описывает суд над профессиональным вором и убийцей, бежавшим вместе с другим вором и с лагерным поваром, который был для них “ходячим провиантом”: “Не им первым пришла в голову такая мысль. Когда огромная масса людей только и мечтает, что о побеге, обсуждаются, само собой, все возможные способы. Желательно, чтобы “ходячий провиант” был упитанным. Если надо, его можно будет убить и съесть. А до той поры он будет нести свое мясо сам”.

Два вора поступили с поваром как было задумано, но они не рассчитали длительность путешествия. Они снова проголодались. “Оба понимали, что тот, кто заснет первым, будет убит. Поэтому оба притворялись, что не устали, и всю ночь рассказывали друг другу байки, пристально наблюдая друг за другом. Старая дружба исключала для них как открытое нападение, так и признание в подозрениях”.

Наконец одного сморил сон. Другой перерезал ему горло. Бука пишет, что через два дня его поймали и в мешке у него нашли куски сырого человеческого мяса⁵¹.

Хотя у нас нет возможности узнать, как часто при побегах творилось такое, сходные истории, относящиеся к разным периодам — от начала 30-х до конца 40-х, — рассказывает немало бывших заключенных, и есть основания думать, что людоедство действительно иногда случалось⁵². Томас Сговио слышал на Колыме смертный приговор двоим таким беглецам, которые взяли с собой “малолетку”, убили и засолили его мясо⁵³. Вацлаву Дворжецкому подобную историю рассказали в Карелии в середине 30-х⁵⁴.

В устных преданиях ГУЛАГа сохранились поистине необычайные рассказы о побегах, многие из которых, возможно, недостовер-

ны. Солженицын подробно пишет о побегах эстонца Георгия Тэнно, политического заключенного, убежавшего из лагерей не раз. В одном случае он, стремясь добраться до Омска, проделал пешком, на лошади и на лодке почти 500 километров. Некоторые из рассказов Тэнно, вероятно, правдивы (позднее он подружился с другим гулаговцем — Александром Долганом, автором лагерных мемуаров, которого Тэнно познакомил с Солженицыным), но истинность иных из них, самых красочных, вызывает определенные сомнения⁵⁵. В одном английском сборнике можно прочесть историю эстонского пастора, который, бежав из лагеря, подделал документы и вместе со спутниками перешел афганскую границу. В том же сборнике рассказано об испанце, которому помогло бежать то, что он притворился мертвым после землетрясения, повредившего лагерные постройки. Затем он якобы проник в Иран⁵⁶.

И наконец, имеются удивительные мемуары Славомира Равича “Долгий путь”, содержащие самое красочное и захватывающее описание побега во всей гулаговской литературе. Равич пишет, что его арестовали после советского вторжения в Польшу и отправили в лагерь на севере Сибири. Оттуда он, по его словам, бежал с молчаливого согласия жены начальника лагеря вместе с шестью другими заключенными, один из которых был американец. Прихватив с собой по дороге молодую депортированную польку, они двинулись к границе СССР.

В течение своего невероятного путешествия (если оно и вправду имело место) они обогнули Байкал, перешли монгольскую границу и через пустыню Гоби, Тибет и Гималаи попали в Индию. Четверо беглецов погибли в пути, остальные перенесли крайние лишения. К сожалению, несколько попыток получить подтверждение этой истории (она отчетливо напоминает рассказ Киплинга “The Man Who Was”) успехом не увенчались⁵⁷. “Долгий путь” — великолепно написанная книга независимо от того, правда в ней рассказана или нет. Ее убедительность — хороший урок тем из нас, кто пытается написать основанную на фактах историю побегов из ГУЛАГа.

Ибо фантазирование о побеге играло важную роль в жизни многих заключенных. Даже для того громадного большинства, что никогда не решилось бы на побег, мысль о нем, мечта о нем были важной психологической опорой. Один бывший колымчанин сказал мне, что побег был одной из самых очевидных форм противостояния режиму. Особенно много планов, обсуждений, споров о побегах было в среде молодых эзков мужского пола. Сами эти разговоры были средством борьбы с ощущением бессилия. Герлинг-Грудзинский пишет: “Мы очень часто собирались в одном из бараков и в узком надежном кругу обсуждали детали побега, собирали в одно место найденные во время работы куски металла, старые коробки и

осколки стекла, из которых якобы можно было сделать кустарный компас, делились услышанными сведениями об окрестностях, о расстояниях, о климатических условиях и географических особенностях Севера <...>. В царстве вымысла, куда привезли нас с запада сотни товарных эшелонов, всякая попытка зацепиться за свой собственный вымысел обладала чем-то ободряющим. В конце концов, если принадлежность к несуществующей террористической организации может быть преступлением, за которое дают десять лет, то почему бы спиленному гвоздю не стать стрелкой компаса, обломку доски — лыжей, а клочку бумаги, покрытому черточками и точками, — картой?”.

В глубине души, считает Герлинг-Грудзинский, все понимали, что эти начинания смешны. Но польза от них была: “Я даже помню кадрового офицера-кавалериста из Белостока, который в период бушующего в лагере голода нашел в себе столько силы воли, чтобы каждый день отрезать от пайки тонкий хлебный ломтик и, высушив над печкой, убирать в мешочек, спрятанный в никому неизвестное место в бараке. Когда через несколько лет мы встретились в армии, в иракской пустыне, я, вспоминая в палатке за бутылкой лагерные времена, дружески пошутил по поводу его “плана” побега. «Не смейся, — ответил он серьезно, — я пережил лагерь благодаря надежде на побег, пережил “мертвецкую” благодаря скопленному хлебу. Человек не может жить, не зная, зачем живет»⁵⁸.

Если побег из лагеря большинству уцелевших представлялся делом невозможным, то бунт был немислим. Карикатурный образ забитого, растоптанного эзка, утратившего человеческий облик и достоинство, отчаянно стремящегося угодить начальству, неспособного не то что создать антисоветскую организацию, но даже подумать плохое о советской власти, появляется во многих мемуарах и, не в последнюю очередь, в книгах двух крупнейших русских авторов, писавших о ГУЛАГе, — Солженицына и Шаламова. Не исключено, что на протяжении большей части истории ГУЛАГа этот образ не был далек от истины. Развита система стукачества делала заключенных подозрительными друг к другу. Изнурительный подневольный труд и верховенство блатных не давали людям поднять голову, подумать об организованном сопротивлении. Тяжелый и унижительный опыт следствия, тюрьмы, депортации лишали многих желания жить, не говоря уже о желании противостоять начальству. Герлинг-Грудзинский, объявивший в лагере вместе с несколькими другими поляками голодовку, так описывает реакцию на это русских заключенных: “Их не мог не взволновать и по-своему увлечь тот факт, что кто-то осмеливается поднять руку на нерушимые законы неволи, которых до сих пор не затронул ни один порыв бунта; но в то же время действовал инстинктивный, принесенный еще

с воли страх нечаянно замешаться в дело, грозящее военным трибуналом. Есть ли уверенность, что на следствии не раскроются разговоры, которые вел бунтовщик в бараке сразу после совершения преступления?”⁵⁹.

И опять-таки архивы рисуют несколько иную картину. Документы сообщают о многих мелких лагерных протестах и забастовках. В частности, уголовники, если они хотели чего-либо добиться от начальства, нередко устраивали краткие, лишенные политической подоплеки забастовки и “волынки”. Начальство реагировало на это довольно спокойно. Особенно часто такие акты неповиновения малого масштаба происходили в конце 30-х и начале 40-х годов, когда уголовники занимали в лагерях привилегированное положение, что уменьшало их страх перед наказанием и давало им дополнительные организационные возможности⁶⁰.

Спонтанные протесты уголовников случались и во время длительных железнодорожных этапов на восток, когда заключенных кормили селедкой и почти не давали пить. Чтобы добиться от конвой воды, поднимали “дикий и оглушительный крик”, которого, по словам одного бывшего лагерника, “чекисты боялись как огня <...>. Когда-то воины римских железных легионов плакали от криков древних германцев — такой ужас наводили они на них. И этот же ужас чувствовали садисты из ГУЛАГа...”⁶¹. Эта традиция существовала и в 80-е годы, когда, согласно воспоминаниям поэта и диссидента Ирины Ратушинской, заключенные в вагоне, недовольные тем, как с ними обращаются, подняли уровень протеста на ступеньку выше:

“— Ребята! Качай!

<...> Зэки начинают раскачивать вагон. Все вместе, в такт, отшатываясь от одной стены клетки к другой. Вагон так набит людьми, что это дает результат почти немедленно. Этак можно запросто свести вагон с рельс, а поезд, соответственно, под откос”⁶².

Теснота и голод порой доводили людей до своего рода массовой полуорганизованной истерии. Очевидец пишет: “Около двухсот женщин, словно по команде, мгновенно разделись и совершенно голые выскочили во двор.

В непристойных позах толпились они возле вахты и кричали не своими голосами, рыдали и хохотали, ругались, в страшных конвульсиях и припадках катались по земле, рвали на себе волосы, до крови обдирали лица, снова падали на землю и снова вскакивали на ноги и бежали к воротам:

— А-а-а-а-а-у-гу! — ревела толпа...”⁶³.

Помимо спонтанных взрывов такого рода, в распоряжении заключенных была голодовка — старинный, традиционный способ протеста, чьи цели и методы были напрямую унаследованы от по-

литзаключенных начала 20-х годов — социал-демократов, анархистов, меньшевиков, которые, в свою очередь, переняли их у политзаключенных царской России. Члены этих партий прибегали к голодовкам и после того, как в 1925-м их перевели с Соловков в другие тюрьмы — “политизоляторы”. Один из ведущих эсеров Александр Федодеев неоднократно объявлял в Суздальском политизоляторе голодовки, требуя права на свидания, вплоть до своего расстрела в 1937 году⁶⁴.

Но и после того, как их из тюрем опять перевели в лагеря, некоторые из них продолжали традицию голодовок. В середине 30-х к голодовкам социалистов стали присоединяться и некоторые подлинно троцкисты. В октябре 1936 года сотни троцкистов, анархистов и других политзаключенных начали в воркутинском лагере голодовку, продолжавшуюся до 13 февраля 1937 года. Эта акция, безусловно, носила политический характер. Голодающие требовали отлучения политических от уголовников, восьмичасового рабочего дня, политпайка вне зависимости от характера работы. В другом подразделении воркутинского лагеря произошла еще одна крупная забастовка, к которой присоединилось некоторое количество уроков. В марте 1937-го начальство пообещало голодающим удовлетворить их требования, но к концу 1938-го большинство их было расстреляно в ходе массовых казней того года⁶⁵.

Примерно в то же время другая группа троцкистов подняла протест в пересыльном лагере Владивостока, ожидая отправки на Колыму. Троцкисты провели в лагере организационные собрания и избрали старостат. Они потребовали осмотра парохода, на котором их собирались везти, но получили отказ. Поднявшись на борт, они стали петь революционные песни и даже, если верить сообщениям осведомителей НКВД, развернули плакаты с лозунгами: “Долой Сталина”, “Да здравствует Л. Д. Троцкий, гениальный революционер!” Прибыв в Магадан, троцкисты вновь стали выдвигать требования: содержание на Колыме на правах ссыльных, работа по специальности, оплата труда по общетарифной сетке, совместное проживание супругов, свобода переписки с материком. Они провели ряд голодовок, одна из которых длилась 100 дней. Современник писал: “...руководство заключенных на Колыме троцкистов ушло от действительности, игнорировало реальное соотношение сил”. В октябре 1937 года все они были расстреляны⁶⁶. Но их страдания не прошли незамеченными. Годы спустя бывший колымский следователь вспоминал: “...все, что произошло потом, произвело на меня и моих товарищей такое сильное впечатление, что несколько дней лично я ходил словно в тумане и передо мной проходила вереница осужденных троцкистских фанатиков, бесстрашно уходивших из жизни со своими лозунгами на устах”⁶⁷.

Вероятно, реагируя на эти вспышки неповиновения, НКВД начал относиться к забастовкам и политическим голодовкам более серьезно. Со второй половины 30-х годов участникам таких акций начали давать дополнительные сроки и даже выносить приговоры к высшей мере. При всей серьезности голодовки отказ от работы карался наиболее сурово, поскольку шел вразрез с основополагающим принципом лагерной жизни. Зэк, отказывающийся от работы, не только создавал дисциплинарную проблему, но и был серьезным препятствием для выполнения лагерем производственных задач. Особенно жестоко начали карать отказчиков после 1938-го. Один бывший лагерник писал:

“Некоторые заключенные отказались выйти на работу. <...> Причина — протухшая еда. Начальство, разумеется, действовало решительно. Четырнадцать зачинщиков — двенадцать мужчин и две женщины — были расстреляны. Казнь произошла в лагере, всех заключенных построили и заставили смотреть. Потом наряды из всех барачных рыли могилы за зоной у самого ограждения. Немного шансов на новый бунт, пока память о случившемся не потускнеет...”⁶⁸.

Но даже неотвратимое наказание, даже неизбежная смерть порой не могли пересилить в заключенном потребность бунтовать, и позднее, после смерти Сталина, в лагерях произошли массовые восстания. Но даже при жизни диктатора, даже в самые жестокие и трудные военные годы бунтарский дух был жив. Яркая иллюстрация этого — история восстания в Усть-Усе в январе 1942 года.

В анналах ГУЛАГа это восстание занимает, насколько нам известно, особое место. Если при жизни Сталина были другие массовые акты неповиновения, мы пока о них не знаем. Но о восстании в Усть-Усе мы знаем очень много: искаженные версии этой истории давно уже бытуют в гулаговском фольклоре, однако в последнее время под нее подведена солидная документальная база⁶⁹.

Как ни странно, возглавил восстание не зэк, а вольнонаемный. Марк Ретюнин занимал в то время должность начальника небольшого лесозаготовительного лагпункта Лесорейд, входившего в состав Воркутлага. В лагпункте содержалось около двухсот заключенных, более половины которых составляли политические. Ретюнин имел к тому времени немалый опыт лагерной жизни: подобно многим не самым крупным лагерным начальникам, он был бывшим заключенным (отбыл десять лет за ограбление банка). Тем не менее руководство ему доверяло: начальник управления Воркутлага говорил, что Ретюнина считали “способным ради производственных интересов лагеря чуть ли не жертвовать своей жизнью”. Другие отмечали его склонность к пьянству и карточной игре — тут, возможно, сказывалось уголовное прошлое. Еще его характеризовали как

любителя поэзии, как человека сильного и решительного, как хвастуна и драчуна. Возможно, всем этим объясняется легенда, которую он по себе оставил.

Соображения, которые двигали Ретюниным, ясны не до конца. Судя по всему, на него сильно подействовало то, что после начала войны ему, вольнонаемному, запретили поехать в отпуск на родину. Афанасий Яшкин, единственный из руководителей восстания, оставшийся после его подавления живым, показал на следствии, что, по мнению Ретюнина, продвижение немцев в глубь советской территории должно было привести к расстрелу органами НКВД всех обитателей Лесорейда — и заключенных, и вольнонаемных. “А чего мы теряем, если нас и побьют, какая разница, что мы подохнем завтра или умрем сегодня, как восставшие, — говорил Ретюнин Яшкину. — <...> Существующая сейчас власть всех заключенных по контрреволюционным статьям перестреляют, в том числе и нас, задержанных вольнонаемных”. Полностью параноидальными эти суждения назвать нельзя: Ретюнин был в Воркутлаге в 1938 году и наверняка знал, что органы НКВД способны на массовое убийство. Почему, спрашивается, ему самому, несмотря на должность начальника лагпункта, совсем недавно не разрешили съездить в отпуск?

Подробности подготовки восстания нам неизвестны. Письменных свидетельств Ретюнин, естественно, не оставил. Однако события как таковые показывают, что выступление было хорошо спланировано. Оно началось 24 января 1942 года во второй половине дня. Была суббота, и Ретюнин распорядился, чтобы все стрелки охраны, свободные от наряда, шли мыться в баню. Заведующий баней китаец Лю Фа, который участвовал в заговоре, запер их там. Другие повстанцы тем временем разоружили остальных стрелков, один из которых оказал сопротивление и был убит, еще один ранен. Все оружие — двенадцать боевых винтовок и четыре револьвера — перешло в руки восставших.

Ретюнин велел открыть склад и раздать заключенным новую теплую одежду и валенки. Он призвал всех присоединиться к восстанию, и многие согласились, но часть зэков, испугавшись последствий или же понимая безнадежность такого мятежа, отказалась. Некоторые пытались отговорить восставших от его продолжения. Так или иначе, примерно в пять вечера, через час после начала восстания, около ста мятежников организованно двинулись к близлежащему райцентру Усть-Уса.

В первый момент местные жители, введенные в заблуждение хорошей одеждой пришедших, не поняли, кто к ним явился и что происходит. Мятежники, разбившись на группы, одновременно напали на райотделение связи и местное отделение НКВД с камерами пред-

варительного заключения. Обе атаки были успешными. Повстанцы освободили содержащихся в КПЗ заключенных, и двенадцать из них примкнули к восстанию. Захватив отделение связи, мятежники уничтожили там всю аппаратуру и перерезали телефонные линии. Усть-Уса оказалась у них в руках.

Повстанцам было оказано сопротивление. В райотделении НКВД отказывались сдаваться некоторые сотрудники милиции. На маленьком аэродроме, где находилось два самолета, отстреливались охранник и пилот. Одному милиционеру удалось бежать в соседний лагпункт Поля-Курья и сообщить о случившемся. Там началась паника. Начальник лагпункта, решив, что пришли немцы, немедленно приказал всем заключенным разуться, чтобы они не могли бежать. Пятнадцать бойцов ВОХР отправились из Поля-Курья в Усть-Усу, думая, что идут защищать родину.

В Усть-Усе завязался бой. Разоружив некоторых милиционеров, повстанцы пополнили свой арсенал. Но они недооценили боевой дух защитников райотделения НКВД. Бой продолжался до полуночи, и повстанцы понесли серьезные потери. Девять из них было убито, один ранен, сорок задержано. Остальные изменили план. Они покинули Усть-Усу и двинулись к станции Кожва. Но они не знали, что по спрятанной в лесу радиостанции власти Усть-Усы уже запросили помощь. Все пути постепенно перекрывались стрелками ВОХР.

Тем не менее поначалу повстанцам в какой-то мере сопутствовала удача. В поселке, куда они пришли из Усть-Усы, они не встретили реального сопротивления. Они пытались уговорить местных жителей присоединиться к восстанию, но безуспешно. Прослушав на почте телефонные переговоры, они узнали, что повсюду уже стоят заградительные отряды. Тогда они отправились в лес по оленьей тропе и заняли оборону около стоянки оленесовхоза. Утром 28 января их там обнаружили, и начался новый бой с большим количеством жертв с обеих сторон. К ночи оставшиеся в живых повстанцы, разбившись на группы, ушли в разных направлениях. Основная группа (около тридцати человек) укрылась в охотничьей избушке. Боеприпасы были на исходе, и, хотя повстанцы решили сопротивляться до последнего, шансов у них не было. У других групп в сильный мороз на открытой местности тоже не было шансов.

Последний бой начался 1 февраля и продолжался почти сутки. Видя безнадежность своего положения, некоторые мятежники, в том числе Ретюнин, покончили с собой. Стрелки вылавливали повстанцев в лесу по одному. Их трупы были свалены в кучу. В пылу ненависти вохровцы глумились над ними, а потом сфотографировали их. На снимках, сохранившихся в региональном архиве, тела в странных, искривленных позах, окровавленные и засыпанные сне-

гом. Сведений о том, где похоронили мятежников, не осталось. Согласно легенде, их трупы сожгли на месте.

Тех, кого захватили живыми, отправили по воздуху в Сыктывкар, столицу Коми АССР, и немедленно начали допрашивать. После следствия с применением пыток, длившегося полгода с лишним, девятнадцать человек получили новые сроки, а сорок девять были расстреляны 9 августа 1942 года.

Жертв среди защитников советского правопорядка тоже было много. Но НКВД обеспокоила не только гибель нескольких десятков вохровцев и гражданских лиц. Согласно документам, Яшкин “признался”, что целями Ретюнина были свержение советской власти на всем Севере, установление фашистского строя и союз с нацистской Германией. Зная, как добывались в СССР показания подсудимых, верить этому трудно. И все же восстание в Усть-Усе не было рядовым бунтом уголовников: отчетливо видно, что оно было политически мотивировано и носило открыто антисоветский характер. Его участники не укладываются в расхожие представления о вооруженных беглых уголовниках: большинство из них составляли политические. В НКВД понимали, что слухи о восстании быстро достигнут многих близлежащих лагерей, где в военные годы процент политических был особенно велик. Некоторые и тогда и позже подозревали, что немцы знают о воркутинских лагерях и намереваются использовать их как “пятую колонну”, если им удастся так далеко вторгнуться в советскую территорию. Слухи о том, что немцы засылали туда на парашютах своих агентов, бытуют по сей день.

Боясь повторения, Москва приняла меры. 20 августа 1940 года во все лагеря и колонии ГУЛАГа была разослана из центра докладная записка “Об усилении контрреволюционных проявлений в ИТЛ НКВД”. Она требовала в двухнедельный срок провести повсеместные “изыятия контрреволюционного и антисоветского элемента”. После этого по всем лагерям страны начались расследования. Было выявлено немало “контрреволюционных повстанческих организаций”, в частности, “Комитет народного освобождения” на комбинате “Воркутауголь”, “Русское общество мщения большевикам” в колонии под Омском. В одном отчете за 1944 год говорилось, что в течение 1941–1944 годов в лагерях и колониях ликвидированы 603 повстанческие организации и группы, активными участниками которых являлись 4640 человек⁷⁰.

Несомненно, в подавляющем большинстве своем эти “организации” были вымышленными, дела об их ликвидации были сфабрикованы с тем, чтобы создать видимость успешной агентурной работы. И тем не менее власти боялись не зря: восстание в Усть-Усе поистине стало предвестием будущих событий. Несмотря на поражение,

оно не было забыто, как не было забыто мученичество расстрелянных социалистов и троцкистов. Десятилетие спустя заключенные нового поколения, изменив тактику в условиях другой эпохи, начнут там, где кончили участники восстания и голодовок, взяв на вооружение политическую забастовку.

Строго говоря, приведенные здесь истории о сопротивлении скорее связаны с последующими главами этой книги, чем с предыдущими. Они выбиваются из рассказа о лагерной жизни в период наивысшего могущества ГУЛАГа. В большей степени они составляют часть последующего рассказа о том, как ГУЛАГу пришел конец.

Часть третья

Подъем и упадок ГУЛАГа.
1940—1986 гг.

Глава 19

Война

*Я был солдат, теперь острожник.
Мой скован дух, мой нем язык.
Какой поэт, какой художник
Мой страшный плен отобразит!*

*И злые вороны не знали,
Какой урок давали нам,
Когда пытали нас и гнали
По тюрьмам, ссылкам, лагерям.*

*Но чудо! Над каменоломней
Звезда свободная горит.
Хоть дух мой скован — он не сломен,
Хоть нем язык — заговорит!*

Леонид Ситко, 1949 г.

Жители западных стран, как правило, считают началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года — дату вторжения Германии в западную Польшу. Но в историческом сознании русских ни этот день, ни 17 сентября 1939-го, когда СССР вторгся в Польшу с востока, не запечатлелись как начало великой бойни. При всем его драматизме это совместное нападение, согласованное заранее в ходе переговоров, которые привели к заключению пакта между Гитлером и Сталиным, не затронуло непосредственно большинство советских граждан.

Но ни один из жителей СССР не забыл 22 июня 1941 года, когда Гитлер внезапным нападением привел в действие план “Барбаросса”. Карло Стайнер, который был тогда заключенным Норильлага, услышал об этом по лагерному радио: “Внезапно музыка смолкла, и мы услышали голос Молотова, говорившего о “вероломном нападении” немцев на Советский Союз. После нескольких слов трансляция окончилась. В бараке, где было около ста человек, установилась мертвая тишина. Все смотрели друг на друга. Сосед Василия сказал: «Ну все, нам теперь крышка»”¹.

Привыкшие думать, что любое крупное политическое событие приносит экам дополнительные беды, политзаключенные восприняли весть о вторжении с особым ужасом. И не без оснований: “врагов народа”, на которых немедленно стали смотреть как на потенциальную “пятую колонну”, в некоторых случаях сразу отделили для более суровых репрессий. Часть из них (количество пока неизвестно) расстреляли. Стайнер пишет, что уже на второй день войны рацион лагерников был урезан: “Сахар выдавать перестали, и даже

норма выдачи мыла была уменьшена вдвое”. На третий день войны всех заключенных иностранного происхождения начали собирать и переводить в другие места. Стайнера, который был подданным Австрии и при этом считал себя югославским коммунистом, отправили из лагеря в тюрьму. Его дело вновь начали расследовать.

То же самое происходило по всему ГУЛАГу. В Устьвымлаге в первый же день войны запретили переписку, газеты, отменили посылки, сняли все репродукторы². То же самое произошло на Колыме. Повсюду ужесточились обыски, удлинились утренние поверки. Для заключенных из немцев создавались особые бараки с усиленным режимом. “А ну, все, кто на БЕРГИ, на БУРГИ, на ШТЕЙНЫ всякие — влево давай! Которые вообще там разные Гин-ден-бург-и или Дит-ген-штейны...” — услышала однажды на разводе Евгения Гинзбург. Она кинулась в учетно-распределительную часть и уговорила инспекторшу “«поднять дело», установить гражданство и национальность. <...> Первый раз в мировой истории оказалось выгодно быть еврейкой!”³.

В Карлаге всех заключенных финского и немецкого происхождения поначалу убрали с лесопильного завода. Один бывший лагерник из американских финнов вспоминал: “Через пять дней завод остановился: финны и немцы были единственными специалистами, знавшими дело. <...> Без всяких разрешений Москвы нас вернули на завод”⁴.

Наиболее драматическими переменами обернулась для тех, кого она касалась, директива от 22 июня 1941 года, предписывавшая “прекратить освобождение из лагерей, тюрем и колоний контрреволюционеров, бандитов, рецидивистов и других опасных преступников”. Заключенные называли это “пересидкой” или “новым сроком”, хотя их задерживали в лагерях по административному распоряжению, а не по приговору суда. Согласно архивным данным, под действие директивы сразу же подпало 17 000 человек. В ходе войны эта цифра все росла⁵. Обычно это происходило без предупреждения: накануне истечения срока заключенному, осужденному по 58-й статье, давали расписаться в том, что он остается в лагере “до окончания войны” или “до особого распоряжения”⁶. У многих создалось впечатление, что они не выйдут на свободу никогда. “Когда была война, из лагеря никого не освобождали”, — вспоминала одна бывшая заключенная⁷.

Самым трагичным было положение матерей. Одна полячка, прошедшая ГУЛАГ, вспоминала о женщине, которой пришлось оставить ребенка в детском доме. В лагере она жила только надеждой на воссоединение с ним. Вот, наконец, близится день освобождения, но ей объявляют, что ее не выпустят из-за войны. “Она бросила работу и, рухнув на стол, принялась не рыдать даже, а выть как дикое животное”⁸.

Ольга Адамова-Слиозберг рассказывает о Наде Федорович, которую должны были выпустить 25 июня 1941 года. На воле ее ждал сын. Мальчик жил у родственников, которые тяготились им. В письмах она просила его “не ссориться с родней, потерпеть немного”. Узнав, что ее задерживают “до особого распоряжения”, она написала об этом сыну, но он не ответил — цензура не пропустила Надино письмо, о чем она не знала. “Вдруг зимой 1942 года получает письмо от неизвестного человека, который подобрал Борю на полустанке где-то около Иркутска, в жестоком воспалении легких, взял к себе и уходил. Он упрекал Надю, что она, освободившись, забыла сына, что она дурная мать, наверное, вышла замуж и живет себе, поживает, в то время как ее четырнадцатилетний мальчик, проехав зайцем изпод Рязани до Иркутска, погибает от голода”.

Надя пыталась получить разрешение написать сыну, но тщетно: переписка была прекращена “до особого распоряжения”. Потом оказалось, что сын попал в банду уголовников и в 1947 году был отправлен на Колыму с пятилетним сроком⁹.

Чем дольше шла война, тем тяжелее становилась жизнь для тех, кто оставался за колючей проволокой. Был установлен более длинный рабочий день. Отказ от работы считался теперь не просто нарушением закона, а актом измены. В январе 1941-го тогдашний начальник ГУЛАГа Василий Чернышов направил всем начальникам управлений лагерей и колоний приказ, где говорилось о судьбе двадцати шести заключенных. “Решениями Верховного трибунала войск НКВД за нарушения лагерного режима и систематические отказы от работ” двадцать один человек был приговорен к расстрелу, остальные пять — к добавочным десяти годам. Все аналогичные приговоры Чернышов потребовал впредь “объявлять всем заключенным лагерей и исправительно-трудовых колоний”¹⁰.

В лагерях очень быстро поняли, что к чему. Все заключенные, пишет Герлинг-Грудзинский, прекрасно знали, что “к самым тяжким преступлениям, какие можно было совершить в лагере после 22 июня 1941 года, принадлежали распространение пораженческих настроений и отказ от выхода на работу, который в рамках чрезвычайного оборонного законодательства расценивался как саботаж обороны страны”¹¹.

Эта политика, наряду с повсеместной нехваткой продовольствия, привела к тяжелым последствиям. Хотя массовые расстрелы заключенных не были в годы войны таким обычным явлением, как в 1937 и 1938-м, смертность в лагерях в 1942–1943 годах была наивысшей в истории ГУЛАГа. По гулаговской статистике, которая почти наверняка преуменьшает масштаб бедствия, в 1942 году умерло 352 560 заключенных (один из четырех). В 1943-м — 267 826 (один из пяти)¹². Больных заключенных по официальным данным в 1943 году было

22 процента, в 1944-м — 18. Цифры скорее всего сильно занижены: в лагерях свирепствовали тиф, дизентерия и другие инфекционные заболевания¹³.

В январе 1943 года положение стало настолько тяжелым, что советское правительство создало для ГУЛАГа специальный продовольственный “фонд”: пусть ээки и были “врагами народа”, но они были нужны для военного производства. После перелома в войне с едой стало полегче, и все же в конце войны калорийность питания заключенных была, согласно нормам довольствия, на треть меньше, чем в конце 30-х¹⁴. В целом за военные годы в лагерях и колониях ГУЛАГа погибло более двух миллионов человек, причем в эту цифру не входят умершие в тюрьмах и в ссылке. Более десяти тысяч было расстреляно “по решениям судебных органов и Особого совещания — в основном за отказ от работы, побеги и антисоветскую агитацию”¹⁵.

Чтобы читатель правильно понимал эти цифры и эти перемены, нужно сказать, что “свободное” население СССР тоже терпело во время войны суровые лишения и что вольнонаемные работники тоже должны были подчиняться крайне жестким правилам военного времени. Еще в 1940 году, после советского вторжения в Польшу и Прибалтику, Верховный совет установил во всех предприятиях и учреждениях восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю с одним днем отдыха. Рабочим и служащим запретили самовольный уход из предприятий и учреждений и самовольный переход на другую работу. Нарушение запрета каралось тюремным заключением. Выпуск “недоброкачественной или некомплектной” продукции был объявлен “противогосударственным преступлением, равносильным вредительству”. Ужесточились наказания за другие проступки. За мелкую кражу на предприятии или в учреждении (инструментов, бумаги, карандашей) стали приговаривать как минимум к году тюрьмы¹⁶.

Вне лагерей голодали почти так же сильно, как в лагерях. Во время блокады Ленинграда хлебная пайка уменьшилась до ста граммов в день — прожить на этом было невозможно. Холодной северной зимой люди жили без отопления. Ловили птиц и крыс, забирали еду у умирающих детей, ели трупы, убивали людей за хлебные карточки. “В своих квартирах люди боролись за жизнь, как борются погибающие полярники”, — писала Лидия Гинзбург¹⁷.

Ленинград голодал не один. В документах НКВД за апрель 1945 года говорится о массовом голоде в Узбекистане, в Кабардинской, Бурят-Монгольской и Татарской АССР. Больше всего страдали семьи военнослужащих, лишившиеся кормильца. Голод поразил и Украину: там даже в 1947 году отмечались случаи людоедства¹⁸. В СССР было официально объявлено, что страна потеряла за годы войны

двадцать миллионов человек. В 1941–1945 годах ГУЛАГ не был в стране единственным источником массовых захоронений.

Начало войны ознаменовалось не только ужесточением режима, но и неразберихой. Немцы продвигались с головокружительной быстротой. За первые четыре недели войны почти все брошенные в бой советские части были уничтожены¹⁹. К осени нацисты заняли Киев, блокировали Ленинград и подошли к Москве.

Западные подразделения ГУЛАГа были сметены в первые же дни войны. Тюрма на Соловках была закрыта в 1939-м, заключенных перевели в тюрьмы на материке: Соловки были слишком близко от финской границы²⁰. (Либо в ходе эвакуации, либо во время последовавшей финской оккупации архив лагеря исчез. Скорее всего, он был уничтожен в обычном порядке, но ходят неподтвержденные слухи, что его забрали финские военные и он по сей день находится в каком-то сверхсекретном правительственном хранилище в Хельсинки²¹.) В июле 1941-го начальство Белбалтлага получило указание немедленно эвакуировать всех заключенных, но лошадей и скот оставить для Красной Армии. Неизвестно, успели ли красноармейцы до прихода немцев ими воспользоваться²².

В других местах в органах НКВД просто-напросто началась паника. В наибольшей степени она проявилась в недавно оккупированных районах восточной Польши и странах Прибалтики, где тюрьмы были переполнены политзаключенными. Эвакуировать их у НКВД не было времени, но оставлять “антисоветских террористов” в распоряжении немцев тоже не представлялось возможным. В первый же день войны войска НКВД начали расстреливать заключенных в тюрьмах Львова — польско-украинского города, который стал прифронтовым. Тем временем город охватило восстание украинских националистов, и чекистам пришлось покинуть тюрьмы. Ободренная внезапным отсутствием охраны и приближающейся канонадой, часть заключенных тюрьмы Бригидки в центре Львова вырвалась на свободу. Другие побоялись выходить, думая, что охранники могут стоять за воротами и дожидаться предлога расстрелять беглецов.

Оставшиеся дорого заплатили за свою нерешительность. 25 июня войска НКВД, усиленные пограничниками, вернулись в Бригидки, освободили “социально близких” уголовников, а оставшихся политических расстреляли. Стрельбу заглушал шум машин, двигавшихся по улице. Заключенных других городских тюрем постигла такая же участь. В общей сложности органы НКВД убили во Львове около 4000 заключенных. Времени оставалось мало, и в массовых захоронениях трупы были едва присыпаны²³.

Подобные зверства происходили во всех приграничных районах. При эвакуации органы НКВД оставили в местах заключения около

21 000 арестантов, 7000 было освобождено. Но в десятках польских и прибалтийских городов и деревень, в частности, в Вильно (Вильнюсе), Дрогобыче, Пинске, отступающие чекисты и красноармейцы уничтожили примерно 10 000 заключенных²⁴. Их расстреливали в камерах, в тюремных дворах, в близлежащих лесах. Войска НКВД, уходя, сжигали дома и убивали гражданских лиц; иногда расстреливали владельцев тех самых домов, где они перед этим квартировали²⁵.

Подальше от границы, где на подготовку было больше времени, ГУЛАГ попытался наладить упорядоченную эвакуацию заключенных. Три года спустя в длинном напыщенном докладе “О работе ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)” тогдашний начальник ГУЛАГа Виктор Наседкин сказал, что эта эвакуация “в основном была проведена организованно”. Ее планы, заявил он, разрабатывались ГУЛАГом “в увязке с перебазированием промышленности”. При этом “в связи с известными транспортными затруднениями значительная масса заключенных эвакуировалась пешим порядком”²⁶.

На самом деле никаких планов эвакуации не было, она проводилась в лихорадке и панике, нередко под немецкими бомбами. “Известные транспортные затруднения” означали, что люди задохнулись до смерти в переполненных вагонах, что немецкая авиация уничтожала их в пути. Поляк Януш Пучиньский, арестованный и депортированный 19 июня, чудом спасся вместе с матерью, братьями и сестрами из горящего поезда, который вез заключенных. Он вспоминает: “Раздался сильный взрыв, и поезд остановился. Люди начали выпрыгивать из вагонов. <...> Я увидел, что поезд стоит в глубокой длинной впадине. Я подумал — все, мне отсюда не выбраться. Самолеты ревели над головой, ноги были как ватные. Каким-то образом я взобрался по откосу и побежал к лесу, до которого было метров 200–250. Там я обернулся и увидел позади себя, на открытом месте, множество людей. В этот миг появилось следующее звено самолетов, и с них по людям начали стрелять...”²⁷.

Под бомбежкой попал и эшелон с заключенными из тюрьмы в Коломие. Некоторые из них погибли, но почти триста человек разбежались. Конвоиры задержали сто пятьдесят из них, но затем отпустили. Как они сами объяснили, им нечем было кормить арестантов и негде их держать. Все местные тюрьмы подлежали эвакуации²⁸.

Воздушный налет на арестантский эшелон был, впрочем, событием не слишком частым, поскольку заключенных обычно эвакуировали пешком. К примеру, при эвакуации одной сельхозколонии “семьями и багажом руководящего состава <...> был занят, по существу, весь незначительный гужтранспорт колонии”²⁹. В других случаях по причинам как практическим, так и пропагандистским приоритет перед людьми имело промышленное оборудование. Страна получила жестокий удар на западе, но ее руководители по-

обещали наладить производство к востоку от Урала³⁰. Неудивительно, что “значительная масса” (а лучше сказать — подавляющее большинство) заключенных, передвигавшаяся, по словам Наседкина, “пешим порядком”, перенесла все ужасы изнурительных переходов, описания которых зловеще напоминают описания передвижения узников нацистских концлагерей четыре года спустя. “Транспорта у нас нет, — сказал начальник кировоградской тюрьмы заключенным после страшной бомбежки. — Дойдет тот, кто дойдет. Протезы — не протезы, все будут идти. Того, кто идти не сможет, — пристрелим. Мы немцам никого не оставим. Так что учтите: вы — хозяева своей жизни. Пока — вы”³¹.

И люди шли, хотя многим не было суждено добраться до места назначения. Быстрое продвижение немцев нервировало чекистов, а когда они нервничали, они начинали стрелять. 2 июля на восток пешим порядком двинулись 954 заключенных из тюрьмы в Черткове на Западной Украине. По пути возглавлявший этап сотрудник НКВД, согласно обнаруженной в архиве докладной записке, приказал расстрелять “123 заключенных — членов «ОУН»” якобы “при попытке восстать и бежать”. После более чем двух недель ходьбы, когда наступающие немцы находились на расстоянии 20–30 километров, он приказал расстрелять почти всех остальных³².

Тем, кто избежал расстрела, иной раз приходилось немногим лучше. Наседкин писал: “Аппараты ГУЛАГа в тыловых районах были мобилизованы на обеспечение проходивших эшелонов и этапов заключенных медико-санитарным обслуживанием и питанием”³³. А вот как описывает эвакуацию из кировоградской тюрьмы М. Штейнберг, политическая заключенная, арестованная в 1941 году по второму разу: “Все было ослепительно залито солнцем. В полдень оно стало невыносимым. Ведь это Украина, август месяц. Было примерно 35° жары. Шло огромное количество людей, и над этой толпой стояло море пыли, марево. Дышать было не просто нечем, дышать было невозможно. <...>

В руках у каждого был узел. Несла и я свой. Взяла с собой даже телогрейку. Без телогрейки очень трудно прожить заключенному. Это и подушка, и подстилка, и укрытие — все. Ведь в подавляющем большинстве тюрем нет ни коек, ни матрацев, ни белья.

Но когда мы по этой жаре прошли 30 километров, я свой узел тихонько положила на обочину. Ничего себе не оставила, ни ниточки. Поняла, что мне уже ничего не донести. Так же поступило огромное большинство женщин. Но те, кто не бросил свои узлы после первых 30 км, бросили их после 130 км. До места никто ничего не донес. Когда прошли еще 20 км, я сняла туфли и бросила их. <...>

...После Аджамки я 30 километров тянула за собой мою сокамерницу Соколовскую. Это была старая женщина, лет под семьдесят,

совершенно седая <...> Ей было очень трудно идти. Она цеплялась за меня и все говорила про свою 15-летнюю внучку, с которой жила. Последним страхом в жизни Соколовской был страх, что эту внучку тоже возьмут. Мне было тяжело тащить ее за собой, и я сама стала падать. Она говорит: “Ну, отдохни немного, я пойду одна”. И тут же отстала на два метра. Мы шли последними. Когда я почувствовала, что она отстала, я обернулась, хотела взять ее — и увидела, как ее убили. Ее закололи штыком. Со спины. Она не видела. Но, видно, хорошо закололи. Она даже не шелохнулась. После я думала, что она умерла более легкой смертью, чем все остальные. Она не видела этого штыка. Она не успела испугаться”³⁴.

В общей сложности органы НКВД эвакуировали 750 000 человек из 27 лагерей и 210 колоний³⁵. Еще 140 000 были эвакуированы из 272 тюрем и отправлены в другие тюрьмы на востоке страны³⁶. Многие из этих людей — сколько, мы не знаем — не добрались до места назначения.

Глава 20 “Чужие”

*Ивы всюду ивы...
В инее как ты красива, алма-атинская ива.
Но если тебя забуду, сухая ива с улицы Розбрат,
Рука моя пусть отсохнет!
Горы всюду горы...
Тянь-Шань предо мною плывет лиловый —
Пена из света, камень из красок, блекнет и тает —
но если тебя забуду, вершина Татр далеких,
Белый Поток, где с сыном о плавнях мы мечтали,
а нас провожал улыбкой наш добрый домашний ангел, —
Пусть превращусь я в тянь-шаньский камень!
<...>
Если Тебя я забуду...
Если я Вас забуду...*

Александр Ват. “Ивы в Алма-Ате”. Январь 1942 г.
(Пер. с польского Н. Астафьевой¹)

С первых дней ГУЛАГа в его лагерях всегда содержалось немалое число иностранцев. Большею частью это были западные коммунисты и коминтерновцы, но иной раз там оказывались и англичанки и француженки, вышедшие замуж за советских граждан, и оказавшиеся в СССР коммерсанты. К ним относились как к диковинкам, как к редким птицам — и все же коммунистическое прошлое и опыт советской жизни помогали им освоиться в лагерях. Лев Разгон писал: “Все они были своими, потому что они или родились и выросли здесь, или же приехали и жили в нашей стране по своей собственной воле. Даже в том случае, когда они очень плохо говорили по-русски, а то и вовсе не говорили,— они были своими. И в лагерном котле они очень быстро растворялись и переставали казаться чужеродными. Те из них, кто выжил в первые год-два лагерной жизни, выделялись среди нас, “своих”, разве что плохим языком”².

Совсем иначе обстояло дело с иностранцами, которых посылали в ГУЛАГ начиная с 1939 года. На вновь присоединенных территориях многонациональной восточной Польши, Бессарабии и Прибалтийских стран органы НКВД в больших количествах выхватывали из буржуазной или крестьянской среды поляков, латышей, литовцев, эстонцев, украинцев, белорусов, молдаван и отправляли их в лагеря или ссылку. Противопоставляя их “своим” иностранцам, Разгон называет их “чужими”. Это были “люди другой страны, другой национальности, которых занесла к нам непонятная им, чужая и враждебная сила истории”. Их мгновенно можно было узнать по

внешнему виду. “Об их прибытии в Устьвымлаг, еще до появления их на Первом лагпункте, сигнализировало появление у блатных экзотической одежды: молдаванских мохнатых высоких шапок и цветных кушаков, буковинских расшитых меховых безрукавок, модных пиджаков в талию с высоко поднятыми плечами”³.

Аресты на оккупированных территориях начались сразу же после советского вторжения в восточную Польшу в сентябре 1939-го и продолжились после вторжений в Румынию и Прибалтику. Целями НКВД были безопасность (предотвращение восстаний и возникновения “пятой колонны”) и советизация. Поэтому в первую очередь забирали тех, кого считали потенциальными оппонентами советского режима. В их число попали не только люди, работавшие в польских органах власти, но и торговцы и бизнесмены, поэты и писатели, зажиточные крестьяне — словом, те, чей арест в наибольшей мере мог способствовать психологическому подавлению населения восточной Польши⁴. Хватали также беженцев из оккупированной немцами западной Польши, среди которых были тысячи евреев, спасавшихся от Гитлера.

Позднее критерии для ареста стали более точными (в той мере, в какой могли быть точными критерии для ареста в СССР). В “Директиве о выселении социально-чуждого элемента из республик Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии”, датированной маем 1941 года, говорилось, что выселению подлежат “активные члены к/р организаций” (то есть политических партий) и члены их семей; бывшие жандармы, охранники, полицейские и тюремщики; бывшие крупные помещики, торговцы, фабриканты; бывшие офицеры, “в отношении которых имелись компроматериалы”; члены семей всех вышеперечисленных; репатрианты из Германии; “беженцы из бывшей Польши, отказавшиеся принять советское гражданство”; и наконец, уголовный элемент и проститутки⁵.

В другой директиве, изданной в ноябре 1940 года и касающейся Литвы, сказано, что, помимо указанных категорий, выселяются лица, часто выезжавшие за границу, лица, состоящие в переписке или поддерживающие контакты с иностранцами, эсперантисты, филателисты, сотрудники Красного Креста, беженцы, контрабандисты, лица, исключенные из коммунистической партии, священники и активные члены религиозных объединений, аристократы, землевладельцы, богатые коммерсанты, банкиры, промышленники, владельцы гостиниц и ресторанов⁶.

Аресту подлежали все, кто нарушал советские законы, в том числе законы, запрещавшие “спекуляцию” (т. е. фактически всякую торговлю), и все, кто пытался перейти через советскую границу в Венгрию или Румынию.

Масштабы депортаций были таковы, что советским оккупационным властям очень быстро пришлось отказаться даже от видимости законности. Лишь очень немногие из взятых на новых западных территориях прошли через следствие и суд и получили приговор. Вместо этого была снова взята на вооружение “административная высылка”, практиковавшаяся еще в царской России и использованная затем против “кулаков”. “Административная высылка” означала простую вещь. Сотрудники НКВД приходили в дом и приказывали людям собираться. Иногда на сборы давали день, иногда несколько минут. Людей на грузовиках везли на станцию, сажали в вагоны, и эшелон отправлялся. Не было ни ареста, ни суда — вообще никакой официальной процедуры.

Количество высланных было огромно. Согласно оценкам историков, на оккупированных территориях восточной Польши по обвинению в контрреволюционных преступлениях было арестовано около 108 тысяч человек. Этих людей отправили в лагерь. Еще 320 тысяч граждан довоенной Польши были высланы в “спецпоселки” (некоторые из них построили “кулаки”) в северных и восточных районах СССР⁷. К ним нужно добавить 96 тысяч арестованных и 160 тысяч высланных граждан прибалтийских стран и 36 тысяч молдаван⁸. Совокупное действие депортаций и войны на демографическую ситуацию в Прибалтике было колоссальным: например, население Эстонии между 1939 и 1945 годом сократилось на 25 процентов⁹.

История этих депортаций, как и история высылки “кулаков”, отлична от истории ГУЛАГа как такового, и, как я уже сказала, исчерпывающий рассказ об этом массовом выселении семей лежит за пределами моей книги. Однако полностью отграничить одно от другого невозможно. Очень часто трудно понять, почему “органы” из двух людей с похожими биографиями одного решали выслать, а другого арестовать и отправить в лагерь. Иногда муж оказывался в лагере, а жена и дети — в “спецпоселке”. Или сына арестовывали, а родителей высылали. Некоторые, отбыв лагерный срок, затем отправлялись в ссылку и соединялись с депортированными ранее членами своей семьи.

Помимо устрашения, у депортаций была и другая цель, связанная с реализацией грандиозного плана Сталина — заселить север страны. Места для “спецпоселков”, как и для лагерей ГУЛАГа, намеренно выбирались в отдаленных районах, и они создавались в расчете на постоянное проживание. Многим депортируемым чекисты говорили, что они никогда не вернутся обратно, в эшелонах их поздравляли как “новых граждан” СССР¹⁰. В “спецпоселках” местные начальники часто говорили ссыльным, что Польша, ныне разделенная между Германией и Советским Союзом, никогда больше не будет существовать. Один советский учитель сказал польской

школьнице, что возрождение Польши не более вероятно, чем то, что “у тебя на ладонях вырастут волосы”¹¹. Между тем в городах и деревнях, откуда выселяли людей, шла конфискация и перераспределение их имущества. Их дома превращали в общественные учреждения — школы, больницы, родильные дома; домашнюю обстановку и утварь (вернее, ту ее часть, которую не разворовали соседи и сотрудники НКВД) использовали для детских домов, яслей, больниц, школ¹².

Ссылные страдали едва ли не больше, чем их соотечественники, оказавшиеся в лагерях. Там хотя бы была ежедневная пайка хлеба и место на нарах. Депортированные зачастую не получали даже этого. Их привозили на голое место или в крохотные поселки в северной России, Казахстане, Средней Азии, где нередко они не имели никаких средств к пропитанию. Тем, кто попал в первую волну депортаций, запрещали брать с собой что-либо из кухонной утвари, одежды, инструментов. Только в ноябре 1940 года Главное управление конвойных войск НКВД отменило эту практику: даже советским властям стало ясно, что отсутствие у высланных самого необходимого ведет к высокой смертности, и, как я уже писала, сотрудникам на местах было велено говорить депортируемым, чтобы они брали с собой теплых вещей на три года¹³.

Тем не менее многие высланные ни физически, ни психологически не были готовы к жизни в лесу или в колхозе. Сам пейзаж казался чужим и мрачным. Одна женщина описала в дневнике то, что она видела в окно вагона: “Нас везут через бескрайние просторы. На этой громадной равнине населенные пункты попадаются лишь изредка. Неизменно мы видим грязные и убогие глинобитные хаты с соломенными крышами и маленькими окошками. Ни заборов, ни деревьев...”¹⁴.

Впечатление от места назначения обычно было еще более тяжелым. Многие ссылные были в прошлом юристами, врачами, владельцами магазинов, коммерсантами, привыкшими к городской жизни и относительному комфорту. А вот что говорится об устройстве поселенцев с “новых” западных территорий, размещенных в переполненных летних бараках и землянках, в докладной записке за сентябрь 1941-го: “Помещения загрязнены, в результате среди ссыльнопоселенцев имеют место заболевания и смертность, особенно среди детей. <...> Основная масса поселенцев не имеет совершенно теплой одежды и к жизни в зимних условиях не приспособлена”¹⁵.

В последующие месяцы и годы страдания людей только возрастали, о чем свидетельствует одно примечательное собрание документов. После войны польское правительство в изгнании собрало и сохранило детские “мемуары” о депортации. Эти воспоминания

лучше, чем какие бы то ни было записки взрослых, демонстрируют испытанные людьми культурный шок и физические лишения. Один польский подросток, которому во время “ареста” было тринадцать лет, писал: “Было нечего есть. Люди ели крапиву, опухали от нее и отправлялись в мир иной. Нас заставляли ходить в русскую школу, а кто отказывался, тем не давали хлеба. Нас учили, что нельзя молиться Богу, что Бога нет, но после урока мы все встали и начали молиться. Тогда начальник поселка посадил меня в тюрьму”¹⁶.

Другие детские рассказы дают представление о страданиях родителей. “Мама хотела убить себя и нас, чтобы так не мучиться, но когда я сказал ей, что хочу увидеть папу и вернуться в Польшу, она приободрилась”, — писал мальчик, высланный в восьмилетнем возрасте¹⁷. Но не все матери были способны преодолеть уныние. Другой юноша, депортированный в четырнадцать лет, написал, как его мать попыталась покончить с собой: “Мама пришла в барак, взяла веревку, кусок хлеба и пошла в лес. Я хотел ее задержать, но она была в отчаянии, ударила меня веревкой и ушла. Через несколько часов маму нашли на елке, она накинула себе на шею петлю. Под деревом стояли девочки, мама подумала, что это мои сестры, и хотела что-то сказать, но они подняли шум, позвали коменданта, он вытащил из-за пояса топор и срубил елку. <...> Мама уже была не в себе, выхватила у коменданта топор и ударила его по спине, комендант упал. <...>

На другой день маму отвезли в тюрьму за сотни километров. Я понимал, что надо работать, и продолжал трелевать лес. У меня была лошадь, но она падала вместе со мной. Я месяц трелевал лес, а потом заболел и не мог работать. Комендант сказал продавцу, чтобы не давал нам хлеба, но продавец жалел детей и давал нам хлеб тайком. <...> Вскоре мама вернулась из тюрьмы с обмороженными ногами, лицо в морщинах...”¹⁸.

Однако не все матери оставались в живых. Вот еще одни детские воспоминания: “Мы приехали в поселок, и на второй день нас отправили работать. Работали с утра до ночи. Когда приходил день поллучки, десять рублей за пятнадцать дней было самое большее, и через два дня даже хлеб купить было не на что. Люди умирали от голода. Ели дохлых лошадей. На такой работе мама простудилась, потому что у нее не было теплой одежды, началось воспаление легких, она болела пять месяцев с третьего декабря. Третьего апреля ее положили в больницу. В больнице ее совсем не лечили. Если бы она туда не пошла, может, осталась бы жива. Потом она пришла в наш барак в поселке и там умерла. Есть было нечего, она умерла от голода 30 апреля 1941 г. Когда мама кончалась, дома были мы с сестрой. Папы не было, он был на работе, когда мамы не стало. Он вернулся, а она была уже мертвая, она умерла от голода. А потом пришла амнистия, и мы уехали из этого ада”¹⁹.

Бруно Беттельхайм, комментируя это необычное по количеству и характеру собрание воспоминаний, попытался описать то особое отчаяние, которым они проникнуты: “Поскольку они написаны вскоре после того, как дети оказались на свободе и в безопасности, можно было бы ожидать, чтобы в записках, помимо прочего, говорилось о надежде на освобождение, если она существовала. Но о надежде речь не идет, и это значит, что у детей ее не было. У них отняли свободу выражения глубоких, нормальных чувств, принудили подавлять их ради того, чтобы выживать день за днем. Ребенок, лишенный всякой надежды на будущее, — это ребенок, живущий в аду...”²⁰.

Не менее жестокой была судьба других национальных групп, разделивших во время войны участь поляков и прибалтийцев. Это были те советские национальные меньшинства, на которые Сталин указал в начале войны как на потенциальную “пятую колонну” или обрушил свой гнев ближе к ее концу как на “пособников врага”. “Пятой колонной” были объявлены немцы Поволжья, чьих предков пригласила в Россию еще Екатерина Великая, и финноязычное население Карелии. Хотя не все приволжские немцы говорили по-немецки и не все карельские финны — по-фински, они жили более или менее компактными группами, и их обычаи отличались от обычаев русских соседей. Во время войны с Финляндией и Германией этого было достаточно, чтобы раздуть подозрения на их счет. Совершая, даже по советским меркам, чудеса логической эквилибристики, власти в августе 1941 года обвинили в предательстве всех немцев Поволжья без исключения: “По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья. О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и советской власти”²¹.

К числу “пособников врага” отнесли несколько сравнительно небольших народов — карачаевцев, балкарцев, калмыков, чеченцев, ингушей, крымских татар, турок-месхетинцев, курдов, хемшилов, а также маленькие группы греков, болгар и армян²². При жизни Сталина было официально объявлено только о депортации чеченцев и татар, причем, хотя эти народы были высланы в 1944 году, заметка в газете “Известия” появилась только в июне 1946-го: “Во время Великой Отечественной войны, когда народы СССР героически отстаивали независимость Родины в борьбе против немецко-фашистских захват-

чиков, многие чеченцы и крымские татары по наущению немецких агентов вступали в организованные немцами добровольческие отряды и вместе с немецкими войсками вели вооруженную борьбу против частей Красной Армии, а также по указке немцев создавали диверсионные банды для борьбы с советской властью в тылу, причем основная масса населения Чечено-Ингушской и Крымской АССР не оказывала противодействия этим предателям Родины.

В связи с этим чеченцы и крымские татары были переселены в другие районы СССР, где они были наделены землей с оказанием необходимой государственной помощи по их хозяйственному строительству”²³.

Данных о массовом пособничестве немцам со стороны чеченцев и татар нет, хотя немцы активно пытались вербовать представителей этих народов, не проявляя такой активности в отношении русских. Немецкие войска остановились западнее столицы Чечни Грозного, и линию фронта перешло всего несколько сотен чеченцев²⁴. В одном документе НКВД той эпохи говорится только о 335 “бандитах” в республике²⁵. Сходным образом, хотя немцы, оккупировав Крым, пытались вовлечь татар в оккупационный режим и зачисляли их в Вермахт, как зачисляли французов и голландцев, нет никаких свидетельств о том, что доля коллаборационистов среди крымских татар в ту или другую сторону отличалась от их доли среди населения других оккупированных районов СССР или стран Европы, как и о том, что татары участвовали в уничтожении крымских евреев. Один из историков указывает, что в Красной Армии во время войны состояло больше крымских татар, чем в Вермахте²⁶.

Скорее всего, главным мотивом Сталина, по крайней мере при депортации кавказцев и крымских татар, было не воздаяние им за пособничество немцам. Более вероятно, что эти этнические чистки он задумал давно и использовал войну как предлог. Об “очищении” Крыма от татар думали еще русские цари с тех самых пор, как Екатерина Великая присоединила полуостров к Российской империи. Чеченцы тоже немало досадили российским царям, а еще больше — властям СССР. В советской Чечне в первые послереволюционные годы и после коллективизации 1929-го произошел ряд антирусских и антисоветских выступлений. Еще один мятеж случился незадолго до войны, в 1940 году. Судя по всему, Сталин просто хотел избавиться от этого беспокойного, глубинно антисоветски настроенного народа²⁷.

Как и депортация из Польши, высылка немцев Поволжья, кавказцев и крымских татар происходила в огромных масштабах. К концу войны было депортировано 1,2 миллиона советских немцев, 90 тысяч калмыков, 70 тысяч карачаевцев, 390 тысяч чеченцев, 90 тысяч ингушей, 40 тысяч балкарцев и 180 тысяч крымских татар, а также 9 тысяч финнов и представителей других народов²⁸.

При таких количествах поражает быстрота депортации, превышавшая даже быстроту депортации поляков и прибалтийцев. По-видимому, она объясняется тем, что у НКВД накопился к тому моменту большой опыт. На сей раз не было никакой нерешительности насчет того, кому что можно взять с собой, кого забирать, а кого нет, какова должна быть процедура. В мае 1944 года 31 тысяча офицеров, солдат и оперативных работников НКВД осуществила депортацию 200 тысяч крымских татар в три дня, используя 100 джипов, 250 грузовиков и 67 эшелонов. Особые распоряжения, подготовленные заранее, жестко ограничивали багаж, который могла взять с собой каждая семья. Поскольку на сборы давали пятнадцать-двадцать минут, люди, как правило, не успевали собрать даже разрешенное. Подавляющее большинство крымских татар — мужчины, женщины, дети, старики — были отправлены на поездах в Узбекистан. От шести до восьми тысяч человек умерло в пути²⁹.

Чеченская операция была еще более жестокой. Многие очевидцы вспоминали, что органы НКВД использовали для депортации чеченцев американские “студебекеры”, недавно приобретенные по лендлизу и доставленные через Иран. Многие писали и о том, как чеченцы после “студебекеров” ехали в запертых вагонах. В отличие от “обычных” заключенных, в пути им не давали не только воды, но и пищи. Есть оценки, согласно которым только в этих поездах погибло 78 тысяч чеченцев³⁰.

После прибытия к месту назначения — в Казахстан, в Центральную Азию, в северные области России — тех, кого не арестовали особо и не отправили в ГУЛАГ, селили, как ранее поляков и прибалтийцев, в “спецпоселках”. Побег оттуда, как им объявили, карался двадцатилетним лагерным сроком. Переживания ссыльных разных лет тоже были во многом одинаковы. Дезориентированные, изъятые из своих сельских и родовых сообществ люди приспособились с большим трудом. Местное население смотрело на них косо, зачастую они не могли найти работы и быстро слабели и заболели. Возможно, еще сильнее был шок от непривычного климата. “Когда мы приехали в Казахстан, — вспоминал один высланный чеченец, — земля была мерзлая, твердая, и мы думали, что мы все умрем”³¹. К 1949 году умерли сотни тысяч кавказцев и от трети до половины крымских татар³².

Но, с точки зрения Москвы, между арестами и депортациями военных лет и теми, что произошли раньше, было одно важное различие — выбор объекта. Впервые Сталин подверг репрессиям не определенные категории “врагов” в масштабах страны или в рамках тех или иных “подозрительных” наций, а целые народы — мужчин, женщин, детей, стариков. На географических картах от присутствия опальных народов не должно было остаться и следа.

Вероятно, слово “геноцид” для этих депортаций не годится, поскольку массовых казней не было. Позднее Сталин искал среди этих “вражеских” групп коллаборационистов и союзников, следовательно, его ненависть не была чисто расовой. Лучше подходит определение “культурный геноцид”. Названия депортированных народов были исключены из официальных документов и даже из Большой советской энциклопедии. Административные образования, где они жили, исчезли с карт: были упразднены Чечено-Ингушская автономная республика, Автономная республика немцев Поволжья, Кабардино-Балкарская автономная республика, Карачаевская автономная область. Была ликвидирована и Крымская автономная республика — Крым стал просто одной из областей. Власти уничтожали кладбища, переименовывали города и села, изымали имена представителей сосланных народов из книг по истории³³.

В новых местах проживания всех высланных мусульман — чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар — заставляли посылать детей в русские начальные школы. Власти старались отучить людей говорить на родных языках, исповедовать традиционные религии, соблюдать обычаи, помнить прошлое. Нет сомнений, что чеченцы, крымские татары, приволжские немцы, более мелкие народы Кавказа — и, в более далекой перспективе, прибалтийцы и поляки — должны были, по мысли руководства, исчезнуть как нации, влиться в русскоязычную советскую среду. После смерти Сталина эти нации возродились, хотя и не сразу. Чеченцам позволили вернуться на родину в 1957 году, а вот крымские татары не могли это сделать вплоть до эпохи Горбачева. Им вернули крымское “гражданство” (законное право на жительство) только в 1994-м.

Учитывая климат эпохи, жестокость войны и присутствие в нескольких тысячах километров к западу другой системы, практиковавшей организованный геноцид, некоторые задавались вопросом: почему Сталин попросту не уничтожил этнические группы, к которым он относился с таким отвращением? Мой ответ состоит в том, что его целям лучше отвечала ликвидация культур, а не людей как таковых. Репрессии уничтожили в СССР общественные структуры, которые он считал “вражескими”, — буржуазию, религиозные и национальные институты, способные ему противодействовать, — и образованных людей, потенциальных оппонентов режима. В то же время “трудовые единицы” Сталин считал нужным сохранять.

Но поляками и чеченцами история нерусских в лагерях и ссылке не кончается. Были и другие способы, какими представители разных народов попадали в ГУЛАГ, и подавляющее большинство иностранцев попали туда как военнопленные.

Строго говоря, первые советские лагеря для военнопленных Красная Армия создала еще в 1939 году, после оккупации восточной Польши. Первое распоряжение о лагерях для военнопленных было издано 19 сентября 1939 г. — через четыре дня после того, как советские танки пересекли польскую границу³⁴. К концу сентября Красная Армия взяла в плен 230 000 польских солдат и офицеров³⁵. Многих, главным образом молодых рядовых, отпустили, но часть — тех, кого сочли потенциальными партизанами, — отправили либо в ГУЛАГ, либо в какой-либо из примерно ста лагерей для военнопленных в глубине советской территории. После вторжения немцев эти лагеря, как и другие места заключения, были эвакуированы на восток³⁶.

Не все польские военнопленные попали в эти восточные лагеря, с чем связана одна из позорных страниц в истории НКВД. В апреле 1940 года “органы” по прямому приказу Сталина тайно уничтожили более 20 000 плененных польских офицеров. Каждый был убит выстрелом в затылок³⁷. Сталин расправился с офицерами по той же причине, по какой он приказал арестовать польских священников и учителей: он хотел стереть с лица земли польскую элиту. Он постарался замести следы. Несмотря на огромные усилия, польское правительство в изгнании не могло установить, что произошло с офицерами, пока их останки не обнаружили немцы. Весной 1943 года немецкие оккупационные власти нашли в Катынском лесу 4000 тел³⁸. Хотя Советский Союз отрицал свою вину в Катынском массовом убийстве и советскую версию поддержали союзники (в обвинительном акте Нюрнбергского трибунала Катынское убийство фигурирует как преступление нацистов), поляки знали из своих источников, что офицеров убили органы НКВД. Катынь постоянно отравляла польско-советские “союзнические” отношения не только во время войны, но и в течение последующих пятидесяти лет. Лишь в 1991 году Президент России Борис Ельцин признал ответственность СССР за это убийство³⁹.

Хотя на протяжении войны польские военнопленные продолжали появляться в подразделениях принудительного труда и лагерях ГУЛАГа, первые действительно крупные лагеря военнопленных были созданы не для поляков. Когда инициатива в войне перешла к Советскому Союзу, Красная Армия внезапно и, кажется, неожиданно для самой себя стала брать в плен большое количество военнослужащих из Германии и союзных с ней стран. Власти были к этому совершенно не готовы, что имело трагические последствия. В ходе битвы под Сталинградом, которая считается поворотным моментом войны, Красная Армия взяла в плен 91 000 неприятельских военнослужащих. Поначалу их не кормили и не обеспечивали ничем. Еды, которая появилась через три-четыре дня, было недостаточно: “бу-

ханка хлеба на десять человек и баланда с несколькими крупинками пшена и кусочками соленой рыбы”⁴⁰.

В последующие недели плена условия если и улучшались, то не намного, и не только для захваченных под Сталинградом. Немецких солдат, которых брала в плен Красная Армия, продвигавшаяся на запад, если не расстреливали на месте, то держали обычно в открытом поле. Кормили очень скудно, медицинской помощи не было вовсе. Не имея укрытия, пленные спали на снегу, прижимаясь друг к другу, и, проснувшись, часто обнаруживали в своих объятиях труп⁴¹. В первые месяцы 1943 года смертность среди военнопленных составляла около 60 процентов, и, по официальным данным, примерно 570 000 человек умерло в советском плену от голода, болезней и незалеченных ран⁴². Истинная цифра, возможно, еще выше, поскольку многие умерли до того, как их успели включить в статистику. Примерно такая же смертность была среди советских солдат в немецком плену: война поистине шла не на жизнь, а на смерть.

В марте 1944 года НКВД решил принять меры, чтобы исправить положение, и создал внутри себя новое управление, ведавшее лагерями для военнопленных. Формально эти новые лагеря не входили в состав ГУЛАГа, а подчинялись Управлению по делам военнопленных (УПВ), которое в 1945-м было преобразовано в Главное управление по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ)⁴³.

Новый бюрократический орган не всем принес облегчение. В частности, японские власти считают, что зима 1945—1946 годов (война к тому времени уже кончилась) была чрезвычайно тяжелой для японских военнопленных, каждый десятый из которых умер в советском плену. Хотя трудно понять, какие ценные военные сведения они могли передать на родину, на их переписку были наложены жесткие ограничения: военнопленные могли писать домой только после 1946 года, причем непременно на специальных бланках с пометой “Письмо военнопленного”. Для чтения этих писем была создана специальная цензура, укомплектованная сотрудниками, владеющими иностранными языками⁴⁴.

Военнопленные продолжали страдать от тесноты. В последний год войны и даже после ее окончания количество людей в новых лагерях все увеличивалось, становясь ошеломляющим. По официальным данным, за 1941—1945 годы Советский Союз взял в плен 2 388 000 немецких военнослужащих и 1 097 000 военнослужащих из стран-союзниц Германии — главным образом итальянцев, венгров, румын и австрийцев. Было в советском плену и некоторое количество французов, голландцев, бельгийцев и около 600 000 японцев, паразитально много, если учесть, что СССР воевал с Японией сравнительно недолго. К моменту прекращения военных действий общее число военнопленных превысило четыре миллиона⁴⁵.

Как ни огромна эта цифра, она не охватывает всех иностранцев, отправленных в советские лагеря за время шествия Красной Армии по Европе. Сотрудники НКВД, двигавшиеся следом за войсками, арестовывали всех подозреваемых в военных преступлениях, в шпионаже (даже в пользу стран-союзниц СССР) и в антисоветских настроениях, а также всех, к кому они испытывали личную антипатию. Особенно много арестов происходило в тех странах Центральной Европы, где советские войска намеревались остаться по окончании войны. Например, в Будапеште “органы” очень быстро забрали примерно 75 000 гражданских лиц: их отправили сначала во временные лагеря в Венгрии, а затем в ГУЛАГ, где уже находились сотни тысяч венгерских военнопленных⁴⁶.

Аресту мог подвергнуться практически любой. Например, среди венгров, взятых в Будапеште, был шестнадцатилетний Дердь Бин. Их с отцом арестовали только потому, что у них был радиоприемник⁴⁷. В совсем другой части социального спектра органы НКВД арестовали Рауля Валленберга — шведского дипломата, который в одиночку спас тысячи венгерских евреев от отправки в нацистские концлагеря. В процессе переговоров у Валленберга было много контактов как с фашистскими властями, так и с западными деятелями. Он, кроме того, происходил из видной и обеспеченной шведской семьи. Для НКВД этого было достаточно. Валленберга и его шофера арестовали в Будапеште в январе 1945-го. Оба они сгинули в советских тюрьмах (Валленберг был зарегистрирован там как “военнопленный”), и след их пропал. В 90-е годы шведское правительство пыталось выяснить судьбу Валленберга, но безуспешно. Предполагают, что он умер в ходе допросов или был убит вскоре после ареста⁴⁸.

В Польше органы НКВД арестовывали оставшихся в живых офицеров Армии Крайовой. Эта повстанческая армия воевала с гитлеровцами вместе с советскими войсками. Так продолжалось до 1944 года, когда Красная Армия перешла старую польскую границу. С этого времени войска НКВД начали разоружать партизанские части Армии Крайовой и арестовывать ее офицеров. Часть повстанцев ушла в польские леса и продолжала борьбу в середине 40-х. Некоторые были расстреляны, остальные депортированы. Так попали в ГУЛАГ и поселки для ссыльных после войны десятки тысяч польских граждан — партизан и гражданских лиц⁴⁹.

Подобной участи не избежала ни одна из оккупированных стран. Широкомасштабные репрессии произошли после войны, как я уже писала, в Прибалтике и на Украине, а также в Чехословакии, Болгарии, Румынии и больше всего в Германии и Австрии. Всех, кого в ходе наступления Красной Армии на Берлин нашли в бункере Гитлера, органы НКВД отправили в Москву на допрос. В Австрии были арестованы несколько дальних родственников Гитлера, в том

числе его двоюродная сестра Мария Копенштайнер, которой Гитлер однажды послал деньги, а также ее муж, братья и один из племянников. Никто из них, включая саму Марию, не видел Гитлера в глаза после 1906 года. Тем не менее все они кончили дни в СССР⁵⁰.

В Дрездене чекисты арестовали американского гражданина Джона Нобла, которого война застала в нацистской Германии. Военные годы он прожил под домашним арестом вместе со своим отцом, родившимся в Германии и получившим американское гражданство. В конце концов Нобл вернулся в США, но до возвращения прошло еще девять с лишним лет, немалую часть которых он провел в Воркуте, где другие заключенные звали его “американец”⁵¹.

Что касается взятых в плен солдат и офицеров, то громадное их большинство попало либо в лагеря для военнопленных, либо в лагерь ГУЛАГа. Разница между этими двумя типами лагерей никогда не была четкой. Хотя формально они подчинялись разным ведомствам, эти ведомства работали в тесном контакте, так что историю лагерей для военнопленных порой трудно отделить от истории ГУЛАГа. Иногда в лагерях ГУЛАГа создавались специальные лагпункты для военнопленных и заключенные обеих категорий работали бок о бок⁵². Кроме того, по не вполне ясным причинам органы НКВД иногда посылали военнопленных прямо в ГУЛАГ⁵³.

В конце войны нормы питания военнопленных и заключенных, осужденных по уголовным статьям, были почти одинаковы, как и бараки, где они жили, и работа, которую они выполняли. Как и эски, военнопленные работали на стройках, в шахтах, на приисках, на заводах и фабриках, на строительстве дорог⁵⁴. Как и специалисты из числа эсков, отдельные военнопленные были взяты в “шарашки”, где они участвовали в проектировании военных самолетов для Красной Армии⁵⁵. До сего дня жители некоторых районов Москвы не без гордости говорят, что их дома построили немецкие военнопленные: немецкая работа отличалась аккуратностью и высоким качеством.

Как и эски, военнопленные становились объектами “политбесед” и “политинформаций”. В 1943 году НКВД начал создавать в лагерях для военнопленных антифашистские политические курсы и кружки, задачей которых было “воспитать из числа военнопленных стойких антифашистов, способных по возвращению на родину вести борьбу за переустройство своих стран на демократических началах и выкорчевывание остатков фашизма”. Так готовилась почва для будущего советского господства в Восточной Германии, Румынии, Венгрии⁵⁶. Надо сказать, что многие бывшие немецкие военнопленные стали сотрудниками новых полицейских органов коммунистической Восточной Германии⁵⁷.

Но даже тех, кто демонстрировал лояльность советской власти, домой зачастую отпускали далеко не сразу. Хотя уже в июне 1945 го-

да было репатрировано 225 000 военнопленных (главным образом больных или раненных рядовых) и хотя впоследствии репатриация продолжалась, возвращение на родину из СССР пленных Второй мировой войны растянулось более чем на десятилетие. В 1953 году, когда умер Сталин, их оставалось в стране еще 20 000 человек⁵⁸. По-прежнему убежденный в эффективности государственного рабства, Сталин рассматривал труд военнопленных как форму репарации и тем самым оправдывал их длительное содержание в лагерях. В 40-е — 50-е годы и, как показывает дело Валленберга, впоследствии тоже советские власти создавали вокруг проблемы захваченных ими иностранцев завесу путаницы, недоговоренности, пропаганды и контрпропаганды. Они отпускали людей, когда это было им выгодно, в противном же случае заявляли, что ничего о них не знают. Например, в октябре 1945 года Берия попросил у Сталина разрешения отпустить венгерских военнопленных в связи с приближающимися выборами в Венгрии. Американские и английские военные власти своих военнопленных уже освобождают, писал он, имея в виду, что СССР будет выглядеть плохо, если этого не сделает⁵⁹.

Завеса существовала не одно десятилетие. В первые послевоенные годы дипломаты многих стран бомбардировали Москву списками своих граждан, исчезнувших в период советской оккупации или по тем или иным причинам попавших в лагеря военнопленных или в ГУЛАГ. Ответ зачастую получить было нелегко — органы НКВД сами далеко не всегда знали местонахождение иностранных заключенных. В конце концов советские власти образовали специальные комиссии, задачей которых было выяснить, сколько иностранцев все еще находится в советских местах лишения свободы, и решить, кого из них можно отпустить⁶⁰.

Сложные случаи разбирались годами. Французский коммунист Жак Росси, родившийся в Лионе, был отправлен в лагерь после нескольких лет преподавания в Москве и в 1958 году все еще пытался вернуться на родину. Получив отказ в выездной визе во Францию, он подал заявление на выезд в Польшу, где, как он объяснил властям, жили его брат и сестра. Снова отказ⁶¹. С другой стороны, иногда власти неожиданно снимали все возражения и отпускали иностранца восвояси. В 1947 году, в разгар послевоенного голода, НКВД внезапно освободил несколько сот тысяч военнопленных. С политикой это ничего общего не имело: просто советское руководство увидело, что людей нечем кормить⁶².

Репатриация шла в двух направлениях. Если к концу войны огромное количество западноевропейцев оказалось в СССР, то меньшее число советских граждан находилось в то время в Западной Европе. Весной 1945 года за границей СССР было более 5,5 милли-

она граждан страны. Часть из них составляли красноармейцы в нацистских лагерях для военнопленных. Другая категория — люди, вывезенные в Германию и Австрию на принудительные работы. Были и такие, кто сотрудничал с нацистскими властями во время оккупации и ушел на запад вместе с немецкой армией. До 150 000 человек насчитывали “власовцы” — бывшие советские военнослужащие, сражавшиеся, чаще всего по принуждению, против Красной Армии под началом перешедшего на сторону немцев генерала Андрея Власова или в других созданных гитлеровцами подразделениях. Часть из тех, кого Сталин хотел вернуть на родину, составляли, как ни странно, люди, даже не имевшие советского гражданства. Это были “белоэмигранты”, проживавшие в разных странах Европы, в частности в Югославии. Сталину они тоже были нужны: никто не должен был уйти от большевистской кары.

И в конце концов он их получил. Среди многих спорных решений, принятых в феврале 1945 года на Ялтинской конференции, было согласие Рузвельта и Черчилля на возврат в СССР всех советских граждан независимо от их личной судьбы. Хотя в подписанных в Ялте документах не было напрямую сказано, что союзники обязуются возвращать советских граждан насильственно, фактически происходило именно это.

Многие, впрочем, хотели на родину. О своем решении вернуться в СССР вспоминал Леонид Ситко, подростком угнанный в Германию, бежавший из немецкого концлагеря, после войны вступивший в Красную Армию, арестованный и прошедший через ГУЛАГ. В 1950 году он выразил свои чувства в стихотворении:

Дороги четыре — страны четыре.
В каждой из трех — покой и уют.
В четвертой, я знал, поломают лиру,
А меня, наверно, убьют.

И что же? Трем странам сказал я: Адьо!
И Родину выбрал свою⁶³.

Других, напуганных тем, что могло с ними случиться по возвращении, уговаривали сотрудники НКВД, объезжавшие разбросанные по всей Европе лагеря для военнопленных и перемещенных лиц. Чекисты прочесывали лагерь, искали там русских и рисовали им картину светлого будущего на родине. Всем обещали прощение: “Пусть вас и заставили надеть немецкую форму, страна все равно считает вас своими сыновьями...”⁶⁴.

Некоторые, особенно те, кто уже был знаком с советским “правосудием”, естественно, возвращаться не хотели. “На Родине всем найдется место”, — сказал советский военный атташе в Великобритании группе советских военнослужащих в йоркширском лагере для военно-

пленных. “Мы знаем, какое место найдется нам”, — ответил один⁶⁵. Тем не менее офицерам союзнических армий было приказано отправлять таких людей на родину, что они и делали. В Форт-Диксе, штат Нью-Джерси, 145 советских граждан, взятых в плен в немецкой военной форме, забаррикадировались в бараке, не желая возвращаться в СССР. Американские солдаты пустили в помещение слезоточивый газ, и тогда те из русских, кто не покончил самоубийством, бросились на них с кухонными ножами и палками и некоторых ранили. Потом они говорили, что хотели заставить американцев перестрелять их⁶⁶.

Еще более трагические события разворачивались с участием женщин и детей. В мае 1945 года британские войска якобы по прямому приказу Черчилля отправили в СССР более 20 000 казаков, живших в Австрии. В прошлом они воевали с большевиками, во время Второй мировой войны некоторые из них, чтобы бороться со Сталиным, примкнули к гитлеровцам, большая их часть покинула Россию после революции и советских паспортов не имела. После долгих заверений в том, что обращаться с ними будут хорошо, англичане попросту их обманули. Они пригласили казачьих офицеров на “собрание”, передали их советским войскам, а на следующий день взялись за их семьи. Особенно жестоко обошлись с обитателями одного лагеря близ австрийского города Линца: английские солдаты штыками и прикладами загоняли тысячи женщин и детей в поезд, которые должны были доставить их в СССР. Предпочитая смерть возвращению, женщины бросали детей с моста и сами прыгали вслед. Один мужчина убил свою жену и детей, аккуратно положил их трупы на траву и застрелился сам. Казаки понимали, что их ждет на родине: одних — расстрел, других — ГУЛАГ⁶⁷.

Но и те, кто возвращался домой по своей воле, зачастую оказывались под подозрением. Всем репатриантам — покинувшим СССР добровольно и угнанным насильно, коллаборационистам и военнопленным, ехавшим на родину по собственному желанию и вопреки ему — предлагали заполнить анкету, целью которой было выявить возможных “пособников врага”. Тех, кто признавался в коллаборационизме (такие были) или просто внушал подозрение (как, например, многие бывшие военнопленные, несмотря на муки, которые они вытерпели в немецких лагерях), отправляли в проверочно-фильтрационные лагеря. Эти лагеря, созданные еще в начале войны, мало чем отличались от лагерей ГУЛАГа. В них за колючей проволокой жили такие же рабы — разве что назывались иначе.

НКВД сознательно разместил многие проверочно-фильтрационные лагеря вблизи промышленных предприятий, чтобы люди, пока идет “проверка”, бесплатно на них работали⁶⁸. Между 27 декабря 1941-го и 1 октября 1944 года органы НКВД разобрали “дела” 421 199 человек, находившихся в таких лагерях. В мае 1945-го в них

жило и занималось принудительным трудом более 160 000 задержанных. Более половины из них добывало уголь⁶⁹. В январе 1946 года НКВД упразднил такие лагеря и репатриировал в СССР для дальнейшей проверки еще 228 000 человек⁷⁰. Многие из них, надо думать, в конечном итоге оказались в ГУЛАГе.

Среди военнопленных попадались особые случаи. Власти, которые отправляли в лагеря людей, угнанных в Германию или попавших в немецкий плен и не совершивших при этом никаких преступлений, изобрели для настоящих военных преступников новый вид наказания. Еще в апреле 1943 года Верховный совет объявил, что “в освобожденных Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков городах и селах обнаружено множество фактов неслыханных зверств и чудовищных насилий, учиненных немецкими, итальянскими, румынскими, венгерскими, финскими фашистскими извергами, гитлеровскими агентами, а также шпионами и изменниками родины из числа советских граждан”⁷¹. В порядке возмездия, помимо публичной смертной казни через повешение, была установлена ссылка “в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет” (а на практике — даже до 25 лет). Для этого в трех самых суровых северных лагерях — Воркутлаге, Норильлаге и Севвостлаге — были созданы отделения каторжных работ⁷².

Лингвистически эффектное слово “каторга”, взятое из пенитенциарного лексикона царской России, несло в себе некое ироническое осмысление истории и наводит на мысль о личном “творчестве” Сталина. Выбор слова не мог быть случайным. Возвращение каторги, должно было означать новый вид наказания для новой категории особо опасных, неисправимых преступников. В отличие от обычных преступников, приговоренных к обычному заключению в исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа, каторжников даже теоретически не считали способными к исправлению.

Возрождение слова, несомненно, породило в большевистских умах некое замешательство. Большевики, в прошлом боровшиеся против каторги, теперь учреждали ее — точно так же свиньи в книге Джорджа Оруэлла “Скотный двор” сначала запрещали животным пить спиртное, а потом сами начали употреблять виски. Кроме того, каторга вводилась в то самое время, когда мир начал узнавать правду о нацистских концлагерях. Слово зловеще намекало на сходство между советскими и “капиталистическими” лагерями — возможно, намекало чуть явственней, чем хотелось советским руководителям.

Может быть, именно поэтому генерал Наседкин, возглавлявший ГУЛАГ во время войны, заказал и представил Берии по его запросу историческую справку о каторге в царской России. Авторы “Объяснительной записки к проекту Положения о каторжных работах”,

помимо прочего, приложили большие усилия к тому, чтобы разъяснить разницу между советской каторгой, с одной стороны, и царской каторгой и другими формами наказания на Западе, с другой:

“В условиях советского социалистического государства каторга (ссылка в каторжные работы), как карательное мероприятие имеет иное, принципиально отличное от прошлого, значение.

В царской России и буржуазных странах острие этого вида уголовного наказания было направлено против наиболее прогрессивных элементов общества <...>.

В наших же условиях введение каторги явилось, прежде всего, следствием максимального сокращения применения высшей меры наказаний и, во вторых, — применение этой меры уголовного наказания сосредоточено на врагах человечества...”⁷³.

Читая положение о порядке содержания каторжников, задаешься вопросом, не предпочли ли бы многие из них “высшую меру”. Каторжане содержались отдельно от других заключенных за высоким сплошным забором. Они получали специальную одежду с номерами. Бараки на ночь запирались, на окнах барачных были решетки. Каторжане работали дольше обычных заключенных, выходных дней у них было меньше. Использовать их (по крайней мере, первые два года) следовало только в качестве “чернорабочей силы” на тяжелых работах. Их тщательно охраняли и водили под усиленным конвоем: на десять заключенных — два конвоира. Каждый лагерь должен был иметь как минимум пять сторожевых собак. Переводить каторжников из одного лагеря в другой можно было только по специальным нарядам ГУЛАГа НКВД в Москве⁷⁴.

Каторжники, судя по всему, стали главной рабочей силой в новой отрасли советской промышленности. В 1944 году среди своих экономических достижений НКВД указал на то, что его предприятиями добыто 100 процентов советского радия. “Кто добывал и перерабатывал радиоактивную руду, догадаться нетрудно”, — пишет историк Галина Иванова⁷⁵. Заключенные и солдаты построили после войны в Челябинске первый советский ядерный реактор. “Тогда вся строительная площадка была своеобразным лагерем...” — вспоминал один бывший участник работ. Для немецких специалистов, которых привлекли к работе над проектом, строились специальные “финские” домики⁷⁶.

Несомненно, среди каторжников было много подлинных “полицаев” и военных преступников, в том числе тех, на чьей совести уничтожение сотен тысяч советских евреев. Имея в виду этих людей, Семен Виленский, прошедший Колыму, однажды предостерег меня от того, чтобы считать всех, кто был в ГУЛАГе, невинными людьми: “Там были такие, которых следовало бы посадить при любом режиме”. Другие заключенные, как правило, держались от во-

енных преступников в стороне, случалось даже, что на них набрасывались, что их избивали⁷⁷.

Тем не менее из более чем 60 000 приговоренных к каторге к октябрю 1947 года некоторые получили такой приговор на более спорных основаниях⁷⁸. Например, тысячи польских, прибалтийских и украинских антисоветски настроенных партизан, многие из которых сначала сражались с нацистами, а после их разгрома повернули оружие против Красной Армии. В их понимании это была борьба за национальное освобождение. В перечне несовершеннолетних каторжников, представленном Берии в 1945 году, фигурирует, например, Андрей Левчук, обвиненный в членстве в Организации украинских националистов (ОУН) — одной из двух главных антисоветских партизанских группировок на Украине. Левчук якобы “принимал участие в убийстве мирных граждан и обезоруживании красноармейцев и присвоении их вещей”. В 1945 году, когда его арестовали, Левчуку было пятнадцать лет.

Другой такой “военной преступницей” была Ярослава Крутиглова, арестованная в шестнадцать лет за то, что “вступила в ОУН” и “выполняла обязанности медсестры банды”⁷⁹. Органы НКВД арестовали также женщину немецкого происхождения, работавшую во время войны у немцев в офицерской столовой и передававшей ценные сведения партизанам. Узнав, что ее обвинили в “пособничестве врагам”, бывший начальник партизанского отряда специально поехал в другой город на суд свидетельствовать в ее защиту: “Ей орден надо дать, а не в тюрьме держать”. Благодаря ему она получила не двадцать пять лет, а десять⁸⁰.

И наконец, среди каторжников был Александр Клейн — красноармейский офицер, который попал в плен к немцам, бежал и вернулся к своим. По возвращении его стали допрашивать: “Вдруг майор резко поднялся и спросил: “Ты можешь доказать, что ты еврей?”.

Я смущенно улыбнулся и ответил, что могу... спустить брюки... Майор посмотрел на Сорокина и снова обратился ко мне: “И ты говоришь, немцы не знали, что ты еврей?!...” — “Если б они знали, поверьте, я бы не стоял здесь”.

— Ах ты жидовская морда! — возгласил щеголь и ногой ударил меня в нижнюю часть живота так, что я, вдруг задохнувшись, упал, — что ты все врешь?! Говори, мать твою..., с каким заданием подослан?! Кем завербован?! Когда?! Сколько продал?! Сколько повесил?! Сколько получил, продажная тварь?! Кличка?!»”.

В итоге Клейн получил смертный приговор, который затем заменили двадцатью годами каторги⁸¹.

“Всякие там были, особенно в послевоенном наборе, — писала о лагерях Хава Волович. — Но мучили одинаково всех — и хороших, и плохих, и правых, и виноватых”⁸².

В годы войны миллионы иностранцев попали в ГУЛАГ не по своей воле, но по крайней мере один иностранец побывал в нем тогда добровольно. Война спровоцировала новые вспышки параноидальной подозрительности к иностранцам у советского руководства, однако, благодаря ей крупный американский политический деятель первый и единственный раз посетил ГУЛАГ. Генри Уоллес, вице-президент Соединенных Штатов совершил поездку на Колыму в мае 1944-го и так и не понял, что посещает место заключения.

Визит Уоллеса произошел на гребне советско-американской дружбы времен войны, в момент наиболее тесного сближения, когда американская печать ласково называла Сталина дядюшкой Джо. Скорее всего, именно поэтому Уоллес приехал в СССР настроенный видеть только хорошее. Колыма не развеяла его иллюзий — наоборот, Уоллес усмотрел там немало параллелей между Россией и США: обе страны огромные, обе они “новые”, свободные от аристократического балласта, обременяющего Европу. Он сказал гостеприимным хозяевам, что “советская Азия” — это своего рода “дикий Запад России”. Он пришел к мысли, что “нет двух других стран, которые были бы так же схожи между собой, как Советский Союз и Соединенные Штаты”: “Необъятные просторы вашей страны, ее девственные леса, широкие реки и огромные озера, разнообразие климата — от тропического до полярного, — ее неистощимые богатства — все это напоминает мне мою родину”⁸³.

Сильное впечатление произвела на него не только природа, но и представленная ему фальшивая картина индустриальной мощи. Магадан Уоллесу показывал начальник Дальстроя Никишов, известный своей привычкой жить на широкую ногу на государственный счет. Уоллес со своей стороны вообразил Никишова, занимавшего важный пост в НКВД, чем-то вроде американского капиталиста: “Он управляет тут всем. Имея в своем распоряжении ресурсы Дальстроя, он настоящий миллионер”. Уоллес проникся симпатией к своему новому другу Ивану. “Наслаждаясь великолепным воздухом”, он смотрел, как Иван “резвится” в тайге, и внимательно слушал его рассказ о возникновении Дальстроя: “Чтобы здесь все заработало, нам пришлось попотеть. Первопроходцы прибыли сюда двенадцать лет назад и поставили восемь сборных домов. Сегодня в Магадане сорок тысяч человек, и все обеспечены хорошим жильем”.

Никишов, разумеется, умолчал о том, что “первопроходцы” были заключенными и что большая часть из сорока тысяч магаданцев — это ссыльные, не имеющие права уехать. В таком же неведении Уоллес остался о статусе современных ему колымских рабочих (почти все они были заключенными). Он с одобрением пишет о золотодобытчиках Колымы — “рослых, сильных молодых людях”, вольнонаемных рабочих, которые трудятся с куда большей отдачей,

чем политзаключенные, населявшие, по мнению Уоллеса, Дальний Север России в царские времена: “Сибиряки — закаленный, крепкий народ, но они работают не из-под палки”⁸⁴.

Именно такое впечатление хотели создать у Уоллеса руководители Дальстроя. Согласно отчету, который Никишов послал Берии после визита, Уоллес и его спутники хотели увидеть лагерь заключенных, но “в этом вопросе они были разочарованы”. Никишов заверил начальство, что Уоллес не видел “не только лагерь, но даже и отдельных заключенных”. Ему показывали одних вольнонаемных, многие из которых, возможно, были даже не рабочими, а комсомольцами, надевшими одежду и сапоги золотодобытчиков специально ради визита Уоллеса и проинструктированными о том, как отвечать на вопросы. “С некоторыми из них я говорил, — пишет Уоллес. — Они горели желанием скорейшей победы в войне”⁸⁵.

Потом Уоллес, сам того не зная, все-таки увидел настоящих заключенных. Это были певцы и музыканты, немалую часть которых составляли арестованные московские и ленинградские артисты. В магаданском театре американский гость слушал концерт. Ему сказали, что это местный “самодельный красноармейский хор”, и он поразился тому, что любители смогли достичь таких художественных высот. Между тем всех артистов предупредили, что “любое слово или знак о том, что мы заключенные, будет рассматриваться как акт измены”⁸⁶.

Увидел Уоллес, опять-таки ничего не подозревая, и произведения изобразительного искусства, созданные заключенными. Никишов показал ему выставку, где демонстрировалась, в частности, художественная вышивка. Уоллесу объяснили, что представленные работы создали “местные женщины, которые суровой зимой регулярно собирались и осваивали искусство шитья”. На самом деле работы, конечно, были вышиты заключенными специально к приезду Уоллеса. Вице-президент в восхищении остановился перед одной из них, и тогда Никишов снял картину со стены и подал гостю. Гридасова, жена Никишова, внушавшая в лагерях большой страх, “сказала, что это ее вещи и что она может их подарить”. Позднее заключенная вышивальщица Вера Устиева узнала, что ее картина была одной из двух, подаренных вице-президенту на память о визите. “А через некоторое время наша начальница получила письмо от жены вице-президента, в котором та писала, что благодарит за подарок и что картины украшают их холл”, — вспоминала Вера Устиева⁸⁷. О подарках пишет в мемуарах и сам Уоллес: “Эти две картины теперь передают посетителям моего вашингтонского дома богатые впечатления от красоты русского сельского пейзажа”⁸⁸.

Визит Уоллеса приблизительно совпал по времени с прибытием на Колыму “американских подарков”. По программе лендлиза, пре-

дусматривавшей отправку союзникам США оружия и военного снаряжения, в СССР поступали, в частности, американские тракторы, грузовики, паровые экскаваторы и инструменты. Использование всего этого на Колыме противоречило условиям лендлиза и не отвечало целям американского правительства. Но для заключенных это был глоток воздуха из внешнего мира. Детали машин присылали завернутыми в старые газеты, и из них Томас Сговио узнал о войне в Тихом океане. До той поры он, как и большинство заключенных, думал, что вооруженную борьбу ведет только Советский Союз, а Америка лишь помогает поставками⁸⁹. Уоллес заметил, что колымские золотодобытчики (или переодетые комсомольцы) обуты в американские сапоги, тоже полученные по лендлизу. Он задал об этом вопрос (переданное по лендлизу не предназначалось для использования на золотых приисках), и его поспешили заверить, что сапоги куплены за деньги⁹⁰.

Львиная доля отправленной из США одежды досталась лагерным начальникам и их женам, хотя какая-то ее часть пригодилась для лагерных театральных постановок. Изредка заключенным доводилось попробовать американскую свиную тушенку. Они ели ее с наслаждением; многие раньше в глаза не видели мясных консервов. Из пустых банок делали кружки для питья, масляные лампы, котелки, сковородки, дымовые трубы и даже пуговицы, не думая о том, какое изумление могла бы вызвать такая изобретательность в стране, откуда банки прибыли⁹¹.

Перед отъездом Уоллеса Никишов дал в его честь пышный банкет. Подавались изысканные блюда, отдельные ингредиенты которых были взяты из эковских пайков. Провозглашались тосты за Рузвельта, Черчилля и Сталина. Уоллес произнес речь, в которой прозвучали следующие примечательные слова: “И русские и американцы, двигаясь разными путями, нащупывают способ организации жизни, который даст возможность рядовому человеку в любой стране мира извлекать максимум пользы из современной технологии. В наших целях и намерениях нет ничего несовместимого. Те, кто делает подобные заявления, вольно или невольно способствуют разжиганию войны — а это, по моему убеждению, преступно”⁹².

Глава 21

Амнистия и после амнистии

*Сегодня я с приветливой улыбкой говорю лагерю “Прощай”,
Говорю “Прощай” колючей проволоке,
которая год держала меня в неволе...
Неужели здесь ничего от меня не останется,
Неужели ничто сегодня не замедлит мой торопливый шаг?*

*О нет! За колючей проволокой я оставляю Голгофу боли,
Которая все еще пытается довести мое страдание до предела.
Я оставляю могилы мук, останки тоски
И тайные слезы — четки наши...*

*Все это ныне будто уплыло по воздуху, как сдутый с дерева лист.
Наконец разорваны узы нашего заточения.
И сердце мое уже не исполнено ненависти,
Ибо сегодня сквозь тучи пробилась радуга!*

Януш Ведов. “Прощание с лагерем”^{*1}

Многие из метафор, с помощью которых описывали советскую репрессивную систему, например “мясорубка”, “конвейер”, создают образ безжалостной, неумолимой, непреклонной машины. Однако система не была статична: она крутилась все время по-разному, была способна на неожиданности. Да, 1941—1943 годы миллионам советских заключенных принесли болезни, страдания и смерть, но миллионам других война подарила свободу.

Спустя считанные дни после начала боев начались амнистии для здоровых мужчин, годных к военной службе. Уже 12 июля 1941 года Президиум Верховного Совета издал указ о досрочном освобождении некоторых категорий заключенных, осужденных за прогулы, бытовые и незначительные должностные и хозяйственные преступления, с передачей лиц призывных возрастов в Красную Армию. Аналогичные указы издавались впоследствии несколько раз. В общей сложности за первые три года войны в Красную Армию было передано 975 000 бывших заключенных ГУЛАГа и еще несколько сотен тысяч спецпереселенцев из бывших “кулаков”. Амнистии происходили вплоть до последнего штурма Берлина². 21 февраля 1945-го, за три месяца до окончания войны, был издан очередной приказ об освобождении заключенных с зачислением в армию. Всю работу по передаче освобожденных ГУЛАГу было велено закончить к 15 марта³.

* Пер. с англ. мой. — Л.М.

Массовые амнистии оказали огромное влияние на численность и состав населения лагерей в военные годы и, следовательно, на жизни тех, кого амнистии не коснулись. В лагеря потоком шли новые заключенные, множество других освободили по амнистиям, миллионы умерли — все это делает статистику военных лет чрезвычайно обманчивой. Цифры за 1943 год показывают явное уменьшение населения ГУЛАГа — с 1,5 до 1,2 миллиона. За тот же год, однако, через ГУЛАГ, согласно другим данным, прошло 2 421 000 заключенных — одних арестовывали, других освобождали, третьих переводили из лагеря в лагерь, многие умирали⁴. Так или иначе, несмотря на ежемесячное прибытие сотен тысяч новых лагерников, суммарное число обитателей ГУЛАГа между июнем 1941 и июлем 1944 года, несомненно, сократилось. Некоторые лесозаготовительные лагеря, спешно созданные в 1938-м, чтобы справиться с наплывом заключенных, были теперь столь же спешно ликвидированы⁵. Зэкам, оставленным в лагерях, все увеличивали и увеличивали рабочий день, и тем не менее нехватка рабочих рук была повсеместной. На Колыме во время войны даже от “вольных” требовали, чтобы они в свободные часы промывали золотой песок⁶.

Амнистии коснулись далеко не всех: уголовники-рецидивисты и “политические” освобождению не подлежали. Исключения были сделаны лишь для очень немногих. Возможно, понимая, какой ущерб нанесли Красной Армии многочисленные аресты офицеров высокого ранга в конце 30-х годов, власти после советского вторжения в Польшу тихо освободили нескольких военачальников, осужденных по политическим статьям. Среди них был генерал Александр Горбатов, которого зимой 1940-го отправили из дальнего колымского лагпункта в Москву для пересмотра дела. Увидев Горбатова, следователь несколько раз переводил взгляд с него на прежнюю фотокарточку, приклеенную к делу, и обратно. Следователю не верилось, что сидящий перед ним исхудалый человек — один из самых талантливых военачальников Красной Армии: “Ватные брюки заплатами. Ноги обернуты портянками и обуты в шахтерские галоши (полуботики). Была на мне еще и ватная фуфайка, лоснившаяся от грязи. На голове — истрепанная и грязная шапка-ушанка”⁷. Горбатова освободили в марте 1941 года — незадолго до начала войны с Германией. Весной 1945-го он участвовал в штурме Берлина.

Простому человеку амнистия отнюдь не гарантировала жизнь. Многие утверждают (хотя в архивах данных об этом пока не найдено), что людей, переведенных из ГУЛАГа в армию, зачисляли в штрафные батальоны и посылали на самые опасные участки передовой. Красная Армия жертвовала своими солдатами с большой готовностью, и нетрудно поверить, что командир в первую очередь готов был пожертвовать бывшими заключенными. Один бывший ла-

герник, диссидент Авраам Шифрин, утверждал, что его зачислили в штрафбат как сына “врага народа”. По словам Шифрина, его с товарищами отправили прямо на передовую, хотя на 500 человек у них было 100 винтовок. “Ваше оружие — в руках фашистов, — говорили им офицеры. — Добудьте его в бою”. Шифрин остался жив, хотя дважды был ранен⁸.

И тем не менее многие из бывших заключенных, зачисленных в Красную Армию, отличились в боях. На удивление малая часть из них была настроена против того, чтобы сражаться за Сталина. Генерал Горбатов, по его словам, не испытывал ни малейших колебаний по поводу возвращения в армию и был готов воевать за дело партии, хотя она позволила арестовать его без всякой вины. Когда началась война, первой его мыслью было: “Как хорошо, что я на свободе и успел уже набраться сил!” По пути на фронт он с гордостью говорил солдатам, что “теперь в результате социалистической индустриализации страны мы оружие имеем свое”, и молчал о том, во что эта индустриализация обошлась. Правда, в воспоминаниях он порой выражает досаду по поводу политруков, только мешавших солдатам делать свое дело, и с горечью пишет о том, как на его счет прохаживались офицеры НКВД: “По-видимому, его мало проучили на Колыме”. Однако в искренности его патриотизма сомневаться не приходится⁹.

То же самое можно сказать и о многих других отпущенных тогда заключенных. По крайней мере, такой вывод складывается на основании материалов НКВД. В мае 1945-го начальник ГУЛАГа Виктор Наседкин представил подробную, многословную справку об участии бывших заключенных в боевых действиях. В доказательство патриотизма и боевого духа вчерашних зэков он приводит обширные выдержки из их писем в покинутые ими лагеря. “Во-первых сообщая о том, что я нахожусь в госпитале в гор. Харькове раненый, — пишет один. — Я защищал свою любимую Родину, не считаясь со своей жизнью. Я также был осужден за плохую работу, но мне наша любимая партия дала возможность искупить вину подвигами на фронте. По моим подсчетам я своим стальным пулеметом уничтожил 53 фашиста”.

Другой благодарит лагерное начальство: “Прежде всего разрешите выразить Вам свою искреннюю благодарность за перевоспитание меня.

Я в прошлом был рецидивист, считался вредным для общества, а поэтому неоднократно находился в местах заключения, где меня научили работать.

В настоящее время Красная Армия мне дала еще более доверия, она меня обучила на хорошего командира и доверила мне боевых друзей бойцов, с которыми я иду в бой смело, они уважают меня за мою заботу о них и правильность исполнения боевых заданий”.

Иногда начальники лагерей получали благодарственные письма от командиров частей. “При штурме Чернигова т. Колесниченко командовал ротой, — писал один капитан. — <...> Бывший заключенный Колесниченко вырос в культурного, стойкого и боевого командира”.

Полных данных о том, сколько бывших заключенных награждено орденами и медалями, нет. Известно, что пятеро из них стали Героями Советского Союза. В справке говорится, что более чем с 1 000 человек “была установлена и регулярно поддерживалась письменная связь”. Из этого числа “85 человекам присвоены офицерские звания, 34 человека приняты в ряды ВКП(б), 261 человек награждены орденами и медалями”¹⁰. Конечно, это не случайная выборка 1000 бывших заключенных, и все же цифры кое о чем говорят. Война вызвала в СССР прилив патриотизма, и бывшим заключенным позволили к этому патриотизму прибавиться¹¹.

Пожалуй, более удивительно то, что многие заключенные, оставшиеся отбывать срок в лагерях, тоже были охвачены патриотическими чувствами. Даже ужесточение режима и уменьшение пайков не всех эзков превратило в твердых противников советской власти. Наоборот, многие впоследствии писали, что в июне 1941 года тяжелее всего для них была невозможность отправиться на фронт. Бушевала война, соотечественники сражались, а они, горя патриотизмом, вынуждены были находиться в глубоком тылу. На солдакеров-немцев стали коситься как на “фашистов”, охранникам стали бросать в лицо обвинения в том, что они не на фронте, слухи о ходе войны постоянно передавались из уст в уста. Евгения Гинзбург вспоминала свои тогдашние чувства: “Мы готовы все забыть и простить перед лицом всенародного несчастья. Будем считать, что ничего несправедливого с нами не сделали. <...> Пустите на фронт!”¹².

В некоторых случаях заключенным лагерей, находившихся близко от линии фронта, удавалось на деле реализовать свой патриотизм. В записке, задуманной как вклад в историю Великой Отечественной войны, Покровский, бывший сотрудник Сороклага в Карело-Финской ССР, описал произошедшее во время спешной эвакуации лагеря: “Колонна танков приближалась, положение становилось критическим, тогда один из заключенных <...> подскочил к стоящей грузовой автомашине, сел за руль и, развернувшись, с полного хода двинулся в сторону идущему головному танку. Налетев на танк, заключенный герой погиб вместе с машиной, но танк тоже стал и загорелся. Дорога была загорожена, остальные танки ушли обратно. Это спасло положение и дало возможность эвакуироваться колонне дальше”.

Покровский пишет и о том, как 600 с лишним освобожденных заключенных, задержавшихся в лагере из-за отсутствия вагонов, добровольно взялись за строительство оборонительных укреплений вокруг города Беломорска: “Все как один дали согласие, причем тут же были сформированы рабочие бригады, выделены бригадиры, десятники и прорабы. Эта группа освобожденных работала на оборонных сооружениях более недели с исключительным усердием, с раннего утра до позднего вечера часов по 13-14 в сутки. Единственным их требованием и условием было проводить с ними ежедневно полит-беседы и информацию о положении на фронтах, что я аккуратно выполнял”¹³.

Лагерная пропаганда, набиравшая силу по ходу войны, поощряла этот патриотизм. Как и повсюду в СССР, в лагерях развешивали плакаты, показывали военные фильмы, выступали с политинформацией. “Мы сейчас должны работать в несколько раз лучше, ибо каждый грамм золота, добытый нами, — это удар по фашизму”, — говорили заключенным¹⁴. Разумеется, невозможно оценить, насколько действительна была такая пропаганда, как невозможно оценить действительность любой пропаганды. Судя по всему, гулаговское начальство стало более серьезно относиться к агитации и лозунгам, когда вдруг выяснилось, что лагерная продукция имеет жизненно важное значение для ведения войны. В брошюре о перевоспитании “Возвращенные к жизни” сотрудник КВЧ Логинов писал, что лозунг “Все для фронта, все для победы!” нашел в сердцах трудящихся “горячий отклик”. “Заключенные, временно изолированные от общества, удвоили и утроили темпы работы. Самоотверженно трудились на заводах, стройках, делянках, на полях, стремясь своим высокопроизводительным трудом ускорить гибель врага на фронте”¹⁵.

Несомненно, ГУЛАГ внес свой производственный вклад в борьбу с противником. За первые полтора года войны тридцать пять промышленных колоний были переориентированы на производство боеприпасов. Многие лесозаготовительные лагеря стали изготавливать ящики для патронов и снарядов. По крайней мере в двадцати лагерях шили обмундирование для Красной Армии, в других делали полевые телефоны, маски для противогазов (1,7 млн штук), минометные выюки (24 000 штук) и т. д. Более миллиона заключенных работало на строительстве железных и автомобильных дорог, аэродромов. Если где-то возникала внезапная, срочная необходимость в рабочих, скажем, случился прорыв трубопровода или нужно было соорудить новую железнодорожную ветку, за помощью, как правило, обращались к ГУЛАГу. Дальстрой, как и раньше, добывал почти все советское золото¹⁶.

Но, как и цифры, касающиеся мирного времени, эти данные и эффективность, о которой они призваны были свидетельствовать,

обманчивы. “С первых же дней войны ГУЛАГ организовал на своих предприятиях выполнение заказов для нужд фронта”, — пишет Наседкин. Не лучше ли удовлетворялись бы эти нужды силами свободных рабочих? Далее он заявляет, что производство некоторых видов боеприпасов выросло многократно¹⁷. Но во сколько раз оно бы выросло, если бы патриотически настроенным людям позволили работать на обычных заводах? Тысячи солдат, которые могли бы находиться на фронте, вместо этого стерегли заключенных. Тысячи сотрудников НКВД были брошены сначала на арест, а затем на освобождение поляков. Их тоже можно было использовать лучше. ГУЛАГ не только помогал, но и мешал стране вести войну.

Помимо генерала Горбатова и некоторых других военных, было еще одно, куда более обширное исключение из общего правила не амнистировать политических. Вопреки тому, что говорили сотрудники НКВД полякам, их изгнание в отдаленные места СССР оказалось не вечным. 30 июля 1941 года, через месяц после начала реализации плана “Барбаросса”, глава польского лондонского правительства в изгнании генерал Сикорский и советский посол в Великобритании Майский подписали перемирие — так называемый договор Сикорского—Майского. В нем признавалось право поляков на собственное государство (его границы подлежали определению в будущем) и предоставлялась амнистия всем польским гражданам, лишенным свободы на территории СССР.

Как польские узники ГУЛАГа, так и польские ссыльные теперь официально получили свободу и могли вступить в новую польскую армию, формировавшуюся в СССР. Владислав Андерс, польский офицер, двадцать месяцев перед тем просидевший на Лубянке, узнал, что ему поручено возглавить новую армию, в ходе неожиданной для него встречи в Москве с самим Берией. После этого разговора генерал Андерс покинул тюрьму в машине НКВД. Он был в рубашке и брюках, но босиком¹⁸.

С польской стороны многие были против использования слова “амнистия” в отношении невинных людей, но ситуация не позволяла придираться к словам: отношения между новоиспеченными “союзниками” были шаткими. Власти СССР отказались нести какую-либо моральную ответственность за “солдат” новой армии, чье здоровье было в очень плохом состоянии, и не предоставили генералу Андерсу ни продовольствия, ни снаряжения. “Вы поляки — пусть Польша вас и кормит”, — говорили польским офицерам¹⁹. Некоторые лагерные начальники не спешили выпускать поляков. Густав Герлинг-Грудзинский, все еще находившийся в лагере в ноябре 1941-го, почувствовал, что не доживет до весны, если его не освободят, и решил на голодовку протеста. В конце концов его отпустили²⁰.

Власти СССР еще больше усложнили ситуацию, заявив через несколько месяцев после амнистии, что она распространяется не на всех польских граждан, а только на поляков по национальности. Граждане Польши украинского, белорусского и еврейского происхождения должны были оставаться в СССР. Результатом стали острые конфликты. Многие представители меньшинств пытались выдать себя за поляков, но чистокровные поляки, боясь повторного ареста в случае, если подлинная национальность их товарищей станет известна, разоблачали их. Позднее пассажиры одного эшелона, в котором поляки эвакуировались в Иран, пытались избавиться от группы евреев: они боялись, что поезд с пассажирами непольского происхождения не выпустят из Советского Союза²¹.

Случалось, что поляков освобождали из лагерей или спецпоселков, но не давали денег и не объясняли, куда ехать. Один бывший заключенный вспоминал: “Местные власти в Омске не хотели нам помогать, нам говорили, что ничего не знают ни о какой польской армии, и предлагали поискать работу поблизости от Омска”²². Герлингу-Грудзинскому офицер НКВД предложил список мест, в которые он мог получить билет с направлением на жительство. Где находится польская армия, офицер якобы не знал²³. Руководствуясь слухами, поляки в поисках этой армии ездили по стране наобум.

Стефану Вайденфельду и его семье, высланным на север России, о существовании польской армии не сообщили вовсе. Им просто сказали, что они свободны, не предложив никакого транспорта. Чтобы выбраться из своего отдаленного поселка, они соорудили плот и на нем доплыли по реке до “цивилизации”, то есть до городка, где останавливались поезда. Их скитания подошли к концу лишь месяцы спустя, когда в столовой города Чимкента в южном Казахстане Стефан случайно встретил свою бывшую одноклассницу из Польши. Она, наконец, объяснила ему, где найти польскую армию²⁴.

Мало-помалу бывшие заключенные и их депортированные жены и дети собирались в Куйбышеве, где была главная база польской армии, и в других местах ее сосредоточения. По прибытии многие испытали сильное волнение от нового “обретения Польши”. Казимеж Зарод писал: “Повсюду вокруг польская речь, родные польские лица! Я встретил нескольких старых знакомых и наблюдал сцены восторга и ликования, когда мужчины и женщины бросались друг к другу с объятиями и поцелуями”²⁵. В день приезда генерала Андерса Януш Ведов, другой бывший зэк, сочинил стихотворение, озаглавленное “Приветствие вождю”:

Ах, сердце мое! Вновь ты бьешься так сильно, так счастливо,
А я-то думал, ты зачерствело, умерло в моей груди...²⁶

Через несколько месяцев, однако, оптимизма стало куда меньше. Армия остро нуждалась в продовольствии, медикаментах, снаряжении. Большую часть солдат составляли больные, усталые, изголодавшиеся люди, нуждавшиеся в профессиональной помощи и лечении. Один офицер ужаснулся, увидев, что “огромная масса людей, покинувших места, куда они были сосланы или депортированы, <...> хлынула в голодные районы Узбекистана к формирующейся армии, в которой и без того не хватало продовольствия и многие были больны”²⁷.

Вдобавок ко всему отношения с советскими властями оставались натянутыми. Сотрудников польского посольства, находившихся в разных частях страны, по-прежнему арестовывали без всяких объяснений. Боясь дальнейшего ухудшения ситуации, генерал Андерс в марте 1942 года изменил план. Вместо того чтобы двигаться с армией на запад, к линии фронта, он добился разрешения эвакуировать ее из СССР. Это была масштабная операция: 74 000 польских военнослужащих и 41 000 гражданских лиц, в том числе много детей, отправившись эшелонами в Иран.

Торопясь покинуть Советский Союз, Андерс не смог взять с собой всех поляков, и тысячи их остались в стране, как и многие их бывшие сограждане еврейского, украинского и белорусского происхождения. Некоторые впоследствии вступили в польскую дивизию имени Костюшко, воевавшую в составе Красной Армии. Другим пришлось ждать репатриации до конца войны. Были и такие, кто не уехал вообще. Их потомки донныне живут в польских анклавах в Казахстане и на севере России.

Те, кто уехал, вступили в борьбу с нацистами. Отдохнув в Иране, армия Андерса в конце концов присоединилась к союзным войскам в Европе, куда польские военные добирались через Палестину, а некоторые даже через Южную Африку. Польский корпус участвовал в битве при Монте-Кассино, чем способствовал освобождению Италии. Польские гражданские лица на протяжении войны рассредоточились по разным уголкам Британской империи. Польские дети росли в сиротских приютах Индии, Палестины, даже Восточной Африки. Большая часть этих поляков не стала возвращаться в оккупированную СССР послевоенную Польшу. В западной части Лондоне и сегодня существуют напоминания о той эмиграции — польские клубы, исторические общества, рестораны²⁸.

Поляки, покинувшие СССР, оказали после отъезда своим менее удачливым бывшим солагерникам одну неоценимую услугу. Армия Андерса и польское правительство в изгнании провели в Иране и Палестине несколько опросов военных и членов их семей, с тем чтобы точно установить, как обошлись в СССР с депортированными поляками. Поскольку люди, эвакуированные Андерсом, составили

единственную большую группу бывших заключенных, которой когда-либо было разрешено покинуть СССР, результаты этих опросов и предпринятых на скорую руку исторических расследований на протяжении полувека оставались уникальным весомым свидетельством о ГУЛАГе. В своих рамках это свидетельство было на удивление точным: хотя бывшие польские заключенные не слишком хорошо понимали историю ГУЛАГа, они сумели передать колоссальный размах лагерной системы, ее географическую протяженность (для этого им нужно было только указать места, где они содержались) и царившие в ней в военные годы ужасающие условия жизни.

После войны эти описания пережитого поляками легли в основу докладов о советских лагерях принудительного труда, выпущенных в США Библиотекой Конгресса и Американской федерацией труда. Содержавшиеся там прямые описания советского рабства потрясли многих американцев, чьи представления о лагерях в СССР были тогда гораздо менее четкими, чем в 20-е годы, когда предпринимались попытки бойкота советского леса. Эти доклады стали достоянием широкой общественности, и в 1949 году, пытаясь побудить ООН к расследованию практики принудительного труда в государствах-членах, АФТ представила ООН большой массив свидетельств о рабстве в СССР: “Не прошло и четырех лет с тех пор, как рабочие всего мира одержали свою первую победу, победу над нацистским тоталитаризмом, с огромными жертвами выиграв войну против политики порабощения народов всех стран, оккупированных нацистами. <...> И вот, несмотря на победу союзников, мир глубоко встревожен сообщениями, которые говорят о том, что зло, против которого мы сражались, и за искоренение которого столь многие отдали жизнь, по-прежнему свирепствует в различных частях земли...”²⁹.

Уже шла холодная война.

Жизнь в лагерях во многих случаях отражала жизнь в СССР в целом, отзывалась на происходившие в стране события, и это особенно верно в отношении последних лет Второй мировой войны. Германия агонизировала, и мысли Сталина обратились к послевоенному мироустройству. Его планы втянуть Центральную Европу в советскую сферу влияния обрели конкретные очертания. НКВД, со своей стороны, вступил в экспансионистскую, “международную” стадию существования. “В этой войне не так, как в прошлой, — заметил Сталин в разговоре с Тито, записанном югославским коммунистом Милованом Джиласом, — а кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, свою социальную систему. Иначе и быть не может”³⁰. Существенным элементом советской “социальной системы” были концлагеря, и с приближением конца войны советская тайная полиция начала экспортировать свои методы и кадры в

оккупированные СССР части Европы, наставляя восточноевропейских учеников по части лагерного режима и приемов обращения с заключенными. Все это уже было хорошо опробовано на родине.

Из лагерей, созданных в странах советского блока, самыми жестокими, судя по всему, были восточногерманские. Советская военная администрация начала сооружать их уже в 1945 году, как только Красная Армия вошла в Германию. В конечном итоге этих спецлагерей стало одиннадцать. Два из них — Заксенхаузен и Бухенвальд — располагались на месте прежних нацистских концлагерей. Все они находились в ведении НКВД, который организовал их и управлял ими в такой же манере, в какой он управлял лагерями ГУЛАГа на родине. Здесь были и производственные нормы, и урезанные до предела пайки, и переполненные бараки. В голодные послевоенные годы эти лагеря в Германии, кажется, были еще более губительными, чем лагеря на территории СССР. За пять лет их существования через них прошло почти 240 000 человек главным образом политзаключенных. Из них, как утверждают, умерло 95 000 — более трети. Если для властей СССР мало что значили жизни советских заключенных, то что уж там говорить о жизнях немецких “фашистов”.

Большую часть заключенных восточногерманских лагерей составляли не нацисты высокого ранга и не военные преступники: этих обычно везли в Москву, там допрашивали и отправляли в советские лагеря для военнопленных или в лагеря ГУЛАГа. Спецлагеря играли ту же роль, что и депортации поляков и прибалтийцев: они должны были перебить хребет немецкой буржуазии. В них сажали судей, юристов, предпринимателей, врачей, журналистов. Изредка попадались там даже немецкие антифашисты, которых Советский Союз, парадоксальным образом, тоже боялся. Всякий, кто отважился бороться с нацистами, мог отважиться и на борьбу с Красной Армией³¹.

Граждан из таких же категорий отправляли и в венгерские и чехословацкие лагеря, созданные местными тайными полициями с помощью советников из СССР после захвата власти коммунистами в Праге в 1948-м и в Будапеште в 1949 году. Мотивы этих арестов были охарактеризованы как карикатура на советскую логику: одного венгерского синоптика арестовали за прогноз “вторжения ледяного воздуха с северо-востока — с территории Советского Союза” в день прибытия в Венгрию советской дивизии; одного чешского бизнесмена отправили в лагерь по доносу соседа, заявившего, что тот назвал Сталина идиотом³².

Но сами лагеря карикатурными не были. В воспоминаниях о венгерском лагере, который славился наибольшей жестокостью, венгерский поэт Дердь Фалуди изобразил почти точную копию гулаговской системы, вплоть до туфты и голода, из-за которого венгерские заключенные вынуждены были собирать в лесу дикие ягоды и гри-

бы³³. У чешской системы была своя “изюминка” — восемнадцать лагунков вокруг Яхимовских урановых рудников. Ныне ясно, что политзаключенных с большими сроками, подобных советским каторжникам, посылали на эти рудники умирать. Они добывали уран для советской атомной бомбы без всякой защиты от радиации. Смертность была высока, но насколько высока, неизвестно до сих пор³⁴.

В Польше положение было более сложным. В конце войны немалая часть населения страны жила в лагерях того или иного рода: в лагерях для перемещенных лиц (евреи, украинцы, бывшие “остарбайтеры”), в лагерях для интернированных (немцы и фольксдойчи, польские граждане немецкого происхождения) или в лагерях для заключенных. Красная Армия разместила в Польше некоторые свои лагеря для военнопленных и отправляла туда не только немцев, но и участников польской Армии Крайовой перед депортацией их в СССР. Кроме того, в Польше были политзаключенные: в 1954 году их насчитывалось 84 200³⁵.

Лагеря сооружались и в Румынии, и в Болгарии, и, несмотря на “антисоветскую” репутацию Тито, в руководимой им Югославии. Как и лагеря Центральной Европы, эти балканские лагеря вначале были очень похожи на ГУЛАГ, но со временем начали приобретать свои особенности. Большую их часть создавали под советским руководством местные “органы”. Румынская тайная полиция “Секуритате” действовала, судя по всему, по прямым директивам советского начальства. Возможно, поэтому румынские лагеря походили на ГУЛАГ особенно сильно, вплоть до того, что их использовали для реализации таких же нелепых сверхамбициозных проектов, какие Сталин осуществлял в СССР. Самая знаменитая из этих строек — Дунайско-Черноморский канал, — кажется, вообще не имела экономического смысла. Канал сегодня настолько же заброшен, как Беломорканал, который он зловеще напоминает. Пропагандистский лозунг гласил: “Дунайско-Черноморский канал — могила румынской буржуазии!” Невольно приходишь к мысли, что главное назначение канала в этом-то и состояло: ведь на его строительстве погибло, возможно, до двухсот тысяч человек³⁶.

Болгарские и югославские лагеря носили несколько иной характер. Болгарскую полицию, похоже, в первую очередь заботило наказание заключенных, а выполнение плана — лишь во вторую. Одна болгарская актриса, побывавшая в лагере, потом вспоминала, как ее избил кто-то ли не до смерти после того, как она упала в обморок от жары: “Меня накрыли старым тряпьем и оставили одну. Назавтра все пошли на работу, а я целый день провела взаперти без пищи, воды и лекарств. Из-за ушибов и всего, что я перенесла накануне, я была слишком слаба, чтобы встать. Били меня жестоко. Я четырнадцать часов пролежала без чувств и выжила только чудом”³⁷.

Она, кроме того, видела, как отца и сына забили до смерти на глазах друг у друга просто ради удовлетворения садистских потребностей тех, кто их бил. Другие бывшие заключенные болгарских лагерей пишут о муках жары, холода и голода, о физических издевательствах³⁸. Источником особых страданий было местоположение некоторых из этих южных лагерей: один из самых жестоких югославских лагерей находился на острове в Адриатическом море, где было мало воды и главным мучением была жажда³⁹.

В отличие от ГУЛАГа, большинство этих лагерей не просуществовало долго, и многие были закрыты еще до смерти Сталина. Восточногерманские спецлагеря были фактически упразднены в 1950-м — главным образом потому, что они сильно уменьшали популярность правящей Социалистической единой партии Германии. Ради улучшения облика нового режима и предотвращения бегства восточных немцев на Запад, которое тогда еще было возможно, восточногерманская тайная полиция даже проводила с заключенными перед освобождением курс оздоровления и выдавала им новую одежду. Но отпускали не всех: тех, кого считали самыми серьезными политическими противниками новой власти, вывозили, как и поляков, в Советский Союз. Членов похоронных команд спецлагерей, по имеющимся данным, тоже вывезли — иначе они могли выдать местоположение массовых захоронений, которые были найдены и эксгумированы только в 90-е годы⁴⁰.

Чешские лагеря тоже действовали недолго: после пика 1949 года их начали сворачивать и наконец упразднили вовсе. Венгерский лидер Имре Надь ликвидировал лагеря в своей стране в июле 1953-го — сразу же после смерти Сталина. Болгарские коммунисты, напротив, сохраняли несколько лагерей строгого режима еще в 70-е годы, когда советская массовая лагерная система давно уже была ликвидирована. Ловеч, один из самых жестоких болгарских лагерей, функционировал с 1959 по 1962 год⁴¹.

Может показаться неожиданным, что самое долговечное воздействие «международная политика» ГУЛАГа оказала за пределами Европы. В начале 50-х, в пору расцвета китайско-советского сотрудничества, советские «специалисты» помогли китайским товарищам создать несколько лагерей и организовать бригады принудительного труда на угольной шахте близ Фушуня. Система китайских лагерей «ляогай» существует до сих пор, хотя они сильно отличаются от сталинских лагерей, по образцу которых были некогда созданы. По-прежнему это трудовые лагеря, и за лагерным сроком, как в сталинской системе, часто следует ссылка, но китайское лагерное начальство теперь не так сильно озабочено выполнением норм и спускаемых сверху производственных планов. Вместо этого оно сосредоточено на жестком «перевоспитании». Раскаяние заключен-

ного, его ритуальное самоуничтожение перед партией, кажется, так же важно для властей, как его труд, если не еще важнее⁴².

В конечном итоге конкретные особенности повседневной жизни лагерей в странах-союзниках и сателлитах СССР (назначение лагерей, длительность их существования, соотношение дисциплины и неразберихи, степень жестокости и либерализма) зависели от страны и культуры. Видоизменять советскую модель, приспособив ее к местным нуждам, было сравнительно легко. Впрочем, возможно, я напрасно употребила прошедшее время. Следующая цитата из сборника, опубликованного в 1998 году, описывает не столь давние события в концентрационном лагере в последней коммунистической стране Евразии: «В первый же день (мне было девять лет) я получил норму. Первой моей работой было подниматься на гору, собирать там хворост и большими вязанками носить в школу. Мне было велено сходить десять раз. На то, чтобы подняться, собрать дрова и спуститься, уходило два-три часа. Пока не кончишь, не отпускали. Настала ночь, а я все ходил, кончил за полночь и упал на землю от усталости. Конечно, другие дети, которые были здесь дольше, справлялись быстрее. <...>

Среди других видов работы была промывка в реке золотого песка с помощью сита. Это было куда проще; порой, если тебе везло, ты мог выполнить норму раньше и поиграть немного, не говоря учителю, что уже выполнил норму...»⁴³.

Писатель Кан Чхоль Хван бежал из Северной Кореи в 1992 году. До этого он со всей своей семьей провел десять лет в концлагере Йодок. Согласно оценке одной сеульской правозащитной группы, в подобных лагерях и сегодня содержится около 200 000 граждан Северной Кореи за такие «преступления», как чтение иностранных газет, слушание иностранных радиостанций, разговоры с иностранцами или «оскорбление властей» (то есть критические высказывания в адрес руководства страны). В этих лагерях погибло, как считают, около 400 000 человек⁴⁴.

Не все северокорейские лагеря находятся в Северной Корее. Как писала в 2001 году газета «Москоу таймс», правительство Северной Кореи выплачивает России долги тем, что посылает бригады своих граждан работать в хорошо охраняемые шахтерские и лесозаготовительные лагеря в отдаленных частях Сибири. Эти лагеря — «государство в государстве»: у каждого своя внутренняя система распределения продовольствия, своя лагерная тюрьма, своя охрана. Количество занятых рабочих оценивается в 6000. Платят им или нет, неизвестно, но, безусловно, уехать они не могут⁴⁵.

Словом, идея концлагеря оказалась достаточно общей, чтобы годиться на экспорт, и достаточно долговечной, чтобы дожить до нынешнего дня.

Глава 22

Зенит лагерно-производственного комплекса

*Мы в семнадцать — учились любить,
В двадцать лет — умирать научились,
Знать, что если позволено жить, —
То еще ничего не случилось.
В двадцать пять — научились менять
Жизнь на воблу, дрова и картофель <...>*

*Что ж осталось узнать к сорока? —
Мы так много страниц пропускали.
Разве только, что жизнь коротка. —
Так ведь это и в двадцать мы знали.*

Михаил Фроловский. Наше поколение¹

*...А между тем на нашу страну, на всю
Восточную Европу, а в первую очередь на на-
ши каторжные места, надвигался сорок девя-
тый год — родной брат тридцать седьмого.*

Евгения Гинзбург. Крутой маршрут

Конец войны принес военные парады, долгожданные встречи, слезы радости — и массовую убежденность в том, что жизнь должна стать и обязательно станет легче. Миллионы мужчин и женщин перенесли ради победы в войне страшные лишения. Теперь они надеялись на облегчение. В сельской местности шла молва об отмене колхозов. В городах люди открыто жаловались на высокие цены на продовольствие и карточную систему. Кроме того, война показала миллионам советских людей, как военнотружущим, так и гражданским лицам, угнанным немцами на принудительные работы, относительно благополучную западную жизнь, и теперь советским властям было труднее лгать, что рабочему на Западе живется куда хуже, чем в СССР².

Даже многие руководители страны теперь чувствовали, что настало время переориентировать производство с вооружений на потребительские товары, в которых люди отчаянно нуждались. В частном телефонном разговоре, записанном и сохраненном для потомства советскими “органами”, один советский генерал говорил другому, что все вокруг открыто выражают недовольство жизнью, что люди ведут об этом речь в поездах и других общественных мес-

тах³. Сталин наверняка знает об этом, рассуждал генерал, и скоро примет необходимые меры.

Весна 1945 года была временем больших надежд и для заключенных. В январе объявили очередную амнистию для беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей дошкольного возраста. Ограничения военного времени были несколько смягчены, и заключенным вновь разрешили получать вещевые и продовольственные посылки. Большая часть перемен была продиктована отнюдь не состраданием. Амнистия для женщин, не касавшаяся, само собой, осужденных за “контрреволюционные преступления”, была прежде всего обусловлена катастрофическим ростом числа сирот и беспризорных детей, из-за которого по всей стране распространилось хулиганство и детская преступность. Власти неохотно признали, что матери могут помочь решить эту проблему. Снятие ограничений на посылки тоже не было актом добросердечия: это была попытка уменьшить последствия голода первых послевоенных лет. ГУЛАГ не мог кормить заключенных своими силами и решил привлечь на помощь их семьи. Директива из центра строго указывала начальникам лагерей, что “вещевые и продовольственные посылки и передачи являются серьезнейшим дополнительным источником в деле обеспечения заключенных вещевым имуществом и питанием”⁴. Для многих эти изменения были источником надежды, предвестьем новой, более человеческой эпохи.

Надежды не сбылись. Не прошло и года после победы, как началась холодная война. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели советское руководство к мысли, что экономика страны должна в первую очередь решать военные задачи, что надо развивать тяжелую индустрию, а не заниматься выпуском холодильников и детской обуви. Несмотря на военную разруху, советские планировщики всячески старались сэкономить на людских потребностях, строить как можно быстрее — и как можно шире использовать принудительный труд⁵.

Появление новой угрозы сыграло Сталину на руку: оно стало предлогом для того, чтобы вновь ужесточить контроль над собственным народом, подвергшимся “разлагающему” влиянию внешнего мира. Он приказал нанести сокрушительный удар всяческим разговорам о демократии — нанести еще до того, как эти разговоры успели распространиться⁶. Он, кроме того, усилил и реорганизовал НКВД, разделив его в марте 1946 года на два ведомства. Министерство внутренних дел (МВД) контролировало ГУЛАГ и спецпоселки, фактически это было министерство принудительного труда. Второе, более высокопоставленное ведомство — МГБ, позднее переименованное в КГБ, — занималось разведкой и контрразведкой, охраной границ, а впоследствии и надзором за противниками режима⁷.

И наконец, вместо того чтобы ослабить репрессии после войны, советское руководство начало новую кампанию арестов. Опять пострадала армия, другими мишенями стали “избранные” нацменьшинства, в том числе советские евреи. В разных городах разоблачались “антисоветские” нелегальные молодежные организации⁸. В 1947-м был издан указ о запрещении браков между гражданами СССР и иностранцами. Фактически запрещалась любая связь с иностранными гражданами. Карались советские ученые за передачу научных сведений зарубежным коллегам. В 1948-м вышел указ о выселении колхозников, не вырабатывающих обязательного минимума трудодней. За этот год в отдаленные края на спецпоселение было без суда и следствия выслано более 23 000 колхозников⁹.

Сохранились рассказы о некоторых менее обычных арестах конца 40-х годов. Согласно недавно рассекреченным разведанным, полученным от немецкого военнопленного, в ГУЛАГе, возможно, находились тогда два американских летчика. В 1954 году немец, побывавший в советских лагерях, рассказал американцам, что в 1949 году встретил в лагере для военнопленных близ Ухты в республике Коми двух летчиков ВВС США. Их самолет потерпел аварию в районе Харькова. Их обвинили в шпионаже и, если верить словам немца, определили в каторжную бригаду. Одного из них в лагере якобы убил уголовник, другого впоследствии увезли — предположительно в Москву¹⁰.

Вокруг Коми АССР циркулируют и другие слухи, более смутные и дразнящие. Согласно местной легенде, в 40-е годы в лагунке Седь-Вож (тоже близ Ухты) содержалась группа англичан или, по крайней мере, англоязычных. По словам местного историка, эти англичане были разведчиками, сброшенными на парашютах в Германии в конце войны. Красноармейцы захватили их, допросили и доставили в ГУЛАГ под большим секретом, потому что Великобритания и СССР были тогда союзниками. Свидетельств об их присутствии очень мало: местное неофициальное название одного лагунка “Английская колония” и единичное упоминание в документе московского военного архива о десяти шотландцах в лагере для военнопленных в этом районе¹¹.

Из-за всех этих новых количество содержащихся в учреждениях ГУЛАГа после войны не уменьшилось, а наоборот, выросло в начале 50-х до максимума. Согласно официальным данным, на 1 января 1950 года в лагерях и колониях ГУЛАГа содержалось 2 561 351 заключенных — на миллион больше, чем в 1945-м¹². Число спецпереселенцев тоже выросло, причина этого — крупные депортации из Прибалтики, Молдавии и Украины, имевшие целью довершить “советизацию” этих районов. Примерно в то же время власти раз и навсегда разобрались с трудным вопросом о будущем ссыль-

ных, постановив, что все они, включая детей, ссылаются “навечно”. В 50-е годы количество ссыльных примерно равнялось количеству лагерников¹³.

Вторая половина 1948-го и первая половина 1949 года принесли еще одну неожиданную трагедию: бывших заключенных, главным образом тех, кого арестовали в 1937–1938 годы и кто совсем недавно, отбыв десятилетний срок, вышел на свободу, начали брать повторно. Эти новые аресты были систематическими, всеобъемлющими и удивительно спокойными. Следствие, как правило, велось упрощенно, спустя рукава¹⁴. Ссыльные, жившие в Магадане и в районе Колымы, поняли, что грядет беда, когда начали узнавать об арестах бывших “политических”, чьи фамилии начинались с первых букв алфавита. Стало ясно, что людей берут в алфавитном порядке¹⁵. Это было и смешно, и трагично. “В тридцать седьмом оно — злодейство — выступило в монументально-трагическом жанре, — пишет Евгения Гинзбург. — <...> Сейчас, в сорок девятом, Змей Горыныч, зевая от пресыщения и скуки, не торопясь доставлял алфавитные списки уничтожаемых...”¹⁶.

Подавляющее большинство “повторников”, вспоминая свои тогдашние чувства, говорит о безразличии. Первый арест был потрясением, но вместе с тем и уроком: многим впервые пришлось увидеть режим в его подлинном обличье. Второй арест таких новых знаний уже не приносил. “Теперь, в сорок девятом, я уже знала, что страдание очищает только в определенной дозе, — пишет Гинзбург. — Когда оно затягивается на десятилетия и врастает в будни, оно уже не очищает. Оно просто превращает в деревяшку. И если я еще сохраняла живую душу в своей “вольной” магаданской жизни, то теперь-то, после второго ареста, одеревенею обязательно”¹⁷.

Ольга Адамова-Слиозберг, когда за ней пришли во второй раз, двинулась было к шкафу за вещами, но остановилась. “Зачем я буду брать с собой вещи? Они пригодятся детям. Ведь совершенно ясно, что я не буду жить. Второй раз пережить это? Нет”¹⁸. Желю Льва Разгона посадили “по новой”, и он спросил, почему. Узнав, что ее отправляют в ссылку по старому делу, он потребовал дальнейших объяснений: “Как же это может быть? Ведь она же отбыла наказание за то, за что была арестована в тридцать седьмом. А по закону разве можно наказывать два раза за одно и то же преступление? — Полковник удивленно на меня посмотрел. — По закону, конечно, нельзя. Но при чем тут закон?...”¹⁹.

Большую часть “повторников” отправляли не в лагеря, а в ссылку, как правило, в отдаленные и малонаселенные районы страны — на Колыму, в Красноярский край, Новосибирскую область, Казахстан²⁰. Там жизнь ссыльных была крайне тяжелой и однообразной. Местное население сторонилось их как “врагов народа”, им трудно

было найти жилье и работу. Никто не хотел иметь дело со шпионами и вредителями.

Жертвам Сталина его планы были вполне ясны: никому из отбывших срок “шпионов”, “вредителей” и политических оппонентов режима никогда не разрешат вернуться домой. По освобождении им давали “волчьи билеты” — паспорта, не позволявшие им жить вблизи крупных городов и означавшие для них постоянную возможность нового ареста²¹. ГУЛАГ и дополнявшая его ссылка не были временным наказанием. Для тех, кто попадал в эту систему, она, казалось, навечно должна была стать образом жизни.

Война была причиной одной перемены в лагерной системе, перемены устойчивой, но такой, которую трудно измерить количественно. Лагерный режим после победы не стал более либеральным, но изменились сами заключенные, и в первую очередь политические.

Прежде всего, их стало больше. Демографические сдвиги военных лет и амнистии, из которых политические целенаправленно исключались, привели к существенному увеличению доли политических в лагерях. По данным на 1 июля 1946 года более 35 процентов заключенных в системе в целом были осуждены за “контрреволюционные преступления”. В некоторых лагерях этот процент был еще намного выше, политические могли составлять более половины лагерного контингента²².

Хотя эта доля впоследствии уменьшилась, изменилось само положение политических в лагерях. Это были политзаключенные нового поколения, люди с другим жизненным опытом. Политические, арестованные в 30-е годы, и особенно те, кого осудили в 1937–1938 годы, были интеллигентами, членами партии и простыми рабочими. В большинстве своем эти люди были потрясены арестом, психологически не готовы к жизни в заключении, физически не приспособлены к тяжелому труду. Напротив, в первые послевоенные годы среди политических было много бывших красноармейцев, участников политической Армии Крайовой, украинских и прибалтийских партизан, немецких и японских военнопленных. Эти люди в прошлом воевали в окопах, вели подпольную работу, командовали солдатами. Некоторые побывали в немецких концлагерях, другие — в партизанских отрядах. Многие не скрывали своих антисоветских или антикоммунистических убеждений и, оказавшись за колючей проволокой, несколько не были этим удивлены. “Смотревшие смерти в глаза, прошедшие огонь и ад войны, перенесшие голод и множество тягот, они были совсем иным поколением, чем лагерники довоенного набора”, — писал один бывший заключенный²³.

Почти сразу же эти новые политзаключенные начали создавать трудности для лагерного начальства. К 1947-му блатным уже трудно стало подчинять их себе. Среди разнообразных национальных и

криминальных группировок, доминировавших в лагерях, возникла новая — “красные шапочки”. В основном это были бывшие солдаты и партизаны, которые объединялись для борьбы с бесчинствами блатных, а заодно и с начальством, смотревшим на эти бесчинства сквозь пальцы. Группировки политических действовали и в 50-е годы, хотя администрация всячески старалась их разрушить. Зимой 1954–1955 годов Виктор Булгаков, который был заключенным в Инте, в шахтерском лагере, наблюдал попытку начальства уничтожить слаженную организацию политических руками уголовников, которых заселили в зону в количестве шестидесяти человек. Уголовники обжились и “начали шкодить по зоне”: “У них появилось холодное оружие, все как полагается в таких случаях. <...> У одного старика украли деньги и вещи, мы сказали, чтобы отдали по-хорошему, но у них не было привычки отдавать, поэтому где-то часа в два, только что развод прошел, подошли к этому бараку с разных сторон, вошли в барак, встали вокруг. Начали бить, избивали до лежащего состояния, один выскочил в окно, с рамой на голове, она маленькая, добежал до вахты, там упал на пороге. Пока охрана прибежала, никого уже не было. <...> Блатных из зоны забрали”²⁴.

Нечто похожее произошло в Норильске: “...в лагпункт, заключенные которого состояли сплошь из 58-й статьи, пришла партия воров и начала устанавливать свои порядки. Зэки, бывшие офицеры Красной Армии, не имея никакого оружия, разорвали бандюг на куски. С дикими воплями остальные бандюги бросились к вахте и к охранным вышкам, умоляя о помощи”²⁵.

Даже женщины стали вести себя по-другому. Когда у одной политзаключенной уголовницы украли деньги, ее подруга Сусанна Печуро подошла к “блатнячке” и сказала: “Мне не важно, кто это взял, но скажи своим, что, если вечером деньги не будут лежать на тумбочке, мы вас выбросим из барака со всеми вашими шмотками”. Деньги были возвращены.

Не всегда, конечно, уголовники были проигравшей стороной. В Вятлаге воры-рецидивисты убили девять заключенных. До этого они потребовали от каждого по 25 рублей и всех, кто отказывался платить, убивали²⁶.

Власти задумались. Если политические научились объединяться против бандитов, они могут начать объединяться и против начальства. В 1948-м, предупреждая беспорядки, руководство ГУЛАГа распорядилось перевести политзаключенных, “представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности”, в создаваемые “особые лагеря”. Предназначенные исключительно для “шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов, участников других антисоветских организаций и групп”, особые ла-

геря были по существу продолжением каторги. У них с ней было много общих черт: особая арестантская одежда с номерами, решетки на окнах, запирающиеся на ночь бараки. Контакт заключенных с внешним миром был сведен к минимуму: в некоторых случаях им разрешалось всего одно-два письма в год. Получать письма было позволено только от членов семьи. Продолжительность рабочего дня составляла десять часов, использовать заключенных предписывалось по преимуществу на тяжелых физических работах. Медицинское обслуживание было минимальным: в особых лагерных комплексах никаких “инвалидных лагерей” не создавалось²⁷.

Как и отделения каторжных работ, с которыми особые лагеря вскоре частично слились, особые лагеря организовывались исключительно в самых суровых районах страны — в Инте, Воркуте, Норильске, на Колыме, в степях Казахстана, в глухих лесах Мордовии. Фактически это были лагеря внутри лагерей, поскольку в большинстве случаев они создавались в составе существующих лагерных комплексов. Но была у них одна интересная черта. В приливе странного поэтического вдохновения начальство ГУЛАГа дало им всем красивые “природные” названия: Минеральный, Горный, Дубравный, Степной, Береговой, Речной, Озерный, Песчаный, Полянский, Камышовый. Цель была отчасти конспиративной: не выдавать названиями подлинных особенностей лагерей. В Дубравном вряд ли были дубравы, Береговой находился не на берегу, а в глубине Колымы. Очень скоро по советскому обычаю названия сократили: Минлаг, Горлаг, Дубравлаг, Степлаг и т. д. К началу 1953 года в десяти особых лагерях находилось 210 000 человек²⁸.

Но выделение “представляющих опасность” политических из общей массы не сделало их более покладистыми. Наоборот, особые лагеря избавили политических от постоянных конфликтов с уголовниками и от смягчающего влияния других заключенных. Оставшись наедине с властями, они усилили сопротивление: шел не 1937 год, а 1948. В конце концов это сопротивление переросло в долгую, решительную, беспрецедентную борьбу.

Новое ужесточение репрессий коснулось не только политзаключенных. Теперь, когда выполнение плана значило больше, чем когда-либо, начальство ГУЛАГа начало менять отношение к матерым уголовникам. Их развращенность, безделье и угрожающее поведение в отношении охраны снижали производительность лагерного труда. Теперь, когда они уже не контролировали политических, эти минусы не компенсировались никакими плюсами. Хотя уголовники никогда не вызывали такой враждебности, как политические, и лагерная охрана неизменно относилась к ним снисходительней, послевоенное руководство ГУЛАГа тем не менее решило положить ко-

нец правлению блатных в лагерях и навсегда ликвидировать прослойку воров в законе, отказывающихся работать.

ГУЛАГ вел войну с ворами в двух формах — открытой и завуалированной. Прежде всего, самых опасных матерых преступников просто-напросто отделили от других, и им дали более длинные сроки — десять, пятнадцать, двадцать пять лет²⁹. Кроме того, в конце 1948 года министр внутренних дел приказал организовать специальные лагерные подразделения строгого режима для рецидивистов и бандитов. Согласно приказу, надзирательскую службу таких подразделений нужно было укомплектовать “наиболее подготовленным, дисциплинированным и физически здоровым личным составом”. К приказу была приложена инструкция, где, в частности, подробно описано устройство усиленного ограждения жилой и производственной зоны. ГУЛАГ потребовал немедленно создать такие подразделения в двадцати семи лагерях. Общая их вместимость должна была составить более 115 000 заключенных³⁰.

К сожалению, о повседневной жизни в этих подразделениях известно очень мало, мы не знаем даже, все ли они были организованы. Те из содержащихся в них преступников, кто живым вышел на свободу, еще менее склонны к написанию мемуаров, чем уголовники в обычных лагерях. На практике, в большинстве лагерей были выработаны те или иные формы отдельного содержания серьезных преступников. По несчастливой случайности Евгения Гинзбург на месяц попала в Известковую — так называлась штрафная командировка на Колыме. Там она была единственной политической среди уголовных преступниц.

В штрафной командировке Гинзбург работала в известковом забое, где не могла выполнить норму и поэтому вначале не получала еды совсем. Первые несколько ночей она просидела в углу барака: на нарах мест не было. В нестерпимо жарком помещении уголовницы, раздевшись почти догола, пили “какие-то эрзацы алкоголя”. Наконец одна сифилитичка с провалившимся носом немного подвинулась и позволила Гинзбург лечь, но радости от этого было мало — душил “идуший от Райки густой запах гноя”. “На Известковой, как в самом настоящем аду, не было не только дня и ночи, но и средней, пригодной для существования температуры. Или ледяная стынь известкового забоя или inferнальная жарница барака”.

Гинзбург там чудом избежала изнасилования. Однажды вечером в барак в полном составе вломилась охрана лагпункта, не боявшаяся начальства, до которого было очень далеко, и набросилась на женщин. Но в другой раз Гинзбург неожиданно выдали кусок хлеба: командир “вохры”, ожидая проверки, испугался, что она умрет. “Наше воинство, очумевшее от глухоты, от жратвы и от спирта, от постоянной перепалки с девками, совсем потеряло ориентацию и

не очень соображало, за что именно ему может влететь. Во всяком случае, акт о смерти им был к приезду начальства ни к чему”³¹.

Гинзбург повезло. Благодаря хлопотам друзей, которые “искали знакомых с такой высокопоставленной особой, как домработница начальника Севлага”, ее перевели в другой лагерь. Не все отделялись так легко.

Помимо строгого режима и увеличения сроков, администрация использовала для укрощения уголовников и другие средства. В странах Центральной Европы мощным оружием советских оккупационных властей было их умение развратить представителей местной элиты, привлечь их на свою сторону, сделать из них своих пособников, добровольных угнетателей собственного народа. Точно такие же приемы шли в ход для контроля криминальной элиты в лагерях. Действовали просто: ворами за отказ от своего “закона” и готовность сотрудничать предлагали всевозможные поблажки и привилегии. Тем, кто соглашался, позволяли издеваться над прежними товарищами, даже пытаться их и убивать при попустительстве лагерной охраны. Этим совершенно развращенных уголовников-коллорабационистов называли на блатном жаргоне суками, и между ними и теми, кто остался верен воровскому “закону”, шла настоящая война.

Эта “война между ворами и суками”, как и борьба политических за выживание, была одним из определяющих элементов послевоенной лагерной жизни. Хотя конфликты между криминальными группировками происходили и раньше, они не были настолько жестокими и так откровенно спровоцированными: столкновения начались в 1948-м одновременно по всей лагерной системе, не оставляя сомнений относительно роли начальства³². Об этой войне пишут очень многие мемуаристы, хотя, опять-таки, это, как правило, не участники событий, а их потрясенные наблюдатели, а порой — жертвы. “Воры и суки смертельно враждовали”, — пишет Анатолий Жигулин: “Попавшие на сучий лагпункт воры, если им не удавалось сразу же после прихода этапа укрыться в БУРе*, спрятавшись там, часто оказывались перед дилеммой: умереть или стать суками, ссучиться. И наоборот, в случае прихода в лагерь большого воровского этапа суки скрывались в БУРах, власть менялась, лагпункт становился воровским. <...> При таких сменах власти, как и при любых иных встречах воров и сук, часто бывали кровавые стычки”³³.

Один заключенный услышал от вора, что все суки — “уже, считай, трупы, мы их приговорили, его при первом случае какой-нибудь блатной замочит”³⁴. Другой описывает последствия одной из битв: “Часа через полтора блатных из нашей группы привели и бро-

* БУР — барак усиленного режима. — *Прим. перев.*

силы на землю. Они были неузнаваемы. Вся приличная одежда с них была содрана. На «сменку» они получили драные телогрейки, вместо сапог — какие-то опорки. Измордовали их зверски, у многих были выбиты зубы. У одного из урок не поднималась рука: она была перебита железной палкой”³⁵.

О войне между ворами и суками вспоминает и Леонид Ситко: “...однажды в коридор забежал надзиратель и закричал: “Война, война!” <...> Воры бросились спасаться в тюрьму, потому что их было меньше, чем сук. А суки их преследовали, кое-кого они убили. Воры прибежали прятаться, и надзиратели их прятали, чтобы меньше крови было в зоне, а потом этих воров отправляли в другие лагеря, чтобы не было снова столкновений”.

В войну иногда вязывались и политические, особенно когда начальство давало сукам слишком уж большие права. Жигулин пишет: “Не стоит романтизировать воров и их закон, как они это сами делали в жизни и в своем фольклоре <...>. Но суки в тюрьмах, в лагерях были для простого зека особенно страшны. Они верно служили лагерному начальству, работали нарядчиками, комендантами, буграми (бригадами), спиногрызами (помощниками бригадиров). Зверски издевались над простыми работягами, обирали их до крошки, разделяли до нитки. Суки не только были стукачами. По приказам лагерного начальства они убивали кого угодно. Тяжела была жизнь заключенных на лагпунктах, где власть принадлежала сукам”.

Но время было послевоенное, и политические уже не были беззащитны. В лагере Жигулина группа бывших красноармейцев топорами и ломami перебила свиту главаря сук, а самого этого главаря жестоко казнила, распилив заживо на пилораме. Его старший помощник Деземия со своими подручными укрылся в БУРе. Политические передали его “кодле” письмо “с обещанием сохранить жизнь, если они покажут в окно отрезанную голову Деземии. Собственная жизнь показалась им, конечно, дороже головы предводителя. Отрезанная голова была показана и опознана”³⁶.

Открытая война приняла такие отвратительные формы, что в конце концов надоела даже начальству. В 1954-м МВД распорядилось “в целях изоляции участников враждующих лагерных групп друг от друга <...> определить конкретные лагеря для раздельного содержания рецидивистов каждой из окрасок”. Это был единственный способ пресечь кровопролитие. Война началась из-за желания властей установить контроль над уголовниками и кончилась из-за того, что власти утратили контроль над нею самой³⁷.

В начале 50-х годов руководители ГУЛАГа оказались в парадоксальном положении. Они хотели приструнить рецидивистов, чтобы увеличить производство и обеспечить бесперебойное функциониро-

вание лагерных подразделений. Они хотели изолировать “контрреволюционеров”, чтобы другие заключенные не перенимали у них опасных идей. Однако, затягивая петлю репрессий, они только усложнили свою задачу. Мятельные настроения в среде политических и войны уголовников ускорили наступление более глубокого кризиса: властям наконец становилось ясно, что лагеря — предприятия неэкономные, подверженные злоупотреблениям и, самое главное, убыточные.

Точнее говоря, это становилось ясно всем, кроме Сталина. В очередной раз его маниакальная потребность в репрессиях и его вера в экономику рабского труда шли рука об руку, так что современникам нелегко было понять, увеличивал ли он число арестов, чтобы создавать больше лагерей, или строил новые лагеря, чтобы размещать больше арестованных³⁸. На протяжении 40-х годов Сталин настаивал на предоставлении МВД все больших экономических возможностей, и в 1952-м — в последний год жизни вождя — МВД освоило около 9 процентов общесоюзных капиталовложений, что превышало показатели капиталовложений всех других министерств. Согласно проекту пятого пятилетнего плана на 1951—1955 годы, одобренному в ноябре 1952-го, объем капиталовложений по МВД должен был вырасти более чем в 2,5 раза, что превышало запланированный рост в целом по стране³⁹.

Вновь Сталин был инициатором ряда эффектных, грандиозных строительных проектов, реализуемых силами ГУЛАГа и напоминавших проекты 30-х годов. По личному настоянию Сталина в монопольное ведение МВД была передана асбестовая промышленность, хотя некоторые члены правительства утверждали, что в асбестовой промышленности применяется сложное оборудование и МВД с этим не справится. Сталин лично распорядился о строительстве заполярной железной дороги Салехард — Игарка, которая стала “мертвой дорогой”⁴⁰. Конец 40-х годов был также эпохой строительства Волго-Донского и Волго-Балтийского водных путей, Главного Туркменского канала, крупнейших в мире Сталинградской и Куйбышевской гидроэлектростанций. Кроме того, в 1950 году МВД приступило к сооружению железнодорожного туннеля под Татарским проливом, который должен был связать остров Сахалин с материком. Это строительство требовало привлечения многих десятков тысяч заключенных⁴¹.

На этот раз, однако, уже не было Горького, чтобы воздать хвалу новым сталинским проектам. Напротив, многие считали их излишне помпезными и расточительными. Хотя при жизни Сталина открыто возражать против них никто не решался, некоторые из этих строек, в том числе сооружение “мертвой дороги” и туннеля к острову Сахалин, были остановлены спустя считанные дни после его смерти. Полную бессмысленность этих колоссальных вложений

грубого ручного труда в руководстве страны хорошо понимали, о чем свидетельствуют документы самого ГУЛАГа. Проверка, проведенная в 1951 году, показала, к примеру, что 83 км северной железной дороги, проложенные ценой больших затрат и многих человеческих жизней, не использовались три года, 370 км дорог в тресте Асбеструда — четыре с половиной года⁴².

В 1953 году после проверок ГУЛАГа, предпринятых ЦК КПСС, стало ясно, что расходы на содержание лагерей и колоний намного превышают доходы от труда заключенных. Например, в 1952 году из госбюджета на содержание лагерей и колоний было выделено почти 2,4 млн. руб., что составило более 16 процентов от общей суммы бюджетных затрат⁴³. Историк Г. М. Иванова отмечает в связи с этим, что все направлявшиеся Сталину предложения “органов” об усилении репрессивной деятельности и о расширении лагерной системы начинались словами: “В соответствии с Вашим указанием...”⁴⁴.

Московские руководители ГУЛАГа хорошо знали и об усилении недовольства и о волнениях среди заключенных. В 1951-м отказы от работы со стороны как уголовников, так и политических приняли массовый характер: согласно подсчетам МВД, потери из-за отказов за этот год составили более миллиона человеко-дней. В 1952-м это количество удвоилось. Согласно статистике ГУЛАГа, в 1952 году 32 процента заключенных не выполняли нормы выработки⁴⁵. Список крупных лагерных восстаний и волнений за 1950—1952 годы, составленный по материалам государственных архивов, на удивление велик и включает в себя, помимо прочего, вооруженное восстание на Колыме (1949—1950); вооруженный побег в Краслаге (март 1951); массовые голодовки в Ухтижемлаге и Экибастузлаге (1951); большие волнения заключенных в Озерлаге (1952)⁴⁶.

Положение стало настолько серьезным, что в январе 1952 года начальник Норильлага направил начальнику ГУЛАГа генерал-лейтенанту Долгих письмо с перечислением мер, которые он принял для предотвращения волнений. В письме он предложил отказаться от использования больших производственных зон, где заключенных невозможно держать под контролем, удвоить охрану (это, он признал, сделать будет трудно), изолировать друг от друга различные лагерные группировки. Это, по его словам, тоже очень трудная задача — слишком уж велико количество заключенных, принадлежащих к тем или иным группировкам, поэтому хорошо если удастся изолировать вожаков. Он также предложил отделить в производственных зонах заключенных от вольнонаемных и под конец написал, что полезно было бы 15000 заключенных освободить, поскольку они принесут больше пользы в качестве вольнонаемных. Нет нужды говорить, что эти предложения неявно ставят под сомнение саму систему принудительного труда⁴⁷.

На более высоких уровнях советской иерархии тоже ощущали необходимость перемен. Министр внутренних дел Круглов сетовал на отсутствие первоклассной техники: было ясно, что с такой техникой, какая была в ГУЛАГе, далеко не уедешь. 25 августа 1949 года в ЦК было получено письмо от заключенного Жданова, человека образованного и опытного. «Самый главный недостаток лагерной системы заключается в том, что труд для людей здесь является повинностью, — писал Жданов. — <...> Фактически производительность труда заключенных крайне низка. При других трудовых отношениях число рабочих, сокращенное наполовину, сделает вдвое больше, чем делается заключенными теперь»⁴⁸.

Письмо обсуждалось на высоком партийном уровне. Круглов отверг предложения Жданова и сообщил, что МВД вводит зачеты рабочих дней и заработную плату заключенным. Никто, судя по всему, не осмелился указать, что обе эти формы «стимулирования» были отменены во второй половине 30-х (вторая из них лично Сталиным) на том именно основании, что они снижают прибыльность лагерей.

Впрочем, большого значения эти перемены не имели. Заключенным доставались далеко не все заработанные ими деньги. Проверка, проведенная после смерти Сталина, показала, что на 1 июня 1953 года ГУЛАГом и другими главками МВД у заключенных было незаконно изъято (в том числе из зарплаты) 126 млн. рублей⁴⁹. И даже те крохотные суммы, что заключенные все-таки получали, шли скорее во вред системе. Во многих лагерях уголовники создавали систему поборов, заставляя заключенных платить тем, кто в лагерной иерархии стоял выше. Не заплатишь — изобьют, а то и убьют. Стала практиковаться и покупка за деньги более легких «придурочных» должностей⁵⁰. В лагерях для политических заключенных стали использовать зарплату для подкупа охранников. Деньги, кроме того, привели за собой в лагеря водку, а позднее и наркотики⁵¹.

Зачеты и досрочное освобождение за хорошую работу, возможно, помогали производству несколько больше. Несомненно, МВД всячески старалось проводить эту политику в жизнь. В апреле 1951-го Совет Министров поручил соответствующим ведомствам рассмотреть вопрос о досрочном освобождении части заключенных, работавших на предприятиях «Воркутауголь», «Интауголь» и в Ухтинском нефтекомбинате, и переводе их в разряд вольнонаемных. Судя по всему, даже на предприятиях МВД начальство предпочитало иметь дело не с заключенными, а с вольнонаемными рабочими⁵².

Беспокойство по поводу лагерной экономики было так велико, что осенью 1950 года Берия дал Круглову указание рассмотреть вопрос о стоимости строек МВД сравнительно с другими министерствами. Круглов доложил, что эффективность строительных работ силами МВД примерно такая же, как у других ведомств. При этом он

указал, что средняя стоимость содержания рабочего-заключенного, в которую входят расходы на еду, одежду, барак и, главное, на охрану, которой теперь требовалось больше прежнего, превышает средний заработок вольнонаемного рабочего⁵³.

Иными словами, лагеря не приносили дохода, и многие теперь это понимали. Однако никто, даже Берия, не осмелился ничего предпринять при жизни Сталина, чему, пожалуй, трудно удивляться. Для любого из ближайшего окружения Сталина заявить диктатору, что его любимые проекты экономически бесперспективны, было в 1950–1952 годах особенно опасно. Несмотря на болезнь и старость, Сталин с годами не смягчался. Наоборот, его параноидальные настроения нарастали, и он повсюду вокруг склонен был видеть предателей и заговорщиков. В июне 1951-го он неожиданно распорядился арестовать Абакумова, начальника советской контрразведки. Осенью того же года, ни с кем ничего заранее не обсудив, он лично потребовал принять постановление ЦК ВКП(б) о «мингрельской националистической организации». Мингрелы — народность в Грузии, виднейшим представителем которой был в то время не кто иной, как Берия. В течение всего 1952 года в грузинской коммунистической верхушке шли снятия с должностей, аресты и расстрелы, от которых пострадали или погибли многие из людей Берии. Сталин почти наверняка намеревался добраться и до него самого⁵⁴.

Берия не был единственной потенциальной жертвой старческого безумия Сталина. В 1952-м диктатор стал замысливать репрессии против еще одного народа. В ноябре этого года в Чехословакии, где правила коммунистическая партия, состоялся суд над четырнадцатью видными партийными деятелями, одиннадцать из которых были евреями. Все они были осуждены как «сионисты» и «авантюристы». 1 декабря на заседании Президиума ЦК КПСС Сталин заявил: «Каждый еврей — националист, потенциальный агент американской разведки». 13 января 1953 года газета «Правда» опубликовала сообщение об аресте «группы врачей-вредителей», которая «ставила своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Шесть из девяти «врачей-террористов» были евреями. Всех их обвинили, в частности, в связях с Еврейским антифашистским комитетом, руководители которого — видные еврейские писатели и деятели культуры — были несколькими месяцами раньше приговорены к расстрелу за «пропаганду еврейского национализма» и прочие «преступления»⁵⁵.

«Дело врачей» было полно страшной, трагической иронии. Все-го десятью годами раньше сотни тысяч советских евреев, живших на западе страны, были истреблены гитлеровцами. Сотни тысяч других бежали от нацистов в Советский Союз из Польши. И тем не менее Сталин в свои последние, предсмертные годы замыслил в отноше-

нии евреев новую серию показательных процессов, новые массовые репрессии, новые депортации. Не исключено, что он собирался в конечном итоге выслать всех евреев, живших в крупных городах СССР, в Центральную Азию и Сибирь⁵⁶.

В очередной раз страну охватили страх и паранойя. Некоторые еврейские деятели культуры, боясь за себя, подписали письмо, осуждающее “врачей-вредителей”. Сотни других еврейских врачей были арестованы. По стране прокатилась волна антисемитизма, многие евреи потеряли работу. Ольга Адамова-Слиозберг в карагандинской ссылке слышала разговоры о посылке, присланной из Америки некоему Рабиновичу. В посылке якобы была вата, а в вате — тысячи сыпнотифозных вшей⁵⁷. В Каргопольлаге до Исаака Фильштинского доходили “слухи о намеченном этапировании заключенных-евреев в особые лагеря на Дальнем Севере”.

И вот, когда казалось, что после “дела врачей” десятки тысяч новых арестантов будут отправлены в лагеря и ссылку, когда над Берией и его людьми сгустились тучи, когда на ГУЛАГ надвигался непреодолимый экономический кризис, Сталин умер.

Глава 23 Смерть Сталина

Последние двенадцать часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличивалось. Лицо потемнело и изменилось, постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели. <...>

Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент — не знаю, так ли на самом деле, но так казалось — очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью...

Светлана, дочь Сталина

Если в 30-е годы многие советские заключенные верили, что ГУЛАГ — это гигантская ошибка, огромная осечка, каким-то образом укрывшаяся от справедливого и доброго взгляда товарища Сталина, то в 50-е годы подобных иллюзий почти ни у кого уже не осталось. Как писал один бывший лагерный врач, “к Сталину отношение в лагере было однозначным. Подавляющее большинство знали и понимали, что из себя представлял этот человек. Понимали, что это тиран, что он подмял под себя великую страну и что судьба каждого из заключенных как-то связана с судьбой Сталина”¹.

В последние годы жизни диктатора политзаключенные уповали на его смерть, молились о ней и часто, хотя и осторожно, чтобы не прослышали стукачи, говорили между собой на эту тему. С сожалением вздыхали: “Грузины долго живут”. Даже когда по радио объявили, что вождь болен, надо было вести себя очень осмотрительно. Надежде Улановской о болезни Сталина сказала заключенная, о которой было известно, что она стукачка. Улановская нарочито равнодушным тоном ответила: “Ну, что же? Каждый может заболеть. Врачи хорошие, вылечат”².

5 марта 1953 года, когда официально объявили о его смерти, некоторые продолжали соблюдать осторожность. В Мордовии политические старательно прятали свою радость — боялись заработать второй срок³. В Магадане “бабы голосили об усопшем со всей истовостью”⁴. Павел Негретов, находившийся в Воркутлаге, услышал о событии в столовой во время обеда. Начальник лагпункта прочел официальное сообщение и не прибавил от себя ни слова. “Он это прочел, стояла гробовая тишина, никто ничего не сказал”⁵.

В одном норильском лагпункте заключенных собрали во дворе, и они с суровым видом выслушали известие о смерти “великого вождя

советского народа и всего прогрессивного человечества”. Затем последовала долгая пауза. Наконец один заключенный поднял руку: “Гражданин начальник! Жена прислала мне деньги, они зачислены на мой счет. Здесь я их использовать все равно не могу, можно как-нибудь их потратить на цветы для нашего любимого вождя?”⁶

Но были и такие, кто открыто выражал радость. В Степлаге, согласно воспоминаниям, раздавались дикие вопли восторга. В Вятлаге заключенные кидали вверх головные уборы и кричали: “Ура!!!”⁷. На центральной улице Магадана один ссыльный приветствовал других возгласом: “С праздничком вас! Со светлым Христовым воскресеньем!”⁸. Подобное почти религиозное воодушевление испытывал не он один. В других воспоминаниях читаем: “Был легкий морозец. И было тихо, тихо. На ночном черном небе синели, радуясь, звезды. Юрий Николаев, воздев руки, с чувством продекларировал: «На Святой Руси петухи поют! Скоро будет день на Святой Руси!»”⁹.

Что бы люди ни чувствовали и осмеливались они выражать свои чувства или нет, у большинства заключенных и ссыльных сразу же возникла уверенность, что их положение изменится. Ольга Адамова-Слиозберг услышала новость в карагандинской ссылке. “Я страшно испугалась, что мое лицо выражает что-нибудь не то, что надо, и закрыла его руками. Я дрожала. Я себе говорила: «Или сейчас, или никогда»”¹⁰.

В Воркутлаге Бернхард Редер услышал объявление по радио, надевая шахтерскую одежду: “Люди исподтишка переглядывались и перешептывались, на мгновение давали волю торжествующей ненависти, взволнованно жестикулировали — и вскоре помещение опустело. Все кинулись передавать хорошую новость дальше. <...> В тот день никто на Воркуте не работал. Люди стояли кучками и возбужденно разговаривали. <...> Слышно было, как часовые на вышках нервно перезваниваются между собой, вскоре начались первые пьяные перепалки”¹¹.

Сотрудники лагерной администрации испытывали глубокое смятение. Ольга Васильева, работавшая тогда в центральном аппарате МВД, сказала в интервью: “Я плакала, и почти все плакали, женщины и мужчины тоже, очень даже откровенно плакали”¹². Как и миллионы их сограждан, работники ГУЛАГа плакали не только по умершему вождю, но и из страха за себя и за свое положение. Хрущев позднее признавался: “...я душою оплакивал его смерть, волновался за будущее партии, всей страны. Чувствовал, что сейчас Берия начнет заправлять всем. А это — начало конца”¹³.

Он имел в виду, конечно, свой собственный конец: смерть Сталина сулила новый виток кровавых расправ. Испытывая подобный страх, многие гулаговские начальники сваливались с приступами

стенокардии и гипертоническими кризами. Они буквально сделались больны от страха¹⁴.

Тюремщики испытывали смятение, но и новые хозяева Кремля видели будущее очень смутно. Как Хрущев и боялся, Берия, у которого в первые дни после смерти Сталина лицо светилось радостью, действительно взял власть в свои руки и начал менять положение вещей с ошеломляющей быстротой. 6 марта, еще до похорон вождя, Берия объявил о реорганизации “органов”. Он распорядился переподчинить ГУЛАГ Министерству юстиции, оставив в ведении МВД только особые лагеря для политических. Многие предприятия ГУЛАГа были переданы соответствующим хозяйственным министерствам¹⁵. 21 марта Берия прекратил строительство силами ГУЛАГа более двадцати крупных объектов на том основании, что это строительство “не вызывается нуждами народного хозяйства”. Были остановлены работы по сооружению Главного Туркменского канала, Самотечного канала Волга — Урал, Волго-Балтийского водного пути, гидроузла на Нижнем Дону, Усть-Донецкого порта, туннеля под Татарским проливом. “Мертвая дорога” Чум — Салехард — Игарка так никогда и не была построена¹⁶.

26 марта Берия представил в Президиум ЦК КПСС записку, где обрисовал положение в лагерях принудительного труда с поразительной ясностью. Он сообщил, что в ИТЛ, тюрьмах и колониях находится 2 526 402 заключенных, из которых “особо опасных государственных преступников” только 221 435, и привел доводы в пользу освобождения многих не входящих в эту категорию: “Среди заключенных отбывают наказание 438 788 женщин, из них 6 286 беременных и 35 505 женщин, имеющих при себе детей в возрасте до 2 лет. Многие женщины имеют детей в возрасте до 10 лет, оставшихся на воспитании у родственников или в детских домах.

В местах заключения содержится 238 000 пожилых людей — мужчин и женщин старше 50 лет, а также 31 181 несовершеннолетний, в возрасте до 18 лет, подавляющее большинство которых отбывает наказание за мелкие кражи и хулиганство.

Около 198 000 заключенных, находящихся в лагерях, страдают тяжелым неизлечимым недугом и являются совершенно нетрудоспособными.

Известно, что заключение в лагерь <...> ставит осужденных, их родственников и близких людей в очень тяжелое положение, часто разрушает семью, крайне отрицательно сказывается на всей их последующей жизни”¹⁷.

На этих, на первый взгляд, гуманных основаниях Берия предложил амнистировать всех приговоренных к пяти годам и меньше, всех беременных женщин, всех женщин с маленькими детьми и всех не достигших восемнадцати лет — в общей сложности миллион че-

людей. Амнистию объявили 27 марта. Освобождать людей начали немедленно¹⁸.

4 апреля — неделю спустя — Берия прекратил расследование “дела врачей”. Это была первая перемена, о которой сообщили стране. Все та же газета “Правда” писала: “Лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности”¹⁹.

Скрытый смысл был понятен: сталинское правосудие оставляло желать лучшего. Берия позаботился и о других, менее гласных изменениях. Он запретил “органам” использовать против арестованных меры “принуждения и физического воздействия” — фактически покончил с пытками²⁰. Он попытался сделать более либеральной политику в отношении Западной Украины, Прибалтики и даже Восточной Германии, дать обратный ход политике советизации и русификации, которую ранее проводил в жизнь сам Никита Хрущев²¹. Что касается ГУЛАГа, 16 июня Берия выложил карты на стол, предложив Совету Министров СССР и Президиуму ЦК КПСС “ликвидировать сложившуюся систему принудительного труда ввиду экономической неэффективности и бесперспективности”²².

Мотивы, которыми руководствовался Берия, совершая эти стремительные изменения, до нынешнего дня остаются неясными. Некоторые пытались изобразить его тайным либералом, которого тяготила сталинская система, который издавна желал реформ. Партийные деятели подозревали, что, стремясь избавить МВД от такой дорогостоящей обузы, как лагеря, он хочет еще больше усилить “органы” за счет партии. Возможно, Берия пытался завоевать популярность среди населения, а также среди бывших чекистов, которые, отбыв срок, в немалом количестве возвращались теперь из лагерей. В конце 40-х годов он систематически брал таких бывших заключенных вновь на работу, гарантируя себе тем самым их лояльность. Но самое правдоподобное объяснение поступков Берии заключается в том, что он лучше, чем кто бы то ни было в СССР, знал об экономической неэффективности лагерей и о невинности большинства заключенных. Ведь именно он большую часть предыдущего десятилетия руководил лагерями и организовывал аресты²³.

Каковы бы ни были причины, Берия действовал слишком быстро. Его реформы встревожили соратников по партии. Хрущев, которого Берия сильно недооценивал, был обеспокоен больше всех — возможно, потому, что Хрущев активно занимался “делом врачей”, возможно, из-за расхождений по поводу Украины. Не исключено, что Хрущев боялся рано или поздно оказаться в новом бериевском списке “врагов”. Постепенно, ведя интенсивные личные переговоры, он настраивал против Берии других партийных руководителей. К концу июня все они уже стояли за Хрущева. 26 июня во время заседания Пре-

зидиума Совета Министров СССР здание окружили верные Хрущеву войска. Берия был захвачен врасплох. Потрясенный, запинаящийся человек, который при Сталине являлся вторым лицом в стране, был арестован и препровожден в тюрьму.

Там он провел последние несколько месяцев жизни. Как Ягода и Ежов до него, он писал письма, взывал к состраданию. Суд над ним состоялся в декабре. Не исключено, что его расстреляли еще до суда, — так или иначе, к концу 1953 года его уже не было на свете²⁴.

От некоторых нововведений Берии руководители СССР отказались так же быстро, как ранее приняли их. Но ни Хрущев, ни кто-либо другой не возродил грандиозные стройки ГУЛАГа. Осталась в силе и бериевская амнистия. Заключенных продолжали освобождать, и это доказывает, что сомнения насчет эффективности ГУЛАГа испытывал не один Берия, как бы его ни клеймили. Новое руководство страны прекрасно понимало, что лагеря — обуза для экономики и что миллионы содержащихся в них людей невиновны. Отсчет времени начался: эпоха ГУЛАГа подходила к концу.

Улавливая веяния из Москвы, начальники и охранники ГУЛАГа приспособлялись к новой ситуации. Переборков страхи и внезапные болезни, многие разом перестроились и смягчили лагерные порядки еще до того, как им приказали это сделать. Один из начальников колымского лагпункта, где находился Александр Долган, начал пожимать заключенным руки и называть их “товарищами”, как только сообщили о болезни Сталина, не дожидаясь официального объявления о его смерти²⁵. “Режим в лагере явно слабел и гуманизировался”, — вспоминал один бывший заключенный²⁶. Другой выразился иначе: “Охрана не то что была довольна, но не проявляла того патриотизма, который был, когда Сталин был жив”²⁷. Заключенных, которые отказывались выполнять особенно тяжелые, неприятные или нечестные задания, больше не наказывали. Перестали наказывать и тех, кто отказывался работать по воскресеньям²⁸. По тем или иным поводам вспыхивали стихийные протесты, и протестующих опять-таки не наказывали, о чем пишет Барбара Армонас: “Эта амнистия как-то повлияла на основы лагерной дисциплины. <...> Однажды, возвращаясь с работы, мы попали под проливной дождь и вымокли до нитки. Начальство сразу отравило нас в баню, не позволив зайти сначала к себе. Нам это не понравилось: мы хотели переодеться в сухое. Длинная колонна заключенных начала протестовать, выкрикивать оскорбления, скандировать: “Чекисты — фашисты”. Потом мы просто отказались идти. Ни уговоры, ни угрозы не подействовали. Молчаливая борьба длилась час. Наконец начальство уступило и разрешило нам взять сухую одежду”²⁹.

Менялась обстановка и в тюрьмах. Сусанна Печуро, когда умер Сталин, сидела в одиночке, и ее допрашивали по второму кругу: после “дела врачей” ее как “еврейскую контрреволюционерку” отправили в Москву на новое следствие. “И вдруг все кончилось. Сижу, сижу, и вызывает меня следователь и говорит другое: «Понимаете, ведь я перед вами не виноват, я ведь вас не бил никогда, я ничего с вами не делал»”. Затем ее перевели в общую камеру, и там одна заключенная в ходе разговора обронила: “Ну, а когда умер Сталин... — Что?” — переспросила Печуро. Сокамерницы сразу замолчали: все они знали о смерти Сталина и решили, что к ним в камеру посадили стукачку, которая хочет узнать их отношение к этому событию. Печуро стоило больших усилий убедить их, что она действительно не знала. Положение в тюрьме, вспоминает Печуро, сильно изменилось:

“Надзиратели нас боялись, мы делали что хотели, мы кричали на прогулках, произносили речи, лезли в окна. Нас всех давно бы перестреляли за полгода до этого”.

Изменилось, однако, не все. Леонид Трус в марте 1953-го тоже был под следствием. Смерть Сталина, возможно, спасла его от расстрела, но он получил двадцать пять лет лагерей. Одному его сокамернику дали десять лет за неосторожное высказывание о покойном вожде³⁰. И амнистия коснулась не всех. Освободили несовершеннолетних, стариков, женщин с детьми, беременных и осужденных на пять лет и меньше. Подавляющее большинство заключенных с небольшими сроками составляли уголовники. Политических, посаженных по “легким” статьям, было немного. В лагерях оставалось более миллиона человек, в том числе сотни тысяч политических с большими сроками.

В некоторых лагерях тем, кто должен был выйти на свободу, передавали письма для родных³¹. Но часто между теми, кого освобождали, и теми, кто оставался, вспыхивала страшная неприязнь. Сорок лет спустя один бывший заключенный, которого не выпустили в ту амнистию, с горечью вспоминал: “У меня в бригаде были одни уголовники, их всех отпустили, кроме меня”³². В одном лагере группа женщин с длинными сроками избивала женщину с коротким сроком, подлежавшую амнистии. Их обидело то, что “она тут же провела невидимую черту между нами: мы — преступники, она — нет”³³.

Были и другие случаи насилия. Долгосрочники угрожали лагерным врачам, требуя оформить инвалидность, которая сулила немедленное освобождение. Отказавшихся порой избивали. В Печорлаге таких инцидентов произошло шесть: врачей “систематически терроризировали”, били, на них даже кидались с ножом. В Южжубаслаге четверо заключенных угрожали лагерному врачу убийством. В некоторых лагерях количество заключенных, освобожден-

ных по инвалидности, превышало число инвалидов, зафиксированное раньше³⁴.

Но в одной определенной группе лагерей, предназначенных для эков одного определенного сорта, люди испытывали совсем другие эмоции. Заключенные “особых лагерей” представляли собой поистине особую касту: подавляющее большинство их было приговорено к десяти, пятнадцати или двадцати пяти годам и поэтому не попадало под бериевскую амнистию. Первые месяцы после смерти Сталина принесли им лишь мелкие послабления: разрешили, к примеру, посылки, но только по одной в год. Было отменено запрещение на выезд в другие лагеря футбольных команд и кружков художественной самодеятельности. Но эки по-прежнему ходили с номерами, окна барачков были зарешечены и двери на ночь запирались. Контакты заключенных с внешним миром оставались минимальными³⁵.

Это был прямой путь к восстанию. К 1953 году многие обитатели особых лагерей уже содержались отдельно от уголовников и “бытовиков” около пяти лет. Предоставленные самим себе, политические создали системы самоорганизации и сопротивления, каких не было в ранние годы ГУЛАГа. Год за годом они жили на грани организованного выступления, планировали и прикидывали шансы, сдерживаемые только надеждой на то, что смерть Сталина принесет освобождение. Но эта смерть ничего не изменила, надежда исчезла и уступила место ярости.

Глава 24

Революция зэков

*Я не сплю. Заревели бураны
С неизвестной забытой поры,
А цветные шатры Тамерлана
Там, в степях... И костры, и костры.*

*Возвратиться б монгольской царицей
В глубину пролетевших веков,
Привязала б к хвосту кобылицы
Я любимых своих и врагов.*

<...>

*А потом бы в одном из сражений,
Из неслыханных оргийных сеч
В неизбежный момент поражения
Я упала б на собственный меч.*

Анна Баркова. В бараке¹

После смерти Сталина особые лагеря, как и остальная страна, были полны слухов. Берия возьмет власть. Берия расстрелян. Маршал Жуков и адмирал Кузнецов ввели в Москву войска, танки атакуют Кремль. Хрущев и Молотов убиты. Всех заключенных освободят. Всех заключенных расстреляют. Лагеря окружены войсками МВД, готовыми пресечь в зародыше любое восстание. Заключенные передавали это друг другу шепотом и во весь голос, надеясь и строя предположения².

Между тем национальные землячества в особых лагерях становились сильнее, связи между ними крепились. Типичен для этого времени опыт Виктора Булгакова, арестованного в ночь с 4 на 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина, за участие в антисталинской молодежной организации. Вскоре его отправили в Минлаг — особый лагерь, входивший в угледобывающий комплекс заполярной Инты.

То, как Булгаков описывает атмосферу Минлага, резко отличается от лагерных воспоминаний более ранней эпохи. Совсем отличался он подал в хорошо организованное антисталинское и антисоветское сообщество. Регулярно происходили забастовки и другие акты протеста. Было несколько четко очерченных национальных группировок, каждая со своим лицом. “У прибалтов была тесно сплоченная организация, но без грамотной иерархии, а оуновцы, украинцы, были очень высокоорганизованны, у них старшие были еще с воли, они знали друг друга, у них структура возникала на месте почти автоматически”.

Были в лагере и люди коммунистических убеждений. Они подразделялись на две категории — на тех, кто по-прежнему придерживался линии партии, и тех, кто верил в коммунистические идеи, но стоял за реформы в стране. Появились антисоветски настроенные марксисты — в прежние годы такое было немыслимо. Организация, к которой принадлежал Булгаков, была близка к Народно-трудовому союзу (НТС) — оппозиционному движению, ставшему хорошо известным одно-два десятилетия спустя. “Почему-то КГБ боялось этого страшно”, — сказал об НТС Булгаков.

Зэки более ранних поколений были бы, помимо прочего, потрясены лагерными занятиями Булгакова. Заключенные Минлага выпускали подпольную рукописную газету. Они прижали “придурков” — те в результате начали бояться заключенных. Они брали на заметку стукачей. Такое происходило и в других особых лагерях. Жестокою войну со стукачами описал Дмитрий Панин: “Расплата с пособниками чекистского террора — стукачами — велась систематически в течение восьми месяцев. Уничтожено было сорок пять человек. Операциями руководили из строго законспирированного центра <...>. Мы были свидетелями того, как ряд заключенных, не выдерживая ожидания и стремясь избежать своей участи, убежали в лагерную тюрьму, куда их прятали от неминуемой, как им казалось, расправы. Беглые стукачи содержались все в одной камере, получившей прозвище «забоюсь»”³.

Один историк лагерей пишет, что “в 1952-м расправы со стукачами на Воркуте стали таким обыденным явлением, что никого не удивляли”⁴. Это очередной пример того, как лагерная жизнь в сгущенном, усиленном виде отражала жизнь вне лагерей. Антисоветские партизанские организации на Западной Украине тоже активно уничтожали доносчиков, и их участники принесли одержимость такими расправами с собой в лагерь⁵. Понимая это, начальство лагпункта, где сидел Панин, надумало отделить украинцев от всех остальных, поскольку считало, что охоту на стукачей ведут главным образом украинцы. Но подобные меры не принесли результата⁶.

В 1953-м в Минлаге солагерники Булгакова собирали сведения о численности и составе лагерей и переправляли эти сведения на волю, используя дружественно настроенных охранников и приемы конспирации, которые в 70-е и 80-е годы будут оттачивать в лагерях диссиденты (об этом еще пойдет речь). Обязанностью Булгакова было прятать эти документы, сочинять и хранить песни и стихи, поднимающие дух заключенных. Леонид Ситко делал то же самое в Степлаге. В подвале строящегося здания он устроил тайник, где хранил “короткие рассказы о судьбах людских, письма погибших лагерников, краткий отчет врача Г. В. Мышкиной об умышленном создании нечеловеческих условий в томских лагерях (статистика, фак-

ты смерти от дистрофии и т. п.), очерк зарождения и развития казахстанских лагерей, подробная справка о Степлаге, а также стихи”.

И Ситко и Булгаков верили, что когда-нибудь лагеря ликвидируют, бараки сожгут и спрятанное можно будет извлечь. Двадцатью годами раньше никто не осмелился бы даже подумать такое, не то что совершать такие поступки.

Тактика и стратегия конспирации очень быстро распространялись по системе особых лагерей, чему способствовала сама администрация ГУЛАГа. Стараясь разбивать зарождавшиеся подпольные организации, заключенных постоянно переводили из лагеря в лагерь, но в специфической обстановке особых лагерей это приводило к обратным результатам — к росту сопротивления⁷.

В Заполярье лето очень короткое и довольно жаркое. Реки вскрываются в конце мая. Дни становятся все длиннее, и наконец ночь исчезает совсем. С какого-то момента в июне, а в некоторые годы только в июле, солнце вдруг становится поистине яростным. Иногда это длится месяц, иногда два. Мгновенно, за считанные дни, распускаются все северные цветы, и на несколько коротких недель тундра покрывается ярким ковром. Людям, девять месяцев почти безвылазно просидевшим в помещении, лето приносит непреодолимое желание выйти наружу, стать свободными. В те несколько жарких летних дней и белых ночей, что я провела в Воркуте, горожане проводили на улицах, казалось, круглые сутки — гуляли по улицам, сидели в парках, беседовали у дверей домов. Не случайно в лагерях именно на весну приходилась большая часть попыток побега. И не случайно три самых значительных, самых опасных и самых известных восстания заключенных произошли весной или летом.

В Горлаге — особом лагере в составе Норильского комплекса — обстановка накалилась к весне 1953-го. Осенью предыдущего года в лагерь из Караганды за участие в массовых беспорядках, убийства, побег и неповиновение были переведены 1200 человек, “в основном осужденных за повстанческую деятельность в районах Западной Украины и прибалтийских республик”. Согласно документам МВД, еще по дороге в Норильск украинцы организовали “повстанческий штаб”.

По сведениям, которые сообщили заключенные, в течение нескольких дней после прибытия этапы в лагере кирками были зарублены четверо стукачей⁸. К весне 1953-го новоприбывшая группа, сильно разозленная из-за амнистии, которая обошла заключенных Горлага стороной, создала, как сказано в документе комиссии МВД, “антисоветскую организацию”. Скорее всего, это означает, что были усилены уже существовавшие национальные организации.

На протяжении мая в лагере назревали волнения. 25 мая при конвоировании “за неподчинение охране” был убит заключенный. На следующее утро заключенные двух лаготделений не вышли на работу. В тот же день “при переговорах с соседней женской зоной к заключенным <...> было незаконно применено оружие, в результате 7 заключенных <...> были ранены. 4 июня заключенные сломали деревянный забор, отделявший штрафной барак от жилой зоны, и освободили 24 человека. При этом они схватили и попытались взять в заложники оперуполномоченного. “В ответ на это было применено оружие, в результате 5 заключенных убито и 14 ранено”. 5 июня из шести лаготделений в волнениях уже участвовало пять, в которых содержалось 16 379 заключенных. Войска окружили лаготделения, все выходы были блокированы⁹.

Примерно в то же время похожие события происходили в Речлаге — особом лагере, входившем в состав Воркутинского угледобывающего комплекса. Заключенные еще в 1951 году пытались организовать в Речлаге массовые забастовки, и впоследствии начальство заявляло, что за 1951—1952 годы ему удалось раскрыть в лагере как минимум пять подпольных организаций¹⁰. Когда умер Сталин, заключенные Речлага могли, кроме того, следить за мировыми событиями. У них не только были национальные объединения, как в Минлаге и других лагерях, но и радиоприемники, с помощью которых некоторые заключенные слушали западные радиопередачи. Новости записывались с добавлением комментариев, и получившиеся бюллетени распространялись среди заключенных. Так лагерники узнали не только о смерти Сталина и аресте Берии, но и о массовых забастовках в Восточном Берлине 17 июня 1953 года, которые были подавлены с помощью советских танков¹¹.

Кажется, именно эта новость воспламенила людей: если берлинцы бастуют, то можем и мы. Американец Джон Нобл, арестованный в Дрездене чекистами вскоре после войны, вспоминал: “Их протест воодушевил нас, и день за днем потом мы только об этом и говорили. <...> В следующем месяце мы, рабы, стали дерзкими. Незаходящее летнее солнце растопило снег, и его тепло придавало нам сил и храбрости. Мы толковали о забастовке ради нашей свободы, прикидывали шансы, но что делать, как взяться, никто не знал”¹².

В ночь на 30 июня в шахте “Капитальная” были обнаружены листовки с призывами не давать угля. В тот же день в шахте № 40 на стене появилась надпись: “Не давать угля, пока не будет амнистии”. Аналогичные призывы писались на вагонетках, которые выходили из шахты на поверхность пустые, без угля¹³. 17 июля на шахте “Капитальная” заключенные избили десятника якобы за то, что он призывал их “прекратить саботаж”. В этот день “все десятники второй смены, из-за боязни расправы над ними, спускаться в шахту отказались”.

Между тем в Речлаг прибыл большой этап заключенных — опять-таки из Караганды. Всем им обещали улучшение условий и пересмотр дел. Но на воркутинской шахте № 7 они не нашли никакого улучшения, наоборот, условия были чрезвычайно тяжелыми. На следующий день, 19 июля, 350 человек не вышли на работу¹⁴.

Забастовка быстро распространилась по лагерным отделениям, чему способствовала сама воркутинская география. Воркутлаг находился посреди огромного угольного бассейна, одного из крупнейших в мире. Шахты располагались широким кругом, между ними — другие предприятия: электростанции, кирпичные и цементные заводы. Каждое предприятие, как и город Воркута и поселок Юр-Шор, было привязано к тому или иному лагерному отделению. Средством сообщения была железная дорога, поезда везли заключенные (их использовали в Воркуте на всевозможных работах). Машинисты, ездившие по большому кругу, и разнесли повсюду весть о забастовке на шахте № 7. Тысячи заключенных передавали друг другу новости шепотом, тысячи видели написанные на вагонах лозунги: “К чертям ваш уголь! Дайте нам свободу!”¹⁵. 29 июля 1953 года бастовали шесть из семнадцати отделений Речлага — 15 604 заключенных¹⁶.

В большинстве бастующих воркутинских и норильских лаготделений забастовочные комитеты должны были принимать решения в чрезвычайно опасной ситуации. Начальство было напугано и в зону не входило, риск анархии был велик. В некоторых случаях комитеты организовывали питание заключенных. Иногда им приходилось убеждать людей не вымещать злость на стукачах, которые были теперь совсем беззащитны. И воспоминания заключенных, и архивные документы говорят о том, что как в Речлаге, так и в Горлаге руководителями протестов (в той мере, в какой у них были руководители) почти всегда были западные украинцы, поляки и прибалтийцы. В документах МВД главарями названы украинец Герман Степанюк в Норильске и “бывший капитан польской армии” Кендзерский в Воркуте. Поляк Эдуард Бука в воспоминаниях о волнениях в Воркуте пишет, что он возглавлял забастовку на шахте № 29. Хотя он, безусловно, был в лагере в то время, по поводу его рассказа возникают сомнения, не в последнюю очередь потому, что многие руководители забастовок позднее были расстреляны¹⁷.

Впоследствии украинские националисты утверждали, что все крупные забастовки в ГУЛАГе были задуманы и осуществлены их подпольными организациями, которые стояли за многонациональными забастовочными комитетами: “Рядовые заключенные (речь идет прежде всего о людях с Запада и о русских) не были способны ни участвовать в принятии решений, ни понимать механизм движения”. Доказательством, по их словам, служит тот факт, что в оба ла-

герья незадолго до забастовок прибыли “карагандинские этапы”, состоявшие в основном из украинцев¹⁸.

Однако те же самые факты навели других на мысль, что забастовки были спровоцированы определенными силами внутри самого МВД. Возможно, сотрудники “органов” боялись, что Хрущев просто-напросто закроет лагерь и их администрация останется без работы. И они сами подтолкнули заключенных к беспорядкам, чтобы успешно их подавить и доказать свою необходимость. Семен Виленский, издатель и бывший заключенный, который организовал две конференции, посвященные сопротивлению в лагерях, говорит об этом так: “Что такое администрация лагерей? Я говорю не о солдатах, которые охраняли, и не о надзирателях, я говорю только об офицерах. А это многие тысячи людей, в большинстве своем это люди, не имевшие гражданской профессии, это люди, которые привыкли к полной безнаказанности, к тому, что они хозяева над заключенными и могут с ними делать все что угодно. Это люди, которые получали по тем временам в сравнении с другими работающими гражданами довольно большие деньги”.

Виленский убежден, что одна такая провокация произошла в 1953 году на Колыме в особом лагере, где он сидел. С одним из этапов, рассказывает он, в лагерь привезли нового заключенного, и тот начал довольно открыто подбивать молодежь на беспорядки. “Он говорил им, что надо подняться и поднимется все Колыма, и тогда Москва будет считаться с нами, будет пересматривать дела...”. Стали даже изготавливать ножи в лагерных механических мастерских. Все это делалось настолько явно, что Виленский заподозрил провокацию. Он возглавил сопротивление подозрительному “лидеру” и его друзьям, и восстания, которое должно было кончиться кровью, не было. Затем Виленского перевели в другой лагерь¹⁹.

В принципе эти две трактовки событий совместимы между собой. Возможно, определенные деятели МВД специально перебросили мятежных украинцев в другие лагерь, чтобы там начались волнения. Возможно при этом, что вожаки украинских забастовщиков считали, что действуют по своей собственной воле. На основании архивных документов и личных свидетельств создается, однако, впечатление, что забастовки смогли набрать такую силу лишь благодаря совместным действиям разных национальных объединений. Где между национальными группировками возникали трения, где они соперничали между собой более открыто, например в Минлаге, организовать забастовки было гораздо труднее²⁰.

Серьезной поддержки вне лагерей протесты не получили. Забастовщики Горлага, лаготделения которого находились совсем рядом с городом Норильском, пытались привлечь к своему делу внимание горожан. На недостроенном доме они повесили транспарант: “То-

варищи норильчане! Помогите нам в нашей борьбе!”²¹. Но жители города, большую часть которых составляли вчерашние заключенные, боялись оказать им помощь. Документы МВД, подготовленные через несколько недель после событий, несмотря на канцелярский язык, хорошо передают ужас, который забастовки внушали как заключенным, так и вольнонаемным. По агентурным данным, один бухгалтер Углесбыта сказал: “Если забастовщики выйдут за зону, будем с ними воевать как с врагами”.

Вольнонаемный буровой мастер рассказал агенту МВД о случайной встрече с бастующими: “Оставшись после смены, чтобы добуричь в забое, ко мне подошли несколько заключенных и, схватив электросверло, приказали прекратить работу, угрожая расправой. Я, испугавшись, бросил работу”. К счастью для него, они, осветив его фонарем, поняли, что он вольнонаемный, и оставили его в покое²². В темном забое, один против обозленных, черных от угля забастовщиков, он наверняка испугался очень сильно.

Местное лагерное начальство тоже испытывало страх. Чувствуя это, забастовщики Горлага и Речлага потребовали встреч с представителями правительства и ЦК КПСС. Они понимали, что местное руководство не будет ничего решать без санкции Москвы.

И Москва явилась к ним в лице комиссий МВД. Члены комиссий несколько раз вступали в переговоры с забастовочными комитетами лаготделений Горлага и Речлага, выслушивали их требования и отвечали на них. Назвать эти встречи разрывом с традицией значило бы лишь отчасти передать новизну происходящего. Никогда раньше заключенным, выдвигающим требования, не отвечали чем-либо помимо грубой силы. В новую послесталинскую эпоху власти готовы были пойти на некоторые уступки.

Договориться не удалось. Через несколько дней после начала воркутинской забастовки заключенным в соответствии с указанием МВД СССР было объявлено о введении ряда льгот. В их числе были девятичасовой рабочий день, снятие номеров с одежды, разрешение свиданий и переписки с родственниками, разрешение перевода заработанных денег своим семьям, увеличение выдачи денег с лицевых счетов до 300 рублей в месяц. Заключенные, согласно докладной записке МВД, встретили известие “враждебно” и на работу не вышли. Такую же реакцию вызвало объявление о подобных льготах в Горлаге. Заключенные, судя по всему, хотели не льгот, а освобождения.

Стоял хоть и не 1938 год, но и не 1989. Сталин умер, но наследие его было живо. Первым шагом были переговоры, но вторым все равно стала грубая сила.

В Норильске московская комиссия, выслушав “жалобы, просьбы и заявления” заключенных и дав им “ответы и разъяснения”, решила затем “ликвидировать волюнку”. Это решение, почти навер-

няка принятое не комиссией, а самим Хрущевым, имело для заключенных очень скорые и тяжелые последствия. Войска МВД окружали бастующие лаготделения, входили в зону, выводили из нее заключенных, “изымали” вожаков забастовки, а остальных водворяли обратно. Многих затем перевели в другие лагеря.

В некоторых случаях “ликвидация волюнки” проходила довольно гладко. В первом лаготделении власти застали организаторов забастовки врасплох. По громкоговорителям заключенным, находившимся в производственной зоне, было объявлено, чтобы они, если “не желают участвовать в саботаже”, выходили за зону в любом направлении, и солдаты в них стрелять не будут. Согласно докладной записке, большинство вышло, и организаторы, видя это, тоже сдались властям. Затем людей разбивали на сотни, рассредоточивали по тундре, вожаков “изымали”, остальных водворяли во вновь организованную жилую зону.

Некоторые из последующих “ликвидаций” прошли менее спокойно. На следующий день в жилой зоне того же лаготделения организаторы забастовки сначала пытались не допустить выхода заключенных к властям угрозами, а затем “сосредоточились в одном из бараков”, откуда их выводили силой. В женском лаготделении заключенные образовали живое кольцо вокруг трех бараков, на которых висели черные флаги, и “начали кричать, свистеть, выть”. Это продолжалось пять часов, после чего женщин стали рассеивать струями воды из пожарных шлангов. Лишь тогда живая цепь дрогнула, и надзиратели принялись выволакивать женщин из зоны.

В пятом лаготделении 1400 заключенных, главным образом украинцы и прибалтийцы, отказались выходить за зону, вывесили черные флаги и, как сказано в докладной записке, “вели себя крайне агрессивно”. Затем, когда начальство попыталось отгородить бараки от продовольственных складов и ввело для этого в зону 40 вооруженных солдат, заключенные в количестве более 500 человек пошли в атаку. Они “с шумом, свистом, нецензурной бранью и возгласами «ура»” кидали в солдат камни, бросались на них с колыями, пытались выхватить у них оружие. Согласно докладной записке, “в самый критический момент нападения на охрану солдаты открыли огонь по нападающим заключенным и после произведенных выстрелов заставили их лечь на землю. После чего заключенные стали выполнять все указания охраны и лагерной администрации”²³.

По данным МВД, в пятом лаготделении погибло двадцать три заключенных. Очевидцы же утверждают, что за несколько дней в разных лаготделениях Норильска было убито несколько сотен лагерников.

Таким же способом была подавлена и воркутинская забастовка. В одном лаготделении за другим солдаты и надзиратели входили в

зону, выводили оттуда заключенных, разбивали на сотни и вели в тундру для “фильтрации”, т. е. выявления зачинщиков. Чтобы люди выходили охотнее, московская комиссия во всеуслышание пообещала, что дела заключенных пересмотрят, а организаторы забастовки не будут расстреляны. Уловка сработала: один из участников волнений впоследствии объяснял, что начальник комиссии генерал армии Масленников разговаривал “по-отечески” и лагерники ему поверили²⁴.

Однако поверили не все. Заключенные, работавшие на шахте № 29, прекратить забастовку отказались. Тогда власти, в распоряжении которых были солдаты, решили разогнать толпу струями воды из пожарных шлангов: “Но не успели они размотать шланги и пустить воду, как Рипецкий дал сигнал рукой, и заключенные пошли вперед стеной. Они выкинули машину из ворот как детскую игрушку. <...> Солдаты дали залп прямо в толпу. Но мы стояли, сцепившись руками, и в первый момент никто не упал, хотя многие были убиты или ранены. Только Игнатович, немного опередивший остальных, был один. Мгновение он стоял словно бы в изумлении, потом повернулся к нам. Губы его шевелились, но слов слышно не было. Он выбросил вперед руку и упал.

В этот момент раздался второй залп, за ним третий, четвертый. Потом заработали пулеметы”.

Оценки числа убитых на шахте № 29 опять-таки сильно различаются. В докладной записке МВД говорится о 42 убитых и 135 раненых. Но очевидцы вновь утверждают, что погибшие и пострадавшие исчислялись сотнями²⁵.

Забастовки были подавлены, но ни тот ни другой лагерь не успокоился по-настоящему. В оставшиеся месяцы 1953-го и в 1954 году в Воркуте и Норильске, в других лагерях, как особых, так и обычных, спорадически вспыхивали волнения. “Наследием забастовки стал победный дух, его поддержанию способствовало увеличение зарплаты, которого мы добились”, — писал Нобл. Когда его перевели на шахту № 29, где разыгралась трагедия, заключенные, оставшиеся в живых, с гордостью показывали ему шрамы²⁶.

Люди в лагерях становились все смелее, протесты происходили практически повсеместно. Например, в ноябре 1953 года забастовали 593 заключенных Вятлага. Они требовали ликвидировать “затруднение с выплатой зарплаты заключенным, ненормальности в обеспечении вещевым довольствием и санитарном обслуживании”. Администрация пошла на уступки, но заключенные выдвинули новое требование: распространить бериевскую амнистию на “антисоветчиков”. Забастовка закончилась, когда ее организаторов перевели на тюремный режим²⁷. В марте 1954-го группа “бандитов” захватила один из лагунктов Каргопольлага. Они потребовали лучшей

еды — и водки²⁸. В июле 1954-го “900 заключенных Кожимского отделения Интинского лагеря держали недельную голодовку в знак протеста против убийства охраной заключенного Смирнова, которого живым сожгли в карцере. Заключенные составили и распространили в зоне и поселке листовки с объяснениями причин голодовки и требованиями к администрации. Голодовка была прекращена после прибытия московской комиссии и удовлетворения требований протестующих”. В Минлаге — особом лагере, находившемся рядом с Интинским, — “бастовали бригадами, участками и сменами, целыми шахтами и лагерными отделениями”²⁹.

Замышлялись новые волнения, и власти это знали. В июле 1954 года начальник ГУЛАГа направил министру внутренних дел Круглову показания заключенного-информатора о разговорах, которые вели при нем заключенные украинцы в Свердловской пересыльной тюрьме. Из Горлага, где они участвовали в забастовке, их теперь везли в другой лагерь, но они готовились к новым актам протеста: “...все присутствовавшие в камере отчитывались перед ПАВЛИШИНЫМ и СТЕПАНЮК за свои действия во время волынки, в том числе отчитывался и я. В моем присутствии МОРУШКО докладывал СТЕПАНЮКУ о том, что в пути следования этапом в барже из Норильска в Красноярск, он в барже проводил фильтрацию заключенных и ненадежных уничтожал. Во время беседы СТЕПАНЮК в моем присутствии говорил ПАВЛИШИНУ: “Возложенная на нас с Вами миссия краевым проводом выполнена, теперь мы вошли в историю Украины”.

Тут же подозвав к себе МОРУШКО, СТЕПАНЮК сказал ему: “Пан МОРУШКО, Вы имеете великие заслуги перед нашей организацией. <...> за это получите награду, а после свержения Советской власти Вы займете большой пост”³⁰.

В то, что стукач, написавший это донесение, слышал нечто подобное, поверить можно, но кое-что он явно присочинил: далее он утверждает, что украинцы говорили, будто в свое время покушались на жизнь Хрущева, а это уже маловероятно. Однако то, что даже такая сомнительная информация направлялась непосредственно Круглову, само по себе показывает, насколько серьезно власти относились к угрозе новых волнений. Комиссии, направленные в Речлаг и Горлаг, пришли к выводу, что необходимо усилить охрану, разукрупнить лаготделения и, прежде всего, “перестроить агентурно-оперативную работу”³¹.

Как выяснилось, начальство беспокоилось не зря. Самое мощное выступление заключенных было еще впереди.

Восстание, которое Солженицын назвал “Сорок дней Кенгира”, не было, как и два предшествующих, совершенно спонтанным или

неожиданным³². Оно произошло в Степлаге — особом лагере, находившемся близ населенного пункта Кенгир в Казахстане. Весной 1954 года оно назревало постепенно, и ему предшествовал ряд инцидентов.

Как и администрация Речлага и Горлага, начальство Степлага после смерти Сталина было не в состоянии добиваться от заключенных повиновения. Историк Марта Кравери, изучавшая документы лагерного архива начиная с 1952 года, констатирует, что лагерь полностью вышел из-под контроля администрации. В преддверии забастовки руководство Степлага регулярно писало в Москву о подпольных организациях в лагере, о нарушениях режима со стороны заключенных, о кризисе системы доносов, которая к тому времени практически не работала, о необходимости отделения украинцев и прибалтийцев от других заключенных. Москва, со своей стороны, требовала навести в лагере порядок и укрепить режим. Из 20 000 заключенных Степлага украинцы в то время составляли почти половину, прибалтийцы — почти четверть, и изолировать их ввиду большого количества не представлялось возможным. Нарушения режима, отказы от работы и акты протеста со стороны заключенных продолжались³³.

Неспособная добиться повиновения с помощью угроз и наказаний, лагерная охрана стала прибегать к открытому насилию. Некоторые, в том числе Солженицын, считают, что эти инциденты были провокациями: начальству выгодно было разжечь восстание. Документальных подтверждений или опровержений этому пока не найдено, но, как бы то ни было, зимой 1953 и весной 1954 года охрана несколько раз открывала огонь по заключенным и убила несколько человек.

Затем, возможно, в отчаянной попытке восстановить контроль над событиями, начальство привезло в третий лагпункт третьего лаготделения, который был самым беспокойным из всех, большую группу уголовников и открыто проинструктировало их навести порядок среди политических. Результат оказался противоположным ожидаемому. Солженицын пишет: “Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в 3-й кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замиренный лагерь, а самый крупный мятеж в истории Архипелага ГУЛАГа!”³⁴. Вместо того чтобы драться, две категории заключенных стали действовать сообща.

Как и в других лагерях, в Степлаге заключенные создавали национальные организации. Украинцы, однако, продвинулись здесь, судя по всему, несколько дальше по пути конспирации. Вместо того чтобы избирать вожakov открыто, украинцы сформировали подпольный “центр” — тайную группу, состав которой мало кому был

известен и в которую, вероятно, входили представители всех лагерных национальных общин. К моменту появления уголовников “центр” уже начал изготавливать в лагерных мастерских оружие — самодельные ножи, железные палки, пики — и вступил в контакт с заключенными двух соседних лагпунктов — первого (женского) и второго. Возможно, на блатных произвели впечатление изделия рук этих крепких политических, возможно, они просто испугались — так или иначе, все писавшие об этих событиях сходятся на том, что уголовники и политические пожалы друг другу руки и решили объединиться против начальства.

16 мая этот союз принес первые плоды. В этот день большая группа заключенных третьего лагпункта начала разбирать саманную стену, отделявшую лагпункт от двух соседних и от хоздвора, на территории которого находились мастерские и склады. В прежние годы главной целью мужчин было совокупление или изнасилование. Но теперь, когда по обе стороны стены были украинские партизаны и партизанки, мужчины считали, что идут на помощь своим женщинам — родственницам, подругам, иной раз даже женам.

Разбор стены продолжался всю ночь. В ответ охрана открыла огонь, убив 13 человек и ранив 43. Некоторые заключенные, в том числе женщины, были избиты. На следующий день, разъяренные убийствами, заключенные третьего лагпункта подняли массовые волнения. На стенах столовой писали антисоветские лозунги. Ночью лагерники ворвались в штрафной изолятор — фактически разобрали его вручную — и освободили 252 человека, которые там находились. Зэки полностью завладели складами продовольствия и вещевого имущества, кухней, пекарней и мастерскими, которые сразу стали использовать для изготовления ножей и прочего оружия. Утром 19 мая большинство заключенных лаготделения бастовало.

Ни Москва, ни местное лагерное руководство, судя по всему, не знали, что делать. Начальник лагеря немедленно известил о случившемся министра внутренних дел Круглова. Столь же оперативно Круглов велел Губину, министру внутренних дел Казахской ССР, принять меры. Губин в ответ попросил “обязать ГУЛАГ выслать представителей в лагерь”. Представители прибыли, начались переговоры, и власти, стараясь выиграть время, пообещали заключенным, что незаконные расстрелы будут расследованы, что между лагпунктами останутся проходы и даже что будет ускорен процесс пересмотра дел.

Заключенные поверили и 23 мая вышли на работу. Но, вернувшись после рабочего дня, увидели, что по крайней мере одно из своих обещаний администрация нарушила: стены между лагпунктами были восстановлены. 25 мая Губин и заместитель начальника ГУЛАГа В. М. Бочков направили Круглову отчаянную телеграмму с

просьбой разрешить перевести весь контингент лаготделения “на строгий режим” без переписки, свиданий, зачетов и пересмотра дел. Кроме того, из лаготделения было вывезено в другое место 426 уголовников.

Результат был следующим: за двое суток заключенные изгнали из зоны все начальство, угрожая ему самодельным оружием. Хотя у охранников было огнестрельное оружие, их было слишком мало: в трех лагпунктах лаготделения содержалось в общей сложности более пяти тысяч человек, и большая часть из них присоединилась к восстанию. Те, кто не хотел в нем участвовать, протестовать не решались. Те, кто был настроен нейтрально, вскоре заразились общим воодушевлением мятежа, продлившегося сорок дней. Утро 20 мая, вспоминал свое изумление участник событий Н. Кекушев, было первым, “которое мы встретили в лагере без обычной побудки, развода и криков”.

Первое время руководство, похоже, рассчитывало, что забастовка выдохнется сама. Рано или поздно, рассуждали начальники, уголовники и политические посорятся. Воцарятся анархия и разнузданность, зэки начнут насиловать женщин, грабить продовольственные склады. Но, хотя идеализировать поведение забастовщиков не стоит, следует сказать, что произошло почти противоположное: лагерь начал жить на удивление спокойно и упорядоченно.

Очень быстро заключенные выбрали забастовочную “комиссию”, задачами которой были переговоры с властями и организация повседневной жизни лаготделения. По поводу возникновения комиссии существуют две противоположные версии. Согласно официальной докладной записке, в то время, когда прибывшее на место начальство разговаривало с заключенными, явилась другая группа забастовщиков, прервала разговор и заявила, что только она имеет право вести переговоры. Но, согласно воспоминаниям участников, избрать комиссию, которая представляла бы заключенных, посоветовал им сам заместитель начальника ГУЛАГа Бочков.

Подлинные взаимоотношения между “комиссией” и “настоящими” руководителями восстания также остаются неясными, какими они, вероятно, были и во время забастовки. Даже если украинский “центр” не планировал ее шаг за шагом, он, несомненно, был ее главной движущей силой и сыграл решающую роль в “демократических” выборах “комиссии”. Украинцы решили, что “комиссия” должна быть многонациональной: они не хотели, чтобы забастовка выглядела слишком антирусской или антисоветской и поэтому главой “комиссии” сделали русского.

Им стал бывший подполковник Красной Армии Капитон Кузнецов — чрезвычайно двойственная фигура даже на общем довольно смутном фоне кенгирских событий. Во время войны Кузнецов по-

пал в плен и был помещен в немецкий лагерь для военнопленных. В 1948 году его арестовали и обвинили в сотрудничестве с нацистами во время пребывания в лагере и в участии в карательных операциях против советских партизан. Если эти обвинения справедливы, они в какой-то мере объясняют его поведение во время забастовки. Кто однажды переметнулся к противнику, тот способен сыграть двойную роль еще раз.

Украинцы остановили выбор на Кузнецове, несомненно, потому, что рассчитывали с его помощью придать восстанию более “советский” характер и лишить власти предлога для применения грубой силы. Эту задачу он, безусловно, выполнил — пожалуй, даже перевыполнил. По распоряжению Кузнецова забастовщики развешали по всему лагерю лозунги: “Да здравствует Советская Конституция!”, “Да здравствует советская власть!”, “Долой убийц-бериевцев!” Он уговаривал заключенных перестать писать антисоветские листовки: контрреволюционная агитация, мол, только повредит делу. Он сразу же примкнул к немногочисленной группе бывших коммунистов, сохранивших веру в партию, и привлек их к охране порядка.

Доверия украинцев, выдвинувших Кузнецова, он, безусловно, не оправдал. В длинном, подробном письменном признании, которое Кузнецов представил властям после неизбежного кровавого финала забастовки, он заявил, что всегда считал подпольный “центр” незаконным органом и противодействовал исполнению его тайных решений. Но и украинцы никогда полностью не доверяли Кузнецову. На протяжении всей забастовки его постоянно сопровождали двое вооруженных украинцев — якобы для его охраны, а на самом деле, вероятно, для того чтобы помешать ему совершить побег из лагеря.

Украинцы не зря опасались дезертирства Кузнецова: другой член “комиссии” Алексей Макеев бежал из лагеря в первой половине забастовки и позднее прочитал по радио две речи, в которых уговаривал заключенных вернуться на работу. Возможно, он рано понял, что забастовка обречена; но не исключено, что он с самого начала был орудием администрации.

Но не все члены “комиссии” были людьми, чья преданность делу вызывает сомнения. Кузнецов впоследствии писал, что по крайней мере три человека — “Глеб”^{*} Слученков, Герш Келлер и Юрий Кнопмус — представляли в “комиссии” конспиративный “центр”. Одного из них — Герша Келлера — обвинило в участии в украинском националистическом подполье и лагерное начальство, и его биография позволяет этому поверить. Келлер фигурировал в лагерных документах как еврей, но на самом деле был украинским партизаном (насто-

^{*} Глеб — его лагерная кличка. Настоящее его имя — Энгельс. — *Прим. перев.*

ящая фамилия — Пендрак). Во время ареста ему удалось скрыть свою настоящую этническую принадлежность. Келлер возглавлял в “комиссии” военный отдел, занимавшийся подготовкой сопротивления на случай нападения со стороны властей. Именно он наладил производство в лагерных мастерских оружия — ножей, железных палок, дубинок, пик. Он же создал “лабораторию”, где изготавливали самодельные гранаты и мины. Келлер также руководил строительством баррикад и распорядился, чтобы у входа в каждый барак стоял ящик с толченым стеклом — бросать в глаза солдатам.

Если Келлер представлял украинцев, то Слученков был в большей степени связан с лагерными уголовниками. Кузнецов называет его человеком “из преступного мира”, украинские националистические источники тоже говорят о нем как о воровском вожаке. Во время забастовки Слученков возглавлял лагерный “отдел безопасности” (безопасности). Он создал “полицейскую службу”, которая патрулировала лагерь, поддерживала в нем порядок и выявляла потенциальных штрейкбрехеров и стукачей. Келлер при участии Слученкова разбил весь лагерь на подразделения и назначил командиров. В каждом лагпункте был создан штаб сопротивления. Кузнецов позднее жаловался, что “отдел безопасности тщательно старался законспирировать свои фамилии и мне совершенно невозможно было знать их”.

Более сдержанно Кузнецов высказывается о Кнопмусе — немце, родившемся в Петербурге и возглавлявшем у забастовщиков “отдел пропаганды”. Однако ретроспективный взгляд на события показывает, что деятельность Кнопмуса во время восстания была наиболее революционной и антисоветской. “Пропаганда” Кнопмуса включала в себя выпуск и распространение листовок (они предназначались для “вольного” населения и разбрасывались с помощью воздушных змеев), выпуск стенгазет для лагерников и, что самое необычное, радиовыступления с помощью самодельного передатчика.

Если учесть, что власти в первые же дни забастовки отключили в лагере электричество, эту радиостанцию следует назвать не средством распространения бравады, а большим техническим достижением. Первым делом ээки соорудили “гидроэлектростанцию”, работавшую от водопроводного крана. Мотор переделали в генератор, и он начал вырабатывать достаточно электричества, чтобы питать внутрилагерную телефонную систему и радиопередатчик, который сконструировали из деталей рентгеноаппарата, лечебной аппаратуры УВЧ и киноустановки.

За несколько дней в лагере появились постоянные дикторы, которые регулярно выходили в эфир с последними известиями и другими передачами, предназначенными не только заключенным, но и охране и даже “вольному” населению. В архивах МВД сохранилась стенограмма одного из радиообращений к солдатам, с которым за-

ключенные выступили спустя месяц после начала забастовки, когда запасы продовольствия начали подходить к концу:

“Солдаты! Мы не боимся вас и просим не заходить к нам в зону, не стреляйте в нас, не поддавайтесь бериевской банде. Мы их не боимся, так как не боимся смерти. Нам лучше умереть с голоду в лагере, чем сдаться бериевской банде. Не пачкайте свои руки пятнами крови, которую имеют на своих руках офицеры”³⁵.

Между тем Кузнецов организовал раздачу еды, которую готовили лагерницы. Все заключенные получали одинаковые порции (привилегий для придурков не было), но по мере того как склады пустели эти порции уменьшались. Добровольцы убирали в бараках, стирали, обеспечивали охрану. Н. Кекушев отмечает в мемуарах, что “в столовой соблюдалась чистота и поддерживался порядок”. В обычном режиме работала баня и санчасть, хотя ни медикаментов, ни прочего, в чем возникала потребность, извне не поступало.

Заключенные не забывали и о развлечениях. Согласно одним мемуарам, “среди заключенных оказался представитель графской семьи — граф Бобринский. Он быстро открыл “кафе”; бросал что-то в воду, вода шипела, и заключенные в жаркие дни с удовольствием пили этот напиток и очень смеялись, а граф Бобринский сидел в углу “кафе” с гитарой и пел старинные романсы”³⁶. Читались лекции, давались концерты. Самодеятельная драматическая труппа готовила спектакль. “Главный пророк” одной религиозной секты, разнополые члены которой после разрушения стены начали молиться вместе, предрек, что его последователи очень скоро живыми вознесутся на небо. Несколько дней сектанты, ожидая этого, просидели на казенных матрасах в центре зоны. Увы, ничего не произошло.

Было довольно много молодоженов, которых соединяли брачными узами заключенные священники из Прибалтики и с Украины. Некоторые поженились раньше, стоя по разные стороны лагерной стены, и теперь впервые увидели друг друга. Хотя мужчины и женщины общались свободно, все писавшие о забастовке сходятся на том, что к женщинам не приставали, их не обижали и не насиловали, как часто бывало в лагерях.

Разумеется, сочинялись песни. В их числе был гимн на украинском языке, который часто пели все 13500 заключенных. Рефрен был такой:

Мы нэ будэм, нэ будем рабамаы
И нэ будэм носыты ярма.

В одном месте гимна упоминалась “братня кров Воркуты и Норильска, Колымы и Кингира”. “Это было замечательное время, — вспоминала Ирена Аргинская сорок пять лет спустя. — Я никогда, ни до, ни после не чувствовала себя такой свободной”. Однако не-

добрые предчувствия давали о себе знать. Любовь Бершадская писала: “Никто не знал и даже не думал о том, что нас ждет, все бессознательно, безотчетно”.

Переговоры с властями продолжались. Первая встреча заключенных с комиссией МВД, сформированной для разбора дела, состоялась 27 мая. В числе тех, кого Солженицын называет “золотопогонниками”, были заместитель министра внутренних дел Сергей Егоров, начальник ГУЛАГа Иван Долгих и начальник Управления по надзору за местами заключения прокуратуры СССР Вавилов. Их встретили 2000 заключенных во главе с Кузнецовым, который изложил требования забастовщиков.

Волнения к тому моменту уже набрали силу, и к первоначальному требованию привлечь к ответственности виновных в применении оружия 17 мая и расследовать другие факты применения оружия добавились новые, в большей степени политические по характеру, — в частности, сократить 25-летние сроки, ускорить пересмотр дел осужденных за контрреволюционные преступления, водворять заключенных в ШИЗО только с санкции прокурора, отменить ссылку для лиц, освобожденных из спецлагерей, установить льготные условия по зачетам для женщин и разрешить свободное общение мужчин и женщин в лагере.

Заключенные также потребовали встречи с каким-либо членом Президиума ЦК или одним из секретарей ЦК КПСС. Это требование они упорно выдвигали до самого конца, заявляя, что не доверяют ни начальству Степлага, ни руководству МВД. “Даже МВД не верите? — поражался, по словам Солженицына, заместитель министра. — Да кто внушил вам такую ненависть к МВД?”.

Случись забастовка несколькими годами раньше, никаких переговоров, конечно, не было бы вообще. Но в 1954 году пересмотр политических дел уже потихоньку шел. Даже в дни забастовки некоторых заключенных вызывали на судебные заседания, посвященные пересмотру их дел. Зная, что многие заключенные уже погибли, и явно желая быстрого и мирного разрешения конфликта, Долгих почти сразу же согласился на некоторое улучшение жизни лагерников. Помимо прочего, он распорядился снять запоры с дверей и решетки с окон бараков, обеспечить восьмичасовой непрерывный отдых заключенных и даже отстранить от работы некоторых лагерных начальников и передать органам прокуратуры материалы об убийствах заключенных и о прочих злоупотреблениях администрации. Действуя по приказам из Москвы, Долгих вначале воздерживался от применения силы. Вместе с тем он пытался ослабить волю забастовщиков к сопротивлению, активно убеждая их покинуть лагерь и запрещая пополнять в нем запасы продовольствия и медикаментов.

Однако время шло, и Москва теряла терпение. В телеграмме, датированной 15 июня, Круглов выругал своего заместителя Егорова за то, что он засоряет свои донесения малозначительными сведениями (например, о голубях и бумажных змеях, пускаемых заключенными) и не пишет о принимаемых мерах. Круглов сообщил ему, что в Степлаг направлен эшелон с пятью танками Т-34.

Последние десять дней забастовки были чрезвычайно напряженными. Власти с помощью громкоговорителей выступали с чрезвычайно жесткими предупреждениями. Заключенные, со своей стороны, используя самодельный радиопередатчик, сообщали миру, что на них надвигается голод. Кузнецов произнес речь, в которой говорил о судьбе своей семьи, уничтоженной после его ареста. “Многие из нас тоже потеряли родных и, слушая Кузнецова, мы укреплялись в решимости держаться до конца”, — вспоминал один участник событий.

26 июня в половине четвертого утра власти нанесли решающий удар. До этого — 24 июня — Круглов в телеграмме Егорову потребовал от него одновременно использовать “все имеющиеся ресурсы”. В операции были использованы 1600 военнослужащих, 98 собак с собаководами, 5 танков Т-34. Вначале солдаты применяли ракеты, взрывпакеты, дымовые шашки, стреляли холостыми. По громкоговорителям стали передавать предупреждение: “Исходя из просьбы основной массы заключенных <...> решено <...> ввести в зону лагеря войска. <...> Всем заключенным находиться в бараках и не оказывать сопротивления войскам. <...> Пикетчикам <...> немедленно покинуть свои посты; по заключенным, не выполнившим этого требования, будет применяться огонь”.

В то время как заключенные в смятении метались по лагерю, в зону вошли танки. За ними шли вооруженные солдаты, готовые к бою. По некоторым сообщениям, и танкисты и пехота были пьяны. Возможно, это легенда, возникшая по горячим следам событий, однако известно, что и в Красной Армии, и в “органах” людям, посылаемым на грязное дело, часто давали водку. В массовых захоронениях почти всегда находят пустые бутылки.

Пьяные или нет, танкисты спокойно давили тех, кто оказывался у них на пути. “Я находилась в центре, а вокруг меня танки давили живых людей”, — пишет Любовь Бершадская. Они проехали по группе женщин, которые стояли на их пути, сцепившись руками и не веря, что их осмелятся убить. Они проехали по молодым влюбленным, которые в обнимку бросились под танк. Крушили бараки с людьми внутри. Самодельные гранаты, камни, пики, разные металлические предметы, которые бросали в танки и солдат заключенные, не помешали войскам завершить операцию на удивление быстро: согласно официальному рапорту, за полтора

часа. Одни заключенные покинули лагерь сами, других выводили силой.

По официальным документам, погибло 37 заключенных, 115 были ранены, из них 9 умерло в больнице. Получили телесные повреждения и были контужены 40 солдат. В очередной раз официальные цифры гораздо ниже тех, что приводят заключенные. Бершадская, которая помогала лагерному врачу Хулиану Фустеру оказывать помощь раненым, пишет о пятистах погибших: “Фустер надел на меня белую шапочку и марлевую хирургическую маску (которую я до сих пор берегу) и попросил меня стоять у хирургического стола с блокнотом и записывать имена тех, кто еще мог себя назвать. К сожалению, почти никто уже назвать себя не мог.

Раненые в большинстве своем умирали на столе и, глядя на нас уходящими глазами, говорили: “Напишите маме, мужу, детям” и т. д. Когда мне стало особенно жарко и душно, я сняла шапочку и в зеркале увидела себя с совершенно белой головой. Я подумала, что, вероятно, почему-то моя шапочка была напудрена, я не знала, что находясь в центре этого неслыханного побоища и наблюдая все происходившее, я за пятнадцать минут стала совершенно седой.

Тринадцать часов стоял Фустер на ногах, спасая кого мог. Наконец этот выносливый талантливый хирург сам не выдержал, потерял сознание, упал в обморок, и операции окончились...”³⁷.

После захвата лагеря всех, кто остался в живых и не находился в больнице, вывели в степь. По приказу автоматчиков люди ложились лицом вниз и разводили руки в стороны, как распятые. Так их держали не один час. Сверяясь с фотографиями, сделанными на массовых собраниях, и с данными, полученными от немногих оставшихся стукачей, начальство выбрало и арестовало 436 человек, в том числе всех членов забастовочной “комиссии”. Шестеро из них, включая Келлера, Слученкова и Кнопмуса, позднее были расстреляны. Кузнецов, на вторые сутки после ареста начавший писать развернутое признание, был вначале приговорен к смерти, затем помилован. Его перевели в Карлаг и выпустили на свободу в 1960 году. Тысяча заключенных (500 мужчин и 500 женщин) были обвинены в поддержке восстания и переведены в другие места — в Озерлаг, на Колыму. Они тоже, судя по всему, вышли на свободу к концу десятилетия.

Во время мятежа власти, по-видимому, не подозревали, что в лагере, помимо официальной забастовочной “комиссии”, есть какая-либо другая организующая сила. Позднее, в первую очередь, вероятно, благодаря подробным показаниям Кузнецова, они начали понимать, что к чему. Они установили личности пятерых членов “центра”. Это были литовец Кондратас, украинцы Келлер, Суни-

чук и Вахаев, а также некий Виктор по кличке Ус. Власти даже составили схему, на которой от “центра” линии подчинения идут к “комиссии”, а от нее к военному отделу, отделам безопасности и пропаганды. Они узнали о взводах и отделениях, созданных для защиты каждого барака, о радиопередатчике и самодельном электрогенераторе.

Но они так и не выявили всех членов “центра” — подлинных организаторов восстания. Согласно одному источнику, многие настоящие активисты остались в лагере тихо отбывать срок и дожидаться амнистии. Их имена неизвестны и, вероятно, таковыми останутся.

Глава 25

Оттепель и освобождение

*Не надо околичностей.
Не надо чушь молоть.
Мы — дети культа личности,
мы кровь его и плоть.
Мы выросли в тумане,
двусмысленном весьма,
среди гигантоманий
и скудости ума.*

Андрей Вознесенский. Р. С. 1956 г.

Забастовщики Кенгира проиграли сражение, но выиграли войну. После восстания в Степлаге руководство СССР потеряло вкус к лагерям принудительного труда, причем потеряло поразительно быстро.

К лету 1954 года то, что лагеря не приносят дохода, уже было широко признанным фактом. В постановлении Совета Министров от 27 июня 1954 г. в очередной раз отмечалось, что расходы ГУЛАГа значительно превышают доходы. Во многом это объясняется большими затратами на охрану лагерей¹. На совещании руководящих работников ИТЛ и ИТК, состоявшемся вскоре после Кенгира, многие жаловались на безудержный бюрократизм (в то время действовало семнадцать различных норм питания заключенных), на плохую организацию поставок продовольствия и всей лагерной жизни. Часть лагерей еще действовала, но количество заключенных резко сократилось. В 1955-м в Воркуте была еще одна большая забастовка². Перемыны назрели, их желали очень многие — и они наступили.

10 июля 1954 г. ЦК КПСС издал постановление, возвращавшее лагерникам на общем режиме восьмичасовой рабочий день, упрощавшее лагерный режим и облегчавшее досрочный выход на свободу при условии хорошей работы. Особые лагеря были упразднены. Заключенным можно было переписываться и получать посылки, иной раз практически без ограничений. В некоторых лагерях можно было выписывать семьи или ими обзаводиться. Сторожевые собаки и часовые на вышках уходили в прошлое. Увеличился ассортимент товаров в ларьках: заключенные могли теперь покупать одежду, а порой даже апельсины³. В Озерлаге летом разрешили сажать цветы⁴.

В верхних слоях советской элиты к тому времени началась более широкая дискуссия о сталинской юстиции. В начале 1954-го Хрущев затребовал и получил справку о том, сколько человек было осуждено за контрреволюционные преступления с 1921 года и сколько таких заключенных находилось в лагерях и тюрьмах в теку-

щий момент. По очевидным причинам представленные данные были неполными: в них, в частности, не вошли миллионы сосланных без суда и те, кто был несправедливо осужден по неполитическим статьям. Тем не менее даже эти цифры, говорящие о людях, подавляющее большинство которых были казнены или лишены свободы без всякой вины, поразительно высоки. По данным МВД, в 1921 году “за контрреволюционные преступления было осуждено Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами 3 777 380 человек, в том числе: к высшей мере наказания — 642 980 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже — 2 369 220 человек, в ссылку и высылку — 765 180 человек”⁵.

Несколько дней спустя ЦК КПСС постановил пересмотреть все дела лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, в том числе дела “повторников”, которых в 1948-м приговаривали к новому заключению или отправляли в ссылку после отбытия лагерного срока. Хрущев образовал для этого Центральную Комиссию под председательством генерального прокурора СССР. В республиках, краях и областях для пересмотра дел создавались местные комиссии. Некоторых политических освобождали сразу, хотя их приговоры еще не были аннулированы: подлинной реабилитации — признания государства в своей ошибке — надо было еще ждать⁶.

Людей начали выпускать на свободу, хотя в последующие полтора года этот процесс шел мучительно медленно. Иногда без объяснения и без реабилитации освобождали тех, кто отбыл две трети срока. Других беспричинно держали за колючей проволокой. Хотя все знали, что лагеря убыточны, гулаговское начальство сопротивлялось их закрытию. Нужен был, судя по всему, еще один толчок сверху.

И в феврале 1956 года этот толчок был дан. На XX съезде КПСС Хрущев произнес свой “закрытый доклад”. Впервые публичной критике были подвергнуты Сталин и окружавший его “культ личности”: “После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал строго и последовательно проводить курс на разъяснение недопустимости чуждого духу марксизма-ленинизма возвеличивания одной личности, превращения ее в какого-то сверхчеловека, обладающего сверхъестественными началами, наподобие бога. Этот человек будто бы все знает, все видит, за всех думает, все может сделать; он непогрешим в своих поступках.

Такое понятие о человеке, и, говоря конкретно, о Сталине, культивировалось у нас много лет”⁷.

Во многом доклад был тенденциозным. Перечисляя преступления Сталина, Хрущев фокусирует внимание почти исключительно на жертвах 1937–1938 годов, на расстреле девяноста восьми членов

ЦК партии и некоторых старых большевиков. “Волна массовых репрессий в 1939 году стала ослабевать”, — заявил он, что было махровой ложью: в 40-е годы число заключенных выросло. Он упомянул о депортации чеченцев и балкарцев, — возможно, потому, что не приложил к ним руку, — но обошел молчанием коллективизацию, голод на Украине и массовые репрессии на Западной Украине и в Прибалтике, поскольку ко всему этому он, вероятно, сам был причастен. Он сказал о реабилитации 7679 человек, и, хотя зал ему аплодировал, это была ничтожная доля тех миллионов безвинно осужденных, о которых Хрущев знал⁸.

При всех его недостатках, доклад, который вскоре огласили на закрытых заседаниях парторганизаций по всей стране, потряс Советский Союз до основания. Никогда раньше руководство страны не признавалось ни в каких преступлениях, тем более в таких разнообразных и такого масштаба. Реакцию не мог прогнозировать даже сам Хрущев. “Мы все еще находились в шоке, — писал он позднее, — а людей держали по-прежнему в тюрьмах и лагерях”. Надо было как-то объяснить членам партии, что произошло с этими людьми и как с ними быть, когда они выйдут на свободу.

Доклад наэлектризовал МВД, КГБ и начальство лагерей. За считанные недели лагерная атмосфера стала еще более свободной, процесс реабилитации и освобождения наконец-то ускорился. Если за три года, предшествовавших докладу, было реабилитировано всего 7679 человек, то за десять месяцев после него — уже 617000. Для ускорения были созданы новые механизмы. Многих осужденных тройками освобождали, что забавно, тоже тройки — комиссии в составе трех человек: прокурора, члена ЦК и реабилитированного члена партии, зачастую бывшего заключенного. Такие выездные комиссии работали в лагерях и местах ссылки по всей стране. Они были уполномочены проводить быстрые расследования дел, допрашивать заключенных и освобождать их на месте¹⁰.

В первые месяцы после доклада МВД также готовилось коренным образом изменить систему мест заключения. В апреле новый министр внутренних дел Н. П. Дудоров направил в ЦК КПСС доклад с предложениями о реорганизации репрессивной системы. “Положение дел в исправительно-трудовых лагерях и колониях в течение многих лет остается неблагоприятным”, — писал он. Лагерь для заключенных, заявил он, следует упразднить, оставив только колонии и тюрьмы. Для самых опасных преступников предлагалось организовать специальные тюрьмы “в наиболее отдаленных, малонаселенных районах страны”, в частности, в районе неоконченного строительства железной дороги Салехард — Игарка. Не столь опасных преступников рекомендовалось содержать в колониях, причем “только на территории тех краев и областей, где они проживали и

работали до их осуждения”, и, как правило, не использовать “на строительствах, в лесной, угольной, горнорудной промышленности и других тяжелых и неквалифицированных работах”. Колонии предлагалось создавать “на базе предприятий, производящих предметы широкого потребления легкой, электротехнической, радиотехнической промышленности, а также на базе местной промышленности и сельскохозяйственных предприятий”¹¹.

Выражения, используемые Дудоровым, еще показательней, чем содержание его доклада. Он предлагал создать не просто более компактную систему мест заключения, а качественно иную: вернуться к “нормальной” системе, по крайней мере к такой, которую могли бы признать нормальной в других европейских странах. Новые колонии не должны были преследовать цель самокупаемости, их следовало содержать за счет госбюджета. Целью труда заключенных должно было стать не обогащение государства, а приобретение ими навыков, полезных для будущей жизни после освобождения¹².

Доклад Дудорова вызвал на удивление резкий отпор. Хотя Госэкономкомиссия и Госплан в целом его поддержали, председатель КГБ И. А. Серов решительно отверг все предложения Дудорова как “неправильные”, “неприемлемые” и сопряженные с большими затратами. Реорганизация лагерной системы, по его словам, “будет создавать видимость наличия в СССР огромного количества мест заключения”. Он выступил против ликвидации лагерей и запрета на использование заключенных на тяжелых неквалифицированных работах: такой труд, по его мнению, при правильной его организации “будет способствовать перевоспитанию заключенных в духе честной трудовой жизни в советском обществе”¹³.

Результатом этого столкновения между двумя репрессивными ведомствами стала весьма половинчатая реформа. С одной стороны, Главное управление лагерей (ГУЛАГ) было ликвидировано. В 1957 году прекратили существование Дальстрой и Норильлаг — два самых крупных и мощных лагерных комплексов. Упразднились и другие лагеря. Крупные куски лагерно-производственного комплекса разобрали себе отраслевые министерства¹⁴. Рабский труд никогда с тех пор не играл важной роли в экономике Советского Союза.

Вместе с тем судебная система изменений не претерпела. Суды остались столь же политически пристрастными, необъективными и нечестными. Система тюрем тоже практически не изменилась. Те же надзиратели продолжали следить за соблюдением того же режима в тех же камерах — их даже не выкрасили заново. Когда со временем система мест лишения свободы снова начала расширяться, стало ясно, что и деятельность, направленная на перевоспитание и трудовое обучение заключенных, которой придавалось такое значение, осталась столь же эфемерной и показной, как и в прошлом.

Неожиданно резкое расхождение между министром внутренних дел Дудоровым и председателем КГБ Серовым стало предвестием других споров на более широкие темы. Следуя линии Хрущева, как они ее понимали, люди либеральных взглядов желали быстрых перемен почти во всех сферах советской жизни. Вместе с тем приверженцы старой системы хотели остановить эти перемены, направить их в другое русло или вернуть прежние порядки, особенно если ставилось под вопрос благосостояние влиятельных общественных групп. Результат этого столкновения был предсказуем: не только тюремные камеры остались в прежнем виде, но и остановились даже половинчатые реформы, новые права быстро отобрали, а публичным дискуссиям не дали развернуться. Начавшаяся “оттепель” была эпохой перемен, но перемен особого рода: два шага вперед — и шаг назад, а то и три.

Когда бы заключенный ни выходил на свободу — в 1926 или 1956 году, — он испытывал при этом смешанные чувства. Геннадий Андреев-Хомяков, освобожденный в 30-е годы, был изумлен своим состоянием: “Я-то воображал, что буду не идти, а танцевать, что свобода, когда я наконец ее получу, опьянит меня. Но вот меня отпустили — и я ничего подобного не чувствую. Прохожу через вахту, минуя последнего охранника, но не испытываю никакой радости, никакого подъема. <...> На залитой солнцем платформе — две девушки в легких платьях, они весело из-за чего-то смеются. Смотрю на них с изумлением. Как они могут? Как могут все эти люди ходить, разговаривать, смеяться, словно в мире не происходит ничего из ряда вон выходящего, словно посреди них нет ничего кошмарного, незабываемого...”¹⁵.

После смерти Сталина и доклада Хрущева, когда людей начали отпускать в массовом порядке, смятения в их душах стало еще больше. Зэку, которому оставалось еще десять лет срока, вдруг говорили, что он может отправляться на все четыре стороны. Одну группу ссыльных неожиданно вызвали в контору прииска и сообщили, что завтра им объявят об освобождении. На следующий день спецкомандант “открыл сейф, достал наши документы и роздал”¹⁶. Люди, писавшие одну жалобу за другой, безуспешно требовавшие пересмотра дела, внезапно узнавали, что никакие жалобы больше не нужны — в лагере их никто не держит.

Заключенные, ни о чем, кроме свободы, не мечтавшие, испытывали странное нежелание ее получить: “...я сама себе не поверила, что, выходя на волю, плачу. О чем?.. А такое чувство, будто сердце оторвала от самого дорогого и любимого, от товарищей по несчастью. Закрылись ворота — и все кончено”¹⁷.

Многие просто-напросто не были готовы. Юрий Зорин, освободившись, отправился было домой в Москву, но, отъехав от Котласа

две остановки, вернулся: “Что же это я еду в Москву?” После этого он шестнадцать лет проработал на Севере поблизости от тех мест, где сидел в лагере¹⁸. Евгения Гинзбург пишет о женщине, которая после освобождения призналась: “Дело в том, что я... Я не смогу жить на воле. Я... я хотела бы остаться в лагере!”¹⁹. Другой заключенный писал в дневнике: “Мне не хочется на волю <...> Что меня отталкивает от воли? Мне кажется, что там (так ли это — не знаю) ложь, лицемерие, бессмыслица. Там — фантастическая нереальность, а здесь реально все”²⁰. Многие не верили Хрущеву, предполагали, что ситуация вновь ухудшится, и устраивались вольнонаемными в Воркуте или Норильске. Если тебя потом все равно опять арестуют, лучше побережь нервы и не возвращаться домой.

Но и тем, кто хотел вернуться, нередко очень трудно было это сделать. Денег и еды почти не было. Людям по освобождению выдавали путевое довольствие: 500 г хлеба, 100 г рыбы, 5 г чая и 10 г кондитерских изделий на сутки пути. Этого едва хватало, чтобы не умереть с голоду²¹. К тому же люди часто проводили в дороге гораздо больше времени, чем ожидали, потому что купить билет на поезд или самолет было почти невозможно. Ариадна Эфрон, которой разрешили поехать из ссылки в Москву в отпуск, на вокзале в Красноярске увидела, что “уехать нет никакой возможности, ну совсем никакой! Народу — из всех лагерей, из всех Норильсков!!” Случайно ей помог “ангел” — женщина, у которой была бронь на два билета (второй человек не смог поехать). Иначе Эфрон пришлось бы ждать много дней²².

Галина Усакова, как и многие другие, ехала домой в переполненном поезде на багажной полке²³. Для некоторых, однако, путешествие оказалось слишком тяжелым: нередко во время долгого пути или вскоре после приезда бывшие заключенные умирали. Измотанные годами каторжного труда, утомленные поездкой, переполненные эмоциями, они не выдерживали — гибли от инфаркта, от инсульта. “Сколько народу погибло от этого освобождения!” — изумлялся один заключенный²⁴.

Некоторые снова попадали в тюрьму или лагерь. В отчаянии иные сознательно совершали мелкие преступления, “чтобы снова вернуться в лагерь”, где по крайней мере кормили²⁵. Лагерному начальству подобные трудности порой были на руку; в Воркуте в условиях острой нехватки рабочей силы некоторым категориям освобождающихся было просто-напросто запрещено уезжать из шахтерских районов²⁶.

Тем, кому все-таки удавалось вернуться в Москву, Ленинград или родную деревню, зачастую приходилось не легче. Освобождения как такового было недостаточно, чтобы вписаться в “нормальную” советскую жизнь. Без документов о реабилитации (то есть о

снятии судимости) бывшие политические все еще были под подозрением.

Да, несколькими годами раньше одним дали бы внушавшие страх “волчьи билеты”, которые запрещали бывшим политзаключенным жить в крупных городах или поблизости от них, других отправляли бы в ссылку. Теперь “волчьих билетов” не давали, но по-прежнему трудно было получить жилье и работу, а в Москве — прописку. Вернувшись, люди обнаруживали, что квартира давно уже занята, имущество исчезло, из родственников, на которых тоже стояло клеймо, одни умерли, другие живут в бедности: пока “враги народа” отбывали срок и долгое время после их освобождения члены их семей испытывали официальную и неофициальную дискриминацию в разных формах и не могли занимать определенные должности. Местные власти по-прежнему относились к бывшим заключенным с недоверием. Получить разрешение на проживание в квартире матери стоило Томасу Сговиио года мытарств²⁷. Пожилые люди не могли добиться нормальной пенсии²⁸.

Эти личные трудности, наряду с сознанием поправленной справедливости, заставляли многих ходатайствовать о полной реабилитации, но это, как и многое другое, не было простым делом, совершающимся по понятным правилам. Для многих такой возможности не существовало вовсе: например, МВД категорически отказывалось пересматривать дела осужденных до 1935 года²⁹. Не реабилитировали и тех, кто получил в лагере дополнительный срок за “лагерное сопротивление”³⁰. Дела большевиков высшего ранга — Бухарина, Каменева, Зиновьева — оставались табу, и те, кого осудили в рамках тех же процессов, были реабилитированы только в 80-е годы.

Для людей, которые могли претендовать на реабилитацию, процесс затягивался надолго. Заявление должны были подавать либо сами бывшие заключенные, либо их родственники, и зачастую это приходилось делать два, три или несколько раз. Даже после положительного решения власти могли пойти на пятую точку: Антон Антонов-Овсеенко получил документ о посмертной реабилитации его отца, но в 1963-м реабилитацию отменили³¹. Многие бывшие зэки боялись прошениями напоминать властям о себе. Те, кого вызывали на заседание реабилитационной комиссии (обычно она работала в здании МВД или Министерства юстиции), нередко приходили одетые в несколько слоев, с запасом еды и в сопровождении утирающих слезы родных, уверенные, что опять предстоит дальняя дорога³².

На самом верху многие опасались, что процесс реабилитации может пойти слишком быстро и зайти слишком далеко. Хрущев позднее писал: “Решаясь на приход оттепели и идя на нее сознательно, руководство СССР, в том числе и я, одновременно побаи-

вались ее: как бы из-за нее не наступило половодье, которое захлестнет нас и с которым нам будет трудно справиться”³³. Бывший старший следователь КГБ Анатолий Спраговский вспоминал, что в 1955—1960 годы он, занимаясь пересмотром дел, ездил по Томской области, опрашивал свидетелей и посещал места, где якобы совершались преступления. Он выяснил, помимо прочего, что людей обвиняли в подготовке взрывов несуществующих заводов и мостов. Но когда Спраговский написал об этом Хрущеву и предложил упростить и ускорить реабилитацию, он ничего не добился: Москва, судя по всему, не хотела, чтобы “ошибки” сталинской эпохи выглядели массовыми, а обвинения — совершенно абсурдными, не хотела, чтобы пересмотр старых дел шел слишком уж стремительно³⁴.

Партия боялась признаться и в слишком большом количестве внутрипартийных ошибок. Из более чем 70 000 заявлений о восстановлении в КПСС было удовлетворено менее половины³⁵. В результате полная социальная реабилитация с возвращением работы и квартиры, со справедливым назначением пенсии была очень редким явлением.

Гораздо более обычными, чем полная реабилитация, были сложные, двойственные переживания, о которых пишет Ольга Адамова-Слиозберг, начавшая хлопотать о реабилитации себя и покойного мужа в 1954-м. Ждать пришлось два года. Наконец в 1956 году, после доклада Хрущева, она получила долгожданные справки. Ее дело было пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступления. “Арестована я была 27 апреля 1936 г. Значит, я заплатила за эту ошибочку 20 годами 41 днем жизни”. Кроме того, ей полагались “двухмесячные оклады, мой и моего мужа, и еще 11 руб. 50 коп. за те 115 рублей, которые были у моего мужа в момент смерти”. И все.

Стоя со справками в приемной Верховного суда и пытаюсь постичь произошедшее, она вдруг услышала крик. Кричала старуха украинка, только что получившая такие же бумаги: “Не нужны мне деньги за кровь моего сына, берите их себе, убийцы. — Она разорвала справки и швырнула их на пол.

К ней подошел военный, раздававший справки.

— Успокойтесь, гражданка... — начал он. Но старуха снова закричала:

— Убийцы! — Плюнула ему в лицо и забилась в припадке. Вбежал врач и два санитара, и ее унесли.

Все молчали подавленные. То здесь, то там раздавались всхлипывания и громкий плач. <...> Я вошла в свою квартиру, откуда меня уже не будут гнать милиционеры. Дома никого не было, и я могла, не сдерживаясь, плакать.

Плакать о муже, погибшем в подвале Лубянки в 37 лет, в расцвете сил и таланта; о детях, выросших сиротами с клеймом детей врагов народа, об умерших с горя родителями, о двадцати годах мук, о друзьях, не доживших до реабилитации и зарытых в мерзлой земле Колымы”³⁶.

Хотя о возвращении из лагерей и ссылки миллионов людей мало что написано в стандартных книгах по истории СССР, оно должно было ошеломить миллионы других советских граждан, с которыми освободившиеся встретились. Закрытый доклад Хрущева, конечно, был потрясением, но он предназначался в первую очередь для партийных руководителей, далеко отстоявших от рядовых граждан. Напротив, появление людей, долгие годы считавшихся мертвыми, довело смысл доклада до сознания очень и очень многих куда более действенным образом. Сталинская эпоха была эпохой тайных пыток и скрытого насилия. И вдруг возникли бывшие лагерники, готовые предьявить живые свидетельства произошедшего.

Кроме того, они приносили новости, хорошие и плохие, о давно исчезнувших людях. В 50-е годы обычным делом для выпущенных на свободу было посещать родственников своих умерших или живых товарищей и передавать устные сообщения или предсмертные слова. М. С. Ротфорт, возвращаясь в Харьков, заехал в Читку и Иркутск повидать семьи друзей³⁷. Густав Герлинг-Грудзинский нанес неловкий визит семье своего сокамерника генерала Круглова. Жена генерала испугалась, не сказал ли гость ее дочери, что отец получил новый срок, часто поглядывала на часы и не позволила ему остаться переночевать³⁸.

Возвращавшиеся были источником ужаса для прежних начальников и сослуживцев, прежде всего для тех, по чьему доносу они были арестованы. Алла Андреева вспоминала лето 1956 года, когда все поезда по линии Караганда — Потьма — Москва везли одних только бывших заключенных: “Все было полно невероятной радости и нерадости, потому что тут же встречались люди, которые посадили других, так что всего тут хватало, и печального, и радостного. И вся Москва была полна этим...”³⁹. В повести “Раковый корпус” Солженицын изображает реакцию больного раком партийного начальника на слова жены о том, что его бывший друг, на которого он написал донос, чтобы завладеть его комнатой, реабилитирован: “Бледность Павла Николаевича постепенно сходилась, но он весь ослабел — в поясе, в плечах, и ослабели его руки, а голову так и выворачивала набок опухоль.

— Зачем ты мне сказала? — несчастным, очень слабым голосом произнес он. — Неужели у меня мало горя? Неужели у меня мало горя?.. — И он дважды произвел без слез плачущее вздрагивание груди и головой. <...>

<...> — Какое ж они *право* имеют теперь их выпускать?.. Как же можно так безжалостно травмировать людей?..”⁴⁰.

Чувство вины порой становилось непереносимым. После доклада Хрущева Александр Фадеев, известный писатель, убежденный сталинист и влиятельный литературный чиновник, ушел в запой. Пьяный, он признался знакомому, что в качестве руководителя Союза писателей СССР санкционировал аресты ряда писателей, зная об их невиновности. На следующий день Фадеев покончил с собой. По слухам, его предсмертное письмо в ЦК состояло из одной фразы о том, что, убивая себя, он посылает пулю в политику Сталина, эстетику Жданова, генетику Лысенко⁴¹.

Другие сходили с ума. Инструктор ЦК ВЛКСМ Ольга Мишакова в сталинскую эпоху написала донос на комсомольского лидера Александра Косарева. После 1956 года Косарева реабилитировали, а Мишакову вывели из ЦК. Тем не менее целый год она продолжала являться в здание ЦК и с утра до вечера сидела в своем пустом кабинете, выходя лишь на обеденный перерыв. Когда у нее отобрали пропуск, она весь рабочий день стояла у входа в здание. Затем ее мужа перевели на работу в Рязань, но она каждое утро в четыре часа садилась на московскую электричку и проводила день на прежнем посту. В конце концов ее поместили в психиатрическую больницу⁴².

Даже если дело не кончалось сумасшествием или самоубийством, мучительные встречи людей из разных миров порой отравляли московскую общественную жизнь после 1956 года. “Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили”, — писала Анна Ахматова⁴³. Многие руководители страны, включая Хрущева, многих вернувшихся знали лично. Как пишет Антон Антонов-Овсеенко, один такой “старый друг” в 1956-м пришел к Хрущеву и стал уговаривать его ускорить реабилитацию⁴⁴. Хуже было, когда бывший зэк встречался со своим бывшим тюремщиком или следователем. В самиздатовском “Политическом дневнике” Роя Медведева за 1964 год под псевдонимом “П. Леонидов” опубликованы воспоминания бывшего арестанта о случайной встрече в поезде со своим следователем, который попросил у него денег на выпивку. “П. Леонидов” отдал ему все деньги, какие у него были, — немалую сумму — просто для того чтобы он поскорее ушел. Автор воспоминаний боялся, что не выдержит и выплеснет на следователя всю накопившуюся ненависть⁴⁵.

Чрезвычайно неприятной могла быть и встреча с преуспевающим бывшим другом, подобная той, какая случилась у Льва Разгона в 1968-м — через десять с лишним лет после его возвращения⁴⁶. Юрий Домбровский выразил свои чувства по сходному поводу в стихотворении “Известному поэту”:

Нас даже дети не жалели,
Нас даже жены не хотели,
Лишь часовой нас бил умело,
Взяв номер точкою прицела.

<...>

Ты просто плыл по ресторанам
Да хохмы сыпал над стаканом,
И понял все, и всех приветил —
Лишь смерти нашей не заметил.

Так отчего, скажи на милость,
Когда, пройдя проверку боем,
Я встал из северной могилы,
Ты подошел ко мне героем?
И женщины лизали руки
Тебе — за мужество и муки!⁴⁷

Лев Копелев, вернувшись, обнаружил, что ему трудно с благополучными людьми. “Встречаюсь только с теми из бывших друзей, кто хоть как-то неблагополучен”, — говорил он⁴⁸.

Еще одним источником мучений для бывших зэков был вопрос: как и сколько рассказывать о лагерях родным и знакомым. Многие пытались оберегать детей от тяжелой правды. Дочери конструктора ракет Сергея Королева не говорили, что ее отец побывал в лагере, пока она не окончила школу и ей не пришлось заполнять анкету с вопросом о том, находился ли кто-либо из ее родственников под арестом⁴⁹. От многих при освобождении требовали, чтобы они дали подписку о неразглашении, и кое-кому это затыкало рот — но не всем. Сусанна Печуро наотрез отказалась что-либо подписывать: “Теперь вся моя оставшаяся жизнь будет посвящена только одному — рассказать всем, что у вас тут делается”.

Другие обнаруживали, что друзья и родные если и интересуются тем, что они пережили, все же не хотят знать этого в подробностях. Люди боялись — боялись не только вездесущих “органов”, но и того, что могли узнать о близких. Писатель Василий Аксенов (сын Евгении Гинзбург) в трилогии “Московская сага” изобразил трагическую в своем правдоподобии встречу мужа и жены после лагерей, в которых они содержались раздельно. Муж сразу замечает, что она подозрительно хорошо выглядит. “Нет, подожди! Ты прежде скажи, как ты умудрилась не подурнеть? <...> Ты даже не похудела совсем. Вероника! Подкармливали?” — спрашивает он, очень хорошо зная, за счет чего выживали в ГУЛАГе многие женщины. “Потом они долго лежали неподвижно, он на боку, она — уткнувшись лицом в одеяло. Тоска и горечь выжигали их дотла”⁵⁰.

Писатель и поэт Булат Окуджава написал рассказ о своей встрече с матерью, вернувшейся после десяти лет лагерей. Предвкушая

это событие, он думал, что будут слезы радости, что с вокзала он повезет ее домой обедать, расскажет ей о своей жизни, а потом, может быть, сводит ее в кино. Но он увидел женщину с сухими глазами и отрешенным лицом: “...она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло, окаменело...”. Он был готов увидеть ее физически слабой, уставшей, но совершенно не ожидал, что лагеря нанесли ей такую душевную травму. Подобных встреч, видимо, были миллионы⁵¹.

Многие мемуары рисуют такую же сумрачную картину. Надежда Капралова пишет о свидании с матерью через тринадцать лет после того, как мать забрали (ей самой было в момент ареста восемь лет): “Встретились в Сибири два самых родных человека, мать и дочь, и в тоже время мы обе были чужие — говорили невпопад, больше плакали и молчали”⁵². Евгений Гнедин увиделся с женой после четырнадцати лет заключения и понял, что у них мало общего. Он чувствовал, что “вырос” за эти годы, а она осталась прежней⁵³. Ольга Адамова-Слиозберг, приехавшая в 1946 году к сыну, должна была вести себя с ним очень осторожно: “Я боялась рассказать ему о том, что открылось мне “по ту сторону”. Вероятно, я смогла бы убедить его, что многое в стране неблагополучно, что его кумир — Сталин весьма далек от совершенства, но ведь ему было семнадцать лет. <...> И я боялась быть с ним откровенной”⁵⁴.

Впрочем, не все чувствовали себя чужими советской идеологии. Как ни странно, многие вернувшиеся стремились восстановить членство в коммунистической партии — не только ради льгот и привилегий, но и ради того, чтобы вновь ощутить себя сполна причастными к коммунистическому проекту. “Приверженность вероучению может иметь глубокие, иррациональные корни”, — пишет историк Нэнси Адлер, стараясь объяснить переживания одного бывшего заключенного, восстановленного в партии: “Все же главный из факторов, обеспечивших мою выживаемость в тех тяжелых условиях, — это непоколебимая, неистребимая вера в нашу родную Ленинскую партию, в ее гуманные принципы. Это она, партия, вливала физические силы противостоять испытаниям <...>. Восстановление в рядах родной мне коммунистической партии было для меня во всей моей жизни — самым большим счастьем!”⁵⁵.

Историк Кэтрин Мерридейл идет на шаг дальше и говорит, что партия и коллективистская идеология действительно помогали гражданам СССР оправляться от пережитых потрясений: “Работать, петь, размахивать красными флагами — все это и вправду помогало русским справляться со своими неслыханными утратами. Некоторые сейчас над этим иронизируют, но почти все испытывают ностальгию по утраченному коллективизму и ощущению общей цели. В определенной степени тоталитаризм добился своего”⁵⁶.

Даже понимая в глубине души, что эта борьба ложно направлена; даже зная, что страна не добилась тех блестящих успехов, о каких заявляют ее вожди; даже отдавая себе отчет в том, что целые советские города выстроены на костях людей, несправедливо приговоренных к рабскому труду, — даже тогда некоторые бывшие лагерники стремились вновь включиться в общие усилия.

Так или иначе, колоссальная напряженность между теми, кто побывал “там”, и теми, кто оставался дома, не могла вечно ограничиваться пределами спален, не могла не выйти за двери квартир. Многие виновники случившегося были еще живы. На XXII съезде КПСС в октябре 1961 года Хрущев, боровшийся теперь за влияние в партии, наконец начал называть фамилии. Он заявил, что Молотов, Каганович, Ворошилов и Маленков “несут персональную ответственность за многие массовые репрессии в отношении партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских кадров”. Он зловеще намекнул на документы, избобляющие их вину⁵⁷.

Однако в ходе своей борьбы со сталинистами, препятствовавшими реформам, Хрущев так и не опубликовал никаких подобных документов. Возможно, у него не хватало для этого реальной власти или, возможно, такие документы могли выявить его собственную неприглядную роль в сталинских репрессиях. Вместо этого Хрущев применил новую тактику: он еще больше расширил публичную дискуссию о сталинизме, вывел ее за рамки внутривнутрипартийных дебатов, распространил на литературный мир. Хотя советские поэты и прозаики вряд ли сильно интересовали Хрущева как таковые, в начале 60-х годов он увидел, что они могут сыграть определенную роль в его борьбе за власть. Мало-помалу в официальных публикациях начали появляться исчезнувшие ранее имена — появляться без объяснений, почему они исчезли и почему теперь снова возникают. В печатаемых романах стали действовать персонажи, немыслимые ранее в советской художественной литературе, — корыстные бюрократы, вернувшиеся из лагеря заключенные⁵⁸.

Хрущев полагал, что такие публикации могут обеспечить ему пропагандистскую поддержку: писатели будут дискредитировать его противников, связывая их имена с преступлениями прошлых лет. Судя по всему, именно поэтому он разрешил напечатать самый знаменитый рассказ о ГУЛАГе — “Один день Ивана Денисовича” Солженицына.

Из-за своего писательского значения, как и из-за роли, которую он сыграл в распространении сведений о ГУЛАГе на Западе, Александр Солженицын, безусловно, заслуживает особого упоминания в любой книге по истории советской лагерной системы. Стоит сказать и о том недолгом промежутке времени, когда он был знаменитым,

широко печатаемым “официальным” советским автором: здесь мы имеем дело с важным переходным моментом. В 1962 году, когда “Иван Денисович” впервые вышел в свет, “оттепель” достигла кульминации, политзаключенных было немного и ГУЛАГ казался достоянием прошлого. К лету 1965-го, когда партийный журнал подверг “Ивана Денисовича” критике с идеологической и художественной точки зрения, Хрущев уже был снят с руководящей должности, в стране начался откат к прошлому, и число политзаключенных росло со зловещей быстротой. В 1974-м, вскоре после публикации на Западе солженицынского “Архипелага ГУЛАГ” — фундаментальной трехтомной истории советских лагерей, — ее автор был изгнан из страны. К тому моменту его книги давно уже могли выходить только за границей. Лагеря пережили второе рождение, диссидентское движение было в полном разгаре⁵⁹.

Начало арестантской жизни Солженицына было типичным для эзков его поколения. В 1941-м его мобилизовали в армию, с конца 1942-го после артиллерийского училища он находился на фронте и в 1945-м был арестован из-за писем к другу, содержащих критику Сталина. Молодой офицер, до той поры в целом придерживавшийся коммунистических взглядов, был потрясен грубостью и жестокостью обращения с ним после ареста. Впоследствии его еще сильнее потрясла жестокость по отношению к побывавшим в немецком плену красноармейцам, которых, он считал, должны были чувствовать дома как героев.

В его последующей лагерной жизни нетипичным был только период работы в “шарашке”, куда его взяли из-за физико-математического образования (позднее он описал “шарашку” в романе “В круге первом”). Остальное время он провел во вполне рядовых лагерных подразделениях (одно из них находилось в Москве, другое, под Карагандой, составляло часть особого лагеря). И заключенным он был более или менее рядовым: не отказывался от общения с начальством и “придурочных” должностей, дал формальное согласие сделаться осведомителем и лишь позднее стал вести себя независимо и кончил срок каменщиком. Каменщиком он сделал и Ивана Денисовича — рядового ээка, героя своего рассказа. После лагеря и ссылки Солженицын преподавал в школе в Рязани и писал о том, что пережил и увидел. В этом тоже не было ничего необычного: сотни и сотни мемуаров о ГУЛАГе, публиковавшихся в 80-е годы и позднее, стали убедительным доказательством таланта и красноречия бывших советских заключенных, многие из которых долгие годы держали свою работу в секрете. Уникальность Солженицына в конечном счете обусловлена тем простым обстоятельством, что его произведения были напечатаны в СССР, когда Хрущев еще был у власти.

Выход в свет “Одного дня Ивана Денисовича” окружен многими легендами, столь многими, что, по словам Майкла Скаммела, биографа Солженицына, здесь порой нелегко отделить факт от вымысла. Путь рассказа к публикации и популярности был долгим и трудным. Вначале Солженицын передал рукопись Льву Копелеву — московскому литератору и своему лагерному товарищу. Тот отнес ее в журнал “Новый мир”, где первой ее прочитала редактор А. Берзер. Восхитившись рассказом, она передала его главному редактору Александру Твардовскому.

Твардовский начал читать рукопись поздно вечером, лежа в постели. Первые страницы произвели на него такое впечатление, что он встал, оделся и провел за чтением всю ночь. Утром он бросился в редакцию, потребовал срочно перепечатать рукопись, чтобы можно было показать ее друзьям, и все время говорил о рождении нового большого таланта. Так, по крайней мере, рассказывал сам Твардовский. Позднее Солженицын в письме поблагодарил Твардовского: “Главную радость “признания” я пережил в декабре прошлого года, когда вы оценили “Денисовича” бессонной ночью”⁶⁰.

Рассказ как таковой довольно бесхитроsten: один день жизни рядового заключенного. Иному современному читателю, даже в России, нелегко понять, почему он произвел такой фурор в советском литературном мире. Но для тех, кто прочел рассказ в 1962-м, он стал настоящим откровением. Здесь были не расплывчатые слова о “репрессиях” и о “возвращении”, как в некоторых других книгах того времени, а прямое описание лагерной жизни. Публично эта тема в СССР дотоле не обсуждалась.

При этом стиль Солженицына — в особенности использование лагерного жаргона и то, как он описывал тяготы и однообразие лагерной жизни, ошеломляюще контрастировали с обычной пустопорожней фальшью советской художественной литературы. Социалистический реализм, который был официальной литературной доктриной, был вовсе не реализмом, а литературным воплощением сталинской политики. О местах заключения если и писали, то не правдивее, чем во времена Горького. Если в советском романе появлялся вор, то он исправлялся и становился советским человеком. Герой мог страдать, но в конце концов партия показывала ему выход. Героиня могла лить слезы, но, поняв важность Труда, находила свое место в обществе.

“Иван Денисович”, напротив, — рассказ подлинно реалистический. В нем нет ни казенного оптимизма, ни примитивной морали. Страдания его героев напрасны. Их труд тяжел и изнурителен, и они стараются трудиться как можно меньше. Не говорится ни о руководящей роли партии, ни о грядущей победе коммунизма. Честность, столь необычная для советского писателя, — вот что восхитило

Твардовского: он сказал Копелеву, что в рассказе нет “ни капли фальши”. Именно поэтому рассказ трудно было переварить многим читателям, особенно ответственным работникам. Даже некоторым редакторам “Нового мира” его откровенность пришлась не по нраву. Один из них писал: “Угол зрения: в лагере ужасно и за границами лагеря все ужасно. <...> печатать — невозможно, все же показывает жизнь с одного боку”. Людей с упрощенными представлениями рассказ ужасал отсутствием ясных идеологических выводов и “аморальностью”.

Твардовский очень хотел его напечатать, но понимал, что если просто отдать “Ивана Денисовича” в набор и отправить в цензуру, она завернет его мгновенно. Поэтому он постарался, чтобы о рассказе стало известно Хрущеву, рассчитывая, что тот захочет использовать его как оружие в борьбе с политическими противниками. Как пишет Майкл Скаммел, Твардовский написал к рассказу предисловие, разъяряющее его полезность именно с этой точки зрения, а затем начал давать его людям, через которых, как он надеялся, “Иван Денисович” должен был дойти до самого Хрущева⁶¹.

После долгих перипетий, многих споров и некоторых вынужденных поправок (Солженицыну пришлось убрать места, рисующие одного положительного героя в комическом свете, и вложить в его уста отрицательную характеристику бандеровцев) рассказ, наконец, прочли Хрущеву. Он одобрил и даже сказал, что рассказ написан в духе XXII съезда партии, возможно, имея в виду, что он наносит удар по его врагам. Наконец, в ноябрьском номере “Нового мира” за 1962 год “Один день Ивана Денисовича” был опубликован. “Птичка вылетела! Птичка вылетела!” — радовался, по словам Солженицына, Твардовский, держа в руках сигнальный экземпляр.

Вначале критика расточала рассказу похвалы — не в последнюю очередь потому, что он соответствовал тогдашней генеральной линии партии. В. Ермилов в “Правде” выразил уверенность в том, что “борьба с последствиями культа личности Сталина <...> будет и в дальнейшем способствовать появлению произведений, отличающихся все более глубокой народностью, отражающих нашу современность, созидательный труд народа”. К. Симонов в “Известиях” написал, что Солженицын показал себя истинным помощником партии в деле борьбы с культом личности и его последствиями⁶².

Совсем иным был отклик рядовых читателей, которые в первые же месяцы после публикации в “Новом мире” обрушили на Солженицына поток писем. Бывших заключенных, писавших ему отовсюду, мало интересовало соответствие рассказа новой линии партии. Их радовало и трогало то, что “Иван Денисович” отражал их собственный опыт и переживания. Люди, боявшиеся даже близким друзьям шепнуть слово о том, что с ними было, испытали чувство осво-

бождения. Одна женщина писала: "...Обильные слезы заливали мое лицо, и я их не вытирала, я не стыдилась их, ибо это все, что уложилось в несколько страниц журнала, мое, кровное мое, изо дня в день мое во все 15 лет пребывания в лагере".

Вот выдержки из другого письма Солженицыну: "...Спасибо Вам, дорогой друг, товарищ и брат! <...> Читая твою повесть, я вспомнил Сивую Маску, Воркуту... морозы и пурги, унижения и оскорбления... Читал, плакал — все знакомые лица, как будто сказано о моей бригаде... Еще раз спасибо! Продолжай в том же духе — пиши, пиши"⁶³.

Но самой сильной была реакция тех, кто все еще был лишен свободы. Леонид Ситко узнал о публикации, отбывая второй срок в Дубравлаге. Когда номер "Нового мира" появился в лагерной библиотеке, начальство не выдавало журнал заключенным два месяца. Наконец они раздобыли его и устроили чтение вслух. "...целая гурьба эзков замерла, не дышала, ловила все на лету..." — вспоминает Ситко. "Когда было прочитано последнее слово, наступила мертвая тишина. Две-три минуты и — взорвалось! В каждом — свое, большое, пережитое. <...> В махорочном дыму говорили без конца.."

И чаще, все чаще звучал вопрос: Почему разрешили такое?"

И правда — почему? Этим вопросом, кажется, начали задаваться и руководители страны. Принять такое честное изображение лагерной жизни им было трудно: слишком уж быстрая перемена для тех, кто имел причины опасаться, что теперь скатятся с плеч их собственные головы. Или, возможно, противники Хрущева сочли, что его пора убрать, что он зашел слишком далеко, и использовали рассказ Солженицына как предлог. Хрущев и вправду вскоре был смещен — в октябре 1964 года. Занявший его место Леонид Брежнев был лидером реакционного, неосталинистского крыла партии, выступавшего против перемен и "оттепели".

В любом случае ясно, что после публикации рассказа консерваторы поразительно быстро собрались с силами и перешли в контрнаступление. "Иван Денисович" был опубликован в ноябре, а в декабре — через несколько дней после того, как Хрущев встретился с Солженицыным и лично его поздравил, — Леонид Ильичев, председатель новосозданной Идеологической комиссии при ЦК КПСС, выступая перед четырьмя сотнями писателей и деятелей искусства, заявил: "Но нельзя допустить, чтобы под видом борьбы с культом личности расшатывали и ослабляли социалистическое общество, социалистическую идеологию и социалистическую культуру"⁶⁴.

В этих стремительных переменах и шатаниях отражается двойственность преобладавшего в СССР отношения к собственной истории — двойственность, которая не преодолена и сегодня. Согласиться с тем, что портрет Ивана Денисовича верен, означало бы для советской элиты признать тот факт, что невинных людей подверга-

ли бессмысленным страданиям. Если лагеря и вправду были нелепой, расточительной и преступной затеей, значит, нелепым, расточительным и преступным был и весь советский режим. Любому гражданину СССР, от партийного руководителя до простого крестьянина, и тогда, и позднее нелегко было сделать вывод, что над его жизнью властвовала ложь.

После периода колебаний — аргументы за, аргументы против — нападки на Солженицына резко усилились. О возмущении некоторых работников лагерей и бывших заключенных желанием Ивана Денисовича поменьше работать я уже писала. Но звучала и критика более общего порядка. Критик "Литературной России" Лидия Фоменко обвинила Солженицына в неспособности сполна раскрыть диалектику того времени. Иными словами, Солженицын изобразил злоупотребления "культу личности", но не указал выхода, пути к светлому будущему и не вывел в рассказе положительных героев — коммунистов, в чьем лице добро должно в конечном счете восторжествовать. Присоединились и другие критики; некоторые даже стали указывать на художественные промахи Солженицына. В "Повести о пережитом" Бориса Дьякова — "советских" лагерных мемуарах, вышедших в 1964 году, — соответственно заказу изображены трудолюбивые, верные советской власти заключенные⁶⁵.

Когда рассказ Солженицына был выдвинут на Ленинскую премию в 1964 году, недоброжелатели активизировались еще больше. Под конец они перешли к личным инсинуациям. На заседании комитета по Ленинским премиям первый секретарь ЦК комсомола Павлов заявил, что Солженицын сидел не по политическому делу, а по уголовному. Твардовский за сутки добыл копию судебного решения о реабилитации Солженицына, но было поздно. Ленинскую премию получил роман Гончара "Тронка", ныне совсем позабытый, а карьера Солженицына как печатаемого литератора подошла к концу.

Он продолжал писать, но до 1989-го ни одно из его произведений легально в СССР не вышло. В 1974 году он был выслан из Советского Союза и поселился в Вермонте в США. До эпохи Горбачева лишь немногие советские граждане — те, кому попали в руки подпольно перепечатанные на машинке или нелегально ввезенные из-за границы экземпляры, — читали "Архипелаг ГУЛАГ", его историю советских лагерей.

Солженицын не был единственной жертвой этого отката к партийному консерватизму. В то самое время, когда споры по поводу "Ивана Денисовича" чрезвычайно обострились, разворачивалась другая литературная драма: 18 февраля 1964 года состоялся суд над молодым поэтом Иосифом Бродским, обвиненным в тунеядстве. Начиналась эпоха диссидентов.

Глава 26

Эпоха диссидентов

*Однако радоваться рано —
и пусть орет иной оракул,
что не болейт зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не зная,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, — а я-то знаю:
не умер Сталин.*

*Как будто дело все в убитых,
в неизвестно канувших на Север —
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, —
не умер Сталин.*

Борис Чичибабин.
Клянусь на знамени веселом. 1959 г.

Смерть Сталина поистине ознаменовала конец эпохи массового рабского труда в СССР. Хотя в последующие сорок лет советская репрессивная политика порой принимала очень жесткие формы, никто не предлагал возродить систему концлагерей в крупных масштабах. Никто больше не пытался сделать их центральной частью экономики, использующей труд миллионов людей. Тайная полиция никогда больше не контролировала такую крупную часть национального производства, начальники лагерей никогда больше не возглавляли огромных индустриальных комплексов. Здание КГБ на Лубянке перестали использовать как тюрьму: последним тамошним заключенным стал Гэри Пауэрс, пилот американского разведывательного самолета У-2, сбитого над СССР в 1960 году¹.

Однако лагеря не исчезли полностью, и советские места заключения хоть и изменились, но не стали частью “обычной” пенитенциарной системы, предназначенной только для уголовных преступников.

Прежде всего, изменился состав политзаключенных. В сталинскую эпоху репрессивная система напоминала огромную рулетку: в любой момент и по любой причине могли арестовать кого угодно — крестьянина, рабочего, партийного руководителя. После Хрущева людей все еще изредка брали “ни за что”, как сказала в свое время Анна Ахматова. Но в большинстве случаев брежневские “органы”

арестовывали людей *за что-то* — если не за настоящее преступление, то за несогласие с режимом в литературной, религиозной или политической сфере. Обычно называвшиеся диссидентами, а иногда узниками совести, “политические” нового поколения знали, за что они арестованы, и называли себя политзаключенными. Их особый статус признавали и власти: их держали отдельно от уголовников, у них был другой режим и другая одежда. Клеймо диссидента оставалось на них и после освобождения: их подвергали дискриминации при приеме на работу, к ним с опаской относились родственники и соседи.

Политзаключенных было теперь гораздо меньше, чем в сталинские времена. По оценке организации “Международная амнистия”, в середине 70-х из миллиона советских заключенных не более 10 000 отбывали срок по политическим статьям, и большинство из них содержалось в двух “политических” лагерных комплексах — один в Мордовии, другой в районе Перми². За год, по всей вероятности, происходило самое большее несколько тысяч откровенно политических арестов. Для другой страны это была бы большая цифра, по меркам сталинского СССР это было совсем немного.

Судя по сообщениям бывших заключенных, эти новые политические начали появляться в лагерях уже в 1957-м — после венгерского восстания октября 1956 года, когда были арестованы некоторые советские военнослужащие и гражданские лица, выразившие сочувствие повстанцам³. Примерно к этому же времени относятся первые единичные случаи ареста “отказников” — евреев, которым отказывали в праве эмигрировать в Израиль. В 1958 году Биму Гиндлеру, польскому еврею, оставшемуся после войны по советскую сторону границы, не разрешили репатрироваться в Польшу на том основании, что впоследствии он может уехать в Израиль⁴.

В конце 50-х произошли и первые аресты советских баптистов (они вскоре стали крупнейшей диссидентской группой за колючей проволокой) и членов других религиозных объединений. В 1960 году диссидент Авраам Шифрин встретил в штрафной камере политического лагеря в Потье группу старообрядцев. Их религиозная община с 1919 года тайно жила в девственных лесах Северного Урала, пока много лет спустя власти не обнаружили их с вертолета. Когда Шифрин их встретил, они были постоянными обитателями штрафных камер, поскольку категорически отказывались работать на безбожную власть⁵.

Сам же Шифрин был представителем новой категории заключенных — сыновей и дочерей “врагов народа”, которые во второй половине 50-х не могли гладко войти в советскую жизнь. В последующие годы чрезвычайно большую долю диссидентов, в особенности защитников гражданских прав, составляли дети или другие род-

ственники жертв сталинских репрессий. Один из известнейших примеров — братья-близнецы Жорес и Рой Медведевы. Историк Рой был в числе самых известных подпольных публицистов СССР; Жорес, ученый-диссидент, был насильственно помещен в психиатрическую больницу. Их отца арестовали как “врага народа”, когда они были еще детьми⁶.

Есть и другие примеры. В 1967-м сорок три человека — дети репрессированных Сталиным коммунистов — направили в ЦК открытое письмо, где речь шла об угрозе неосталинизма. Это послание, ставшее одним из первых среди немалого числа открытых писем властям, подписали несколько подпольных издателей и диссидентских лидеров, многие из которых вскоре были арестованы: Петр Якир, сын генерала Якира; Антон Антонов-Овсеенко, сын известного большевика-революционера; Лариса Богораз, чей отец был арестован за “троцкизм” в 1936 году. Лагерного опыта отцов, кажется, было достаточно, чтобы радикализовать детей⁷.

Помимо состава политзаключенных, изменились некоторые аспекты законодательства. В 1960-м (этот год обычно называют вершиной “оттепели”) был введен в действие новый уголовный кодекс. Несомненно, он был либеральней старого. Он запрещал ночные допросы, ограничивал полномочия КГБ, который вел политические расследования, и МВД, в ведении которого находились места заключения. Он устанавливал большую независимость прокуроров, и, самое главное, в нем не было ненавистной 58-й статьи⁸.

Некоторые из этих перемен были справедливо сочтены простым камуфляжем, словесной реформой взамен реальной. “Вы, например, ошибаетесь, — писал другу из заключения литератор-диссидент Юлий Даниэль, — если думаете, что я сидел в тюрьме — я “содержался в следственном изоляторе”, и меня не бросали в карцер, а “водворяли в штрафной изолятор”, а занимались этим не “надзиратели”, а “контролеры”, и письмо это я Вам пишу отнюдь не из концлагеря, а из «учреждения»”⁹.

Даниэль прав и в другом: если власти хотели арестовать кого-то по подозрению в инакомыслии, они по-прежнему могли это сделать. Взамен 58-й статьи в новом УК появились 70-я (“антисоветская агитация и пропаганда”) и 72-я (“организованная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации”). Вдобавок власти имели в своем распоряжении статью 142 (“нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви”). Иными словами, КГБ, как и раньше, мог арестовать человека за его религиозные убеждения¹⁰.

Кое-что, однако, изменилось. В послесталинскую эпоху прокуроры, тюремщики, лагерные охранники были гораздо более

чувствительны к тому, какое впечатление производят их действия, и пытались соблюдать видимость законности. Когда, к примеру, формулировка статьи 70 оказалась слишком расплывчатой, чтобы сажать всех, кого начальство считало нужным, в уголовный кодекс добавили статью 190-1, где запрещалось “распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй”. Судебная система должна была выглядеть как судебная система, пусть даже все знали, что это фикция¹¹.

Недвусмысленно отказываясь от прежней системы “троек” и “особых совещаний”, новое законодательство устанавливало, что лишить человека свободы может только суд. Это, как выяснилось, оказалось для советских властей куда большим неудобством, чем они предполагали.

Хотя Иосиф Бродский получил приговор не по какому-либо из новых антидиссидентских законов, суд над ним во многом стал предвестием новой эпохи. Необычно было уже то, что он состоялся и был публичным: в прошлом неугодных судили за закрытыми дверями, если судили вообще, — исключение составляли тщательно срежиссированные показательные процессы. Что еще более важно, само поведение Бродского на суде доказывало, что он принадлежал к иному поколению, чем Солженицын и политзаключенные недавнего прошлого.

Бродский позднее писал, что его поколение миновала чаша, выпавшая на долю старших, пусть даже старших всего на несколько лет. “Мы произросли из послевоенного щебня — государство заливало собственные раны и не могло как следует за нами проследить. Мы пошли в школу, и, как ни пичкала нас она возвышенным вздором, страдания и нищета были перед глазами повсеместно. Руину не прикроешь страницей «Правды»”¹².

Русскоязычная часть поколения Бродского, как правило, приходила к критике советского *status quo* через свои литературные или художественные предпочтения, не находившие выражения в брежневском СССР. У прибалтийцев, кавказцев и украинцев, напротив, на первом месте чаще всего были национальные чувства, унаследованные от отцов. Бродский был классическим ленинградским диссидентом. Он с ранних лет испытывал отвращение к советской пропаганде, в пятнадцать ушел из школы, затем работал на разных временных работах и писал стихи. В двадцать с небольшим он уже был хорошо известен литературному миру Ленинграда. Стареющая Ахматова сделала его своим протеже. Его стихи ходили по рукам и читались вслух на тайных литературных собраниях, которые тоже были приметой времени.

Вполне естественно, эта неофициальная деятельность привлекла к Бродскому внимание “органов”. У него начались неприятности, затем его арестовали. Обвинение — “тунеядство”: Бродский не состоял в Союзе писателей, поэтому его поэтическое творчество не считалось профессией. На суде в феврале-марте 1964 года свидетели обвинения, большей частью Бродскому не знакомые, говорили, что он человек аморальный, что он уклоняется от службы в армии и пишет антисоветские стихи. В его защиту выступили или написали письма некоторые известные литераторы, в том числе Ахматова. На это свидетель обвинения отреагировал так: “...сиятельные друзья стали звонить во все колокола и требовать — ах, спасите молодого человека. А его надо лечить принудительным трудом, и никто ему не поможет, никакие сиятельные друзья. Я лично его не знаю. Знаю про него из печати. И со справками знаком. Я медицинскую справку, которая освободила его от службы в армии, подвергаю сомнению. Я не медицина, но подвергаю сомнению”¹³.

Ясно, что процесс был направлен не только против Бродского, но и против остатков независимо мыслящей интеллигенции — людей, связанных между собой узами солидарности, людей, в которых можно было подозревать неприятие советской власти и системы “общественно-полезного труда”. В определенном смысле организаторы процесса попали в цель: Бродский действительно был противником советской власти, он действительно презирал бессмысленный, бесплодный труд и действительно представлял “чуждую” прослойку — группу людей, глубоко разочарованных “похолоданием”, сменившим “оттепель”. Хорошо все это понимая, Бродский не был удивлен арестом и не испытывал смущения во время суда. Он преуспел с судьей:

Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. А кто причислил меня к роду человеческого?

Судья: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат...

Бродский: Я не думаю, что это дается образованием.

Судья: А чем же?

Бродский: Я думаю, это... от Бога...

Далее на вопрос, есть ли у него ходатайства к суду, Бродский ответил: “Я хотел бы знать, за что меня арестовали”. Судья возразила: “Это вопрос, а не ходатайство”. — “Тогда у меня ходатайства нет”, — сказал Бродский¹⁴.

Формально Бродский проиграл: его сослали “в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда”, поскольку он “систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству материальных ценностей и личной обеспеченности, что видно из частой перемены работы”. Ссылаясь на справку Комиссии по работе с молодыми писателями, судья заявила в приговоре, что Бродский (который получил позднее Нобелевскую премию по литературе) “не является поэтом”¹⁵.

Однако в другом смысле Бродский одержал победу, какой не могли одержать арестанты прежних поколений. Мало того, что он публично бросил вызов логике советского “правосудия”, — этот вызов сохранился для потомства: писательница и журналистка Ф. Вигдорова тайком сделала на суде записи, которые впоследствии попали на Запад. Благодаря этому Бродский сразу же стал знаменитым как в СССР, так и за границей. Его поведение на суде стало образцом для подражания и заставило ряд советских и иностранных писателей ходатайствовать о возвращении его из ссылки. Через два года ему позволили вернуться, и позднее он уехал из СССР.

Ничего подобного не могло произойти при Сталине. Вскоре после суда над Бродским украинский историк и диссидент Валентин Мороз писал о новых “политических”: “Как всегда — людей бросали за решетку, как всегда — повезли на восток. На этот раз они не канули в неизвестность”¹⁶. И это в конечном счете было самым большим различием между заключенными сталинской эпохи и теми, кого посадили при Брежнев и Андропове: внешний мир знал о вторых, беспокоился о них и, самое главное, мог влиять на их судьбу. Тем не менее советский режим не становился более либеральным, и после процесса Бродского события развивались довольно быстро.

Как 1937 год стал годом особенно жестоких репрессий против интеллигенции в сталинскую эпоху, так 1966-й сыграл особую роль для поколения “оттепели”. К 1966-му стало ясно, что неосталинизм победил. Официально утвердилась репутация Сталина как руководителя, допускавшего ошибки, но несмотря на это достойного восхищения. Иосиф Бродский находился в ссылке. Сочинения Солженицына были под запретом. Хрущева сменил Леонид Брежнев, открыто делавший заявления, рассчитанные на то, чтобы поднять репутацию Сталина¹⁷. В следующем году Юрий Андропов, только что назначенный председателем КГБ, произнес речь, посвященную 50-й годовщине образования ЧК. Помимо прочего, он воздал в ней хвалу советским “органам” за “твердость в борьбе с классовыми врагами”¹⁸.

В феврале 1966 года состоялся суд над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Оба были известными писателями, публиковав-

шими свои произведения за границей, и обоих признали виновными по 70-й статье в “антисоветской агитации и пропаганде”. Синявскому дали семь лет строгого режима, Даниэлю — пять¹⁹. Это был первый случай, когда людей судили не за “тунеядство”, а за содержание их литературных трудов. Месяц спустя в Киеве в обстановке куда большей секретности состоялся суд над более чем двумя десятками представителей украинской интеллигенции. Одного из них обвинили, помимо прочего, в том, что он хранил текст стихотворения Тараса Шевченко, в честь которого в Москве и Киеве названы улицы. Стихотворение было перепечатано без фамилии автора, и “эксперты” определили его как антисоветское произведение неизвестного лица²⁰.

Как с тех пор повелось, эти процессы породили новые процессы: другие возмущенные интеллигенты принимались критиковать власти за допущенные в их ходе нарушения советской конституции и законов. В частности, дело Синявского и Даниэля произвело сильное впечатление на молодого москвича Александра Гинзбурга, который уже был замечен в неофициальных культурных кругах. Он составил “Белую книгу” о процессе Синявского и Даниэля, которая ходила по рукам в Москве. Вскоре он и три его “сообщника” были арестованы²¹.

Примерно в то же время киевские процессы глубоко возмутили молодого украинского журналиста Вячеслава Чорновила. Он стал собирать материалы об украинском “правосудии”, указывая на его внутренние противоречия и демонстрируя нелепость обвинений против украинских подсудимых и незаконность их преследования²². Через некоторое время арестовали его самого²³. Так интеллектуальное и культурное движение, начало которому положили писатели и поэты, стало движением правозащитников.

Чтобы правильно представлять себе роль движения за гражданские права в СССР, необходимо понимать, что советские диссиденты, в отличие от польских, не создали массовой организации и что советский режим рухнул не только благодаря их усилиям. Были и другие факторы, не менее важные: гонка вооружений, война в Афганистане, экономическая ущербность советского центрального планирования. Диссидентам в СССР удалось организовать лишь несколько публичных демонстраций. Самая, пожалуй, известная из них состоялась 25 августа 1968 года и была протестом против советского вторжения в Чехословакию. Участвовало всего семь человек. В полдень они собрались на Красной площади у храма Василия Блаженного, достали чехословацкий флажок и развернули плакаты: “Да здравствует свободная и независимая Чехословакия”, “Руки прочь от ЧССР!”, “За вашу и нашу свободу”. Прошло всего несколько секунд, и к демонстрантам ринулись агенты КГБ в штат-

ском. Любопытные подавали реплики: “Антисоветчики... Давить их надо... Жидовские морды”. Агенты разорвали плакаты, избили демонстрантов и увезли в милицию. Впоследствии отпустили только Н. Горбаневскую, которая пришла на площадь с трехмесячным ребенком²⁴.

Как бы ни были слабы диссиденты, их деятельность очень сильно беспокоила советское руководство, главным образом из-за того, что оно не прекращало стараний распространить социализм на как можно большее число стран и поэтому было чрезвычайно озабочено обликом СССР на международной арене. В сталинскую эпоху можно было утаить массовые репрессии даже от посещающего страну американского вице-президента. В 60-е и 70-е годы весть об аресте одного человека могла облететь весь мир за сутки.

Одной причиной тому было развитие средств массовой коммуникации: работали “Голос Америки”, радио “Свобода”, телевидение. Другая причина — то, что сами советские граждане начали находить новые способы передачи информации. 1966 год стал важной вехой, помимо прочего, благодаря рождению слова “самиздат” (по аналогии с “Госиздатом”). Идея была не нова. В России самиздат, можно сказать, появился почти так же давно, как письменность. Например, в 20-е годы XIX века по рукам ходили политические стихи Пушкина. Даже в сталинскую эпоху распространение среди друзей прозаических и стихотворных текстов не было совершенно немислимым делом.

Но после 1966 года самиздат постепенно превратился в излюбленное времяпрепровождение советских граждан. “Оттепель” привила многим из них вкус к чтению неподцензурной литературы, и вначале самиздат был главным образом литературным явлением²⁵. Очень быстро, однако, он стал приобретать более политический характер. В записке КГБ, рассматривавшейся в секретариате ЦК в январе 1971 года, анализировались качественные изменения за пять лет: “...появилось свыше 400 различных исследований и статей по экономическим, политическим и философским вопросам, в которых с разных сторон критикуется исторический опыт социалистического строительства в Советском Союзе, ревизуется внешняя и внутренняя политика КПСС, выдвигаются различного рода программы оппозиционной деятельности”²⁶.

Вывод: необходимо выработать “идеологические и политические меры по нейтрализации и разоблачению представленных в “самиздате” антиобщественных течений”. Но вернуть джинна в бутылку было невозможно, и самиздат продолжал развиваться в самых разных формах. Он включал в себя стихи, напечатанные на машинке и перепечатываемые при первой возможности; рукописные бюллетени; записи передач “Голоса Америки”; и наконец, гораздо поз-

же — книги и журналы, профессионально публикуемые в подпольных типографиях, большая часть которых действовала в коммунистической Польше. Благодаря такой технической новинке, как магнитофон, быстро тиражировались стихи и песни Александра Галича, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и других советских бардов.

Неизменно с 60-х по 80-е годы одной из важнейших тем самиздата была история сталинизма, включавшая в себя историю ГУЛАГа. Сеть самиздата продолжала печатать и распространять произведения Солженицына, которые были теперь запрещены в СССР. Начали ходить по рукам стихи и рассказы Варлама Шаламова, мемуары Евгении Гинзбург. У обоих этих авторов образовались большие группы почитателей. Гинзбург стала центром московского кружка бывших узников ГУЛАГа и литераторов.

Другой важной темой самиздата было преследование диссидентов. Во многом благодаря самиздату, и в особенности тому, что его публикации стали распространяться за рубежом, защитники прав человека получили в 70-е годы широкий международный отклик. Помимо прочего, диссиденты стали использовать самиздат не только для того, чтобы демонстрировать несоответствие между советским законодательством и методами КГБ, но и для того чтобы постоянно и громко указывать на противоречия между подписанными СССР документами о правах человека и реальной советской практикой. Как правило, в ход шли Декларация прав человека, принятая ООН, и Заключительный акт совещания в Хельсинки. Первый документ был подписан Советским Союзом в 1948 году и содержал, помимо прочего, статью 19: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободу выражения их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ»²⁷.

Второй документ был конечным результатом общеевропейских переговоров, разрешивших ряд политических вопросов, которые оставались открытыми с конца Второй мировой войны. Так называемая «третья корзина» переговоров, содержащая ряд положений о правах человека, не была в 1976 году, когда хельсинкский Заключительный акт подписывался, в центре внимания. Согласно этим положениям, страны, подписавшие договор, взяли на себя обязательство уважать «свободу мысли, совести, религии и убеждений»: «Государства-участники признают всеобщее значение прав человека и основных свобод <...>. Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих взаимных отношениях и будут прилагать усилия, совместно и самостоятельно, включая в сотрудничество с Организа-

цией Объединенных Наций, в целях содействия всеобщему и эффективному уважению их».

Как внутри, так и вне СССР источником большей части сведений об усилиях диссидентов, добивавшихся выполнения этих обязательств, была «Хроника текущих событий» — информационный бюллетень советского самиздата. Бюллетень, в нейтральном духе сообщавший о событиях, которые иным путем предать гласности было невозможно, — о нарушениях прав человека, арестах, судах, демонстрациях, новых публикациях самиздата, — был основан маленькой группой москвичей, в которую входили Синявский, Даниэль, Гинзбург и двое диссидентов, ставших известными позже, — Павел Литвинов и Владимир Буковский. О развитии и эволюции «Хроники» следовало бы написать книгу такого же объема, как эта. В 70-е годы КГБ вел против «Хроники» настоящую войну. В квартирах тех, кого подозревали в связях с бюллетенем, устраивались координированные обыски. Во время одного такого обыска издательница сунула бумаги в кастрюлю с кипящим супом. «Хроника» пережила арест ряда издателей, и ее удавалось переправлять на Запад. В конце концов «Международная амнистия» начала регулярно публиковать переводы бюллетеня²⁸.

«Хроника» сыграла особую роль и в истории системы мест заключения. Очень быстро она стала главным источником информации о жизни в советских лагерях послесталинского периода. В числе ее постоянных рубрик были «В тюрьмах и лагерях» и, позднее, «В психиатрических больницах». Там печатались вести из лагерей и интервью с заключенными. Поразительно точные и подробные сообщения о лагерных событиях — о болезнях диссидентов, изменениях режима, организованных протестах — приводили власти в бешенство: они не могли понять, как просачивается информация. Годы спустя один из издателей объяснял: «Что-то можно было передать с теми, кого освобождали из лагеря. Человек уезжал и потом где-то с кем-то встречался. Или можно было дать взятку вохровцам, чтобы во время свидания с родственниками они разрешили сообщить сведения — устно или письменно. Потом родственники передавали это в Москве дальше. В Мордовии, к примеру, охранников вполне можно было подкупить. Мордовские лагеря для политических были новые, их создали в 1972 году, и охрана там тоже вся была новая. Иногда вохровцы давали возможность что-то передать, потому что проникались сочувствием к нашему положению. В 1974-м в лагерях была массовая голодовка, и охранники, видя все это, симпатизировали заключенным.

Подкупом тоже можно было действовать. Охранники мало что имеют, платят им немного, они все из провинции. Иногда достаточно было дать ему какую-нибудь вещь из Москвы — например, зажигалку. Или он писал тебе адрес, по которому надо было послать

его родным деньги или вещи, а он за это позволял передать информацию...”^{29*}.

Разрабатывались разные способы конспирации. Вот как бывшая политзаключенная описывает один из них: “На узенькой (четыре сантиметра) полоске папиросной бумаги муравьиными буквами я записываю свои последние стихи. Это один из способов передачи информации на свободу; полоски эти мы сворачиваем в компактный пакет размером меньше мизинца и при удобном случае передаем крошечную, наглухо загерметизированную от влаги по нашей специальной технологии, вещичку”³⁰.

Как бы ни передавались в “Хронику” сведения из лагерей — с помощью конспирации, взяток, лести, — эта информация не утратила значения по сей день. Сейчас, когда я пишу эту книгу, большая часть документов МВД и КГБ, относящихся к послесталинскому периоду, остается закрытой для исследователей. Однако благодаря “Хронике” и другим публикациям самиздата и правозащитных органов, а также благодаря многим мемуарам, где описаны лагерь 60-х — 80-х годов, можно тем не менее получить связную картину жизни в советских лагерях после Сталина.

“...Сегодняшние советские лагеря для политзаключенных так же ужасны, как сталинские. Кое в чем лучше. А кое в чем хуже”.

Это написал в начале своих воспоминаний о годах заключения Анатолий Марченко. Его записки, которые циркулировали в Москве с конца 60-х, шокировали московскую интеллигенцию, считавшую, что лагеря, какими они были, ушли в прошлое.

Марченко происходил из рабочей семьи (и отец и мать были неграмотны) и первый срок получил за хулиганство. Второй раз его судили за измену: он пытался бежать в Иран. Срок отбывал в Мордовии, в Дубравлаге — в одном из двух печально знаменитых политических лагерей строгого режима.

Многие подробности испытанного Марченко были знакомы тем, кто слышал рассказы о сталинских лагерях. Подобно его предшественникам, Марченко ехал в лагерь в “столыпине”. Подобно предшественникам, в пересыльной тюрьме он получил на дорогу “буханку черного хлеба, граммов 50 сахару и одну селедку”. Этого должно было хватить до следующей “пересылки”. Подобно предшественникам, он обнаружил, что утоление жажды зависит от конвоира: “Если подберет, так раз или два принесет, а надоело ему бегать с чайником — хоть умирай от жажды”³¹.

В лагере Марченко испытывал такой же, как его предшественники, постоянный голод. Его дневной рацион содержал 2400 калорий:

* Этот отрывок дается здесь в обратном переводе с английского. — *Прим. перев.*

700 г хлеба, 450 г капусты и картошки (часто гнилых), 80 г трески (часто испорченной), 50 г мяса, 30 г крупы или лапши, 20 г жиров, 15 г сахара. При этом сторожевой овчарке полагалось 450 г мяса. Как и в прошлом, заключенным доставалось не все, что было положено по нормам питания, и возможностей купить что-либо дополнительно было мало. “За шесть лет тюрьмы и лагеря я дважды ел хлеб с маслом — привозили на свидание. Съел два огурца: в 1964 году один огурец, а еще один — в 1966-м. Ни разу не ел красного помидора, ни разу яблока. Это все запрещено”³².

Выполнение трудовой нормы по-прежнему имело значение, но характер работы изменился. Марченко работал грузчиком и столяром. Леонид Ситко, который тоже был в то время в Дубравлаге, занимался изготовлением мебели. Заключенные мордовских женских лагерей работали на фабриках — часто на швейных машинах³³. В другом лагере для политических, находившемся близ Перми, работали опять-таки с древесиной. В одиночных камерах, куда часто стали сажать к 80-м годам, шили рукавицы и арестантскую одежду³⁴.

Со временем Марченко обнаружил, что условия жизни ухудшаются. В середине 60-х годов в лагерях было три режима — облегченный, общий и строгий. Соответственно, как минимум три категории заключенных. Очень скоро заключенным строгого режима (в их число входили все политические) снова запретили носить свою одежду и стали выдавать черные бумажные куртки. Хотя письма и бандероли с книгами, журналами, газетами (только советскими) можно было получать без ограничений, отправлять письма разрешалось два раза в месяц. На строгом режиме заключенный не мог получать с воли продукты и сигареты.

Марченко пришлось отбывать срок и по уголовной, и по политической статье, и его описания блатного мира звучат знакомо. По сравнению со сталинским периодом уголовная субкультура стала еще грубее и подлее. После войны между ворами и суками конца 40-х преступники разделились на большее число категорий. Евгений Федоров, бывший заключенный, получивший первый срок в 1967 году за грабеж, называет несколько “мастей”: не только “воры” и “суки”, но и “свойки” (начинающие воры) и “красные шапочки” (“воры-одиночки”) — возможно, “духовные” преемники послевоенных “красных шапочек”. Заключенные-“земляки” объединялись в “семьи” для самозащиты и прочего. “Семья”, по словам Федорова, решала, кого послать на убийство: “Допустим, попадает так, что у Рашида срок 12 лет, ну что ему добавят? — трешку. Рашид берет нож и идет убивает”.

Жестокая “культура” гомосексуального насилия и господства, о которой говорилось и в некоторых более ранних описаниях тюрем и колоний для несовершеннолетних, тоже играла теперь гораздо

большую роль в жизни уголовников. Неписанными правилами они подразделялись на две группы — тех, кто “шел за женщину”, и тех, кто исполнял роль мужчин. “Первых все презирали, вторые ходили в героях, хвастаясь своей мужской силой и своими “победами” не только друг перед другом, но даже и перед начальством”, — пишет Марченко³⁵. Начальство учитывало гомосексуальный фактор: в любой тюрьме, по словам Федорова, “есть камера, где педерасты, вся нечисть сидит”. Попасть в нее мог, в принципе, кто угодно: “Ну, проигрался в карты, и ты должен вместо женщины...”. В женских лагерях столь же широко было распространено лесбиянство, и порой оно было не менее свирепым. И. Ратушинская вспоминала, как одна заключенная отказалась пойти на свидание к приехавшему мужу и двухлетнему сыну. У нее была лагерная возлюбленная, и она смертельно боялась сцены ревности³⁶.

В 60-е годы в советских тюрьмах и лагерях вспыхнул туберкулез — это бедствие продолжается и сегодня. Федоров описывает положение так: “Если в бараке спят восемьдесят человек, из них человек пятнадцать тубиков. Их никто не лечил, там таблетки все были одинаковые, от головы, от ноги. Врачи там были как эсэсовцы, она с тобой не разговаривает, вообще не смотрит, ты никто”.

В довершение всего многие заключенные пристрастились к чифирю — чрезвычайно крепкому чаю, производящему наркотический эффект. Другие разными сложными способами добывали алкоголь. Те, кому разрешали работать вне лагеря, ухитрялись незаметно пронести спирт в зону: “Берется презерватив и соединяется герметично с тонкой пластиковой трубкой (кембриком). Затем расконвоированный все это хозяйство заглатывает, оставляя наружный конец кембрика во рту. Чтоб его не затянуло внутрь, он крепится в щели между зубами (зэки со всеми тридцатью двумя зубами вряд ли встречаются в природе). Через кембрик с помощью шприца в проглоченный презерватив закачивают эти самые три литра — и зэк идет в зону. Если соединение сделано неловко или презерватив вдруг порвется в зэксовском желудке — это верная и мучительная смерть. Тем не менее рискуют и носят — ведь из трех литров спирта получится семь литров водки! Когда герой является в зону, ожидающие его приятели начинают процесс выкачивания. Зэка подвешивают за ноги к балке в бараке, конец кембрика вынимают наружу и подставляют посудину, пока все не вытечет. Потом вытаскивают пустой презерватив — он свое отслужил. И весь барак гуляет...”³⁷.

По-прежнему распространено было членовредительство — оно даже приняло еще более зверские формы. В тюрьме Марченко видел, как двое заключенных “сломали от своих ложек черенки и проглотили; потом, смяв каблук черпачки, проглотили и их”. После этого они разбили стекло и глотали куски, пока не вмешались над-

зиратели³⁸. Эдуард Кузнецов, осужденный за попытку захвата самолета в аэропорту “Смольный” под Ленинградом, описал десятки способов самокалечения: “Я десятки раз был свидетелем самых фантастических самоистязаний. Килограммами глотают гвозди и колючую проволоку; заглатывают ртутные градусники, оловянные миски (предварительно раздробив их на “съедобные” куски), шахматы, домино, иголки, толченное стекло, ложки, ножи и... что угодно; заталкивают в уретру якорь; зашивают нитками или проволокой рот и глаза; пришивают к телу ряды пуговиц; прибивают к нарам мошонку <...> надрезают кожу на руках и ногах и снимают ее чулком; вырезают куски мяса (на животе или ноге), жарят их и поедают; напускают в миску кровь из вскрытой вены, крошат туда хлеб и съедают эту тюрю; обложившись бумагой, поджигают себя; отрезают пальцы рук, нос, уши, penis...”.

Заключенные, пишет Кузнецов, уродовали себя не столько из чувства протеста, сколько ради того, чтобы “попасть на больничку, где сестрички так лихо виляют бедрами, где дают больничный паек и не гоняют на работу, добиться получения наркотиков, диетпитания, посылки, свидания с заочницей и т. д. Более того: многие из этих страдальцев очень похожи на мазохистов, пребывающих в состоянии депрессии от кровопускания до кровопускания”³⁹.

Несомненно, сильно изменились со времен Сталина и отношения между уголовниками и политическими. Блатные по-прежнему иногда издевались над “политиками” и избивали их: украинскому диссиденту Валентину Морозу урки, сидевшие с ним в одной камере, не давали спать по ночам, а один из них ранил его в живот заостренным черенком ложки⁴⁰. Но нередко уголовники проявляли к политическим уважение за их сопротивление властям. Владимир Буковский пишет: “Просили рассказать, за что мы сидим, чего добиваемся, с любопытством читали мой приговор и только одному не могли поверить — что все это мы бесплатно делаем, не за деньги”⁴¹.

Некоторые уголовники даже стремились перейти в разряд политических, пусть даже с добавочным сроком: в политических лагерях, считали они, условия лучше. Для этого писались листовки против партии и Хрущева, полные матерных ругательств, или делался из тряпки американский флаг. В конце 70-х часто можно было встретить уголовников с татуировками на лбу, подбородке и щеках: “Раб КПСС”, “Большевики, хлеба!”, “Долой советский Бухенвальд!” и др.⁴².

Еще более глубокой была перемена в отношениях между политзаключенными нового поколения и начальством. В послесталинскую эпоху политические понимали, за что сидят, ожидали посадки и заранее знали, как будут вести себя в заключении. Они проявляли там организованное, демонстративное неповиновение. Еще в фев-

рале 1968 года группа заключенных Дубравлага, в которую входил Юлий Даниэль, начала голодовку, требуя облегчения лагерного режима, отмены принудительного труда, снятия ограничений на переписку и, подобно социалистам начала 20-х, признания за политзаключенными особого статуса⁴³.

Начальство шло на уступки, но потом постепенно отнимало у заключенных завоеванные права. Тем не менее требование политических держать их отдельно от уголовников в конце концов было выполнено, не в последнюю очередь потому, что лагерная администрация и сама увидела, что политических нового поколения с их постоянными требованиями и голодовками нужно держать как можно дальше от обычных заключенных.

Голодовки и забастовки стали настолько частым явлением, что с 1969 года в “Хронике текущих событий” сообщения о них составляют почти непрерывную цепь. В том году, например, заключенные протестовали против отмены прав, полученных годом раньше; против запрета на свидания; против помещения одного из них в барак усиленного режима; против запрета другому на получение посылки от родных; против перевода некоторых из лагеря в тюрьму. Забастовкой был отмечен и Международный день прав человека 10 декабря⁴⁴. Указанный год не был необычным по части протестов. Голодовки, забастовки и другие акты неповиновения были и в следующем десятилетии регулярным явлением как в мордовском, так и в пермском лагере.

Голодовки, которые иногда были короткими, однодневными, а иногда превращались в затяжную, мучительную борьбу с начальством, даже обросли нудной рутинной, которую описывает Марченко: “Первые дни никто на его голодовку внимания не обращает; через несколько дней — иногда через 10–12 — переводят в отдельную камеру к другим таким же и начинают кормить искусственно, через шланг. Сопротивляться бесполезно, все равно скрутят, наденут наручники. В лагере эта процедура продлевается еще более жестоко, чем в следственной тюрьме, два-три раза “накормят”, и без зубов можешь остаться”⁴⁵.

К середине 70-х некоторых из “худших” политических перевели из мордовского и пермского лагерей в специальные, хорошо охраняемые тюрьмы. Самой знаменитой из них была владимирская, известная еще с царских времен как Владимирский централ. Там политзаключенные почти постоянно были заняты борьбой с начальством. Игра была опасной и велась по сложным правилам. Заключенные старались “набирать очки”, добиваясь улучшения условий, о чем через самиздат становилось известно на Западе. Целью начальства было сломить волю заключенных, превратить их в стукачей, в своих пособников, а лучше всего — получить от них публичное отречение от

своих взглядов, которое можно было бы продемонстрировать внутри страны и за границей. Хотя методы, применявшиеся властями, в чем-то напоминали сталинские, главную роль в них играли уже не пытки как таковые, не физическое воздействие, а психологическое давление. Натан Щаранский, один из активнейших участников тюремных и лагерных протестов конца 70-х и начала 80-х, а ныне видный израильский политический деятель, пишет об этом так: “Тебя пригласят на беседу, угостят конфетами или яблоками, нальют чаю или кофе... «Ничто от вас не зависит? Наоборот: все в ваших руках, — объяснят тебе. — Можно, например, хорошо питаться. По высшей больничной норме и даже еще лучше! Вы любите мясо? Хорошее сухое вино? Не хотите ли сходить со мной как-нибудь в ресторан? Переоденем вас в штатское — и пойдем. Поймите: все эти нормы — для преступников. Если же мы, КГБ, видим, что вы встали на путь исправления, что вы нам готовы помочь... Что? Вы не хотите стучать на товарищей? Но что значит — стучать? И на каких товарищей? Ведь этот русский (еврей, украинец), который сидит с вами, — знаете, какой он националист? Как он ненавидит вас — евреев (русских, украинцев)? Тогда-то, он сказал тому-то... Кстати, у вас скоро свидание. Сколько вы не видели своих? Год? Да, а на вас тут есть еще рапорты: не встал после подъема, разговаривал после отбоя... Опять администрации придется лишить вас свидания. Может, поговорить с начальником?...»”⁴⁶

Как и раньше, начальство могло предоставлять льготы и отбирать их, могло наказывать заключенных (обычно карцером). Оно могло воздействовать на жизнь заключенного посредством небольших на первый взгляд, но существенных изменений, могло назначить ему в тюрьме общий или строгий режим — всякий раз, конечно, в полном соответствии с правилами. Марченко пишет: “Разница между этими режимами для человека, не испытывавшего их на себе, может показаться ничтожной, — для заключенного она огромна. На общем режиме есть радио, на строгом — нет; на строгом окно с нарудником — на общем нет; на общем прогулка по часу каждый день — на строгом полчаса в день, в воскресенье прогулки нет; на общем есть еще свидание раз в год — на тридцать минут”⁴⁷.

К концу 70-х годов количество норм питания возросло до восемнадцати (от 1-а до 9-б), по каждой полагалось определенное количество калорий (от 2200 до 900) и свой набор продуктов. Заключенным назначали одну или другую норму в зависимости от поведения. По норме 9-б питались в “сытые дни” в штрафных изоляторах. Официально она включала в себя 450 г хлеба, 10 г муки, 50 г крупы, 60 г рыбы, 6 г жира, по 200 г картофеля и капусты, 5 г томатной пасты. На практике из-за воровства заключенные не получали и этого⁴⁸.

Штрафной изолятор или карцер был, с точки зрения начальства, идеальным наказанием — наказанием вполне законным, которое

формально нельзя было назвать пыткой. Голод и тяжелые условия постепенно разрушали там здоровье людей, но поскольку прокладывать железные дороги через тундру уже не надо было, власти это не волновало. Штрафные изоляторы брежневских времен были вполне сравнимы со всем тем, что изобрели органы НКВД при Сталине. В документе Московской Хельсинкской группы за 1976 год подробно описаны карцеры Владимирской тюрьмы, которых в ней было около пятидесяти: “Стены покрыты цементной “шубой” — острыми выступами, буграми. Пол — грязный, сырой. <...> Часть стекла разбита, и окно заклеено обрывками газет. В других карцерах <...> окна вообще забиты, заложены кирпичом. Сидеть практически не на чем. Имеется специально оборудованный выступ стены: вертикальный полуцилиндр радиусом около 20–25 см, высотой около 50 см, сверху закрытый доской <...>, окованной по краям железом. <...> На ночь втаскивается топчан. <...> Можно лечь — на голые доски и железо. Но холод не дает спать. Часто невозможно даже лежать. <...> В некоторых [карцерах] оборудована вентиляция, которая втягивает вонь из канализации”⁴⁹.

Возможно, труднее всего людям, привыкшим к активной жизни, было переносить вынужденное безделье, которое описывает Юлий Даниэль:

За неделю неделя
Тает в дыме сигарет.
В этом странном заведеньи
Все как будто сон и бред.

<...>
Тут не гаснет свет ночами,
Тут не ярк свет дневной.
Тут молчанье, как начальник,
Утвердилось надо мной.
Задыхайся от безделья,
Колотись об стенку лбом —
За неделю неделя
Тает в дыме голубом⁵⁰.

Пребывание в штрафном изоляторе могло длиться сколь угодно долго. Формально там могли держать не более пятнадцати суток, но это правило было легко обойти: заключенного на день выпускали, а потом опять сажали. Марченко однажды продержали в карцере сорок восемь дней, “выпуская только для того, чтобы зачитать новое постановление о «водворении в штрафной изолятор»”⁵¹. В лагере Пермь-35 одного заключенного не выпускали из ШИЗО почти два месяца, прежде чем перевести в санчасть, другого продержали там сорок пять дней за то, что он отказался работать токарем, требуя, чтобы ему разрешили работать по специальности — слесарем⁵².

Многих отправляли в ШИЗО за еще менее значительные “проступки”: когда начальство хотело сломить чью-то волю, оно жестоко наказывало за мельчайшие нарушения режима. В 1973 и 1974 году в пермских лагерях два заключенных были лишены свиданий за то, что они “сидели на постели в дневное время”. Другого наказали за то, что на свидании ему передали банку варенья на спирту. Придирались по множеству поводов: “Почему медленно идешь?”, “Почему без носков?” и т. д.⁵³.

Иногда такое давление давало результат. Алексей Добровольский, которого судили вместе с Александром Гинзбургом, “сломался” очень быстро. Он обращался к властям с письменными заявлениями о том, чтобы ему разрешили выступить по радио и телевидению с рассказом о своей “преступной” диссидентской деятельности и тем самым предостеречь молодежь от подобных опасных ошибок⁵⁴. Петр Якир тоже поддался нажиму и “раскаялся” уже на суде⁵⁵.

Другие погибли. Юрий Галансков, тоже поделщик Гинзбурга, скончался в 1972-м в лагерной больнице. В заключении у него обострилась язвенная болезнь, от которой он не получал должного лечения⁵⁶. Марченко умер в 1986-м, возможно, от препаратов, которые ему давали во время голодовки⁵⁷. Еще несколько заключенных умерло (один покончил с собой) во время месячной голодовки в лагере Пермь-35 в 1974 году⁵⁸. В 1985-м в Перми скончался украинский поэт и правозащитник Василь Стус⁵⁹.

Но люди сражались. В 1977 году политзаключенные Пермь-35 так описали свою борьбу: “Мы часто голодаем. В карцерах, в этапных вагонах. В обыкновенные, ничем не знаменательные дни, в дни смерти наших товарищей. В дни чрезвычайных событий в зонах, 8 марта и 10 декабря, 1 августа и 8 мая, 5 сентября... мы слишком часто голодаем. Дипломаты, государственные деятели заключают новые соглашения о правах человека, о свободе информации, об отмене пыток... и мы голодаем, т. к. в СССР все это не выполняется”⁶⁰.

Благодаря усилиям диссидентов сведения об их движении все шире распространялись на Западе, и протесты звучали все громче. В результате власти взяли на вооружение новый способ воздействия на некоторых арестантов.

Хотя, как я уже отмечала, рассекречено мало архивных документов, относящихся к 70-м и 80-м годам, некоторые все же стали известны. В 1992 году Владимира Буковского пригласили в Россию из Великобритании, где он жил с 1976-го, когда его выслали из СССР в обмен на освобождение лидера чилийской компартии. Буковский должен был участвовать в качестве официального эксперта в слушаниях в Конституционном суде России по “делу КПСС” после того как компартия опротестовала решение президента Ельцина о ее за-

прете. Он явился в Конституционный суд с портативным компьютером и ручным сканером. Уверенный, что “таких вещей в России пока никто не видел”, он сидел посреди зала Конституционного суда и спокойно сканировал секретные документы на глазах у всех. Когда оставалось скопировать всего несколько страниц (“Ну как в кино!” — вспоминал позднее Буковский), один из членов политбюро сообразил, что происходит, и завопил: “Он же там все опубликует!”. Буковский сложил свой компьютер, тихо пошел к выходу, поехал в аэропорт и улетел⁶¹.

Благодаря Буковскому мы знаем, в частности, как проходило в 1967 году — сразу же после его ареста — заседание политбюро. В особенности поразило Буковского то, сколь многие из присутствующих чувствовали, что “привлечение к уголовной ответственности указанных лиц вызовет определенную реакцию внутри страны и за рубежом”. Ошибкой будет, заключили они, просто арестовать Буковского. Было решено поместить его в психиатрическую больницу⁶². Началась эпоха психушек.

Использование психиатрии против инакомыслящих имело в России свою предысторию. Русский философ Петр Чаадаев, который написал, в частности, что “Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов”, был по приказу царя Николая I, заявившего, что его сочинения являются “смесью дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного”, объявлен сумасшедшим и подвергнут домашнему аресту⁶³.

После “оттепели” власти СССР начали помещать диссидентов в психиатрические больницы. Эта практика имела для КГБ много преимуществ. Прежде всего, она способствовала дискредитации инакомыслящих как на Западе, так и внутри страны и ослаблению внимания к ним. Если эти люди — не серьезные политические противники режима, а всего-навсего душевнобольные, какие могут быть возражения против их госпитализации?

Советские психиатры приняли активное участие в фарсе. Для объяснения феномена диссидентства был изобретен термин “вялотекущая шизофрения”. Эта форма шизофрении, объясняли специалисты, не ослабляет интеллект и не влияет на внешнее поведение, но является причиной любой борьбы за переустройство советского общества. “Наиболее часто идеи “борьбы за правду и справедливость” формируются у личностей паранойяльной структуры”, — писали два профессора из Института имени Сербского. И далее: “Характерной чертой сверхценных идей является убежденность в своей правоте, охваченность отстаиванием “попранных” прав, значимость переживаний для личности больного. Судебное заседание они используют как трибуну для речей и обращений”⁶⁴.

Руководствуясь таким критерием, почти всех диссидентов можно было записать в сумасшедшие. Писателю и ученому Жоресу Медведеву поставили диагноз “вялотекущая шизофрения с паранойяльным реформаторским бредом”. У него нашли также “раздвоение личности”, связанное с тем, что он работал и как ученый, и как публицист. У первого редактора “Хроники текущих событий” Натальи Горбаневской обнаружили “изменение эмоционально-волевой сферы и недостаточную критику”. Ей тоже поставили диагноз “вялотекущая шизофрения”. Экспертиза психического состояния генерала Петра Григоренко, ставшего диссидентом, установила, что оно “характеризуется наличием идей реформаторства, в особенности в отношении реорганизации государственного аппарата; это сочетается с переоценкой собственной личности, принявшей масштабы мессианства”⁶⁵. В докладной записке УКГБ по Краснодарскому краю, направленной в ЦК КПСС, говорится: “Многие страдающие психическими заболеваниями пытаются создавать новые “партии”, различные организации, советы, готовят и распространяют проекты уставов, программных документов и законов”⁶⁶.

Людей, которых хотели признать психически больными, в зависимости от обстоятельств отправляли в разные учреждения. Некоторых обследовали в спецпсихбольницах МВД, других посылали в специальные отделения обычных психиатрических больниц. Особую роль в преследовании инакомыслящих играл Институт судебной психиатрии имени Сербского, 4-е отделение которого возглавлял в 60-е и 70-е годы профессор Даниил Лунц, занимавший высокое положение⁶⁷. Он лично обследовал Синявского, Буковского, Горбаневскую, Григоренко, Виктора Некипелова и многих других. “Недаром голубой его мундир украшают две генеральские звезды войск МВД”, — пишет Некипелов⁶⁸. Некоторые советские психиатры, эмигрировавшие на Запад, утверждали, что Лунц и другие врачи института были искренне убеждены, что их пациенты психически больны. Однако политзаключенные, которые имели с ним дело, в большинстве своем характеризуют его как оппортуниста, послушно исполнявшего задания руководства и ничем не отличавшегося от врачей-преступников, которые проводили бесчеловечные эксперименты над заключенными в нацистских концлагерях⁶⁹.

Арестантов, признанных психически больными и невменяемыми, держали в психиатрических больницах — одних несколько месяцев, других много лет. Пребывание в какой-либо из нескольких сотен обычных советских психбольниц считалось лучшим вариантом. Там царили теснота и антисанитария, среди персонала нередко встречались пьяницы и садисты, но эти пьяницы и садисты были людьми гражданскими, и режим в обычных больницах был в целом менее строгим, чем в тюрьмах и лагерях. Не было, в частности, та-

ких ограничений на переписку, и свидания разрешали не только с родственниками.

Однако “особо опасных” посылали в спецпсихбольницы МВД, которых было всего несколько. Врачи в них имели, как Лунц, звания МВД. Эти больницы выглядели как тюрьмы (караульные вышки, колючая проволока, охранники, собаки), и атмосфера в них была соответствующая. На фотографии, сделанной в Орловской спецпсихбольнице в 70-е годы, видны пациенты, гуляющие во внутреннем дворе, неотличимом от тюремного⁷⁰.

Как в обычных, так и специальных больницах врачи добивались от пациентов опять-таки отречения от своих убеждений⁷¹. Пациентов, соглашавшихся раскаться, признать, что на критику советского строя их толкнула болезнь, могли объявить излечившимися и выпустить на свободу. Тех же, кто упорствовал, принимались “лечить”. Поскольку советская психиатрия не признавала методов психоанализа, это делали в основном с помощью медикаментов, электрошока и различных видов физического обуздания. Сплошь и рядом применялись препараты, запрещенные на Западе еще в 30-е годы и вызывавшие повышение температуры тела до 40°C, сильную боль и дискомфорт. Людей пичкали транквилизаторами, которые вызывали много побочных явлений — физическую скованность, замедленность реакций, тик, произвольные движения, не говоря уже об апатии и безразличии⁷².

В числе других способов воздействия были прямое избиение, инъекции инсулина, вызывавшие у недиабетиков гипогликемический шок, и так называемая укрутка: “За какую-нибудь провинность заключенного туго заматывали с ног до подмышек мокрой, скрученной жгутом простыней или парусиновыми полосами. Высыхая, материя сжималась и вызывала страшную боль, жжение во всем теле. Обычно от этого скоро теряли сознание...”⁷³. В Институте имени Сербского, по свидетельству Некипелова, практиковали спинномозговую пункцию. Вернувшиеся после процедуры несколько часов неподвижно лежали на боку, “хребты их были густо вымазаны йодом”⁷⁴.

Пострадали многие. В 1977 году, когда Питер Реддауэй и Сидни Блох опубликовали свое обширное исследование злоупотреблений психиатрией в СССР, было известно по меньшей мере 365 случаев принудительного лечения здоровых людей от “политического” сумасшествия, и наверняка таких случаев были еще сотни⁷⁵.

Тем не менее, помещая диссидентов в психиатрические больницы, советский режим в конечном счете не добился, чего хотел. Самое главное — он не сумел отвлечь внимание Запада. Во-первых, ужасы советской психиатрии подействовали на воображение западных людей, пожалуй, куда сильнее, чем действовали более знако-

мые истории о лагерях и тюрьмах. Всякий, кто видел фильм “Полет над гнездом кукушки”, легко мог представить себе советскую психушку. Во-вторых, что еще более важно, сообщения о злоупотреблениях психиатрией побудили к действию четко очерченную, способную высказываться во всеулышание профессиональную группу — западных психиатров. С 1971 года, когда Буковский переправил на Запад более 150 страниц документов о карательной психиатрии в СССР, эту тему стали постоянно поднимать такие организации, как Всемирная ассоциация психиатров, британский Королевский колледж психиатров и другие национальные и международные ассоциации психиатров. Самые бескомпромиссные группы выступали с заявлениями, а те, что не выступали, подвергались осуждению за трусость и навлекали на СССР еще более острую критику⁷⁶.

И наконец, эта тема всколыхнула научную общественность Советского Союза. Когда в психиатрическую больницу отправили Жореса Медведева, многие советские ученые подписывали письма протеста в Академию Наук СССР. Физик-ядерщик Андрей Сахаров, который к концу 60-х стал моральным лидером диссидентского движения, во время международного научного симпозиума в Институте общей генетики написал на доске обращение в защиту Медведева. Солженицын адресовал советским властям открытое письмо протеста: “Пора бы разглядеть: захват свободомыслящих здоровых людей в сумасшедшие дома есть ДУХОВНОЕ УБИЙСТВО”⁷⁷.

Международное давление, вероятно, в какой-то мере подействовало на советское руководство, и оно отпустило часть узников, в том числе Медведева, который позднее уехал из страны. Но некоторые высшие руководители СССР считали, что реакция властей должна быть иной. В 1976 году Юрий Андропов, тогдашний председатель КГБ, составил секретную записку, где довольно точно (если отбросить язвительный тон и антисемитский душок) описывается международная “антисоветская кампания против «использования в СССР психиатрии в политических целях»”: “Последние данные свидетельствуют о том, что эта кампания носит характер тщательно спланированной антисоветской акции. <...> В настоящее время инициаторы кампании втягивают в нее международные и национальные организации психиатров, отдельных авторитетных ученых, создают специальные “комитеты” по контролю за деятельностью психиатров в различных странах и в первую очередь в СССР. <...> Активную роль в нагнетании антисоветских настроений играет Королевский колледж психиатров Великобритании, находящийся под влиянием просионистских элементов”⁷⁸.

Андропов подробно описывает “попытки втянуть в кампанию Всемирную ассоциацию психиатров” и обнаруживает весьма детальное знание того, на каких международных научных симпозиумах со-

ветская карательная психиатрия подверглась осуждению. В ответ на его записку Министерство здравоохранения предложило в связи с приближающимся съездом Всемирной ассоциации психиатров начать широкомасштабную пропагандистскую кампанию, подготовить документы, отвергающие обвинения, и выявить “прогрессивно настроенных признанных психиатров” западных стран, чьей поддержкой можно было бы заручиться. Этим психиатров (некоторые из них были названы поименно) предлагалось пригласить в СССР для чтения лекций⁹.

Итак, Андропов считал, что нужно не отказаться от карательной психиатрии, а нагло отрицать ее существование. Не в его правилах было признавать, что политика СССР в чем-то могла быть неверной.

Глава 27

80-е годы: дробятся монументы

*Дробится рваный цоколь монумента,
Взывает сталь отбойных молотков.
Крутой раствор особого цемента
Рассчитан был на тысячи веков.*

<...>

*Все, что на свете сделано руками,
Рукам под силу обратить на слом.
Но дело в том,
Что сам собою камень —
Он не бывает ни добром, ни злом.*

Александр Твардовский. Монумент

В 1982 году Юрий Андропов стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, и к тому времени его наступление на “антиобщественные элементы” страны шло полным ходом. В отличие от некоторых его предшественников, Андропов неизменно считал, что диссиденты, при всей их немногочисленности, представляют собой серьезную угрозу советской власти. В 1956-м, будучи послом СССР в Будапеште, он своими глазами видел, как быстро интеллектуальное движение может перерасти в народную революцию. Он полагал, кроме того, что все многообразные проблемы страны — политические, экономические, социальные — можно решить за счет усиления дисциплины. Нужны более жесткие тюрьмы и лагеря, более внимательный надзор, более активные меры подавления и устрашения¹.

Эти методы Андропов отстаивал еще в должности председателя КГБ, которую занимал с 1967 года, и эти методы он пытался использовать в короткий период своего пребывания на посту руководителя страны. Усилиями Андропова первая половина 80-х годов запомнилась как наиболее репрессивное время в советской истории после смерти Сталина. Можно подумать, система, прежде чем лопнуть, должна была дойти до точки кипения.

С конца 70-х годов андроповский КГБ произвел много арестов и повторных арестов. По указаниям председателя неуступчивым активистам нередко давали второй срок по отбытии первого, как в сталинские времена. Членство в какой-либо из Хельсинкских групп — диссидентских организаций, следивших за выполнением Советским Союзом Хельсинкских соглашений, — стало верной дорогой в тюрьму. За 1977–1979 годы было арестовано двадцать три члена Московской Хельсинкской группы, семеро были высланы за границу. Юрий Орлов, возглавлявший Московскую Хель-

синкскую группу, находился в лагере и ссылке всю первую половину 80-х годов².

Арест не был единственным оружием Андропова. В первую очередь он стремился отпугнуть людей от участия в диссидентском движении, и поэтому размах репрессий сильно увеличился. Даже те, кого всего-навсего подозревали в сочувствии движениям за гражданские права, за религиозную или национальную свободу, могли потерять очень многое. Подозреваемых и членов их семей могли лишить не только должности, но и профессионального статуса. Их детям могли закрыть доступ в университеты. Можно было остаться без телефона, возникали трудности с пропиской, ограничения на поездки за границу³.

К концу 70-х андроповские многоуровневые “дисциплинарные меры” привели к тому, что движение инакомыслящих внутри страны и те, кто поддерживал его за границей, разделились на небольшие, непримиримые и зачастую с недоверием относившиеся друг к другу группировки. Одну составляли правозащитники, за судьбой которых пристально следили “Международная амнистия” и подобные ей организации. Другую — диссиденты-баптисты, которых поддерживала международная баптистская церковь. Были различные национальные движения — украинское, литовское, латвийское, грузинское, — которым оказывали помощь соотечественники-эмигранты. Были турки-месхетинцы и крымские татары, депортированные при Сталине и добивавшиеся возвращения в родные места.

Возможно, самой заметной группой диссидентов, пользовавшейся поддержкой Запада, были отказники — советские евреи, которым власти отказали в выезде в Израиль. Ставшие широко известными благодаря принятой в 1975 году конгрессом США поправке Джексона — Вэника, которая связала торговый статус СССР по отношению к Соединенным Штатам с вопросом об эмиграции, отказники оставались предметом серьезной заботы Вашингтона до самого распада СССР. Осенью 1986-го на встрече с Горбачевым в Рейкьявике президент Рейган лично предъявил советскому руководителю список 1200 советских евреев, желающих выехать из страны⁴.

Все эти группировки, арестованных членов которых теперь держали отдельно от уголовников, были обильно представлены в советских лагерях и тюрьмах. Как политзаключенные прошлых лет, люди объединялись в сплоченные организации по национальному или идейному признаку⁵. К тому времени лагеря стали своеобразным средством установления связей, чуть ли не школой диссидентства, где политзаключенные могли находить себе единомышленников. Часто представители разных народов — литовцы, латыши, грузины, армяне — вместе отмечали национальные праздники друг друга и рассуждали о том, кто первый добьется независимости⁶. За-

вязывались отношения и между поколениями: прибалтийцы и украинцы получали возможность встретиться с националистами прежнего “призыва”, с антисоветскими партизанами, сидевшими еще с первых послевоенных лет, с теми, о ком Буковский писал: “Ведь жизнь их приостановилась, когда им было лет по двадцать. <...> По воскресеньям летом они выползали на солнышко с аккордеонами — играли мелодии, которых уже не помнят у них дома. Жуткое это было зрелище. Действительно, будто в загробное царство спустился”⁷.

Старшим зачастую трудно было понять младших. “Они все еще жили психологией 40-х годов — партизанской психологией. Уж если такой массе народа не удалось добиться освобождения с оружием в руках — то какой смысл писать бумажки?”⁸. Но старики все еще были способны воодушевлять молодых своим примером. Такие встречи способствовали формированию людей, которые во второй половине 80-х организовали национальные движения, внесшие вклад в распад Советского Союза. Вспоминая два года, проведенные в лагерях в начале десятилетия, грузинский активист Давид Бердзенишвили сказал мне, что таким, как он, гораздо труднее, чем сидеть, было бы служить в Советской Армии.

Упрочились не только личные связи, но и контакты с внешним миром. Это очень хорошо иллюстрирует “Хроника текущих событий” за 1979 год. Она содержит, помимо прочего, подробный датированный рассказ о жизни штрафников в лагере Пермь-36:

13 сентября. Жукаускас обнаружил в супе белого червяка.

26 сентября. Он же нашел у себя в миске темное насекомое 1,5 см длиной. Находка тут же была предъявлена к-ну Нелиповичу.

27 сентября. В камере № 6 (ПКТ) зафиксирована температура +12°C.

28 сентября. К-н Федоров обещал поднять температуру до +18°C.

29 сентября. Температура в камерах утром 12°C. Выданы вторые одеяла и ватные штаны. В комнатах дежурных надзирателей установлены обогреватели. Вечером в камерах +11°.

30 сентября. И днем, и вечером +11°.

1 октября. +11,5°.

2 октября. В камере № 6 (Жукаускас, Глузман, Мармус) установлен 500-ваттный обогреватель. И утром, и вечером +12°.

Жукаускасу предложили подписать акт, в котором продукция уменьшена в десять раз. Отказался.

<...>

10 октября. <...> Балахонов отказался добровольно прийти на заседание административной воспитательной комиссии. По приказу Никомарова его приволокли силой”.

И так далее⁹.

Власти были бессильны остановить утечку информации такого рода, они ничего не могли поделаться с западными радиостанциями, вещавшими на СССР. Об аресте Бердзенишвили в 1983-м через два-три часа уже говорили по Би-Би-Си¹⁰. Ратушинская и ее подруги по женскому лагерю в Мордовии послали Рейгану поздравление в связи с победой на президентских выборах в США, которое он получил через два дня. Кагэбэшники, весело пишет Ратушинская, были вне себя¹¹.

Самым здравомыслящим из наблюдателей, смотревших с Запада в советское зазеркалье, эти чудеса изобретательности представлялись чем-то бьющим мимо цели. В практическом плане Андропов казался им бесспорным победителем. Десятилетие давления, арестов и вынужденных отъездов за границу уменьшило и ослабило движение диссидентов¹². Голос наиболее известных из них в середине 80-х не был хорошо слышен: Солженицына давно уже отправили за границу, Сахаров находился во внутренней ссылке в Горьком. Сотрудники КГБ сидели у дверей Роя Медведева, следя за каждым его движением. Никто в СССР, казалось, не замечал борьбы диссидентов. Питер Реддауэй, который был в то время, вероятно, крупнейшим западным специалистом по советскому инакомыслию, писал в 1983 году, что диссидентские группы “почти не увеличили свою популярность среди основной массы рядовых людей, населяющих глубинные районы России”¹³.

Громили и надзиратели, злобные психиатры и сотрудники КГБ могли, казалось, спать спокойно. Но земля уже уходила у них из-под ног. Жесткий отказ Андропова мириться с инакомыслием оказался недолговечным. Он умер в 1984-м, и его политика умерла вместе с ним.

В марте 1985 года, когда на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев, личность нового советского лидера поначалу была загадкой как для иностранцев, так и для советских граждан. Вроде бы такой же гладкий и скользкий, как другие советские руководители, — но вместе с тем ощущались и намеки на отличия. В первое лето после его прихода к власти я встретилась с группой ленинградских отказников, у которых “наивность” Запада вызывала смех: как мы можем из того, что Горбачев якобы предпочитает водке виски, а его жена якобы любит западные наряды, делать вывод, что он более либерален, чем его предшественники?

Они ошиблись: он действительно был другим. Мало кто в то время знал, что Горбачев происходит из семьи “врагов народа”. Одного его деда, крестьянина, арестовали и отправили на лесоповал в 1934-м. Другого деда арестовали в 1937-м. На следствии его избивали, ему ломали руки, зажимая их дверью. Все это оказало на юного Михаила ог-

ромное воздействие. Позднее в мемуарах он писал: “Помню, как после ареста деда дом наш — как чумной — стали обходить стороной соседи, и только ночью, тайком, забегал кто-нибудь из близких. Даже соседские мальчишки избегали общения со мной. <...> Меня все это потрясло и сохранилось в памяти на всю жизнь”¹⁴.

Тем не менее скептицизм отказников имел под собой некоторые основания: первые месяцы правления Горбачева были разочаровывающими. Он развернул антиалкогольную кампанию, которая разозлила людей, нанесла ущерб старинным виноградникам Грузии и Молдавии и, возможно, даже спровоцировала экономический кризис, наступивший через несколько лет: некоторые считают, что именно уменьшение доходов от водки непоправимо нарушило хрупкое финансовое равновесие страны. Только после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года Горбачев отважился на подлинно реформы. Убеденный, что страна нуждается в открытом разговоре о ее трудностях, он выступил с идеей “гласности”.

Поначалу гласность, как и антиалкогольная кампания, была политической линией, в первую очередь связанной с экономикой. Горбачев, судя по всему, надеялся, что открытое обсуждение более чем реальных экономических, экологических и социальных проблем Советского Союза позволит принять быстрые решения, провести “перестройку”. Однако поразительно быстро гласность сфокусировалась на истории СССР.

Когда пытаешься говорить об общественных дискуссиях в Советском Союзе в конце 80-х, на ум постоянно приходят метафоры, связанные с потопом: словно прорвало какую-то плотину или дамбу. В январе 1987 года Горбачев сказал заинтригованным журналистам, что необходимо закрыть “белые пятна” в советской истории. К ноябрю перемены зашли так далеко, что Горбачев стал вторым советским партийным лидером, открыто заявившим о “белых пятнах” с трибуны: “Совершенно очевидно, что именно отсутствие должного уровня демократизации советского общества сделало возможным и культ личности, и нарушения законности, произвол и репрессии 30-х годов. Прямо говоря — настоящие преступления на почве злоупотребления властью. Массовым репрессиям подверглись многие тысячи членов партии и беспартийных. Такова, товарищи, горькая правда”¹⁵.

Горбачев был менее красноречив, чем Хрущев, но воздействие его слов на широкие слои общества было, пожалуй, сильнее. Ведь Хрущев выступал в узком партийном кругу, Горбачев же — по национальному телевидению.

Горбачев, кроме того, действовал в духе своих речей с гораздо большим энтузиазмом, чем Хрущев. Советская печать каждую неделю выступала с новыми открытиями и разоблачениями. Широкому

читателю наконец-то стали доступны Осип Мандельштам, Иосиф Бродский, “Реквием” Анны Ахматовой, “Доктор Живаго” Бориса Пастернака, даже “Лолита” Владимира Набокова. После некоторой борьбы “Новый мир”, которым руководил уже другой главный редактор, начал из номера в номер публиковать “Архипелаг ГУЛАГ” Солженицына¹⁶. “Один день Ивана Денисовича” вскоре разошелся в миллионах экземпляров; тираж различных воспоминаний о ГУЛАГе, ходивших до этого только в самиздате, а то и вовсе не имевших читателей, составлял сотни тысяч. Фамилии некоторых авторов были на слуху у всех: Евгения Гинзбург, Лев Разгон, Анатолий Жигулин, Варлам Шаламов, Дмитрий Лихачев, Анна Ларина.

Вновь пошла реабилитация. За 1964–1987 годы было реабилитировано всего двадцать четыре человека. Теперь, отчасти в ответ на спонтанные разоблачения прессы, процесс возобновился. На сей раз он затронул и тех, кого обошли во время “оттепели”. Одним из первых стал Бухарин, наряду с девятнадцатью другими партийными руководителями, осужденными в ходе показательных процессов. Теперь объявили, что их дела были сфальсифицированы¹⁷. Народу предстояло услышать правду.

Помимо художественной литературы, мемуаров и публицистики, появились разоблачительные публикации, основанные на архивных документах. Авторами публикаций были как переориентировавшиеся советские историки, так и историки нового поколения, создавшие общество “Мемориал”. Некоторые члены “Мемориала” много лет собирали устные и письменные рассказы о лагерях. Среди них был Арсений Рогинский, основатель журнала “Память”, который еще в 70-е годы начал выходить сначала в самиздате, а затем и за рубежом. Группа, образовавшаяся вокруг Рогинского, начала собирать базу данных о репрессированных. Позднее “Мемориал” возглавил борьбу за идентификацию тел в массовых захоронениях поблизости от Москвы и Ленинграда, а также за возведение памятников жертвам сталинизма. После недолгих попыток превратиться в политическое движение, завершившихся неудачей, “Мемориал” в 90-е годы стал самым авторитетным в России центром исследования советской истории и защиты прав человека. Рогинский остается главой “Мемориала” и одним из его ведущих историков. Исторические публикации “Мемориала” вскоре стали хорошо известны ученым России и всего мира благодаря их точности, соответствию фактам и аккуратному, продуманному использованию архивных материалов¹⁸.

Но, хотя характер общественных обсуждений менялся с головокружительной быстротой, ситуация была не такой простой, какой могла показаться со стороны. Даже когда Горбачев проводил реформы, которые вскоре привели к распаду СССР, даже когда в Герма-

нии и США пышно цвела “горбимания”, Горбачев, подобно Хрущеву, продолжал глубоко верить в советскую власть. Он никогда не посягал на основные принципы советского марксизма, не подвергал сомнению заслуг Ленина. Он стремился реформировать и модернизировать Советский Союз, а вовсе не разрушить его. Возможно, из-за горького семейного опыта он пришел к мысли, что необходимо сказать правду о прошлом. Но связи между прошлым и настоящим он, похоже, поначалу не понимал.

Поэтому публикация огромного количества материалов о сталинских лагерях, тюрьмах и массовых убийствах первое время не сопровождалась массовым освобождением диссидентов, которые все еще оставались в заключении. В конце 1986 года, хотя Горбачев уже готовился повести речь о ликвидации “белых пятен”, хотя “Мемориал” начал открыто агитировать за сооружение памятника жертвам репрессий, хотя остальной мир с волнением заговорил о новом советском руководстве, организация “Международная амнистия” знала имена шестисот узников совести, по-прежнему находившихся в советских лагерях, и подозревала, что на самом деле их гораздо больше¹⁹.

В их числе был Анатолий Марченко, который умер в декабре 1986-го в Чистопольской тюрьме во время голодовки²⁰. Его жена Лариса Богораз, приехав в тюрьму, увидела, что тело мужа охраняют трое вохровцев. Встретиться в тюрьме с кем-либо — с врачами, с другими заключенными, с начальством — ей не позволили. Чурбанов, единственный сотрудник тюремной администрации, который с ней общался, разговаривал с ней грубо. Он отказался сообщить причину смерти Марченко, выдать свидетельство о смерти, свидетельство о захоронении, историю болезни и даже его письма и дневники. С группой друзей и тремя вохровцами она проводила тело мужа до городского кладбища, где он и был похоронен²¹.

Хотя власти окружили смерть Марченко тайной, они, как позднее сказала Богораз, не смогли скрыть, что он погиб как борец. “Его борьба длилась двадцать пять лет, и он ни разу не поднимал белый флаг капитуляции”²².

Трагическая смерть Марченко не была напрасной. Горбачева, возможно, подстегнула поднявшаяся по всему миру волна возмущения (заявления Богораз стали очень широко известны), и в конце 1986 года он наконец решил отпустить на свободу всех советских политзаключенных.

В амнистии, навсегда покончившей с советскими лагерями и тюрьмами для политзаключенных, было много странного. Самое странное, однако, то, что она привлекла к себе очень мало внимания. Ведь, что ни говори, это был конец ГУЛАГа, конец системы

мест заключения, где в свое время содержались миллионы людей. Это был триумф правозащитного движения, на котором в течение предыдущих двух десятилетий было сосредоточено столько дипломатических усилий. Это был подлинно исторический переходный момент — и он остался почти незамеченным.

Иностранцы журналисты, работавшие в Москве, дали на эту тему несколько разрозненных материалов, но из тех, кто написал книги об эпохе Горбачева и Ельцина, почти никто даже не упомянул о конце политических лагерей. Даже лучшие из многих талантливых публицистов и журналистов, находившихся в Москве в конце 80-х, были всецело увлечены другими событиями того времени — неудачными попытками провести экономическую реформу, первыми свободными выборами, изменениями во внешней политике, концом советской империи в Восточной Европе, концом Советского Союза как такового²³.

Внимание жителей России было приковано к тем же событиям, и из них тоже мало кто заметил ликвидацию ГУЛАГа. Знаменитые в подпольном мире диссиденты вышли на свободу и увидели, что они больше не знамениты. Многие из них были уже немолоды и не могли идти в ногу с эпохой. По словам одного западного журналиста, работавшего в то время в России, они “сделали себе имя, находясь в четырех стенах, печатая петиции на древних пишущих машинках на своих дачах, бросая вызов советской власти в халате за чашкой немислимо сладкого чая. Они не были созданы для парламентских боев и теледебатов и выглядели совершенно сбитыми с толку тем, как резко переменилась страна за время их отсутствия”²⁴.

Из бывших диссидентов, оставшихся в сфере публичного внимания, большую часть в первую очередь волновала теперь отнюдь не судьба последних концлагерей СССР. Андрей Сахаров, в декабре 1986-го вернувшийся из ссылки и в 1989 году избранный делегатом Съезда народных депутатов, очень быстро начал агитировать за реформу собственности²⁵. Армянский политзаключенный Левон Тер-Петросян через два года после освобождения стал президентом своей страны. Многие украинцы и прибалтийцы, выйдя из пермского и мордовского лагерей, попали прямо в жаркую гущу своей национальной политики и стали всеми силами добиваться независимости²⁶.

КГБ, конечно, заметил ликвидацию своих политических тюрем и лагерей, но даже руководители этой организации, похоже, не вполне понимали значение события. Читая немногие доступные официальные документы второй половины 80-х, поражаешься тому, как мало изменился язык “органов” даже на этой стадии их существования. В феврале 1986 года председатель КГБ Виктор Чебриков гордо заявил на XXVII съезде КПСС, что КГБ разоблачил “ряд агентов империалистических разведок”. В последнее время, заявил

он, “определенные круги на Западе постоянно муссируют тему о мнимых нарушениях политических прав и свобод человека в Советском Союзе. <...> Все это рассчитано на то, чтобы подогреть антиобщественные устремления отдельных отщепенцев из числа советских граждан...”²⁷.

Позднее в том же году Чебриков направил в ЦК записку, которая начинается с утверждения, что в последние годы была пресечена подрывная деятельность “спецслужб империализма и связанных с ними враждебных элементов из числа советских граждан”. КГБ, по его словам, удалось “парализовать” деятельность Хельсинкских групп и других подобных организаций и даже добиться того, что за 1982–1986 годы более ста человек “отказались от продолжения противоправной деятельности и встали на путь исправления”. Отдельные из них (Чебриков назвал девять фамилий) “выступили по телевидению и в газетах с публичными заявлениями, разоблачающими спецслужбы Запада и бывших единомышленников”.

Тем не менее несколькими фразами ниже Чебриков признает, что положение дел меняется. Чтобы понять масштаб изменений, надо читать внимательно: “В нынешних условиях демократизации всех сторон общественной жизни, крепнущего единства партии и народа представляется возможность рассмотреть вопрос об освобождении в порядке помилования из мест лишения свободы и ссылки определенной части осужденных”²⁸.

Словом, диссиденты так слабы, что больше не могут принести вреда, и в любом случае, как Чебриков заявил несколько ранее на заседании политбюро, “чтобы быть уверенными, что указанные лица не будут продолжать заниматься враждебной деятельностью, за ними будет установлено наблюдение”²⁹. В отдельной записке он добавил, что, по данным КГБ, 96 диссидентов находятся на принудительном психиатрическом лечении. Те из них, доложил он, “кто по состоянию здоровья не представляет более общественной опасности, переводятся в психиатрические больницы общего типа или под наблюдение родственников”³⁰. ЦК КПСС пошел навстречу, и в феврале 1987 года было помиловано 200 человек, осужденных по статьям 70 и 190-1. Другие были освобождены несколькими месяцами позже в ознаменование тысячелетия крещения Руси. Из психиатрических больниц за последующие два года было выпущено более 2000 человек (как видим, гораздо больше, чем 96)³¹.

И даже тогда — возможно, в силу привычки, возможно, потому, что КГБ боялся уменьшения своего влияния вследствие уменьшения числа заключенных, — “органы” отпускали политических неохотно. Поскольку речь шла не об амнистии, а о помиловании, от политзаключенных, которых освобождали в 1986–1987 годы, требовали, чтобы они вначале подписали некое отречение от антисоветской де-

тельности. Большинству дали возможность изобрести свою формулировку и тем самым избежать прямого покаяния, скажем: “В связи с ухудшением здоровья заниматься антисоветской деятельностью временно не собираюсь”, или: “Никогда не занимался антисоветской деятельностью, считал и считаю себя антикоммунистом, занимался антикоммунистической деятельностью” (за антикоммунизм статьи не было). Диссидент Лев Тимофеев написал: “Прошу освободить меня от назначенного мне срока заключения. Не имею намерения наносить ущерб Советскому государству, как, впрочем, не имел такого намерения никогда прежде”³².

Однако от некоторых требовали, как встарь, отречения от своих убеждений или эмиграции³³. Одного украинского диссидента выпустили из заключения, но отправили в ссылку, где он должен был соблюдать комендантский час и раз в неделю отмечаться в милиции³⁴. Один грузинский диссидент отказался писать какое-либо заявление, и его заставили досидеть оставшиеся ему полгода³⁵. Другой заявил, что не совершил никакого преступления и просить помилования не намерен³⁶.

Симптоматична для того времени судьба украинца Богдана Климчака, осужденного за попытку покинуть СССР. В 1978 году, боясь быть арестованным за украинский национализм, он перешел через границу в Иран и попросил политического убежища. Иранцы отправили его обратно. В апреле 1990-го он все еще находился в пермском лагере для политических. Группа американских конгрессменов, посетив его там, обнаружила, что условия в Перми практически не изменились. Заключенные по-прежнему жаловались на чрезвычайный холод, их по-прежнему сажали в штрафной изолятор за такие провинности, как отказ застегнуть верхнюю пуговицу форменной рубашки³⁷.

Так или иначе, со скрипом и скрежетом, нехотя, репрессивная система наконец остановилась — как и система в целом. Пермские лагеря для политических были окончательно закрыты в феврале 1992-го, и к тому времени Советский Союз как таковой уже перестал существовать. Все бывшие советские республики превратились в независимые государства. Главами Армении, Украины и Литвы стали бывшие политзаключенные. Некоторые из этих стран возглавили бывшие коммунисты, чья вера в коммунистические идеалы разрушилась в 80-е годы, когда они впервые увидели свидетельства былого террора³⁸. КГБ и МВД были хоть и не распущены, но преобразованы. Бывшие сотрудники “органов” начали искать работу в частном секторе. Тюремщики поняли, куда дует ветер, и стали аккуратно внедряться в местные органы власти. Новый российский парламент в ноябре 1991 года принял “Декларацию прав и свобод человека и гражданина”, гарантирующую, помимо прочего, свободу пе-

редвижения, свободу вероисповедания и право расходиться во мнениях с правительством³⁹. Увы, новая Россия не стала образцом национальной, религиозной и политической терпимости — но это уже другая, особая тема.

Перемены шли с ошеломляющей быстротой, и никто, кажется, не был ошеломлен ими сильнее, чем человек, положивший начало распаду СССР. Ибо в этом в конечном счете состояло крупнейшее заблуждение Горбачева: Хрущев знал, Брежнев знал, а Горбачев, внук “врагов народа” и родоначальник “гласности”, не мог понять, что полное и честное обсуждение советского прошлого рано или поздно поставит под вопрос легитимность советского режима как такового. “Теперь мы яснее представляем себе цель, — сказал он в 1989 году в новогоднем обращении к народу. — <...> Эта цель — гуманный, демократический социализм, общество свободы и социальной справедливости”⁴⁰. Даже тогда он не способен был предвидеть, что “социализм” в советском варианте вскоре исчезнет с лица земли.

Он и годы спустя все еще не видел связи между разоблачительными публикациями эпохи “гласности” и крахом советского коммунизма. Горбачев не понимал простую вещь: как только была сказана правда о сталинском прошлом, невозможно стало поддерживать миф о советском величии. И с тем, и с другим было связано слишком много жестокости, слишком много крови, слишком много лжи.

Но если Горбачев не понимал свою страну, многие другие ее понимали. Двадцатью годами раньше Александр Твардовский, впервые опубликовавший Солженицына, выразил в стихах свое ощущение силы скрытого прошлого, ощущение способности ожившей памяти мощно воздействовать на систему:

И даром думают, что память
Не дорожит сама собой,
Что ряской времени затянет
Любую боль,
Любую боль;

<...>

Нет, все бывшие недомолвки
Домолвить ныне долг велит⁴¹.

Эпилог Память

А убийцы? Убийцы еще доживают.

Лев Разгон. Непридуманное

Ранней осенью 1998 года я плыла на теплоходе по Белому морю из Архангельска на Соловки. Это был последний рейс летнего сезона: с середины сентября, когда северные ночи становятся длинными, суда перестают ходить этим маршрутом. Море делается слишком беспокойным, вода слишком холодной для короткой развлекательной поездки.

Возможно, именно конец сезона добавил пассажирам живости, хотя не исключено, что их просто взбудорило плавание по открытому морю. Так или иначе, в корабельном ресторане было очень шумно и весело. Много тостов, много шуток, сердечные аплодисменты капитану. Мои соседи по столу — две супружеские пары средних лет с военно-морской базы — были явно настроены хорошо провести время.

В первую минуту мое присутствие послужило добавочным поводом для веселья. Не каждый день увидишь настоящую американку на старом теплоходе посреди Белого моря, и необычная встреча позабавила пассажиров. Они поинтересовались, зачем я выучила русский, что думаю о России, чем она отличается от Соединенных Штатов. Но когда я сказала им, чем занимаюсь в России, они стали менее приветливы. Американка, совершающая прогулочную поездку на Соловки ради красот природы и старинного монастыря, — это одно. Американка, посещающая Соловецкие острова, чтобы увидеть остатки концлагеря, — совсем другое.

Один из мужчин заговорил неприязненным тоном. “Почему вас, иностранцев, интересует только плохое в нашей истории? Зачем писать о ГУЛАГе? Почему вы не напишете о наших достижениях? Мы первые послали человека в космос!” Слово “мы” означало: “мы, советские люди”. Советский Союз перестал существовать семь лет назад, но он все еще идентифицировал себя как советский гражданин, а не как россиянин.

Его жена тоже стала на меня нападать. “ГУЛАГ — это дело прошлое, он больше не актуален, — заявила она. — У нас другие проблемы — безработица, преступность. Почему вы не пишете о наших реальных проблемах? Зачем ворошить то, что было давно?”

Пока длился этот неприятный разговор, другая пара молчала, и муж так и не выразил свое мнение о советском прошлом. Однако жена в какой-то момент меня поддержала. “Я понимаю, почему вы хотите знать о лагерях, — мягко сказала она. — Интересно знать, что было. Я бы хотела знать больше”.

Во время моих последующих поездок по России я много раз сталкивалась с этими четырьмя вариантами отношения к моей работе. “Это не ваше дело” и “Это не актуально” — реакции вполне обычные. Самая, пожалуй, распространенная реакция — молчание, отсутствие внятного суждения, пожатие плеч. Но встречались и такие, кто понимал, почему важно знать о прошлом, и хотел, чтобы легче было узнать больше.

Приложив некоторые усилия, в современной России можно узнать о прошлом очень много. Не все российские архивы закрыты, не все российские истории заняты другими делами. Сама эта книга — свидетельство обилия новой доступной информации. История ГУЛАГа стала предметом широкого общественного внимания в некоторых бывших советских республиках и бывших странах-сателлитах. В некоторых государствах, как правило, в тех, где люди отождествляют себя в первую очередь с жертвами террора, а не с теми, кто этот террор проводил, памятники и общественные дискуссии поистине занимают очень важное место. Литовцы превратили бывшее здание КГБ в Вильнюсе в музей жертв геноцида. Латыши в бывшем советском музее красных стрелков разместили музей оккупации Латвии.

В феврале 2002-го я была на открытии нового венгерского музея в здании, которое в 1940–1945 годы было штаб-квартирой венгерских фашистов, а в 1945–1956 годы — штаб-квартирой венгерской коммунистической тайной полиции. В первом музейном зале блок телеэкранов на одной стене изливал на посетителей фашистскую пропаганду, другой блок на другой стене — коммунистическую пропаганду. Эмоциональное воздействие было мгновенным и очень сильным, как и предусматривали строители, и остальная часть музея была под стать этому залу. Используя фотографии, звук, видео и лишь в очень ограниченной степени — слово, организаторы музея не скрывают его нацеленности в первую очередь на тех, кто слишком молод, чтобы помнить прежние режимы.

В Белоруссии, напротив, отсутствие памятника стало серьезным политическим вопросом: летом 2002 года президент-диктатор Александр Лукашенко в очередной раз заявил о своем намерении проложить шоссе через место недалеко от Минска, где в 1937-м произошли массовые убийства. Его заявление возмутило оппозицию и дало толчок к расширенной дискуссии о прошлом.

В России кое-где усилиями различных людей и организаций сооружены полуофициальные и частные памятники жертвам репрес-

сий. В здании “Московского Мемориала” находится архив устных и письменных воспоминаний и небольшой музей, где, помимо прочего, выставлена замечательная коллекция искусства заключенных. Выставки, посвященные сталинской эпохе, проводит и московский музей Андрея Сахарова. Поблизости от ряда крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Петрозаводска — местные отделения “Мемориала” и другие организации воздвигли монументы на местах массовых убийств и захоронений 1937–1938 годов.

Предпринимались и более крупные усилия. Кольцо угольных шахт вокруг Воркуты, у каждой из которых было свое лаготделение, уставлено крестами, статуями и другими памятниками. Их соорудили латыши, поляки и немцы в память о соотечественниках — жертвах воркутинских лагерей. В местном историческом музее Магадана истории ГУЛАГа посвящено несколько залов; в частности, демонстрируется лагерная караульная вышка. На холме над городом известный русский скульптор поставил памятник жертвам Колымы с символами разнообразных религий, которые они исповедовали. Помещение в стене Соловецкого монастыря, который весь превращен теперь в музей, содержит такие экспонаты, как письма заключенных, фотографии и архивные документы; снаружи в память о погибших на Соловках была посажена аллея. В центре Сыктывкара, столицы республики Коми, местные власти и городской “Мемориал” построили небольшую часовню. Внутри написаны фамилии некоторых заключенных, сознательно выбранные так, чтобы проиллюстрировать многонациональность ГУЛАГа, — литовские, корейские, еврейские, китайские, грузинские, испанские.

Странные, удивительные памятники были воздвигнуты порой в труднодоступных точках. Близ Ухты, бывлой столицы Ухтпечлага, на голом холме стоит железный крест, отмечающий место массового убийства заключенных. Чтобы его увидеть, мне пришлось проехать по почти непроходимой слякотной дороге, обойти стройплощадку и перебраться через железнодорожные пути. И все равно я была слишком далеко от креста, чтобы прочесть надпись. Тем не менее местные активисты, поставившие крест, сияли от гордости.

В нескольких часах езды на север от Петрозаводска в урочище Сандормох возник еще один местный мемориал. Хотя, возможно, в данном случае “мемориал” — не совсем точное слово. Несмотря на то, что здесь есть памятная доска и несколько каменных крестов, установленных поляками, немцами и другими, Сандормох, где в 1937-м были расстреляны заключенные с Соловецких островов, в том числе священник Павел Флоренский, запоминается прежде всего своими необычно трогательными крестами ручной работы и частными памятниками. Поскольку сведений о том, кто где похоронен, не сохранилось, каждая семья наугад выбрала ту или иную

массовую могилу. Родственники жертв приклеили их фотографии к деревянным столбам, кое-где вырезаны эпитафии. Среди хвойного леса, выросшего на месте расстрела, то и дело попадаются ленты, искусственные цветы и прочее погребальное убранство. Солнечным августовским днем, когда я там побывала (была годовщина убийства, и из Санкт-Петербурга приехала делегация), пожилая женщина произнесла речь о своих родителях, которых обоих здесь расстреляли, когда ей было семь лет. До той поры, когда она наконец смогла посетить их прах, прошла целая жизнь.

Другой крупный проект реализуется близ Перми. На месте лагпункта сталинских времен “Пермь-36”, ставшего в 70-е и 80-е одним из самых жестоких лагерей для политзаключенных, группа местных историков организовала полномасштабный музей — единственный в своем роде, поскольку он расположен в настоящих лагерных бараках. Своими силами историки восстановили бараки, забор, ограждение из колючей проволоки и прочее. Чтобы сэкономить средства, они, взяв старое лагерное оборудование, даже создали маленькое лесозаготовительное предприятие. От местных властей большой поддержки они не получили, но помогли с финансами западноевропейские и американские фонды. Активисты рассчитывают пойти дальше и восстановить двадцать пять строений; в четырех должен разместиться более крупный Музей репрессий.

Тем не менее в России, привыкшей к грандиозным военным мемориалам и пышным, торжественным государственным похоронам, эти локальные усилия и частные инициативы выглядят слабыми, разрозненными и недостаточными. Большинство граждан страны, вероятно, ничего о них не знает. И неудивительно: через десять лет после распада Советского Союза Россия, унаследовавшая его дипломатию и внешнюю политику, его посольства, его долги, его место в ООН, по-прежнему ведет себя так, словно она не унаследовала его историю. В России нет национального музея, посвященного истории репрессий. Нет в ней и национального места скорби, памятника, который отдавал бы официальную дань страданиям жертв ГУЛАГа и их семей. В 80-е годы на проект такого памятника объявлялись конкурсы, но этим дело и ограничилось. “Мемориал” добился лишь того, чтобы камень с Соловецких островов, где начался ГУЛАГ, был помещен на площади Дзержинского напротив здания Лубянки¹.

Еще более важен, чем дефицит памятников, дефицит общественного интереса. Иногда кажется, что сильнейшие эмоции и страсти, возбужденные широкими дискуссиями горбачевской эпохи, улетучились вместе с Советским Союзом. Столь же внезапно прекратились ожесточенные споры о необходимости отдать жертвам долг справедливости. Хотя в конце 80-х много говорили

о том, что надо привлечь людей, виновных в пытках и массовых убийствах, к ответственности, российские власти ничего подобного не предприняли даже в отношении тех, на кого имелись явные улики. В начале 90-х годов один из исполнителей катынского расстрела польских офицеров был еще жив, и сотрудники КГБ проинтервьюировали его, желая знать, как, с чисто технической точки зрения, происходили убийства. В порядке жеста доброй воли магнитофонная запись интервью была передана польскому атташе по культуре в Москве. Но никто никогда не высказывал мысль, что этого человека надо предать суду — в Москве, в Варшаве или где-либо еще.

Безусловно, суд — не всегда лучший способ разобраться с собственным прошлым. В первые годы после Второй мировой войны в Западной Германии было отдано под суд 85 000 бывших нацистов, но обвинительных приговоров тогда вынесли менее 7 000. О коррумпированности этих трибуналов было широко известно, и на них сильно влияли личные конфликты, зависть и тому подобное. Сам Нюрнбергский процесс, пример “правосудия победителей”, был отмечен странностями, не самой маленькой из которых было участие советских судей, прекрасно знавших, что их сторона тоже имеет отношение к массовым убийствам.

Но ведь, помимо суда, есть и другие способы дать публичную оценку конкретным преступлениям прошлых лет. Например, “комиссии правды”, подобные тем, которые создавали в Южной Африке, чтобы жертвы могли рассказывать свои истории в официальном, публичном месте и чтобы былые преступления становились предметом общественного обсуждения. Или парламентские расследования — такие как проведенное в Великобритании в 2002 года расследование североирландского “кровавого воскресенья” тридцатилетней давности. Есть правительственные расследования, правительственные комиссии, официальные извинения — но российское правительство никаких подобных шагов не предприняло. Помимо короткого и невнятного “суда” над КПСС, в России по существу не было ни публичных разбирательств, ни парламентских слушаний, ни официальных расследований какого-либо рода в отношении массовых убийств, репрессий и лагерей.

Результат таков: в Германии через полвека с лишним после окончания войны все еще регулярно возникают публичные дискуссии о компенсациях жертвам, о памятниках, о новых интерпретациях нацистской истории, даже о том, должно ли молодое поколение немцев по-прежнему нести бремя вины за преступления гитлеровского режима. В России же через полвека после смерти Сталина ничего похожего не происходит: память о прошлом не составляет живую часть общественного разговора.

Процесс реабилитации на протяжении 90-х годов продолжался, хотя и очень тихо. К концу 2001 года в России было реабилитировано около 4,5 миллионов политзаключенных, и, по оценке Комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, ей оставалось разобрать еще полмиллиона дел. Однако тех сотен тысяч, а возможно, и миллионов, что были репрессированы без суда, реабилитация, конечно, не коснется². Хотя в серьезности Комиссии и в ее намерениях сомневаться не приходится, хотя в нее, помимо чиновников, вошли бывшие заключенные, ни один из тех, кто с ней связан, не чувствует, что создавшие ее политические деятели были подлинно движимы желанием достичь, пользуясь словами британского историка Кэтрин Мерридейл, “правды и примирения”. Их целью скорее было положить конец дискуссиям о прошлом, успокоить репрессированных жалкими добавками к пенсии и бесплатными проездными билетами и избежать какого бы то ни было более глубокого исследования причин и наследия сталинизма.

Среди обстоятельств, способствующих этому общественному молчанию, есть вещи, скажем так, простительные. Большинство граждан России тратит все усилия на то, чтобы приспособиться к последствиям коренного изменения экономики и общества. Сталинская эпоха была давно, и после ее окончания произошло очень много событий. Посткоммунистическая Россия — это не послевоенная Германия, где память о зверствах была еще свежа в памяти людей. В начале XXI века события середины века XX многим кажутся древней историей.

Возможно, еще более существенно то, что, по мнению многих россиян, дискуссия о прошлом уже состоялась, и принесла она очень мало. Когда спрашиваешь людей старшего поколения, почему сегодня так редко говорят о ГУЛАГе, они отмахиваются: “В 90-е годы мы только об этом и говорили, а теперь хватит, сколько можно”. В довершение сложностей, в умах большого числа людей разговор о ГУЛАГе и сталинских репрессиях ассоциируется с “реформаторами-демократами”, с самого начала активно участвовавшими в обсуждении советского прошлого. Поскольку это поколение российских политических лидеров, как теперь считают, потерпело неудачу (их правление запомнилось коррупцией и неразберихой), многим заодно представляются сомнительными и любые рассуждения о ГУЛАГе.

Вопрос о необходимости помнить про политические репрессии и увековечить память жертв усложнен, как я уже писала в предисловии, тем, что Советский Союз перенес и другие трагедии — каждая со своими жертвами. “Добавочную путаницу, — пишет Кэтрин Мер-

ридейл, — вносит то, что очень многие люди пострадали не раз. Они на равных основаниях могут назвать себя ветеранами войны, жертвами репрессий, детьми репрессированных и даже перенесшими голод”³. Памятников погибшим на войне в России очень много, поэтому иные из русских, кажется, думают: разве этого не достаточно?

Но нынешняя глубокая тишина имеет и другие причины, менее извинительные. Для многих граждан России крах СССР был сильнейшим ударом по личной гордости. Может быть, чувствуют они, старая система и была дурна — но по крайней мере мы были сильны. И теперь, когда мы уже не сильны, нам не хочется слышать, что она была дурна. Слишком больно, как если бы плохо говорили об умершем.

Некоторые — до сих пор! — боятся того, что может обнаружиться, если копать слишком глубоко. В 1998 году Маша Гессен, американская журналистка русского происхождения, описала свои чувства, когда выяснилось, что одна из ее бабушек, милая пожилая еврейская дама, в свое время была цензором — правила репортажи иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. Другая ее бабушка, тоже милая пожилая еврейская дама, однажды пыталась поступить на работу в “органы”. Обе сделали такой выбор из-за безвыходности — не в силу убеждений. Теперь, пишет Маша Гессен, ей стало ясно, почему ее поколение не хочет слишком сурово осуждать поколение дедов и бабушек: “Мы ни о чем не допытывались, не разоблачали их, не судили <...> Каждый из нас, задавая такие вопросы, уже этим рисковал бы предать любимого человека”⁴.

Александр Яковлев, председатель Комиссии по реабилитации, выразился резче. “Общество потому равнодушно к преступлениям прошлых лет, — сказал он мне, — что очень многие в них участвовали”⁵. Советский режим вовлек миллионы и миллионы граждан в коллаборационизм и компромиссы, которые принимали самые разные формы. Многие сотрудничали с властью охотно, но нередко ужасные вещи приходилось делать и приличным людям. Они, их дети и их внуки иной раз не хотят припоминать это сегодня.

Но важнейшая причина этого отсутствия публичного обсуждения — не страхи младшего поколения, не комплекс неполноценности отцов и не их застарелая вина. Самое главное здесь — власть и престиж нынешних правителей не только России, но и большинства других бывших союзных республик и стран-сателлитов. В декабре 2001 года, в десятую годовщину распада Советского Союза, во главе тринадцати из пятнадцати постсоветских республик стоят бывшие коммунисты, как и во главе многих бывших стран советского блока, включая Польшу, сотни тысяч граждан которой в свое время были отправлены в советские лагеря и поселки для ссыльных. Даже там, где власть не принадлежит прямым идеологическим потомкам ком-

мунистической партии, бывшие коммунисты, их дети и сподвижники очень широко представлены в элитах бизнеса, интеллектуального мира и средств массовой информации. Президент России Владимир Путин — бывший агент КГБ, гордо именуемый себя чекистом. Ранее, находясь на посту премьер-министра, Путин в годовщину создания ВЧК демонстративно посетил здание КГБ на Лубянке и открыл там мемориальную доску в память Юрия Андропова⁶.

Засилье бывших коммунистов и замалчивание прошлого в посткоммунистическом мире связаны между собой. Говоря попросту, бывшие коммунисты, несомненно, заинтересованы в сокрытии прошлого: оно пятнает их, подрывает их престиж, ставит под вопрос их притязания на “реформаторство”, даже если они лично не замешаны ни в каких былых преступлениях. В Венгрии бывшая компартия, переименованная в социалистическую партию, яростно сражалась против открытия музея, посвященного жертвам террора. Придя в 2001 году к власти в Польше, бывшие коммунисты, теперь называющие себя социал-демократами, немедленно урезали бюджет польского Института национальной памяти, учрежденного их предшественниками-правоцентристами. Отсутствию в России национального памятника миллионам жертв давалось очень много объяснений, но самое короткое и емкое из них дал все тот же Александр Яковлев: “Памятник будет сооружен, когда мы — старшее поколение — все ляжем в могилу”.

Это серьезный фактор. Нежелание признавать и обсуждать историю коммунистического прошлого, нежелание раскатыться камнем висит на шее у многих народов посткоммунистической Европы. Слухи о содержимом неких старых “секретных папок” по-прежнему подрывают современную политическую жизнь: от них пострадали по крайней мере один польский и один венгерский премьер-министр. Дела, совершавшиеся в прошлом между “братскими коммунистическими партиями”, имеют значение для настоящего. Во многих местах аппарат тайной полиции — кадры, оборудование, здания — остался практически неизменным. Случайное обнаружение зарытых человеческих останков может вызвать вспышку полемики и вражды⁷.

В России груз прошлого ощущается сильнее, чем где бы то ни было. Россия унаследовала многие атрибуты советского режима, а вместе с ними — колоссальный комплекс власти, присущий СССР, его военную машину, его имперские устремления. Поэтому политические последствия слабой исторической памяти в России гораздо более тяжелы, чем в других посткоммунистических странах. Действуя от имени советской родины, Сталин депортировал в степи Казахстана весь чеченский народ, половина которого погибла, а другая половина должна была, по замыслу вождя, исчезнуть вместе с язы-

ком и культурой. Пятьдесят лет спустя мы увидели новый вариант трагедии: две войны, в ходе которых Российская Федерация стерла с лица земли главный город Чечни Грозный и уничтожила десятки тысяч проживавших в республике гражданских лиц. Если бы жители России и российская элита помнили — помнили эмоционально, нутром, — как Сталин поступил с чеченцами, то ни первое, ни второе вторжение в Чечню в 90-е годы были бы невозможны. Очень немногие из русских видят проблему в таком свете, что само по себе показывает, как мало они знают о своей истории.

Свои последствия — и для развития в России гражданского, правового общества. Скажу коротко: если подонки из прежнего режима остаются безнаказанными, о каком торжестве добра над злом можно говорить? Может быть, это звучит апокалиптически, но политический смысл здесь есть. Чтобы большинство людей соблюдало закон и порядок, полиция не обязательно ловить всех преступников до единого, но она должна ловить существенную их часть. Ничто так не поощряет беззаконие, как вид негодяев, живущих припеваючи, всю пользуясь привилегиями и смеющихся обществу в лицо. У сотрудников тайной полиции — квартиры, дачи, большие пенсии. Между тем пострадавшие от них по-прежнему бедны и находятся на обочине жизни. У большинства нынешних русских складывается представление, что чем больше ты в прошлом “прогибался”, тем ты был умнее. Сходным образом, чем больше ты лжешь и притворяешься сейчас, тем ты умнее.

В некоем глубинном смысле элементы идеологии ГУЛАГа в воззрениях новой элиты сохраняются. Однажды у моих московских друзей я участвовала в классическом российском разговоре за кухонным столом далеко за полночь. В какой-то момент (было уже очень поздно) два преуспевающих предпринимателя принялись рассуждать: до чего все-таки глуп и легковверен русский народ! И насколько *мы* превосходим его интеллектом! Сталинисткое деление людей на категории, на всеильную элиту и презренных “врагов народа” продолжает жить в высокомерном отношении нынешней российской элиты к согражданам. Если эта элита в ближайшее время не осознает ценность и значение всех жителей России, не научится уважать их гражданские и человеческие права, страна рискует превратиться в некий северный Заир, населенный, с одной стороны, нищими, с другой — политиками-миллиардерами, чьи богатства хранятся в швейцарских банках, чьи частные самолеты стоят на взлетной полосе с работающими моторами.

Отсутствие интереса к прошлому лишает россиян не только перечня жертв, но и перечня героев. И это трагично. Имена тех, кто, пусть и с малой долей успеха, противостоял сталинизму, — студентов, как Сусанна Печуро, Виктор Булгаков и Анатолий Жигулин;

предводителей лагерных восстаний и забастовок; диссидентов, подобных Сахарову, Буковскому и Орлову, — гражданам России следовало бы знать так же хорошо, как знают в Германии имена участников заговора против Гитлера. Невероятно богатую русскую лагерную литературу — воспоминания тех, чья человечность восторжествовала над ужасами советских концлагерей, — следовало бы больше читать, лучше знать, чаще цитировать. Если бы школьники больше знали об этих героях и прочли написанное ими, они нашли бы, чем гордиться даже в советском прошлом, помимо имперских и военных триумфов.

Нежелание помнить имеет и более приземленные, практические последствия. Возникает, к примеру, мысль, что дефицитом памяти объясняется, в частности, нечувствительность России к определенным видам цензуры и к продолжающемуся засилью тайной полиции, переименованной в Федеральную службу безопасности (ФСБ). В большинстве своем русские не слишком озабочены тем, что ФСБ прослушивает телефонные разговоры, входит в частные квартиры без судебного ордера. Не слишком их интересует, к примеру, и длительное судебное преследование Федеральной службой безопасности Александра Никитина — эколога, писавшего о вреде, причиняемом Балтийскому морю российским Северным флотом⁸.

Нечувствительностью к прошлому во многом объясняется и отсутствие судебной и тюремной реформ. В 1998 году я побывала в центральной тюрьме Архангельска. Через Архангельск — в прошлом один из главных городов ГУЛАГа — проходили пути на Соловки, в Котлас, в Каргопольлаг и в другие северные лагерные комплексы. Городская тюрьма, построенная еще до сталинской эпохи, казалось, совсем не изменилась с той поры. Я вошла в нее с Галиной Дудиной, которая занимается тем, чем почти никто не занимается в постсоветской России, — защищает права заключенных. Когда мы в сопровождении молчаливого надзирателя двинулись в глубь этого кирпичного здания, мне почудилось, что мы вступаем в прошлое.

Коридоры были узкие и темные, стены сырые, склизкие. Когда надзиратель открыл дверь в мужскую камеру, мой взгляд упал на голые, покрытые татуировками тела, растянувшиеся на койках. Увидев, что мужчины раздеты, надзиратель быстро закрыл дверь и дал им время привести себя в порядок. Когда он снова ее открыл, я вошла и увидела примерно двадцать мужчин, стоящих в ряд и не слишком довольных тем, что им помешали. На вопросы, которые задавала им Галина, они отвечали нехотя, односложно и большей частью смотрели в цементный пол камеры. До нашего прихода они, судя по всему, играли в карты. Надзиратель быстро увел нас отсюда.

В женской камере мы провели больше времени. В углу ее стоял унитаза. Во всем остальном картина в точности соответствовала тю-

ремным воспоминаниям 30-х годов. На протянутой под потолком веревке сушилось женское белье. Было очень жарко и душно, сильно пахло потом, дурной пищей, сыростью и человеческими выделениями. Женщины, тоже полуодетые, сидели на своих койках и извергали на надзирателя потоки брани, требований и жалоб. Полное впечатление, будто я попала в камеру, в которую в 1938-м вошла Ольга Адамова-Слиозберг. Вновь приведу ее описание: "...сводчатые стены в подтеках, по обе стороны узкого прохода сплошные нары, забитые телами; на веревках сушились какие-то тряпки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кричал, кто-то плакал в голос"

Рядом, в камере для несовершеннолетних, заключенных было меньше, но лица были печальней. Галина подала платок рыдающей пятнадцатилетней девушке, которую обвинили в краже на сумму, эквивалентную десяти долларам. "Ну-ну, не грусти, — сказала Галина. — Учи свою алгебру и скоро отсюда выйдешь". На самом деле она вовсе не была в этом уверена: Галина встречала многих людей, сидевших в ожидании суда месяцами, а эта девушка провела в тюрьме только неделю.

Потом мы говорили с начальником тюрьмы. Мы спросили его о девушке в камере для несовершеннолетних, о заключенном, который давно уже получил смертный приговор, но утверждает, что невиновен, о плохом воздухе, об антисанитарии. В ответ он пожал плечами: все упирается в деньги. Надзирателям мало платят. Счета за электричество растут и растут — вот почему в коридорах темно. Нет денег на ремонт, нет денег на прокуроров, на судей, на судебные процессы. Люди, объяснил он, просто сидят и ждут своей очереди.

Меня не убедили его слова. Деньги, конечно, проблема, но дело к ним не сводится. Если российская тюрьма выглядит как сцена из воспоминаний Адамовой-Слиозберг, то одна из причин в том, что советское наследие не давит на совесть тех, кто руководит российским правосудием и исполнением наказаний. Прошлое не висит над российской тайной полицией, российскими судьями, российскими политическими деятелями, российской деловой элитой.

Мало, очень мало людей в нынешней России воспринимает прошлое как бремя и как обязательство. Прошлое — дурной сон, который хочется забыть, или нашептанные слухи, на которые не хочется обращать внимания. Как огромный неоткрытый ящик Пандоры, оно ждет следующих поколений.

То, что мы на Западе не оценили сполна значение произошедшего в Советском Союзе и Центральной Европе, не влечет, разумеется, таких глубоких последствий для нашего образа жизни, какие эти события имели там. Терпимость к отдельным нашим университет-

ским профессорам, "отрицающим ГУЛАГ", не разрушит нравственную ткань западного общества. Холодная война, так или иначе, окончена, у коммунистических партий Запада не осталось никаких реальных интеллектуальных и политических сил.

Тем не менее, если мы не постараемся помнить прошлое лучше, будут последствия и для нас, и происходящее на постсоветском пространстве по-прежнему будет искажаться нашими неверными представлениями об истории. Распад СССР, к сожалению, не вызвал такой же мобилизации западных сил, как окончание Второй мировой войны. Когда нацистская Германия наконец пала, другие страны Запада создали НАТО и Европейское сообщество — отчасти для того, чтобы не дать Германии опять отклониться от цивилизованной "нормальности". Напротив, сейчас Запад только после 11 сентября 2001 года начал серьезно переоценивать свою политику безопасности после холодной войны, причем по совершенно другим мотивам, нежели необходимость вернуть Россию в лоно западной цивилизации.

Но в конечном счете последствия для внешней политики — не самые важные. Ибо если мы не будем помнить про ГУЛАГ, нам рано или поздно трудно станет понимать нашу собственную историю. Почему мы вели холодную войну? Потому что сумасшедшие правые политиканы, стакнувшись с военно-промышленным комплексом и ЦРУ, изобрели всю эту историю и заставили два поколения американцев и западноевропейцев плясать под свою дудку? Или все-таки речь шла о чем-то более важном? Путаницы в умах достаточно. В 2002 году автор статьи в консервативном британском журнале "Спектейтор" высказал мнение, что холодная война была "одним из самых необязательных конфликтов всех времен"¹⁰. Американский писатель Гор Видал назвал сражения холодной войны "сорока годами бессмысленных войн, из-за которых образовался долг в пять триллионов долларов"¹¹.

Мы уже забываем, что нас воодушевляло, что так долго спланивало западную цивилизацию; мы уже забываем, против чего мы боролись. Если мы не будем стараться лучше помнить историю другой половины европейского континента, историю другого тоталитарного режима XX века, в конце концов мы, западные люди, перестанем понимать, как наш мир стал таким, каков он есть.

Речь идет не только о прошлом наших собственных стран. Ибо если мы по-прежнему будем отмахиваться от половины европейской истории, исказится наше представление о человечестве в целом. Каждая массовая трагедия XX века была уникальной: ГУЛАГ, холокост, армянская резня, нанкинская резня, китайская "культурная революция", камбоджийская революция, боснийские войны и многое другое. Каждое из этих событий имеет свои исторические,

философские и культурные причины, каждое произошло в особых местных обстоятельствах, которые никогда не повторяются. Лишь наша способность обращаться с людьми не как с людьми, унижать их и убивать будет проявляться снова и снова. Если мы будем по-прежнему представлять себе наших соседей “врагами”, наших оппонентов — “сорняками”, относиться к жертвам как к зловредным существам низшего порядка, заслуживающим только лишения свободы, изгнания или смерти.

Чем ясней мы видим, как люди в различных обществах превращали соседей и сограждан в “объекты”, чем точнее знаем специфические обстоятельства, которые привели к каждому из периодов массовых пыток и убийств, тем лучше мы будем понимать темную сторону нашей человеческой натуры. Эта книга написана не для того, “чтобы такое больше не повторилось”, если воспользоваться расхожим выражением. Эта книга написана потому, что такое почти наверняка повторится. Тоталитарные идеи были и будут чрезвычайно привлекательны для многих миллионов людей. Уничтожение “объективных врагов”, о которых писала Ханна Арендт, остается целью многих диктаторских режимов. Мы должны знать, *почему*, — и каждый рассказ, каждый мемуары, каждый документ, относящийся к истории ГУЛАГа, — это часть объяснения, деталь головоломки. Иначе мы проснемся однажды утром и увидим, что не знаем, кто мы такие.

Приложение Сколько?

Хотя концлагеря в СССР исчислялись тысячами, а прошедшие через них люди — миллионами, на протяжении десятилетий точное количество жертв было известно лишь горстке чиновников. Поэтому в годы советской власти, пытаясь оценить число пострадавших, можно было только строить догадки. Сейчас об этом тоже строят догадки, но уже с привлечением некоторых архивных данных.

В период чистых догадок, начиная с 50-х годов, споры на Западе по поводу статистики репрессий, как и более общие споры об истории Советского Союза, были окрашены политическими противоречиями холодной войны. Не имея доступа к архивам, историки основывались на воспоминаниях бывших заключенных, показаниях перебежчиков, цифрах переписей населения, данных экономической статистики и даже на мелких деталях, тем или иным образом ставших известными за границей, например на количестве газет, которые были распределены среди заключенных в 1931 году¹. Те, кто относился к Советскому Союзу плохо, выдвигали более высокие оценки числа жертв. Те, кому не нравилась позиция Америки и Запада в целом в холодной войне, — более низкие. Разница в цифрах была сумасшедшая. В первой в своем роде книге о сталинских чистках “Большой террор” (1968 г.) историк Роберт Конквест писал, что в 1937–1938 годы органы НКВД арестовали семь миллионов человек². В “ревизионистской” работе “Origins of the Purges” (1985 г.) историк Дж. Арч Гетти пишет лишь о “тысячах” арестов в течение тех же самых двух лет³.

Открытие советских архивов не принесло, как выяснилось, полной победы ни тому ни другому направлению. Первые ставшие известными цифры, касающиеся числа заключенных ГУЛАГа, лежали, казалось, в точности посередине между верхней и нижней оценками. Согласно документам НКВД, опубликованным ныне во многих изданиях, количество заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа с 1930 по 1953 год на 1 января каждого года было следующим:

Год	Кол-во заключ. (чел.)	Год	Кол-во заключ. (чел.)
1930	179 000	1942	1 777 043
1931	212 000	1943	1 484 182
1932	268 700	1944	1 179 819
1933	334 300	1945	1 460 677
1934	510 307	1946	1 703 095
1935	965 742	1947	1 721 543
1936	1 296 494	1948	2 199 535
1937	1 196 369	1949	2 356 685
1938	1 881 570	1950	2 561 351
1939	1 672 438	1951	2 525 146
1940	1 659 992	1952	2 504 514
1941	1 929 729	1953	2 468 524 ⁴

Эти цифры, надо признать, соответствуют некоторым другим данным, полученным из разных источников. Число заключенных резко возросло во второй половине 30-х, когда усилились репрессии. Оно несколько уменьшилось во время войны в результате амнистий. Оно пошло вверх в 1948-м, когда Сталин начал новый виток террора. Помимо всего этого, большинство специалистов, работавших в архивах, сходятся в том, что цифры основаны на подлинной компиляции данных, которые НКВД получал из лагерей. Они согласуются с данными других советских правительственных ведомств, в частности Наркомфина⁵. Тем не менее они отражают не всю правду.

Во-первых, цифра за конкретный год может ввести в заблуждение, потому что она маскирует очень высокий оборот людей в лагерной системе. К примеру, за 1943 год, согласно архивам, через ГУЛАГ прошло 2 421 000 заключенных, хотя данные на начало и конец года показывают снижение общего числа с 1,5 до 1,2 миллиона. Это число включает в себя перемещения внутри системы и указывает на огромную интенсивность движения заключенных, не отраженного в общих цифрах⁶. Сходным образом, во время войны из лагерей в Красную Армию был переведен почти миллион заключенных, что не очень сильно сказалось на общей статистике, потому что арестов в военные годы тоже было много. Другой пример: в 1947 году в лагеря поступило 1 490 959 человек, выбыло 1 012 967. Эта колоссальная “ротация” тоже не отражена в таблице⁷.

Заключенные выбывали в случае смерти, побега, окончания срока, зачисления в Красную Армию, перевода на административную должность. Как я уже писала, часто объявлялись амнистии для стариков, больных и беременных женщин, но за амнистией неизменно следовала новая волна арестов. Это постоянное, массовое движение заключенных — причина того, что цифры на самом деле гораздо выше, чем может показаться: к 1940 году через лагеря прошло восемь миллионов человек⁸. Используя имеющуюся статистику поступления и выбытия заключенных и сопоставляя различные источники, автор единственного исчерпывающего расчета, какой я видела, оценивает число советских граждан, прошедших через лагеря и колонии в 1929–1953 годах в восемнадцать миллионов. Эта цифра согласуется с другими данными, которые обнародовали в 90-е годы высокопоставленные сотрудники российских органов безопасности. Согласно одному источнику, сам Хрущев говорил о семнадцати миллионах человек, прошедших через лагеря принудительного труда в 1937–1953 годах⁹.

Но, если копнуть глубже, и эта цифра обманчива. Как читателю этой книги уже известно, не все, кого советская система обрекала на принудительный труд, отбывали срок в концлагерях, подведомственных ГУЛАГу. Во-первых, приведенные выше цифры не включают сотни тысяч людей, приговоренных к “принудительному труду без лишения свободы” за производственные правонарушения. Что еще более важно, было еще по меньшей мере три многочисленных категории подневольных тружеников: военнопленные, обитатели послевоенных проверочно-фильтрационных лагерей и, самое главное, спецпереселенцы — вначале “кулаки”, затем поляки, прибалтийцы и прочие, депортированные в 1939–1940 годы, и наконец кавказцы, татары, немцы Поволжья и представители других народов, депортированные во время войны.

Численность первых двух групп оценить довольно легко. Из нескольких надежных источников нам известно, что военнопленных было более четырех миллионов¹⁰. Мы знаем также, что с 27 декабря 1941 года по 1 октября 1944-го в фильтрационные лагеря НКВД поступило 421 199 человек и что 10 мая 1945 года в них еще находилось более 160 000 человек, занятых принудительным трудом. В январе 1946 года НКВД ликвидировал эти лагеря и репатриировал в СССР еще 228 000 человек для дальнейшей проверки¹¹. Правдоподобной поэтому выглядит общая цифра 700 000 или около того.

Спецпереселенцев подсчитать труднее — хотя бы потому, что было очень много разных категорий ссыльных, посылавшихся в

разные места в разное время и по разным причинам. В 20-е годы многих тогдашних оппонентов большевизма — меньшевиков, эсеров и прочих — ссылали административным порядком. Это означало, что формально они не имели отношения к ГУЛАГу, но репрессиям они, безусловно, подвергались. В начале 30-х годов власти сослали 2,1 миллиона “кулаков”, но неизвестное их количество (наверняка сотни тысяч) было изгнано не в Казахстан и не в Сибирь, а в другие местности тех же районов страны или на неплодородные земли колхозов, куда зачисляли их односельчан. Поскольку многие, судя по всему, оттуда бежали, трудно сказать, включать этих людей в общую цифру или нет. Гораздо понятнее положение национальных групп, отправленных в “спецпоселки” во время или сразу после войны. Не вызывают вопросов и отдельные специфические группы, которые, правда, легко упустить из виду, например 17 000 “бывших людей”, высланных из Ленинграда после убийства Кирова. Еще были советские немцы, которых физически никуда не перемещали, просто их поселки в Сибири и Центральной Азии превратили в “спецпоселки”, так что ГУЛАГ, можно сказать, пришел к ним домой. Еще были дети, родившиеся у ссыльных, — этих детей, безусловно, тоже следует считать ссыльными.

В результате у разных специалистов, пытавшихся сопоставить и свести воедино различные опубликованные статистические данные обо всех этих группах, получались несколько различные цифры. В книге “Не по своей воле”, опубликованной “Мемориалом” в 2001 году, историк Павел Полян, сложив численность всех категорий спецпереселенцев, получил итог: 6 015 000¹². Однако Отто Поль, исследовав архивные публикации, называет другую цифру: семь с небольшим миллионов спецпереселенцев с 1930 по 1948 год¹³. По его данным, количество жителей “спецпоселков” в послевоенные годы менялось так:

<i>Период</i>	<i>Кол-во “спецпоселенцев”</i>
Октябрь 1945 г.	2 230 500
Октябрь 1946 г.	2 463 940
Октябрь 1948 г.	2 104 571
1 января 1949 г.	2 300 223
1 января 1953 г.	2 753 356 ¹⁴

Тем не менее, считая, что низшая оценка удовлетворит самых придирчивых, я беру цифру Поляна: шесть миллионов ссыльных.

Складывая все воедино, получаем общее число прошедших через систему принудительного труда в СССР: 28,7 миллиона человек.

Я, конечно, понимаю, что всех эта цифра не удовлетворит. Некоторые скажут, что не всякого арестованного или высланного можно считать “жертвой”, поскольку среди них были и преступники, в том числе военные преступники. Но хотя действительно миллионы людей были осуждены по уголовным статьям, я не верю, что сколько-нибудь значительную часть от общего числа составляли преступники в каком-либо нормальном смысле слова. Женщина, собравшая на сжатом поле несколько колосков, — не преступница, мужчина, три раза опоздавший на работу, — не преступник (отец генерала Александра Лебеда получил лагерный срок именно за это). И, если уж на то пошло, военнопленный, которого через много лет после окончания войны все еще держат в лагере принудительного труда, — не военнопленный в сколько-нибудь законном смысле слова. По каким угодно подсчетам настоящие профессиональные преступники составляли в любом лагере ничтожное меньшинство, и поэтому я считаю возможным не корректировать приведенные цифры.

Кое-кого, однако, результат не удовлетворит по другим причинам. Есть вопрос, который, пока я писала эту книгу, мне, разумеется, задавали множество раз: из этих 28,7 миллионов — сколько погибло?

И опять дать ответ непросто. Ни по ГУЛАГу, ни по ссыльным вполне удовлетворительной статистики смертей на данный момент не существует¹⁵. Может быть, в ближайшие годы появятся более надежные данные — во всяком случае, один бывший сотрудник МВД лично взял на себя труд аккуратно просмотреть все архивные материалы, лагерь за лагерем и год за годом, и постараться определить достоверные цифры. Руководствуясь, возможно, несколькими иными мотивами, общество “Мемориал”, уже выпустившее первый надежный справочник по системе исправительно-трудовых лагерей, тоже взялось за подсчет жертв репрессий.

Пока идет эта работа, приходится довольствоваться тем, что мы имеем, — годичными сведениями о смертности в ГУЛАГе, взятыми из архивных дел Отдела учета и распределения заключенных. В эти цифры, по-видимому, не входят случаи смерти в тюрьме или на этапе. Они даются на основании сводных документов НКВД, а не на основании данных по отдельным лагерям. К спецпереселенцам они не имеют отношения вообще. И все же я, хоть и неохотно, приведу их здесь:

Количество умерших заключенных (чел.).
В скобках — в % от общего кол-ва заключенных

1930	7 980 (4,2%)	1942	352 560 (24,9%)
1931	7 283 (2,9%)	1943	267 826 (22,4%)
1932	13 197 (4,81%)	1944	114 481 (9,2%)
1933	67 297 (15,3%)	1945	81 917 (5,95%)
1934	25 187 (4,28%)	1946	30 715 (2,2%)
1935	31 636 (2,75%)	1947	66 830 (3,59%)
1936	24 993 (2,11%)	1948	50 659 (2,28%)
1937	31 056 (2,42%)	1949	29 350 (1,21%)
1938	108 654 (5,35%)	1950	24 511 (0,95%)
1939	44 750 (3,1%)	1951	22 466 (0,92%)
1940	41 275 (2,72%)	1952	20 643 (0,84%)
1941	115 484 (6,1%)	1953	9 628 (0,67%) ¹⁶

Как и официальная статистика числа заключенных, эта таблица выявляет некоторые закономерности, согласующиеся с другими данными. В частности, резкий всплеск 1933 года — безусловно, результат голода, убившего от шести до семи миллионов “свободных” советских граждан. Меньший всплеск 1938-го, скорее всего, отражает массовые расстрелы, происходившие в том году в некоторых лагерях. О колоссальном увеличении смертности во время войны (в 1942-м умерла почти четверть заключенных) говорится и в воспоминаниях людей, бывших тогда в лагерях. Главная причина — голод. Продовольствия не хватало не только в лагерях, но и в стране в целом.

Но даже если и когда эти цифры будут уточнены, на вопрос: “Сколько погибло?” все равно нелегко будет ответить. Честно говоря, никакие цифры смертности, представленные лагерным или гулаговским начальством, нельзя считать вполне достоверными. “Культура” лагерных проверок и взысканий, помимо прочего, создавала заинтересованность лагерного начальства в сокрытии истинной смертности: не случайно как архивные материалы, так и мемуары показывают, что обычной практикой во многих лагерях было досрочно освобождать умирающих, тем самым улучшали статистику¹⁷. Хотя ссыльных не переводили так часто с места на место и не отпускали перед смертью, система ссылки по самой природе своей (многие сосланные жили в глухих поселках далеко от региональных властей) исключала возможность ведения вполне надежной статистики смертей.

Что еще более важно, сам вопрос следовало бы поставить более точно. “Сколько погибло?” — вопрос, применительно к Советскому Союзу, очень расплывчатый, и тот, кто его задает, должен прежде

всего понять, что именно он хочет знать. Если, к примеру, он просто-напросто хочет знать, сколько человек погибло в лагерях ГУЛАГа и поселках для ссыльных в сталинскую эпоху (с 1929-го по 1953 год), то имеется цифра, основанная на архивных данных, хотя даже тот историк, что ее приводит, указывает, что она неполная и не учитывает всех категорий заключенных за все годы. Привожу ее, опять-таки неохотно: 2 749 163¹⁸.

Но даже если бы это была полная цифра, она все равно не отражала бы общего количества жертв сталинской судебной системы. Как я уже писала в предисловии, советские “органы”, как правило, не использовали свои лагеря для убийств. Если им нужно было осуществить массовое убийство, они делали это в лесу. Безусловно, эти жертвы тоже нужно отнести на счет советского “правосудия”, и их было много. Используя архивы, одна группа исследователей вывела такую цифру: 786 098 казненных по политическим мотивам с 1934 по 1953 год¹⁹. Большинство историков считают ее более или менее достоверной, однако массовым казням всегда сопутствовали спешка и хаос, поэтому точно знать мы, скорее всего, не будем никогда. Но даже в это число (слишком точное, по-моему, чтобы быть надежным) не входят те, кто умер в эшелонах по дороге в лагерь, кто умер во время следствия, кого казнили формально не за “политическое” преступление, но тем не менее на сомнительных основаниях. В него не входят 20 000 с лишним польских офицеров, убитых в Катыни, и, самое главное, те, кто умер спустя считанные дни после освобождения. Если нам нужна цифра, включающая все эти категории погибших, то она будет больше, и, вероятно, намного, хотя оценки, опять-таки, сильно различаются между собой.

Но и эти цифры, как выясняется, не всегда отвечают на вопрос, который хотят задать люди. Нередко тот, кто спрашивал меня: “Сколько погибло?”, имел в виду общее количество “ненужных” смертей в результате большевистского переворота. То есть — сколько человек погибло из-за “красного террора” и гражданской войны, из-за голода, возникшего в результате жестокой коллективизации, из-за массовых депортаций, из-за массовых казней, из-за убийств и тяжелых условий в лагерях 20-х годов, 60-х — 80-х годов, не говоря уже о лагерях сталинского периода. В этом случае цифра, конечно, будет гораздо выше, но о ней можно только строить догадки. Французские авторы “Черной книги коммунизма” говорят о двадцати миллионах погибших. Другие — о десяти-двенадцати миллионах²⁰.

Получить одну весомую цифру смертей было бы, конечно, заманчиво — это позволило бы, в частности, сопоставить Сталина с Гитлером или Мао. Но даже если бы мы такую цифру получили, я не уве-

рена что она рассказала бы нам всю историю страданий. К примеру, никакие официальные цифры не могут отразить смертность среди оставшихся после ареста человека одиноких жен, детей и престарелых родителей, — такая статистика просто не велась. Во время войны старики умирали с голоду; если бы их арестованные сыновья не добывали уголь в Воркуте, они, возможно, остались бы живы. В холодных, плохо оборудованных детдомах дети гибли от эпидемий тифа и кори; если бы их матери не шили арестантскую одежду в Кенгире, они, возможно, тоже остались бы живы.

Никакие цифры не способны отразить совокупное воздействие сталинских репрессий на жизнь и здоровье целых семей. Мужчину осудили и расстреляли как “врага народа”; его жену отправили в лагерь как “члена семьи”; его дети выросли в приютах и стали уголовниками; его мать умерла от горя; его двоюродные братья, дяди и тети перестали знаться друг с другом, боясь, что на них упадет тень. Семьи разваливались, дружбы прекращались, страх тяжело давил на тех, кого оставили на свободе, пусть даже они не умирали.

Статистика никогда не может дать полное представление о случившемся. Не могут дать его и архивные документы, на которых основана немалая часть этой книги. Все те, кто красноречиво и страстно писал о ГУЛАГе, понимали это — вот почему я хотела бы одному из них предоставить последнее слово в разговоре о статистике, архивах и папках.

В 1990 году писателю Льву Разгону позволили ознакомиться со следственными делами, содержащими протоколы допросов его самого, его первой жены Оксаны и еще нескольких членов его семьи. Он прочел дела и позднее написал о них очерк. Он подробно говорит о содержании папок, о скудости “улик”, о смехотворных обвинениях, о трагической судьбе его тещи, о неясных мотивах, которыми руководствовался его тесть — чекист Глеб Боккий, о странном отсутствии рассказания со стороны тех, кто растоптал все эти жизни. Но сильнее всего поразило меня описание его чувств после того, как он окончил чтение: “Я давно уже перестал листать дела, они лежат уже больше часа или двух около меня, застывшего в кресле со своими мыслями. И присмотрщик уже начинает нетерпеливо покашливать и смотреть на часы. Пора, пора. Мне здесь уже нечего делать. Я отдаю дела, и папки снова небрежно укладываются в матерчатую авоську. Я иду вниз, по пустым коридорам, прохожу мимо часовых, которые даже документ у меня не спрашивают, и выхожу на Лубянскую площадь.

Всего только пять часов вечера, а уже почти темно, мелкий и тихий дождь идет непрерывно, отвесно, этот дом остается за мной, я стою на тротуаре возле него и не знаю, что же мне делать. Я пони-

маю, что что-то должен сделать, но что?! Как ужасно, что я неверующий, что я не могу зайти в какую-нибудь тихую церквушку, постоять у теплоты свеч, посмотреть в глаза Распятого и сделать, сказать то, что делают верующие, и от чего им становится легче.

Да, здесь была когда-то такая маленькая уютная церквушка — на углу Мясницкой и Лубянской площади. Крошечная церковь с маленьким кладбищем, где была могила знаменитого математика XVII века Магницкого. Но уже давно нет этой церкви, этой могилы, на этом месте воздвигнута новая громада одного из зданий КГБ.

Я стою долго, так подозрительно долго, что ко мне ближе подходит один из “некто в штатском”, что дежурят у этого самого старого, самого главного, самого страшного дома. Я смотрю налево, и там, вдалеке, около Политехнического музея, различаю далекий, теряющийся в сетке дождя мигающий огонек. Да ведь это у камня! У Соловецкого камня! У скромного, неприметного памятника миллионам погибших — таких же, как и мои. Совсем недавно мы открывали его, я выступал здесь, и на меня глядели глаза тысяч людей, которых привела сюда печаль, память, иногда отчаяние.

Я пошел к своему камню. Когда мы его торжественно открывали, это был просто камень, это был памятник, это было — пусть маленькое и скромное, но сооружение. А теперь это было другое. Под куском целлофана горела свеча, рядом с ней лежали два яблока, веточка рябины. Мокрые цветы лежали на камне, на подиуме, к которому были прислонены скромные размякшие венки. Надписи на их лентах уже нельзя было разобрать. Кто-то прислонил к камню любовно и тонко сделанный деревянный небольшой крест, кто-то положил листок со стихами. Десятка полтора людей стояли вокруг и молчали. Давно уже испарился запах ладана, следы молебствий и панихид. И теперь это был уже не памятник, это была могила. Вот такая обжитая, давным-давно обмоленная могила, какая бывает на старых, но еще действующих кладбищах.

Как и другие возле меня, я снял шапку, дождь или слезы текли по моему лицу, но я этого не замечал и думал о том, что “все души милых на высоких звездах...”. И судьба снова привела меня в этот дом, чтобы прикоснуться к жизни моей и моих близких. Мне 82 года, я должен был это снова пережить, я стою у могилы десятков миллионов людей, и среди них не потеряны, не растворились лица, голоса Оксаны, Софьи Александровны... И я могу их всех вспомнить и о них рассказать. И если жизнь так распорядилась со мной, значит, так и должно быть...

Еще мне не пора”²¹.

Примечания

Предисловие

- 1 См.: Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923–1960. Справочник. — М.: 1998.
- 2 См. Приложение, где эти статистические данные обсуждаются более подробно.
- 3 Rigoulot, Pierre. Les Paupières Lourdes. — Paris, 1991. — P.1–10.
- 4 Цит.: Johnson, Paul. The Intellectuals. — London, 1988. — P. 243.
- 5 Цит.: Revel, Jean-Francois. The Totalitarian Temptation, trans. D.Hapgood. — London, 1977. — P. 77.
- 6 См.: Amis, Martin. Koba the Dread: Laughter and the Twenty Million. — London, 2002; John Lloyd. Show Trial: the Left in the Dock. // New Statesman, September 2, 2002. — P.12–15; Hit and Miss. // Guardian, September 3, 2002.
- 7 См.: Thurston, Robert. Life and Terror in Stalin's Russia, 1934–1941. — New Haven and London, 1996 (Robert Conquest. Small Terror, Few Dead. // The Times Literary Supplement, May 31, 1996.)
- 8 Так поступили с автором этой книги в 1994 году. Слово “антисоветская” — прямая цитата из письма редактора. В конце концов в сильно сокращенном виде статья была напечатана в другом периодическом издании — The Times Literary Supplement.
- 9 “Neither Here nor There” (review of Between East and West. — New York, 1994), The New York Times Book Review, December 18, 1994.
- 10 Этот вопрос подробно обсуждается в статье Мартина Малиа “Judging Nazism and Communism”. // The National Interest, no. 64, Fall 2002. — P. 63–78.
- 11 Webb, Sidney and Beatrice. Soviet Communism: A New Civilisation? — London, 1936. — P. 31.
- 12 Цит.: Conquest, Robert. The Great Terror: A Reassessment. — London, 1992. — P. 465.
- 13 См.: Klehr, Harvey, Haynes, John Earl, and Firsov, Fridrickh. The Sekret World of American Communism. — New Haven and London, 1995.
- 14 Цит.: Tolstoy, Nikolai. Stalin's Secret War. — New York, 1981. — P. 289.
- 15 См.: Thomas D.M. Alexander Solzhenitsyn: A Century in His Life. — London, 1998. — P. 489–495; Scammell, Michael. Solzhenitsyn: A Biography. — New York and London, 1984. Попытка представить Солженицына алкоголиком (Scammell, P. 664–665) была особенно неуклюжей, поскольку его нелюбовь к спиртным напиткам была хорошо известна.
- 16 Pipes, Richard. The Russian Revolution. — New York, 1990. — P. 824–825.
- 17 См.: Overy, Richard. Russia's War. — London, 1997. — P.112 and 226–227; Moskoff, William. The Bread of Affliction. — Cambridge, 1990.

Примечания

- 18 Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе — СПб., 2002. — С. 632.
- 19 Kozhina, Elena. Through the Burning Steppe: A Memoir of Wartime Russia, 1942–1943. — New York, 2000. P. 5.
- 20 См.: Kaczynska, Elzbieta. Syberia: Najwieksze Wzieszenie Swiata (1815–1914). — Warsaw, 1991. — S.15.
- 21 См.: Кеннан, Джордж. Сибирь и ссылка. Путевые заметки (1885–1886 гг.). Пер. с англ. Том I.— СПб., 1999. — С. 125–128.
- 22 Чехов А.П. Письма. Том 4. — М., 1976. — С. 32.
- 23 См.: Kaczynska E. — P. 15.
- 24 Попов В.П. Неизвестная инициатива Хрущева (о подготовке указа 1948 г. о выселении крестьян). // Отечественные архивы. — М., 1993, № 2. — С. 31–38.
- 25 Кеннан Дж. Указ. соч. — С. 233.
- 26 См.: Kaczycska E. — P. 65–85.
- 27 Anisimov, Evgeny. The Reforms of Peter the Great: Progress Through Coercion in Russia. — Armonk, New York and London, 1993. — P. 177.
- 28 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 76.
- 29 См.: Kaczynska E. — P. 44–64.
- 30 Ibid, p. 161.
- 31 А. П. Чехов. Соч., т. 14–15, 1978. — С. 27.
- 32 См.: Kaczynska E. — P. 161–174.
- 33 См.: Sutherland, Christine. The Princess of Siberia. — London, 1985. — P. 271–302.
- 34 См.: Adams, Bruce. The Politics of Punishment: Prisoner Reform in Russia, 1863–1917. — DeKalb, IL, 1996. — P. 4–11.
- 35 См.: Волкогонов, Дмитрий. Сталин: триумф и трагедия, кн. 1. — С. 43.
- 36 См.: Bullock, Alan. Hitler and Stalin: Parallel Lives. — London, 1993. — P. 28–45.
- 37 Волкогонов Д. Указ. соч., кн. 1. — С. 43.
- 38 См.: Kotek J. and Rigoulot P. Le Sicle des camps. Paris, 2001. — P. 97–107; Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. — С. 11–12.
- 39 Об этом определении я более развернуто писала в статье “A History of Horror”. // The New York Review of Books, October 18, 2001.
- 40 См.: Геллер, Михаил. Концентрационный мир и советская литература. — Лондон, 1974. — С. 43.
- 41 Цит.: Kotek J. and Rigoulot P. — Op. cit. P. 92.
- 42 Ibid. — P. 1–94.
- 43 Толстой, Лев. Анна Каренина. // Часть четвертая, глава IX.
- 44 Подробное обсуждение отношения Сталина к “враждебным” этническим группам см. в кн.: Martin, Terry. The Affirmative Action Empire. — Ithaca, New York, 2001.
- 45 Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. — New York, 1951. — P. 122–123.
- 46 Цит.: Bullock A. Op. cit. — P. 24.
- 47 См.: Weiner, Amir. Nature, Nurture and Memory in a Socialist Utopia. // The American Historical Review, vol. 104, № 4, October 1999.
- 48 См.: Bullock A. — P. 488.
- 49 Sereny Gita. Into That Darkness. — London, 1974. — P. 101.
- 50 Я благодарна Терри Мартину за разъяснения, касающиеся этого пункта.
- 51 См.: Шрейдер Михаил. НКВД изнутри. М., 1995. — С. 5.
- 52 Линн Виола (Lynne Viola) подчеркивает это в своей работе о раскулаченных.
- 53 Подробнее об этом см. в моей статье “A History of Horror”.

Глава 1*

- 1 Геллер, с. 23–24.
- 2 Jakobson, с. 18–26.
- 3 “Декреты”, т. II, с. 241–242 и т. III, с. 80. См. также Геллер, с. 10; Pipes, с. 793–800.
- 4 Jakobson, с. 18–26; декрет “О революционных трибуналах” от 19 декабря 1917 г. — “Сборник”, с. 9–10.
- 5 Hoover, Melgunov Collection, Box 1, Folder 63.
- 6 “Система ИТЛ в СССР”, с. 13.
- 7 РГАСПИ, ф. 76, оп. 3, д. 1, 13.
- 8 Jakobson, с. 10–17; “Система ИТЛ в СССР”, с. 10–24.
- 9 “Декреты”, т. I, с. 401.
- 10 Hoover, Melgunov Collection, Box 1, Folder 4.
- 11 “Во власти Губчека”, с. 3–11.
- 12 Hoover, Melgunov Collection, Box 1, Folder 4.
- 13 Lockhart, с. 326–345.
- 14 С. Г. Елисеев, “Тюремный дневник”, в кн. “Уроки...”, с. 17–19.
- 15 “Система ИТЛ в СССР”, с. 11.
- 16 Геллер, с. 43.
- 17 Там же, с. 44; Leggett, с. 103.
- 18 Первоначально ВЧК ведала концлагерями совместно с Центральной коллегией по делам пленных и беженцев (Центропленбеж). См. “Система ИТЛ в СССР”, с. 11.
- 19 Leggett, с. 108.
- 20 Приказ от 5 сентября 1918 г. — “Сборник”, с. 11.
- 21 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 13.
- 22 “Исторический архив”, № 1, 1958, с. 6–11; Геллер, с. 52.
- 23 Как пишет историк Ричард Пайпс, Ленин не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с этими первыми концлагерями, поэтому постановление и инструкцию издал не Совнарком, который он возглавлял, а Президиум ВЦИК (Pipes, с. 834).
- 24 “Декреты”, т. V, с. 69–70 и 174–181.
- 25 РГАСПИ, ф. 76, оп. 3, д. 65.
- 26 Hoover, Melgunov Collection, Box 11, Folder 63.
- 27 “Во власти Губчека”, с. 47–53.
- 28 Изгоев, с. 36.
- 29 Вунуан, с. 54–65.
- 30 Геллер, с. 61; Вунуан, с. 54–114.
- 31 “Система ИТР в СССР”, с. 11–12; подробно об институциональных изменениях в 20-е годы см. Jakobson, а также Lin.
- 32 РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, д. 585.
- 33 Примеры этих обсуждений см. в Hoover, ф. 89, 73/25, 26, 27.
- 34 Ленин, “Пролетарская революция и ренегат Каутский”, полн. собр. соч., т. 37, 1981 г., с. 235–338.
- 35 Service, *Lenin*, с. 186.
- 36 Hoover, Nicolaevsky Collection, Box 9, Folder 1.
- 37 Там же, Box 99; РГАСПИ, ф. 76, оп. 3, д. 87; “Генрих Ягода”, с. 265.

* Здесь и далее полные сведения об опубликованных и неопубликованных мемуарах, художественных произведениях, документальных и исследовательских работах, архивных документах и интервью, ссылки на которые даются в примечаниях в сокращенной форме, содержатся в соответствующих разделах библиографии.

- 38 Разгон, “Плен в своем отечестве”, с. 76.
- 39 Hoover, Nicolaevsky Collection, Box 99.
- 40 Там же.
- 41 *Letters from Russian Prisons*, с. 1–15.
- 42 Там же, с. 20–28.
- 43 Там же, с. 162–165.
- 44 Там же; “Заявления политзаключенных...”.
- 45 *Letters from Russian Prisons*, с. 162–165.
- 46 “Заявления политзаключенных...”.
- 47 РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, д. 395.
- 48 Дойков.
- 49 Берта Бабина-Невская, “Первая тюрьма (февраль 1922 года)”. В кн. “Доднесь тяготее”, вып. 1, с. 139.
- 50 РГАСПИ, ф. 76, оп. 3, д. 149.
- 51 РГАСПИ, ф. 76, оп. 3, д. 227; Hoover, ф. 89, 73/25, 26, 27.

Глава 2

- 1 “Экран”, № 12, 27 марта 1926 г.
- 2 О географии и истории Соловецкого архипелага см. Мельник, Сошина, Резникова и Резников.
- 3 “Соловецкая монастырская тюрьма”, Соловецкое общество краеведения, вып. VII, 1927 (СКМ).
- 4 Ю. Бродский, с. 38.
- 5 ГАРФ, ф. 5446, оп. 1, д. 2. См. также ссылку Наседкина на инициативу Дзержинского в кн. “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 296–297.
- 6 См., например, Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 2 (мал. собр. соч., т. 6).
- 7 О советских системах мест заключения в 20-е годы см. Jakobson.
- 8 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 296–297.
- 9 Juri Brodsky, с. 30–31; Ю. Бродский; Олицкая, кн. 1, с. 237–240; Мальсагов, с. 64–70.
- 10 Олицкая, кн. 1, с. 237–240.
- 11 Hoover, Nicolaevsky Collection, Box 99; Hoover, ф. 89, 73/34.
- 12 *Letters from Russian Prisons*, с. 165–171.
- 13 Juri Brodsky, с. 194; Ю. Бродский.
- 14 Ширяев, с. 30–37.
- 15 Волков, с. 53–55.
- 16 Juri Brodsky, с. 65; Ю. Бродский.
- 17 Лихачев, “Книга беспокойств”, с. 98–100.
- 18 Ю. Бродский, с. 331.
- 19 Juri Brodsky, с. 195–197; Ю. Бродский.
- 20 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 2 (мал. собр. соч., т. 6, с. 37).
- 21 Чухин, “Каналоармейцы”, с. 40–44; “Два документа...”, с. 359–388. Публикатор И. И. Чухин разъясняет, что эти два документа, приводимые полностью, входили в состав следственных дел № 885 и 877. Они хранились в петрозаводском архиве ФСБ (?), где работал Чухин.
- 22 Клиггер, с. 210; перепечатано в журнале “Север”, № 9, сентябрь 1990, с. 108–112. Пытка комарами упоминается, кроме того, в архивных документах (см. “Звенья”, вып. 1, с. 383) и в мемуарах. См. *Letters from Russian Prisons*, с. 165–171; Волков, с. 55.
- 23 Чухин, “Два документа...”, с. 359; Лихачев, “Книга беспокойств”, с. 196–198.
- 24 Ю. Бродский, с. 204.

- 25 Об этом пишут путеводители по Соловецким островам. См. также Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 2 (мал. собр. соч., т. 6, с. 24).
- 26 Цыганков, с. 196–197.
- 27 Лихачев, “Книга беспокойств”, с. 212.
- 28 “СЛОН”, № 3, май 1924 (ГАРФ).
- 29 Ширияев, с. 115–132; Лихачев, “Книга беспокойств”, с. 201–205. См. также книги и журналы в СКМ.
- 30 “СЛОН”, № 3, май 1924 (ГАРФ).
- 31 “Соловецкие острова”, № 12, декабрь 1925 (СКМ).
- 32 Из разговора с директором СКМ Татьяной Фокиной 12 сентября 1998 г. См. также, например, “Соловецкие острова”, 1925, № 1–7; “Соловецкие острова”, 1930, № 1; бюллетени Соловецкого общества краеведения в собрании музея и в АКБ. См. также Дряхлицын.
- 33 “Соловецкие острова”, № 9, сентябрь 1925, с. 7–8 (СКМ).
- 34 Резникова, с. 46–47.
- 35 “СЛОН”, № 3, май 1924 (ГАРФ).
- 36 Резникова, с. 7–36; Hoover, Melgunov collection, Box 7, Folder 44.
- 37 Анциферов, с. 341.
- 38 Клиггер, с. 170–177.
- 39 Там же, с. 200–201; Мальсагов, с. 74–75; Розанов, с. 55; Hoover, Melgunov Collection, Box 7.
- 40 Цыганков, с. 96–127; Hoover, Melgunov Collection, Box 7.
- 41 История отечества в документах, часть вторая, с. 51–52.
- 42 Jakobson, с. 70–102.
- 43 Красильников, “Рождение ГУЛАГа”, с. 142–143. Это собрание документов, касающихся возникновения ГУЛАГа, подлинники которых хранятся в Архиве Президента Российской Федерации, обычно закрытом для исследователей.
- 44 НАРК.
- 45 НАРК.
- 46 РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 65.
- 47 “Система ИТЛ в СССР”, с. 18.
- 48 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 83–85.
- 49 ГАОПДФРК, ф. 1051, оп. 1, д. 1.
- 50 Jakobson, с. 121; разговоры в 1998 и 1999 гг. с Никитой Петровым, Олегом Хлевнюком и Юрием Бродским. В итальянском издании книги Бродского Френкель не упоминается.
- 51 Например, Клементьев; С. Г. Елисеев, “Тюремный дневник”, в кн. “Уроки гнева и любви”, с. 30–32.
- 52 Ширияев, с. 138.
- 53 Чухин, “Каналоармейцы”, с. 30–31.
- 54 “Беломорско-Балтийский канал”, с. 328.
- 55 ГАОПДФРК, ф. 1033, оп. 1, д. 35.
- 56 Duguet, с. 75.
- 57 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 3 (мал. собр. соч., т. 6, с. 54).
- 58 Мальсагов, с. 39.
- 59 Ширияев, с. 137–138; Розанов, с. 174–191; Наринский, “Время тяжких потрясений”, с. 128–149.
- 60 Розанов, с. 174–191; Ширияев, с. 137–148.
- 61 Тюремная регистрационная карточка Френкеля, Hoover, St. Petersburg Memorial Collection.
- 62 Чухин, “Каналоармейцы”, с. 30–31; Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 3 (мал. собр. соч., т. 6, с. 55).

- 63 См. “Посетители кабинета И. В. Сталина”, Исторический архив, № 4, 1998, с. 180.
- 64 Hoover, St. Petersburg Memorial Collection.
- 65 НАРК.
- 66 Baron, с. 615–621.
- 67 НАРК.
- 68 Там же.
- 69 Куликов, с. 99.
- 70 ГАОПДФРК, ф. 1033, оп. 1, д. 15.
- 71 Ногтев, “УСЛОН”, с. 55–60; Ногтев, “Соловки”, 1926, с. 4–5.
- 72 Ю. Бродский, с. 126.
- 73 О соловецком дефиците см. Хлевнюк, “Принудительный труд...”; см. также ГАОПДФРК, ф. 1051, оп. 1, д. 1.
- 74 Baron, с. 624.
- 75 ГАОПДФРК, ф. 1033, оп. 1, д. 35.
- 76 Ю. Бродский, с. 126.
- 77 Juri Brodsky, с. 114; Ю. Бродский.
- 78 Juri Brodsky, с. 195; Ю. Бродский.
- 79 НАРК.
- 80 Чухин, “Два документа...”
- 81 Juri Brodsky, с. 115; Ю. Бродский.
- 82 *Letters from Russian Prisons*, с. 183–188.
- 83 Hoover, ф. 89, 73/32.
- 84 Там же, 73/34.
- 85 *Letters from Russian Prisons*, с. 218–220.
- 86 Красиков, с. 2.
- 87 *Letters from Russian Prisons*, с. 215.
- 88 Hoover, ф. 89, 73/34, 35, 36.
- 89 Hoover, Nicolaevsky Collection, Box 782; Melgunov Collection, Box 8.
- 90 Там же, Folder 1.
- 91 *Letters from Russian Prisons*, с. 160.

Глава 3

- 1 Лихачев, “Книга беспокойств”, с. 183–189.
- 2 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 2 (Мал. собр. соч., т. 6, с. 44).
- 3 Ю. Бродский, с. 324–330.
- 4 Лихачев, “Книга беспокойств”, с. 183–189.
- 5 Волков, с. 168.
- 6 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 2 (Мал. собр. соч., т. 6, с. 42–44); Хьетсо, с. 245.
- 7 Солженицын, там же; Хьетсо, с. 243–254; Ю. Бродский, с. 324–330.
- 8 Ю. Бродский, с. 326; Чухин, “Каналоармейцы”, с. 36.
- 9 Горький, Собрание сочинений, т. XI, с. 291–316. Все цитаты из Горького о Соловках взяты из этого источника.
- 10 Хьетсо, с. 244–245.
- 11 Tolczyk, с. 94–97. Моя интерпретация очерка Горького основана на метких наблюдениях этого автора.
- 12 Tucker, *Stalin in Power*, с. 125–127.
- 13 Payne, с. 270–271.
- 14 Tucker, *Stalin in Power*, с. 96.
- 15 “Сборник...”, с. 22–26.

- 16 См. Tucker, *Stalin in Power, Conquest, Stalin* и Getty and Naumov.
- 17 См. Conquest, *Harvest of Sorrow*. Эта книга остается самым полным англоязычным документальным описанием коллективизации и голода. В книге Ивницкого приведены заслуживающие доверия архивные сведения. Судьба “кулаков”, как и судьба ссыльных, еще ждет своего подлинного историка.
- 18 Ивницкий, с. 115; Земсков, “Спецпоселенцы”, с. 4.
- 19 Getty and Naumov, с. 110–112; Solomon, с. 111–129.
- 20 Jakobson, с. 120.
- 21 Красильников, “Рождение ГУЛАГа”, с. 143–144.
- 22 Там же, с. 145–146.
- 23 Там же, с. 145.
- 24 Nordlander, “Capital of the Gulag”.
- 25 Красильников, “Рождение ГУЛАГа”; Jakobson, с. 1–9.
- 26 Jakobson, с. 120.
- 27 Хлевнюк, “Принудительный труд...”; Красильников, “Спецпереселенцы в Западной Сибири, весна 1931 г. — начало 1933 г.”, с. 6.
- 28 ГАРФ, ф. 5446, оп. 1, д. 54 и ф. 9401, оп. 1а, д. 1; Jakobson, с. 124–125.
- 29 Harris.
- 30 Jakobson, с. 143.
- 31 См., например, Kotkin, где говорится о пересмотре планов при осуществлении одного из крупных проектов сталинской эпохи — строительстве Магнитогорского металлургического комбината, к которому ГУЛАГ не имел отношения.
- 32 В частности, Евгению Гинзбург в 1937 г. приговорили к тюремному заключению, не предусматривавшему какую-либо работу. См. Е. Гинзбург, “Крутой маршрут”.
- 33 Чухин, “Каналоармейцы”, с. 25.
- 34 И. В. Сталин, Соч., т. 11, 1952 г., с. 248–249. Цитировано в кн. Tucker, *Stalin in Power*, с. 64.
- 35 Цитировано в Bullock, с. 374.
- 36 Volkogonov, *Stalin*, с. 127 и 148; Волкогонов, “Триумф и трагедия”.
- 37 См., например, Moynahan, фотографии на с. 156 и 157.
- 38 Tucker, *Stalin in Power*, с. 273.
- 39 Jakobson, с. 121.
- 40 Lih, Naumov, and Khlevnyuk, с. 211; Красильников, “Рождение ГУЛАГа”, с. 152–154; Хлевнюк, “Принудительный труд...”, с. 76.
- 41 Хлевнюк, “Принудительный труд...”, с. 74.
- 42 Jakobson, с. 121.
- 43 Хлевнюк, “Принудительный труд...”, с. 74–76; Jakobson, с. 121; Hoover, St. Petersburg Memorial Collection.
- 44 Немало примеров такого рода содержится в “особой папке” Сталина в ГАРФ, ф. 9401, оп. 2. В частности, дело 64 содержит подробный отчет о Дальстрое.
- 45 Nordlander, “Origins of a Gulag Capital”, с. 798–800.
- 46 “Генрих Ягода”, с. 434.
- 47 Протоколы заседаний Политбюро, РГАСПИ, ф. 17, оп. 3.
- 48 Volkogonov, *Stalin*, с. 252, 308–309, 519; Волкогонов, “Триумф и трагедия”.
- 49 ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 199 (“особая папка” Сталина).
- 50 РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 746; Nordlander, “Capital of the Gulag”.
- 51 Nordlander, там же.
- 52 Канева, с. 331.
- 53 “Система ИТЛ в СССР”, с. 34.
- 54 Терри Мартин указал мне на это в ходе переписки по электронной почте в июне 2002 г.

Глава 4

- 1 Dallin and Nicolaevsky, с. 218–219.
- 2 Bateson and Pim.
- 3 Dallin and Nicolaevsky, с. 219.
- 4 Там же, с. 221.
- 5 Там же, с. 220.
- 6 Там же, с. 220; Jakobson, с. 126.
- 7 Dallin and Nicolaevsky, с. 220.
- 8 ГАРФ, ф. 5446, оп. 1, д. 54 и ф. 9401, оп. 1а, д. 1.
- 9 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2920.
- 10 Jakobson, с. 127.
- 11 Kitchin, с. 267–270.
- 12 Jakobson, с. 127–128.
- 13 ГАОПДФРК, ф. 26, оп. 1, д. 41.
- 14 “Беломорско-Балтийский канал”.
- 15 “Письма И. В. Сталина В. М. Молотову”, с. 214–215.
- 16 “ГУЛАГ в Карелии”, с. 76. В этой книге опубликованы документы из карельских архивов.
- 17 “Система ИТЛ в СССР”, с. 163.
- 18 Вагон, с. 640–641; см. также Чухин, “Каналоармейцы”.
- 19 “ГУЛАГ в Карелии”, с. 86.
- 20 “Беломорско-Балтийский канал”; Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 3 (мал. собр. соч., т. 6, с. 62).
- 21 “ГУЛАГ в Карелии”, с. 96 и 19–20.
- 22 Вагон, с. 643.
- 23 “ГУЛАГ в Карелии”, с. 37 и 197.
- 24 Там же, с. 43–44.
- 25 Там же, с. 197.
- 26 Чухин, “Каналоармейцы”, с. 121.
- 27 “ГУЛАГ в Карелии”, с. 19–20.
- 28 Чухин, “Каналоармейцы”, с. 12.
- 29 “ГУЛАГ в Карелии”, с. 72–73.
- 30 Чухин, “Каналоармейцы”, с. 127–131.
- 31 Tolszyk, с. 152.
- 32 Баранов, с. 168.
- 33 “Беломорско-Балтийский канал”, с. 102.
- 34 Там же, с. 115, 292–299.
- 35 Погодин, с. 109–183; Геллер, с. 151–157.
- 36 Gliksman, с. 165.
- 37 Там же, с. 173–178.
- 38 ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 1; “Перековка”, 18 января 1933.
- 39 ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 1; “Перековка”, 20 декабря 1932 — 30 июня 1934.
- 40 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 3 (мал. собр. соч., т. 6, с. 71).

Глава 5

- 1 Хлевнюк, “Принудительный труд...”, с. 75–76.
- 2 Nicolas Werth, “A State against its People: Violence, Repression and Terror in the Soviet Union”, в книге Courtois, с. 154. Сообщение об этом эпизоде, переданное анонимным заключенным, который встретил в Томске некоторых назин-

- цев, приводится также в сборнике “Память”, т. I, с. 342–343; см также Кра-
сильников, “Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1933–1938”, с. 76–119.
- 3 Еланцева. Статья основана на документах, найденных в Центральном госу-
дарственном архиве Российской Федерации Дальнего Востока (г. Томск).
 - 4 Там же; “Система ИТЛ в СССР”, с. 153.
 - 5 Н. А. Морозов, “ГУЛАГ в Коми крае”, с. 104.
 - 6 Канева. Мой рассказ основан на этой публикации, которая, в свою очередь,
базируется на документах из архивов Коми АССР и на воспоминаниях из со-
брания общества “Мемориал”.
 - 7 Там же, с. 331 и 334–335.
 - 8 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 8.
 - 9 Митин, с. 22–26.
 - 10 Выставка в Воркутинском краеведческом музее; см. также документ НКВД за ян-
варь 1941 г., озаглавленный “Воркутинстрой НКВД” и находящийся в собрании
Сыктывкарского отделения общества “Мемориал”; “Система ИТЛ в СССР”, с. 192.
 - 11 Канева, с. 339.
 - 12 Надежда Игнатова, “Спецпереселенцы в республике Коми в 1930–1940 гг.”, в
сборнике “Корни травы”, с. 23–25.
 - 13 Там же, с. 25 и 29.
 - 14 Н. А. Морозов, “ГУЛАГ в Коми крае”, с. 13–14.
 - 15 Канева, с. 337–338.
 - 16 Надежда Игнатова, “Спецпереселенцы в республике Коми в 1930–140 гг.”, в
сборнике “Корни травы”, с. 23–25.
 - 17 Канева, с. 342.
 - 18 Там же.
 - 19 Stephan, *The Russian Far East*, с. 225.
 - 20 Nordlander, “Capital of the Gulag”; говоря в этой и других главах об истории
Колымы, я опираюсь на эту работу Дэвида Нордлендера — единственное на
данный момент подробное, основанное на архивных данных исследование
Колымы, опубликованное на Западе.
 - 21 Там же.
 - 22 Из разговора с Виктором Шмыровым (Пермское отделение общества “Мемо-
риал”) 31 марта 1998 г.
 - 23 Шмыров, “Лагерь как модель реальности”.
 - 24 Stephan, *The Russian Far East*, с. 225.
 - 25 Nordlander, “Capital of the Gulag”.
 - 26 Там же.
 - 27 Stephan, *The Russian Far East*, с. 226.
 - 28 Nordlander, “Capital of the Gulag”.
 - 29 Stephan, *The Russian Far East*, с. 227.
 - 30 Козлов, “Севвостлаг НКВД СССР”.
 - 31 Stephan, *The Russian Far East*, с. 226.
 - 32 Conquest, *Kolyma*, с. 42.
 - 33 Sgovio, с. 153.
 - 34 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 532.
 - 35 Козлов, “Севвостлаг НКВД СССР”, с. 81; Nordlander, “Capital of the Gulag”.
 - 36 Козлов, “Севвостлаг НКВД СССР”, с. 82.
 - 37 Е. Гинзбург, т. 2, с. 129.
 - 38 Там же.
 - 39 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 441.
 - 40 Хлевнюк, “Принудительный труд...”, с. 78.
 - 41 Там же; “Система ИТЛ в СССР”, с. 376, 399 и 285.
 - 42 “Система ИТЛ в СССР”, с. 38.

Глава 6

- 1 Васон, с. 30 и 122. Автор суммирует цифры, полученные из разных источни-
ков и касающиеся разных категорий лиц, занятых принудительным трудом.
Дальнейшее обсуждение статистических данных см. в Приложении.
- 2 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть первая, гл. 2 (мал. собр. соч., т. 5, с. 27).
- 3 Там, где нет ссылок на другие источники, этот рассказ о Большом терроре ос-
нован на следующих работах: Conquest, *The Great Terror*; Хлевнюк, “1937”;
Getty and Naumov; Martin, “The Great Terror”.
- 4 Getty and Naumov, с. 472.
- 5 “Труд”, № 88, 4 июня 1992 г. (перепечатано в Getty and Naumov, с. 472–477);
многие сходные документы опубликованы в “Невозможно молчать”, с. 297–304.
- 6 “Невозможно молчать”, с. 297–304.
- 7 “Лубянка”, с. 15.
- 8 Вероника Знаменская, “Доднесь тяготееет”. В кн. “Доднесь тяготееет”, вып. 1, с. 180.
- 9 Реабилитационное определение по делу работников ГУЛАГа. Публикация
Д. Г. Юрасова. “Звенья”, вып. 1, М., 1991, с. 389–399.
- 10 ГАРФ, сведения о личном составе органов НКВД. См. также “ГУЛАГ: Глав-
ное управление лагерей”, с. 797–857.
- 11 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 99.
- 12 Этот рассказ об аресте Берзина основан на работах: Nordlander, “Capital of the
Gulag” и Nordlander, “Magadan and the Evolution of the Dalstroj Bosses”. См.
также Козлов, “Севвостлаг НКВД СССР”.
- 13 Conquest, *The Great Terror*, с. 182–213.
- 14 Елена Сидоркина, “Годы под конвоем”, в кн. “Доднесь тяготееет”, вып. 1, с. 288.
- 15 ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 94.
- 16 Conquest, *The Great Terror*, с. 298.
- 17 Геллер, с. 151–157.
- 18 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 96.
- 19 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 863–869.
- 20 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 95–96; “ГУЛАГ в
Карелии”, с. 183–184.
- 21 Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 293–295.
- 22 Там же, с. 63–64; Волкогонов, “Триумф и трагедия”, кн. 1, с. 478.
- 23 Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 42, 450; “Сборник...”, с. 86–93.
- 24 Larina, с. 182.
- 25 Левинсон, с. 39–42.
- 26 “Беломорско-Балтийский канал”, с. 17.
- 27 Weiner, “Nature, Nurture and Memory in a Socialist Utopia”.
- 28 Герлинг-Грудзинский, с. 23–24.
- 29 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 95.
- 30 Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 409.
- 31 Leipman, с. 38.
- 32 Nordlander, “Capital of the Gulag”.
- 33 “ГУЛАГ в Карелии”, с. 160.
- 34 Чухин, “Каналоармейцы”, с. 120.
- 35 Шмыров.
- 36 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 78.
- 37 “Труд”, № 88, 4 июня 1992 г. (перепечатано в Getty and Naumov, с. 479–480);
Н. А. Морозов, разговор с автором, июль 2001 г.
- 38 Папков, с. 53–54.
- 39 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 441; ГАРФ, ф. 9414, материалы
ОУРЗ ГУЛАГа.

- 40 Приказ НКВД СССР № 00447 проанализировали Н. Петров и А. Рогинский в статье “”Польская операция” НКВД 1937–1938 гг.” (“Репрессии против поляков и польских граждан”, с. 22–43).
- 41 “Мемориальное кладбище Сандормох”, с. 3 и 160–167 (здесь собраны документы, касающиеся расстрелов в урочище Сандормох). Дата приказа НКВД о ликвидации заключенных — 16 августа 1937 г. — приведена в Binner, Junge, and Martin.
- 42 Ю. Бродский, с. 472.
- 43 “Мемориальное кладбище Сандормох”, с. 167–169.
- 44 Hoover, Nicolaevsky Collection, Box 233, Folder 23; см. также Н. А. Морозов, “ГУЛАГ в Коми крае”, с. 28.
- 45 Conquest, *The Great Terror*, с. 286–287.
- 46 Архив ФСБ, Петрозаводск, ф. 42, л. 55–140: Акт заседания тройки НКВД КССР № 13, 20 сентября 1937 г., в коллекции Юрия Дмитриева, Петрозаводское отделение общества “Мемориал”.
- 47 Conquest, *The Great Terror*, с. 438.
- 48 Getty and Naumov, с. 532–537.
- 49 Там же, с. 562.
- 50 Е. Гинзбург, т. 1, с. 174.
- 51 Н. А. Морозов, “ГУЛАГ в Коми крае”, с. 32.
- 52 Nordlander, “Capital of the Gulag”, с. 253–257.
- 53 “ГУЛАГ в Карелии”, с. 163.
- 54 Хлевнюк, “Принудительный труд...”, с. 79.
- 55 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 105–107.
- 56 Nordlander, “Capital of the Gulag”.
- 57 Хлевнюк, “Принудительный труд...”, с. 74.
- 58 Nordlander, “Capital of the Gulag”.
- 59 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 4240.
- 60 Солженицын, “В круге первом”, кн. 1, с. 29 и 33.
- 61 Голованов; Райзман, с. 21–23.
- 62 Кокурин, “Особое техническое бюро НКВД СССР”.
- 63 Хлевнюк, “Принудительный труд...”, с. 79.
- 64 Там же, с. 79–80; ГАРФ, ф. 7523, оп. 67, д. 1
- 65 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 24, 25.
- 66 ГАРФ, ф. 7523, оп. 67, д. 1.
- 67 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 356; ф. 7523, оп. 67, д. 2; ф. 9401, оп. 1а, д. 71.
- 68 Knight, *Beria*, с. 105–106.
- 69 Хлевнюк, “Принудительный труд...”, с. 80.
- 70 Земсков, “Заключенные...”, с. 63; Васон, с. 30.
- 71 Земсков, “Архипелаг ГУЛАГ...”, с. 6–7; Васон, с. 30.
- 72 “Система ИТЛ в СССР”, с. 308.
- 73 Там же, с. 338–339.
- 74 Там же, с. 200–201, 191–192, 303.
- 75 Васильева, интервью с автором.
- 76 Термин “лагерно-производственный комплекс” использовали М. Б. Смирнов, С. П. Сигачев и Д. В. Шапов в предисловии к справочнику “Система ИТЛ в СССР”.

Глава 7

- 1 Robinson, с. 13.
- 2 Agnew and Mcdermott, с. 145 и 143–149.
- 3 Gelb.
- 4 Martin, *The Affirmative Action Empire*, с. 328–343.

- 5 Lipper, с. 35; Stephan, *The Russian Far East*, с. 229.
- 6 Conquest, *The Great Terror*, с. 271–272.
- 7 Stajner, с. 33.
- 8 Martin, “Stalinist Forced Relocation Policies”.
- 9 Окуневская, с. 227.
- 10 Старостин; ГАРФ, ф. 7523, оп. 60, д. 4105.
- 11 Разгон, “Непридуманное”, с. 100.
- 12 ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 253.
- 13 Weissberg, с. 16–87.
- 14 Серебрякова, с. 12–25.
- 15 Lipper, с. 3.
- 16 Старостин, с. 62–69.
- 17 Wat, с. 308–312.
- 18 Dolgun, с. 8–9.
- 19 Окуневская, с. 227–228.
- 20 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть первая, гл. 1 (мал. собр. соч., т. 5, с. 16).
- 21 Гаген-Торн, с. 58.
- 22 Hoover, ф. 89, 18/12, Reel 1.994.
- 23 V. Petrov, с. 17.
- 24 Н. Я. Мандельштам, “Воспоминания”, с. 9–15.
- 25 Naimark, *The Russians in Germany*, с. 69–140.
- 26 РГВА, ф. 40, оп. 71, д. 323.
- 27 Glowacki, с. 329.
- 28 Е. Гинзбург, т. 1, с. 33–34.
- 29 Сидоркина, “Годы под конвоем”, в кн. “Доднесь тяготеет”, вып. 1, с. 290–291.
- 30 Разгон, “Непридуманное”, с. 53.
- 31 Жженов, с. 44.
- 32 Шихеева-Гайстер, с. 98.
- 33 ГАРФ, ф. 9410, оп. 12, д. 3.
- 34 Н. Иоффе, с. 99.
- 35 Солженицын, “В круге первом” (мал. собр. соч., т. 2, с. 262–263).
- 36 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 37 Милютин, с. 150–151.
- 38 Солженицын, “В круге первом” (мал. собр. соч., т. 2, с. 275).
- 39 Гнедин, с. 69.
- 40 Dolgun, с. 11.
- 41 Vogelfanger, с. 4–5.
- 42 Бершадская, с. 37.
- 43 Адамова-Слиозберг, с. 29.
- 44 Walter Warwick, неопубликованные записки. Я благодарна за этот текст Рубену Раджала.
- 45 Куусинен, с. 125.
- 46 *Miranda v. Arizona*, 384 US 436 (1966).
- 47 N. Werth, “A State against its People: Violence, Repression and Terror in the Soviet Union”, в кн. Courtois, с. 193–194; С. Куртуа, Н. Верт, Ж.-Л. Панне, А. Пачковский, К. Бартошек, Ж.-Л. Марголен. “Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии”. Пер. с фр. М., 1999, с. 195–196.
- 48 Горбатов, с. 127.
- 49 Hoover, Sgovio Collection, Box 3.
- 50 Sgovio, с. 69.
- 51 Hoover, Sgovio Collection, Box 3.
- 52 Дурасов, с. 77.
- 53 “Репрессии против поляков и польских граждан”, с. 16–17.

- 54 Там же, с. 24–25.
- 55 Iwanow, с. 370.
- 56 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 105.
- 57 “Репрессии против поляков и польских граждан”, с. 23.
- 58 Hoover, ф. 89, 18/12, Reel 1.994; Getty and Naumov, с. 530–537.
- 59 Conquest, *The Great Terror*, с. 130–131.
- 60 Чернавин, с. 149–152.
- 61 Наринский, “Воспоминания главного бухгалтера ГУЛАГа”, с. 60.
- 62 “Доклад Н. С. Хрущева...”, с. 82.
- 63 Jansen and Petrov.
- 64 Гнедин, с. 24–31.
- 65 Conquest, *The Great Terror*, с. 121.
- 66 Шенталинский, с. 30–31.
- 67 Х. В. Волович, “О прошлом”, в кн. “Доднесь тяготееет”, вып. 1, с. 470.
- 68 Е. Гинзбург, т. 1, с. 66.
- 69 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 71 Чернавин, с. 153.
- 71 Dolgun, с. 37–38, 193, 202.
- 72 Горбатов, с. 121, 123.
- 73 Разгон, “Непридуманное”, с. 73–74.

Глава 8

- 1 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 14.
- 2 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 128.
- 3 Соболев, с. 66.
- 4 Гарасева, с. 97; об истории здания на Лубянке см. Соболев, с. 11–79.
- 5 Панин, с. 45.
- 6 Сергеев, с. 232–238.
- 7 Гнедин, с. 24–31.
- 8 Бутырский и Карышев, с. 20–21.
- 9 Гарасева, с. 96–101.
- 10 Четвериков, с. 35.
- 11 Dolgun, с. 62. Подобным образом много лет ходил по своей камере в тюрьме Шпандау нацистский деятель Альберт Шпеер.
- 12 Е. Гинзбург, т. 1, с. 130, 182.
- 13 ГАРФ, ф. 9413, оп. 1, д. 17; ф. 9412, оп. 1, д. 25; ф. 9413, оп. 1, д. 6.
- 14 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 360.
- 15 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 796, 1250 и 1251.
- 16 Заболоцкий, с. 393–394.
- 17 Buber-Neumann, с. 36.
- 18 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 14.
- 19 Buber-Neumann, с. 33.
- 20 Трубецкой, с. 261.
- 21 Н. Гранкина, “Записки вашей современницы”, в кн. “Доднесь тяготееет”, вып. 1, с. 156.
- 22 Ясный, с. 44.
- 23 Dolgun, с. 15.
- 24 См., например, Горбатов, с. 122, или Zarod, с. 45. Яков Эфрусси озаглавил свои тюремно-лагерные мемуары “Кто на «Э»?”
- 25 Веселая, с. 30–33.
- 26 Бершадская, с. 37–39.
- 27 Веселая, с. 29.

- 28 Buber-Neumann, с. 36–37.
- 29 Адамова-Слиозберг, с. 29–30, 15.
- 30 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 260.
- 31 Шихеева-Гайстер, с. 99.
- 32 Быстролетов, с. 115.
- 33 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 31.
- 34 Weissberg, с. 278.
- 35 Lipper, с. 7–10.
- 36 Zarod, с. 39.
- 37 Разгон, “Непридуманное”, с. 244–245.
- 38 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 116, Folder 2.
- 39 Шаламов, “Колымские рассказы”.
- 40 Олицкая, кн. 1, с. 180–189.
- 41 Е. Гинзбург, т. 1, с. 50–52.
- 42 Dolgun, с. 95.
- 43 Веселая, с. 312.
- 44 Жигулин, с. 53.
- 45 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 248–260.
- 46 Там же.

Глава 9

- 1 Sutherland, с. 136.
- 2 Е. Гинзбург, т. 1, с. 138.
- 3 Sgovio, с. 129–135.
- 4 Е. Гинзбург, т. 1, с. 70.
- 5 ГАРФ, ф. 8466, оп. 1, д. 23.
- 6 Аноним, разговор с автором, Вильнюс, сентябрь 1991 г.; Фидельгольц.
- 7 Glowacki, с. 320–405.
- 8 Bardach, с. 156.
- 9 Достоевский, с. 530.
- 10 Вуса, с. 26.
- 11 Ларина.
- 12 Glicksman, с. 230–231.
- 13 Панин, с. 65.
- 14 Ptasnik, с. 846–854.
- 15 Noble, с. 71.
- 16 Тииф, с. 125.
- 17 Вуса, с. 29.
- 18 Знаменская, с. 20–22.
- 19 Karta, Kazimierz Zamorski Collection, Folder 1, Files 1253 and 6294.
- 20 Заболоцкий, с. 398.
- 21 Бершадская, с. 47–49.
- 22 Е. Гинзбург, т. 1, с. 204.
- 23 Яковенко, с. 176–179.
- 24 Гаген-Торн, с. 69–72.
- 25 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 26 Там же, Box 110, Folder 2.
- 27 Ptasnik, с. 853.
- 28 Armonas, с. 40–44.
- 29 Сандрацкая, неопубликованные записки.
- 30 Кауфман, с. 228–233.
- 31 Karta, Kazimierz Zamorski Collection, Folder 1, File 1253.

- 32 Stephan, *The Russian Far East*, с. 225–232.
- 33 Твардовский, с. 249–251.
- 34 Sgovio, с. 135–144.
- 35 Conquest, *Kolyma*, с. 20.
- 36 Karta, Kazimierz Zamorski Collection, Folder 1, File 1253.
- 37 Нерлер, с. 360–379.
- 38 Karta, Kazimierz Zamorski Collection, Folder 1, File 15876.
- 39 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 113, Folder 9.
- 40 Sgovio, с. 140.
- 41 Conquest, *Kolyma*, с. 24; Е. Гинзбург, т. 1, с. 238–243.
- 42 Conquest, *Kolyma*, с. 25.
- 43 Там же, с. 25–27; Голованов.
- 44 Nordlander, “Capital of the Gulag”, с. 290–291; Conquest, *Kolyma*, с. 25.
- 45 Олицкая, кн. 2, с. 229–233.
- 46 Е. Гинзбург, т. 1, с. 239.
- 47 Karta, Kazimierz Zamorski Collection, Folder 1, Files 6294, 15882, 15876.
- 48 Sgovio, с. 143.
- 49 Куусинен, с. 140.
- 50 Lipper, с. 92–95.
- 51 Karta, Kazimierz Zamorski Collection, Folder 1, File 1722.
- 52 Елена Глинка, “Колымский трамвай”, в кн. “Освенцим без печей”, с. 15.
- 53 Bardach, с. 191–193.
- 54 Karta, Kazimierz Zamorski Collection, Folder 1, File 1253.
- 55 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 614.
- 56 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 61.
- 57 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 64.
- 58 ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 171 и 199.
- 59 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 2063.
- 60 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 2041.
- 61 Гаген-Торн, с. 72.
- 62 Ekart, с. 44.
- 63 Яковенко, с. 176–179.
- 64 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть вторая, гл. 1 (мал. собр. соч., т. 5, с. 351–352).
- 65 Жженов, с. 74.
- 66 Armonas, с. 137.
- 67 Гурский, неопубликованные записки.
- 68 Чирков, с. 22.
- 69 Colonna-Czosnowski, с. 53.
- 70 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2743.
- 71 Олицкая, кн. 2, с. 235.
- 72 Адамова-Слиозберг, с. 76.
- 73 Bardach, с. 227.
- 74 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 75 Улановская Н., Улановская М., с. 356.
- 76 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 504.
- 77 Ширяев, с. 31–37.
- 78 См., например, ГАРФ, ф. 9589, оп. 2, д. 25.
- 79 Weissberg, с. 92.
- 80 Gliksman, с. 240; Адамова-Слиозберг, с. 78.
- 81 Якир, с. 117.
- 82 Е. Гинзбург, т. 1, с. 244–247.
- 83 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 65–72.

- 84 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 97.
- 85 Bien, неопубликованные записки.
- 86 Gliksman, с. 218–221.
- 87 Гаген-Торн, с. 149.
- 88 Герлинг-Грудзинский, с. 40.
- 89 Gliksman, с. 246–248.

Глава 10

- 1 “Система ИТЛ в СССР”, с. 137–525.
- 2 Окуневская, с. 391.
- 3 ГАРФ, ф. 5446, оп. 1, д. 54 и ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 316.
- 4 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 20.
- 5 ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 316.
- 6 ГАРФ, ф. 9414, оп. 6, д. 24.
- 7 Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 132.
- 8 Vuber-Neumann, с. 75.
- 9 ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 316.
- 10 Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 125–126.
- 11 Sofsky, с. 55.
- 12 ГАРФ, ф. 9489, архив Дмитлага (например, оп. 2, д. 31).
- 13 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 456–476.
- 14 ГАРФ, 9401, в коллекции автора.
- 15 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 361.
- 16 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 542.
- 17 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 136 и ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 4240.
- 18 Губерман, с. 33.
- 19 Адамова-Слиозберг, с. 78.
- 20 Zarod, с. 103.
- 21 Куц, с. 165.
- 22 Львов, неопубликованные записки.
- 23 Герлинг-Грудзинский, с. 42.
- 24 О пространстве и времени у заключенных пишет В. Софски в книге “Организованный террор: концентрационный лагерь”. Я позаимствовала эту мысль у него.
- 25 Фрид, с. 136.
- 26 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 456–476.
- 27 Zarod, с. 99–100.
- 28 Фрид, с. 136.
- 29 Zarod, с. 102.
- 30 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 456–476; Zarod, с. 102.
- 31 Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 338.
- 32 Nordlander, “Capital of the Gulag”, с. 158; Митин.
- 33 Олицкая, кн. 2, с. 247; Nordlander, “Capital of the Gulag”, с. 159.
- 34 Олицкая, кн. 2, с. 248.
- 35 ГАРФ, в коллекции автора.
- 36 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 508–509.
- 37 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 128; Бердинских, с. 24–43.
- 38 Н. А. Морозов, “ГУЛАГ в Коми крае”, с. 72–75.
- 39 Бондаревский, с. 44.
- 40 П. Галицкий, “Этого забыть нельзя”, в кн. “Уроки гнева и любви”, с. 83–85.
- 41 MacQueen.
- 42 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 43 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2741.

- 44 Zarod, с. 104.
- 45 Мирек, “Записки заключенного”, с. 116.
- 46 Герлинг-Грудзинский, с. 123.
- 47 Lippeг, с. 114; Zarod, с. 104–105.
- 48 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 11.
- 49 Приведено в кн. Жигулин, с. 121.
- 50 Сулимов, с. 53.
- 51 Sieminski, с. 45.
- 52 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 543.
- 53 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2887.
- 54 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 496. Это приказ, датированный июнем 1951 г. и предписывающий создать лагерь в соответствии с планом ГУЛАГа.
- 55 ГАРФ, ф. 9414, оп. 6, д. 24.
- 56 Евстониичев, с. 88.
- 57 Сулимов, с. 53.
- 58 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4547.
- 59 Buber-Neumann, с. 75.
- 60 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 274.
- 61 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 141.
- 62 Lippeг, с. 131.
- 63 Аргинская, интервью с автором; ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 274.
- 64 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 65 Петрус, с. 58–65.
- 66 Печуро, интервью с автором.
- 67 Аргинская, интервью с автором.
- 68 Розина, с. 67–75.
- 69 Sgovio, с. 186.
- 70 Варди, с. 93–150.
- 71 ГАРФ, ф. 9414, оп. 6, д. 24 и 25.
- 72 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 9 (мал. собр. соч., т. 6, с. 171).
- 73 Розина, с. 67–75.
- 74 Vogelfanger, с. 67.
- 75 Окуневская, с. 391.
- 76 Голованов, с. 110–115 и 122.
- 77 Петрус, с. 58–65.
- 78 Colonna-Czosnowski, с. 113.
- 79 ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 1 (“Перековка” за 30 июня 1934 г.).
- 80 Karta, Archivum Wschodnie, V/AC/183.
- 81 ГАРФ, ф. 5446, ф. 1, д. 54.
- 82 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 713.
- 83 Waydenfeld, с. 132.
- 84 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 505.
- 85 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 20.
- 86 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 357.
- 87 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37.
- 88 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 16.
- 89 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 20, л. 64.
- 90 Жигулин, с. 174–175.
- 91 Печуро, интервью с автором.
- 92 ГАРФ, ф. 9414, оп. 3, д. 9.
- 93 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 501–503.
- 94 Sgovio, с. 175.

- 95 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 504.
- 96 Розина, с. 67–75.
- 97 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 500.
- 98 Левинсон, с. 39–40.
- 99 Armonas, с. 123.
- 100 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 15.
- 101 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 713.
- 102 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 128.
- 103 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 140.
- 104 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 189; ф. 9401, оп. 1, д. 713; ф. 9401, оп. 1а, д. 141 и 119.
- 105 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 20, л. 109–113.
- 106 Документы Кедрового Шора в коллекции автора.
- 107 Наринский, “Воспоминания..”, с. 138.
- 108 Там же, с. 136–137.
- 109 Документы Кедрового Шора в коллекции автора; ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 5.
- 110 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 19.
- 111 Gliksmан, с. 301.
- 112 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 189.
- 113 В. Горохова, “Репорт врача”, в кн. “Уроки гнева и любви”, с. 103–105.
- 114 Алин, с. 185–191.
- 115 Petrov, с. 216 и 178.
- 116 Яковенко, с. 180–181.
- 117 Самсонов, “Жизнь продолжается”, с. 70–71.
- 118 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 25, л. 115–116.
- 119 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 20.
- 120 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 809, 797 и 1251.
- 121 Документы Кедрового Шора в коллекции автора.
- 122 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 361.
- 123 Е. Гинзбург, т. 1, с. 263–264.
- 124 Там же, т. 2, с. 21.
- 125 Документы Кедрового Шора в коллекции автора.
- 126 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4544, л. 3–5.
- 127 Веселовский, с. 131.
- 128 Алин, с. 186.
- 129 Zarod, с. 100.
- 130 Там же, с. 140.
- 131 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 59.
- 132 Petrov, с. 99.
- 133 Sgovio, с. 161.
- 134 Zarod, с. 100.
- 135 Панин, с. 121.
- 136 Там же, с. 256–257.

Глава 11

- 1 ГАРФ, ф. 9414, оп. 6 (фотоальбомы).
- 2 “Система ИТЛ в СССР”, с. 137–476.
- 3 ГАРФ, ф. 9414, оп. 6, д. 8.
- 4 Е. Гинзбург
- 5 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 9.
- 6 Прядилов, с. 113–114.
- 7 Weissberg, с. 96.
- 8 Солженицын, “Один день Ивана Денисовича”, с. 49.

- 9 Кресс, “Новый пионер, или колымская селекция”, в кн. “Освенцим без печей”, с. 62–70.
- 10 Миндлин, с. 52–57.
- 11 Sofsky, с. 168.
- 12 См., например, фотографии в архиве “Мемориала”.
- 13 Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 238.
- 14 Е. Гинзбург, т. 1, с. 275–277.
- 15 Н. Улановская, М. Улановская, с. 357.
- 16 Petrov, с. 208 и 178.
- 17 Zarod, с. 114.
- 18 Bardach, с. 233–234.
- 19 Сулимов, с. 57.
- 20 Bardach, с. 232–233.
- 21 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 141.
- 22 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4547, л. 109–126.
- 23 См., например, Жженов, с. 69.
- 24 Lipper, с. 135.
- 25 George Victor Zgornicki, из магнитофонной записи, присланной автору.
- 26 Petrov, с. 178.
- 27 Фильштинский, с. 39.
- 28 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 713.
- 29 Petrov, с. 208.
- 30 Zarod, с. 114.
- 31 Bardach, с. 233.
- 32 Олицкая, кн. 2, с. 247.
- 33 Weissberg, с. 63.
- 34 Ekart, с. 83.
- 35 Усакова, интервью с автором.
- 36 Dolgun, с. 185.
- 37 Документ ГАРФ в распоряжении автора, ссылка отсутствует.
- 38 Разгон, “Плен в своем отечестве”, с. 192. Прimitивные пилы представлены в историческом музее в Медвежьегорске.
- 39 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 40 Там же.
- 41 Nordlander, “Capital of the Gulag”, с. 170.
- 42 ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 3.
- 43 Nordlander, “Capital of the Gulag”, с. 182.
- 44 Максимович, с. 91–100.
- 45 А. Добровольский; “Система ИТЛ в СССР”, с. 220–221 и 341–343.
- 46 ГАРФ, ф. 9414, оп. 6, д. 23.
- 47 “СЛОИ”, 1924 г., книга 1 (собрание ГАРФ).
- 48 Чухин, “Каналоармейцы”, с. 127–131.
- 49 Sgovio, с. 184.
- 50 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 567.
- 51 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 68.
- 52 Фельдгун, с. 67–68.
- 53 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 68.
- 54 Герлинг-Грудзинский, с. 169.
- 55 Wigmans, с. 127; Кораллов, интервью с автором.
- 56 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 2443.
- 57 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 567.
- 58 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 1442.
- 59 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 1441.

- 60 Ekart, с. 82.
- 61 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 1440.
- 62 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 145.
- 63 Kotkin, с. 232.
- 64 Ekart, с. 182.
- 65 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 66 Герлинг-Грудзинский, с. 167.
- 67 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 1460.
- 68 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 1461; “Система ИТЛ в СССР”, с. 195.
- 69 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 1461.
- 70 Владимир Буковский, разговор с автором, март 2002 г.

Глава 12

- 1 Приведено в книге Росси “Справочник по ГУЛАГу”, с. 418.
- 2 Кауфман, с. 249.
- 3 Герлинг-Грудзинский, с. 210.
- 4 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 456–476.
- 5 Куусинен, с. 190–191.
- 6 Разгон, “Плен в своем отечестве”, с. 178.
- 7 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 713 и ф. 9401, оп. 12, д. 316.
- 8 Bardach, с. 213–215.
- 9 Герлинг-Грудзинский, с. 210–211.
- 10 Н. Улановская, М. Улановская, с. 358.
- 11 Герлинг-Грудзинский, с. 211.
- 12 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 5.
- 13 Nordlander, “Capital of the Gulag”, с. 230–231.
- 14 Светлана Доинисина, директор исторического музея в Искитиме, разговор с автором, 1 марта 1999 г.
- 15 И. Самахова, “Лагерная пыль”, в сборнике “Возвращение памяти”, т. 1, с. 38–42.
- 16 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 65–72.
- 17 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 456–476.
- 18 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 3463 и ф. 9401, оп. 1а, д. 270, л. 279–290.
- 19 См., например, Чирков, с. 54–55; Максимович, с. 82–90.
- 20 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 542.
- 21 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 20.
- 22 Быстролетов, с. 377–378.
- 23 Розина, с. 72–73.
- 24 Attonas, с. 123–126.
- 25 Горбатов, с. 131.
- 26 Быстролетов 385–386.
- 27 А. Морозов, с. 101–103.
- 28 Образчик имеется в собрании документов Кедрового Шора, находящемся у автора.
- 29 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 456–476.
- 30 А. Морозов, с. 183.
- 31 Быстролетов, с. 169.
- 32 Н. Улановская, М. Улановская, с. 403.
- 33 Жженов, с. 106–107.302
- 34 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 5.
- 35 Герлинг-Грудзинский, с. 103.
- 36 Голованов, в журнале “Знамя” № 2, 1990 г., с. 128.
- 37 Там же.

- 38 Ясный, с. 52–53.
- 39 Быстролетов, с. 391.
- 40 Герлинг-Грудзинский, с. 101–102.
- 41 Гогуа, неопубликованные записки.
- 42 Герлинг-Грудзинский, с. 105.
- 43 Солженицын, “В круге первом”, т. 1, с. 247–248.
- 44 Мазус, с. 34–37.
- 45 Герлинг-Грудзинский, с. 105.

Глава 13

- 1 Виктор Шмыров, разговор с автором 31 марта 1998 г. Шмыров — директор музея ГУЛАГа в Перми.
- 2 См. ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 29. Там находится список работников администрации Беломорканала, исключенных из партии. Одной из причин исключения было сожительство с лагерницами.
- 3 НАРК.
- 4 Куперман, неопубликованные записки.
- 5 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 177–179.
- 6 См., например, ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 10.
- 7 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 61 и ф. 9401, оп. 1, д. 743.
- 8 Кузьмина, с. 93–99.
- 9 ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 319.
- 10 ГАРФ, ф. 9414, оп. 3, д. 40.
- 11 Разгон, “Непридуманное”, с. 217–226.
- 12 Petrov, “Sekisti e il secondino.” (Автор читала рукопись по-русски).
- 13 Там же. Но были и исключения, одно из которых — карьера Виктора Абакумова. Он начинал как инспектор ГУЛАГа, но затем пошел в гору и возглавил советскую контрразведку — СМЕРШ. См. Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 163–165.
- 14 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 168.
- 15 Я благодарна Терри Мартину, указавшему мне на это.
- 16 Мельгунов, с. 171. См. также Petrov, “Sekisti e il secondino.”
- 17 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 163.
- 18 Там же, с. 173.
- 19 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 743.
- 20 Petrov, “Sekisti e il secondino.”
- 21 Смирнова, интервью с автором.
- 22 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 798–857.
- 23 РГАСПИ, ф. 119, оп. 3, д. 1, 6, 12 и 206; ф. 119, оп. 4, д. 66.
- 24 Petrov, “Sekisti e il secondino.”
- 25 ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 3.
- 26 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 4240.
- 27 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 188.
- 28 См., например, ГАРФ, ф. 9414, оп. 3, д. 40 и ф. 9401, оп. 1, д. 743.
- 29 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 165, 186.
- 30 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 16.
- 31 ГАРФ, ф. 9414, оп. 3, д. 40.
- 32 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 357.
- 33 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 2063.
- 34 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 1.
- 35 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 10; ф. 9489, оп. 2, д. 5; ф. 9401, оп. 1а, д. 5.
- 36 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 6.

- 37 Nordlander, “Capital of the Gulag”, с. 183.
- 38 Roeder, с. 128–130.
- 39 Кучин, “Полянский ИТЛ”, с. 158.
- 40 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 184–185.
- 41 Там же, с. 185–186.
- 42 Stajner, с. 241–242.
- 43 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 185.
- 44 MacQueen.
- 45 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 2063; “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 456.
- 46 Куусинен, с. 163.
- 47 Е. Гинзбург, т. 1, с. 254.
- 48 Sgovio, с. 247–248.
- 49 Nordlander, “Capital of the Gulag”.
- 50 Потфорт, с. 78–80.
- 51 Разгон, “Непридуманное”, с. 233.
- 52 Vogelfanger, с. 147 и 178.
- 53 Копелев, с. 372–375.
- 54 Nordlander, “Capital of the Gulag”, с. 277.
- 55 Разгон, “Непридуманное”, с. 251.
- 56 Старостин, с. 83–88.
- 57 Документ ГАРФ в распоряжении автора, ссылка отсутствует.
- 58 Там же.
- 59 Goldhagen.
- 60 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 101.
- 61 Р. Медведев, “О Сталине и сталинизме”.
- 62 Разгон, “Непридуманное”, с. 243.
- 63 Горчаков, “Л-1-105”, с. 156–157.
- 64 Прядилов, с. 81–95.
- 65 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 1253.
- 66 Левинсон, с. 40.
- 67 Жигулин, с. 154; Сандрацкая, неопубликованные записки, с. 51.
- 68 Гнедин, с. 117.
- 69 Бердинских, с. 22.
- 70 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 20 и ф. 9401, оп. 1а, д. 61.
- 71 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 809.
- 72 Жигулин, с. 157.
- 73 Бердинских, с. 22.
- 74 Дьяков, с. 65.
- 75 Lipper, с. 241–243.
- 76 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 173.
- 77 Н. Улановская, М. Улановская, с. 316.
- 78 Козлов, “Севвостлаг НКВД СССР”, с. 89.
- 79 Weiner, “Nature, Nurture and Memory in a Socialist Utopia”.
- 80 Жигулин, с. 157.
- 81 Stajner, с. 69.
- 82 Buber-Neumann, с. 125.
- 83 Шрейдер, с. 193.
- 84 MacQueen.
- 85 Р. Медведев. “Политический дневник. 1964–1970”, с. 33.
- 86 Аноним, интервью с автором.
- 87 Hochschild, с. 65.
- 88 Macqueen.
- 89 Разгон, “Непридуманное”, с. 232–233.

- 90 ГАРФ, ф 8131, оп. 37, д. 809.
 91 Бердинских, с. 28.
 92 Zarod, с. 94.

Глава 14

- 1 Е. Гинзбург, т. 1, с. 239–240.
 2 Горбатов, с. 134.
 3 Ekart, с. 71–74.
 4 М. Иоффе, с. 8–9.
 5 Разгон, “Непридуманное”, с. 174.
 6 Colonna-Czosnowski, с. 109.
 7 Varese, с. 162–164.
 8 “Тюремный мир глазами политзаключенных”, с. 7–22.
 9 Там же.
 10 Достоевский, с. 419.
 11 “Тюремный мир глазами политзаключенных”, с. 10.
 12 Разгон, “Непридуманное”, с. 176.
 13 Dolgun, с. 139–160.
 14 “Тюремный мир глазами политзаключенных”, с. 9.
 15 Varese, с. 146–150.
 16 Н. Медведев, с. 14–16.
 17 Там же.
 18 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 2, с. 27.
 19 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 16 (мал. собр. соч., т. 6, с. 276).
 20 Жигулин, с. 136.
 21 Бердинских, 291–315.
 22 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
 23 А. Акаревич, “Блатные слова”. В журнале “Соловецкие острова”, 1925 г., № 2 (СКМ).
 24 Губерман, с. 72–73.
 25 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 15.
 26 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 7.
 27 Фельдгун, с. 70.
 28 Бердинских, с. 132.
 29 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 16 (мал. собр. соч., т. 6, с. 273).
 30 Sgovio, с. 165–169.
 31 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 1261.
 32 Лихачев, “Картежные игры уголовников”. В журнале “Соловецкие острова”, 1930 г., № 1, с. 32–35 (СКМ).
 33 Финкельштейн, интервью с автором.
 34 Герлинг-Грудзинский с. 30–31.
 35 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 113, Folder 2.
 36 Горбатов, с. 151–152.
 37 Colonna-Czosnowski, с. 126–131.
 38 Antonov-Ovseenko, The Time of Stalin, с. 316.
 39 Varese, с. 159.
 40 Земсков, “Заключенные в 1930-е годы”, с. 68.
 41 Дугин, “ГУЛАГ глазами историка”; Земсков, там же, с. 65.
 42 Адамова-Слюзберг, “Путь”, в кн. “Доднесь тяготеет”, вып. 1, с. 8.
 43 Elletson, с. 2.
 44 Кучин, “Полянский ИТЛ”, с. 37–38.
 45 Ekart, с. 69.

- 46 Е. Гинзбург, т. 1, с. 225; Разгон, “Непридуманное”, с. 99–100.
 47 Разгон, “Непридуманное”, с. 100.
 48 Шаламов, “Несколько моих жизней”, с. 119.
 49 Wagwick, неопубликованные записки.
 50 Фрид, с. 235.
 51 Эфрон, Федерольф, с. 123.
 52 Гаген-Торн, с. 77.
 53 Разгон, “Плен в своем отечестве”, с. 174.
 54 Ekart, с. 192.
 55 Leipman, с. 69.
 56 Ekart, с. 67–68.
 57 Noble, с. 121.
 58 Leipman, с. 89.
 59 Ekart, с. 191.
 60 Достоевский, с. 417.
 61 Приведено в кн. Чухин, “Каналоармейцы”, с. 164–167.
 62 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 5.
 63 Герлинг-Грудзинский, с. 38.
 64 С. И. Кузнецов.
 65 Полонский, с. 76.
 66 MacQueen.
 67 Панин, с. 302.
 68 Stajner, с. 203.
 69 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть шестая, гл. 4 (мал. собр. соч., т. 7, с. 270).
 70 Hoover, Adam Galinski Collection.
 71 Wat, с. 147.
 72 Вуса, с. 122.
 73 Пурьжинская, интервью с автором.
 74 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 206 (статистика национального состава за 1954 г.).
 75 Petrov, с. 119–137.
 76 Эфрон, Федерольф, с. 234.
 77 Гаген-Торн, с. 205.
 78 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 11 (мал. собр. соч., т. 6, с. 208–209).
 79 Дьяков, с. 60–67.
 80 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 11 (мал. собр. соч., т. 6, с. 222).
 81 Шенталинский, с. 215–218.
 82 Гаген-Торн, с. 208.
 83 Куусинен, с. 190.
 84 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 2 (мал. собр. соч., т. 6, с. 46–47).
 85 Н. Улановская, М. Улановская, с. 300.
 86 Гаген-Торн, с. 208.

Глава 15

- 1 Например, Виленский, интервью с автором.
 2 Vuber-Neumann, с. 38.
 3 Герлинг-Грудзинский, с. 148.
 4 Там же, с. 146–147.
 5 Левинсон, с. 72–75.
 6 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 107.

- 7 См., например, Алин, с. 157–160 и Евстюничев, с. 19–20.
- 8 Эти статистические данные собраны из разных источников в ГАРФ. Я благодарна за них Александру Кокурину.
- 9 “Not Part of My Sentence: Violations of the Human Rights of Women in Custody”.
- 10 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 2, с. 39–41.
- 11 Sgovio, с. 173–174.
- 12 “Тюремный мир глазами политзаключенных”, с. 18; А. Марченко.
- 13 Якир, с. 41–42.
- 14 Н. Улановская, М. Улановская, с. 388–391; Львов, неопубликованные записки.
- 15 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 16 Фрид, с. 186–187.
- 17 Львов, неопубликованные записки.
- 18 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 19 Андреева, интервью с автором.
- 20 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 8 (мал. собр. соч., т. 6, с. 150).
- 21 Волович, “О прошлом”, в кн. “Доднесь тяготееет”, вып. 1, с. 260.
- 22 Львов, неопубликованные записки.
- 23 Вуса, с. 134–135.
- 24 Разгон, “Непридуманное”, с. 150.
- 25 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 8 (мал. собр. соч., т. 6, с. 150).
- 26 Герлинг-Грудзинский, с. 147.
- 27 Фрид, с. 187.
- 28 Там же, с. 187–188.
- 29 Жигулин, с. 128–133.
- 30 Vogelfanger.
- 31 Ситко и Печуро, интервью с автором.
- 32 Кауфман, с. 223.
- 33 Ситко, интервью с автором.
- 34 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 8 (мал. собр. соч., т. 6, с. 159).
- 35 Там же.
- 36 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 106–110.
- 37 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 66.
- 38 Кауфман, с. 188–189.
- 39 Наталия Запорожец, в кн. “Доднесь тяготееет”, вып. 1, с. 532–539.
- 40 “Дети ГУЛАГа”, с. 428.
- 41 Там же, с. 41–42.
- 42 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 43 “Дети ГУЛАГа”, с. 117.
- 44 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4554; ф. 9401, оп. 1а, д. 191; ф. 9401, оп. 1, д. 743.
- 45 Хачатрян, интервью с автором.
- 46 Лахти, неопубликованные записки. Я благодарна за эту рукопись Рубену Раджала.
- 47 Н. Иоффе, с. 134.
- 48 Фрид, с. 184; ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2741.
- 49 Андреева, интервью с автором.
- 50 Яковенко, с. 196.
- 51 Волович, “О прошлом”, в кн. “Доднесь тяготееет”, вып. 1, с. 260–264.
- 52 ГАРФ, ф. 9414, оп. 6, д. 44 и 45.
- 53 Е. Гинзбург, т. 1, с. 284.
- 54 ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 234.

- 55 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4554 и 1261.
- 56 “Дети ГУЛАГа”, с. 150.
- 57 Н. Иоффе, с. 136.
- 58 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4554.
- 59 Аноним, интервью с автором.
- 60 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4554.
- 61 Е. Гинзбург, т. 1, с. 285–286.
- 62 Хотя попросившая меня не называть ее фамилию работница лагерной санитарной службы в интервью отрицала это, многие мемуаристы пишут, что детей нарочно старались различать с матерями насовсем. Сусанна Печуро сказала мне, что в особом лагере, где она была, матерям не говорили, в какой детдом отправили ребенка.
- 63 “Дети ГУЛАГа”, с. 241–242.
- 64 Armonas, с. 156–161.
- 65 “Дети ГУЛАГа”, с. 320.
- 66 Базаров, с. 362.
- 67 Там же, с. 370–376.
- 68 “Дети ГУЛАГа”, с. 144.
- 69 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 20.
- 70 “Дети ГУЛАГа”, с. 248.
- 71 Там же, с. 247.
- 72 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 20.
- 73 Якир, с. 23.
- 74 “Эхо из небытия”, с. 289–292.
- 75 Hochschild, с. 87.
- 76 Печуро, интервью с автором.
- 77 Лахти, неопубликованные записки.
- 78 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 27.
- 79 Serge, с. 28.
- 80 Базаров, с. 383.
- 81 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 42 и ф. 9401, оп. 1а, д. 7; Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 17 (мал. собр. соч., т. 6, с. 277–280).
- 82 “Дети ГУЛАГа”, с. 11.
- 83 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 42; Базаров, с. 385–393.
- 84 Разгон, “Непридуманное”, с. 148.
- 85 ГАРФ, ф. 9412, оп. 1, д. 58.
- 86 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 62 и 7.
- 87 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4553.
- 88 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 57.
- 89 Якир, с. 24–28, 59.
- 90 Kmiecik, с. 70–74.
- 91 “Дети ГУЛАГа”, с. 283–293.
- 92 Conquest, The Great Terror, с. 274.
- 93 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 2063.
- 94 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 27.
- 95 Kmiecik, с. 93–94.
- 96 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 81.
- 97 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 2063.
- 98 Kmiecik, с. 114–117.
- 99 Документ ГАРФ в распоряжении автора.
- 100 ГАРФ, ф. 9412, ф. 1С, д. 47.
- 101 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 107.
- 102 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 7, л. 84.

- 103 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4547.
 104 Разгон, "Непридуманное", с. 149.
 105 Там же, с. 148.
 106 Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ", часть третья, гл. 17 (мал. собр. соч., т. 6, с. 283).
 107 Wigmans, с. 90.
 108 Клейн, "Улыбки неволи", с. 20–25.
 109 Отрывки из этих воспоминаний опубликованы в сборнике "Дети ГУЛАГа".

Глава 16

- 1 Росси, "Справочник по ГУЛАГу", с. 105.
 2 ГАРФ, ф. 9414, оп. 3, д. 40.
 4 Sgovio, с. 177.
 3 Герлинг-Грудзинский, с. 63.
 5 Тамара Петкевич, "Всего одна судьба", в кн. "Доднесь тяготее", вып. 1, с. 223–224.
 6 Шаламов, "Тост за речку Аян-Урях", в кн. "Избранное", СПб, 2002, с. 788.
 7 Sgovio, с. 162 и 160–161.
 8 Bardach, с. 236.
 9 Эфрусси, "Доходяги", в кн. "Освенцим без печей", с. 59.
 10 Герлинг-Грудзинский, с. 148.
 11 Gilboa, с. 53–54.
 12 Bardach, с. 235.
 13 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 397.
 14 N. Mandelstam, с. 263.
 15 Гнедин, с. 78.
 16 Merridale, с. 261.
 17 Todorov, Facing the Extreme, с. 37.
 18 Ротфорт, с. 40–41.
 19 Эйзенбергер, с. 38–39.
 20 Миндлин, с. 60.
 21 Е. Гинзбург, т. 2, с. 42.
 22 Todorov, Facing the Extreme, с. 63.
 23 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 809.
 24 Вуса, с. 150; Бердинских, с. 28.
 25 Vogelfanger, с. 80.
 26 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 809.
 27 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 542.
 28 Merridale, с. 265.
 29 Вуса, с. 152.
 30 Шаламов, "Несколько моих жизней", с. 129.
 31 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2809.
 32 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2771.
 33 Герлинг-Грудзинский, с. 160–161.

Глава 17

- 1 Vogelfanger, с. 206.
 2 Зорин, интервью с автором.
 3 Шаламов, "Колымские рассказы", кн. 1, с. 408.
 4 Вуса, с. 79.
 5 Олицкая, кн. 2, с. 240.

- 6 Герлинг-Грудзинский, с. 79–80.
 7 Levi, с. 97.
 8 Bettelheim, с. 169–171.
 9 Colonna-Czosnowski, с. 118.
 10 Шаламов, "Колымские рассказы", кн. 1, с. 138.
 11 Об этом пишет Тодоров. См. Todorov, Facing the Extreme, с. 35; Шаламов, "Колымские рассказы", кн. 1, с. 32.
 12 О туфте в СССР написано очень много. См. Fitzpatrick, Everyday Stalinism; Berliner; Ledeneva; Andreev-Khomiakov.
 13 Фрид, с. 134–136.
 14 Дьяков, с. 54.
 15 Аноним, интервью с автором.
 16 Р. Медведев. "Политический дневник. 1964–1970", с. 31–35.
 17 Ясный, с. 51.
 18 Н. Улановская, М. Улановская, с. 360–361.
 19 Борин, с. 234–236.
 20 Шистер, интервью с автором.
 21 Petrov, с. 179.
 22 Герлинг-Грудзинский, с. 49–50.
 23 Разгон, "Плен в своем отечестве", с. 193.
 24 Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ", часть третья, гл. 7 (мал. собр. соч., т. 6, с. 142).
 25 Усова, неопубликованные записки.
 26 Karta, Kazimierz Zamorski Collection, Teczka 1, File 6107 (Halina Storozuk).
 27 Фрид, с. 134–136.
 28 Е. Гинзбург, т. 1, с. 278–279.
 29 Sgovio, с. 167–175.
 30 С. Фомченко, "Первые десять", в кн. "Уроки гнева и любви", с. 225.
 31 П. Галицкий, "Этого забыть нельзя", в кн. "Уроки гнева и любви", с. 83–88.
 32 Самсонов, "Жизнь продолжается", с. 70–71.
 33 Максимович, с. 91–100.
 34 Адамова-Слиозберг, с. 82.
 35 Росси, "Справочник по ГУЛАГу", с. 238.
 36 Максимович, с. 91–100.
 37 Клейн, "Улыбки неволи", с. 60–61 и 73.
 38 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 1261, 797 и 1265.
 39 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 28.
 40 Фильштинский, с. 15–22.
 41 Sofsky, с. 130.
 42 Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ", часть третья, гл. 9 (мал. собр. соч., т. 6, с. 161–162).
 43 Vien, неопубликованные записки.
 44 Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ", часть третья, гл. 9 (мал. собр. соч., т. 6, с. 162).
 45 Petrov, с. 48–96.
 46 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 19.
 47 Разгон, "Плен в своем отечестве", с. 192.
 48 "ГУЛАГ: Главное управление лагерей", с. 456–476.
 49 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 356.
 50 Фильштинский, с. 120–121.
 51 Бердинских, с. 113.
 52 Там же, с. 113–114.
 53 Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ", часть третья, гл. 12 (мал. собр. соч., т. 6, с. 227–233).

- 54 Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ", часть третья, гл. 9 (мал. собр. соч., т. 6, с. 166–167).
 55 Мухина-Петринская.
 56 Панин, с. 277.
 57 Разгон, "Плен в своем отечестве", с. 193.
 58 Там же, с. 194.
 59 Шаламов, "Колымские рассказы", кн. 1, с. 133.
 60 Копелев, с. 365–372.
 61 Е. Гинзбург, т. 2, с. 55.
 62 Sgovio, с. 206.
 63 Эйзенбергер, с. 67–68.
 64 Окуневская, с. 280.
 65 Александровский, с. 11.
 66 Рожаш, с. 282. Я благодарна Яношу Рожашу, приславшему мне этот материал.
 67 Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ", часть первая, гл. 7 (мал. собр. соч., т. 5, с. 200); "Архипелаг ГУЛАГ", часть пятая, гл. 5 (мал. собр. соч., т. 7, с. 83–84); Reshetovskaya, с. 121–122.
 68 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2736.
 69 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 25.
 70 Gliksmán, с. 300.
 71 Герлинг-Грудзинский, с. 112.
 72 Bien, неопубликованные записки.
 73 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 356, 809 и 356.
 74 Папков, с. 57.
 75 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 25.
 76 Александровский, с. 11 и 22.
 77 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4547.
 78 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 25.
 79 Шаламов, "Колымские рассказы", кн. 1, с. 136.
 80 Colonna-Czosnowski, с. 102–107.
 81 Dolgun, с. 240.
 82 Окуневская, с. 336.
 83 Александровский, с. 12.
 84 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 4547 и 542.
 85 Vogelfanger, с. 71–72.
 86 Gliksmán, с. 211–212.
 87 Вуса, с. 150.
 88 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 356.
 89 Lipper, с. 251.
 90 ГАРФ, ф. 8131, оп. 37, д. 809.
 91 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2739.
 92 См., например, ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 18.
 93 Е. Гинзбург, т. 1, с. 288.
 94 Dolgun, с. 239.
 95 Bardach, с. 259.
 96 Vogelfanger, с. 68 и 162.
 97 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2771.
 98 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 5, л. 474.
 99 Жигулин, с. 153.
 100 Кудрявцев, с. 288.
 101 Lipper, с. 257–258; Герлинг-Грудзинский, с. 112; Александровский, с. 24–25; А. Марченко, "Живи как все", с. 90.
 102 Dolgun, с. 273; Lipper, с. 257–258.

- 103 Александровский, с. 24.
 104 Герлинг-Грудзинский, с. 91–95.
 105 Жигулин, с. 151.
 106 Bardach, с. 332–333.
 107 Lipper, с. 258.
 108 Быстролетов, с. 407.
 109 Dolgun, с. 176–179.
 110 Todorov, Facing the Extreme, с. 47–120.
 111 Эфрон, Федерольф, с. 224.
 112 З. Марченко, "Семнадцать лет на островах ГУЛАГа".
 113 Кекушев, с. 84–85.
 114 Панин, с. 120.
 115 Bardach, с. 207–208.
 116 Адамова-Слиозберг, с. 16.
 117 S. I. Kuznetsov, с. 613.
 118 Четвериков, с. 35.
 119 Bardach, с. 122–139.
 120 Е. Гинзбург, т. 2, с. 49.
 121 Гаген-Торн, с. 161.
 122 Scammell, Solzhenitsyn, с. 284; Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ", часть пятая, гл. 5 (мал. собр. соч., т. 7, с. 73).
 123 Пашнин, с. 103–117.
 124 Черханов, неопубликованные записки; Н. Улановская, М. Улановская, с. 300.
 125 Копелев, с. 402.
 126 Zarod, с. 118.
 127 К. Голицын, с. 267–268.
 128 Dolgun, с. 206–207.
 129 Андреева, интервью с автором.
 130 Твардовский, с. 272–275.
 131 Клейн, "Улыбки неволи", с. 70–71.
 132 Фельдгун, с. 95.
 133 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 20.
 134 Sgovio, с. 168–169.
 135 Фельдгун, с. 92–93.
 136 Е. Судакова, "Отрывок из воспоминаний", в кн. "Уроки гнева и любви", с. 132–137.
 137 Панин, "Лубянка – Экибастуз", М., 1991, с. 87–88.
 138 Чирков, с. 96–97.
 139 Герлинг-Грудзинский, с. 168.
 140 Окуневская, с. 352.
 141 Старостин, с. 88–92.
 142 Н. Иоффе, с. 147–148.
 143 Glowacki, с. 317–318.
 144 Е. Гинзбург, т. 1, с. 197.
 145 Wat, с. 142.
 146 Dolgun, с. 141–147.
 147 Bardach, с. 190.
 148 Colonna-Czosnowski, с. 120–121.
 149 Гаген-Торн, "Рукопись", в кн. "Память Колымы", с. 23–25.
 150 Смирнов, разговор с автором, февраль 2001 г.
 151 Герлинг-Грудзинский, с. 151–152.
 152 Н. Улановская, М. Улановская, с. 356–365.

Глава 18

- 1 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть пятая, гл. 4 (мал. собр. соч., т. 7, с. 70–71).
- 2 Жигулин, с. 192.
- 3 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 514.
- 4 MacQueen.
- 5 Герлинг-Грудзинский, с. 133–139.
- 6 Petrov, с. 104–107.
- 7 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть пятая, гл. 8 (мал. собр. соч., т. 7, с. 136–137).
- 8 А. Морозов, с. 187.
- 9 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть пятая, гл. 8 (мал. собр. соч., т. 7, с. 136–137).
- 10 Кусургашев, с. 34–36; Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 193.
- 11 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 552 и 64.
- 12 Stajner, с. 78.
- 13 Жигулин, с. 191–212.
- 14 Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 370.
- 15 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 185.
- 16 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 7.
- 17 Мальсагов.
- 18 В. В. Иофе, “Соловки. Большой побег 1928 года”. Труды Морской арктической комплексной экспедиции. Вып. IX: Соловецкие острова, т. 2: Остров Большая Муксалма. М., 1996, с. 215–216.
- 19 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 8.
- 20 Чернавин, с. 6.
- 21 “ГУЛАГ”, документальный фильм ВВС, продюсер — Ангус Маккуин, 1998 г.
- 22 Чухин, “Каналоармейцы”, с. 188–192.
- 23 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 5.
- 24 Макуров, с. 6.
- 25 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 5 и 6.
- 26 Макуров, с. 38–39.
- 27 Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 286.
- 28 Козлов, “Севостлаг НКВД СССР”, с. 81.
- 29 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 20.
- 30 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 128; Кучин, “Полянский ИТЛ”, с. 148.
- 31 Полещиков, с. 39.
- 32 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 2632; Кучин, “Полянский ИТЛ”, с. 148.
- 33 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 513; Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 314.
- 34 Росси, там же, с. 286.
- 35 Львов, неопубликованные записки.
- 36 Чернавин, с. 294.
- 37 Buber-Neumann, с. 112.
- 38 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть пятая, гл. 6 (мал. собр. соч., т. 7, с. 101).
- 39 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 2244.
- 40 Вуса, с. 33.
- 41 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 64.
- 42 Bardach, с. 106–121.
- 43 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть пятая, гл. 8 (мал. собр. соч., т. 7, с. 141).

- 44 Солженицын, там же; Юрий Моруков (бывший сотрудник МВД), разговор с автором, ноябрь 1999 г.
- 45 Моруков, там же.
- 46 ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 10.
- 47 ГАРФ, ф. 9401, оп. 12, д. 319.
- 48 Шаламов, “Колымские рассказы”, кн. 1, с. 522–527.
- 49 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 552.
- 50 См., например, ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 64, ф. 9401, оп. 12, д. 319.
- 51 Вуса, с. 123–127.
- 52 Виленский, интервью с автором.
- 53 Sgovio, с. 177.
- 54 Дворжецкий, с. 48.
- 55 Dolgun, с. 338.
- 56 С. А. Smith.
- 57 Вениамин Иофе, один из ведущих российских специалистов по ГУЛАГу и глава “Санкт-петербургского Мемориала”, безуспешно пытался найти в архивах дело Равича. Его сомнения усилились после того, как он вступил с автором (ныне покойным) в переписку. Ответы Равича показались Иофе неубедительными.
- 58 Герлинг-Грудзинский, с. 135.
- 59 Там же, с. 205.
- 60 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 55.
- 61 Петрус, с. 61.
- 62 Ратушинская, с. 17–18.
- 63 Петрус, с. 63.
- 64 “Хотелось бы всех поименно назвать...”, с. 87–109; Serge, с. 71.
- 65 Полещиков, с. 65–73; Иофе, с. 122–130; Росси, “Справочник по ГУЛАГу”, с. 117–118; Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть третья, гл. 10 (мал. собр. соч., т. 6, с. 202–203).
- 66 “Хотелось бы всех поименно назвать...”, с. 109–134; М. Байтальский, “Троцкисты на Колыме”, в альманахе “Минувшее”, т. 2, 1990, с. 346–357.
- 67 “Спротивление в ГУЛАГе”, с. 158.
- 68 Kravchenko, с. 341.
- 69 Нижеследующий рассказ основан главным образом на публикации Michail Rogaczow “Bunt nad Usa”, Karta, no. 17, 1995, с. 97–105, и на разговорах с Михаилом Рогачевым в июле 2001 г. Некоторые детали взяты из других источников: Полещиков, с. 37–65; Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 54–55; “Хотелось бы всех поименно назвать...”, с. 167–182.
- 70 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 54–55.

Глава 19

- 1 Stajner, с. 101.
- 2 Разгон, “Непридуманное”, с. 229.
- 3 Е. Гинзбург, т. 1, с. 303–304.
- 4 Warwick, неопубликованные записки.
- 5 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 68; “Иметь силу помнить”, с. 166.
- 6 Е. Гинзбург, т. 1, с. 303.
- 7 Гогуа, неопубликованные записки.
- 8 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 114, Folder 2.
- 9 Адамова-Слиозберг, с. 137–138.
- 10 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 107.
- 11 Герлинг-Грудзинский, с. 208.

- 12 Кокурин, Моруков, “Гулаг: структура и кадры”, “Свободная мысль”, № 7; “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 441.
- 13 Васон, с. 149.
- 14 Там же, с. 148.
- 15 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 110.
- 16 ГАРФ, ф. 7523, оп. 4, д. 37, 39 и 38.
- 17 Л. Гинзбург, с. 618; Overy, с. 104–108.
- 18 ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 95, 94 и 168.
- 19 Overy, с. 77.
- 20 Brodsky, с. 285.
- 21 Об этом мне сказали на Соловках по меньшей мере три человека, в том числе директор местного музея.
- 22 “ГУЛАГ в Карелии”, с. 195.
- 23 Popinski, Kokurin, Gurjanow, с. 8–10. Сборник Drogismierci, опубликованный в Варшаве институтом Karta, содержит документы из советских архивов, а также большей частью не публиковавшиеся ранее мемуары из Archiwum Wschodnie (“Восточного архива”) института Karta, касающиеся судьбы заключенных в восточной Польше в начале войны.
- 24 Васон, с. 91; Popinski, Kokurin, Gurjanow, с. 10–26.
- 25 Popinski, Kokurin, Gurjanow, с. 10–26.
- 26 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 274–275.
- 27 Popinski, Kokurin, Gurjanow, с. 40.
- 28 Там же, с. 90–91.
- 29 “Невозможно молчать”, с. 1128–1132.
- 30 Васон, с. 88–89.
- 31 М. Штейнберг, “Этап во время войны”, в сборнике “Память”, 1978, с. 167.
- 32 Popinski, Kokurin, Gurjanow, с. 90.
- 33 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 275.
- 34 М. Штейнберг, “Этап во время войны”, в сборнике “Память”, 1978, с. 167–171.
- 35 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 275.
- 36 Васон, с. 91.

Глава 20

- 1 В кн. Taylor-Terlecka, с. 56–57.
- 2 Разгон, “Плен в своем отечестве”, с. 173.
- 3 Там же, с. 174.
- 4 Glovacki, с. 273.
- 5 “Невозможно молчать”, с. 754.
- 6 Sword, с. 13.
- 7 “Репрессии против поляков и польских граждан”, с. 4–9.
- 8 Martin, “Stalinist Forced Relocation Policies”, с. 305–339.
- 9 Lieven, The Baltic Revolution, с. 82.
- 10 Glovacki, с. 331.
- 11 Hoover, Polish Ministry of Information Collection, Box 123; Glovacki, с. 331.
- 12 ГАРФ, ф. 5446, оп. 57, д. 65.
- 13 РГВА, ф. 40, оп. 1, д. 71, л. 323.
- 14 Ptasnik.
- 15 “Невозможно молчать”, с. 804–809.
- 16 Gross and Grudzinska-Gross, с. 77.
- 17 Там же, с. 68.
- 18 Там же, с. 146.
- 19 Там же, с. 80–81.

- 20 Там же, с. xvi.
- 21 Conquest, The Soviet Deportation of Nationalities, с. 49–50.
- 22 Martin, “Stalinist Forced Relocation Policies”.
- 23 Conquest, The Soviet Deportation of Nationalities, с. 3–5.
- 24 Lieven, The Baltic Revolution, с. 318–319.
- 25 Naimark, Fires of Hatred, с. 95.
- 26 Pohl, “The Deportation and Fate of the Crimean Tartars”; Naimark, Fires of Hatred, с. 99–107.
- 27 Naimark, Fires of Hatred, с. 98–101.
- 28 Martin, “Stalinist Forced Relocation Policies”.
- 29 Pohl, “The Deportation and Fate of the Crimean Tartars”, с. 11–17.
- 30 Lieven, Chechnya, с. 319; Naimark, Fires of Hatred, с. 97.
- 31 Lieven, Chechnya, с. 320.
- 32 Pohl, “The Deportation and Fate of the Crimean Tartars”, с. 17–19; Lieven, Chechnya, с. 319–321.
- 33 Lieven, Chechnya, с. 318–330; Naimark, Fires of Hatred, с. 83–107.
- 34 “Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы”. Под ред. М. М. Загорюлько. М., 2000.
- 35 Overy, с. 52.
- 36 Sword, с. 5.
- 37 Пихоя, “Катынь”, с. 36.
- 38 См. Czapski. В книге рассказывается об усилиях польского правительства, пытавшегося найти офицеров.
- 39 Sword, с. 2–5.
- 40 Beevor, с. 409–410.
- 41 Там же, с. 411.
- 42 “Военнопленные в СССР”, с. 31 и 333.
- 43 Там же, с. 25–33.
- 44 S. I. Kuznetsov, с. 618–619.
- 45 Цифры взяты из Overy, с. 297, и содержатся в советском документе за 1956 г. В другом советском документе, датированном 1949 г. и опубликованном в книге “Военнопленные в СССР” (с. 331–333), приведены сходные цифры: 2 079 000 немцев, 1 220 000 других европейцев, 590 000 японцев, 570 000 умерших.
- 46 Густав Менцер (Gustav Menczer), глава венгерского Общества бывших узников ГУЛАГа, разговор с автором, февраль 2002 г.
- 47 Bien, неопубликованные записки.
- 48 Knight, “The Truth about Wallenberg”.
- 49 Andrzej Paczkowski, “Poland, the Enemy Nation”, в кн. Courtois, с. 372–375.
- 50 “Кузина Гитлера”, “Новые известия”, 3 апреля 1998 г., с. 7.
- 51 Noble.
- 52 “Военнопленные в СССР”, с. 131.
- 53 Там же, с. 333. В ГУЛАГе было примерно 20 000 военнопленных.
- 54 Там же, с. 1042 и 604–609.
- 55 Там же, с. 667–668.
- 56 Там же, с. 38.
- 57 Naimark, The Russians in Germany, с. 43.
- 58 “Военнопленные в СССР”, с. 40 и 54–58.
- 59 “Восточная Европа...”, с. 270.
- 60 Там же, с. 370 и 419–422.
- 61 ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 497.
- 62 “Военнопленные в СССР”, с. 40 и 54–58. Большинство военнопленных к началу 50-х было освобождено, хотя в момент смерти Сталина их еще оставалось в СССР около 20 000.

- 63 Ситко, “Тяжесть света”, с. 10.
- 64 Bethell, с. 17.
- 65 Там же.
- 66 Там же, с. 166–169.
- 67 Там же, с. 103–165.
- 68 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 52–53.
- 69 Pohl, *The Stalinist Penal System*, с. 51.
- 70 Pohl, там же, с. 50–52.
- 71 ГАРФ, ф. 7523, оп. 4, д. 164.
- 72 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 135.
- 73 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 76.
- 74 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 135; ф. 9414, оп. 1, д. 76; ф. 9401, оп. 1а, д. 136.
- 75 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 53.
- 76 Круглов, с. 66, 256 и 265.
- 77 Виленский, интервью с автором.
- 78 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 53.
- 79 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 76.
- 80 Н. Иоффе, с. 205–206.
- 81 Клейн, “Дитя смерти”, с. 396–403.
- 82 Хава Волович, “О прошлом”, в кн. “Доднесь тяготее”, вып. 1, с. 477.
- 83 Wallace, с. 137.
- 84 Там же, с. 117.
- 85 ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 65; Sgovio, с. 251; Wallace, с. 33–41.
- 86 Wallace, с. 33–41; Sgovio, с. 251.
- 87 Вера Устиева, “Подарок для вице-президента”, в кн. “Освенцим без печей”, с. 98–106.
- 88 Wallace, с. 127–128.
- 89 Sgovio, с. 245.
- 90 Wallace, с. 33–41.
- 91 Sgovio, с. 252.
- 92 Wallace, с. 205.

Глава 21

- 1 В кн. Taylor-Terlecka, с. 144.
- 2 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 68; Земсков, “Судьба кулацкой ссылки”, с. 129–142; Martin, “Stalinist Forced Relocation Policies”.
- 3 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 743.
- 4 Bacon, с. 112.
- 5 Количество заключенных в лесозаготовительных лагерях уменьшилось с 338 850 в 1941 г. до 122 960 в 1944 г. См. “Система ИТЛ в СССР”, с. 112.
- 6 Sgovio, с. 242.
- 7 Горбатов, с. 158.
- 8 Committee on the Judiciary (Testimony of Avraham Shifrin).
- 9 Горбатов, с. 164, 166, 177.
- 10 ГАРФ, ф. 7523, оп. 64, д. 687, л. 1–15.
- 11 См., например, Overy, с. 79–80.
- 12 Е. Гинзбург, т. 1, с. 305.
- 13 ГАРФ, ф. 9414, оп. 1, д. 1146.
- 14 Миндлин, с. 61.
- 15 ГАРФ, ф. 9414, оп. 4, д. 145.
- 16 Bacon, с. 135–137, 140–141, 144; “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 272–296.
- 17 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 289–290.

- 18 Sword, с. 30–36.
- 19 Там же, с. 48.
- 20 Герлинг-Грудзинский, с. 201.
- 21 Karta, Anders Army Collection, V/AC/127.
- 22 Karta, Kazimierz Zamorski Collection, Folder 1, File 15885 and Folder 1, File 15882.
- 23 Герлинг-Грудзинский, с. 238.
- 24 Waydenfeld, с. 195–334.
- 25 Zarod, с. 234.
- 26 Janusz Wedyw, “Powitanie Wodza”, в кн. Taylor-Terlecka, с. 145.
- 27 Czapski, с. 243.
- 28 Sword, с. 60–87.
- 29 Slave Labor in Russia, с. 31.
- 30 Djilas, с. 114.
- 31 Kotek and Rigoulot, с. 527.
- 32 Там же, с. 549, 542.
- 33 Там же, с. 539–543, 548–546.
- 34 Там же, с. 543–544.
- 35 Там же, с. 544–548; см. также Andrzej Paczkowski, “Poland, the Enemy Nation”, в кн. Courtois, с. 363–393.
- 36 Kotek and Rigoulot, с. 565–572.
- 37 Todorov, *Voices from the Gulag*, с. 124.
- 38 Там же, с. 123–128.
- 39 Kotek and Rigoulot, с. 559.
- 40 Naimark, *The Russians in Germany*, с. 376–397.
- 41 Todorov, *Voices from the Gulag*, с. 39–40.
- 42 Saunders, с. 1–11; Kotek and Rigoulot, с. 619–648.
- 43 Ogawa and Yoon, с. 15.
- 44 Там же, с. 3.
- 45 Alla Startseva and Valerya Korchagina, “Pyongyang Pays Russia with Free Labor”, *Moscow Times*, August 6, 2001, p. 1.

Глава 22

- 1 Из сборника “Средь других имен”, с. 64.
- 2 См. Elena Zubkova, *Russia After the War*.
- 3 Service, *A History of Twentieth-Century Russia*, с. 299.
- 4 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 540.
- 5 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 112–113.
- 6 Service, *A History of Twentieth-Century Russia*, с. 299; Иванова, “Послевоенные репрессии и ГУЛАГ”.
- 7 Andrew and Gordievsky, с. 341.
- 8 Иванова, “Послевоенные репрессии и ГУЛАГ”, с. 256.
- 9 Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 59–63.
- 10 Operation WRINGER, HQ USAF Record Group 341, Box 1044, Air Intelligence Report 59B-B-5865-B. Материалы, связанные с этим опросом военнопленного, хранятся в вашингтонском Национальном архиве (National Archives, Washington, D. C.). Я благодарна майору Тиму Фалковскому за то, что он обратил мое внимание на эту историю. В Военно-воздушных силах США ее считают правдоподобной, но окончательно пока не подтвердили.
- 11 Об этом мне рассказал Николай Морозов. Отделение общества “Мемориал” в республике Коми расспрашивало жителей Седь-Вожа, надеясь получить устное свидетельство, но нашло только одного человека, который слышал всю

- историю, но не из первых уст. Любовь Виноградова нашла косвенные данные о шотландцах в РГВА, но сам документ там отсутствовал. РГВА не пожелал предоставить дальнейшую информацию.
- 12 Васон, с. 24.
 - 13 Nicolas Werth, "Apogee and Crisis in the Gulag System", в кн. Courtois, с. 235–239.
 - 14 Иванова, "ГУЛАГ в системе тоталитарного государства", с. 67.
 - 15 Е. Гинзбург, т. 2, с. 195.
 - 16 Там же, с. 202.
 - 17 Там же, с. 202.
 - 18 Адамова-Слиозберг, с. 171.
 - 19 Разгон, "Непридуманное", с. 241.
 - 20 Иванова, "ГУЛАГ в системе тоталитарного государства", с. 66–67.
 - 21 Там же, с. 67.
 - 22 Кокурин, Моруков, "ГУЛАГ: структура и кадры" (статья четырнадцатая). "Свободная мысль", № 11, 2000.
 - 23 Куц, с. 195.
 - 24 Булгаков, интервью с автором.
 - 25 Куц, с. 165.
 - 26 Иванова, "ГУЛАГ в системе тоталитарного государства", с. 73.
 - 27 "ГУЛАГ: Главное управление лагерей", с. 555–557; Кокурин, "Восстание в Степлаге".
 - 28 Кокурин, "Восстание в Степлаге"; Иванова, "ГУЛАГ в системе тоталитарного государства", с. 66.
 - 29 "Тюремный мир глазами политзаключенных", с. 10–11.
 - 30 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1а, д. 270.
 - 31 Е. Гинзбург, т. 2, с. 47–54.
 - 32 "Тюремный мир глазами политзаключенных", с. 10–11.
 - 33 Жигулин, с. 135–137.
 - 34 Виса, с. 59–61.
 - 35 Фельдгун, с. 91.
 - 36 Жигулин, с. 135–137.
 - 37 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 4240.
 - 38 См., например, Илья Гольц, "Воркута", в альманахе "Минувшее", т. 7, 1992, с. 317–355.
 - 39 Кравери, Хлевнюк.
 - 40 Иванова, "Послевоенные репрессии".
 - 41 Кокурин, Моруков.
 - 42 Кравери, Хлевнюк с. 186.
 - 43 Иванова, "ГУЛАГ в системе тоталитарного государства", с. 145.
 - 44 Иванова, "Послевоенные репрессии", с. 272.
 - 45 Кравери, Хлевнюк, с. 183.
 - 46 Кравери.
 - 47 Nicolas Werth, "Apogee and Crisis in the Gulag System", в кн. Courtois, с. 239–240.
 - 48 Кравери, Хлевнюк, с. 183.
 - 49 "Материалы совещания руководящих работников ИТЛ и колоний МВД СССР, 27 сентября — 1 октября 1954 г.", в распоряжении общества "Мемориал" 145–146.
 - 50 См., например, Клейн, "Улыбки неволи", с. 62.
 - 51 Бердинских, с. 56.
 - 52 Кравери, Хлевнюк, с. 185.
 - 53 Там же, с. 186.
 - 54 Knight, Beria, с. 160–169.
 - 55 Naumov, Rubinstein, с. 61–62.

- 56 Там же, с. 62.
- 57 Адамова-Слиозберг, с. 211.

Глава 23

- 1 Александровский, с. 57.
- 2 Н. Улановская, М. Улановская, с. 280.
- 3 Андреева, интервью с автором.
- 4 Е. Гинзбург, т. 2, с. 256.
- 5 Негретов, интервью с автором.
- 6 Stajner, с. 358.
- 7 Бердинских, с. 204.
- 8 Е. Гинзбург, т. 2, с. 258.
- 9 Александровский, с. 57.
- 10 Адамова-Слиозберг, с. 217.
- 11 Roeder, с. 195.
- 12 Васильева, интервью с автором.
- 13 Хрущев, т. 2, с. 133.
- 14 Е. Гинзбург, т. 2, с. 256.
- 15 Knight, Beria, с. 185.
- 16 Иванова, "ГУЛАГ в системе тоталитарного государства", с. 145.
- 17 "Лаврентий Берия. 1953", с. 19–21 (АПРФ, ф. 3, оп. 52, д. 100).
- 18 Knight, Beria, с. 185.
- 19 Там же.
- 20 "Лаврентий Берия. 1953", с. 28–29 (ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 1299).
- 21 Иванова, "ГУЛАГ в системе тоталитарного государства", с. 188–194.
- 22 Иванова, "ГУЛАГ в системе тоталитарного государства", с. 145.
- 23 Анализ мотивов, которыми руководствовался Берия, содержится в следующих работах: Хлевнюк, "Л. П. Берия..."; Пихоя, "Советский Союз...", с. xxx; Knight, Beria, с. 176–200.
- 24 Knight, Beria, с. 194–224.
- 25 Dolgun, с. 261.
- 26 Александровский, с. 60.
- 27 Зорин, интервью с автором.
- 28 Фильштинский, интервью с автором.
- 29 Armonas, с. 153–160.
- 30 Трус, интервью с автором.
- 31 Усакова, интервью с автором.
- 32 Зорин, интервью с автором.
- 33 Хачатрян, интервью с автором.
- 34 Документ ГАРФ в распоряжении автора (приказ от 3 сентября 1955 г.).
- 35 Булгаков, интервью с автором; Илья Гольц, "Воркута", в альманахе "Минувшее", т. 7, 1992 г., с. 342.

Глава 24

- 1 Анна Баркова, "В барак", процитировано в кн. "Доднесь тяготее", вып. 1, с. 341.
- 2 См., например, Е. Гинзбург, т. 2, с. 259; Dolgun, с. 261–262; Hoover, Adam Galinski Collection.
- 3 Панин, с. 501.
- 4 Илья Гольц, "Воркута", в альманахе "Минувшее", т. 7, 1992 г., с. 341.
- 5 Об отношении украинского подполья к стукачам см. Burds.

- 6 Панин, с. 506.
- 7 Кравери, с. 323.
- 8 Косук, с. 56.
- 9 ГАРФ, ф. 9413, оп. 1, д. 159.10 Н. А. Морозов, “Особые лагеря МВД СССР...”, с. 23–24.
- 10 Н. А. Морозов, “Особые лагеря МВД СССР...”, с. 23–24.
- 11 Н. А. Морозов, там же, с. 24–25; Noble, с. 143.
- 12 Noble, с. 143.
- 13 ГАРФ, ф. 9413, оп. 1, д. 160.
- 14 ГАРФ, ф. 9413, оп. 1, д. 160; Н. А. Морозов, “Особые лагеря МВД СССР...”, с. 27.
- 15 Noble, с. 144.
- 16 ГАРФ, ф. 9413, оп. 1, д. 160.
- 17 Вуса. Он действительно там был: подробности его рассказа соответствуют официальным документам. В чем я сомневаюсь — это в его ведущей роли.
- 18 Косук, с. 61 и 56–65.
- 19 Виленский, интервью с автором.
- 20 Булгаков, интервью с автором.
- 21 Куц, с. 200.
- 22 ГАРФ, ф. 9413, оп. 1, д. 160.
- 23 Там же.
- 24 Hoover, Adam Galinski Collection.
- 25 Вуса, с. 271 и 272.
- 26 Noble, с. 162.
- 27 Бердинских, с. 239–240.
- 28 “Материалы совещания руководящих работников ИТЛ и колоний МВД СССР, 27 сентября — 1 октября 1954 г.”, в распоряжении общества “Мемориал”.
- 29 Морозов, Рогачев, с. 186–187.
- 30 ГАРФ, ф. 9401, оп. 1, д. 4240.
- 31 ГАРФ, ф. 9413, оп. 1, д. 160 и 159.
- 32 Нижеследующий рассказ о восстании в Кенгире — результат сопоставления и синтеза нескольких источников. Коллекцию архивных документов, касающихся восстания, составил и снабдил примечаниями Александр Кокурин (“Восстание в Степлаге”). Итальянский историк Марта Кравери дала самое надежное на нынешний день описание случившегося, используя указанные и другие документы, а также интервью с участниками (Кравери, “Кризис ГУЛАГа”, с. 324). Менее взвешенный рассказ о событиях, использующий украинские оппозиционные источники, содержится в книге Volodymyr Kosyk, Concentration Camps in the USSR. Я использовала, кроме того, мемуарные источники, где идет речь о восстании, прежде всего “Распотаннные жизни” Любови Бершадской, с. 86–97, и “Звериаду” Н. Л. Кекушева, с. 130–143, а также документы и воспоминания, опубликованные в периодическом издании “Воля” (№ 2–3, 1994, с. 307–370). Я взяла интервью у Ирены Аргинской, которая тоже была в Степлаге во время восстания. Рассказ Солженицына, также основанный на беседах с участниками, можно прочесть в книге “Архипелаг ГУЛАГ” (часть пятая, гл. 12). Все описания событий в настоящей книге, кроме особо оговоренных в примечаниях, основаны на этих источниках. В отношении хронологии я следую статье Кравери.
- 33 Кравери, с. 322–324.
- 34 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть пятая, гл. 12 (мал. собр. соч., т. 7, с. 196).
- 35 “Воля”, № 2–3, 1994, с. 309.

- 36 Бершадская, с. 87.
- 37 Там же, с. 95–97.

Глава 25

- 1 Кравери, Хлевнюк, с. 187.
- 2 Негретов, интервью с автором.
- 3 “Материалы совещания руководящих работников ИТЛ и колоний МВД СССР, 27 сентября — 1 октября 1954 г.”, в распоряжении общества “Мемориал”; Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 3; “Система ИТЛ в СССР”, с. 58–59; Ковальчук-Коваль, с. 222; Фильштинский, интервью с автором.
- 4 Смирнова, интервью с автором.
- 5 ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 450.
- 6 Там же.
- 7 “Доклад Н. С. Хрущева...”, с. 51.
- 8 Там же, с. 82.
- 9 Хрушев, т. 2, с. 186.
- 10 К. Smith, с. 131–174.
- 11 ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 479.
- 12 ГАРФ, ф. 9401, оп. 2, д. 479; “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 178; Иванова, “ГУЛАГ в системе тоталитарного государства”, с. 79–80.
- 13 Иванова, там же, с. 80; Кравери, Хлевнюк, с. 189.
- 14 Иванова, там же, с. 78; Кравери, Хлевнюк, с. 188–189.
- 15 Andreev-Khomiakov, с. 3–4.
- 16 Кусургашев, с. 70.
- 17 Вера Корнеева. Приведено в кн. Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть шестая, гл. 7 (мал. собр. соч., т. 7, с. 306).
- 18 Зорин, интервью с автором.
- 19 Е. Гинзбург, т. 2, с. 136.
- 20 Король, с. 189.
- 21 ГАРФ, ф. 9489, оп. 2, д. 20.
- 22 Эфрон, Федерольф, с. 127–128.
- 23 Усакова, интервью с автором.
- 24 С. С. Торбин, “Воспоминания”, архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 2, д. 91; Король, с. 190.
- 25 ГАРФ, ф. 9414, оп. 3, д. 40.
- 26 Илья Гольц, “Воркута”, в альманахе “Минувшее”, т. 7, 1992 г., с. 352–355.
- 27 Sgovio, с. 283.
- 28 А. Морозов, с. 381–382.
- 29 Hoover, Fond 89, 18/38.
- 30 Булгаков, интервью с автором.
- 31 Antonov-Ovseenko, The Time of Stalin, с. 336.
- 32 К. Smith, с. 133.
- 33 Хрушев, “Время, люди, власть”, т. 4, с. 283.
- 34 Там же.
- 35 К. Smith, с. 138.
- 36 Адамова-Слиозберг, с. 223–224.
- 37 Ротфорт, с. 92.
- 38 Герлинг-Грудзинский, с. 245–247.
- 39 Андреева, интервью с автором.
- 40 Солженицын, “Раковый корпус”, с. 147.
- 41 Cohen, с. 115.

- 42 Antonov-Ovseenko, *The Time of Stalin*, с. 332–336.
- 43 Cohen, с. 26.
- 44 Antonov-Ovseenko, *The Time of Stalin*, с. 332–336.
- 45 Cohen, с. 135.
- 46 Разгон.
- 47 Юрий Домбровский, с. 77.
- 48 Солженицын, “Архипелаг ГУЛАГ”, часть шестая, гл. 7 (мал. собр. соч., т. 7, с. 306).
- 49 Королева, интервью с автором.
- 50 Аксупов, с. 382.
- 51 Окуджава, с. 31.
- 52 “Дети ГУЛАГа”, с. 460.
- 53 Adler, с. 145.
- 54 Адамова-Слиозберг, с. 165–166.
- 55 Adler, с. хх; Брат, неопубликованные записки, с. 68.
- 56 Merridale, с. 418.
- 57 Cohen, с. 38; XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т.1, М., 1962, с. 105.
- 58 Rothberg, с. 12–40.
- 59 Самая полная биография Солженицына — книга Майкла Скаммела (Michael Scammell, Solzhenitsyn). Если в примечаниях не оговорено иное, все биографические сведения о нем взяты из этого издания.
- 60 Scammell, Solzhenitsyn, с. 415.
- 61 Там же, с. 423–424.
- 62 Там же, с. 448–449; “Правда”, 23 ноября 1962 г.; “Известия”, 17 ноября 1962 г.
- 63 Scammell, Solzhenitsyn, с. 485; Благов, с. 509–511.
- 64 Rothberg, с. 62; “Правда”, 22 декабря 1962 г.
- 65 Дьяков, с. 60–67.

Глава 26

- 1 Соболев, с. 68.
- 2 Prisoners of Conscience in the USSR, с. 48–53.
- 3 Committee on the Judiciary (Testimony of Avraham Shifrin).
- 4 ГАРФ, ф. 9410, оп. 2, д. 497.
- 5 Committee on the Judiciary (Testimony of Avraham Shifrin).
- 6 R. Medvedev, с. ix.
- 7 Собрание документов самиздата, АС № 143. (Эти документы начиная с 60-х годов собирали сотрудники радио “Свобода” и “Свободная Европа”. Документы не опубликованы в обычном смысле, а сфотокопированы, переплетены, снабжены номерами и переданы в ряд крупных библиотек.)
- 8 Prisoners of Conscience in the USSR, с. 18–23.
- 9 Собрание документов самиздата, АС № 127. Prisoners of Conscience in the USSR, с. 18–23.
- 11 Reddaway, *Uncensored Russia*, с. 11.
- 12 И. Бродский, с. 37.
- 13 Rothberg, с. 127–133.
- 14 Hoover, Joseph Brodsky Collection, Transcript of the Brodsky Trial.
- 15 Там же.
- 16 Browne, с. 3.
- 17 Cohen, с. 42; Reddaway, *Uncensored Russia*, с. 19.
- 18 Hopkins, с. 1–14; Андропов, “Избранные речи и статьи”.
- 19 Prisoners of Conscience in the USSR, с. 21.

- 20 Browne, с. 13.
- 21 “Процесс четырех”, с. 5–19.
- 22 Browne, с. 13.
- 23 Тридцать лет спустя Чорновил, ставший ведущей фигурой в украинском движении сторонников независимости, был назначен первым послом независимой Украины в Канаде. Перед его отъездом я взяла у него интервью в 1990 г. во Львове.
- 24 Reddaway, *Uncensored Russia*, с. 95–111.
- 25 Там же, с. 19.
- 26 Info-Russ, #0044 (см. раздел “Архивы” в Библиографии). На этом сайте Владимир Буковский разместил копии документов, которые он снял во время слушаний по “делу КПСС”, о которых идет речь ниже. Позднее эти документы легли в основу его книги “Московский процесс”, опубликованной на французском и русском языках. Некоторые из них имеются также в гугверовском архиве (Hoover, Fond 89).
- 27 Reddaway, *Uncensored Russia*, с. 24.
- 28 Там же, с. 1–47; см. также “Хронику текущих событий”.
- 29 Hopkins, с. 122.
- 30 Ратушинская, с. 67.
- 31 А. Марченко, с. 11–19.
- 32 Там же, с. 135–136.
- 33 Ратушинская, с. 60–62.
- 34 Виктор Шмыров, разговор с автором, 31 марта 1998 г.
- 35 А. Марченко, с. 208.
- 36 Ратушинская, с. 174–175.
- 37 Ратушинская, с. 258–259.
- 38 А. Марченко, с. 50.
- 39 Э. Кузнецов, с. 245–246.
- 40 “Хроника текущих событий”, выпуск 32, июль 1974 г.
- 41 Буковский, “И возвращается ветер...”, с. 38.
- 42 А. Марченко, с. 62; Э. Кузнецов, с. 234.
- 43 “Хроника текущих событий”, выпуск 6, февраль 1969 г., приведено в Reddaway, *Uncensored Russia*, с. 207.
- 44 Там же, приведено в Reddaway, *Uncensored Russia*, с. 20–216.
- 45 А. Марченко, с. 50.
- 46 Щаранский, с. 259.
- 47 Марченко, с. 76; Tokes, с. 84.
- 48 Щаранский, с. 258; Ратушинская, с. 183–184.
- 49 Собрание документов самиздата, АС № 2598.
- 50 Даниэль, с. 648–649.
- 51 А. Марченко, с. 49–50.
- 52 Собрание документов самиздата, АС № 2598.
- 53 “Хроника текущих событий”, выпуск 33, декабрь 1974 г.
- 54 “Процесс четырех”, с. 22.
- 55 Reddaway and Bloch, с. 305; Якир.
- 56 “Хроника текущих событий”, выпуск 28, декабрь 1972 г.
- 57 Commission on Security and Cooperation in Europe (Testimony of Alexandr Shatravka and Dr. Anatoly Koryagin).
- 58 “Хроника текущих событий”, выпуск 33, декабрь 1974 г.
- 59 Виктор Шмыров, разговор с автором, 31 марта 1998 г.
- 60 Собрание документов самиздата, АС № 3115.
- 61 Буковский рассказал об этом на пресс-конференции в Варшаве в 1998 г. Текст можно найти на сайте Info-Russ (см. раздел “Архивы” в Библиографии).

- 62 Буковский, “Московский процесс”, с. 144–161.
- 63 Reddaway and Bloch, с. 48–49; Seton-Watson, с. 257–258.
- 64 Буковский, “И возвращается ветер...”, с. 315–316.
- 65 Reddaway and Bloch, с. 176, 140 и 107; .
- 66 Info-Russ, #0200.
- 67 Reddaway and Bloch, с. 226.
- 68 Некипелов, с. 116.
- 69 Reddaway and Bloch, с. 220–221; Некипелов, с. 116.
- 70 Prisoners of Conscience in the USSR, с. 190; фотография на с. 194.
- 71 Reddaway and Bloch, с. 214.
- 72 Prisoners of Conscience in the USSR, с. 197–198.
- 73 Буковский, “И возвращается ветер...”, с. 183.
- 74 Некипелов, с. 100–101.
- 75 Reddaway and Bloch, с. 348.
- 76 Там же, с. 79–96.
- 77 Там же, с. 178–180.
- 78 Info-Russ, #0204.
- 79 Там же.

Глава 27

- 1 Veichman and Bernstam, с. 145–189.
- 2 Prisoners of Conscience in the USSR, с. 20 и 119; Алексева.
- 3 Veichman and Bernstam, с. 182.
- 4 Reagan, с. 675–679.
- 5 Бердзенишвили, интервью с автором.
- 6 Там же.
- 7 Буковский, “И возвращается ветер...”, с. 357.
- 8 Там же, с. 357.
- 9 “Хроника текущих событий”, выпуск 52, март 1979 г.
- 10 Бердзенишвили, интервью с автором.
- 11 Ratushinskaya, с. 236.
- 12 Walker, с. 142.
- 13 Reddaway, “Dissent in the Soviet Union”.
- 14 Горбачев, “Жизнь и реформы”, с. 38.
- 15 Remnick, с. 50; Горбачев, “Октябрь и перестройка...”, с. 21.
- 16 Remnick, с. 264–268.
- 17 K. Smith, с. 131–134; Remnick, с. 68.
- 18 Remnick, с. 101–119; K. Smith, с. 131–174.
- 19 USSR: Human Rights in a Time of Change.
- 20 “Lata Dissidentyw”, Karta, no. 16, 1995.
- 21 “On the Death of Prisoner of Conscience Anatoly Marchenko”, Amnesty International Press Release, May 1987 (ML).
- 22 Там же.
- 23 О закрытии лагерей ничего не говорится, например, в книгах Walker, *The Waking Giant*; Matlock, *Autopsy on an Empire*; Brown, *The Gorbachev Factor*; Kaiser, *Why Gorbachev Happened*. Важное исключение — книга Remnick, *Lenin’s Tomb*, где есть глава о последних заключенных лагеря Пермь-35.
- 24 Пауль Хофхайнц (Paul Hofheinz), в прошлом — аккредитованный в Москве репортер, разговор с автором, 13 февраля 2002 г.
- 25 Matlock, с. 275.
- 26 Remnick, с. 270.
- 27 Walker, с. 147; XXVII съезд КПСС, стенографический отчет, т. 1, с. 347–348.

- 28 Info-Russ, #0128.
- 29 Info-Russ, #1404.
- 30 Info-Russ, #0130.
- 31 USSR: Human Rights in a Time of Change.
- 32 The Recent Release of Prisoners in the USSR, Amnesty International Press Release, April 1987 (ML); Тимофеев, с. 113.
- 33 Там же.
- 34 Amnesty International Weekly Update Service, April 8, 1987 (ML).
- 35 Бердзенишвили, интервью с автором.
- 36 Amnesty International Newsletter, June 1988, vol. XVIII, no. 6 (ML).
- 37 “Four Long-Term Prisoners Still Awaiting a Review”, Amnesty International Press Release, April 1990; см. также Amnesty International Newsletter, October 1990, vol. XX, no. 10 (ML). Климчак был освобожден к концу года.
- 38 Matlock, с. 287.
- 39 “Russian Federation: Overview of Recent Legal Changes”, Amnesty International Press Release, September 1993 (ML).
- 40 Matlock, с. 295.
- 41 А. Твардовский, “По праву памяти”, процитировано в Cohen, с. 186.

Эпилог

- 1 K. Smith, с. 153–159.
- 2 Александр Яковлев, председатель Комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, разговор с автором, 25 февраля 2002 г.
- 3 Merridale, с. 407–408.
- 4 Gessen.
- 5 Александр Яковлев, разговор с автором, 25 февраля 2002 г.
- 6 Я написала об этом в статье “Secret Agent Man”, *The Weekly Standard*, April 10, 2000.
- 7 Например, в июле 2002 г. в подвале монастыря на Западной Украине было обнаружено примерно 130 скелетов. *Moscow Times*, July 18, 2002.
- 8 Applebaum, “Secret Agent Man”, *The Weekly Standard*, April 10, 2000.
- 9 Адамова-Слиозберг, с. 29.
- 10 Andrew Alexander, “The Soviet Threat Was Bogus”, *The Spectator*, April 20, 2002.
- 11 Vidal.

Приложение

- 1 Bacon, с. 8–9.
- 2 Conquest, *The Great Terror*, с. 485.
- 3 Getty, с. 8.
- 4 Земсков, “Архипелаг ГУЛАГ...”, с. 6–7; Getty, Ritterspoon, and Zemskov, Appendixes A and B, с. 1048–1049.
- 5 Getty, Ritterspoon, and Zemskov, с. 1047.
- 6 Bacon, с. 112.
- 7 Pohl, *The Stalinist Penal System*, с. 17.
- 8 Pohl, там же, с. 15; Земсков, “Архипелаг ГУЛАГ...”, с. 17.
- 9 Наилучший на нынешний день обзор и анализ статистики, доступ к которой открылся после 1991 г., и споров вокруг нее содержится в книге Bacon, с. 6–41 и 101–122; 18 миллионов — это его цифра, основанная на оценках скорости оборота заключенных и известной статистике. Дугин утверждает, что за 1930–1953 гг. было арестовано 11,8 миллионов человек, но эта цифра проти-

- воречит оценке числа арестованных до 1940 г. в 8 миллионов, если принять во внимание огромные количества арестованных и отпущенных во время Второй мировой войны (Дугин, “Сталинизм, легенды и факты”).
- 10 Overly, с. 297; “Военнопленные в СССР”, с. 331–333.
 - 11 Pohl, The Stalinist Penal System, с. 50–52; Земсков, “Архипелаг ГУЛАГ...”, с. 4–6.
 - 12 Полян, с. 239.
 - 13 Pohl, The Stalinist Penal System, с. 5.
 - 14 Pohl, там же, с. 133.
 - 15 Кое-что, однако, было опубликовано. См. Getty, Ritterspoon, and Zemskov, с. 1048–1049.
 - 16 “ГУЛАГ: Главное управление лагерей”, с. 441–442.
 - 17 Бердинских, с. 28.
 - 18 Pohl, The Stalinist Penal System, с. 131.
 - 19 Getty, Ritterspoon, and Zemskov, с. 1024.
 - 20 Courtois, с. 4.
 - 21 Разгон, “Плен в своем отечестве”, с. 112–113.

Библиография

Опубликованные мемуары и художественная литература

- Адамова-Слиозберг О. Л. Путь. — М., 1993
 Айтуганов И. П. Круги ада. — Казань, 1998
 Александровский В. Г. Записки лагерного врача. — М., 1996
 Алин Д. Е. Мало слов, а горя реченька. — Томск, 1997
 Аллилуева С. И. Двадцать писем к другу. — М., 1990
 Амальрик А. А. Нежеланное путешествие в Сибирь. — Нью-Йорк, 1970
 Андреева А. А. Плавание к Небесному Кремлю. — М., 1998
 Антонов-Овсеенко А. В. Враги народа. — М., 1996
 Анциферов Н. П. Из дум о былом. Воспоминания. — М., 1992
 Астафьева О. В года слепые. Стихи. — М., 1995
 Ахматова А. А. Лирика. — М., 1989
 Белоусов В. В. Записки доходяги. — Ашхабад, 1992
 Беляшов В. М. Вечная боль. Документальная повесть. — Североуральск, 1991
 Бершадская Л. Л. Расоптанные жизни. — Париж, 1975
 Бондаревский С. К. Так было... — М., 1995
 Борин А. А. Преступления без наказания (Воспоминания узника ГУЛАГа). — М., 2000
 Бродский И. Поклониться тени. — СПб, 2003
 Брухис Л. И. Чужой спектакль. Книга воспоминаний. — Рига, 1990
 Буковский В. К. И возвращается ветер... — Нью-Йорк, 1978
 Быстролетов Д. А. Путешествие на край ночи. — М., 1996
 Варди А. Подконвойный мир. — Берлин, 1971
 Веселая З. А. 7–35. Воспоминания. — М., 1990
 Веселовский Б. В. Скрытая биография. — М., 1996
 Винс Г. П. Евангелие в узах. — Киев, 1994
 Во власти Губчека. Воспоминания неизвестного протоиерея. — М., 1996
 Войтоловская А. Л. По следам судьбы моего поколения. — Сыктывкар, 1991
 Волков О. В. Погружение во тьму. — М., 1989
 Время и судьбы. Антология. — М., 1991
 Гаген-Торн Н. И. Memoria. — М., 1994
 Гарасева А. М. Я жила в самой бесчеловечной стране. — М., 1997
 Герлинг-Грудзинский Г. Иной мир. Пер. с польского Н. Е. Горбаневской. — Лондон, 1989
 Гизатулин Р. Х. Нас было много на челне. — М., 1993
 Гинзбург Е. С. Крутой маршрут. Хроника времен культа личности. Т. 1, 2. — Рига, 1989
 Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. — СПб, 2002

- Гнедин-Гельфанд Е. А. Выход из лабиринта. — М., 1994
 Голицын К. Н. Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. — М., 1997
 Голицын С. М. Записки уцелевшего. — М., 1990
 Горбатов А. В. Годы и войны. — М., 1989
 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. Кн. 1. — М., 1995
 Гордеева В. Расстрел через повешение. — М., 1995
 Горчаков Г. Н. Л-1-105. Воспоминания. — Иерусалим, 1995
 Горчаков Г. Н. Судьбой наложенные цели. — Иерусалим, 1997
 Горький М. Собрание сочинений. — М., 1962
 Грачев Ю. С. В Иродовой бездне. Воспоминания о пережитом. Т.1–4. — М, 1993
 Губерман И. Штрихи к портрету. — М., 1994
 Даниэль Ю. М. Я все сбиваюсь на литературу... Письма из заключения. Стихи. — М., 2000
 Дворжецкий В. Я. Пути больших этапов. — М., 1994
 Дети ГУЛАГа. 1918–1956. Сост. С. С. Виленский и др. — М., 2002
 Доднесь тяготееет. Вып. 1. Записки вашей современницы. Сост. С. С. Виленский. — М., 1989
 Домбровский Ю. Меня убить хотели эти суки. — М., 1997
 Дороги за колючую проволоку. Т. 3. — Одесса, 1996
 Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Собр. соч. в десяти томах. Т. 3. — М, 1956
 Дурасов С. Г. Это было страшным событием. // *Исторический архив*, № 6, 1999. — С. 69–84
 Дьяков Б. А. Повесть о пережитом. // *Октябрь*, № 7, 1964. — С. 49–142
 Евстуничев А. П. Наказание без преступления. — Сыктывкар, 1990
 Евтушенко Е. А. Строфы века. Антология русской поэзии. — Минск- Москва, 1995
 Жженов Г. С. Саночки. — М., 1997
 Жигулин А. В. Черные камни. — М., 1996
 Заболоцкий Н. А. Огонь, мерцающий в сосуде... — М., 1995
 Зернова Р. Это было при нас. — Иерусалим, 1988
 Знаменская А. Н. Воспоминания. — СПб, 1997
 Иевлева В. Г. Непричесанная жизнь. — М., 1994
 Изгоев А. Пять лет в советской России. // *Архив русской революции*, т. X, Берлин, 1923
 Иметь силу помнить. — М., 1991
 Инталия. — М., 1995
 Иоффе М. М. Одна ночь. Повесть о правде. — Нью-Йорк, 1978
 Иоффе Н. А. Время назад. Моя жизнь, моя судьба, моя эпоха. — М., 1992
 Ишутина Е. Нарым. Дневник ссыльной. — Нью-Йорк, 1965
 Калачев К. В круге третьем. Воспоминания и размышления о работе Марфинской лаборатории в 1948–1951 годах. — М., 1999
 Каминский Я. И. Минувшее проходит предо мною... — Одесса, 1995
 Кауфман А. И. Лагерный врач. 16 лет в Советском Союзе — воспоминания сиониста. — Тель-Авив, 1973
 Кекушев Н. Л. Звериада. — М., 1991
 Керновская Е. А. Наскальная живопись. — М., 1991
 Клейн А. С. Дитя смерти. — Сыктывкар, 1993
 Клейн А. С. Клейменные, или Один среди одиноких. Записки каторжанина. — Сыктывкар, 1995
 Клейн А. С. Улыбки неволи. — Изд-во “Пролог”, 1997
 Клементьев В. Ф. В большевицкой Москве. — М., 1998
 Клингер А. Соловецкая каторга. Записки бежавшего. // *Архив Русской революции*, издаваемый Гессеном. — Берлин, 1929
 Ковальчук-Коваль И. К. Свидание с памятью. — М., 1996

- Копелев Л. Хранить вечно. — М., 1990
 Кораллов М. Карцерок — не хуже других. // *Московский комсомолец*, 11 сентября 1993 г.
 Король М. М. Одиссея разведчика. — М., 1999
 Крапивский С. Я. Трижды рожденный. — Тель-Авив, 1976
 Краснопевцев Ю. Реквием разлученным и павшим. Сталинские репрессии. — Ярославль, 1992
 Кресс Вернон. Зекамерон XX века. Роман. — М., 1992
 Кудрявцев Ф. Ф. Примечания к анкете. — М., 1990
 Кузнецов Э. С. Дневники. — Париж, 1973
 Кусургашев Г. Д. Призраки колымского золота. — Воронеж, 1995
 Куусинен А. Господь низвергает своих ангелов. — Петрозаводск, 1991
 Куц В. Поединок с судьбой. — М., 1999.
 Ларина А. М. Незабываемое. — М., 1989
 Левинсон Г. И. Вся наша жизнь. Воспоминания Галины Ивановны Левинсон и рассказы, записанные ею. — М., 1996
 Левитин-Краснов А. Э. Рук Твоих жар. — Тель-Авив, 1979
 Литовцы у Ледовитого океана. — Якутск, 1995
 Лихачев Д. С. Воспоминания. — СПб, 1995
 Лихачев Д. С. Книга беспокойств. — М., 1991
 Маевская И. В. Вольное поселение. — М., 1993
 Мазус И. А. Где ты был? Короткий роман в рассказах и записях разных лет. — М., 1992
 Максимович М. Невольные сравнения. — Лондон, 1982
 Мальсагов С. А. Адские острова. Советская тюрьма на Дальнем Севере. Пер. с англ. Ш. Яндиева. — Нальчик, 1996
 Мамаева Е. А. Жизнь прожить. — М., 1998
 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. — М., 1999
 Мандельштам О. Э. Стекла вечности. — М., 1999
 Марченко А. Т. Живи как все. — М., 1993
 Марченко З. Д. Семнадцать лет на островах ГУЛАГа. — М., 1999
 Медведев Н. Узник ГУЛАГа. — СПб, 1991
 Меньшагин Б. Г. Воспоминания. — Париж, 1988
 Милютин Т. П. Люди моей жизни. — Тарту, 1997
 Миндлин М. Б. Анфас и профиль. — М., 1999
 Мирек А. М. Записки заключенного. — М., 1989
 Мирек А. М. Тюремный реквием. — М., 1997
 Морозов А. Девять ступенек в небытие. — Саратов, 1991
 Мухина-Петринская В. М. На ладони судьбы. Я рассказываю о своей жизни... — Саратов, 1990
 Мы из ГУЛАГа. — Одесса, 1990
 Назвать поименно. — Горький, 1990
 Наринский А. С. Воспоминания главного бухгалтера ГУЛАГа (записки очевидца событий). — СПб, 1997
 Наринский А. С. Время тяжелых потрясений. — СПб, 1993
 Некипелов В. А. Институт дураков. — Париж, 1999
 Никольская А. Передай дальше. — Алма-Ата, 1989
 Нумеров Н. Золотая звезда ГУЛАГа: между жизнью и смертью. — М., 1995
 Окуджава Б. Ш. Девушка моей мечты. — М., 1988
 Окуневская Т. К. Татьяна день. — М., 1998
 Олицкая Е. Л. Мои воспоминания. В 2 кн. — Франкфурт, 1971
 Орлов А. Тайные истории сталинских преступлений. — Нью-Йорк, 1983
 Освенцим без печей. Сост. С. С. Виленский. — М., 1996

- Память Колымы. — Магадан, 1990
 Панин Д. М. Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки. — М., 1990
 Пашнин Е. Вечные колючей проволокой. // *Выбор*. — М., 1988, № 3
 Петля-2. Воспоминания, очерки, документы. — Волгоград, 1994
 Петрус К. Узники коммунизма. — М., 1996
 Погодин Н. Ф. Аристократы. В кн. Пьесы советских писателей. — М., 1954. — СС.109—183
 Полак Л. С. Было так. Очерки. — М., 1996
 Полонский В. В. Дорога в пять лет в Казахстан и обратно. // *Источник*, 1996, № 1
 Поль И. Л. Оглянись со скорбью. История одной семьи. — Иркутск, 1991
 Померанц Г. С. Записки гадкого утенка. — М., 1998
 Поршнева Г. И. “Я все еще жив...” Письма из неволи. — М., 1990
 Придилов А. Н. Записки контрреволюционера. — М., 1999
 Разгон Л. Э. Непридуманное. — Ставрополь, 1989
 Разгон Л. Э. Плен в своем отечестве. — М., 1994
 Ратушинская И. Б. Серый — цвет надежды. — Лондон, 1989
 Рожаш Я. Из книги “Сестра Дуся”. // *Воля*, 1994, № 2—3
 Розина А. Я. У памяти в гостях. — СПб, 1993
 Романов, великий князь Гавриил Константинович. В мраморном дворце. — Дюссельдорф, 1993
 Ротфорд М. С. Колыма — круги ада. Воспоминания. — Екатеринбург, 1991
 Рута У. Боже, как еще хотелось жить. Пер. с латышск. Э. Иоффе. — Лондон, 1989
 Самсонов В. А. Жизнь продолжится. Записки лагерного леккома. — Петрозаводск, 1990
 Самсонов В. А. Парус поднимаю. Записки лишенца. — Петрозаводск, 1993
 Серебрякова Г. И. Смерч. “Дело №...” Летопись горького времени. Повести, рассказы, статьи, очерки и стихи. — Алма-Ата, 1989
 Ситко Л. К. Где мой ветер?... Книга воспоминаний. — М., 1996
 Ситко Л. К. Тяжесть света. — М., 1996
 Снегов С. Язык, который ненавидит. — М., 1991
 Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Малое собрание сочинений, т. 5—7. — М., 1991
 Солженицын А. И. В круге первом. Малое собрание сочинений, т. 1, 2. — М., 1991
 Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича. Рассказы 60-х годов. — СПб, 2003
 Солженицын А. И. Раковый корпус. Малое собрание сочинений, т. 4. — М., 1991
 Среда других имен. Поэтическая антология. — М., 1991
 Старостин Н. П. Футбол сквозь годы. — М., 1989
 Сулимов И. Н. Эхо прожитых лет, или Воспоминания о Воркутлаге. — Одесса, 1997
 Твардовский И. Т. Родина и чужбина. Книга жизни. — Смоленск, 1996
 Тииф О. Из воспоминаний и заметок о 1939—1969. // *Минувшее*, вып. 7. — Париж, 1992
 Тимофеев Л. М. Я — особо опасный преступник. — Минск, 1990
 Толстой Л. Н. Анна Каренина. — М., 1984
 Трубецкой А. В. Пути неисповедимы. Воспоминания 1939—1955 гг. — М., 1997
 Трубецкой С. Е. Минувшее. — М., 1991
 Улановская Н., Улановская М. История одной семьи. — Нью-Йорк, 1982
 Уроки гнева и любви. 4-й выпуск. Сборник воспоминаний о годах репрессий (20-е — 80-е годы). — СПб, 1993
 Фельдгун Г. Г. Записки лагерного музыканта. — Новосибирск, 1998
 Фидельгольц Ю. Колыма. — М., 1997
 Фильштинский И. М. Мы шагаем под конвоем. Рассказы из лагерной жизни. — М., 1997
 Финкельберг М. Ф. Оставляю вам. — Ярославль, 1997
 Фишер Л. Л. Парикмахер в ГУЛАГе. Пер. с идиш З. Бейралас. — Тель-Авив, 1997
 Флоренский П. А. Сочинения. Т. IV. — М., 1998

- Фрид В. С. 58 1/2. Записки лагерного придурка. — М., 1996
 Хрушев Н. С. Время, люди, власть. — М., 1999
 Чернавин В. В. Записки “вредителя”. В кн.: Владимир и Татьяна Чернавины. Записки “вредителя”. Побег из ГУЛАГа. — СПб, 1999
 Четвериков Б. Д. Всего бывало на веку. — Ленинград, 1991
 Чирков Ю. И. А было все так. — М., 1991
 Шаламов В. Т. Избранное. — СПб, 2002
 Шаламов В. Т. Колымские рассказы. Кн. 1, 2. — М., 1992
 Шаламов В. Т. Несколько моих жизней. Проза. Поэзия. Эссе. — М., 1996
 Шаламов В. Т. Собрание сочинений в 4-х томах. — М., 1998
 Шелест Г. Колымские записки. // *Знамя*. — М., 1964, № 9
 Шиповская Е. А. Исповедь Рыцаря Света. Воспоминания. — М., 1998
 Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада. — М., 1991
 Шихеева-Гайстер И. А. Семейная хроника времен культа личности. 1925—1953. — М., 1998
 Шрейдер М. П. НКВД изнутри. Записки чекиста. — М., 1995
 Щаранский Н. Б. Не убоюсь зла. — М., 1991
 Эйзенбергер А. И. Если не выскажу — задохнусь! — М., 1994
 Эфрон А. С. Мироедиха. Устные рассказы, очерки, письма, из записных книжек. Федерольф А. А. Рядом с Алей. Воспоминания. — М., 1995
 Эфрон А. С. Письма из ссылки (1948—1957). А Эфрон Б. Пастернаку. — Париж, 1982
 Эфрусси Я. И. Кто на “Э”? — М., 1996
 Эхо из небытия. — Новгород, 1992
 Якир П. И. Детство в тюрьме. — Лондон, 1972
 Яковенко М. М. Агнесса. — М., 1997
 Ясный В. К. Год рождения — девятьсот семнадцатый. — М., 1997
- Aksyonov, Vasily. Generations of Winter. — New York, 1995
 Amster, Gerald, and Asbell, Bernard. Transit Point Moscow. — New York, 1984
 Andreev-Khomiakov, Gennady. Bitter Waters: Life and Work in Stalin's Russia. — Boulder, CO, 1997
 Armonas, Barbara. Leave Your Tears in Moscow. — Philadelphia and New York, 1961
 Bardach, Janusz (with Kathleen Gleeson). Man is Wolf to Man: Surviving Stalin's Gulag. — London, 1998
 Berger, Joseph. Nothing but the Truth. — New York, 1971
 Buber-Neumann, Margarete. Under Two Dictators, trans. Edward Fitzgerald. — London, 1949
 Buca, Edward. Vorkuta, trans. Michael Lisinski and Kennedy Wells. — London, 1976
 Buxhoeveden, Baroness Sophie. Left Behind: Fourteen Months in Siberia During the Revolution, December 1917 — February 1919. — London, New York, and Toronto, 1929
 Cederholm, Boris. In the Clutches of the Cheka, trans. F. H. Lyon. — London, 1929
 Colonna-Czosnovski, Karol. Beyond the Taiga: Memoirs of a Survivor. — Hove, Sussex, 1998
 Czapski, Joseph. The Inhuman Land, trans. Gerard Hopkins. — London, 1987
 Czerkawski, Tadeusz. Bylem Zolnierzem Generala Andersa. — Warsaw, 1991
 Darel, Sylva. A Sparrow in the Snow, trans. Barbara Norman. — New York, 1973
 Djilas, Milovan. Conversations with Stalin, trans. Michael Petrovich. — New York, 1962
 Dmitriev, Helen. Surviving the Storms: Memory of Stalin's Tyranny, trans. Cathleen A. McClintic and George G. Mendez. — Fresno, CA, 1992
 Dolgun, Alexander. Alexander Dolgun's Story: An American in the Gulag. — New York, 1975

- Domanska, Leslawa, Papinski, Marian, and the Malachowski family. *Tryptyk Kazachstanski*. — Warsaw, 1992
- Ekart, Antoni. *Vanished Without Trace: Seven Years in Soviet Russia*. — London, 1954
- Fehling, Helmut. *One Great Prison: The Story Behind Russia's Unreleased POWs*. — Boston, 1951
- Fittkau, Gerhard. *My Thirty-third Year*. — New York, 1958
- Gessen, Masha. *My Grandmother, the Censor*. // *Granta* 64, London, January 1998
- Gilboa, Yehoshua. *Confess! Confess!* trans. Dov Ben Aba. — Boston and Toronto, 1968
- Gliksman, Jerzy. *Tell the West*. — New York, 1948
- Gross, Jan Tomasz, and Grudzinska-Gross, Irena, eds. *War Through Children's Eyes*. — Stanford, CA, 1981
- Kitchin, George. *Prisoner of the OGPU*. — London, New York, and Toronto, 1935
- Kmieciak, Jerzy. *A Boy in the Gulag*. — London, 1983
- Kozhina, Elena. *Through the Burning Steppe: A Memoir of Wartime Russia, 1942–43*. — New York, 2000
- Kravchenko, Viktor. *I Chose Freedom*. — London, 1947
- Krzysztof, Jerzy. *Wielki na Stepie*. — Warsaw, 1982
- Larina, Anna. *This I Cannot Forget: The Memoirs of Nikolai Bukharin's Widow*, trans. Gary Kern. — New York and London, 1993
- Leipman, Flora. *The Long Journey Home*. — London, 1987
- Levi, Primo. *If This Is a Man*. — London, 1987
- Lipper, Elinor. *Eleven Years in Soviet Prison Camps*, trans. Richard and Clara Winston. — London, 1951
- Lockhart, R. Bruce. *Memoirs of a British Agent*. — London and New York, 1932
- Mandelstam, Nadezhda. *Hope Against Hope*, trans. May Hayward. — New York, 1999
- Matlock, Jack. *Autopsy of an Empire*. — New York, 1995
- Mysliwski, Wieslaw, ed. *Wschodnie Losy Polaków*, vols. 1–6. — Lomza, 1991
- Noble, John. *I Was a Slave in Russia*. — New York, 1960
- Petrov, Vladimir. *It Happens in Russia*. — London, 1951
- Ptasnik, Zofia. *A Polish Woman's Daily Struggle to Survive*. // *The Samaritan Review*, vol. XXI, no. 1, January 2002, pp. 846–54
- Ratushinskaya, Irina. *Grey Is the Colour of Hope*, trans. Alyona Kojevnikov. — London, 1988
- Ravicz, Slavomir. *The Long Walk*. — New York, 1984
- Reshetovskaya, Natalya. *Sanya: My Life with Alexander Solzhenitsyn*, trans. Elena Ivanhoff. — Indianapolis, 1975
- Robinson, Robert. *Black on Red: My 44 Years Inside the Soviet Union*. — Washington, D. C., 1988
- Roeder, Bernard. *Katoga: An Aspect of Modern Slavery*, trans. Lionel Kochan. — London, 1958
- Rosenberg, Suzanne. *A Soviet Odissey*. — Toronto, 1988
- Rossi, Jacques. *Qu'elle Etait Belle Cette Utopie*. — Paris, 1997
- Sadunaite, Nijole. *A Radiance in the Gulag*, trans. Revd Casimir Pugevicius and Marian Skabeikis. — Manassas, VA, 1987
- Sgovio, Thomas. *Dear America*. — Kenmore, NY, 1979
- Sieminski, Janusz. *Moja Kolyma*. — Warsaw, 1995
- Smith, C. A. *Escape from Paradise*. — London, 1954
- Stajner, Karlo. *Seven Thousand Days in Siberia*. — Edinburgh, 1988
- Stypulkowski, Zbigniew. *Invitation to Moscow*. — London, 1951
- Taylor-Terlecka, Nina, ed. *Gulag Polskich Poetów: od Komi do Kolymy* (поэтическая антология). — London, 2001
- Vitzhum, Hilda. *Torn Out By the Roots*, trans. Paul Schach, Lincoln. — NB, and London, 1993

- Vogeler, Robert. *I Was Stalin's Prisoner*. — New York, 1951
- Vogelfanger, Isaac. *Red Tempest: The Life of a Surgeon in the Gulag*. — Montreal, 1996
- Wat, Alexander. *My Century: The Odyssey of a Polish Intellectual*, ed. and trans. Richard Lourie. — Berkeley, CA, 1988
- Waydenfeld, Stefan. *The Ice Road*. — Edinburgh and London, 1999
- Weissberg, Alexander. *Conspiracy of Silence*. — London, 1952
- Wigmans, Johan. *Ten Years in Russia and Siberia*, trans. Arnout de Waal. — London, 1964
- Wu, Harry. *Bitter Winds*. — New York, 1994
- Zajdlerowa, Zoe. *The dark Side of the Moon*, ed. John Coutouvidis and Thomas Lane. — London, 1989
- Zaród, Kazimierz. *Inside Stalin's Gulag*. — Lewes, Sussex, 1990

Неопубликованные мемуары

- Байтальский М. Д. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 1, д. 8
- Брат А. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 1, д. 29
- Гоуга И. К. Архив “Мемориала”, ф. 1, оп. 3, д. 18
- Гурский К. П. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 1, д. 14–17
- Коган М. И. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 2, д. 46–47
- Куперман Я. М. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 1, д. 77
- Львов Е. М. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 1, д. 84
- Мартюхин Л. Н. *Собрание документов С. С. Виленского (“Возвращение”)*
- Неаполитанская В. С. Архив “Мемориала”, ф. 3, оп. 3, д. 39
- Сандрацкая М. К. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 105, д. 1
- Торбин С. С. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 2, д. 91
- Усова З. Д. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 1, д. 118
- Черханов П. Д. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 1, д. 127
- Шрейдер М. П. Архив “Мемориала”, ф. 2, оп. 2, д. 100–102

- Bien, George, Hoover Institution
- Lahti, Suoma Laine, в коллекции Рубена Раджала
- Warwick, Walter, в коллекции Рубена Раджала
- Zgornicki, George Victor, магнитофонная запись, присланная автору, апрель 1998

Документальная, публицистическая и исследовательская литература

- Авербах И. Л. *От преступления к труду*. — М., 1936
- Алексеева Л. М. *История инакомыслия в СССР*. — Вильнюс — Москва, 1992 (электронная версия — по адресу www.memo.ru/history/diss/books)
- Андропов Ю. В. *Избранные речи и статьи*. — М., 1983
- Антонов-Овсенко А. В. *Лаврентий Берия*. — Краснодар, 1993
- Базаров А. *Дурелом, или Господа колхозники*. Кн. 1. — Курган, 1997
- Базунов В. В., Детков М. Г. *Тюрьмы НКВД — МВД СССР в карательной системе советского государства*. — М., 2000
- Баранов В. *Горький без грима. Тайна смерти*. — М., 1996
- Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. *История строительства. 1931–1934 гг.* Под ред. М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. — М., 1998 (первое издание — 1934)
- Бердинских В. *Вятлаг*. — Киров, 1998

- Благов Д. А. Солженицын и духовная миссия писателя. // Солженицын А. И. Собр. соч. в 6 т., 2-е изд., т. 6. — Франкфурт, 1973
- Борьба за ГПУ. // *Социалистический вестник*, № 14–15, август 1933
- Бродский Ю. А. Двадцать лет Особого Назначения. — М., 2002
- Бутырский Ф., Карышев В. — Москва тюремная. М., 1998
- Власть и общество в СССР: политика репрессий (20–40-е гг.). — М., 1999
- Военнопленные в СССР. 1939–1956. Документы и материалы. Под ред. М. М. Загорулько. — М., 2000
- Возвращение к правде (собрание документов из архивов Твери). — Тверь, 1995
- Возвращение памяти, вып. 1–3. // *Историко-архивный альманах*. — Новосибирск, 1991, 1994, 1997
- Волконогов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Кн. 1. — М., 1990
- Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953. Т. 1. 1944–1948. — М., Новосибирск, 1997
- Геллер М. Концентрационный мир и советская литература. — Лондон, 1974
- Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности. Сборник документов. — Казань, 1997
- Голованов Я. Катастрофа. // *Знамя*, 1990, №1, № 2
- Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. — М, 1987
- ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917–1960. Сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. — М., 2000
- ГУЛАГ в Карелии. Сборник документов и материалов. 1930–1941. — Петрозаводск, 1992
- Два документа комиссии А. М. Шанина на Соловках. Публикация И. И. Чухина (Петрозаводск). // *Звенья*, вып. 1. — М., 1991
- XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т.1. — М., 1962
- XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. — М., 1986
- Декреты советской власти. — М., 1957
- Добровольский А. Мертвая дорога. // *Отечество*. Краеведческий альманах. Вып. 5. — М., 1994
- Дойков Ю. Красный террор на севере. Выпуск № 1. — Архангельск, 1993
- Доклад Н. С. Хрущева о культуре личности Сталина на XX съезде КПСС. Документы. — М., 2002
- Дорофеев О. Кузина Гитлера. // *Новые известия*, 3 апреля 1998
- Дряхлицын Д. Периодическая печать Архипелага. // *Север*, 1990, № 9
- Дугин А. Н. ГУЛАГ глазами историка. // *Союз*, 9 февраля 1990
- Дугин А. Н. Сталинизм, легенды и факты. // *Слово*, 1990, № 7
- Еланцева О. П. Кто и как строил БАМ в 30-е годы. // *Отечественные архивы*, № 5, 1992
- Заявления политзаключенных 1923–1924 гг. из Пертоминска и Соловков. Публикация А. Мельник и А. Сошиной. Примечания А. Е. // *Звенья*, вып. 1. — М., 1991
- Земсков В. Н. Архипелаг ГУЛАГ глазами писателя и статистика. // *Аргументы и факты*, 1989, № 45
- Земсков В. Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект). // *Социологические исследования*. — М., 1991, № 6
- Земсков В. Н. Заключенные в 1930-е годы: социально-демографические проблемы. // *Отечественная история*, 1997, № 4
- Земсков В. Н. Спецпоселенцы (по документам НКВД — МВД СССР). // *Социологические исследования*. — М., 1990, № 11

- Земсков В. Н. Судьба кулацкой ссылки (1934–1954 гг.). // *Отечественная история*, 1994, № 1
- Иванова Г. М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. — М., 1997
- Иванова Г. М. Послевоенные репрессии и ГУЛАГ. // Сталин и холодная война. — М., 1998
- Иванова Г. М., Славко Т. И., Весновская Г. Ф. ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои. — М., 1999
- Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание. Начало 30-х гг. — М., 1996
- Иофе В. В. Соловки. Большой побег 1928 года. // Труды Морской арктической комплексной экспедиции. Вып. IX: Соловецкие острова, т. 2: Остров Большая Муксалма. — М., 1996
- Иофе В. В. Новые этюды об оптимизме. Сборник статей и выступлений. — СПб, 1998
- История отечества в документах. 1917–1993 гг. Часть вторая. 1921–1939 гг. — М., 1994
- Их назвали КР. Репрессии в Карелии 20–30-х годов. Сост. А. Цыганков. — Петрозаводск, 1992
- Канева А. Н. УхтПечлаг. 1929–1938. // *Звенья*, вып. 1. — М., 1991
- Катынь: документы. Ред. Р. Г. Пихоя и др. — М., 1999
- Климович Р. Конец Горлага. — Минск, 1999
- Козлов А. Г. Огни лагерной ramпы. — Магадан, 1992
- Козлов А. Г. Севвостлаг НКВД СССР (1937–1941). // Сборник “Исторические исследования на севере Дальнего Востока”. — Магадан, 2000
- Кокурин А. И. Восстание в Степлаге. // *Отечественные архивы*, 1994, № 4
- Кокурин А. И. Особое техническое бюро НКВД СССР. // *Исторический архив*, 1999, № 1
- Кокурин А. И., Моруков Ю. Н. Тоннель под Татарским проливом: неосуществленный проект. 1950–1952 гг. // *Исторический архив*, 2001, № 6
- Кокурин А. И., Петров Н. В.; Кокурин А. И., Моруков Ю. Н. ГУЛАГ: структура и кадры. Серия статей в журнале *Свободная мысль*, выходявших с 1997 по 2002 гг. (Авторы статей 1 — 9 — Кокурин и Петров, начиная со статьи 10 — Кокурин и Моруков.)
- Корни травы. Сборник статей молодых историков. — М., 1996
- Кравери М. Кризис ГУЛАГа. Кенгирское восстание 1954 года в документах МВД. // *Cahiers du Monde russe*, XXXVI (3), juillet-septembre 1995
- Кравери М., Хлевнюк О. Кризис экономики МВД (конец 1940-х — 1950-е годы). // *Cahiers du Monde russe*, XXXVI (1–2), janvier-juin 1995
- Красиков Н. Соловки. // *Известия*, 15 октября 1924
- Красильников С. А. Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти. // *Исторический архив*, 1997, № 4
- Круглов А. К. Как создавалась атомная промышленность в СССР. — М., 1995
- Кто руководил НКВД. 1934–1941. Справочник. Сост. Н. В. Петров, К. В. Скоркин. — М., 1999
- Кузьмина М. Я помню тот Ванинский порт. — Комсомольск-на-Амуре, 2001
- Куликов К. И. Дело СОФИН. — Ижевск, 1997
- Куртуа С., Верт Н., Панне Ж.-Л., Пачковский А., Бартошек К., Марголен Ж.-Л. Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. Пер. с фр. — М., 1999
- Кучин С. П. История города Красноярск — 26. Красноярск — 26, Муниципальная организация культуры г. Красноярск — 26. // Музейно-выставочный центр, 1994
- Кучин С. П. Полянский ИТЛ (ГУЛАГ — уголовный). — Железногорск (Красноярск — 26), 1999

- Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы. Сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. — М., 1999
- Лебедева Н. Катьин: Преступление против человечества. — М., 1994
- Левые эсеры и ВЧК. Сборник документов. — Казань, 1996
- Ленин В. И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. // Полн. собр. соч., т. 37. — М., 1981
- Лубянка. ВЧК — ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — МВД — КГБ. 1917—1960. Справочник. Сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. — М., 1997
- Медведев Р. О Сталине и сталинизме. — М., 1990
- Медведев Р. Политический дневник. 1964—1970. — Амстердам, 1972
- Мельгунов С. П. Красный террор в России. 1918—1923. — М., 1990
- Мельник А., Сошина А., Резникова И., Резников А. Материалы к историко-географическому атласу Соловков. // *Звенья*, вып. 1. — М., 1991
- Мемориальное кладбище Сандормох. 1937. 27 октября — 4 ноября (Соловецкий этап). — СПб, 1997
- Минувшее*. Исторический альманах, публиковавшийся в Париже и позднее в Москве в конце 80-х и в 90-е гг.
- Митин В. А. Вайгачская экспедиция (1930—1936 гг.). В кн.: Гулаг на севере и его последствия. Архангельская областная организация “Совесть”, 1992
- Морозов Н. А. ГУЛАГ в Коми крае. 1929—1956. — Сыктывкар, 1997
- Морозов Н. А. Особые лагеря МВД СССР в Коми АССР (1948—1954 гг.). — Сыктывкар, 1998
- Морозов Н. А., Рогачев М. Б. ГУЛАГ в Коми АССР (20—50-е годы). // *Отечественные архивы*, 1995, № 2
- Наказанный народ. Репрессии против российских немцев. Ред.-сост. И. Л. Щербакова. — М., 1999
- Нарымская хроника. 1930—1945. Ред. В. Н. Макшеева. — М., 1997
- Невозможно молчать. Автор-составитель Гилда Саббо. — Таллинн, 1996
- Нерлер П. “С гурьбой и гуртом...” Хроника последнего года жизни О. Э. Мандельштама. // *Минувшее*, т. 8. — М., 1992
- Ногтев А. Соловки. // *Экран*, № 2, 16 января 1926 г.
- Ногтев А. УСЛОН. Его история, цели и задачи. // *Соловецкие острова*, № 2—3, 1930
- Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Т. 1. // *Накануне*. — М., 1995
- Память*. Исторический сборник. Издавался со второй половины 70-х гг. в США и Париже
- Папков С. А. Лагерная система и принудительный труд в Сибири и на Дальнем Востоке в 1929—41 годах. // *Возвращение памяти*, вып. 3
- Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925—1936 гг. Сборник документов. — М., 1995
- Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945—1991. — Новосибирск, 2000
- Похаяние: мартиролог. Т. 1—3. — Сыктывкар, 1998
- Полешиков В. М. За семью печатями. Из архива КГБ. — Сыктывкар, 1995
- Полян П. Не по своей воле. История и география принудительной миграции в СССР. — М., 2001
- Попов В. П. Неизвестная инициатива Хрущева (о подготовке указа 1948 г. о выселении крестьян). // *Отечественные архивы*, 1993, № 2
- Попова Т. У. Судьба родных Л. Мартова в России после 1917 года. — М., 1996
- Посетители кабинета И. В. Сталина. // *Исторический архив*, 1998, № 4
- Процесс четырех. Сборник материалов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой. Сост. и коммент. П. Литвинова. — Амстердам, 1971
- Райзман Д. Мальдяк в жизни Королева. — Магадан, 1999
- Реабилитационное определение по делу работников ГУЛАГа. Публикация Д. Г. Юрасова. // *Звенья*, вып. 1. — М., 1991

- Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Март 1953 — февраль 1956. Сост. А. Артизов, Ю. Сигачев, И. Шевчук, В. Хлопов. Т. 1. — М., 2000
- Резникова И. Православие на Соловках. — СПб, 1994
- Репрессии против поляков и польских граждан. Вып. 1. Сост. А. Э. Гурьянов. — М., 1997
- Роговин В. 1937. — М., 1996
- Розанов М. М. Соловецкий концлагерь в монастыре, 1922—1939 гг. В 3-х кн. — США, 1979—1987
- Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. — М., 1991
- Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. Верховный Совет Российской Федерации. — М., 1993
- Сергеев И. Н. Царицыно. Суханово. Люди, события, факты. — М., 1998
- Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960. Справочник. — М., 1998
- Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. — М., 1992
- Соболев В. А. Лубянка, 2. Из истории отечественной контрразведки. — М., 1999
- Собрание документов самиздата. Архив “Мемориала”, Москва; Radio Liberty Committee, Munich, Germany (LOC)
- Сойна Э. Г. К истории побега соловецких узников в Финляндию: новые материалы. Неопубликованная рукопись
- Сопrotивление в ГУЛАГе. Воспоминания. Письма. Документы. Сост. С. С. Виленский. — М., 1992
- Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 — весна 1931. Ред. С. А. Красильников и др. — Новосибирск, 1992
- Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933—1938. Ред. С. А. Красильников и др. — Новосибирск, 1996
- Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 — начало 1933. Ред. С. А. Красильников и др. — Новосибирск, 1993
- Театр ГУЛАГа. Воспоминания, очерки. — М., 1995
- Тугужекова В. Н., Карлов С. В. Репрессии в Хакасии. — Абакан, 1998
- Тюремный мир глазами политзаключенных. Сост. В. Ф. Чеснокова, В. Ф. Абрамкин. — М., 1993
- Уйманов В. Н. Репрессии. Как это было. — Томск, 1995
- Хлевнюк О. В. 1937: Сталин, НКВД и советское общество. — М., 1992
- Хлевнюк О. В. Л. П. Берия: пределы исторической “реабилитации”. В сб. Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. Под ред. Г. А. Бордюгова. — М., 1996
- Хлевнюк О. В. Принудительный труд в экономике СССР. 1929—1941 годы. // *Свободная мысль*, 1992, № 13
- Хотелось бы всех поименно назвать... Обработка архивных материалов И. Осиповой. — М., 1993
- Хроника текущих событий. Архив “Мемориала”.
- Хьетсо, Гейр. Максим Горький. Судьба писателя. — М., 1997
- Чехов А. П. Письма, т. 4, 1976
- Чехов А. П. Сочинения, т. 14—15, 1978
- Чухин И. И. Каналоармейцы. — Петрозаводск, 1990
- Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. — М., 1995
- Шмыров В. Лагерь как модель реальности. Выступление на конференции “Судьба России в контексте мировой истории двадцатого века”. — М., 17 октября 1999
- Экономика ГУЛАГа и его роль в развитии страны. 1930-е годы. Сборник документов. — М., 1998

- Adams, Bruce. *The Politics of Punishment: Prisoner Reform in Russia, 1863–1917*. — DeKalb, IL, 1996
- Adler, Nanci. *The Gulag Survivor*. — New Brunswick, NJ, 2002
- Agnew, Jeremy, and McDermott, Kevin. *The Comintern*. — New York, 1997
- Amis, Martin. *Koba the Dread: Laughter and the Twenty Million*. — London, 2002
- Anders, Wladyslaw. *Bez ostatniego rozdziału: wspomnienia z lat 1939–1946*. — Newtown, Montgomeryshire, 1949
- Andrew, Christopher, and Gordievsky, Oleg. *KGB: The Inside Story*. — New York, 1990
- Anisimov, Evgeny. *The Reforms of Peter the Great: Progress Through Coercion in Russia*. — Armonk, NY, and London, 1993
- Antonov-Ovseenko, Anton. *The Time of Stalin*. — New York, 1980
- Applebaum, Anne. *A History of Horror*. // *The New York Review of Books*, October 18, 2001
- Applebaum, Anne. *Inside the Gulag*. // *The New York Review of Books*, June 15, 2000
- Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. — New York, 1951
- Bacon, Edwin. *The Gulag at War*. — London, 1994
- Baron, Nick. *Conflict and Complicity: The Expansion of the Karelian Gulag, 1923–1933*. // *Cahiers du Monde Russe*, 42/2–4, April–December 2001
- Bateson, Edward, and Pim, Sir Alan. *Report on Russian Timber Camps*. — London, 1931
- Beck, E, and Godin, W. *Russian Purge and the Extraction of Confession*, trans. Eric Mosbacher and David Porter. — London, 1951
- Beevor, Antony. *Stalingrad*. — London, 1998
- Beichman, Arnold, and Bernstam, Mikhail. *Andropov: New Challenge to the West*. — New York, 1983
- Berliner, Joseph. *Factory and Manager in the Soviet Union*. — Cambridge, 1957
- Besanzon, Alain. *The Rise of the Gulag: Intellectual Origins of Leninism*. — New York, 1981
- Besanzon, Alain. *Le Tsarevitch Immolé*. — Paris, 1991
- Bethell, Nicholas. *The Last Secret*. — New York, 1974
- Bettelheim, Bruno. *The Informed Heart*. — London, 1991
- Binner, Rolf, Junge, Marc, and Martin, Terry. *The Great Terror in the Provinces of the USSR: A Cooperative Bibliography*. // *Cahiers du Monde Russe*, 42/2–4 April–December 2001
- Blandy, Charles. «The Meskhetians: Turks or Georgians? A People Without a Homeland». — Camberley, 1998
- Bobrick, Benson. *East of the Sun: The Conquest and Settlement of Siberia*. — London, 1992
- Brackman, Roman. *The Secret File of Joseph Stalin*. — London and Portland, OR, 2001
- Brodsky, Juri. *Solovki: Le Isole del Martirio*. — Rome, 1998
- Brodsky, Juri, and Owsiany, Helena. *Skazani Jako Szpiedzy Watykanu*. — Warszawa, 1998
- Brown, Archie. *The Gorbachev Factor*. — Oxford, 1996
- Browne, Michael, ed. *Ferment in the Ukraine*. — Woodhaven, NY, 1971
- Bullock, Alan. *Hitler and Stalin: Parallel Lives*. — London, 1993
- Bunyan, James. *The Origin of forced Labour in the Soviet State*. — Baltimore, 1967
- Burds, Jeffrey. «AGENTURA: Soviet Informants' Networks and the Ukrainian Rebel Underground in Galicia, 1944–1948». // *East European Politics and Societies*, 11/1, Winter 1997
- Cahiers du samizdat*, vols I–XV, from 1972, Brussels (LOC)
- Celmina, Helene. *Women in Soviet Prisons*. — New York, 1985
- Chornovil, Vyacheslav. *The Chornovil Papers*. — New York, 1968
- Ciesielski, Stanislaw. *Polacy w Kazachstanie w Latach 1940–1946*. — Wrocław, 1996

- Cohen, Stephen, ed. *An End to Silence: Uncensored Opinion in the Soviet Union*. — New York and London, 1982
- Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundredth Congress, First Session, May 15, 1987 (Testimony of Aleksandr Shatravka and Dr. Anatoly Koryagin)
- Committee on the Judiciary, Hearings before the Subcommittee to investigate the Administration of the Internal Security Act and other Internal Security Laws of the Committee on the Judiciary, U.S. Senate, Ninety-third Congress, First Session, February 1, 1973 (Testimony of Avraham Shifrin)
- Committee on Un-American Activities, U.S. House of Representatives, Eighty-sixth Congress, Second Session, April 4, 1960 (Testimony of Adam Galinski)
- Conquest, Robert. *The Great Terror: A Reassessment*. — London, 1992
- Conquest, Robert. *Harvest of Sorrow*. — London, 1988
- Conquest, Robert. *Kolyma: The Arctic Death Camps*. — New York, 1978
- Conquest, Robert. *The Soviet Deportation of Nationalities*. — London, 1960
- Conquest, Robert. *Stalin: Breaker of Nations*. — London, 1993
- Courtois, Stéphane, et al., eds. *The Black Book of Communism*, trans. Jonathan Murphy. — Cambridge, 1999
- Dagor, K. Magadan. // *Sovietland*, no. 4, April 1939
- Dallin, Alexander, and Firsov, F. I., eds. *Dmitrov and Stalin: 1934–1943, Letters from the Soviet Archives*. — New Haven and London, 2000
- Dallin, David, and Nicolaevsky, Boris. *Forced Labour in Soviet Russia*. — London, 1948
- Dawidowicz, Lucy. *The War against the Jews, 1933–1945*. — London, 1990
- Deutscher, Isaac. *Stalin: A Political Biography*. — London, 1949
- Duguet, Raymond. *Un Bagne en Russie Rouge*. — Paris, 1927
- Ebon, Martin. *The Andropov File*. — New York, 1983
- Elletson, Howard. *The General Against the Kremlin: Alexander Lebed, Power and Illusion*. — London, 1998
- Fainsod, Merle. *How Russia is Ruled*. — Cambridge, 1962
- Figes, Orlando. *A People's Tragedy: The Russian Revolution, 1891–1924*. — London, 1996
- Filene, Peter, ed. *American Views of Soviet Russia*. — Homewood, IL, 1968
- Fireside, Harvey. *Soviet Psychoprisons*. — New York and London, 1979
- Fitzpatrick, Sheila. *Everyday Stalinism*. — New York, 1999
- Fitzpatrick, Sheila. *Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village After Collectivization*. — New York, 1994
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan. — New York, 1978
- Gelb, Michael. *Karelian Fever: The Finnish Immigrant Community During Stalin's Purges*. // *Europe-Asia Studies*, 1993, 45, no. 6
- Getty, J. Arch. *Origins of the Great Purges*. — Cambridge, 1985
- Getty, J. Arch, and Manning, Roberta, eds. *Stalinist Terror: New Perspectives*. — Cambridge, 1993
- Getty, J. Arch, and Naumov, Oleg, eds. *The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939*. — New Haven and London, 1999
- Getty, J. Arch, Ritterspoon, Gabor T., and Zemskov, Viktor. *Victims of the Soviet Penal System in the Pre-war Years*. // *American Historical Review*, October 1993
- Gilbert, Martin. *The Holocaust: The Jewish Tragedy*. — London, 1978
- Gizejewska, Małgorzata. *Polacy na Kolicy: 1940–1943*. — Warszawa, 1997
- Głowacki, Albin. *Sowieci wobec Polaków: Na Ziemach Wschodnich II Rzeczypospolitej, 1939–1941*. — Łódź, 1998
- Goldhagen, Daniel. *Hitler's Willing Executioners*. — New York, 1996
- Gross, Jan Tomasz. *Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia*. — Princeton, 1988

- Harris, James R. Growth of the Gulag: Forced Labour in the Urals Region, 1929–1931. // *The Russian Review*, no. 56, April 1997
- Hill, Christopher, ed. (for Amnesty International). Rights and Wrongs: Some Essays on Human Rights. — London, 1969
- Hochschild, Adam. The Unquiet Ghost: Russians Remember Stalin. — New York, 1994
- Hopkins, Mark. Russia's Underground Press. — New York, 1983
- Hosking, Geoffrey, ed. The Road to Post-Communism: Independent Political Movements in the Soviet Union, 1985–1991. — London, 1992
- Hosking, Geoffrey. Russia: People and Empire, 1552–1917. — London, 1997
- Inside Soviet Slave Labor Camps, 1939–1942: An Analysis of Written Statements by 9,200 Former Prisoners. — Washington, D.C., 1952
- Iwanów, Mikolaj. Pierwszy Naród Ukaraný. — Warszawa, Wrocław, 1991
- Jakobson, Michael. Origins of the Gulag: The Soviet Prison Camp System, 1917–1934. — Lexington, KY, 1993
- Jansen, Marc, and Petrov, Nikita. «Stalin's Loyal Executioner: People's Commissar Nikolai Yezov». — Stanford, CA, 2000
- Johnson, Paul. The Intellectuals. — London, 1988
- Kaczynska, Elzbieta. Syberia: Najwieksze Wzienie Swiata (1815–1914). — Warszawa, 1991
- Kaiser, Robert. Why Gorbachev Happened. — New York, 1991
- Kalbarczyk, Sławomir. Wykaz Lagrów Sowieckich. — Warszawa, 1997
- Kapuscinski, Ryszard. Imperium. — London, 1994
- Karta* (исторический журнал), № 1–31. — Warszawa, 1991–2001
- Kennan, George. Siberia and the Exile System. — London, 1891
- Kerber, L. L. Stalin's Aviaiton Gulag. — Washington, D.C., and London, 1996
- Klehr, Harvey, Haynes, John Earl, and Anderson, Kyriell, eds. The Soviet World of American Communism. — New Haven and London, 1998
- Klehr, Harvey, Haynes, John Earl, and Firsov, Fridrickh. The Secret World of American Communism. — New Haven and London, 1995
- Knight, Amy. Beria: Stalin's First Lieutenant. — Princeton, 1993
- Knight, Amy. The Truth about Wallenberg. // *The New York Review of Books*, vol. XLVI-II, no. 14, September 20, 2001
- Knight, Amy. Who Killed Kirov? — New York, 1999
- Koestler, Arthur. Darkness at Noon, trans. Daphne Hardy. — New York, 1941
- Kosyk, Volodymyr. Concentration Camps in the USSR. — London, 1962
- Kotek, Joel, and Rigoulot, Pierre. Le Siecle des camps. — Paris, 2001
- Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain. — Berkeley, CA, 1995
- Kuznetsov, S. I. The Situation of Japanese Prisoners of War in Soviet Camps (1945–1956). // *Journal of Slavic Military Studies*, vol. 8, no. 3
- Ledeneva, Alena. Russia's Economy of Favors: Blat, Networking and Informal Exchange. — Cambridge, 1998
- Leggett, George. The Cheka: Lenin's Political Police. — Oxford, 1981
- Letters from Russian Prisons. International Committee for Political Prisoners. — New York, 1925
- Lieven, Anatol. The Baltic Revolution. — New Haven and London, 1993
- Lieven, Anatol. Chechnya: Tombstone of Russian Power. — New Haven and London, 1998
- Lih, Lars, Naumov, Oleg, and Khlevnyuk, Oleg, eds. Stalin's Letters to Molotov. — New Haven and London, 1995
- Lin, George. Fighting in Vain: NKVD RSFSR in the 1920s. Ph.D. dissertation. — Stanford University, 1997
- Lipshits, Evgeniya. Dokumentalny urode XX vek. — Tel Aviv, 1997
- Litvinov, Pavel. The Demonstration in Pushkin Square, trans. Manya Harari. — London, 1969

- MacQueen, Angus. Survivors. // *Granta* 64, Winter 1998
- Malia, Martin. Judging Nazism and Communism. // *The National Interest*, no. 64, Fall 2002
- Martin, Terry. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the USSR. — Ithaca, NY, 2001
- Martin, Terry. Stalinist Forced Relocation Policies: Patterns, Causes and Consequences. // *Demography and National Security*. Myron Weiner and Sharon Russell eds. — New York, 2001
- Martin, Terry. Un'interpretazione contestuale alla luce delle nuove ricerche (The Great Terror: A Contextual Interpretation in Light of New Research). // *Storica*, 18/2000
- Medvedev, Roy. Let History Judge, trans. Colleen Taylor. — New York, 1972
- Merridale, Catherine. Night of Stone: Death and Memory in Russia. — London, 2000
- Misiunas, Romuald, and Taagepera, Rein. The Baltic States: Years of Dependence: 1940–1990. — Berkeley and Los Angeles, 1993
- Mora, Sylwester (S. Starzewski), and Zwierniak, Piotr (Kazimierz Zamorski). Sprawiedliwosc Sowiecka. — Rome, 1945
- Moskoff, William. The Bread of Affliction: The Food Supply in the USSR During World War II. — Cambridge, 1990
- Moynahan, Brian. The Russian Century. — New York, 1994
- Naimark, Norman. Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. — Cambridge and London, 2001
- Naimark, Norman. The Russians in Germany. — Cambridge, 1995
- Naumov, V., and Rubinstein, Joshua, eds. Stalin's Secret Pogrom. — New Haven and London, 2001
- Nordlander, David. Capital of the Gulag: Magadan in the Early Stalin Era, 1929–1941. Ph.D. dissertation. — UNC Chapel Hill, 1997
- Nordlander, David. Magadan and the Evolution of the Dalstroi Bosses in the 1930s. // *Cahiers du Monde Russe*, 42/2–4, April–December 2001
- Nordlander, David. Origins of a Gulag Capital: Magadan and Stalinist Control in the Early 1930s. // *Slavic Review* 57, no. 4, Winter 1998
- Not Part of My Sentence: Violations of the Human Rights of Women in Custody. Amnesty International Report. — Amnesty International USA, XX, 1999
- Obozy Koncentracyjne OGPU w ZSRR. — Warszawa, 1998
- Ogawa, Haruhisa, and Yoon, Benjamin H. Voices from the North Korean Gulag. — Seoul, 1998
- Olhovych, Orest, ed. An Interview with Political Prisoners in a Soviet Perm Camp, trans. Taras Drozd. — Baltimore, 1975
- Overy, Richard. Russia's War. — London, 1997
- Paczkowski, Andrzej, ed., Powrót Zolnierzy AK z Sowieckich Lagrów. — Warszawa, 1995
- Parrish, Michael. The Lesser Terror: Soviet State Security, 1939–1953. — Westport, CT, and London, 1996
- Payne, Matthew. Stalin's Railroad: Turksib and the Building of Socialism. — Pittsburgh, 2001
- Petrov, Nikita. Cekisti e il secondino: due diversi destini. // *Nazismo, Fascismo e Comunismo*. — Milan, 1998
- Petrov, Nikita. Polska Operacja NKWD. // *Karta* 11, 1993
- Piesakowski, Tomasz. The Fate of Poles in the USSR, 1939–1989. — London, 1990
- Pipes, Richard. The Russian Revolution. — New York, 1990
- Pohl, J. Otto. «The Deportation and Fate of the Crimean Tartars», a paper presented at the Fifth Annual World Convention for the Association for the Study of Nationalities, published on-line at www.iccrimea.org/jopohl.html
- Pohl, J. Otto. The Stalinist Penal System. — Jefferson, NC, and London, 1997
- Popinski K., Kokurin A., Guryanov A. Drogi smierci. — Warszawa, 1995

- Prisoners of Conscience in the USSR: Their treatment and Conditions. Amnesty International report, 1975
- Rapoport, Yakov. The Doctors' Plot: Stalin's Last Crime. — London, 1991
- Reagan, Ronald. An American Life. — New York, 1990
- Reavey, George, ed. and trans. The New Russian Poets, 1953–1968. — London and Boston, 1981
- Reddaway, Peter. Dissent in the Soviet Union. // *Problems of Communism*, 32/6, November–December 1983
- Reddaway, Peter. The Forced Labour Camps in the USSR Today: An Unrecognized Example of Modern Inhumanity. International Committee for the Defence of Human Rights in the USSR, 1973
- Reddaway, Peter. Uncensored Russia: Protest and Dissent in the Soviet Union. — New York, 1972
- Reddaway, Peter, and Bloch, Sidney. Psychiatric Terror: How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent. — New York, 1977
- Remnick, David. Lenin's Tomb. — New York, 1994
- Revel, Jean-François. The Totalitarian Temptation, trans. D. Hapgood. — London, 1977
- Rigoulot, Pierre. Des Franzais au Goulag, 1917–1984. — Paris, 1984
- Rigoulot, Pierre. Les Paupieres Lourdes. — Paris, 1991
- Rothberg, Abraham. The Heirs of Stalin: Dissidence and the Soviet Regime, 1953–1970. — Ithaca, NY, and London, 1972
- Rousset, David. Police-State Methods in the Soviet Union. International Commission Against Forced-Labour Camps. — Boston, 1953
- Rubinstein, Joshua. Soviet Dissidents. — Boston, 1980
- Ruud, Charles and Stepanov, Sergei. Fontanka 16: The Tsar's Secret Police. — Montreal, 1999
- Saunders, Kate. Eighteen Layers of Hell. — New York, 1966
- Scammell, Michael. Solzhenitsyn: A Biography. — New York and London, 1984
- Scammell, Michael, ed. The Solzhenitsyn Files. — Chicago, 1995
- Sereny, Gita. Into That Darkness. — London, 1974
- Serge, Victor. Russia Twenty Years After, trans. Max Shactman. — New Jersey, 1996
- Service, Robert. A History of Twentieth-Century Russia. — London, 1997
- Service, Robert. Lenin: A Biography. — London, 2000
- Seton-Watson, Hugh. The Russian Empire, 1801–1917. — Oxford, 1990
- Silvester, Christopher, ed. The Penguin Book of Interviews. — London, 1993
- Slave Labor in Russia. American Federation of Labor, excerpts from the report of the International Labor Relations Committee of the 66th convention of the American Federation of Labor. — San Francisco, CA, October 6–16 1947
- Smith, Kathleen. Remember Stalin's Victim. — Ithaca, NY, 1996
- Sofsky, Wolfgang. The Order of Terror: The Concentration Camp, trans. William Templer. — Princeton, 1997
- Solomon, Peter. Soviet Criminal Justice Under Stalin. — Cambridge, 1996
- Stalin's Slave Camps. — Brussels, International Confederation of Free Trade Unions, 1951
- Stephan, John. The Russian Far East: A History. — Stanford, 1994
- Stephan, John. Sakhalin: A History. — Oxford, 1971
- Strods, Dr. Heinrich. The USSR MGB's Top Secret Operation "Priboi". // Riga, the Occupation Museum of Latvia. (Первоначально опубликовано в *Genocidas ir rezistencija*, no. 2, 1997)
- Sutherland, Christine. The Princess of Siberia. — London, 1985
- Sword, Keith. Deportation and Exile: Poles in the Soviet Union, 1939–48. — New York, 1994
- Thomas, D. M. Alexander Solzhenitsyn: A Century in His Life. — London, 1998
- Thurston, Robert. Life and Terror in Stalin's Russia, 1934–1941. — New Haven and London, 1996

- Todorov, Tzvetan. Facing the Extreme, trans. Arthur Denner and Abigail Pollak. — New York, 1996
- Todorov, Tzvetan. Voices from the Gulag, trans. Robert Zaretsky. — University Park, PA, 1999
- Tokes, Rudolf. Dissent in the USSR. — Baltimore, 1975
- Tolczyk, Dariusz. See No Evil: Literary Cover-Ups and Discoveries of the Soviet Camp Experience. — New Haven and London, 1999
- Tolstoi, Nikolai. Stalin's Secret War. — New York, 1981
- Tolstoi, Nikolai. Victims of Yalta. — New York, 1977
- Tucker, Robert. Stalin as a Revolutionary: 1879–1929. — New York, 1973
- Tucker, Robert. Stalin in Power: The Revolution from Above. — New York, 1990
- USSR: Human Rights in a Time of Change. Amnesty International publications, October 1989
- «USSR Labor Camps.» Hearings before the Subcommittee to investigate the Administration of the Internal Security Act and other Internal Security Laws of the Committee on the Judiciary, U.S. Senate, Ninety-third Congress, First Session, February 1, 1973
- Varese, Frederico. The Russian Mafia. — Oxford, 2001
- Vidal, Gore. The Last Empire. — London, 2002
- Viola, Lynne. The Role of the OGPU in Dekulakization, Mass Deportations, and Special Resettlement in 1930. // *Carl Beck Papers in Russian and East European Studies*, no. 1406, 2000
- Volkogonov, Dmitri. Lenin: Life and Legacy, trans. Harold Shukman. — London, 1994
- Volkogonov, Dmitri. Stalin: Triumph and Tragedy, trans. Harold Shukman. — London, 1991
- Volkogonov, Dmitri. Trotsky: The Eternal Revolutionary, trans. Harold Shukman. — London, 1996
- Walker, Martin. The Waking Giant: The Soviet Union Under Gorbachev. — London, 1986
- Wallace, Henry. Soviet Asia Mission. — New York, 1946
- Webb, Sidney and Beatrice. Soviet Communism: A New Civilisation? — London, 1936
- Weiner, Amir. Making Sense of War. — Princeton, NJ, and Oxford, 2001
- Weiner, Amir. Nature, Nurture and Memory in a Socialist Utopia: Delineating the Soviet Socio-Ethnic Body in the Age of Socialism. // *The American Historical Review*, vol. 104, no. 4, October 1999
- Werth, Nicolas. Les Proces de Moscou. — Brussels, 1987
- Werth, Nicolas. Rappports Secrets Sovietiques, 1921–1991. — Paris, 1994
- Zaron, Piotr. Ludnosc Polska w Związku Radzieckim w Czasie II Wojny Swiatowej. — Warszawa, 1990
- Zubkova, Elena. Russia After the War: Hopes, Illusions and Disappointments, 1945–1957, trans. Hugh Ragsdale. — Armonk, NY, 1998

Архивы

- АКБ — Архангельская краеведческая библиотека, Архангельск
- АПРФ — Архив Президента Российской Федерации, Москва
- ВКМ — Воркутинский краеведческий музей, Воркута
- ГАОПДФРК — Государственный архив общественно-политических движений и формирования Республики Карелия (бывший архив компартии), Петрозаводск
- ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва
- ИКМ — Искитимский краеведческий музей, Искитим
- Кедровый Шор — архив лагпункта Кедровый Шор, Интлаг, в распоряжении автора

Коми, “Мемориал” — архив “Мемориала” в Республике Коми, Сыктывкар
 Мемориал — архив “Мемориала”, Москва
 НАРК — Национальный архив Республики Карелия, Петрозаводск
 РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории, Москва
 РГВА — Российский государственный военный архив, Москва
 Санкт-Петербург, “Мемориал” — архив “Мемориала”, Санкт-Петербург
 СКМ — Соловецкий краеведческий музей, Соловецкие острова
 ЦХИДК — Центр хранения историко-документальных коллекций, Москва
 Hoover — Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Stanford, CA
 Info-Russ — собрание документов Владимира Буковского
 [http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/IRUSS/BUK/GBARC/buk.html]
 Карта — Центр КАРТА, Варшава
 LOC — Library of Congress, Washington, D.C.
 ML — Marylebone Library, Amnesty International Documents Collection, London

Интервью

Андреева Алла (Москва, 28 мая 1999 г.)
 Антонов-Овсенко Антон (Москва, 14 ноября 1998 г.)
 Аргинская Ирена (Москва, 24 мая 1998 г.)
 Астафьева Ольга (Москва, 14 ноября 1998 г.)
 Бердзенишвили Давид (Москва, 2 марта 1999 г.)
 Булгаков Виктор (Москва, 25 мая 1998 г.)
 Бывшая работница лагерной санитарной службы — анонимно (Москва, 24 июля 2001 г.)
 Васильева Ольга (Москва, 17 ноября 1998 г.)
 Виленский Семен (Москва, 6 марта 1999 г.)
 Зорин Юрий (Архангельск, 13 сентября 1998 г.)
 Кораллов Марлен (Москва, 13 ноября 1998 г.)
 Королева Наталья (Москва, 25 июля 2001 г.)
 Мясникова Паулина (Москва, 29 мая 1998 г.)
 Негретов Павел (Воркута, 15 июля 2001 г.)
 Печуро Сусанна (Москва, 24 мая 1998 г.)
 Пурьжинская Ада (Москва, 31 мая 1998 г.)
 Ситко Леонид (Москва, 31 мая 1998 г.)
 Смирнова Галина (Москва, 30 мая 1998 г.)
 Трус Леонид (Новосибирск, 28 февраля 1999 г.)
 Усакова Галина (Москва, 23 мая 1998 г.)
 Федоров Евгений (Электросталь, 29 мая 1999 г.)
 Фильштинский Исаак (Перedelкино, 30 мая 1998 г.)
 Финкельштейн Леонид (Лондон, 28 июня 1997 г.)
 Хачатрян Людмила (Москва, 23 мая 1998 г.)
 Шистер Алла (Москва, 14 ноября 1998 г.)
 Юрганова Валентина (Искитим, 1 марта 1999 г.)
 Waydenfeld, Danuta (Лондон, 22 января 1998 г.)
 Waydenfeld, Stefan (Лондон, 22 января 1998 г.)
 Wyganowska, Maria (Лондон, 22 января 1998 г.)

Библиотека Московской школы
 политических исследований

Энн Эпплбаум

ГУЛАГ

Паутина
 Большого террора

Редактор Л. Бусуек
 Компьютерная верстка О. Козак

Подписано в печать 4.08.2006.
 Формат издания 60x90^{1/16}. Бумага офсетная. Гарнитура “Newton”.
 Усл. печ. л. 38.00. Тираж 1500 экз. Заказ №

Московская школа политических исследований
 123104 Москва, Большой Козихинский пер. 7, стр. 2, офис 21-22,
 http://msps@co.ru
 www.msps.ru

ЛР № 00972 от 14.02.2000

*Получить информацию об изданиях
Московской школы политических исследований
Вы можете на сайте Школы:
www.msps.ru*